
ГЮСТАВ
ФЛОБЕР

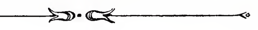


ГЮСТАВ ФЛОБЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

ГЮСТАВ ФЛОБЕР



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ II

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

ИСКУШЕНИЕ СВЯТОГО АНТОНИЯ

Переводы с французского

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

И (Фр)
Ф 73

Примечания С. Ошерова

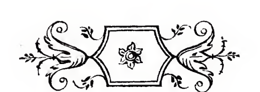
Оформление художника
Ю. Алексеевой

Ф $\frac{4703000000\text{-}218}{028\,(01)\text{-}83}$ подписное



ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

Перевод
А. Федорова





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Около шести часов утра 15 сентября 1840 года пароход «Город Монтеро», выпуская густые клубы дыма, готовился отчалить от набережной Святого Бернара.

Спешили запыхавшиеся люди; бочки, канаты, бельевые корзины загораживали дорогу; матросы никому не отвечали; все толкались; в проходе около машин горой лежали тюки, шум сливался с гудением пара; вырываясь через отверстия в обшивке труб, он все заволакивал белесоватой пеленой, а колокол на баке, не переставая, звонил.

Наконец судно отвалило, и берега, застроенные складами, верфями и мастерскими, медленно потянулись, развертываясь, точно две широкие ленты.

Молодой человек лет восемнадцати с длинными волосами неподвижно стоял около штурвала, держа под мышкой альбом. Сквозь мглу он всматривался в колокольни, в неизвестные ему здания; потом в последний раз обвел глазами остров Святого Людовика, Старый город, собор Богоматери и, наконец, глубоко вздохнул: Париж исчезал из глаз.

Фредерик Моро, недавно получивший диплом бакалавра, возвращался в Ножан-на-Сене, где ему предстояло томиться целых два месяца, прежде чем он уедет «изучать право». Мать, снабдив сына необходимой суммой денег, отправила его в Гавр — навестить дядю, который, как она надеялась, мог оставить ему наследство. Фредерик приехал оттуда только накануне и, не имея возможности задержаться в столице, вознаграждал себя тем, что возвращался домой самым длинным путем.

Суматоха улеглась; все разошлись по своим местам; кое-кто стоя грелся у машины; а труба с медленным ритмическим хрипением выбрасывала дым, поднимавшийся

черным султаном; по ее медным частям стекали капельки воды; палуба дрожала от легкого внутреннего сотрясения; колеса, быстро вращаясь, разбрасывали брызги.

Река была окаймлена песчаными отмелями. По пути встречались то плоты, качавшиеся на волнах от парохода, то какая-нибудь лодка без парусов, а в ней — человек, удивший рыбу; вскоре зыбкая мгла рассеялась, показалось солнце, холм, возвышавшийся на правом берегу Сены, стал постепенно понижаться, а на противоположном берегу, еще ближе к реке, появился новый холм.

Он увенчан был деревьями, среди них мелькали приземистые домики с крышами в итальянском вкусе. По склону спускались сады, отделенные друг от друга новенькими оградами, виднелись железные решетки, газоны, теплицы и вазы с геранью, симметрично расставленные на перилах, на которые можно было облокотиться. Не один путешественник, завидев эти нарядные приюты отдохновения, жалел, что не он их владелец, и рад был бы прожить здесь до конца своих дней с хорошим бильярдом, лодкой, подругой или каким-нибудь иным предметом мечтаний. Удовольствие, которое испытывали совершавшие первый раз путешествие по воде, способствовало сердечным излияниям. Шутники начинали балагурить. Неслись песни. Было весело. Кое-кто уже приложился к рюмке.

Фредерик думал о комнате, в которой ему предстояло жить, о плане драмы, о сюжетах для картин, о будущих увлечениях. Он находил, что счастье медлит вознаградить его совершенства. Он декламировал про себя грустные стихи; нетерпеливо расхаживал по палубе; дошел до конца ее, где висел колокол, и здесь, среди пассажиров и матросов, увидел господина, который развлекал комплиментами крестьянку и вертел золотой крестик, висевший у нее на груди. Мужчина был весельчак, курчавый, лет сорока. Коренастую фигуру его плотно облегала черная бархатная куртка, на манжетах батистовой сорочки сверкали две изумрудные запонки, а из-под широких белых панталон видны были какие-то необыкновенные сапоги из красного сафьяна с синими узорами.

Его не смутило присутствие Фредерика. Он несколько раз к нему оборачивался и подмигивал, словно хотел с ним заговорить; потом угостил сигарами всех стоявших вокруг. Но, соскучившись, видимо, в этой компании, вскоре отошел. Фредерик последовал за ним.

Вначале разговор касался различных сортов табака,

потом самым естественным образом перешел на женщин. Господин в красных сапогах дал молодому человеку несколько советов; он развивал теории, рассказывал анекдоты, ссылался на собственный опыт и вел свой развращающий рассказ отеческим, забавно простодушным тоном.

Он называл себя республиканцем; он много путешествовал, был знаком с закулисной жизнью театров, ресторанов, газет и со всеми знаменитыми артистами, которых фамильярно называл по имени; Фредерик вскоре поделился с ним своими планами; он их одобрил.

Но, внезапно прервав разговор, взглянул на трубу парохода, потом, что-то бормоча, стал производить вычисления, дабы узнать, «сколько всего получится ударов, если поршень делает их столько-то в минуту», и т. д. А когда цифра была определена, начал восхищаться пейзажем. По его словам, он был счастлив, что теперь отдыхает от всяких дел.

Фредерик невольно почувствовал уважение к нему и не устоял против желания узнать, как зовут собеседника. Тот ответил, не переводя дыхания:

— Жак Арну, владелец «Художественной промышленности» на бульваре Монмартр.

Слуга в фуражке с золотым галуном, подойдя к нему, сказал:

— Не пройдете ли вниз, сударь? Мадмуазель плачет.

И удалился.

В «Художественной промышленности», предприятии смешанном, объединялись газета, посвященная живописи, и лавка, где торговали картинами. Это название Фредерику неоднократно приходилось читать в родном городе, на огромных объявлениях, у книготорговца, где имя Жака Арну занимало видное место.

Солнце стояло над самой головой, в его лучах сверкали железные скрепы мачт, металлическая обшивка судна и поверхность воды; от носа парохода расходились две борозды, тянувшиеся до самых лугов. При каждом повороте реки взгляд вновь встречал все те же ряды серебристых тополей. Берега были безлюдны. В небе застыли белые облачка; разлитая повсюду скука, казалось, замедляла движение парохода и придавала путешественникам еще более невзрачный вид.

За исключением нескольких буржуа, ехавших в первом классе, все это были рабочие и лавочники с женами

и детьми. В ту пору принято было похуже одеваться в дорогу, поэтому почти все были в каких-то старых шапках или вылинявших шляпах, в обтрепанных черных фраках, истершихся за канцелярскими столами, или же в сюртуках, так долго служивших их владельцам за прилавком магазина, что продралась вся материя на пуговицах; кое у кого под жилетом с отворотами виднелась коленкоровая рубашка, забрызганная кофе; галстуки, превратившиеся в тряпки, были заколоты булавками из накладного золота; матерчатые туфли придерживались штрипками. Какие-то подозрительные личности с бамбуковыми тростями на кожаных петлях оглядывались по сторонам, отцы семейств таращили глаза и приставали ко всем с вопросами. Одни разговаривали стоя, другие — присев на свои пожитки; некоторые спали, забившись в угол; кое-кто занялся едой. На палубе валялись ореховая скорлупа, окурки сигар, кожура от груш, обрезки колбасы, принесенной в бумаге; три столяра, одетых в блузы, не отходили от буфетной стойки; арфист в лохмотьях отдыхал, облокотившись на свой инструмент; по временам слышно было, как в топку бросают уголь, раздавались возгласы, смех; а капитан все время шагал по мостику от одного кожуха к другому. Чтобы пройти к своему месту, Фредерик толкнул дверцу в первый класс, потревожив двух охотников с собаками.

И словно видение предстало ему.

Она сидела посередине скамейки одна; по крайней мере, он больше никого не заметил, ослепленный сиянием ее глаз. Как раз когда он проходил, она подняла голову; он невольно склонился и только потом, когда сам занял место несколько дальше, с той же стороны, что и она, стал смотреть на нее.

На ней была соломенная шляпа с широкими полями и розовыми лентами, развевавшимися по ветру за ее спиной. Гладко причесанные черные волосы, собранные очень низко, спускались на щеки, касаясь длинных бровей, и, словно ласковыми ладонями, сжимали ее овальное лицо. Платье из светлой кисеи с мушками ложилось пышными складками. Она что-то вышивала; ее прямой нос, ее подбородок, вся ее фигура вырисовывались на фоне голубого неба.

Она продолжала сидеть все в той же позе, а он несколько раз прошелся взад и вперед, стараясь казаться равнодушным, потом остановился возле скамейки, к ко-

торой был прислонен ее зонтик, и притворился, будто следит за лодкой на реке.

Никогда не видел он такой восхитительной смуглой кожи, такого чарующего стана, таких тонких пальцев, просвечивавших на солнце. На ее рабочую корзинку он глядел с изумлением, словно на что-то необыкновенное. Как ее зовут, откуда она, что у нее в прошлом? Ему хотелось увидеть обстановку ее комнаты, все платья, которые она когда-либо надевала, людей, с которыми она знакома; даже стремление обладать ею исчезало перед желанием более глубоким, перед мучительным любопытством, которому не было предела.

Подошла негритянка в косынке, ведя за руку довольно большую девочку. Ребенок только что проснулся и был весь в слезах. Она посадила девочку к себе на колени. «Девица плохо себя ведет, а ведь ей скоро уже семь лет; мама ее разлюбит; слишком часто прощаются ей капризы». Фредерик радостно слушал эти слова, точно они были для него откровением.

Уж не андалузка ли она родом или креолка? И не с островов ли вывезла она эту негритянку?

За ее спиной, на медной обшивке борта, лежала длинная шаль с лиловыми полосами. Не раз, наверное, на море, в сырые вечера, она куталась в эту шаль, укрывала ею ноги, спала в ней! Но бахрома перетягивала шаль, и та медленно сползала вниз — вот-вот упадет в реку. Фредерик подхватил ее. Дама сказала:

— Благодарю вас.

Глаза их встретились.

— Жена, ты готова? — крикнул г-н Арну, появляясь на лестнице.

Мадмуазель Марта подбежала к нему, повисла у него на шее и стала дергать за усы. Раздались звуки арфы, девочке захотелось «посмотреть на музыку», и вскоре негритянка, посланная за арфистом, привела его в первый класс. Арну узнал в нем бывшего натурщика; к удивлению присутствующих, он стал говорить ему «ты». Но вот арфист откинул длинные волосы, вытянул руки и коснулся струн.

То был восточный романс, где речь шла о кинжалах, цветах и звездах. Человек в лохмотьях пел обо всем этом пронзительным голосом; стук машины врывался в мелодию, нарушая такт; арфист сильнее ударял по струнам; они дрожали, и, казалось, в их металлических звуках

слышны были рыдания и жалобы гордой, но побежденной любви. Леса, тянувшиеся по берегам, спускались к самой воде; дул свежий ветерок; г-жа Арну рассеянно глядела вдаль. Когда музыка умолкла, она несколько раз сомкнула и разомкнула веки, словно пробуждаясь от сна.

Арфист смиренно приблизился к ним. Пока Арну искал мелочь, Фредерик протянул руку и, стыдливо разжав ее над фуражкой музыканта, положил туда луидор. Не тщеславие побудило его подать эту милостыню на глазах у нее, а порыв души, почти благоговейный, к которому он мысленно приобщил и ее.

Арну, пропуская молодого человека, стал любезно уговаривать его пройти вниз. Фредерик уверял, что сейчас только позавтракал; на самом деле он умирал от голода, а в кошельке у него не было ни сантима.

Но тут же он решил, что имеет право, как и всякий другой, находиться в каюте.

Несколько буржуа закусывали, сидя за круглыми столами; между ними сновал официант; супруги Арну расположились в глубине направо; Фредерик, убрав газеты, сел на длинный бархатный диванчик.

В Монтеро им предстояло пересесть в шалонский дилижанс. Их путешествие по Швейцарии рассчитано на месяц. Г-жа Арну упрекнула мужа в том, что он балует ребенка. Он что-то шепнул ей на ухо, должно быть, какую-нибудь любезность, потому что она улыбнулась. Потом он встал и задернул занавески на окне за ее спиной.

Низкий белый потолок резко отражал свет. Фредерик, сидевший против нее, различал тень от ее ресниц. Она прикасалась губами к стакану, отламывала кусочки хлеба; медальон из бирюзы на золотом браслете в виде цепочки время от времени позвякивал, ударяясь о тарелку. А те, что были кругом, как будто и не замечали ее.

Иногда в иллюминатор можно было увидеть борт лодки, причаливавшей к пароходу, чтобы принять или высадить пассажиров. Люди, сидевшие за столами, наклонялись к окошку и называли местность.

Арну выражал недовольство поваром, а когда подали счет, возмутился и потребовал, чтобы сбавили цену. Затем он повел молодого человека на бак — выпить грогу, но Фредерик скоро вернулся под тент, куда снова пришла г-жа Арну. Она читала тоненькую книжку в серой обложке. Уголки ее рта временами приподнимались, и словно луч радости озарял ее лицо. Он позавидовал тому, кто со-

чинил все эти вещи, видимо, занимавшие ее. Чем больше он любовался ею, тем сильнее чувствовал, как между ними возникает пропасть. Он думал о том, что вот сейчас надо будет расстаться с ней навсегда, не дождавшись от нее ни единого слова, не оставив о себе даже воспоминания!

Справа была равнина, налево пастбище; оно тянулось до склона холма, где виднелись виноградники, орешник, мельница в зелени, а дальше тропинки зигзагами вились по белой скале, уходившей в небо. Какое счастье подниматься рядом с нею на холм, обняв ее за талию, меж тем как платье ее будет задевать пожелтевшие листья, слушать ее голос, видеть сияние ее глаз! Пароход мог бы остановиться, им стоило лишь сойти на берег; но все, что казалось так просто, было не легче, чем повернуть солнце.

Немного дальше открылся за́мок с остроконечной крышей, с четырехугольными башенками. Перед его фасадом расстилались цветники, а липовые аллеи уходили высокими темными сводами в глубь парка. Он представил себе, что она гуляет вдоль живой изгороди. В эту минуту на крыльцо, где стояли кадки с померанцевыми деревьями, вышла дама и молодой человек. Потом все скрылось.

Подле него играла девочка. Фредерик хотел ее поцеловать. Она спряталась за няниной спиной; мать пожурила ее за то, что она нелюбезна с господином, который спас шаль. Не приглашение ли это вступить в беседу?

«Быть может, теперь она заговорит со мной?» — спрашивал он себя.

Времени оставалось мало. Как добиться приглашения к Арну? Фредерик не придумал ничего лучшего, как обратить его внимание на осенние тона пейзажа, и прибавил:

— Недалеко уже и зима — время балов и обедов!

Но Арну всецело был поглощен своим багажом. Показался сюрвильский берег, приближались мосты; вот миновали канатный завод, ряд низких домов; на берегу стояли котлы с дегтем, разбросаны были щепки, а на песке вертелись колесом мальчишки. Фредерик узнал человека в куртке и закричал ему:

— Поскорей!

Причалили. Он с трудом отыскал Арну в толпе пассажиров, и тот, пожимая ему руку, сказал:

— Всего доброго.

На набережной Фредерик оглянулся. Г-жа Арну стояла около руля. Он обратил к ней взгляд, в который хотел

вложить всю свою душу; она не пошевелилась, как будто ничего не произошло. Не отвечая на приветствие слуги, Фредерик прикрикнул на него:

— Почему ты не подъехал ближе?

Слуга стал извиняться.

— Какой бестолковый! Дай мне денег!

Фредерик отправился в харчевню поесть.

Четверть часа спустя ему захотелось как бы невзначай зайти на почтовый двор. Не увидит ли он ее еще раз?

«К чему?» — спросил он себя.

И, сев в шарабан, уехал. Из пары лошадей только одна принадлежала его матери. Вторую она попросила у Шамбриона, податного инспектора. Исидор, выехавший накануне, до вечера отдыхал в Бре, а ночевал в Монтеро, так что лошади, передохнув, бежали резво.

Без конца тянулись жнивья. Дорогу окаймляли два ряда деревьев, мелькали одна за другой кучи булыжника, и мало-помалу Фредерику вспомнилось все путешествие: Вильнев-Сен-Жорж, Аблон, Шатийон, Корбей и другие места,— вспомнилось так ярко, что теперь он различил новые подробности, более интимные штрихи. Из-под нижней оборки ее платья выступала ножка в узком шелковом башмачке коричневого цвета; тиковый тент поднимался над ее головой, как широкий балдахин, красные кисточки его бахромы все время трепетали от ветра.

Она была похожа на женщин из книг романтиков. Он ничего бы не прибавил к ее облику, ничего бы не убавил в нем. Мир внезапно расширился. Она была той лучезарной точкой, в которой сосредоточился смысл бытия, и, убаюканный движением экипажа, он устремил взгляд к облакам, полузакрыл веки и весь отдался радости, мечтательной и беспредельной.

В Бре он не стал ждать, пока лошадям зададут овса, и один пошел вперед по дороге. Арну звал ее «Мари». Он крикнул громко: «Мари!» Голос его замер в отдалении.

Небо на западе пылало широким пурпурным пламенем. Большие скирды пшеницы отбрасывали огромные тени среди сжатых полей. Где-то на ферме залаяла собака. Он вздрогнул, охваченный необъяснимым волнением.

Когда Исидор догнал его, он сел на козлы, чтобы править самому. Чувство неуверенности прошло. Он твердо решил во что бы то ни стало войти в дом супругов Арну и ближе познакомиться с ними. У них должно быть весело, к тому же и сам Арну ему нравился; а там — как знать?

Лицо у него зарделось, в висках стучало, он щелкнул бичом, дернул вожжи, и лошади так понесли, что старый кучер то и дело повторял:

— Потише! Да потише! Вы их загоните.

Фредерик наконец успокоился и стал слушать, что рассказывал слуга.

— Молодого хозяина ждут с нетерпением. Мадмуазель Луиза даже плакала,— так ей хотелось поехать ему навстречу.

— Какая мадмуазель Луиза?

— Да дочка господина Рокка!

— Ах, я и забыл! — небрежно ответил Фредерик.

Между тем лошади выбились из сил. Обе захромали, и на башне святого Лаврентия пробило уже девять, когда Фредерик прибыл на Оружейную площадь, где стоял дом его матери. Этот просторный дом с садом, выходившим в поле, придавал еще больше веса г-же Моро, самой уважаемой особе во всей округе.

Она происходила из старинного дворянского рода, ныне угасшего. Муж ее, плебей, за которого выдали ее родители, погиб на дуэли, когда она была беременна, и оставил ей расстроенное состояние. Она принимала у себя три раза в неделю и время от времени давала прекрасные званые обеды. Но каждая свеча заранее была на счету, арендная плата ожидалась с нетерпением. Эта ограниченность средств, которую она скрывала как порок, была причиной ее постоянной озабоченности. Добродетель ее проявлялась без ханжества, без озлобления. Малейшая ее милостыня казалась величайшим благодеянием. С г-жой Моро советовались о выборе прислуги, о воспитании молодых девиц, о том, как варить варенье, и его преосвященство, когда объезжал епархию, останавливался у нее.

Госпожа Моро возлагала на своего сына честолюбивые надежды. Как бы заранее принимая меры предосторожности, она не любила, когда при ней порицали правительство. В первое время Фредерику потребуется протекция; потом благодаря своим способностям он станет советником, посланником, министром. Успехи сына в Санском коллеже оправдывали ее материнскую гордость: он получил там первую награду.

Когда он вошел в гостиную, все с шумом поднялись, его стали обнимать; потом расставили стулья и кресла широким полукругом у камина. Г-н Гамблен тотчас же спросил его, как он смотрит на дело г-жи Лафарж. Этот

нашумевший процесс сразу же вызвал горячий спор; правда, г-жа Моро прекратила его, к досаде г-на Гамблена, гость же видел в нем пользу для молодого человека — будущего юриста — и с обидой покинул гостиную.

Впрочем, тут нечему было удивляться, раз г-н Гамблен — приятель дядюшки Рокка! В связи с дядюшкой Рокком речь зашла и о г-не Дамбрёзе, который только что приобрел поместье Ла Фортель. Но Фредерика уже отвел в сторону податный инспектор, интересуясь его мнением о последнем труде Гизо. Все желали узнать, каковы дела Фредерика, и г-жа Бенуа ловко приступила к расспросам, справившись о здоровье дядюшки. Как поживает этот милый родственник? О нем что-то ничего не слышно. Ведь у него есть в Америке троюродный брат?

Кухарка доложила, что г-ну Фредерику подано кушать. Гости из скромности удалились. А когда мать и сын остались одни, она вполголоса спросила:

— Ну что?

Старик принял его очень сердечно, но своих намерений не открывал.

Госпожа Моро вздохнула.

«Где-то она сейчас? — думал Фредерик.— Дилижанс катит, и, наверно, закутавшись в шаль, она дремлет, прислонясь прелестной головкой к суконной обивке кареты».

Когда они уже поднимались в свои спальни, мальчик из гостиницы «Созвездие лебедя» принес записку.

— Что такое?

— Делорье просит меня выйти к нему,— ответил Фредерик.

— А! Твой товарищ! — презрительно усмехнулась г-жа Моро.— Нашел время, право!

Фредерик был в нерешительности. Но дружба пересилила. Он взялся за шляпу.

— Только возвращайся скорее,— сказала ему мать.

II

Отец Шарля Делорье, бывший пехотный капитан, выйдя в отставку в 1818 году, возвратился в Ножан, женился и на деньги от приданого купил должность судебного пристава, которая еле-еле давала ему средства к существованию. Озлобленный рядом несправедливостей, страдая от старых ран и не переставая жалеть об Импера-

торе, он изливал на окружающих душивший его гнев. Не многих детей колотили так часто, как его сына. Несмотря на побои, мальчуган упорствовал. Если мать пыталась за него заступиться, отец обходился с нею так же грубо, как и с сыном. Наконец капитан засадил его в свою контору, и мальчик целыми днями должен был, согнувшись, переписывать бумаги, отчего правое плечо у него стало заметно выдаваться.

В 1833 году, по предложению председателя суда, капитан продал контору. Жена его умерла от рака. Он переехал в Дижон; потом, устроившись в Труа, занялся поставкой рекрутов и, добившись для Шарля половинной стипендии, отдал его в Санский коллеж, где с ним и встретился Фредерик. Но одному было двенадцать лет, другому пятнадцать; к тому же характер и происхождение создавали между ними множество преград.

В комоде у Фредерика водилась всякая снедь, были редкостные вещицы — туалетный прибор, например. Он любил долго спать по утрам, наблюдать полет ласточек, читать драмы и, жалея о приятностях домашнего очага, находил жизнь в коллеже тяжелой.

Сыну судебного пристава она, наоборот, казалась привольной. Он учился так хорошо, что к концу второго года перешел в третий класс. Однако — вследствие бедности или сварливого нрава — он был окружен глухим недоброжелательством. И вот однажды, когда во дворе перед целой ватагой учеников средних классов служитель обозвал Шарля оборвышем, мальчик схватил его за горло и убил бы, если бы не подоспели три надзирателя. Фредерик в порыве восторга бросился обнимать его. С того дня и началась у них дружба. Привязанность старшего, несомненно, льстила тщеславию малыша, а старший был счастлив встретить такую преданность.

На время каникул отец не брал его из коллежа. Перевод Платона, случайно попавшийся Шарлю, привел его в восхищение. Он увлекся метафизикой и быстро сделал большие успехи, ибо за изучение ее он взялся с юношеским пылом, с гордостью пробуждающегося сознания; Жуффруа, Кузен, Ларомигьер, Мальбранш, шотландцы — все, что имелось в библиотеке, было прочитано. Ему пришлось украсть ключ, чтобы добывать книги...

Развлечения Фредерика были менее серьезного свойства. На улице Трех Волхвов он срисовал родословную Христа, вырезанную на одной из колонн, потом изобразил

портал собора. После средневековых драм он взялся за мемуары Фруасара, Комина, Пьера де Летуаля, Брантома. Образы, навеянные этим чтением, так его захватили, что он почувствовал потребность их воспроизвести. Он лелеял гордую надежду стать со временем французским Вальтером Скоттом. А Делорье обдумывал обширную философскую систему, которая найдет применение в грядущих веках.

Они разговаривали обо всем этом на переменах, во дворе, перед нравоучительной надписью под часами; они перешептывались в церкви под носом у Людовика святого; они мечтали о том же и в дортуаре, окна которого выходили на кладбище. В дни, когда бывала прогулка, они становились в последней паре и болтали без умолку.

Они говорили о том, что будут делать, когда окончат коллеж. Прежде всего они предпримут большое путешествие — на те деньги, что Фредерик, достигнув совершеннолетия, получит со своего капитала. Потом они возвратятся в Париж, станут вместе работать, никогда не разлучатся, а от своих трудов будут отдыхать, наслаждаясь любовью принцесс в атласных будуарах или тешась шумными оргиями с знаменитыми куртизанками. Взлеты надежды сменялись сомнениями. После приступов веселой болтливости наступало глубокое молчание.

Летними вечерами они долго бродили по каменистым дорожкам вдоль виноградников или по большой дороге среди полей, где в лучах заходящего солнца колыхались колосья и веяло запахом дягиля; когда им становилось душно, они ложились на спину, одурманенные, опьяненные. Их товарищи, сняв куртки, бегали вперегонки или пускали воздушных змеев. Надзиратель сзывал их. Домой возвращались мимо садов, пересеченных ручейками, потом шли бульварами в тени старых стен; шаги гулко отдавались в пустынных улицах; открывалась калитка, все поднимались по лестнице, и друзьями овладевала тоска, как после бурного кутежа.

Господин инспектор утверждал, что они только будоражат друг друга. Однако если в старших классах Фредерик проявлял хоть какое-то усердие, то лишь благодаря увещаниям товарища, а на каникулы в 1837 году он повез Делорье к своей матери.

Молодой человек не понравился г-же Моро. Ел он необычайно много, отказывался ходить по воскресеньям в церковь, рассуждал в республиканском духе, наконец, до

нее дошел слух, что он водил ее сына в непотребные места. За ними стали следить. От этого мальчики больше прежнего привязались друг к другу, и, когда на следующий год Делорье покинул коллеж и уехал в Париж изучать право, расставание было мучительным.

Фредерик рассчитывал там встретиться с ним. Они не виделись уже два года; кончив обниматься, друзья пошли к мостам, чтобы как следует наговориться.

Сын потребовал у отца отчета по опеке; капитан — он содержал теперь бильярдный зал в Вильноксе — пришел в ярость и наотрез отказал ему в поддержке. Мечтая в будущем получить по конкурсу профессорскую кафедру, а сейчас вовсе не имея денег, Делорье поступил старшим клерком к адвокату в Труа. Он намеревался ценою лишений скопить четыре тысячи франков, и, если ему даже ничего не достанется из материнского наследства, все же у него будут средства, чтобы спокойно заниматься в течение трех лет, в ожидании места. Значит, надо было отказаться, по крайней мере сейчас, от их давнего плана — вместе поселиться в столице.

Фредерик поник головой. Рушилась первая его мечта.

— Утешься,— сказал сын капитана,— жить нам еще долго, мы молоды. Я к тебе приеду! Брось об этом думать!

Он тряс друга за руки и, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей, начал расспрашивать о путешествии.

Фредерик мало что мог рассказать. Но при воспоминании о г-же Арну его печаль рассеялась. Он не стал говорить о ней: его удерживала стыдливость. Зато распространился об Арну: о его словах, манерах, связях; Делорье настойчиво посоветовал ему поддерживать это знакомство.

Фредерик последнее время ничего не писал; его литературные взгляды изменились; он выше всего ставил страсть; Вертер, Рене, Франк, Лара, Лелия и другие менее замечательные персонажи восхищали его почти в равной мере. А порою ему казалось, что только музыка способна выразить его глубокое волнение: тогда он грезил симфониями; порою же его увлекал внешний облик предметов, и тогда ему хотелось быть живописцем. Впрочем, он сочинял и стихи; Делорье очень одобрил их, но не просил почитать еще.

Сам же он забросил метафизику. Его занимали политическая экономия и французская революция. Шарль был теперь высокий малый двадцати двух лет, худой, с боль-

шим ртом, решительный на вид. В тот вечер на нем было скверное люстриновое пальто, а башмаки его побелели от пыли, так как он пешком проделал весь путь от Вильнокса, только чтобы повидать Фредерика.

К ним навстречу шел Исидор. Г-жа Моро просит г-на Фредерика вернуться, она боится, как бы он не озяб, и посылает ему плащ.

— Да не торопись! — сказал Делорье.

И они продолжали ходить из конца в конец по обоим мостам, что ведут на остров, образуемый каналом и рекою.

Когда они поворачивали в сторону Ножана, прямо перед ними появлялись дома, спускающиеся по склону; направо, из-за лесопилен с закрытыми шлюзами, выступала церковь, налево же, окаймленные живой изгородью, тянулись по берегу сады, которые лишь с трудом удавалось различить. А по направлению к Парижу дорога спускалась совершенно прямо, и луга уходили в даль, окутанную ночною мглой. Ночь была безмолвна, пронизана беловатым сиянием. Чувствовался запах влажной листвы. От запруженной реки, шагах в ста отсюда, доносился сильный и мягкий шум, похожий на звук прибоя в темноте.

Делорье остановился и сказал:

— Добрые люди мирно спят — вот забавно! Но терпение! Готовится новый восемьдесят девятый год. Мы устали от конституций, хартий, хитросплетений, всякой лжи. О, если бы у меня была своя газета или трибуна, я бы все это ниспровергнул! Но без денег ничего не предпримешь. Вот проклятие — быть сыном кабатчика и растрачивать молодость в погоне за куском хлеба!

Он опустил голову и закусил губы, дрожа от холода в легком пальто.

Фредерик накинул ему на плечи половину своего плаща. Они закутались в него и, прижавшись друг к другу, пошли рядом.

— Как же я буду жить там один, без тебя? — говорил Фредерик. (Горечь друга вновь пробудила в нем тоску.) — Я бы еще, пожалуй, сделал что-нибудь, будь со мной любящая женщина... Чему ты смеешься? Любовь — это духовная пища и как бы атмосфера таланта. Необычайные чувства порождают высокие творения. Но искать ту, которая мне нужна,— нет, от этого я отказываюсь! Впрочем, даже если я когда-нибудь найду ее, она меня оттолкнет. Я принадлежу к отверженным, я угасну, владея сокрови-

щем, и не буду знать, поддельный ли это камень или бриллиант.

Чья-то тень легла на мостовую, и тотчас же они услышали:

— Мое почтение, господа!

Слова эти произнес маленький человечек в широком коричневом сюртуке и в фуражке, под козырьком которой торчал острый нос.

— Господин Рокк? — сказал Фредерик.

— Он самый! — ответил голос.

Житель Ножана объяснил свое появление тем, что ходил осматривать волчьи капканы, расставленные им у себя в саду, у реки.

— Так вы вернулись в наши края? Прекрасно! Я это узнал от дочки. В добром здравии, надеюсь? Еще не скоро уезжаете?

С этими словами он удалился, недовольный, вероятно, тем, как его встретил Фредерик.

Госпожа Моро и в самом деле не поддерживала с ним знакомства: дядюшка Рокк находился в незаконном сожительстве со своей служанкой и не пользовался уважением, хотя и был у г-на Дамбрёза агентом по выборам и управляющим.

— Он служит у банкира, что живет на улице Анжу?— спросил Делорье.— Знаешь, друг любезный, что ты должен сделать?

Исидор во второй раз прервал их беседу. Ему было велено непременно привести Фредерика. Г-жу Моро беспокоит его отсутствие.

— Хорошо, хорошо, сейчас,— сказал Делорье,—уж ночевать-то он придет домой.— И прибавил, когда слуга ушел: — Тебе надо бы попросить этого старика, чтоб он ввел тебя к Дамбрёзам; нет ничего полезнее, как бывать в богатом доме! Раз у тебя есть черный фрак и белые перчатки — воспользуйся этим. Тебе следует вращаться в таком обществе. Потом ты и меня туда введешь. Ведь он миллионер, подумай только! Постарайся понравиться ему, да и жене его тоже. Сделайся ее любовником!

Фредерик возмутился.

— Да ведь, кажется, я говорю тебе общеизвестные вещи? Вспомни хоть Растиньяка из «Человеческой комедии». Ты добьешься удачи, я уверен.

Фредерик питал такое доверие к Делорье, что даже растерялся, и, забывая о г-же Арну или мысленно приме-

няя к ней то, что было сказано по поводу другой, не мог удержаться от улыбки.

Клерк прибавил:

— И последний мой совет: сдай все экзамены! Звание всегда пригодится. И брось ты своих католических и сатанических поэтов, которые в философии ушли не дальше, чем люди двенадцатого века. Твое отчаяние просто глупо. Самым великим людям еще труднее было начинать, тому же Мирабо хотя бы. Впрочем, расстаемся мы не на такой уж долгий срок. Мошенника-отца я заставлю вернуть мою долю. Но мне пора идти, прощай! Нет ли у тебя ста су? Мне надо заплатить за обед.

Фредерик дал ему десять франков — остаток денег, которые он утром взял у Исидора.

В двадцати туазах от мостов, на левом берегу, в слуховом окне низенького дома блестел огонек.

Делорье заметил его. Сняв шляпу, он торжественно сказал:

— Венера, властительница небес, привет тебе! Но Нищета — мать Целомудрия. Чего о нас только не придумывали по этому поводу, боже ты мой!

Намек на приключение, в котором участвовали они оба, их развеселил. Идя по улицам, они громко смеялись.

Потом, расплатившись в гостинице, Делорье проводил Фредерика до перекрестка у больницы, и друзья, после долгих объятий, расстались.

III

Прошло два месяца, и вот Фредерик, только утром приехавший в гостиницу на улице Цапли, первым долгом решил сделать свой главный визит.

Случай ему благоприятствовал. Дядюшка Рокк принес ему сверток с бумагами и просил лично вручить их г-ну Дамбрёзу, а к свертку была приложена незапечатанная записка, в которой он рекомендовал своего молодого земляка.

Госпожу Моро это поручение как будто удивило. А Фредерик и виду не показал, насколько оно ему приятно.

Господин Дамбрёз был, собственно, графом д'Амбрёзом, но с 1825 года, изменяя своему титулу и своему кругу, он обратился к промышленности: он умел проведать

обо всем, что творится в любой конторе, принимал участие в любом предприятии, подстерегал всякий благоприятный случай и, хитрый, как грек, трудолюбивый, как овернец, нажил, по слухам, значительное состояние; кроме того, он был кавалером Почетного легиона, членом генерального совета в департаменте Обы, депутатом и не сегодня-завтра станет, конечно, пэром Франции; будучи человеком услужливым, он надоедал министру беспрестанными просьбами о пособиях, орденах, табачных привилегиях, а когда бывал недоволен властью, склонялся в сторону левого центра. Его жена, хорошенькая г-жа Дамбрёз, имя которой встречалось в журналах мод, председательствовала в благотворительных обществах. Угождая герцогиням, она смягчала гнев аристократического предместья и давала повод думать, будто г-н Дамбрёз еще может исправиться и быть полезным.

Молодой человек, собираясь к ним, волновался.

— Лучше было бы надеть фрак. Меня, наверно, пригласят на бал на следующей неделе. Что-то мне скажут?

Мысль о том, что г-н Дамбрёз всего-навсего буржуа, вернула ему прежнюю уверенность, и он смело выпрыгнул из кабриолета на тротуар улицы Анжу.

Толкнув створку ворот, он прошел двор, поднялся по ступенькам подъезда и вступил в вестибюль, где пол был выложен пестрым мрамором.

Двойная прямая лестница, устланная красным ковром с медными прутьями, подымалась между высоких стен, отделанных под мрамор. Внизу стояло банановое дерево, широкие листья которого касались бархата перил. С двух бронзовых канделябров свисали на цепочках фарфоровые шары; через открытые отдушины калорифера проникал тяжелый нагретый воздух; слышно было только тиканье больших часов, стоявших на другом конце вестибюля под развешанным на стене оружием.

Раздался звонок; появился лакей и провел Фредерика в маленькую комнату, где было два несгораемых шкафа и полки, заваленные папками. Г-н Дамбрёз писал, сидя за полукруглым бюро посередине комнаты.

Он пробежал письмо дядюшки Рокка, вскрыл перочинным ножом холст, в который были зашиты бумаги, и стал просматривать их.

Тонкий и стройный, он издали мог бы сойти за человека еще молодого. Но его редкие седые волосы, хилое тело, а главное, необычайно бледное лицо говорили о рас-

шатанном здоровье. В серо-зеленых глазах, холодных, как стекло, таилась неумолимая энергия. Скулы у него были широкие, суставы на пальцах узловатые.

Наконец он встал и задал молодому человеку несколько вопросов об общих знакомых, о Ножане, о его занятиях; потом легким поклоном дал понять, что не задерживает посетителя. Фредерик вышел другим ходом и очутился в конце двора, около каретных сараев.

Перед подъездом стояла синяя двухместная карета, запряженная вороной лошадью. Дверцу открыли, в экипаж села дама, и он с глухим стуком покатил по песку.

Фредерик оказался у ворот, к которым подошел с другой стороны, в одно время с каретой. Проезд был недостаточно широк, и ему пришлось пропустить экипаж. Молодая женщина, высунувшись в окошко, что-то тихо сказала привратнику. Фредерик видел ее со спины и не разглядел ничего, кроме фиолетовой накидки. Дама тут же скрылась внутри кареты, обитой голубым репсом, с кистями и шелковой бахромой. Там все заполнял собою ее наряд; из этой маленькой стеганой шкатулки веяло запахом ириса и как бы смутным благоуханием женской изысканности. Кучер отпустил поводья, лошадь рванула, задела за тумбу, и все скрылось.

Фредерик возвращался пешком по бульварам.

Он жалел, что не мог разглядеть г-жу Дамбрёз.

Миновав улицу Монмартр, он повернул голову, привлеченный скоплением экипажей, и на противоположной стороне, прямо перед собой, прочитал надпись на мраморной доске:

ЖАК АРНУ

Как это он раньше не подумал о ней? Во всем виноват Делорье. Фредерик направился к лавке; однако не вошел; он ждал, не появится ли г-жа Арну.

За большими зеркальными окнами были видны искусно размещенные статуэтки, рисунки, гравюры, каталоги, номера «Художественной промышленности», а условия подписки были воспроизведены на двери, украшенной посредине инициалами издателя. Вдоль стен стояли большие картины, блестевшие лаком, в глубине находились две горки с фарфором, бронзой, соблазнительными и занятными вещицами; там же начиналась маленькая лестница с триповой портьерой наверху, у выхода на площадку; лю-

стра старинного саксонского фарфора, зеленый ковер на полу, стол с инкрустацией придавали всему заведению вид скорее гостиной, чем магазина.

Фредерик притворился, будто разглядывает рисунки. После бесконечных колебаний он вошел.

Приказчик откинул портьеру и сообщил, что хозяина не будет «в магазине» до пяти часов. Но поручение можно передать...

— Нет, я зайду еще,— скромно ответил Фредерик.

Следующие дни он занялся поисками квартиры; свой выбор он остановил на помещении в третьем этаже меблированных комнат на улице Святого Гиацинта.

С новеньким бюваром под мышкой он отправился на первую лекцию. Триста молодых людей без шляп наполняли аудиторию, устроенную амфитеатром, а старец в красной мантии излагал что-то монотонным голосом; по бумаге скрипели перья. Здесь был тот же запах пыли, что и в классах коллежа, стояла такая же кафедра, царила та же скука! Целых две недели Фредерик ходил сюда. Но не успели студенты дойти до третьей статьи, как он бросил Гражданский кодекс, а с институциями расстался на summa divisio personarum [1].

Радости, на которые он надеялся, не приходили, и вот, исчерпав все запасы одной из библиотек, бегло осмотрев Лувр и несколько раз подряд побывав в театре, он впал в совершеннейшую праздность.

Тысячи мелочей, до сих пор ему неизвестных, усугубляли его тоску. Фредерику приходилось отдавать в стирку белье и терпеть присутствие привратника, невежи с повадками больничного служителя, от которого так и несло алкоголем, когда он, ворча, являлся по утрам, чтобы оправить постель. Да и самая комната, украшенная алебастровыми часами, не нравилась Фредерику. Стены были тонкие; он слышал, как студенты варят пунш, смеются, поют.

Устав от одиночества, он решил разыскать одного из своих прежних товарищей, Батиста Мартинона, и нашел его в буржуазном пансионе на улице Сен-Жак, у горящего камина, где тот зубрил судопроизводство.

Против него сидела женщина в ситцевом платье и штопала носки.

---

[1] Основное разделение лиц (субъектов гражданского права) *(лат.)*.

Мартинон был, что называется, красавец-мужчина: высокий, круглолицый, с правильными чертами лица и бледно-голубыми глазами навыкате; его отец, крупный землевладелец, предназначал сына для судейской карьеры, и Мартинон, желая казаться солидным, уже отпустил окладистую бороду.

Так как уныние Фредерика не имело никакой серьезной причины, его сетования на жизнь остались непонятны Мартинону. Сам он каждое утро посещал лекции, потом гулял в Люксембургском саду, вечером выпивал в кофейной полпорции кофе и, имея полторы тысячи франков в год, наслаждался любовью простой мастерицы и считал себя вполне счастливым.

«Что это за счастье!» — мысленно воскликнул Фредерик.

В университете же он завел другое знакомство — с г-ном де Сизи, отпрыском знатного рода, приятностью манер напоминавшим девицу.

Господин де Сизи рисовал, увлекался готикой. Несколько раз они вместе ходили любоваться храмом Сент-Шапель и собором Богоматери. Но за изысканностью молодого патриция скрывался ум самый убогий. Все поражало его; он долго смеялся малейшей шутке и выказывал наивность столь полную, что сперва Фредерик принимал его за шутника, а под конец увидел, что он просто глуп.

Итак, излить душу было некому, и он все еще ждал приглашения от Дамбрёзов.

На Новый год он послал им визитные карточки, но от них не получил ничего.

Фредерик опять зашел в «Художественную промышленность».

Он зашел туда и в третий раз и застал наконец Арну, который о чем-то спорил, окруженный пятью-шестью посетителями, и едва ответил на его поклон; Фредерика это обидело. Тем не менее он продолжал искать средства, как бы проникнуть к ней.

Сперва он задумал почаще приходить и прицениваться к картинам. Потом решил послать в журнал несколько статей, «да порезче», чтобы таким способом завязать отношения. Может быть, лучше всего прямо пойти к цели, признаться в любви? И он сочинил письмо в двенадцать страниц, полное лирических порывов и риторических обращений, но разорвал его и ничего не сделал, ничего не предпринял, скованный боязнью неудачи.

Над магазином Арну, во втором этаже, было три окна, где по вечерам всегда горел свет. Там двигались тени, особенно одна — ее тень; он проделывал длинный путь, лишь бы взглянуть на эти окна и посмотреть на эту тень.

Как-то раз в Тюильри ему повстречалась негритянка, которая вела за руку маленькую девочку; она напомнила ему негритянку г-жи Арну. Мари, должно быть, тоже бывает здесь; и всякий раз, как он проходил через Тюильри, сердце его билось при мысли, что он увидит ее. В солнечные дни он продолжал свои прогулки вплоть до Елисейских полей.

Небрежно откинувшись в колясках, чуть покачиваясь, проезжали мимо него женщины с развевавшимися от ветра вуалями; мерно двигались лошади, блестящая кожа сидений поскрипывала. Экипажей становилось все больше; начиная от круглой площадки, они замедляли ход и запружали всю дорогу — грива к гриве, фонарь к фонарю; стальные стремена, серебряные уздечки, медные пряжки выделялись блестящими точками среди мелькания рейтуз, белых перчаток и мехов, которые свешивались на гербы, украшавшие дверцы карет. Фредерик чувствовал себя словно затерянным среди чуждого мира. Его глаза, блуждая, следили за женскими головками, и даже смутное сходство вызывало в его памяти г-жу Арну. Он представлял себе ее среди толпы других, в одной из маленьких карет, похожих на карету г-жи Дамбрёз. Но солнце заходило, холодный ветер поднимал облака пыли. Кучера прятали подбородки в воротники, колеса вертелись быстрее, и под ними шелестела макадамовая мостовая; экипажи мчались по длинной аллее, задевая, обгоняя друг друга, а потом, на площади Согласия, разъезжались в разные стороны. За Тюильри небо окрашивалось в аспидный цвет. Деревья сада сливались в два огромных массива; вершины их еще лиловели. Зажигались газовые рожки, а Сена, зеленоватая на всем своем протяжении, покрывалась у опор мостов серебристой рябью.

Фредерик ходил обедать по абонементу за сорок три су в ресторан на улице Лагарпа.

Он с пренебрежением смотрел на старую стойку красного дерева, на грязные салфетки, на неопрятное серебро и на шляпы, висевшие на стене. Его окружали студенты, такие же, как он сам. Они разговаривали о своих профессорах, о своих любовницах. Какое ему дело до профессоров? И разве у него есть любовница? Избегая их веселого

общества, он приходил как можно позже. На столах еще не были убраны объедки. Оба лакея, усталые, дремали в углу; запах кухни, ламп и табака наполнял опустевшую комнату.

Потом он медленно возвращался. Покачивались фонари, в лужах дрожали длинные желтоватые отсветы. По тротуарам скользили тени под зонтиками. На мостовой было грязно, опускалась мгла, и ему казалось, что этот безграничный, сырой мрак, окутывая его, обволакивает и его душу.

Дали себя знать угрызения совести. Фредерик опять стал ходить на лекции. Но он так много их пропустил, что даже самые простые вещи затрудняли его.

Он начал писать роман под заглавием *Сильвио, сын рыбака*. Дело происходило в Венеции. Героем был он сам, героиней — г-жа Арну. Называлась она Антония, и, чтобы овладеть ею, он убивал нескольких дворян, сжигал часть города и пел под ее балконом на бульваре Монмартр, где развевались от дуновения ветерка красные штофные занавески. Слишком частые совпадения с действительностью смутили его, когда он их заметил; он не стал продолжать романа и окончательно предался праздности.

Он стал умолять Делорье приехать и поселиться вместе с ним. Они сумеют прожить на две тысячи франков, получаемые им на содержание; все лучше, чем эта нестерпимая жизнь. Делорье еще не мог уехать из Труа. Он рекомендовал Фредерику развлекаться и посещать Сенекаля.

Сенекаль был учитель математики, человек большого ума и республиканских убеждений, будущий Сен-Жюст, по словам клерка. Фредерик три раза поднимался к нему на шестой этаж, но визит так и не был ему отдан. Больше он туда не пошел.

Фредерику захотелось повеселиться. Он стал ходить на балы в Оперу. Не успевал он войти, как это бурное оживление обдавало его холодом. К тому же его удерживали и опасения меркантильного свойства, так как он воображал, будто ужин с маской требует огромных расходов и представляет собой рискованное похождение.

А между тем ему казалось, что его должны любить. Порою он просыпался, полный надежд, тщательно одевался, точно готовясь к свиданию, и совершал по Парижу бесконечные прогулки. Каждый раз, завидев женщину, шед-

шую впереди него или ему навстречу, он говорил себе: «Вот она!» — и каждый раз это было новое разочарование. Мысль о г-же Арну еще усиливала его вожделения. Он, может быть, встретит ее на своем пути; мечтая приблизиться к ней, он рисовал в своем воображении странные стечения обстоятельств, необыкновенные опасности, от которых он ее спасет.

А дни протекали так же томительно однообразно, в кругу заведенных привычек. Он перелистывал брошюры под аркадами «Одеона», ходил в кафе читать *Ревю де Дё Монд*, заходил на час в какую-нибудь аудиторию Французского коллежа — послушать лекцию о китайском языке или о политической экономии. Каждую неделю он писал пространные письма Делорье, время от времени обедал с Мартиноном, иногда встречался с г-ном де Сизи.

Он взял напрокат рояль и стал сочинять вальсы в немецком духе.

Однажды вечером в театре «Пале-Рояль» он заметил в одной из литерных лож Арну и рядом с ним женщину. Она ли это? Экран из зеленой тафты на барьере ложи закрывал ее лицо. Наконец занавес поднялся, экран убрали. Это была особа высокого роста, лет тридцати, уже поблекшая, с толстыми губами; когда она смеялась, открывался ряд великолепных зубов. Она фамильярно разговаривала с Арну и похлопывала его веером по пальцам. Потом показалась белокурая девушка с красноватыми, словно от слез, веками и села между ними. Теперь Арну склонился к ее плечу, что-то ей говорил, она слушала и не отвечала. Фредерик изощрялся в догадках, кто такие эти женщины, одетые в простые темные платья с гладкими отложными воротничками.

Когда представление окончилось, он поспешил в коридоры. Толпа заполняла их. Арну медленно спускался по лестнице впереди него, держа под руку обеих женщин.

Вдруг на него упал свет газового рожка. На его шляпе был креп. Не умерла ли она? Эта мысль так мучила Фредерика, что на другой же день он побежал в «Художественную промышленность», наскоро выбрал одну из гравюр, выставленных в витрине, и, расплачиваясь, спросил приказчика, как чувствует себя г-н Арну.

Приказчик ответил:

— Превосходно.

Фредерик, бледнея, задал второй вопрос:

— А госпожа Арну?

— Госпожа Арну тоже.

Фредерик забыл взять гравюру.

Зима кончилась. Весной ему было не так тоскливо, он стал готовиться к экзаменам и, выдержав их посредственно, сразу же уехал в Ножан.

В Труа, к своему другу, он не наведался, чтобы избежать замечаний матери. По возвращении в Париж он отказался от прошлогодней квартиры, нанял на набережной Наполеона две комнаты и обставил их. Он уже не надеялся на приглашение к Дамбрёзам; великая страсть к г-же Арну начала угасать.

IV

Однажды декабрьским утром, когда он шел на лекцию по судопроизводству, ему показалось, что на улице Сен-Жак больше оживления, чем обычно. Студенты стремительно выходили из кафе, другие перекликались, стоя у открытых окон; лавочники, вышедшие на тротуар, с беспокойством глядели по сторонам; закрывались ставни; а на улице Суффло он увидел огромную толпу, окружавшую Пантеон.

Молодые люди, кучками от пяти до двенадцати человек, прогуливались, взявшись под руки, и подходили к более многочисленным группам; в конце площади, у решетки, о чем-то с жаром рассуждали люди в блузах, а полицейские в треуголках набекрень, заложив руки за спину, шагали вдоль стен, стуча тяжелыми сапогами по каменным плитам. Вид у всех был таинственный и недоумевающий; чего-то явно ждали; у каждого на языке вертелся невысказанный вопрос.

Фредерик стоял подле молодого благообразного блондина с усами и бородкой, какие носили щеголи времен Людовика XIII. Фредерик спросил его о причине беспорядков.

— Ничего не знаю,— ответил тот,— да и они сами не знают! Теперь у них так принято! Потеха!

Он расхохотался.

Петиции о реформе, распространяемые среди Национальной гвардии для сбора подписей, перепись Юмана и другие события уже целых полгода вызывали в Париже непонятные сборища; и повторялись они столь часто, что газеты даже перестали о них упоминать.

— Нет у студентов ни запала, ни своего лица,— продолжал сосед Фредерика.— Сдается мне, милостивый государь, что мы вырождаемся. В доброе время Людовика Одиннадцатого и даже во времена Бенжамена Констана среди школяров больше было вольнолюбия. Теперь они, по-моему, смирны, как овечки, глупы, как пробки, и годны, прости господи, лишь в бакалейщики. И это называется студенчеством!

Он развел руками, совсем как Фредерик Леметр в роли Робера Макэра.

— Студенчество, благословляю тебя!

Затем, обратившись к тряпичнику, перебиравшему раковины от устриц на тумбе у винной лавки, спросил:

— А ты тоже принадлежишь к студенчеству?

Старик поднял безобразное лицо, покрытое седой щетиной, среди которой выделялись красный нос и бессмысленные, пьяные глаза.

— Нет, мне кажется, ты скорее *из тех, кому не миновать виселицы и кто, снуя в народе, полными пригоршнями сыплет золото*... О! Сыпь, патриарше, сыпь! Подкупай меня сокровищами Альбиона! Are you English? [1] Я не отвергаю даров Артаксеркса! Однако потолкуем о таможенном союзе.

Фредерик почувствовал, как кто-то тронул его за плечо; он обернулся. Это был Мартинон, страшно бледный.

— Ну, вот,— сказал он, глубоко вздохнув,— опять бунт!

Он боялся навлечь на себя подозрения и очень сокрушался. Особенно тревожили его люди в блузах, будто бы принадлежавшие к тайным обществам.

— Да разве существуют тайные общества! — сказал молодой человек с усами.— Это все старые сказки, которыми правительство запугивает буржуа!

Мартинон попросил его говорить потише: он опасался полиции.

— Вы еще верите в полицию? А в сущности, почем знать, сударь, может быть, я и сам сыщик?

И он так посмотрел на Мартинона, что тот, перепугавшись, сперва не понял шутки. Толпа оттеснила их, и всем троим пришлось стать на лесенке, ведущей к коридору, за которым находилась новая аудитория.

[1] Вы англичанин? *(англ.)*

Вскоре толпа расступилась; некоторые сняли шляпы: они приветствовали знаменитого профессора Самюэля Рондело — в широком сюртуке, с очками в серебряной оправе, сдвинутыми на лоб; страдая от одышки, он медленно шел читать лекцию. Это был один из тех, кто в области права составлял гордость XIX века, соперник Цахариев и Рудорфов. Удостоившись недавно звания пэра Франции, он ни в чем не изменил своих привычек. Было известно, что он беден, все относились к нему с большим уважением.

Между тем в конце площади раздались голоса:

— Долой Гизо!

— Долой Притчарда!

— Долой предателей!

— Долой Луи-Филиппа!

Толпа пришла в движение и, стеснившись у закрытых ворот во двор, не давала профессору пройти. Он остановился у лестницы. Вскоре он показался на третьей, верхней ступени. Он что-то начал говорить; толпа загудела, заглушая его слова. Только что он был любим, а теперь его уже ненавидели, ибо он представлял собою власть. Всякий раз, как он пытался что-то сказать, возобновлялись крики. Он сделал широкий жест, предлагая студентам следовать за ним. Ответом был общий рев. Профессор презрительно пожал плечами и исчез в коридоре. Мартинон воспользовался случаем и скрылся в одно время с ним.

— Экий трус! — сказал Фредерик.

— Осторожный! — отозвался молодой человек.

Толпа разразилась аплодисментами. Отступление профессора было ее победой. Из всех окон выглядывали любопытные. Некоторые запевали *Марсельезу*, другие предлагали идти к Беранже.

— К Лаффиту!

— К Шатобриану!

— К Вольтеру! — заорал белокурый молодой человек с усами.

Полицейские пытались проложить себе дорогу и говорили как можно мягче:

— Расходитесь, господа, расходитесь по домам!

Кто-то крикнул:

— Долой убийц!

Со времени сентябрьских волнений это стало обычным бранным словом. Все подхватили его. Блюстителям общественного порядка гикали, свистали; они побледнели; один из них не выдержал и, увидев низенького подростка,

подошедшего слишком близко и смеявшегося ему прямо в лицо, оттолкнул его с такой силой, что тот, отлетев шагов на пять, упал навзничь у лавки виноторговца. Все расступились; но почти тотчас же покатился и сам полицейский, сбитый с ног каким-то геркулесом, волосы которого выбивались из-под клеенчатой фуражки, точно свалявшаяся пакля.

Этот человек уже несколько минут стоял на углу улицы Сен-Жак, с большой картонкой в руках; быстро освободившись от нее, он бросился на полицейского и, подмяв его под себя, изо всей силы принялся барабанить кулаками по его физиономии. Подбежали другие полицейские. Грозный детина был так силен, что для его укрощения потребовалось не менее четырех человек. Двое трясли его за шиворот, двое тащили за руки, пятый коленкой пинал в зад, и все они ругали его разбойником, убийцей, бунтовщиком, а он, растерзанный, с обнаженной грудью, в одежде, от которой остались одни клочья, уверял, что не виноват: не мог он хладнокровно смотреть, как бьют ребенка.

— Меня зовут Дюсардье. Служу у братьев Валенсар, в магазине кружев и мод, на улице Клери. Где моя картонка? Отдайте мне картонку!

Он все твердил:

— Дюсардье!.. С улицы Клери! Отдайте картонку!

Однако он успокоился и стоически дал увести себя в участок на улицу Декарта. Вслед ему устремился целый поток. Фредерик и усатый молодой человек шли непосредственно за ним, восхищаясь этим приказчиком, негодуя на насилие власти.

Но по мере того как они приближались к цели, толпа редела.

Полицейские время от времени свирепо оборачивались, но так как буянам больше нечего было делать, а зевакам не на что смотреть, все мало-помалу разбрелись. Встречные прохожие разглядывали Дюсардье и вслух делали оскорбительные замечания. Какая-то старуха даже крикнула со своего порога, что он украл хлеб; эта несправедливость еще усилила раздражение обоих приятелей. Наконец дошли до кордегардии. Оставалось всего человек двадцать. Стоило им увидеть солдат, как разбежались и они.

Фредерик и его товарищ смело потребовали освобождения арестованного. Полицейский пригрозил им, что, если они будут настаивать, их тоже посадят. Они вызвали па-

чальника, назвали себя и сказали, что они студенты-юристы, а задержанный — их коллега.

Молодых людей ввели в совершенно пустую комнату с неоштукатуренными закопченными стенами, вдоль которых стояли четыре скамьи. В задней стене открылось окошечко. Показались огромная голова Дюсардье, его всклокоченные волосы, маленькие доверчивые глазки, приплюснутый нос — черты, чем-то напоминавшие морду добродушного пса.

— Не узнаешь нас? — сказал Юсоне. Так звали молодого человека с усами.

— Но...— пробормотал Дюсардье.

— Брось дурака валять! — продолжал тот.— Ведь ты же студент-юрист, как и мы.

Несмотря на их подмигивания, Дюсардье ничего не соображал. Он хотел было собраться с мыслями, потом вдруг спросил:

— Нашли мою картонку?

Фредерик, отчаявшись, возвел глаза к потолку. А Юсоне переспросил:

— Папку с записями лекций? Да, да, успокойся!

Они еще усерднее принялись делать ему знаки. Дюсардье понял наконец, что студенты пришли ему помочь, и замолчал, боясь невольно выдать себя. К тому же его смущало, что его возвышают до звания студента и приравнивают к молодым людям, у которых такие белые руки.

— Хочешь что-либо передать?

— Нет, благодарствуйте, некому!

— А родным?

Он опустил голову и ничего не ответил; бедняга был подкидыш. Приятели не могли понять причины его молчания.

— Есть у тебя что курить? — опять спросил Фредерик.

Тот пощупал у себя в кармане, потом извлек из него обломки трубки, прекрасной пенковой трубки с чубуком черного дерева, серебряной крышкой и мундштуком из янтаря.

Он три года трудился, чтобы довести ее до такого совершенства. Всегда держал ее в замшевом футляре, курил как можно медленнее, никогда не клал на мрамор и каждый вечер вешал у изголовья кровати. Теперь он подбрасывал осколки на ладони, из-под ногтей его сочилась кровь; он опустил голову на грудь и, раскрыв рот, остано-

вившимся, невыразимо печальным взглядом созерцал то, что осталось от его утехи.

— Дать ему сигар? А? — шепотом спросил Юсоне и опустил руку в карман.

Фредерик уже успел положить на окошечко полный портсигар.

— Бери! И до свидания! Не унывай!

Дюсардье схватил протянутые ему руки. Он сжимал их, голос его прерывался от слез.

— Как!.. Это мне?.. Мне?

Приятели, чтобы избежать его благодарности, удалились и вместе пошли завтракать в кафе «Табуре», против Люксембургского сада.

Разрезая бифштекс, Юсоне сообщил своему спутнику, что он сотрудничает в журналах мод и сочиняет рекламы для «Художественной промышленности».

— У Жака Арну? — спросил Фредерик.

— Вы его знаете?

— Да... То есть нет... То есть я видал его, познакомился с ним.

Он небрежно спросил Юсоне, встречается ли тот с его женой.

— Иногда,— отвечал сотрапезник.

Фредерик не решился продолжать расспросы; новый приятель сразу занял в его жизни огромное место; когда позавтракали, Фредерик заплатил по счету, что не вызвало возражения со стороны Юсоне.

Симпатия была взаимной; они обменялись адресами, и Юсоне дружески пригласил его пройтись с ним до улицы Флерюс.

Они находились в саду, когда сотрудник Арну, задержав дыхание, вдруг состроил отчаянную гримасу и закричал петухом. И все петухи по соседству ответили ему протяжным «кукареку».

— Это условный знак,— сказал Юсоне.

Они остановились около театра Бобино, перед домом, к которому вел узкий проход. На чердаке в окошечке, между настурцией и душистым горошком, показалась молодая женщина, простоволосая, в корсете, и оперлась на водосточный желоб.

— Здравствуй, ангел мой, здравствуй, детка! — Юсоне посылал ей воздушные поцелуи.

Он ногой толкнул калитку и скрылся.

Фредерик ждал его целую неделю. Он не решался идти

к Юсоне сам, чтобы не подать вида, будто ему не терпится получить ответное приглашение на завтрак; зато он исходил весь Латинский квартал в надежде встретиться с ним. Как-то вечером он столкнулся с Юсоне и привел его к себе в комнату на набережной Наполеона.

Беседа была продолжительной; они разговорились по душам. Юсоне мечтал о театральной славе и театральных доходах. Он участвовал в сочинении водевилей, которых никто не ставил, «имел массу планов», придумывал куплеты, некоторые из них пропел. Потом, заметив на этажерке книгу Гюго и томик Ламартина, разразился сарказмами по поводу романтической школы. У этих поэтов нет ни здравого смысла, ни стиля, да и не французы они — вот что главное! Он хвалился знанием языка и к самым красивым оборотам придирался с той ворчливой строгостью, с той академичностью вкуса, какой отличаются люди легкомысленные, когда они рассуждают о высоком искусстве.

Фредерик был оскорблен тем, что Юсоне не разделяет его пристрастий; ему хотелось тут же порвать знакомство. Но почему бы не рискнуть и не заговорить о том, от чего зависит его счастье? Он спросил литературного юнца, не может ли тот ввести его к Арну.

Это не представляло никаких затруднений, и они условились встретиться на следующий день.

Юсоне не пришел в назначенное время; затем обманул еще три раза. Явился он однажды в субботу, около четырех часов. Но, пользуясь тем, что был нанят экипаж, он сперва велел остановиться у Французского театра, где должен был получить билет в ложу, заехал к портному, к белошвейке, писал в швейцарских записки. Наконец они прибыли на бульвар Монмартр. Фредерик прошел через магазин и поднялся по лестнице. Арну узнал его по отражению в зеркале, стоявшем против конторки, и, продолжая писать, протянул ему через плечо руку.

В тесной комнате с одним окном во двор столпилось человек пять-шесть; у задней стены в алькове, между двумя портьерами коричневого штофа, был диван, обитый такой же материей. На камине, заваленном всякими бумагами, стояла бронзовая Венера, а по сторонам ее, в полной симметрии,— два канделябра с розовыми свечами. Направо, у этажерки с папками, сидел в кресле человек, так и не снявший шляпы, и читал газету; стены сплошь были увешаны эстампами и картинами, ценными гравюрами

или эскизами современных мастеров, с надписями, в которых выражалась самая искренняя приязнь к Жаку Арну.

— Как поживаете? — спросил он, обернувшись к Фредерику. И, прежде чем тот успел ответить, шепотом спросил Юсоне: — Как зовут вашего приятеля? — Потом — опять вслух: — Возьмите сигару там, на этажерке, в коробке.

«Художественная промышленность», находившаяся в центре Парижа, была удобным местом встреч, нейтральной территорией, где запросто сходились соперники. В тот день здесь можно было увидеть Антенора Брева, портретиста королей, Жюля Бюрьё, который своими рисунками популяризировал алжирские войны, карикатуриста Сомбаза, скульптора Вурда́, кой-кого еще; и никто из них не соответствовал представлениям, сложившимся у студента. Манеры у них были простые, речи — вольные. Мистик Ловариас рассказал непристойный анекдот, а у создателя восточного пейзажа, известного Дитмера, под жилетом была надета вязаная фуфайка, и поехал он домой в омнибусе.

Речь шла вначале о некой Аполлонии, бывшей натурщице, которую Бюрьё будто бы видел на бульваре, когда она ехала в карете цугом. Юсоне объяснил эту метаморфозу, перечислив целый ряд ее покровителей.

— Здорово этот молодчик знает парижских девчонок! — сказал Арну.

— Если что останется после вас, ваше величество,— ответил повеса, на военный лад отдавая честь — в подражание гренадеру, который дал Наполеону выпить из своей фляги.

Потом зашел спор о нескольких полотнах, для которых служила моделью голова Аполлонии. Подверглись критике отсутствующие собратья. Удивлялись высоким ценам на их произведения; все начали жаловаться, что зарабатывают недостаточно, как вдруг вошел человек среднего роста, во фраке, застегнутом на одну пуговицу; глаза у него были живые, вид полубезумный.

— Экие вы мещане! — воскликнул он.— Ну что же из того, помилуйте! Старики, создавшие шедевры, не думали о миллионах. Корреджо, Мурильо...

— А также Пелерен,— вставил Сомбаз.

Но тот, не обращая внимания на колкость, продолжал рассуждать с таким пылом, что Арну два раза принужден был повторить ему:

— Жена рассчитывает на вас в четверг. Не забудьте!

Эти слова вернули Фредерика к мысли о г-же Арну. В квартиру, наверно, проходят через комнатку за диваном? Арну надо было взять носовой платок, и он только что отворял туда дверь; у задней стены Фредерик заметил умывальник. Но вот в углу возле камина раздалось какое-то ворчание; оно исходило от субъекта, читавшего в кресле газету. Росту он был пяти футов девяти дюймов; у него были тяжелые веки, седые волосы и величавый вид; звали его Режембар.

— Что такое, гражданин? — спросил Арну.

— Новая низость правительства!

Дело шло об увольнении какого-то школьного учителя. Пелерен снова стал проводить параллель между Микеланджело и Шекспиром. Дитмер собрался уходить. Арну догнал его и вручил две ассигнации. Юсоне счел момент благоприятным.

— Не могли бы вы дать мне аванс, дорогой патрон?..

Но Арну опять уселся и теперь разносил какого-то старца в синих очках, весьма противного на вид.

— И хороши же вы, дядюшка Исаак! Обесценены, пропали три картины. Все на меня плюют! Теперь эти картины всем известны! Что прикажете с ними делать? В Кал форнию, что ли, их отослать?.. К чертям? Замолчите!

Специальность старика заключалась в том, что он подделывал на картинах подписи старых мастеров. Арну отказался платить и грубо выпроводил его. Совсем по-иному встретил он чопорного господина в орденах, с бакенбардами и в белом галстуке.

Опершись локтем на подоконник, он долго и вкрадчиво что-то говорил ему. А потом вспылил:

— Поверьте, граф, для меня ничего не составляет достать посредника.

Дворянин смирился. Арну вручил ему двадцать пять луидоров, а как только тот ушел, воскликнул:

— И несносные же эти знатные господа!

— Все они дрянь! — пробормотал Режембар.

По мере того как время шло, дела у Арну становилось все больше; он раскладывал статьи, распечатывал конверты, подводил итоги; на стук молотка, раздававшийся из магазина, выходил понаблюдать за упаковкой, потом снова садился за работу и, продолжая водить по бумаге стальным пером, отвечал на шутки. В тот вечер ему предстояло обедать у своего поверенного, а на другой день ехать в Бельгию.

Собравшиеся беседовали на злободневные темы: о портрете Керубини, о полукруглом зале Академии художеств, о предстоящей выставке. Пелерен ругал Институт. Сплетни переплетались со спорами. В этой комнате с низким потолком собралось столько народу, что негде было повернуться, а мерцание розовых свечей пробивалось сквозь сигарный дым, точно солнечные лучи сквозь туман.

Дверь около дивана отворилась, вошла высокая худая женщина с движениями столь резкими, что на черном шелковом платье звякали все брелоки ее часов.

Это была та самая особа, которую Фредерик прошлым летом мельком видел в «Пале-Рояль». Некоторые называли ее по имени и обменивались с ней рукопожатиями. Юсоне вырвал наконец у Арну пятьдесят франков; часы пробили семь; все стали расходиться.

Арну предложил Пелерену подождать, а сам увел мадмуазель Ватназ в туалетную комнатку.

Фредерик не слышал их слов: говорили они шепотом. Но вдруг женский голос зазвучал громче:

— Полгода как дело сделано, а я все жду!

Наступило долгое молчание, мадмуазель Ватназ вновь появилась. Арну опять пообещал ей что-то.

— Ну-ну! Посмотрим!

— Прощайте, счастливый человек! — сказала она, уходя.

Арну быстро вернулся в туалетную комнатку, почернил усы, поправил подтяжки, чтобы туже натянулись штрипки, и, моя руки, сказал:

— Мне бы надо было два панно над дверьми, по двести пятьдесят штука, в жанре Буше. Можно рассчитывать?

— Идет,— ответил, покраснев, художник.

— Хорошо! И не забывайте мою жену!

Фредерик проводил Пелерена до конца предместья Пуассоньер и попросил позволения время от времени его навещать; согласие было любезно дано.

Пелерен читал все труды по эстетике, чтобы открыть истинную теорию Прекрасного, так как был убежден, что, найдя ее, создаст шедевры. Он окружал себя всевозможными пособиями, рисунками, слепками, моделями, гравюрами и, терзаясь, искал; он винил погоду, нервы, мастерскую, выходил на улицу, думая там обрести вдохновение, вздрагивал, будто оно уже осенило его, потом бросал начатую картину и задумывал другую, еще более прекрасную.

И вот, мучимый жаждой славы и теряя время в спорах, веря в тысячи нелепостей, в системы, в критику, в необходимость каких-то правил или какой-то реформы искусства, он дожил до пятидесяти лет и не создал ничего, кроме набросков. Неуемная гордость не позволяла ему унывать, но он вечно был раздражен, вечно находился в том искусственном и вместе с тем неподдельном возбуждении, какое отличает актеров.

Когда вы входили к нему, первым делом бросались в глаза две большие картины, на которых коричневые, красные и синие мазки выделялись на фоне белого холста. Все это было покрыто линиями, начерченными мелом, которые переплетались наподобие ячеек ветхой рыболовной сети,— ничего нельзя было понять. Пелерен объяснил содержание этих двух композиций, намечая большим пальцем недостающие части. Одна картина должна была изображать *Безумие Навуходоносора*, другая — *Рим, сжигаемый Нероном*. Фредерик пришел от них в восхищение.

Он был в восхищении и от этюдов женщин с распущенными волосами, и от пейзажей, на которых во множестве встречались искривленные бурей стволы, но главное — от набросков пером в манере Кало, Рембрандта или Гойи; в оригинале он их не знал. Пелерен относился пренебрежительно к этим работам своей молодости; теперь он стоял за высокий стиль; он пустился в красноречивые рассуждения о Фидии и Винкельмане. Окружающие предметы усиливали впечатление от его слов: здесь можно было видеть череп на аналое, ятаганы, монашескую рясу; Фредерик примерил ее.

Если он приходил рано, то заставал Пелерена в походной кровати, неудобной, покрытой рваным ковром: Пелерен ложился поздно — он усердно посещал театры. Прислуживала ему старуха в лохмотьях, обедал он в кухмистерской и жил без любовницы. Благодаря беспорядочным знаниям, которых он нахватался, парадоксы его были забавны. Ненависть ко всему заурядному, мещанскому проявлялась у него в сарказмах, полных великолепного лиризма, а к мастерам он чувствовал благоговение, которое почти возвышало его до них.

Но почему он никогда не говорил о г-же Арну? Ее мужа он называл то славным малым, то шарлатаном. Фредерик ждал, когда он начнет откровенничать.

Однажды, перелистывая рисунки в одной из его папок,

Фредерик в портрете какой-то цыганки нашел нечто общее с мадмуазель Ватназ, а так как эта особа его интересовала, он решил спросить, кто она такая.

Насколько знал Пелерен, она была прежде учительницей в провинции; теперь дает уроки и пытается писать в захудалых газетах.

Судя по ее обращению с Арну, можно было — так думалось Фредерику — счесть ее за его любовницу.

— Э, какое там! С него довольно и других!

Молодой человек, отвернувшись, чтобы скрыть краску стыда от своей гнусной догадки, развязно спросил:

— Жена отвечает ему, верно, тем же?

— Ничуть не бывало! Она порядочная женщина!

Фредерик почувствовал угрызения совести и еще усерднее стал посещать редакцию.

Большие буквы, из которых на мраморной доске над магазином складывалась фамилия Арну, казались ему особенными и полными значения, словно священные письмена. По широкому покатому тротуару идти было легко, дверь отворялась почти сама собой, а ручка ее, гладкая на ощупь, казалось, наделена была мягкостью и чуткостью, словно живая рука, которую он сжимает в своей. Незаметно он стал приходить с такой же точностью, как Режембар.

Каждый день Режембар садился в свое кресло у камина, брал *Насьональ*, уже не отрывался от газеты и свое мнение выражал каким-нибудь восклицанием или же просто пожимал плечами. Время от времени он вытирал лоб скомканным носовым платком, который был засунут у него на груди между двумя пуговицами зеленого сюртука. Он носил панталоны со складками, полусапожки и длинный галстук; по шляпе с загнутыми полями его легко было узнать в толпе.

В восемь часов утра он спускался с высот Монмартра и заходил на улицу Нотр-Дам-де-Виктуар выпить белого вина. Его завтрак, за которым следовало несколько партий на бильярде, длился часов до трех. Потом он направлялся к пассажу Панорамы выпить абсента. Побывав у Арну, он заходил в «Бордоский кабачок» выпить вермута, затем, вместо того чтобы вернуться к жене домой, он нередко обедал один в маленьком кафе на площади Гайон, где заказывал «домашние блюда, что-нибудь попроще!». Напоследок он опять перебирался в какую-нибудь бильярдную и просиживал там до двенадцати, до часу ночи,

до тех пор, пока не тушили газ и не запирали ставни и измученный хозяин заведения не умолял его уйти.

Не любовь к выпивке привлекала в подобные места гражданина Режембара, а давняя привычка к политическим разговорам; однако с годами пыл его угас, и он хранил угрюмое молчание. По серьезности его лица можно было подумать, что он поглощен мировыми вопросами. Но все эти глубокие мысли оставались при нем, и никто, даже друзья, не знали, занимается ли он чем-нибудь, хоть он и говорил, будто у него деловая контора.

Арну, казалось, питал к нему беспредельное уважение. Однажды он сказал Фредерику:

— Он-то все знает, уж будьте покойны! Светлая голова!

В другой раз Режембар разложил на конторке бумаги, касавшиеся залежей каолина в Бретани, Арну полагался на его опытность.

Фредерик стал еще более учтив с Режембаром — настолько, что время от времени угощал своего нового знакомого абсентом и, хотя считал его глупым, нередко целые часы проводил с ним — потому только, что тот был другом Жака Арну.

Торговец картинами, которому довелось помочь коекому из современных художников при первых их шагах, как человек передовой, старался увеличить свои доходы, сохраняя в то же время артистические замашки. Он стремился к раскрепощению искусства, к прекрасному по дешевой цене. Все виды парижской промышленности, вырабатывающей предметы роскоши, испытали на себе его влияние, благотворное для мелочей и пагубное для всего значительного. Подлаживаясь изо всех сил к вкусу большинства, он сбивал с пути искусных художников, развращал одаренных, выжимал последние соки из слабых, выдвигал посредственных и всех держал в руках благодаря своим связям и своей газете. Всякие бездарности жаждали видеть свои картины в витрине Арну, обойщики брали у него рисунки мебели. Фредерик видел в нем и миллионера, любителя искусства, и дельца. Все же многое удивляло его — слишком уж господин Арну был ловок в торговых делах.

Так, из Германии или Италии ему присылали картину, купленную в Париже за полторы тысячи франков, и он, предъявив на нее накладную в четыре тысячи, перепродавал из любезности за три с половиной. Одна из обычных

его проделок состояла в том, что он требовал от художников в придачу к купленной картине небольшую копию под тем предлогом, будто собирается сделать с нее гравюру; копию он всегда продавал, а гравюра так и не появлялась. Того, кто жаловался, что это эксплуатация, он только похлопывал по животу. Он был, впрочем, превосходный малый, не жалел сигар, говорил «ты» незнакомым людям и если начинал восторгаться каким-нибудь произведением или человеком, то умел настоять на своем, не скупился на хлопоты, на статьи, на рекламу. Он считал себя вполне честным и, чувствуя потребность излить душу, простосердечно рассказывал о своих неблаговидных проделках.

Как-то раз, чтобы досадить собрату, который основал газету, тоже посвященную живописи, и давал в честь этого события большой званый обед, Арну попросил Фредерика написать в его присутствии, незадолго до назначенного часа, письма приглашенным, что обед отменяется.

— Это ведь не затрагивает чести, понимаете?

И молодой человек не решился отказать ему в услуге.

На другой день после этого, зайдя вместе с Юсоне в контору Арну, Фредерик увидел, как в двери (той, что выходила на лестницу) мелькнул подол женского платья.

— Ах, простите! — воскликнул Юсоне.— Если бы я знал, что здесь женщины...

— Да это моя жена,— сказал Арну.— Она проходила мимо и решила меня навестить.

— Как так? — спросил Фредерик.

— Ну да. И пойдет сейчас домой!

Прелесть окружающего сразу пропала. То, что было разлито здесь, как ему чудилось, теперь исчезло, или, пожалуй, всего этого никогда и не было. Он испытывал бесконечное удивление и словно боль измены.

Арну, роясь у себя в ящике, чему-то улыбался. Не над ним ли он смеется? Приказчик положил на стол кипу сырых бумаг.

— Вот и афиши! — воскликнул торговец.— Мне сегодня не скоро удастся пообедать!

Режембар взялся за шляпу.

— Как, вы уже покидаете меня?

— Семь часов! — ответил Режембар.

Фредерик последовал за ним.

На углу улицы Монмартр он обернулся, взглянул на окна второго этажа и мысленно усмехнулся, чувствуя жа-

лость к себе, вспоминая, с какой любовью он часто смотрел на эти окна. Где же она живет? Как теперь встретиться с ней? Одиночество вновь окружило его, более глубокое, чем когда-либо!

— Пойдем, усладимся! — предложил Режембар.

— Кем это?

— Полынной.

Уступая настойчивым просьбам, Фредерик позволил затащить себя в «Бордоский кабачок». Пока его собутыльник, облокотившись на стол, разглядывал графин, Фредерик смотрел по сторонам. Но вот на тротуаре показалась фигура Пелерена; Фредерик застучал в окно, и не успел еще художник усесться, как Режембар спросил, почему его больше не видно в «Художественной промышленности».

— Лопнуть мне, если я туда пойду. Он скотина, мещанин, мерзавец, плут!

Эта брань была приятна раздосадованному Фредерику. Все же он был ею задет, так как ему казалось, что это слегка затрагивает и г-жу Арну.

— Что же он вам такое сделал? — спросил Режембар.

Вместо ответа Пелерен топнул ногой и громко засопел.

Он втайне занимался кой-какими делами, например, изготовлением портретов цветными карандашами и подделкой произведений великих мастеров в расчете на непросвещенного любителя, а так как эти работы его унижали, он предпочитал о них молчать. Но «гнусность Арну» обозлила его. Он излил душу.

По заказу Арну, сделанному в присутствии Фредерика, Пелерен принес ему две картины. И торговец позволил себе критиковать их! Он порицал композицию, колорит и рисунок, главное — рисунок, словом, ни за что не захотел их взять. И Пелерен, вынужденный к тому же истечением срока векселя, уступил картины еврею Исааку, а две недели спустя тот же Арну продал их за две тысячи франков какому-то испанцу.

— За две тысячи франков чистыми. Какая подлость! И ведь это не единственная, ей-богу! Не сегодня-завтра мы еще увидим его на скамье подсудимых.

— Это уж вы преувеличиваете! — робко сказал Фредерик.

— Ну вот еще! Преувеличиваю! — воскликнул художник, ударив кулаком по столу.

Грубая выходка Пелерена вернула молодому человеку

самоуверенность. Конечно, можно было бы вести себя приличнее; однако если, по мнению Арну, эти полотна...

— Плохи? Договаривайте! Да вы их видели? Понимаете вы в этом деле? А ведь я, знаете, мой миленький, дилетантов не признаю!

— Э! Да меня это не касается! — сказал Фредерик.

— С какой же стати вы защищаете его? — холодно спросил Пелерен.

Молодой человек пробормотал:

— Да... потому что я ему друг.

— Так поцелуйте его от меня! Будьте здоровы!

И художник ушел, взбешенный, ни словом, разумеется, не обмолвившись о счете.

Фредерик, защищая Арну, сам убедил себя в его правоте. В пылу красноречия он ощутил нежность к этому человеку, умному и доброму, на которого его друзья клевещут и который теперь работает один, всеми покинутый. Он не стал противиться странному желанию тотчас же увидеть его. Десять минут спустя он уже отворял дверь в магазин.

Арну с приказчиком составлял невероятных размеров афиши для выставки картин.

— Ба! Какими судьбами вы снова к нам?

Этот простой вопрос привел Фредерика в замешательство, и, не зная, что ответить, он спросил, не нашлась ли случайно его записная книжка, маленькая записная книжка, в синем кожаном переплете.

— Та, где вы храните письма женщин? — сказал Арну.

Фредерик покраснел, как девушка, и стал опровергать подобное предположение.

— Значит, там ваши стихи? — не унимался торговец.

Он перебирал образцы афиш, разложенные перед ним, рассуждал об их форме, цвете, бордюре; а Фредерика все сильнее и сильнее раздражал его озабоченный вид, главное же — его руки, двигавшиеся по афишам, большие руки, несколько пухлые, с плоскими ногтями. Наконец Арну поднялся, сказал: «Вот и готово!» — и фамильярно взял его за подбородок. Эта вольность не понравилась Фредерику, он попятился; потом он переступил порог конторы, последний раз в жизни — так он думал. Даже на г-жу Арну теперь как будто распространялась вульгарность ее мужа.

На той же неделе он получил письмо, которым Делорье сообщал, что прибудет в Париж в следующий четверг.

И Фредерик с новой страстью вернулся к этой привязанности, более прочной и более возвышенной. Такой человек сто́ит всех женщин. Ему больше не нужны будут ни Режембар, ни Пелерен, ни Юсоне — никто! Чтобы лучше устроить своего друга, он купил железную кровать, второе кресло, распределил на две части свое постельное белье; в четверг утром он уже одевался, чтобы ехать встречать Делорье, как вдруг у дверей раздался звонок. Вошел Арну.

— Всего два слова. Мне вчера прислали из Женевы чудесную форель; мы рассчитываем на вас, сегодня ровно в семь... Улица Шуазёль, дом двадцать четыре. Не забудьте же!

Фредерик принужден был сесть. Колени у него дрожали. Он повторял: «Наконец! Наконец!» Потом он написал своему портному, шапочнику, башмачнику и отправил эти три записки с тремя рассыльными. В замке повернулся ключ — появился привратник с сундуком на плечах.

Увидев Делорье, Фредерик задрожал, как застигнутая врасплох изменница-жена.

— Какая муха тебя укусила? — спросил Делорье.— Ведь ты, вероятно, получил мое письмо?

Фредерик не в силах был солгать.

Он раскрыл объятия и бросился к нему на грудь.

Потом клерк поведал свою историю. Отец отказался дать отчет по опеке, вообразив, что необходимость в этом отпадает в силу десятилетней давности. Но Делорье, весьма сведущий в судопроизводстве, в конце концов выцарапал все материнское наследство, семь тысяч франков чистоганом, которые были при нем, в старом бумажнике.

— Это на черный день, про запас. Завтра же с утра надо будет подумать, куда их поместить, да и мне самому пристроиться. А сегодня — отдых от всех забот, и я весь к твоим услугам, старина!

— Да ты не стесняйся! — сказал Фредерик.— Если на сегодняшний вечер у тебя что-нибудь важное...

— Ну вот еще! Я был бы изрядным мерзавцем...

Этот случайно оброненный эпитет, как оскорбительный намек, кольнул Фредерика в самое сердце.

Привратник расставил на столе перед камином котлеты, заливное, лангусты, десерт и две бутылки бордо. Делорье был тронут таким приемом.

— Ты по-царски угощаешь меня, честное слово!

Они говорили о прошлом, о будущем и время от вре-

мени протягивали руки через стол, с нежностью глядя друг на друга. Но вот посыльный принес новую шляпу. Делорье заметил вслух, какая блестящая у нее тулья.

Потом портной самолично доставил отутюженный им фрак.

— Можно подумать, что сегодня твоя свадьба,— сказал Делорье.

Час спустя явилась третья личность и из большого черного мешка извлекла пару великолепных лакированных ботинок. Пока Фредерик их примерял, башмачник насмешливо рассматривал обувь провинциала.

— Вам, сударь, ничего не требуется?

— Нет, благодарю,— ответил клерк, пряча под стул ноги в старых башмаках со шнуровкой.

То, что Делорье подвергся такому унижению, смутило Фредерика. Он все медлил с признанием. Наконец, словно что-то вспомнив, воскликнул:

— Ах, черт возьми, я и забыл!

— Что такое?

— Сегодня я обедаю в гостях!

— У Дамбрёзов? Почему ты ни разу не писал мне о них?

Нет, он обедает не у Дамбрёзов — у Арну.

— Тебе следовало меня предупредить! — сказал Делорье.— Я приехал бы днем позже.

— Это было невозможно!—резко ответил Фредерик.— Я только сегодня утром получил приглашение.

И чтобы загладить свою вину и отвлечь внимание друга, он стал распутывать веревки, которыми был обвязан сундук, разложил в комоде все вещи Делорье, хотел уступить ему свою постель, говорил, что ляжет сам в дровяном чулане. Потом, уже с четырех часов, он принялся за свой туалет.

— Времени у тебя еще достаточно! — сказал Делорье.

Наконец Фредерик оделся и ушел.

«Вот они, богачи!» — подумал Делорье. И отправился обедать на улицу Сен-Жак в знакомый ему ресторанчик.

Фредерик несколько раз останавливался на лестнице: так билось у него сердце. Одна из перчаток, слишком узкая, лопнула, а пока он засовывал разорванное место под манжету, Арну, следом за ним подымавшийся по лестнице, схватил его за руку и ввел в свою квартиру.

Передняя была в китайском вкусе — с расписным фонарем на потолке, с бамбуками по углам. Проходя через

гостиную, Фредерик споткнулся о тигровую шкуру. Свечей еще не зажигали, лишь в глубине будуара горели две лампы.

Мадмуазель Марта явилась и сообщила, что мама одевается. Арну поднял ее и поцеловал; потом, желая сам выбрать в погребе несколько бутылок вина, он оставил Фредерика с девочкой.

Она очень выросла со времени поездки в Монтеро. Ее темные волосы длинными локонами спускались на голые руки. Из-под короткого платьица, более пышного, чем у балерины, видны были розовые икры, и вся ее милая фигурка дышала свежестью, точно букет цветов. Комплименты гостя она выслушала с видом кокетки, остановила на нем глубокий, пристальный взгляд, потом, проскользнув среди мебели, исчезла, словно кошка.

Он больше не испытывал волнения. Шары ламп, покрытые кружевной бумагой, бросали на стены, обтянутые лиловатым атласом, мягкий молочный свет. Сквозь каминную решетку, похожую на большой веер, видны были горящие уголья; рядом с часами стоял ларчик с серебряными застежками. Тут и там разбросаны были всякие домашние вещицы: на диванчике — кукла, на спинке стула — косынка, а на рабочем столике — вязанье, в котором остриями вниз торчали две спицы из слоновой кости. В этой комнате все говорило о жизни мирной, добропорядочной и семейственной.

Арну вернулся; из-за другой портьеры показалась г-жа Арну. На нее падала тень, и сперва он различил только ее лицо. Платье на ней было черного бархата, а волосы покрывала длинная алжирская сетка красного шелка, которая, обвившись вокруг гребня, спускалась на левое плечо.

Арну представил Фредерика.

— О! Я прекрасно помню вас,— сказала она.

Потом, почти в одно и то же время, прибыли остальные гости: Дитмер, Ловариас, Бюрьё, композитор Розенвальд, поэт Теофиль Лоррис, два художественных критика, товарищи Юсоне, владелец писчебумажной фабрики и, наконец, знаменитый Пьер-Поль Мейнсиюс, последний представитель высокой живописи, который с бодростью нес не только бремя славы, но и свои восемьдесят лет и огромный живот.

Когда гости направились в столовую, г-жа Арну взяла его под руку. Одно место оставалось свободным — для Пе-

лерена. Арну его любил, хотя и эксплуатировал. К тому же он опасался беспощадно злого языка Пелерена — настолько, что, желая смягчить живописца, поместил в «Художественной промышленности» его портрет, за которым следовали гиперболические похвалы; Пелерен, более падкий на славу, чем на деньги, появился часам к восьми, совершенно запыхавшись. Фредерик вообразил, что они уже давно помирились.

Общество, кушанья — все нравилось ему. Комната была обтянута тисненой кожей, наподобие средневековой залы; против голландской этажерки находился поставец для чубуков; стаканы богемского хрусталя разной окраски, расставленные на столе среди цветов и фруктов, создавали впечатление иллюминации в саду.

Фредерику пришлось выбирать между десятью сортами горчицы. Он ел даспашьо, кэри, имбирь, корсиканских дроздов, римскую лапшу; он пил необыкновенные вина, либфрауенмильх и токайское. Умение угостить было для Арну делом чести. Он ублажал кондукторов почтовых карет, которые поставляли ему разную снедь, и водил знакомство с поварами богатых домов, сообщавшими ему рецепты приправ.

Но больше всего занимали Фредерика разговоры. Так как его увлекала мысль о путешествиях, он наслаждался рассказами Дитмера о Востоке; его интерес ко всему театральному утолял Розенвальд, говоривший об опере, а суровая жизнь богемы показалась ему забавной сквозь призму той веселости, с которой Юсоне красочно описал, как он провел целую зиму, питаясь одним голландским сыром. Спор о флорентийской школе, возникший между Ловариасом и Бюрьё, открыл ему новые сокровища, расширил его горизонты, и он уже едва сдерживал свой восторг, когда Пелерен воскликнул:

— Оставьте меня в покое с вашей отвратительной реальностью! Что значит — реальность? Одни видят черное, другие — голубое, большинство видят одни глупости. Нет ничего менее естественного, чем Микеланджело, и ничего более замечательного! Забота о внешнем правдоподобии обличает современное убожество, и, если так будет продолжаться, искусство превратится бог весть в какую ерунду, оно станет менее поэтичным, чем религия, и менее занимательным, чем политика. Его цели — да, цели, заключающейся в том, чтобы возбуждать в нас бескорыстный восторг,— вы не достигнете пустяковыми произведения-

ми, как бы вы ни ухищрялись, как бы ни отделывали их. Взять, например, картины Басолье: мило, нарядно, чисто и не тяжеловесно! Можно положить в карман, взять с собой в дорогу. Нотариусы платят за такие вещи по двадцать тысяч франков, а идеи тут на три су; но без идеи не может быть ничего великого! Без величия не может быть ничего прекрасного! Олимп — это гора! Самым потрясающим памятником неизменно останутся пирамиды! Лучше излишество, чем умеренность, пустыня, чем тротуар, дикарь, чем парикмахер!

Слушая эти слова, Фредерик глядел на г-жу Арну. Они проникали в его сознание, как куски металла, падающие в горнило, они сливались с его страстью и претворялись в любовь.

Он сидел через три места от нее, на той же стороне стола. Время от времени она слегка наклонялась и поворачивала голову, чтобы сказать несколько слов дочке; она улыбалась, и на щеке у нее появлялась ямочка, что придавало ее лицу выражение еще большей мягкости и доброты.

Когда были поданы ликеры, она скрылась. Разговор стал очень вольным; г-н Арну блистал; Фредерик был удивлен цинизмом всех этих мужчин. Однако их интерес к женщинам словно устанавливал между Фредериком и ими равенство, поднимавшее его в собственном мнении.

Вернувшись в гостиную, он из приличия взял один из альбомов, лежавших на столе. Крупнейшие современные мастера украсили его своими рисунками, заполнили прозой, стихами или просто-напросто оставили автографы; рядом со знаменитыми именами встречалось много неизвестных, а любопытные мысли мелькали среди потока глупостей. Все записи содержали более или менее прямые похвалы г-же Арну. Фредерику страшно было бы написать здесь хоть одну строчку.

Она пошла в будуар и принесла оттуда ларчик с серебряными застежками, который Фредерик успел заметить на камине. Это был подарок мужа, работа времен Возрождения. Друзья хвалили покупку Арну, жена благодарила его; он почувствовал прилив нежности и при всех поцеловал ее.

Разговор продолжался, гости расположились группами, старик Мейнсиюс сидел с г-жой Арну на диванчике у камина: она наклонялась к его уху, их головы соприкасались; Фредерик согласился бы стать глухим, немощным и

безобразным ради громкого имени и седых волос, словом, лишь бы обладать чем-то таким, что дало бы ему право на подобную близость. Он терзался в душе, негодуя на свою молодость.

Но г-жа Арну прошла в тот угол гостиной, где находился Фредерик, спросила, знаком ли он с кем-нибудь из гостей, любит ли живопись, давно ли учится в Париже. Каждое слово, произнесенное ею, казалось ему чем-то новым, возможным только в ее устах. Он внимательно разглядывал бахрому ее головного убора, касавшуюся одним краем обнаженного плеча, и не отрывал от него взгляда, мысленно погружаясь в белизну этого женского тела; однако он не смел поднять глаза, посмотреть ей прямо в лицо.

Розенвальд прервал их беседу, попросив г-жу Арну что-нибудь спеть. Он взял несколько аккордов, она ждала; губы ее приоткрылись, и понеслись чистые, протяжные, ровные звуки.

Слов итальянской песни Фредерик не понял.

Она начиналась в торжественном ритме, напоминавшем церковное песнопение, потом музыка оживлялась, звук нарастал, переходил в звонкие раскаты, и вдруг все замирало; тогда широко и медленно возвращалась нежная начальная мелодия.

Госпожа Арну стояла у рояля, опустив руки, глядя куда-то в пространство. Порою, чтобы прочитать ноты, она щурила глаза и наклоняла голову. На низких нотах ее контральто звучало мрачно, от него веяло холодом; ее прекрасное лицо с длинными бровями склонялось к плечу; грудь вздымалась, она раздвигала руки, томно откидывала голову, словно кто-то бесплотный целовал ее, а рулады продолжали нестись; она взяла три высокие ноты, спустилась вниз, затем снова взяла еще более высокую ноту и, после паузы, кончила ферматой.

Розенвальд остался у рояля. Он продолжал играть для себя. Время от времени кто-нибудь из гостей исчезал. В одиннадцать часов, когда уходили последние, Арну вышел вместе с Пелереном под предлогом, что проводит его. Он был из числа тех людей, которые чувствуют себя больными, если не «пройдутся» после обеда.

Госпожа Арну вышла в переднюю; Дитмер и Юсоне поклонились ей, она протянула им руку; она протянула ее и Фредерику, и он всем существом ощутил это прикосновение.

Он простился со своими новыми друзьями; ему надо было остаться одному. Сердце его было переполнено. Почему она пожала ему руку? Был ли то необдуманный жест или знак поощрения? «Да полно, я с ума сошел!» Впрочем, не все ли равно, раз он может теперь посещать ее когда угодно, дышать тем же воздухом, что и она?

На улицах было безлюдно. Изредка проезжала тяжелая повозка, сотрясая мостовую. Дома следовали один за другим — серые фасады, закрытые окна; и он с пренебрежением думал о людях, которые спят за этими стенами, живут, не видя ее и даже не подозревая, что она существует на свете. Он утратил представление о пространстве, о месте, где находился, ничего не помнил и, стуча каблуками, ударяя тростью по ставням лавок, шел вперед, наугад, растерянный, послушный какому-то влечению. Его обдало сыростью. Он понял, что стоит на набережной.

Двумя прямыми бесконечными линиями блестели фонари, и длинные красные языки дрожали в воде, уходя в глубину. Вода была цвета аспидной доски, а небо, менее темное, как будто опиралось на сумрачные громады, возвышавшиеся по обеим сторонам Сены. Здания, которых не было видно, еще усиливали мрак. Над крышами плыл светящийся туман; все шумы сливались в неясный гул; веял легкий ветерок.

Дойдя до середины Нового моста, Фредерик остановился; сняв шляпу, расстегнув пальто, он дышал полной грудью. Он чувствовал, как из глубины его существа подымается нечто неиссякаемое, прилив нежности, расслаблявший его, как движение воды перед глазами. На церковной башне медленно пробило час, словно чей-то голос позвал его.

В этот миг им овладел тот трепет души, когда кажется, что вы переноситесь в высший мир. Необыкновенный талант — к чему, он сам еще не знал,— внезапно пробудился в нем. Он серьезно спрашивал себя, быть ли ему великим живописцем или великим поэтом, и выбрал живопись, ибо это занятие может приблизить его к г-же Арну. Так, значит, он нашел свое призвание! Цель его жизни теперь ясна, а будущее непреложно.

Войдя к себе, он запер дверь и услышал, как кто-то храпит в темном чулане рядом с его комнатой. То был его товарищ. Он позабыл о нем.

В зеркале он увидел свое лицо. Он нашел, что хорош собой, и остановился на минуту поглядеть на себя.

V

Утром на следующий день он купил ящик с красками, кисти, мольберт. Пелерен согласился давать ему уроки, и Фредерик привел его к себе на квартиру посмотреть, не упустил ли он чего-нибудь необходимого для занятий живописью.

Делорье уже вернулся. А в кресле напротив сидел какой-то молодой человек. Клерк показал на него:

— Это он, Сенекаль! Познакомься!

Фредерику он не понравился. Лоб его казался выше благодаря тому, что волосы были подстрижены бобриком. Что-то жесткое и холодное сквозило в его серых глазах, а от длинного черного сюртука, от всей одежды так и несло педагогикой, церковными поучениями.

Сперва разговор шел о новостях дня, между прочим о *Stabat Mater*[1] Россини; когда спросили мнение Сенекаля, он заявил, что никогда не бывает в театре. Пелерен открыл ящик с красками.

— Это все для тебя? — спросил клерк.

— Да, конечно!

— Ну? Вот затея!

И он наклонился к столу, за которым математик-репетитор перелистывал том Луи Блана. Он принес его с собою и теперь вполголоса читал оттуда отдельные места, меж тем как Пелерен и Фредерик вместе рассматривали палитру, шпатель, тюбики с красками; потом они заговорили об обеде у Арну.

— У торговца картинами? — спросил Сенекаль.— Хорош гусь, нечего сказать.

— А что? — отозвался Пелерен.

Сенекаль ответил:

— Человек, который выколачивает монету политическими гнусностями!

Он заговорил о знаменитой литографии, на которой изображено все королевское семейство, занятое вещами назидательными: в руках у Луи-Филиппа свод законов, у королевы — молитвенник, принцессы вышивают, герцог Немурский пристегивает саблю, г-н де Жуанвиль показывает младшим братьям географическую карту, в глубине видна двуспальная кровать. Эта картинка, носившая на-

[1] «Мать [скорбящая] стояла» *(лат.)*.

звание *Доброе семейство*, радовала буржуа, но огорчала патриотов. Пелерен раздраженным тоном, словно он был автор, ответил, что одно мнение стоит другого. Сенекаль возразил. Искусство должно иметь единственной целью нравственное совершенствование масс! Следует брать лишь такие сюжеты, которые побуждают к добродетельным поступкам, все остальные вредны.

— Все зависит от выполнения! — кричал Пелерен.— Я могу создать шедевр!

— Если так, тем хуже для вас! Никто не имеет права...

— Что?

— Да, сударь, никто не имеет права возбуждать во мне интерес к тому, что я осуждаю! К чему нам старательно сработанные безделки, из которых нельзя извлечь никакой пользы, скажем, все эти Венеры, все ваши пейзажи? Я тут не вижу ничего поучительного для народа. Лучше покажите нам его горести, заставьте нас преклоняться перед жертвами, которые он приносит! Боже мой, в сюжетах недостатка нет: ферма, мастерская...

Пелерен заикался от возмущения; ему показалось, что он нашел довод:

— Мольера вы признаете?

— Да! — сказал Сенекаль.— Я восхищаюсь им как предтечей французской революции.

— Ах! Революция! Да где там искусство? Не было эпохи более жалкой!

— Более великой, сударь!

Пелерен скрестил руки и взглянул на него в упор.

— Из вас, по-моему, вышел бы отличный солдат Национальной гвардии!

Противник, привыкший к спорам, отвечал:

— Я в ней не состою и ненавижу ее так же, как вы! Но подобными принципами только развращают массы! Это, впрочем, и входит в расчеты правительства; оно не было бы так сильно, если бы его не поддерживала целая свора таких же шутов, как Арну.

Художник стал на защиту торговца — мнения Сенекаля выводили его из себя. Он даже решился утверждать, что у Жака Арну поистине золотое сердце, что он предан своим друзьям, нежно любит жену.

— О! О! Если ему предложить хорошую сумму, он не откажется сделать из нее натурщицу.

Фредерик побледнел.

— Наверное, он вас очень обидел, сударь?

— Меня? Нет! Я видел его однажды в кафе, с приятелем. Вот и все.

Сепекаль говорил правду. Но рекламы «Художественной промышленности» раздражали его изо дня в день. Арну был в его глазах представителем среды, которую он считал губительной для демократии. Суровый республиканец, он во всяком проявлении изящества подозревал испорченность, сам же был лишен всяких потребностей и отличался непоколебимой честностью.

Разговор уже не клеился. Художник вскоре вспомнил о назначенной встрече, репетитор — о своих учениках; когда они ушли, Делорье после долгого молчания стал расспрашивать друга об Арну.

— Со временем представишь меня, старина, хорошо?

— Конечно,— сказал Фредерик.

Потом они стали думать, как им устроиться. Делорье без труда получил место второго клерка у адвоката, записался на юридический факультет, купил необходимые книги, и жизнь, о которой они мечтали, началась.

Она была прекрасна благодаря очарованию молодости. Делорье о деньгах не заговаривал, Фредерик о них тоже не упоминал. Он производил все расходы, убирал в шкафу, занимался хозяйством; но если надо было отчитать привратника, за это брался клерк, играя, как в коллеже, роль покровителя и старшего.

В течение дня они не виделись и встречались только вечером. Каждый садился на свое место у камина и принимался за работу. Но вскоре они ее бросали. И не было конца излияниям, приступам беспричинной веселости, а порою случались и ссоры — из-за накоптившей лампы или затерянной книги, минутные вспышки гнева, разрешавшиеся смехом.

Дверь в дровяной чулан оставалась открытой, и, лежа в постелях, они продолжали болтать.

Утром они без сюртуков расхаживали по балкону; вставало солнце, над рекой зыблился легкий туман, с цветочного рынка, расположенного поблизости, долетали визгливые крики, дымок от их трубок клубился в чистом воздухе, освежавшем их заспанные глаза; вдыхая его, они чувствовали веяние необъятных надежд, разлитых повсюду.

По воскресеньям, если не было дождя, они вместе выходили из дома и, взявшись под руку, бродили по улицам. Очень часто у них возникала одна и та же мысль, иногда,

разговаривая, они ничего не видели вокруг себя. Делорье стремился к богатству как к средству властвовать над людьми. Ему хотелось бы приводить в движение как можно больше народа, делать побольше шуму, иметь в своем распоряжении трех секретарей и раз в неделю давать большой политический обед. Фредерик обставлял себе дворец в мавританском вкусе, где он мог бы всю жизнь лежать на диванах, обитых турецкой тканью, под журчание водных струй и где ему прислуживали бы негры-пажи; и все эти предметы мечтаний приобретали в конце концов такую осязательность, что он приходил потом в отчаяние, как будто утратил их.

— К чему строить воздушные замки,— говорил он,— если у нас никогда ничего этого не будет?

— Как знать! — отвечал Делорье.

Несмотря на свои демократические взгляды, он советовал Фредерику завязать знакомство с Дамбрёзами. Тот ссылался на свои неудачные попытки.

— Да полно. Зайди еще! Тебя пригласят.

В середине марта они, в числе других довольно крупных счетов, получили счет из кухмистерской, где брали обеды. Фредерик, не имея всей требуемой суммы, занял сто экю у Делорье; две недели спустя он обратился к нему с подобной же просьбой, и клерк пробрал его за то, что он тратит много денег у Арну.

Он действительно не знал меры. Виды Венеции, Неаполя, Константинополя занимали в комнате три стены, тут и там висели этюды коней Альфреда де Дрё, на камине стояла скульптура Прадье, на рояле валялись номера «Художественной промышленности», на полу в углах — папки, и от всего этого становилось так тесно, что некуда было положить книгу, трудно было пошевелиться. Фредерик уверял, что все это ему нужно для занятий живописью.

Он работал у Пелерена. Но Пелерена часто не бывало дома, ибо он имел обыкновение присутствовать на всех похоронах и при всех событиях, о которых газетам полагалось давать отчет, и Фредерик целые часы проводил в мастерской совершенно один. Тишина большой комнаты, где слышно было только, как возятся мыши, свет, падавший с потолка, даже гудение в печи — все навевало на него сперва своеобразный душевный покой. Потом его глаза, оторвавшись от работы, начинали блуждать по облупившейся стене, по безделушкам на этажерке, торсам, по-

крытым густою пылью, как лоскутьями бархата, и, точно путник, который заблудился в лесу, где все тропинки приводят к одному и тому же месту, Фредерик то и дело мысленно возвращался к г-же Арну.

Он назначал себе день, когда пойдет к ней; поднявшись на третий этаж и уже стоя у ее дверей, он не сразу решался позвонить. Приближались шаги; дверь отворялась, и, когда он слышал слова: «Барыни нет дома»,— ему как будто возвращали свободу, с сердца сваливалась тяжесть.

Все же иногда он заставал ее. В первый раз у нее были три дамы; в другой раз — тоже под вечер — пришел учитель чистописания мадмуазель Марты. Мужчины, которых принимала у себя г-жа Арну, с визитами не являлись. Фредерик, из скромности, больше не заходил.

Но чтобы получить приглашение на обед в четверг, он каждую среду неизменно появлялся в «Художественной промышленности» и оставался там дольше всех, дольше даже, чем Режембар, до последней минуты, делая вид, что рассматривает гравюру, пробегает газету. Наконец Арну спрашивал: «Вы завтра вечером свободны?» Приглашение он принимал прежде, нежели фраза была доведена до конца. Арну как будто начинал испытывать к нему привязанность. Он учил его разбираться в винах, варить жженку, готовить рагу из бекасов; Фредерик покорно следовал его советам,— он любил все, что было связано с г-жой Арну: ее мебель, прислугу, дом, улицу.

Во время этих обедов Фредерик безмолвствовал; он созерцал ее. На правом виске у нее была маленькая родинка, пряди волос, гладко зачесанные на уши, были темнее, чем остальная прическа, и всегда как будто немного влажны по краям; время от времени она приглаживала их двумя пальцами. Он изучил форму каждого ее ногтя, наслаждался шелестом ее шелкового платья, когда она проходила в дверь, украдкой вдыхал аромат ее носового платка; ее гребень, перчатки, кольца были для него вещами особенными, значительными, как произведения искусства, почти живыми, как человеческие существа, все они волновали его сердце и усиливали страсть.

У него не хватало выдержки скрыть ее от Делорье. Когда Фредерик возвращался от г-жи Арну, он как бы нечаянно будил друга, лишь бы поговорить о ней.

Делорье, спавший в дровяном чулане около умывальника, долго зевал. Фредерик садился на постель у него в

ногах. Сперва он рассказывал об обеде, потом о множестве незначительных мелочей, в которых видел знаки пренебрежения или расположения к нему. Однажды, например, она не пошла с ним под руку, предпочла идти с Дитмером, и Фредерик был в отчаянии.

— Вот вздор!

А как-то раз она его назвала своим «другом».

— Если так, будь смелей!

— Да я не решаюсь,— говорил Фредерик.

— Ну тогда не думай о ней! Спокойной ночи!

Делорье поворачивался к стене и засыпал. Он не понимал этой любви, в которой видел последнюю юношескую слабость своего друга; а так как их близость уже, очевидно, его не удовлетворяла, ему пришла в голову мысль собирать раз в неделю общих друзей.

Друзья приходили по субботам часов около девяти.

Все три тиковые занавески бывали аккуратно задернуты; лампа и четыре свечи зажжены; посреди стола ставился картуз с табаком и трубками, а вокруг него — бутылки пива, чайник, графин с ромом и печенье. Спорили о бессмертии души, сравнивали достоинства своих профессоров.

Однажды Юсоне привел на вечер высокого молодого человека, одетого в сюртук с чересчур короткими рукавами и, видимо, стеснявшегося. Это был тот парень, которого они в прошлом году пытались вызволить из полиции.

Так как он не мог возвратить картонку с кружевами, потерянную во время свалки, хозяин обвинил его в воровстве и грозил судом; теперь он служил приказчиком в транспортной конторе. Юсоне встретился с ним утром на улице и привел с собой, так как Дюсардье из благодарности захотел повидать и «другого».

Он протянул Фредерику портсигар, еще полный, ибо с благоговением берег его, надеясь вернуть. Молодые люди пригласили его заходить. Он стал у них бывать.

Все чувствовали друг к другу приязнь. Их ненависть к правительству была возведена в степень неоспоримого догмата. Один только Мартинон пробовал защищать Луи-Филиппа. Против него пускали в ход все избитые доводы, примелькавшиеся в газетах: устройство укреплений вокруг Парижа, сентябрьские законы, Притчарда, лорда Гизо,— так что Мартинон умолкал, опасаясь кого-нибудь задеть. В коллеже он за семь лет ни разу не подвергся наказанию, а теперь на юридическом факультете умел

нравиться профессорам. Обыкновенно он ходил в широком коричневом сюртуке, носил резиновые калоши; но как-то вечером явился одетый прямо женихом: на нем был бархатный жилет, белый галстук, золотая цепочка.

Удивление возросло, когда стало известно, что он от г-на Дамбрёза. Промышленник действительно купил на днях у отца Мартинона крупную партию леса; старик представил ему сына, и Дамбрёз пригласил обоих к обеду.

— Вдоволь ли было трюфелей? — спросил Делорье.— Удалось ли тебе обнять его супругу где-нибудь в дверях sicut decet? [1]

Тут разговор коснулся женщин. Пелерен не допускал, что могут быть красивые женщины (он предпочитал тигриц); вообще самка человека — существо низшее в эстетической иерархии.

— То, что пленяет вас в ней, как раз и снижает ее идеальный образ; я имею в виду волосы, грудь...

— Однако,— возразил Фредерик,— длинные черные волосы, большие черные глаза...

— Знаем, знаем! — воскликнул Юсоне.— Довольно с нас испанок среди полянок! Античность? Слуга покорный! Ведь, по правде сказать, какая-нибудь лоретка много занятнее Венеры Милосской! Будем же галлами, черт возьми! Будем жить, коли сумеем, как во дни Регентства!

Струись, вино; вы, девы, улыбайтесь!

От брюнетки поспешим к блондинке! Согласны, дядюшка Дюсардье?

Дюсардье не отвечал. Все пристали к нему, чтобы узнать его вкусы.

— Ну так вот,— сказал он, краснея,— я хотел бы всегда любить одну и ту же!

Это было сказано так, что на миг наступило молчание; одних изумило чистосердечие Дюсардье, а другим в его словах открылось то, о чем они, быть может, втайне мечтали сами.

Сенекаль поставил кружку пива на подоконник и догматическим тоном заявил, что проституция — тирания, а брак — безнравственность, поэтому лучше всего воздержание. Делорье смотрел на женщин как на развлечение — только и всего. Г-ну де Сизи они внушали всякого рода опасения.

---

[1] Как приличествует *(лат.)*.

Ему, воспитанному под наблюдением благочестивой бабушки, общество этих молодых людей представлялось заманчивым, как притон, и назидательным, как Сорбонна. На поучения ему не скупились, и он проявлял величайшее усердие, вплоть до того, что пробовал курить, невзирая на тошноту, всякий раз мучившую его потом.

Фредерик был к нему очень внимателен. Он восторгался оттенками его галстуков, мехом на пальто и в особенности ботинками, тонкими, как перчатки, вызывающе изящными и блестящими; на улице его всегда ждал экипаж.

Однажды после отъезда г-на де Сизи — в тот вечер шел снег — Сенекаль пожалел его кучера. Потом направил свое красноречие против желтых перчаток, против Джокей-клоба. Любого рабочего он ставит выше этих господ.

— Я-то по крайней мере тружусь, я беден!

— Оно и видно,— сказал наконец Фредерик, потеряв терпение.

Репетитор затаил на него злобу за эти слова.

Но, услыхав как-то от Режембара, что он немного знает Сенекаля, Фредерик захотел оказать любезность приятелю Арну и пригласил его бывать у них по субботам. Встреча обоим патриотам была приятна.

Впрочем, они отличались друг от друга.

Сенекаль, у которого был заостренный череп, признавал только системы. Режембар, напротив, не видел ничего, кроме фактов. Его беспокоил главным образом вопрос о рейнской границе. Он утверждал, что знает толк в артиллерийском деле, и одевался у портного Политехнической школы.

Когда в первое посещение Режембара угостили пирожными, он с презрением пожал плечами и сказал, что сласти годятся лишь для женщин; в следующие разы он оказался не более учтивым. Как только собеседники затрагивали предметы возвышенные, он бормотал: «О! Только без утопий! Без фантазий!» В области искусства (хоть он и посещал мастерские художников, где иногда, из любезности, давал урок фехтования) взгляды его не отличались глубиной. Он сравнивал стиль г-на Мараста со стилем Вольтера, г-жу де Сталь с мадмуазель Ватназ — только потому, что последняя написала «весьма смелую» оду в честь Польши. Режембар раздражал всех, и в особенности Делорье, ибо он, Гражданин, был своим человеком у Арну.

А клерк жаждал попасть к ним в дом, надеясь завязать там полезные знакомства. «Когда же ты поведешь меня к ним?» — спрашивал он Фредерика. Но Арну то был занят, то собирался куда-нибудь ехать; потом оказывалось, что вообще ничего не стоит затевать, так как скоро обеды прекратятся.

Если бы ради друга надо было рискнуть жизнью, Фредерик не отступил бы. Но он стремился выставить себя в выгодном свете у Арну, следил за своими словами, манерами, костюмами, надевая безукоризненные перчатки даже для посещения «Художественной промышленности»,— и боялся, как бы Делорье, в своем старом фраке, со своими судейскими замашками и самоуверенной речью, не произвел дурного впечатления, а это могло скомпрометировать, унизить и его самого в глазах г-жи Арну. Против кого-либо другого он не стал бы возражать, но именно этот человек стеснил бы его в тысячу раз больше, чем все остальные. Клерк заметил, что он не хочет исполнить обещанное, и молчание Фредерика по этому поводу казалось ему еще бóльшим оскорблением.

Делорье хотел бы руководить им во всем, видеть, что он развивается в согласии с идеалами их юности, и праздность Фредерика возмущала его как непослушание, как измена. К тому же Фредерик, всецело занятый мыслями о г-же Арну, часто говорил о ее муже, и Делорье придумал способ изводить его: словно маниак-идиот, он раз сто в день повторял в конце каждой фразы фамилию Арну. На стук в дверь отвечал: «Войдите, Арну!» В ресторане он заказывал бри «а-ля Арну», а ночью, прикидываясь, что у него кошмар, будил приятеля воплем: «Арну! Арну!»

Наконец измученный Фредерик сказал жалобным тоном:

— Да оставь ты меня в покое с этим Арну!

— Ни за что! — ответил клерк.

> Он всюду, он во всем, то хладный, то палящий,
> Встает Арну...

— Да замолчи же! — крикнул Фредерик, сжимая кулаки. И кротко добавил: — Ты ведь знаешь, мне тяжело говорить на эту тему.

— Извини, старина,— ответил Делорье, поклонившись весьма низко,— отныне мы примем в расчет твои нервы, чувствительные, как у благородной девицы! Еще раз прости! Виноват, виноват!

Так был положен конец насмешкам.

Но три недели спустя, как-то вечером, он сказал Фредерику:

— А знаешь, я сегодня видел госпожу Арну!

— Где?

— В суде, с адвокатом Баландаром; брюнетка, среднего роста — верно?

Фредерик утвердительно кивнул. Он ждал, что Делорье будет говорить о ней. При малейшем слове восхищения он излил бы всю душу, готов был бы обожать его; тот все молчал; наконец Фредерик, которому не терпелось узнать мнение друга, равнодушным тоном спросил, что он думает о ней.

Делорье считал, что она «недурна собой, впрочем, ничего особенного».

— Ты находишь? — спросил Фредерик.

Наступил август — время держать второй экзамен. По общему мнению, двух недель было достаточно, чтобы подготовиться. Фредерик не сомневался в своих силах; он проглотил первые четыре книги Процессуального кодекса, первые три — Уложения о наказаниях, несколько отрывков из Уголовного судопроизводства и часть Гражданского судопроизводства с примечаниями Понселе. Накануне экзамена Делорье заставил его взяться за повторение, которое продолжалось до утра, а чтобы воспользоваться последними минутами, он даже на улице, не переставая, спрашивал его.

Так как в одни и те же часы происходили экзамены по разным предметам, во дворе было много народа, между прочими — Юсоне и Сизи; когда дело касалось кого-нибудь из товарищей, было принято приходить на экзамен. Фредерик облекся в традиционную черную мантию; вместе с другими тремя студентами, сопровождаемый целой толпой, он вошел в большую залу, где на окнах не было занавесок, а вдоль стен тянулись скамьи. Посередине, вокруг стола, покрытого зеленым сукном, стояли кожаные стулья. Стол отделял студентов от господ экзаменаторов, восседавших в красных одеяниях, с горностаевой перевязью через плечо, в беретах с золотым галуном.

Фредерик был предпоследним в списке — положение скверное. Отвечая на первый вопрос — о разнице между условием и договором, он перепутал определения, но профессор, добрый человек, сказал ему: «Не смущайтесь, милостивый государь, успокойтесь!» — потом, задав два лег-

ких вопроса, на которые получил неясный ответ, перешел наконец к четвертому. Фредерик был расстроен столь неудачным началом. Из публики Делорье знаками давал ему понять, что не все еще потеряно, и второй его ответ — на вопрос из Уголовного права — оказался сносным. Но после третьего, связанного с тайным завещанием, тревога Фредерика усилилась: профессор оставался бесстрастным, тогда как Юсоне уже готовился аплодировать, а Делорье то и дело пожимал плечами. Наконец пришла пора отвечать по судопроизводству. Дело шло о протесте со стороны третьих лиц. Профессор, неприятно удивленный тем, что ему приходится выслушивать теории, противоположные его собственным, резко спросил Фредерика:

— Это что же, милостивый государь, ваше мнение? Как же вы согласуете принцип статьи тысяча триста пятьдесят первой Гражданского кодекса с таким необыкновенным способом предъявлять иск?

У Фредерика очень болела голова: ведь он всю ночь не спал. Солнечный луч, проникавший в щель жалюзи, ударял ему прямо в лицо. Стоя за стулом, он переминался с ноги на ногу и теребил усы.

— Я жду вашего ответа! — сказал человек в берете с золотым галуном. Жест Фредерика его, видимо, раздражал, и он добавил: — В усах вы его не отыщете!

Этот сарказм вызвал смех слушателей; польщенный профессор смягчился. Он задал ему еще два вопроса — о вызове в суд и об ускоренном судопроизводстве,— затем опустил голову в знак одобрения. Публичный экзамен был окончен. Фредерик вернулся в вестибюль.

Пока сторож снимал с него мантию, чтобы тотчас же надеть ее на другого, приятели окружили Фредерика и привели его в полное замешательство своими противоречивыми мнениями о результате экзамена. Этот результат вскоре был объявлен у входа в залу чьим-то звучным голосом:

— Номеру третьему... дана отсрочка!

— Срезался! — сказал Юсоне.— Идемте!

В швейцарской им повстречался Мартинон, красный, взволнованный, со смеющимися глазами и с ореолом победы вокруг чела. Он только что благополучно сдал последний экзамен. Оставалась только диссертация. Через две недели он будет лиценциатом. Семья его знакома с министром, перед ним открывается «блестящая карьера».

— Этот все-таки тебя перегнал,— сказал Делорье.

Нет большего унижения, чем видеть глупца, преуспевающего там, где ты терпишь неудачу. Рассерженный Фредерик ответил, что ему наплевать, у него более высокие стремления. А когда Юсоне собрался уходить, Фредерик отвел его в сторону и сказал:

— У них, разумеется, об этом ни слова!

Сохранить секрет было легко: на следующий день Арну уезжал в путешествие по Германии.

Вернувшись вечером домой, клерк нашел в своем друге странную перемену: Фредерик делал пируэты, насвистывал; а когда Делорье выразил удивление, он объявил, что не поедет к матери: на каникулах он будет заниматься.

Он обрадовался, когда узнал, что Арну уезжает. Теперь он может являться туда, когда захочет, не опасаясь никаких помех. Уверенность в полной безопасности придаст ему отваги. Наконец-то он не будет вдали от *нее*, не будет разлучен с *нею*! К Парижу его приковывало нечто более крепкое, чем железная цепь, внутренний голос повелевал ему остаться.

Возникли, однако, препятствия. Он преодолел их, написав матери; прежде всего он признался в своей неудаче, вызванной изменениями в программе,— случайность, несправедливость; впрочем, все выдающиеся адвокаты (он приводил имена) проваливались на экзаменах. Но он рассчитывает снова держать их в ноябре. А так как времени терять нельзя, он в нынешнем году не поедет домой и просит, помимо денег на содержание, прислать ему еще двести пятьдесят франков — на занятия с репетитором, которые принесут ему большую пользу; все это было разукрашено сожалениями, утешениями, нежностями и уверениями в сыновней любви.

Госпожа Моро, ждавшая его на следующий день, была огорчена вдвойне. Она утаила неудачу сына и ответила ему, чтобы он «все-таки приезжал». Фредерик не уступил. Начался разлад. Тем не менее к концу недели он получил деньги на три месяца и сумму, которая предназначалась репетитору, а в действительности послужила для уплаты за светло-серые панталоны, белую фетровую шляпу и трость с золотым набалдашником.

Когда все это оказалось в его распоряжении, он подумал: «А может быть, такая затея достойна парикмахера?»

Фредериком овладели сомнения.

Чтобы решить, идти ли ему к г-же Арну, он три раза

подбрасывал монету. Все три раза предзнаменование было благоприятно. Итак, то было веление судьбы. Фиакр отвез его на улицу Шуазёль.

Он быстро поднялся по лестнице, потянул за шнур от звонка; звонок не зазвонил. Фредерик чувствовал, что вот-вот лишится чувств.

Он изо всех сил дернул тяжелую кисть красного шелка. Колокольчик зазвенел, потом постепенно замолк. Опять ничего не стало слышно. Фредерик испугался.

Он приложил ухо к двери: ни звука! Он заглянул в замочную скважину, но ничего не увидел в передней, кроме двух тростинок на фоне обоев с узором из цветов. Он собрался уже уходить, но передумал. На этот раз он совсем тихонько постучал. Дверь отворилась, и со всклокоченными волосами, багровым лицом и недовольным видом на пороге предстал сам Арну.

— Ба! Каким ветром вас принесло? Входите!

Он ввел его, только не в будуар и не в свою комнату, а в столовую, где на столе стояла бутылка шампанского и два бокала; он отрывисто спросил:

— Вам, дорогой друг, что-нибудь нужно от меня?

— Да нет! Ничего, ничего! — пробормотал молодой человек, стараясь чем-либо объяснить свое посещение.

В конце концов Фредерик сказал, что пришел справиться о нем, так как слышал от Юсоне, будто он в Германии.

— И не собирался туда! — ответил Арну.— Что за куриные мозги у этого молодца, все слышит навыворот!

Чтобы скрыть свое замешательство, Фредерик стал расхаживать взад и вперед по комнате. Зацепившись за ножку стула, он уронил лежавший на нем зонтик; ручка из слоновой кости разбилась.

— Боже мой! — воскликнул он.— Какая жалость, я разбил зонтик госпожи Арну!

При этих словах торговец поднял голову и как-то странно улыбнулся. Фредерик, воспользовавшись случаем, робко спросил:

— А г-жу Арну можно видеть?

Она, оказывается, была в своих родных краях, у больной матери.

Фредерик не осмелился расспрашивать, сколько продлится отсутствие хозяйки дома. Он лишь спросил, откуда она родом.

— Из Шартра. Это вас удивляет?

— Меня? Нет! Почему? Нисколько!

Теперь им решительно не о чем было говорить. Арну, свернув папиросу, расхаживал вокруг стола и отдувался. Фредерик, прислонившись к печке, рассматривал стены, шкаф, паркет, и в его памяти, вернее, перед его глазами, проходили исполненные прелести картины. Наконец он ушел.

В передней на полу валялся скомканный обрывок газеты; Арну его поднял и, встав на цыпочки, засунул в звонок, чтобы продолжить, как он выразился, нарушенный послеобеденный отдых. Потом, пожимая Фредерику руку, сказал:

— Пожалуйста, предупредите привратника, что меня нет дома!

И захлопнул за ним дверь.

Фредерик медленно спустился по лестнице. Неудача первой попытки лишала его надежды на успех. Наступили три месяца, полных тоски. Занятий у Фредерика не было, и безделье еще усиливало его печаль.

Он целыми часами глядел со своего балкона на реку; она текла между сероватыми набережными, почерневшими кое-где от грязи сточных труб; па берегу был плот для стирки белья, где иногда забавлялись мальчишки, купая в илистой воде пуделька. Не оборачиваясь налево, в сторону Каменного моста у собора Богоматери и трех висячих мостов, он всегда смотрел на набережную Вязов, на густые старые деревья, напоминавшие липы у пристани Монтеро. Башня святого Иакова, Ратуша, церкви святого Гервасия, святого Людовика, святого Павла возвышались напротив, среди моря крыш, а на востоке, точно огромная золотая звезда, сверкал ангел на Июльской колонне, с другого же края небосклона круглой громадой рисовался голубой купол Тюильри. В той стороне, где-то там, был дом г-жи Арну.

Фредерик возвращался в свою комнату; он ложился на диван и предавался беспорядочным мыслям — о планах работ, о том, как себя вести, о будущем, к которому он стремился. Наконец, чтобы уйти от самого себя, он выходил на улицу.

Он шел куда глаза глядят, по Латинскому кварталу, обычно столь шумному, но в эту пору пустынному, так как студенты разъехались по домам. Длинные стены учебных заведений как будто вытянулись от этого безмолвия и стали еще угрюмсе; мирная повседневность давала о себе

знать всякого рода звуками: птица билась в клетке, скрипел токарный станок, сапожник стучал молотком, а старьевщики, бредя посреди улицы, тщетно вопрошали взглядом каждое окно. В глубине безлюдного кафе буфетчица зевала между полными графинами; на столах читален в порядке лежали газеты; в прачечной от дуновения теплого ветерка колыхалось белье. Время от времени он останавливался перед лавкой букиниста; омнибус, проезжавший мимо у самого тротуара, заставлял его оборачиваться; добравшись до Люксембургского сада, он дальше уже не шел.

Иногда надежда развлечься влекла его к бульварам. Из темных переулков, где веяло сыростью, он попадал на большие пустынные площади, залитые солнцем, а от какого-нибудь памятника на мостовую падала черная зубчатая тень. Но вот опять начинали грохотать повозки, опять тянулись лавки, и толпа оглушала его — особенно по воскресеньям, когда от Бастилии до церкви святой Магдалины среди пыли, среди несмолкающего шума несся по асфальту огромный зыблющийся людской поток; его тошнило от пошлости всех этих физиономий, глупости разговоров, дурацкого самодовольства, написанного на потных лицах. Однако сознание, что он сто́ит выше этой толпы, умеряло скуку, вызванную ее созерцанием.

Каждый день Фредерик ходил в «Художественную промышленность», а чтобы узнать, когда вернется г-жа Арну, очень пространно расспрашивал о здоровье ее матери. Ответ Арну оставался неизменным: «Дело идет на поправку»,— жена с девочкой должны приехать на будущей неделе. Чем дольше она медлила с возвращением, тем больше беспокойства проявлял Фредерик, так что Арну, тронутый столь горячим сочувствием, раз пять-шесть приглашал его обедать в ресторан.

Во время этих длительных свиданий с глазу на глаз Фредерик понял, что торговец картинами не блещет умом. Но Арну мог заметить охлаждение с его стороны, к тому же надо было хоть чем-нибудь отплатить ему за любезность.

Желая устроить все как можно лучше, Фредерик продал старьевщику за восемьдесят франков все свои новые костюмы и, прибавив к этой сумме оставшуюся у него сотню, пошел к Арну пригласить его на обед. Там оказался Режембар. Пошли все вместе в ресторан «Три провансальских брата».

Гражданин прежде всего снял сюртук и, уверенный в одобрении своих сотрапезников, составил меню. Но хотя он и отправился на кухню, чтобы самому переговорить с поваром, спустился в погреб, все закоулки которого знал, и, вызвав хозяина ресторана, «намылил ему голову», его не удовлетворили ни кушанья, ни вина, ни сервировка. При каждом новом блюде, при каждой новой марке вина он после первого же куска, первого же глотка бросал вилку или отодвигал бокал; потом, поставив локти на стол, вопил, что в Париже невозможно пообедать. Наконец, не зная, какое блюдо придумать, Режембар заказал себе «попросту» бобы на прованском масле, которые несколько умиротворили его, хотя и не вполне удались. Затем у него завязался с официантом диалог о прежних лакеях, служивших у «Провансальских братьев»: «Что сталось с Антуаном? С неким Эженом? А с коротышкой Теодором, который прислуживал всегда внизу? В ту пору еда здесь была куда более тонкая, а бургонское — такое, какого больше уж не встретишь!»

Потом речь зашла о ценах на земли в пригородах в связи с какой-то беспроигрышной спекуляцией Арну. Пока что он терял на процентах. Хотя продавать землю Арну не соглашался, Режембар предложил свести его с одним человеком, и оба принялись с карандашом в руках за какие-то вычисления, продолжавшиеся до конца десерта.

Кофе пошли пить в пассаж «Сомон», в кофейню, помещавшуюся на антресолях. Фредерик, стоя, смотрел, как протекают бесконечные партии на бильярде, за которыми следовали бесчисленные кружки пива; он пробыл тут до полуночи, сам не зная зачем, из малодушия, по глупости или в смутной надежде на какую-нибудь случайность, благоприятную для его любви.

Когда же он вновь увидит ее? Фредерик приходил в отчаяние. Но однажды вечером в конце ноября Арну сказал ему:

— Знаете, вчера вернулась жена!

На следующий день, в пять часов, он уже входил к ней.

Он стал поздравлять ее с выздоровлением матери, которая была так тяжело больна.

— Да нет. Кто вам сказал?

— Арну!

У нее вырвалось негромкое «а-а», потом она прибавила, что сперва были серьезные опасения, но теперь все прошло.

Она сидела у камина в глубоком вышитом кресле. Он

расположился на диване, шляпу держал на коленях; разговор был томительный; она его не поддерживала; повода заговорить о своих чувствах он не находил. А когда пожаловался, что должен изучать крючкотворство, она сказала: «Да... понимаю... процессы!» — и наклонила голову, внезапно поглощенная своими мыслями.

Он жаждал их узнать и уже не думал ни о чем ином. Наступили сумерки, сгустились тени.

Она поднялась,— ей надо было куда-то идти,— потом появилась в бархатной шляпке и черной накидке, отороченной беличьим мехом. Он осмелился предложить себя в провожатые.

Совсем стемнело, погода была холодная, густой зловонный туман заволакивал фасады домов. Фредерик вдыхал его с наслаждением,— ведь сквозь ватную подкладку он ощущал форму ее локтя, а ее ручка в замшевой перчатке на двух пуговицах, ее маленькая ручка, которую ему хотелось покрыть поцелуями, опиралась на его руку. Было скользко, и они шли походкой не совсем твердой; Фредерику казалось, что их обоих укачивает среди облаков ветер.

Блеск фонарей на бульварах вернул его к действительности. Случай был подходящий, надо было спешить. Он решил, что признается в любви, когда они минуют улицу Ришелье. Но почти в ту же минуту она остановилась у посудного магазина и сказала:

— Вот мы и дошли, благодарю вас. До четверга, не правда ли, как всегда?

Обеды возобновились, и чем чаще он бывал у г-жи Арну, тем большее испытывал томление.

Созерцание этой женщины изнуряло его, словно аромат слишком крепких духов. Он чувствовал, как что-то проникает в самые глубины его существа, подчиняет себе все другие его ощущения, становясь для него новой формой бытия.

Проститутки, встречавшиеся ему при свете газовых фонарей, певицы, выводившие рулады, наездницы, мчавшиеся галопом, мещанки, шедшие пешком, гризетки у своих окон — все женщины напоминали ее в силу сходства или резкого контраста. Он смотрел на выставленные в лавках кашемировые шали, кружева и подвески из драгоценных камней, воображая, что они драпируют ее стан, украшают корсаж, огнями сверкают в ее черных волосах. На лотках у цветочниц цветы распускались для того, что-

бы, проходя мимо, она могла купить их; в витрине башмачника атласные туфельки, отороченные лебяжьим пухом, казалось, ждали ее ножек; все улицы вели к ее дому; экипажи на площадях стояли только для того, чтобы можно было скорее приехать к ней; Париж был связан с ней, и весь этот огромный многоголосый город гудел, как исполинский оркестр, вокруг нее.

Когда он приходил в Ботанический сад, вид пальмы уносил его в далекие страны. Вот они путешествуют вместе на спине верблюда, в палатке на слоне, в каюте яхты среди лазурного архипелага или едут рядом на двух мулах с бубенцами, спотыкающихся в траве о разбитые колонны. Порою он останавливался в Лувре перед старинными полотнами, и так как любовь преследовала его и в былых веках, то лица на картинах он заменял образом любимой. Вот она в высоком головном уборе молится на коленях за свинцовой решеткой окна. Властительница обеих Кастилий или Фландрии, она восседает в накрахмаленных брыжах и в стянутом лифе с пышными буфами. Или спускается по огромной порфировой лестнице, окруженная сенаторами, в парчовом платье, под балдахином из страусовых перьев. А порою она представлялась его воображению в желтых шелковых шальварах, на подушках, в гареме, и все, что было прекрасного,— мерцание звезд, мелодия, ритм фразы, какое-нибудь очертание,— все это внезапно и незаметно возвращало его помыслы к ней.

Но он был уверен, что всякая попытка сделать ее своей любовницей будет напрасна.

Однажды вечером Дитмер, войдя, поцеловал ее в лоб; Ловариас сделал то же и сказал:

— Вы позволяете, не так ли? Это право друзей...

Фредерик пробормотал:

— Мне кажется, мы все здесь друзья?

— Но не все старые! — возразила она.

Это значило, что косвенно она уже отвергает его.

Но что же делать? Сказать ей, что он ее любит? Она, наверно, попросит, чтобы он оставил ее или даже с негодованием выгонит из дома. Он же предпочитал любые мучения страшной участи больше никогда не видеть ее.

Он завидовал таланту пианистов, шрамам солдат. Он мечтал об опасной болезни, надеясь хоть таким путем привлечь ее внимание.

Одно удивляло его: он не ревновал ее к Арну; он не мог представить себе ее иначе, как одетой, настолько есте-

ственной казалась ее стыдливость, отодвигавшая ее пол в какую-то таинственную тень.

А меж тем он мечтал о счастье жить с нею, говорить ей «ты», подолгу гладить ее волосы или стоять перед ней на коленях, обняв ее стан, упиваться взглядом, в котором светится ее душа! Для этого пришлось бы побороть злой рок; а он, неспособный к действию, проклиная бога и обвиняя себя в малодушии, метался в плену у своих желаний, как узник в каземате. Он задыхался от тоски, не оставлявшей его. Он целыми часами сидел неподвижно или вдруг разражался слезами; однажды, когда у него не хватило сил сдержать их, Делорье спросил:

— Да что с тобою, черт возьми?

Оказывается, Фредерик страдает нервами. Делорье и не поверил бы. Увидев такие муки, он почувствовал, как в нем пробуждается былая нежность к другу, и попытался вернуть ему бодрость. Такой человек, как он, и вдруг пал духом! Что за нелепость! В юности еще куда ни шло, но позднее — это же только потеря времени.

— Не узнаю моего Фредерика! Я требую того, прежнего! Человек, еще порцию! Тот был мне по вкусу! Ну, выкури трубку, скотина! Да встряхнись же, ты приводишь меня в отчаяние!

— Правда,— сказал Фредерик,— я с ума схожу!

Клерк продолжал:

— А, старый трубадур, я ведь знаю, что тебя печалит. Сердечко? Признавайся! Ерунда! Одну потеряем — четырех найдем! За добродетельных дам нас утешают другие. Хочешь, я познакомлю тебя с женщинами? Стоит только сходить в «Альгамбру». (Это были публичные балы, недавно открывшиеся в конце Елисейских полей и потерпевшие крах в следующем же сезоне, чему виной явилась роскошь, преждевременная для такого рода предприятий.) Там, говорят, весело. Съездим туда! Возьми, если хочешь, своих приятелей; я согласен даже на Режембара!

Гражданина Фредерик не пригласил. Делорье обошелся без Сенекаля. Они захватили с собой только Юсоне, Сизи и Дюсардье, и фиакр доставил всех пятерых к подъезду «Альгамбры».

Две галереи в мавританском стиле, параллельные одна другой, тянулись справа и слева. В глубине подымалась стена соседнего дома, а четвертая сторона (там, где был ресторан) изображала ограду монастыря с цветными стеклами, на готический лад. Над эстрадой, где играли музы-

канты, раскинулось нечто вроде шатра в китайском вкусе; земля была залита асфальтом, венецианские фонари, качавшиеся на столбах, казались издали венцом из разноцветных огней над толпой танцующих. Кое-где из каменной чаши, покоившейся на пьедестале, били тонкие струйки воды. Среди листвы виднелись гипсовые статуи Гебы и купидонов, еще липкие от свежей масляной краски; благодаря многочисленным аллеям, посыпанным ярко-желтым песком и тщательно расчищенным, сад казался гораздо обширнее, чем был на самом деле.

Студенты прогуливались со своими возлюбленными; важно выступали приказчики из модных лавок, щеголяя тросточками; воспитанники коллежей курили сигары; старые холостяки расчесывали гребешком свои крашеные бороды; были тут англичане, русские, приезжие из Южной Америки, три восточных человека в фесках. Лоретки, гризетки, публичные женщины пришли сюда в надежде найти покровителя, любовника, золотую монету или просто ради удовольствия потанцевать; их широкие платья, светло-зеленые, темно-вишневые и фиолетовые, проносились, развеваясь, среди кустов ракитника и сирени. Мужчины почти все были в костюмах из клетчатой материи, иные, несмотря на прохладный вечер, в белых панталонах. Зажигались газовые рожки.

Юсоне благодаря своим связям с модными журналами и мелкими театрами знал многих женщин; он посылал им воздушные поцелуи и время от времени покидал друзей, чтобы поговорить с той или иной.

Делорье позавидовал его развязности. Он нагло пристал к высокой блондинке в нанковом платье. Она угрюмо посмотрела на него и сказала: «Нет, любезный, никакого к тебе доверия!» — и отошла от него.

Он вновь попытал счастья — теперь с толстой брюнеткой, наверное, сумасшедшей, ибо при первом же его слове она вскочила, грозя позвать полицию, если он не отстанет. Делорье натянуто рассмеялся; потом, заметив маленькую женщину, которая сидела в сторонке под фонарем, пригласил ее на кадриль.

Музыканты, сидевшие на эстраде в обезьяньих позах, пиликали и трубили вовсю. Капельмейстер, стоя, автоматическим движением отбивал такт. Все сбились в кучу и веселились; развязавшиеся ленты шляпок задевали за галстуки, сапоги касались юбок, все ритмично подпрыгивали. Делорье прижимал к себе маленькую женщину и,

охваченный неистовством канкана, бесновался среди танцующих, точно большая марионетка. Сизи и Дюсардье продолжали прогуливаться; молодой аристократ направлял лорнет на девиц, но, несмотря на уговоры приказчика, не смел заговорить с ними, воображая, будто у таких женщин «всегда спрятан в шкафу человек с пистолетом и он выскакивает оттуда, чтобы заставить вас подписать вексель».

Они вернулись к Фредерику. Делорье уже не танцевал, и все были заняты мыслью, как же закончить вечер; вдруг Юсоне воскликнул:

— А! Вот маркиза д'Амаэги!

Это была бледная женщина со вздернутым носом, в митенках до локтей, с длинными черными локонами, свисавшими на щеки, точно собачьи уши. Юсоне сказал ей:

— Надо бы устроить у тебя маленький кутеж, восточный раут. Постарайся собрать кой-кого из подруг для этих французских рыцарей. Ну, что тебя смущает? Может быть, ты ждешь своего идальго?

Андалузка стояла потупившись; зная отнюдь не роскошный образ жизни своего приятеля, она опасалась, как бы ей не пришлось расплачиваться за него. Но как только она заикнулась о деньгах, Сизи предложил ей пять наполеондоров, все содержимое своего кошелька; дело было решено. Но Фредерик куда-то пропал.

Ему показалось, что он узнал голос Арну; он заметил дамскую шляпку и поспешил под сень боскета, тут же невдалеке.

Мадмуазель Ватназ была наедине с Арну.

— Извините! Я вам не помешал?

— Ничуть! — ответил торговец.

Из последних слов их разговора Фредерик понял, что Арну прибежал в «Альгамбру» поговорить с мадмуазель Ватназ о неотложном деле и, по-видимому, был не совсем спокоен, так как спросил ее с тревогой в голосе:

— Вы вполне уверены?

— Вполне уверена! Вас любят! Ах, что за человек!

И она надулась, выпятив толстые губы кровавого цвета — так сильно они были накрашены. Зато у нее были чудесные глаза, карие, с золотистыми точками, умные, полные неги и чувственности. Они, словно лампады, озаряли ее желтоватое и худое лицо. Арну как будто наслаждался резкостью ее обращения. Он наклонился к ней и сказал:

— Вы так милы, поцелуйте же меня!

Она взяла его за уши и поцеловала в лоб.

В этот миг танцы прекратились, и на месте капельмейстера появился красивый молодой человек, очень полный, с белым, как воск, лицом; у него были длинные черные волосы, ниспадавшие на плечи, как у Христа, лазоревого цвета бархатный жилет, расшитый пальмовыми ветвями, вид гордый, как у павлина, и глупый, как у индюка; поклонившись публике, он запел шансонетку. В ней крестьянин описывал свое путешествие в столицу: артист пел на нижненормандском наречии, изображая пьяного, а после припева:

То-то хохот, то-то смех
Там в Париже — прямо грех! —

раздавался всякий раз топот, которым публика выражала свой восторг. Дельмас, этот мастер «выразительного пения», был слишком ловок, чтобы дать восторгу остыть. Ему поспешили вручить гитару, и он жалобно исполнил романс под названием «Брат албанки».

Слова напомнили Фредерику песню, которую на пароходе, между двумя колесными кожухами, пел арфист в лохмотьях. Он невольно обращал взгляд на подол платья своей соседки. За каждым куплетом следовала длительная пауза; шелест ветра, игравшего листвой, казался шумом волн.

Мадмуазель Ватназ, раздвинув ветви бирючины, закрывавшие эстраду, пристально смотрела на певца; ее ноздри раздувались, глаза были прищурены, и вся она как будто отдавалась чувству глубокой сосредоточенной радости.

— Превосходно! — сказал Арну.— Я понимаю, почему вы нынче вечером в «Альгамбре»! Вам, моя милая, нравится Дельмас.

Она не хотела признаваться.

— Какая же вы стыдливая!

И он указал на Фредерика.

— Может быть, из-за него? Вы не правы. Нет юноши более скромного!

Приятели, искавшие Фредерика, тоже вошли в зеленую беседку. Юсоне их представил. Арну всем предложил сигары и угостил всю компанию шербетом.

Мадмуазель Ватназ покраснела, увидев Дюсардье. Она вскоре поднялась со своего места и протянула ему руку:

— Вы узнаете меня, господин Огюст?

— Откуда вы ее знаете? — спросил Фредерик.

— Мы вместе служили в одном магазине! — ответил он.

Сизи дергал его за рукав, они вышли; и едва они скрылись, как мадмуазель Ватназ начала восхвалять характер Дюсардье. Она даже прибавила, что «сердечность — его особый дар».

Потом завели речь о Дельмасе, который благодаря своей мимике мог рассчитывать на успех и в театре; завязался спор, в котором все смешалось: Шекспир, цензура, стиль, народ, сборы театра «Порт-Сен-Мартен», Александр Дюма, Виктор Гюго и Дюмерсан. Арну был знаком с несколькими знаменитыми актрисами; молодые люди даже наклонились, чтобы лучше слышать. Но слова его заглушал грохот музыки; как только заканчивалась полька или кадриль, все бросались к столикам, подзывали официантов, хохотали; в гуще листвы хлопали пробки от бутылок пива и шипучего лимонада; женщины кудахтали, как куры; время от времени двое мужчин затевали драку; был задержан вор.

Музыка заиграла галоп, и танцующие пары наводнили аллеи. Запыхавшиеся, с покрасневшими улыбающимися лицами, они летели вихрем, так что развевались платья и фалды сюртуков; все громче ревели тромбоны, ритм ускорялся; за средневековой монастырской оградой послышался треск, стали взвиваться ракеты; завертелись солнца; изумрудное сияние бенгальских огней на минуту осветило сад, и при последней ракете у толпы вырвался глубокий вздох.

Расходились медленно. В воздухе висело облако порохового дыма. Фредерик и Делорье шаг за шагом продвигались в толпе, как вдруг им представилось зрелище: Мартинон требовал сдачу у вешалки, где хранятся зонты; он сопровождал даму лет пятидесяти, некрасивую, великолепно одетую и принадлежавшую непонятно к какому общественному кругу.

— Этот молодчик,— сказал Делорье,— не так прост, как можно подумать. Но где же Сизи?

Дюсардье показал на кабачок, в котором они увидали потомка рыцарей за чашей пунша, в обществе розовой шляпки.

Юсоне, куда-то пропавший минут пять тому назад, появился вновь.

На руку его опиралась девушка, вслух называвшая его «котик».

— Перестань,— говорил он ей.— Перестань! Нельзя же на людях! Лучше называй меня виконтом! Это будет изысканно, как во дни Людовика Тринадцатого и вельмож в мягких сапогах, да и мне по душе. Перед вами, друзья, моя давнишняя приятельница! Не правда ли, она мила?

Он взял ее за подбородок.

— Приветствуй этих господ! Они все сыновья пэров Франции! Я поддерживаю с ними знакомство, чтобы попасть в посланники!

— Экий вы забавник! — вздохнула мадмуазель Ватназ.

Она попросила Дюсардье проводить ее домой.

Арну посмотрел им вслед, потом обратился к Фредерику:

— Нравится вам эта Ватназ? Впрочем, вы на этот счет неоткровенны! Мне кажется, вы скрываете ваши увлечения?

Фредерик, побледнев, стал клясться, что ничего не скрывает.

— Неизвестно даже, есть ли у вас любовница,— продолжал Арну.

Фредерику хотелось назвать наудачу какое-нибудь имя. Но это могли пересказать ей. Он ответил, что в самом деле у него нет любовницы.

Торговец пожурил его за это.

— Нынче вечером вам представлялся удобный случай. Отчего вы не поступили, как другие? Все уходят с женщиной.

— Ну, а вы? — спросил Фредерик, выведенный из терпения такой настойчивостью.

— О! Я дело другое, мой милый! Я возвращаюсь к собственной жене!

Он кликнул кабриолет и уехал.

Друзья пошли пешком. Дул восточный ветер. Оба молчали. Делорье жалел, что не блеснул перед издателем журнала, а Фредерик погрузился в свою печаль. Наконец он заявил, что бал показался ему преглупым.

— А кто виноват? Если бы ты не бросил нас для своего Арну...

— Э! Что бы я ни делал, все будет бесполезно!

Но у клерка были свои теории. Чтобы чего-нибудь добиться, стоит лишь сильно пожелать.

— А между тем ты сам только что...

— Наплевать мне на баб! — сказал Делорье, сразу пресекая намек.— Стану я с ними путаться!

И он начал обличать их жеманство, их глупость, словом, не нравятся ему женщины.

— Будет тебе рисоваться! — сказал Фредерик.

Делорье замолчал. Потом вдруг предложил:

— Хочешь пари на сто франков, что я столкуюсь с первой же встречной?

— Идет!

Первой им попалась навстречу отвратительная нищая, и они уже стали терять надежду, как вдруг на середине улицы Риволи увидали высокую девушку с картонкой в руке...

Делорье подошел к ней под арками. Она быстро свернула по направлению к Тюильри и вскоре вышла на площадь Карусели, оглядываясь по сторонам. Затем побежала за фиакром; Делорье нагнал ее. Теперь он шел рядом с ней, сопровождая слова выразительными жестами. Наконец она взяла его под руку, и они двинулись дальше по набережным. Они дошли до Шатле, где потратили по крайней мере минут двадцать, шагая взад и вперед по тротуару, точно два матроса на вахте. Но вот они перешли Казначейский мост, пересекли Цветочный рынок, вышли на набережную Наполеона. Фредерик вошел вслед за ними в свой подъезд. Делорье дал понять другу, что он им помешает, ему остается лишь последовать их примеру.

— Сколько у тебя в кошельке?

— Две монеты по сто су!

— Вполне достаточно! Покойной ночи!

Фредериком овладело то удивление, какое испытываешь при виде удавшейся шутки. «Он надо мной смеется,— думал Фредерик.— Что, если я подымусь?» Делорье, пожалуй, решит, что он завидует его приключению. «Как будто я сам не знаю любви, да еще во сто раз более редкостной, более благородной, более сильной». Его охватила злоба. Он очутился у подъезда г-жи Арну.

Ни одно окно в ее квартире не выходило на улицу. И все-таки он остановился, не сводил глаз с фасада, как будто мог взглядом пробиться сквозь стену. Сейчас, наверно, она почивает, безмятежная, как заснувший цветок; чудесные черные волосы покоятся на кружевах подушки, губы полуоткрыты, руку она подложила под голову.

Рядом ему померещилась голова Арну. Он тут же отошел, чтобы спастись от этого видения.

Фредерик вспомнил совет Делорье и, ужаснувшись, отправился бродить по улицам.

Едва навстречу приближался пешеход, Фредерик старался разглядеть его лицо. Порою луч света скользил у него под ногами, описывал на гладкой мостовой огромную дугу, и из темноты появлялся человек с корзиной на плече и с фонарем. Ветер сотрясал иногда железную дымовую трубу; откуда-то издали доносились звуки, они сливались с шумом в его голове, и ему чудилось, будто в воздухе смутно звучит ритурнель кадрили. Быстрая ходьба поддерживала в нем чувство опьянения; он оказался на мосту Согласия.

И тут ему вспомнился другой вечер, год тому назад, когда, в первый раз возвращаясь от нее, он вынужден был остановиться — так сильно билось его сердце, полное надежд. Все они умерли теперь!

Неслись темные облака, временами заволакивая луну. Фредерик смотрел на нее и думал о беспредельности пространств, о ничтожестве жизни, о тщете всего сущего. Наступил рассвет; зубы у него стучали; полусонный, промокший от тумана, весь в слезах, он спросил себя, почему бы не положить всему конец. Стоит сделать лишь одно движение. Голова была так тяжела, что тянула его вниз, он уже видел свой труп, плывущий по воде; Фредерик наклонился. Парапет был широк, и только от усталости Фредерик не попытался перепрыгнуть через него.

Страх овладел им. Он вернулся на бульвары и в изнеможении опустился на скамейку. Его разбудили полицейские, уверенные, что он «кутнул».

Фредерик встал и опять пошел. Он сильно проголодался, а так как все рестораны были еще закрыты, то позавтракал в кабачке на Крытом рынке. Потом, рассчитав, что еще слишком рано, он до четверти девятого бродил возле Ратуши.

Делорье давно уже отпустил свою красотку; теперь он сидел за столом посредине комнаты и писал. Часа в четыре появился г-н де Сизи.

Благодаря Дюсардье он накануне вечером вступил в беседу с некой дамой и даже проводил ее в экипаже вместе с мужем до самого дома, где она ему назначила свидание. Он только что оттуда. Ее там даже не знают!

— Так чем же я могу вам помочь? — спросил Фредерик.

Молодой дворянин стал молоть всякий вздор; он говорил о мадмуазель Ватназ, об андалузке и обо всех прочих. Наконец, после множества отступлений, изложил цель своего визита: полагаясь на скромность приятеля, он пришел попросить его содействия в одной попытке, после которой он окончательно сможет считать себя мужчиной. Фредерик ему не отказал. Он посвятил в эту историю и Делорье, скрыв лишь то, что касалось его лично.

Клерк нашел, что «теперь он привел себя в полный порядок». Столь послушное отношение к его советам привело его в еще лучшее расположение духа.

Именно своей веселостью он и пленил с первой же встречи мадмуазель Клеманс Давиу, вышивальщицу золотом для военной обмундировки, кротчайшее в мире создание, стройное, как тростник, с большими голубыми глазами, вечно изумленными. Клерк злоупотреблял ее наивностью — вплоть до того, что уверял ее, будто награжден орденом; когда они оставались наедине, он украшал свой сюртук красной ленточкой, но на людях от этого воздерживался, якобы потому, что не хотел унижать своего начальника. Впрочем, он держал ее на известном расстоянии, позволял себя ласкать, как какой-нибудь паша, и в шутку называл ее «дочь народа». Всякий раз она приносила ему букетик фиалок. Фредерик не хотел бы такой любви.

Все же, когда они под руку уходили обедать в отдельный кабинет к Пенсону или к Барийо, им овладевала странная тоска. Фредерик и не подозревал, какие страдания он причинял целый год Делорье, когда, собираясь по четвергам на улицу Шуазёль, полировал себе щеточкой ногти!

Однажды вечером, стоя у себя на балконе и глядя им вслед, он вдали, на Аркольском мосту, заметил Юсоне. Тот знаками стал звать его, а когда Фредерик спустился с пятого этажа, сообщил:

— Дело вот в чем: в субботу, двадцать четвертого, именины госпожи Арну.

— Как? Ведь ее зовут Мари?

— И Анжела. Да не все ли равно? Праздновать будут у них на даче, в Сен-Клу; мне поручено известить вас. В три часа у редакции вас будет ждать экипаж. Итак, решено! Простите, что побеспокоил. Но у меня столько дел!

Едва Фредерик вернулся, как привратник подал ему письмо:

«Господин и госпожа Дамбрёз просят господина Ф. Моро сделать им честь пожаловать к обеду в субботу, 24-го сего месяца. Благоволите ответить».

«Слишком поздно»,— подумал он.

Тем не менее он показал письмо Делорье; тот воскликнул:

— А! Наконец-то! Но ты как будто недоволен? Почему?

Фредерик после некоторого колебания сказал, что на этот день у него еще другое приглашение.

— Сделай ты мне удовольствие — плюнь на улицу Шуазёль! Брось глупости! Если ты стесняешься, я напишу за тебя.

И клерк в третьем лице написал, что приглашение принято.

Зная свет лишь сквозь призму своих ненасытных желаний, он представлял его себе как искусственное творение, действующее по математическим законам. Званый обед, встреча с влиятельным лицом, улыбка красивой женщины могли вызвать ряд поступков, вытекающих один из другого, иметь чрезвычайно важные последствия. Иные парижские салоны были в его глазах машинами, принимающими сырой материал и путем переработки придающими ему ценность во сто раз большую. Он верил в существование куртизанок, которые дают советы дипломатам, в выгодные браки, заключенные путем интриг, в гениальность каторжников, в случайность, покорную сильной руке. Словом, он считал знакомство с Дамбрёзами столь полезным и проявил такое красноречие, что Фредерик уже не знал, какое принять решение.

Но раз предстоят именины г-жи Арну, он должен сделать ей подарок; он, разумеется, подумал о зонтике, так как хотел загладить свою неловкость. И вот ему попался китайский зонтик переливчатого шелка с резной ручкой из слоновой кости. Он стоил сто семьдесят пять франков, а у Фредерика не было ни одного су, жил он в кредит, в счет ожидаемых денег. Все же он непременно хотел его купить и, хоть это ему и претило, обратился к Делорье.

Делорье ответил, что у него нет денег.

— Мне нужны деньги,— сказал Фредерик,— очень нужны!

А когда Делорье еще раз извинился; он вышел из себя:
— Ты бы мог иногда!..
— Что?
— Ничего!

Клерк понял. Он взял из своих сбережений требуемую сумму и, отсчитав монету за монетой, сказал:

— Не беру расписки, потому что живу на твой счет!

Фредерик бросился ему на шею, уверяя в своей дружбе. Делорье остался холоден. На другой день он увидал на рояле зонтик.

— Ах! Вот оно что!

— Я, может быть, его отошлю,— малодушно ответил Фредерик.

Помог случай: вечером он получил письмо с траурной каймой, в котором г-жа Дамбрёз, сообщая о смерти дяди, сожалела, что вынуждена отложить удовольствие с ним познакомиться.

К двум часам Фредерик пришел в контору газеты. Вместо того чтобы подождать его и отвезти в своем экипаже, Арну уехал еще накануне: ему не терпелось подышать свежим воздухом.

Каждый год, едва появлялись первые листья, он несколько дней подряд отправлялся с самого утра за город, совершал долгие прогулки по полям, пил молоко на фермах, заигрывал с крестьянками, справлялся о видах на урожай и привозил с собою в носовом платке пучки салата. Наконец он осуществил давнишнюю свою мечту: купил дачу.

Пока Фредерик разговаривал с приказчиком, пришла мадмуазель Ватназ и была разочарована, что не застала Арну. Он, может быть, еще дня на два останется за городом. Приказчик посоветовал ей «поехать туда»; она не могла; написать письмо она боялась: вдруг оно пропадет. Фредерик предложил его передать. Она быстро написала записку и стала умолять Фредерика, чтобы он вручил ее без свидетелей.

Сорок минут спустя он уже был в Сен-Клу.

Дом находился на склоне холма, в каких-нибудь ста шагах от моста. Садовую ограду скрывали два ряда лип, к берегу реки спускалась широкая лужайка. Калитка была открыта, и Фредерик вошел.

Арну, растянувшись на траве, играл с котятами. Забава эта, видимо, поглощала его всецело. Письмо мадмуазель Ватназ нарушило его благодушное настроение.

— Черт возьми! Черт возьми! Неприятно! Она права; мне придется ехать.

Потом, засунув послание в карман, он с удовольствием показал гостю свои владения, показал все — конюшню, сарай, кухню. Гостиная была в правой части дачи, обращенной в сторону Парижа, и выходила на балкон, увитый ломоносом. Но вот над головой у них раздалась рулада: г-жа Арну, думая, что одна в доме, развлекалась пением. Она упражнялась в гаммах, трелях, арпеджио. Одни ноты словно застывали в воздухе, другие быстро скользили вниз, как струи водопада, и голос ее, проникая сквозь жалюзи, разрывал глубокую тишину и поднимался к голубому небу.

Вдруг она умолкла: пришли соседи, супруги Удри.

Потом она сама появилась на крыльце, а когда стала спускаться по ступенькам, Фредерик увидел ее ножку. Г-жа Арну была в открытых туфельках бронзового цвета с тремя поперечными переплетами, которые золотой решеткой выделялись на чулке.

Приехали гости. За исключением адвоката Лефошера, все это были завсегдатаи четвергов. Каждый принес какой-нибудь подарок: Дитмер — сирийский шарф, Розенвальд — альбом романсов, Бюрьё — акварель, Сомбаз — карикатуру на самого себя, а Пелерен — рисунок углем, изображавший нечто вроде плясок смерти, отвратительную фантазию, посредственную вещь. Юсоне решил обойтись без подношения.

Фредерик, выждав, после всех преподнес ей свой дар.

Она горячо поблагодарила его. Он сказал:

— Но... это почти что долг! Я так на себя досадовал...

— За что? — возразила она.— Не понимаю!

— К столу! — сказал хозяин и схватил Фредерика под руку; потом шепнул ему на ухо: «Уж больно вы недогадливы!»

Ничего не могло быть приятней для глаз, чем эта столовая с бледно-зелеными стенами. На одном ее конце каменная нимфа погружала кончик ноги в бассейн, имевший форму раковины. В открытые окна был виден весь сад с длинной лужайкой, на краю которой возвышалась старая шотландская сосна, высохшая больше чем наполовину; клумбы здесь были разбиты неравномерно, без строгого порядка; по ту сторону реки широким полукругом лежал Булонский лес, а за ним Нейи, Севр, Медон. Пря-

мо против калитки сада скользила по воде парусная лодка.

Говорили сперва о виде, открывавшемся отсюда, потом о пейзаже вообще; споры только начались, когда Арну приказал слуге заложить в половине десятого кабриолет. Письмо от кассира звало его в город.

— Хочешь, я поеду с тобой? — предложила г-жа Арну.

— Еще бы! — И он отвесил ей низкий поклон.— Вы же знаете, сударыня, жить без вас я не могу.

Все стали поздравлять ее, что у нее такой прекрасный муж.

— Так ведь я не одна! — мягко заметила г-жа Арну, показывая на дочку.

Потом речь опять зашла о живописи, заговорили о картине Рейсдаля, за которую Арну надеялся выручить значительную сумму. Пелерен спросил, верно ли, что пресловутый Саул Матиас приезжал в прошлом месяце из Лондона и предлагал за нее двадцать три тысячи франков.

— Как нельзя более верно! — И Арну обратился к Фредерику: — Это как раз тот господин, с которым я в тот вечер был в «Альгамбре», не по своему желанию, уверяю вас; эти англичане вовсе незанимательны!

Фредерик, подозревавший, что за письмом мадмуазель Ватназ скрывается любовная история, изумился, с какой легкостью почтенный Арну нашел приличный повод, чтобы удрать в город, но при этой новой лжи, совершенно уж ненужной, он от удивления вытаращил глаза.

Торговец как ни в чем не бывало спросил:

— А как зовут того высокого молодого человека, вашего приятеля?

— Делорье,— поспешил ответить Фредерик.

И чтобы загладить вину, которую он чувствовал перед клерком, стал расхваливать его незаурядный ум.

— Неужели? На вид он не такой славный малый, как тот, другой, приказчик из транспортной конторы.

Фредерик уже проклинал Дюсардье. Вдруг она подумает, что он водится с простонародьем.

После разговор зашел о том, как украшается столица, о новых кварталах, и старик Удри в числе крупных дельцов назвал г-на Дамбрёза.

Фредерик, пользуясь случаем привлечь к себе внимание, сказал, что знаком с ним. Но Пелерен разразился фи-

липпикой против лавочников: торгуют ли они свечами или деньгами, разницы он в них не видит. Затем Розенвальд и Бюрьё стали рассуждать о фарфоре; Арну разговаривал с г-жой Удри о садоводстве; Сомбаз, весельчак старого закала, забавлялся тем, что подтрунивал над ее мужем; он именовал его Одри, по имени актера, потом заявил, что он, наверно, потомок Удри, рисовальщика собак, ибо на лбу у него заметна шишка четвероногих. Он даже хотел ощупать его череп, а тот не давался — из-за парика, и десерт закончился среди раскатов смеха.

После того как выпили кофе в саду под липами, покурили и несколько раз прошлись по дорожкам, все общество отправилось к реке — погулять на берегу.

Остановились около рыбака, чистившего угрей в своей палатке. Мадмуазель Марта захотела на них поглядеть. Рыбак высыпал их на траву; девочка бросилась на колени, стала их ловить; она то смеялась от удовольствия, то вскрикивала от испуга. Все угри разбежались. Арну заплатил за них.

Потом ему пришло в голову, что надо бы покататься на лодке.

С одного края горизонт начинал бледнеть, а с другого по небу широкой волной разливался оранжевый свет, приобретавший красноватый оттенок у вершины холмов, которые стали совсем черными. Г-жа Арну сидела на большом камне, спиною к этому зареву пожара. Остальные бродили поблизости; Юссоне, стоявший внизу, у самой реки, бросал в воду камешки.

Вернулся Арну — он раздобыл старую лодку и, невзирая на увещания наиболее благоразумных, усадил в нее своих гостей. Лодка стала погружаться в воду; пришлось высадиться.

В гостиной, обтянутой ситцем, уже горели свечи в хрустальных жирандолях. Старушка Удри мирно задремала в кресле, а прочие слушали г-на Лефошера, рассуждавшего о знаменитых адвокатах. Г-жа Арну стояла в одиночестве у окна; Фредерик подошел к ней.

Они говорили о том, о чем и другие. Она восхищалась ораторами; он же предпочитал славу писателя. Но ведь, наверно, испытываешь большее наслаждение, продолжала она, когда непосредственно воздействуешь на толпу, когда видишь, что ей передаются все чувства твоей души. Это не соблазняет Фредерика — он не честолюбив.

— Но почему же? — сказала она.— Немного честолюбия не мешает.

Они стояли у окна друг подле друга. Ночь расстилалась перед ними, как громадный темный покров, усеянный блестками серебра. В первый раз они говорили не о безразличных вещах. Он даже узнал, что ее привлекает и что отталкивает; г-жа Арну не переносила некоторых запахов, любила исторические книги и верила снам.

Он затронул тему любви. Потрясения, причиняемые страстью, вызывали в ней сочувствие, а гнусное лицемерие возмущало, и эта душевная прямота так гармонировала с правильными чертами ее прекрасного лица, что казалось, будто между ними существует какая-то зависимость.

Порой она улыбалась, на миг задерживая на нем свой взгляд. Тогда он чувствовал, как ее взор проникает ему в душу, подобно тем ярким солнечным лучам, которые пронизывают воду до самого дна. Он любил ее без всякой задней мысли, без надежды на взаимность, самозабвенно, и в своих немых порывах, похожих на пыл благодарности, хотел бы покрыть ее лоб градом поцелуев. В то же время некая внутренняя сила словно возвышала его над самим собой: то была жажда принести себя в жертву, потребность немедленно доказать свою преданность, тем более сильная, что он не мог ее удовлетворить.

Он не уехал вместе с другими гостями, Юсоне тоже. Они должны были вернуться в экипаже; кабриолет уже стоял у подъезда, когда Арну спустился в сад нарвать роз. Цветы он перевязал ниткой, а так как стебли были разной длины, он порылся у себя в кармане, полном бумажек, взял первую попавшуюся, завернул букет, скрепил его толстой булавкой и с чувством преподнес жене.

— Вот, дорогая, и прости, что я не подумал о тебе!

Она вскрикнула; неумело воткнутая булавка уколола г-жу Арну, и она ушла к себе в спальню. Ее ждали с четверть часа. Наконец она снова появилась, схватила Марту и поспешно села в коляску.

— А букет? — спросил Арну.

— Нет, нет, не стоит труда!

Фредерик побежал за ним; она ему крикнула:

— Не надо мне его!

Но он быстро принес букет и сказал, что опять завернул его в бумагу, так как цветы валялись на полу. Она

засунула их за кожаный фартук напротив сиденья, и экипаж тронулся.

Фредерик, сидевший рядом с ней, заметил, что она вся дрожит. Проехав мост, Арну хотел повернуть налево.

— Да нет! — крикнула она.— Ты не туда едешь! Надо направо!

Видимо, она была раздражена: все ее волновало. Наконец, когда Марта закрыла глаза, она вытащила букет и бросила его за дверцу, потом взяла Фредерика за руку, а другой рукой сделала ему знак больше об этом не заговаривать. Она приложила к губам носовой платок и более не двигалась.

Двое их спутников, сидевшие на козлах, беседовали о типографии, о подписчиках. Арну, правивший небрежно, в Булонском лесу сбился с пути. Пришлось ехать какими-то узкими аллеями. Лошадь шла шагом; ветви деревьев задевали верх экипажа. В темноте Фредерик ничего не видел, кроме глаз г-жи Арну; Марта лежала у нее на коленях, а он поддерживал голову девочки.

— Она вам не мешает? — спросила мать.

— Нет! — ответил он.

Медленно подымались столбы пыли; экипаж проезжал через Отейль; все дома были заперты; то тут, то там фонарь освещал угол стены, потом опять въезжали в темноту. Вдруг Фредерик заметил, что г-жа Арну плачет.

Что это, раскаяние? Какое-то желание? Ее печаль, причины которой он не знал, тревожила его, словно нечто касавшееся его самого. Теперь между ними возникла новая связь, своего рода сообщничество. И он спросил ее так ласково, как только мог:

— Вам не по себе?

— Да, немного,— ответила она.

Экипаж катил, жимолость и сирень, перекинув ветки за садовые ограды, наполняли ночной воздух томным благоуханием. Ее платье с многочисленными оборками закрывало Фредерику ноги. Ему казалось, что девочка, лежавшая между ними, связывает его со всем ее существом. Он наклонился к Марте и, откинув ее красивые темные волосы, тихонько поцеловал в лоб.

— Вы добрый! — сказала г-жа Арну.

— Почему?

— Потому что любите детей.

— Не всех!

Он ничего больше не сказал, он только протянул к ней

левую руку и широко раскрыл ладонь, вообразив, что, может быть, она сделает то же самое и руки их встретятся. Потом ему стало совестно, и он отдернул руку.

Вскоре выехали на мостовую. Экипаж катил быстрее, газовые рожки становились все многочисленнее. Это был Париж. У здания морского министерства Юсоне соскочил с козел. Фредерик вышел из экипажа, только когда они въехали во двор дома, потом притаился за углом улицы Шуазёль и увидел, что Арну медленно идет в сторону Бульваров.

На следующий же день Фредерик с небывалым рвением принялся за работу.

Он видел себя в зале суда зимним вечером, когда защитительная речь близится к концу, лица присяжных бледны, а взволнованная толпа так напирает на перегородки, что они трещат; он говорит уже четыре часа, подводит итог своим доказательствам, открывает новые и при каждой фразе, при каждом слове чувствует, как нож гильотины, повисший где-то там над обвиняемым, поднимается все выше; потом он видит себя на трибуне палаты депутатов,— он оратор, от красноречия которого зависит спасение целого народа; он топит противников своими уподоблениями, уничтожает одним словом; в голосе его слышатся и громы, и музыкальные интонации; все есть у него — ирония, пафос, гнев, величие. Она тоже там, где-то в толпе, она скрывает под вуалью слезы восхищения; потом они встречаются; и ни разочарования, ни клевета, ни обиды не коснутся его, если она скажет: «Как прекрасно!» — и проведет по его лбу своими тонкими пальцами.

Эти образы, точно маяки, сияли на его жизненном горизонте. Возбужденный ум окреп, стал более гибким. До августа он заперся у себя и выдержал последний экзамен.

Делорье, который с таким трудом натаскивал его еще раз ко второму экзамену в конце декабря и к третьему — в феврале, удивлялся его рвению. Воскресли прежние надежды. Через десять лет Фредерик должен стать депутатом, через пятнадцать — министром. Почему бы и нет? Благодаря наследству, которое он вскоре получит, можно основать газету; с этого он начнет; а там видно будет. Что касается Делорье, то он по-прежнему мечтал о кафедре

на юридическом факультете и так блестяще защитил свою докторскую диссертацию, что удостоился похвалы профессоров.

Через три дня после него защитил диссертацию и Фредерик. Перед отъездом на каникулы он решил устроить пикник, которым завершились бы субботние сборища.

На пикнике он был весел. Г-жа Арну находилась теперь у своей матери в Шартре. Но скоро он встретится с ней вновь и в конце концов станет ее любовником.

Делорье, как раз в тот день допущенный к ораторским упражнениям на набережной Орсе, произнес речь, вызвавшую немало аплодисментов. Хотя обычно он был воздержан, но на этот раз напился и за десертом сказал Дюсардье:

— Вот ты — человек честный! Когда я разбогатею, ты будешь моим управляющим.

Все были счастливы. Сизи не предполагал кончать курс. Мартинон для продолжения своей деятельности собирался в провинцию, где он будет назначен помощником прокурора; Пелерен намеревался писать большую картину на тему «Гений революции». Юсоне на следующей неделе должен был читать директору Театра развлечений план своей пьесы и в успехе не сомневался:

— Построение драмы не вызывает спора! В страстях я знаю толк — достаточно таскался по свету, а что до остроумия, так это моя профессия!

Он сделал прыжок, стал на руки и так несколько раз прошелся вокруг стола.

Сенекаля эта мальчишеская выходка не развеселила. Из пансиона, где он служил, его прогнали за то, что он побил сына аристократа. Терпя все большую нужду, он винил в этом общественный строй, проклинал богатых; свои чувства он изливал перед Режембаром, все более разочарованным, унылым, привередливым. Гражданин занимался теперь вопросами бюджета и обвинял камарилью в том, что она теряет в Алжире миллионы.

Он не мог лечь спать, не заглянув в кабачок «Александр», и поэтому ушел в одиннадцать часов. Остальные разошлись позднее; прощаясь с Юсоне, Фредерик узнал от него, что г-жа Арну должна была вернуться накануне.

Он пошел в контору дилижансов и переменил билет, чтобы ехать на день позже, и часов около шести явился к

ней. Возвращение г-жи Арну, сказал привратник, откладывается на неделю. Фредерик пообедал в одиночестве, затем прогулялся по Бульварам.

Розовые облака, длинные и растрепанные, тянулись над крышами; над витринами лавок уже поднимали навесы; на уличную пыль из бочек поливальщиков брызнула вода; неожиданная свежесть смешивалась с запахами кофеен, в открытые двери которых видны были среди серебра и позолоты целые снопы цветов, отражавшиеся в высоких зеркалах. Медленно двигалась толпа. Мужчины вели разговоры, стоя группами на тротуаре; женщины проходили мимо, и в их взглядах была нега, а на лицах та матовая бледность камелий, которую вызывает усталость от сильной жары. Что-то необъятное было разлито в воздухе, окутывало дома. Никогда Париж не казался Фредерику таким прекрасным. Будущее представлялось ему бесконечной вереницей лет, полных любви.

Он остановился перед театром «Порт-Сен-Мартен», посмотрел на афишу и, так как делать ему было нечего, взял билет.

Играли какую-то старую феерию. Зрителей было мало; в слуховые окошки под райком видно было небо — маленькие синие квадратики, а кенкеты рампы тянулись сплошной цепочкой желтых огней. Сцена представляла невольничий рынок в Пекине — с колокольчиками, гонками, султаншами, остроконечными шапками, звучали каламбуры. В антракте Фредерик пошел бродить по безлюдному фойе и увидел в окно на бульваре, у подъезда, большое зеленое ландо, запряженное парой белых лошадей, с кучером в коротких штанах.

Он уже возвращался на свое место, когда в первую ложу бельэтажа вошли дама и господин; у мужа было бледное лицо, окаймленное жидкими седеющими бакенбардами, орден в петлице и тот холодный вид, который якобы присущ дипломатам.

Жена, по крайней мере лет на двадцать моложе его, ни высокая, ни маленькая, ни дурнушка, ни хорошенькая, блондинка с локонами по английской моде, в платье с гладким лифом, держала в руке широкий черный кружевной веер. Трудно было объяснить, почему люди их круга приехали в конце сезона в театр,— вернее всего, чисто случайно или от скуки при мысли о вечере, который им предстояло провести вдвоем. Дама покусывала веер, господин зевал. Фредерик не мог вспомнить, где он его видел.

Проходя по коридору в следующем антракте, он встретил супругов и неуверенно поклонился; г-н Дамбрёз, узнав его, подошел и сразу же стал извиняться за непростительную небрежность. Это был намек на многочисленные визитные карточки, которые Фредерик посылал ему по советам клерка. Однако он путал года и думал, что Фредерик еще только на втором курсе. Потом он сказал Фредерику, что завидует его отъезду в деревню. Ему самому надо бы отдохнуть, но дела удерживают его в Париже.

Госпожа Дамбрёз, опираясь на руку мужа, слегка наклонила голову; любезно-оживленное выражение ее лица не соответствовало печали, которая только что была на нем.

— Зато в Париже столько чудесных развлечений! — сказала она, как только муж замолчал.— Какая глупая пьеса! Не правда ли?

Все трое продолжали стоять, разговаривая о театре и новых пьесах.

Фредерик, привыкший к жеманству провинциальных мещанок, еще ни у одной женщины не видел такой непринужденности в обращении, той простоты, которая на самом деле есть не что иное, как изысканность, и в которой люди наивные видят проявление внезапной симпатии.

Они рассчитывали видеть его у себя, как только он вернется; г-н Дамбрёз поручил передать привет дядюшке Рокку.

Фредерик, возвратясь домой, не преминул рассказать об этой встрече Делорье.

— Великолепно! — заметил клерк.— Только не дай мамаше завладеть тобою! Возвращайся сразу же!

На другой день по его приезде г-жа Моро после завтрака повела сына в сад.

Она выразила радость по поводу того, что теперь он получил звание, ибо они не так богаты, как думают люди; земля приносит мало дохода; арендаторы платят неаккуратно; она даже была вынуждена продать свой экипаж. Наконец она ознакомила его с положением дел.

Когда, овдовев, она впервые оказалась в стесненных обстоятельствах, один коварный человек, г-н Рокк, одолжил ей денег и помимо нее возобновлял и переносил сроки векселя. Вдруг он сразу потребовал все, и она пошла на его условия, за смехотворную цену уступив ему Прельскую ферму. Десять лет спустя, при крахе банка в Мелёне, погиб и ее капитал. Г-жа Моро пришла в ужас от не-

обходимости заложить недвижимость и, стремясь в то же время сохранить прежний образ жизни, что могло оказаться полезным для ее сына, приняла услуги г-на Рокка, когда он снова явился к ней. Но теперь она с ним в расчете. Короче говоря, у них остается приблизительно десять тысяч франков годового дохода, из них на долю Фредерика — две тысячи триста,— остаток от наследства отца.

— Да не может быть! — воскликнул Фредерик.

Она только кивнула головой в знак того, что это вполне может быть.

Но дядя-то оставит ему что-нибудь?

Это еще неизвестно!

Они молча прошлись по саду. Наконец она прижала сына к груди и сказала голосом, сдавленным от слез:

— Бедный мой мальчик! Мне пришлось отказаться от стольких надежд!

Он сел на скамейку под тенью густой акации.

Ее совет — поступить клерком к адвокату Прюараму, который впоследствии передаст ему свою контору; если он хорошо поведет дела, то сможет ее перепродать и найти богатую невесту.

Фредерик уже не слушал. Он машинально смотрел поверх изгороди в соседний сад.

Там была девочка лет двенадцати, рыжеволосая, совсем одна. Из ягод рябины она сделала себе серьги, серый полотняный лиф не скрывал ее плеч, золотистых от загара, на белой юбке были пятна от варенья, а во всей фигурке, напряженной и хрупкой, чувствовалась грация хищного зверька. Присутствие незнакомца, по-видимому, удивило ее; держа в руках лейку, она вдруг застыла на месте и уставилась на него прозрачными голубовато-зелеными глазами.

— Это дочка господина Рокка,— сказала г-жа Моро.— Он недавно женился на своей служанке и узаконил ребенка.

VI

Разорен, ограблен, погиб!

Фредерик продолжал сидеть на скамейке, ошеломленный ударом. Он проклинал судьбу, ему хотелось кого-нибудь прибить; он приходил в еще большее отчаяние от-

того, что чувствовал себя обиженным, обесчещенным; ведь он воображал до сих пор, что отцовское состояние будет со временем приносить тысяч пятнадцать годового дохода, и дал это понять супругам Арну. Теперь его сочтут за хвастуна, мошенника, отъявленного плута, который втерся к ним в надежде на какие-то выгоды! А г-жа Арну! Как теперь встретиться с нею?

Впрочем, это немыслимо, раз у него всего лишь три тысячи годового дохода! Ведь не может он вечно жить на пятом этаже, иметь в услужении только привратника и целый год ходить в жалких черных перчатках, побелевших на пальцах, в просаленной шляпе, в одном и том же сюртуке. Нет! Нет! Ни за что! А между тем жить без *нее* невыносимо. Правда, многие не имеют никакого состояния,— Делорье в том числе,— и ему показалось малодушием, что он придает такую важность столь ничтожным обстоятельствам. Нужда, быть может, во сто крат умножит его способности. Мысль о великих людях, работающих в мансардах, окрылила его. Г-жу Арну с ее возвышенной душой подобное зрелище должно тронуть, она умилится. Пожалуй, эта катастрофа в конце концов окажется счастьем, подобно землетрясениям, благодаря которым обнаруживаются сокровища, она вызовет к жизни скрытые богатства его натуры. Но во всем мире есть только одно место, где могут их оценить,— Париж! В его представлении искусство, наука и любовь (эти три лика божества, как сказал бы Пелерен) расцветают в столице.

Вечером он объявил матери, что вернется в Париж. Г-жа Моро была удивлена и возмущена. Это безумие, нелепость. Лучше бы он послушался ее советов, то есть остался с нею, начал службу в конторе. Фредерик пожал плечами: «Полноте!» — и решил, что такое предложение для него оскорбительно.

Тогда добрая женщина прибегла к другому способу. Тихо всхлипывая, она вкрадчивым голосом стала говорить о своем одиночестве, о своей старости, о жертвах, принесенных ею. Теперь, когда она так несчастна, он ее покидает. Потом, намекая на близость своей смерти, сказала:

— Боже мой, потерпи немножко! Скоро ты будешь свободен!

Эти жалобы повторялись раз двадцать в день целых три месяца; в то же время приятности домашней жизни

подкупали его; Фредерик наслаждался мягкой постелью, полотенцами, на которых не было дыр, и, обессиленный, лишенный воли, словом, побежденный страшной силой кротости, позволил отвести себя к мэтру Прюараму.

Он не выказал там ни знаний, ни усердия. До сих пор на него смотрели как на молодого человека с большими задатками, как на будущую гордость департамента. И все были разочарованы.

Первое время он говорил себе: «Надо сообщить г-же Арну»,— и целую неделю обдумывал письма, полные дифирамбов, и коротенькие записки в стиле лапидарном и возвышенном. Его удерживала боязнь признаться, какое у него положение. Потом он решил, что лучше написать ее мужу. Арну знает жизнь и поймет его. Наконец, после двухнедельных колебаний, он решил: «Да что там! Мне больше не видаться с ними. Пусть забудут меня! По крайней мере, я не уроню себя в ее мнении! Она подумает, что я умер, и пожалеет обо мне... Быть может».

Так как крайние решения не стоили ему большого труда, он дал себе клятву никогда больше не возвращаться в Париж и даже не справляться о г-же Арну.

А между тем он жалел решительно обо всем, вплоть до запаха газа и грохота омнибусов. Он вспоминал каждое ее слово, тембр ее голоса, блеск глаз и, считая себя конченым человеком, не делал ничего, решительно ничего.

Он вставал очень поздно, смотрел в окно на проезжавшие мимо возы. Особенно скверно чувствовал он себя первые полгода.

Все же выдавались дни, когда его охватывала злоба на самого себя. Тогда он уходил из дому. Он шел по лугам, которые зимой наполовину затоплены разливом Сены. Их разделяют ряды тополей. То тут, то там подымается мостик. Он бродил до вечера, ступая по желтым листьям, вдыхая туман, перепрыгивая через канавы; по мере того как кровь сильнее стучала в висках, его охватывала неистовая жажда деятельности; ему хотелось стать охотником в Америке, поступить слугою к восточному паше или матросом на корабль; свою меланхолию он изливал в длинных письмах к Делорье.

Тот из кожи лез вон, лишь бы пробиться. Малодушное поведение друга и его вечные жалобы казались клерку нелепыми. Вскоре их переписка почти сошла на нет. Всю свою обстановку Фредерик подарил Делорье, который про-

должал жить в его квартире. Мать время от времени заговаривала на эту тему; наконец он сознался, что подарил мебель, и мать стала бранить его. Как раз в это время ему принесли письмо.

— Что с тобой? — спросила она.— Ты весь дрожишь?

— Что со мной? Да ничего! — ответил Фредерик.

Делорье сообщал ему, что поселил у себя Сенекаля и они уже две недели живут вместе. Итак, Сенекаль пребывает сейчас среди вещей, связанных с четой Арну. Он может продать их, подвергать их критике, шутить. Фредерик почувствовал себя оскорбленным до глубины души. Он ушел к себе в комнату. Ему хотелось умереть.

Мать позвала его. Ей надо было посоветоваться относительно каких-то насаждений в саду.

Этот сад, род английского парка, был разделен посредине изгородью; одна его половина принадлежала дядюшке Рокку, у которого на берегу реки был еще и огород. Соседи, находившиеся в ссоре, избегали появляться в саду в одни и те же часы. Но с тех пор, как вернулся Фредерик, г-н Рокк чаще стал гулять там и не скупился на любезности. Он сочувствовал сыну г-жи Моро, которому приходится жить в маленьком городке. Однажды он ему сказал, что г-н Дамбрёз о нем спрашивал. В другой раз он стал распространяться о Шампани, по обычаям которой титул переходил к детям по женской линии.

— В ту пору вы были бы знатным господином, ведь ваша матушка урожденная де Фуван. И право, что ни говори, а имя кое-что да значит! Впрочем,— прибавил он, лукаво глядя на него,— все зависит от министра юстиции.

Эти притязания на аристократизм удивительно противоречили всему его облику. Он был мал ростом, просторный коричневый сюртук нарушал пропорции его туловища, удлиняя его. Без фуражки у него было совсем бабье лицо, нос необычайно острый; желтые волосы напоминали парик; кланялся он при встречах очень низко, а на улице держался поближе к стенам.

До пятидесяти лет он довольствовался услугами некой Катрин, родом из Лотарингии, его ровесницы; лицо у нее было изрыто оспой. Но в 1834 году он вывез из Парижа красавицу блондинку с глазами, как у овцы, и «царственной осанкой». Вскоре она стала важно разгуливать с огромными серьгами в ушах, а после рождения дочери,

записанной под именем Елизаветы-Олимпии-Луизы Рокк, все стало ясно.

Катрин, снедаемая ревностью, думала, что возненавидит ребенка. Но нет, она полюбила эту девочку, окружила ее заботами, вниманием, ласками, чтобы занять место матери и восстановить против нее малютку; впрочем, это не стоило большого труда, ибо г-жа Элеонора совершенно забросила дочь, предпочитая болтать со своими поставщиками. На другой же день после свадьбы она побывала с визитом в доме супрефекта, перестала говорить служанкам «ты» и решила, считая это хорошим тоном, держать девочку в строгости. Она сама присутствовала на уроках; учитель, старый чиновник из мэрии, не знал, как ему быть. Ученица бунтовала, получала пощечины, а потом плакала на коленях у Катрин, неизменно признававшей ее правоту. Женщины ссорились: г-н Рокк заставлял их умолкнуть. Он женился из любви к дочери и не хотел, чтобы ее мучили.

Она ходила в изодранном белом платье и кружевных панталонах, но в большие праздники ее наряжали, как принцессу, назло обывателям, которые ввиду ее незаконного рождения запрещали своим малышам водиться с ней.

Она жила одна в своем саду, качалась на качелях, гонялась за бабочками, потом вдруг останавливалась посмотреть, как жук садится на розовый куст. Должно быть, этот образ жизни и придал ее лицу смелое и в то же время мечтательное выражение. Она была такого же роста, как Марта, и Фредерик уже при второй их встрече спросил:

— Вы мне позволите поцеловать вас, мадмуазель?

Девочка подняла голову и ответила:

— Пожалуйста!

Но изгородь разделяла их.

— Надо на нее влезть,— сказал Фредерик.

— Нет, подними меня!

Он перегнулся через ограду и, схватив ее под мышки, поцеловал в обе щеки, потом таким же образом поставил на место; это повторялось несколько раз.

Непосредственная, как четырехлетний ребенок, она, едва заслышав, что идет ее друг, бросалась к нему навстречу или же, спрятавшись за дерево, тявкала по-собачьи, чтобы его испугать.

Как-то раз, когда г-жи Моро не было дома, он привел

ее в свою комнату. Она открыла все флаконы с духами и густо напомадила себе волосы; потом без стеснения улеглась на его кровать, но спать не собиралась.

— Я воображаю, что я твоя жена,— сказала она.

На следующий день он застал ее в слезах. Она призналась, что «оплакивает свои грехи», а когда он пытался узнать, в чем она грешна, она, потупившись, ответила:

— Не спрашивай!

Приближался день первого причастия; утром ее повели исповедоваться.

После этого таинства она не стала благоразумнее. Порою она впадала в ярость; тогда, чтобы успокоить ее, за помощью обращались к Фредерику.

Он часто уводил ее с собою на прогулку. Пока он, шагая, предавался мечтам, она собирала маки вдоль нив, а если замечала, что он грустнее, чем обычно, старалась утешить его ласковыми словами. Его сердце, не знавшее взаимной любви, отозвалось на эту детскую привязанность; он рисовал ей человечков, рассказывал разные истории и стал читать ей вслух.

Фредерик начал с *Романтических анналов* — знаменитого в ту пору собрания стихов и прозы. Потом, забыв о возрасте девочки,— так он был поражен ее умом,— он прочел ей *Аталу, Сен-Мара, Осенние листья.* Но однажды ночью (в тот вечер она слушала *Макбета* в незатейливом переводе Летурнера) она проснулась с криком «Пятно! Пятно!»; зубы у нее стучали, она дрожала и, не отрывая испуганных глаз от правой руки, терла ее и повторяла: «Все то же пятно!» Наконец пришел врач и не велел волновать ее.

Местные буржуа усмотрели в этом дурное предзнаменование для ее поведения в будущем. Пошли толки, что «сын Моро» готовит из нее актрису.

Вскоре всеобщее внимание было привлечено другим событием, а именно приездом дядюшки Бартелеми. Г-жа Моро отвела ему собственную спальню и в своей предупредительности дошла до того, что в постные дни стала подавать скоромное.

Старик оказался не очень любезным. Не было конца сравнениям между Гавром и Ножаном, где, по его мнению, воздух тяжелый, хлеб скверный, улицы плохо вымощены, провизия неважная, а жители города лентяи. «Что за жалкая у вас торговля!» Он осуждал своего покойного брата за сумасбродство; то ли дело он: ведь он нажил ка-

питал, который даст двадцать семь тысяч ливров годового дохода! К концу недели он уехал и, уже садясь в экипаж, проронил малообнадеживающие слова:

— Мне было отрадно узнать, что вы живете в достатке.

— Ничего ты не получишь! — сказала г-жа Моро, возвращаясь в комнаты.

Приехал дядюшка только по ее настояниям, и она всю неделю добивалась,— слишком явно, быть может,— чтобы он открыл свои намерения. Теперь она в этом раскаивалась; она сидела в кресле, опустив голову и сжав губы. Фредерик, сидя против нее, следил за ней взглядом; оба молчали, как пять лет тому назад, когда он приехал из Монтеро. Это совпадение, невольно пришедшее ему в голову, напомнило ему о г-же Арну.

В эту минуту под окном раздалось щелканье бича; кто-то его позвал.

То был дядюшка Рокк — один в своей повозке. Он собирался провести целый день в Ла Фортель, у г-на Дамбрёза, и любезно предложил Фредерику поехать с ним.

— Со мной вам не надо приглашений, не беспокойтесь!

Фредерик охотно бы согласился. Но как объяснить свое окончательное переселение в Ножан? Не было у него и подходящего летнего костюма. Наконец, что скажет мать? Он отказался.

С этих пор сосед сделался менее дружелюбен. Луиза подрастала. Г-жа Элеонора опасно заболела, и общение прервалось, к великому удовольствию г-жи Моро, опасавшейся, что знакомство с подобными людьми повредит карьере сына.

Она мечтала купить ему место в канцелярии суда. Фредерик не особенно сопротивлялся этому намерению. Теперь он ходил с матерью к обедне, по вечерам играл с нею в империал; он привыкал к провинции, погружался в нее, и даже самая его любовь приобрела какую-то замогильную сладость, дремотное очарование. Свою скорбь он столько раз изливал в письмах, столько раз вспоминал о ней, читая книги или гуляя среди полей и все окрашивая ею, что она почти иссякла; г-жа Арну была для него теперь как бы покойницей, и он удивлялся, что не знает, где ее могила,— такой тихой и умиротворенной стала его любовь.

Однажды — это было 12 декабря 1845 года,— кухарка часов в девять утра подала Фредерику письмо. Адрес был написан крупными буквами, незнакомым почерком, и Фредерик, еще сонный, неторопливо его распечатал. Наконец он прочел:

«Гаврский мировой судья, III округ.

Милостивый государь,

Ваш дядя, господин Моро, скончавшись, ab intestat...» [1]

Он наследник!

Фредерик вскочил с постели босиком, в одной рубашке, как будто за стеной вспыхнул пожар; он провел рукой по лицу, не веря собственным глазам, думая, не пригрезилось ли ему все это, и, желая убедиться, что не спит, распахнул окно.

Выпал снег; крыши побелели; во дворе он заметил лохань для белья, на которую наткнулся накануне вечером.

Он три раза подряд перечитал письмо. Никакого сомнения! Все состояние дяди! Двадцать семь тысяч ливров годового дохода! Бурный восторг охватил его при мысли, что он увидит г-жу Арну. Отчетливо, как в галлюцинации, он узрел себя рядом с ней, у нее в доме; он привез ей какой-то подарок, завернутый в тончайшую бумагу, а у подъезда его ждет тильбюри, нет, лучше двухместная карета! Да, черная двухместная карета, со слугою в коричневой ливрее. Он слышит, как лошадь бьет копытом, а позвякивание уздечки сливается с нежными звуками их поцелуев. Так будет каждый день, до бесконечности. Он станет принимать их у себя, в своем доме; столовая будет обита красным сафьяном, будуар желтым шелком, всюду диваны! А какие этажерки! Китайские вазы! Какие ковры! Эти образы проносились столь стремительно, что у него закружилась голова. Тогда он вспомнил о матери и пошел к ней, не выпуская письма из рук.

Госпожа Моро пыталась сдержать свое волнение и чуть не упала в обморок. Фредерик обнял ее и поцеловал в лоб.

— Милая матушка, ты теперь снова можешь ку-

[1] Не оставив завещания *(лат.)*.

пить экипаж. Улыбнись же, не надо плакать, будь счастлива!

Через десять минут новость распространилась по всему городу до самых предместий. Поспешили явиться мэтр Бенуа, г-н Гамблен, г-н Шамбион, все друзья. Фредерик убежал от них на минуту, чтобы написать Делорье. Пришли новые гости. Всю вторую половину дня заполнили поздравления. За всем этим позабыли о жене Рокка, а между тем она была «совсем плоха».

Вечером, когда они остались вдвоем, г-жа Моро сказала сыну, что советует ему обосноваться в Труа, заняться адвокатурой. В родных краях его знают лучше, чем в другом месте, здесь он легче найдет себе богатую невесту.

— Ну, это уж слишком! — воскликнул Фредерик.

Не успело счастье прийти к нему, как его хотят отнять. Он объявил о своем твердом решении поселиться в Париже.

— А что ты будешь там делать?

— Ничего!

Госпожа Моро, удивленная таким тоном, спросила, кем же он намерен стать.

— Министром! — ответил Фредерик.

Он уверил ее, что нисколько не шутит, что он хочет пойти по дипломатической части, что к этому его побуждают и познания и склонности. Сперва он поступит в государственный совет по протекции г-на Дамбрёза.

— Разве ты с ним знаком?

— Конечно! Через господина Рокка!

— Странно,— сказала г-жа Моро.

Он пробудил в ее сердце давние честолюбивые мечты. Она отдалась им и ни о чем другом уже не заговаривала.

Фредерик — повинуйся он только своему нетерпению — уехал бы тотчас же. На другой день все места в дилижансе оказались проданы; ему пришлось терзаться до следующего дня, до семи часов вечера.

Когда они садились обедать, раздались три протяжных удара церковного колокола; служанка, войдя в комнату, объявила, что г-жа Элеонора скончалась.

Эта смерть, в сущности, ни для кого не была горем, даже для ребенка. Девочке это со временем могло пойти лишь на пользу.

Так как дома стояли рядом, слышна была суматоха, доносились голоса; мысль о трупе, который находится так

близко от них, бросала на их расставание траурную тень. Г-жа Моро раза два-три вытирала глаза, у Фредерика сжималось сердце.

Когда кончили обедать, к нему в дверях подошла Катрин. Барышня непременно хочет его видеть. Она ждет его в саду. Он вышел, перескочил через изгородь и, натыкаясь на деревья, направился к дому г-на Рокка. В одном из окон второго этажа горел свет, из темноты появилась тень, и голос прошептал:

— Это я.

Она показалась ему выше обыкновенного, должно быть, из-за черного платья. Не зная, с какими словами обратиться к ней, он только взял ее за руку и со вздохом сказал:

— Бедная моя Луиза!

Она ничего не ответила. Она только посмотрела на него долгим, внимательным взглядом. Фредерик боялся опоздать на дилижанс; вдали ему уже чудился стук колес, и он решил положить конец разговору:

— Катрин мне сообщила, что ты хочешь что-то...

— Да, верно, я хотела вам сказать...

Это «вы» удивило его; она умолкла, и он спросил:

— Ну что же?

— Да не помню. Позабыла! Правда, что вы уезжаете?

— Да, сейчас.

Она переспросила:

— Сейчас?.. Совсем?.. Мы больше не увидимся? — Ее душили рыдания.— Прощай! Прощай! Поцелуй меня!

Она порывисто обняла его.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Когда Фредерик занял место в глубине дилижанса и дилижанс тронулся, дружно подхваченный пятеркой лошадей, им овладел пьянящий восторг. Подобно зодчему, создающему план дворца, он заранее нарисовал себе будущую жизнь в Париже. Он наполнил ее утонченностью и великолепием, вознес к горним высотам; в ней всего было в избытке, и это созерцание так глубоко захватило его, что все окружающее померкло.

Лишь когда поравнялись с сурденским косогором, он обратил внимание на местность. Проехали самое большее пять километров. Это было нестерпимо. Фредерик опустил окно, чтобы смотреть на дорогу. Несколько раз он задавал кондуктору вопрос, когда они приедут. Мало-помалу он успокоился и с открытыми глазами сидел в своем углу.

Фонарь, привешенный к козлам, освещал крупы коренников. Впереди Фредерик различал лишь гривы других лошадей, зыблившиеся, как белые волны; от их дыхания по обе стороны упряжки клубился пар; железные цепочки звякали, стекла дрожали в рамах, тяжелый экипаж мерно катился по дороге. Из мрака выступал то сарай, то одинокий постоялый двор. Порою, когда проезжали деревню, видны были отсветы печи, топившейся в пекарне; чудовищные силуэты лошадей проносились по стене дома, стоящего напротив. На станциях, пока лошадей перепрягали, ненадолго водворялась глубокая тишина. Кто-то топал по крыше экипажа, на крыльце появлялась женщина, рукой защищая свечу от ветра. Потом кондуктор вскакивал на подножку, и дилижанс снова пускался в путь.

В Мормане Фредерик услышал, как часы пробили четверть второго.

«Так, значит, сегодня,— подумал он,— уже сегодня, скоро!»

Но мало-помалу его надежды и воспоминания, Ножан, улица Шуазёль, г-жа Арну, мать — все смешалось.

Фредерика разбудил глухой стук колес по деревянному настилу: ехали по Шарантонскому мосту — это был Париж. Его спутники сняли один — фуражку, а другой — фуляровый платок, надели шляпы и занялись разговором. Первый, краснолицый толстяк в бархатном сюртуке, был купец; второй ехал в столицу посоветоваться с врачом; Фредерик вдруг испугался, не причинил ли он ему ночью беспокойства, и стал извиняться,— столь умиляюще действовало счастье на его душу.

Так как Вокзальная набережная была, видимо, затоплена, ехать продолжали прямо, и опять потянулись поля. Вдали дымили высокие фабричные трубы. Потом экипаж повернул на Иври. Въехали на какую-то улицу; внезапно Фредерик увидел вдали купол Пантеона.

Взрытая равнина напоминала груду развалин. На ней вздымался длинный крепостной вал; вдоль пешеходных дорожек, окаймлявших шоссе, выстроились чахлые деревца, окруженные защитными рейками, которые были утыканы гвоздями. Фабрики химических изделий сменялись лесными складами. В полуоткрытые высокие ворота, вроде тех, что бывают на фермах, виднелись отвратительные дворы, полные нечистот, с грязными лужами посередине. На длинных трактирных зданиях цвета бычьей крови в простенках между окнами второго этажа выделялось по два скрещенных бильярдных кия в венке из намалеванных цветов; попадались жалкие лачуги, лишь наполовину отстроенные и оштукатуренные. Потом по обе стороны дороги потянулись дома, на их голых фасадах виднелись то гигантская сигара из жести — здесь была табачная лавка, то вывеска повивальной бабки с изображением представительной женщины в чепце, которая укачивала младенца, завернутого в стеганое одеяло с кружевами. Углы домов были обклеены афишами, на три четверти изодранными и трепетавшими на ветру, точно лохмотья. Проходили рабочие в блузах, проезжали повозки с бочонками пива, прачечные фургоны, тележки с мясом; моросил дождь, было холодно, на бледном небе ни просвета, но там, за мглою, сияли глаза, которые были для него дороже солнца.

У заставы долго стояли: торговцы яйцами, ломовики и стадо овец запрудили весь проезд. Караульный, надвинув капюшон шинели, шагал взад и вперед у своей буд-

ки, чтобы согреться. Акцизный чиновник влез на империал, звонко раздался сигнал почтового рожка. По бульвару дилижанс промчался рысью — стучали вальки, подпрыгивали постромки. Длинный бич щелкал в сыром воздухе. Кондуктор громко кричал: «Эй! Берегись!» — и метельщики сторонились, пешеходы отскакивали назад, брызги грязи летели в окна: навстречу двигались возы, кабриолеты, омнибусы. Наконец показалась решетка Ботанического сада.

Желтоватая вода Сены почти достигала настила мостов. От нее веяло прохладой. Фредерик дышал всей грудью, наслаждаясь благодатным воздухом Парижа, словно напоенным любовью и насыщенным мыслью; он умилился, увидев первый фиакр. Все было ему мило — даже солома, устилавшая пороги винных погребков, даже чистильщики сапог с их ящиками, даже приказчик из бакалейной лавки, вытряхивавший золу из жаровни для кофе. Торопливо проходили женщины под зонтиками: высунувшись, Фредерик вглядывался в их лица — ведь случай мог привести сюда и г-жу Арну.

Тянулись магазины, толпа становилась гуще, шум усилился. Миновав набережные Святого Бернара, Турнель и Монтебелло, дилижанс продолжал путь по набережной Наполеона; Фредерику захотелось взглянуть на окна своей квартиры, но это было далеко. Потом по Новому мосту еще раз перебрались через Сену, доехали до Лувра, а дальше, улицами Святого Гонория, Круаде-Пти-Шан и Булуа, попали на улицу Цапли и въехали во двор гостиницы.

Чтобы продлить удовольствие, Фредерик одевался как можно медленнее и даже пошел на бульвар Монмартр пешком; улыбаясь при мысли, что вот сейчас на мраморной доске снова увидит любимое имя, он поднял глаза. Ни витрины, ни картин — ничего!

Он бросился на улицу Шуазёль. Господа Арну там больше не жили, вместо привратника сидела какая-то соседка. Фредерик подождал привратника; наконец он появился — это был не тот. Адреса Арну он не знал.

Фредерик зашел в кафе и за завтраком навел справку в «Торговом альманахе». Там оказалось триста разных Арну, но Жака Арну не было! Где же они живут? Адрес должен был знать Пелерен.

Он отправился в самый конец предместья Пуассоньер, в его мастерскую. У двери не было ни звонка, ни молот-

ка; Фредерик стучал кулаком, звал, кричал. Ответом ему была тишина.

Потом он вспомнил о Юсопе. Но где разыщешь такого человека? Однажды Фредерику случилось проводить журналиста до дома, где жила его любовница,— на улицу Флерюс. Дойдя до улицы Флерюс, Фредерик спохватился, что не знает, как зовут эту девицу.

Он обратился в полицейскую префектуру. Он переходил с лестницы на лестницу, из канцелярии в канцелярию. Адресный стол уже заканчивал работу. Ему предложили прийти на другой день.

Потом он стал заходить ко всем торговцам картинами, каких только мог обнаружить, и справлялся, не знают ли они Арну. Г-н Арну больше не занимался этим видом торговли.

Наконец, упав духом, измученный, разбитый, Фредерик вернулся к себе в гостиницу и лег в постель. Когда он натягивал на себя простыню, его внезапно озарило, так что он даже подпрыгнул от радости: «Режембар! Какой же я дурак, что не вспомнил о нем!»

На следующий день он уже к семи часам утра был на улице Богоматери-Победительницы перед винным погребком, где Режембар имел обыкновение пропустить стаканчик. Погребок был еще закрыт; Фредерик решил пройтись и через полчаса вернулся. Режембар уже ушел. Фредерик выбежал на улицу. Вдали как будто мелькнула шляпа Гражданина; но похоронная процессия и траурные кареты преградили путь Фредерику. Когда препятствие миновало, видение уже скрылось.

К счастью, он вспомнил, что Гражданин каждый день ровно в одиннадцать часов завтракает в ресторанчике на площади Гайон. Надо было запастись терпением; после бесконечных скитаний от Биржи до церкви святой Магдалины и от Магдалины до театра «Жимназ» Фредерик ровно в одиннадцать часов вошел в ресторан, уверенный, что найдет там Режембара.

— Не знаю такого! — надменно сказал хозяин ресторана.

Фредерик стал настаивать, тогда тот ответил:

— Я с ним больше не знаком, сударь! — И, величественно подняв брови, покачал головой, намекая на некую тайну.

Когда они виделись в последний раз, Гражданин упомянул кабачок «Александр». Фредерик съел сдобную

булку и, вскочив в кабриолет, спросил кучера, нет ли где-нибудь в квартале Святой Женевьевы кафе под названием «Александр». Кучер доставил его на улицу Фран-Буржуа-Сен-Мишель к заведению с таким названием, и на вопрос Фредерика: «Скажите, пожалуйста, господин Режембар здесь?» — хозяин ответил с улыбкой более чем любезной: «Мы еще не видели его сегодня, сударь»,— и бросил на свою супругу, сидевшую за конторкой, многозначительный взгляд.

Затем он взглянул на стенные часы.

— Но он придет, надеюсь, минут через десять, через четверть часа самое большее. Селестен, живо газеты! Что угодно заказать?

Фредерик, хотя ему ничего не хотелось, проглотил рюмку рома, за ней рюмку кирша, потом рюмку кюрасо, пил разные гроги, холодные и горячие. Он прочел весь номер *Века,* перечитал его еще раз; изучил вплоть до мельчайших особенностей бумаги, карикатуры *Шаривари,* под конец он знал наизусть все объявления. Время от времени на тротуаре раздавались шаги,— он! — чей-то силуэт появлялся за окном, но всякий раз проходил мимо.

От скуки Фредерик перебирался с места на место; он сел у задней стены, потом пересел направо, затем налево; он устраивался на середине диванчика, раскинув руки. Но кот, мягко ступавший по бархатной спинке, пугал его своими прыжками, когда стремглав бросался к подносу, чтобы слизать капли сиропа, а хозяйский ребенок, несносный четырехлетний малыш, играл трещоткой на ступеньках конторки. Его мамаша, маленькая бледная женщина с гнилыми зубами, бессмысленно улыбалась. Что могло произойти с Режембаром? Фредерик ждал его, погруженный в беспредельное отчаяние.

Дождь, словно град, стучал по поднятому верху кабриолета. В окно с раздвинутой кисейной занавеской Фредерик видел на улице несчастную лошадь, стоявшую неподвижно, как деревянный конь. Сточная канавка между колесами превратилась в огромный ручей, кучер, накрывшись фартуком, дремал; однако, опасаясь, как бы не удрал его седок, он время от времени заглядывал в дверь, весь мокрый, низвергая с себя потоки воды; если бы взгляды обладали разрушительной силой, то от часов ничего бы не осталось — так пристально смотрел на них Фредерик. А между тем они продолжали идти. Господин Александр расхаживал взад и вперед, повторяя: «Да уж будьте уве-

рены, он придет! Он придет!» — и, чтобы развлечь Фредерика, заводил разговор, рассуждал о политике. Свою любезность он довел до того, что предложил сыграть партию в домино.

Наконец в половине пятого Фредерик, сидевший в кафе с двенадцати часов, вскочил с места и объявил, что больше не станет ждать.

— Я и сам ничего не пойму,— простодушно ответил хозяин,— в первый раз господин Леду не пришел!

— Как? Господин Леду?

— Ну да, сударь!

— Я же сказал: Режембар! — воскликнул вне себя Фредерик.

— Ах, простите, пожалуйста! Вы ошиблись! Не правда ли, госпожа Александр, этот господин сказал: Леду? — Он обратился к официанту: — Вы тоже слышали?

Официант, желая, очевидно, за что-то отомстить хозяину, ограничился улыбкой.

Фредерик велел ехать на Бульвары, возмущенный потерей времени, негодуя на Гражданина и пламенно мечтая узреть его, точно Гражданин был божеством; он твердо решил извлечь приятеля из глубин любого, хотя бы и самого отдаленного, винного погребка. Извозчик раздражал Фредерика, он его отпустил; мысли путались в голове; потом вдруг все названия кафе, какие когда-либо произносил при нем болван Режембар, разом вспыхнули в памяти, как бесчисленные огни фейерверка: кафе «Гаскар», кафе «Грембер», кафе «Альбу», кабачок «Бордоский», «Гаванский», «Гаврский», «Бёф-а-ла-Мод», «Немецкая пивная», «Мамаша Морёль»,— и он посетил их все по очереди. Но из одного Режембар только что ушел, в другой — должен был прийти; в третьем его уже полгода не видели; в четвертом он накануне заказал на субботу жаркое из баранины. Наконец у трактирщика Вотье Фредерик, отворив дверь, столкнулся с официантом.

— Вы знаете господина Режембара?

— Как же, сударь, еще бы не знать! Ведь я имею честь прислуживать ему. Он наверху, кончает обедать!

Тут подошел сам хозяин заведения, с салфеткой под мышкой:

— Вы, сударь, спрашиваете господина Режембара? Он только что был здесь.

Фредерик выругался, но хозяин стал уверять, что он непременно найдет его у Бутвилена.

— Даю вам честное слово! Он ушел немножко раньше, чем обычно, у него деловое свидание с какими-то господами. Но, повторяю, вы его застанете у Бутвилена, на улице Сен-Мартен, номер девяносто два, второй подъезд, во дворе налево, второй этаж, правая дверь!

Наконец сквозь облака табачного дыма Фредерик увидел Режембара; он сидел один в глубине задней комнаты, позади бильярда, перед ним стояла кружка пива; он опустил голову, и вид у него был задумчивый.

— Долго же я вас искал!

Режембар, не двинувшись с места, протянул ему два пальца и, словно они виделись только вчера, произнес несколько незначительных фраз по поводу открытия сессии.

Фредерик прервал его и спросил самым непринужденным тоном:

— Как поживает Арну?

Ответа пришлось ждать долго. Режембар полоскал горло своим напитком.

— Недурно!

— А где он теперь живет?

— Да... на улице Паради-Пуассоньер,— отвечал удивленный Гражданин.

— Какой номер?

— Тридцать семь... Вы, право, чудак!

Фредерик встал.

— Как, вы уже уходите?

— Да, да, мне надо ехать, я и позабыл, что у меня дело! Прощайте!

Из кабачка Фредерик помчался к Арну, словно на крыльях ветра, с той необычайной легкостью, какую ощущаешь лишь во сне.

Он вскоре оказался перед дверью, на площадке третьего этажа; на звонок вышла служанка, открылась вторая дверь. Арну вскочил и обнял Фредерика. Г-жа Арну сидела у камина. На коленях у нее был мальчик лет трех; дочь ее, теперь такого же роста, как мать, стояла по другую сторону камина.

— Позвольте представить вам вот этого господина,— сказал Арну, схватив сына под мышки.

Несколько минут он забавлялся тем, что высоко подбрасывал мальчика.

— Ты же его убьешь! Боже мой! Да перестань! — кричала г-жа Арну.

Но Арну клялся, что опасности никакой нет, продол-

жал игру и даже ласково сюсюкал на своем родном марсельском наречии:

— Ах ты, мой цыпленочек! Соловей ты мой маленький!

Затем стал расспрашивать Фредерика, почему он так долго не писал, что он делал, что побудило его вернуться.

— Теперь, друг мой, я торгую фаянсом. Но поговорим о вас.

Фредерик сослался на долгий судебный процесс, а главное, чтобы вызвать к себе больше сочувствия, на здоровье матери. Короче говоря, теперь он окончательно намерен поселиться в Париже; о наследстве он промолчал, не желая бросать тень на свое прошлое.

Занавески, так же как и обивка мебели, были из шерстяного коричневого штофа; в изголовье постели лежали рядом две подушки; на угольях в камине грелся чайник; темный абажур лампы, стоявшей на краю комода, оставлял в тени комнату. Г-жа Арну была в синем мериносовом капоте. Глядя на потухающие в камине угли и положив одну руку на плечо мальчика, она другою развязывала ему тесемку на кофточке; малыш, оставшись в одной рубашонке, заплакал и стал чесать себе голову, совсем как сын трактирщика Александра.

Фредерик думал, что задохнется от радости; но страсть, перенесенная в новую среду, чахнет, и, когда он увидел г-жу Арну не в той обстановке, в которой раньше знал ее, ему показалось, будто она что-то утратила, несколько опустилась, словом, уже не та, что прежде. Спокойствие, которое он ощутил в сердце, поразило его. Он осведомился о старых друзьях, в том числе о Пелерене.

— Я с ним редко вижусь,— сказал Арну.

Она прибавила:

— Мы больше не принимаем, как прежде!

Не было ли это предупреждением, что его не будут приглашать? Но Арну в том же дружеском тоне упрекнул Фредерика, что тот не пришел к ним запросто обедать, и стал объяснять, почему переменил занятие.

— Что прикажете делать в дни такого упадка, как сейчас? Высокая живопись вышла из моды! Впрочем, во всяком деле можно найти место искусству. Ведь я, знаете, люблю Прекрасное! Надо будет на днях свозить вас на мою фабрику.

Он пожелал немедленно показать ему некоторые из своих изделий в кладовой на антресолях.

Пол загромождали блюда, суповые миски, тарелки и тазы. К стенам были прислонены большие изразцовые плиты для ванных и туалетных комнат с мифологическими сюжетами в стиле Возрождения, а посредине, подымаясь до самого потолка, стояла двойная этажерка, уставленная вазами для мороженого, цветочными горшками, канделябрами, маленькими жардиньерками и большими многокрасочными статуэтками, изображавшими негра или пастушку в стиле помпадур. Объяснения Арну надоели Фредерику, ему было холодно и хотелось есть.

Он поспешил в «Английское кафе» и великолепно поужинал; за едой он говорил себе: «Хорош я был дома со своими страданиями! Она едва меня узнала! Что за мещанка!»

Почувствовав внезапный прилив сил, он принял эгоистические решения. Его сердце казалось ему таким же твердым, как стол, на который он облокотился. Итак, теперь он без страха может пуститься в свет. Ему на память пришли Дамбрёзы; он воспользуется знакомством с ними; потом он вспомнил о Делорье: «А ну его!» Все же он отправил с рассыльным записку, в которой назначил Делорье встречу на другой день в Пале-Рояль, чтобы вместе пойти позавтракать.

К Делорье судьба была не столь милостива.

Для получения звания преподавателя он представил на конкурс доклад «О праве завещания», где утверждал, что это право следует как можно больше ограничить, а так как оппонент подзадоривал его говорить глупости, он наговорил их в достаточном количестве, причем члены комиссии и вида не показали. Затем случаю было угодно, чтобы Делорье досталась по жребию для его пробной лекции тема о давности. Тут он пустился в теории самые прискорбные: старые претензии могут предъявляться на равных основаниях с новыми; зачем отнимать у человека его собственность, если он может доказать право на нее хотя бы по истечении тридцати одного года? Не значит ли это ставить наследника разбогатевшего вора в такое же положение, как и честного человека? Все несправедливости освящаются широким толкованием этого права, которое является тиранией, злоупотреблением силой. Он даже воскликнул: «Уничтожим его, и франки больше не будут угнетать галлов, англичане — ирландцев, янки — краснокожих, турки — арабов, белые — негров, Польша...» Председатель прервал его: «Довольно, милостивый государь,

довольно! Ваши политические взгляды нас не интересуют; вам придется явиться еще раз!»

Делорье не пожелал явиться. Но злополучная двадцать третья глава Гражданского кодекса стала для него камнем преткновения. Он трудился над сочинением о «давности, рассматриваемой как основа гражданского и естественного права народов», и всецело поглощен был чтением Дюно, Рогериуса, Бальбуса, Мерлена, Вазейля, Савиньи, Тролона и других серьезных трудов. Чтобы отдавать больше времени занятиям, он бросил место старшего клерка. Он зарабатывал уроками и писанием кандидатских сочинений, а на собраниях своей язвительностью пугал консервативную группу, всех молодых доктринеров школы Гизо и этим достиг в определенной среде известности, сочетавшейся с некоторым недоверием к его личности.

На свидание он пришел в толстом пальто на красной фланелевой подкладке — такое в былую пору носил Сенекаль.

Стесняясь публики, они не стали обниматься и под руку пошли к Вефуру, посмеиваясь от удовольствия, готовые прослезиться. Как только они остались наедине, Делорье воскликнул:

— Черт возьми, вот когда у нас пойдет отличное житье!

Фредерику не понравилось это желание поскорее присоседиться к его богатству. Друг его слишком был рад за них обоих и недостаточно за него одного.

Делорье рассказал о своей неудаче, потом о своих трудах, о своей жизни, причем о себе говорил тоном старика, о других же со злобой. Все ему было не по вкусу. Не было ни одного человека с положением, которого он не считал бы кретином или мерзавцем. Из-за плохо вымытого стакана он набросился на официанта, а когда Фредерик мягко упрекнул его, ответил:

— Буду я церемониться с подобными субъектами, которые зарабатывают до шести — восьми тысяч франков в год, которые имеют право выбирать и даже, пожалуй, быть избранными! Нет, нет! — Затем — уже игривым тоном: — Но я забыл, что разговариваю с капиталистом, с золотым мешком — ведь ты же теперь золотой мешок!

Вернувшись к вопросу о наследстве, он выразил мысль, сводившуюся к тому, что наследование по боковой линии (вещь сама по себе несправедливая, хотя в данном случае он очень рад) будет отменено в ближайшие дни, как только произойдет революция.

— Ты думаешь? — спросил Фредерик.

— Будь уверен! Так не может продолжаться! Слишком много приходится страдать! Когда я вижу в нужде таких людей, как Сенекаль...

«Вечно этот Сенекаль!» — подумал Фредерик.

— А вообще что нового? Ты по-прежнему влюблен в госпожу Арну? Наверное, прошло? А?

Фредерик, не зная, что ответить, закрыл глаза и опустил голову.

Относительно Арну Делорье сообщил, что его газета принадлежит теперь Юсоне, преобразовавшему ее. Называется она «Искусство» — литературное предприятие, товарищество на паях, по сто франков каждый; капитал общества — сорок тысяч франков; каждому пайщику предоставляется право печатать в нем свои рукописи, ибо «товарищество имеет целью издавать произведения начинающих, избавляя талант, может быть, даже гений, от мучительных кризисов», и так далее...

— Понимаешь, какое вранье!

Все же тут можно было бы кое-что сделать — сперва улучшить тон означенного листка, потом, сохранив тех же редакторов и обещав подписчикам продолжение фельетона, преподнести им политическую газету; предварительные затраты оказались бы не слишком велики.

— Что ты об этом думаешь, а? Хочешь принять участие в газете?

Фредерик предложения не отверг. Но придется подождать, пока он приведет в порядок свои дела.

— Тогда, если тебе что-нибудь понадобится...

— Благодарю, дорогой! — сказал Делорье.

Затем они закурили дорогие сигары, облокотясь на подоконник, обитый бархатом. Сверкало солнце, воздух был мягкий, птицы, стаями порхавшие в саду, опускались на деревья; блестели бронзовые и мраморные статуи, омытые дождем; няньки в передниках болтали, сидя на скамейках; слышен был детский смех и непрерывный плеск фонтана.

Озлобление Делорье смутило Фредерика, но под влиянием вина, разлившегося по жилам, он, полусонный, отяжелевший, обратив лицо прямо к солнцу, не испытывал ничего, кроме безмерного блаженства, бессмысленной неги,— точно растение, насыщенное влагой и теплом. Делорье, полузакрыв глаза, смотрел куда-то вдаль. Грудь его вздымалась; наконец он заговорил:

— Как это было прекрасно, когда Камиль Демулен, стоя вон там, на столе, звал народ на приступ Бастилии! В то время люди жили, они могли проявить себя, показать свою силу! Простые адвокаты приказывали генералам, оборванцы побивали королей, а теперь...

Он умолк, потом воскликнул:

— Да, будущее чревато событиями!

И, барабаня пальцами по стеклу, продекламировал стихи Бартелеми:

> Вновь явится оно, то грозное Собранье,
> Пред коим и теперь вы полны содроганья,
> Колосс, что шествует без страха все вперед.

Как дальше, не помню. Однако уже поздно, не пора ли по домам?

На улице он продолжал излагать свои теории.

Фредерик, не слушая его, высматривал в витринах магазинов мебель и материи, подходящие для убранства его квартиры, и, может быть, именно мысль о г-же Арну побудила его остановиться перед магазином случайных вещей, где в витрине были выставлены три фаянсовые тарелки. Их украшали желтые арабески с металлическим отблеском; каждая стоила сто экю. Он велел их отложить.

— Я на твоем месте покупал бы лучше серебро,— сказал Делорье, обнаруживая этой любовью к прочным ценностям свое низкое происхождение.

Как только они расстались, Фредерик отправился к знаменитому Помадеру, заказал три пары брюк, два фрака, меховую шубу и пять жилетов, потом — к сапожнику, в магазины бельевой и шляпный и всюду настаивал на том, чтобы с заказом поторопились.

Три дня спустя, вернувшись вечером из Гавра, он нашел у себя полный гардероб; ему не терпелось воспользоваться им, и он решил тотчас же сделать визит Дамбрёзам. Но было слишком рано, только восемь часов.

«А что, если навестить тех?» — подумал он.

Арну в одиночестве брился перед зеркалом. Он предложил Фредерику свезти его в одно место, где будет весело, а когда услышал имя г-на Дамбрёза, сказал:

— Вот и кстати! Там вы увидите его знакомых. Итак, едем! Будет занятно!

Фредерик отговаривался. Госпожа Арну узнала его голос и поздоровалась с ним из другой комнаты; дочка ее прихворнула, и сама она была нездорова; раздавалось по-

звякивание ложечки о стакан, слышался тот смутный шорох, который бывает в комнате больного, когда там осторожно передвигают вещи. Потом Арну скрылся, чтобы попрощаться с женой. Он приводил ей довод за доводом:

— Ты ведь знаешь, что дело важное! Я должен быть там, это необходимо, меня ждут!

— Поезжай, друг мой, поезжай! Развлекись!

Арну кликнул фиакр:

— Пале-Рояль, галерея Монпансье, дом номер семь.— И откинулся на подушки.— Как я устал, дорогой мой! Я просто подыхаю! Впрочем, вам-то я могу сказать...

Он таинственно наклонился к уху Фредерика:

— Я стараюсь изготовить краску медно-красного оттенка, какою пользовались китайцы.

Он объяснил, что такое глазурь и медленный огонь.

В магазине у Шеве ему подали большую корзину, которую он велел отнести в экипаж. Потом он выбрал для «своей бедной жены» винограду, ананасов, разных редкостных лакомств и распорядился, чтобы все это было доставлено на другой день с самого утра.

Затем они отправились в костюмерную; им предстояло ехать на бал. Арну надел короткие синие бархатные штаны, такой же камзол, рыжий парик; Фредерик нарядился в домино, и они поехали на улицу Лаваля, где остановились у дома, третий этаж которого был освещен разноцветными фонариками.

Еще внизу, на лестнице, они услышали звуки скрипок.

— Куда вы привели меня, черт возьми? — спросил Фредерик.

— К премилой девочке! Не бойтесь!

Дверь им отворил грум, и они вошли в переднюю, где на стульях грудами были набросаны пальто, плащи и шали. Молодая женщина в костюме драгуна времен Людовика XV проходила в этот миг через переднюю. То была мадмуазель Роза-Анетта Брон, хозяйка дома.

— Ну как? — спросил Арну.

— Сделано! — ответила она.

— Благодарю, мой ангел!

Он хотел поцеловать ее.

— Осторожно, дурак! Ты мне испортишь грим!

Арну представил Фредерика.

— Заходите! Милости просим!

Она откинула позади себя портьеру и торжественно объявила:

— Господин Арну, Поваренок, и князь, его друг!

Фредерика ослепил сперва блеск огней; он не видел ничего, кроме шелка, бархата, обнаженных плеч и пестрой толпы, которая под звуки оркестра, скрытого в зелени, колыхалась между обтянутыми желтым шелком стенами, на которых висели портреты и хрустальные бра в стиле Людовика XVI. По углам над консолями с корзинами цветов возвышались лампы, матовые колпаки которых походили на снежные комья, а напротив, за второй комнатой меньших размеров, открывалась третья, где стояла кровать с витыми колоннами и венецианским зеркалом в изголовье.

Танцы прервались, раздались рукоплескания, веселый шум при виде Арну, который шествовал с корзиной на голове; снедь подымалась в корзине горбом.

— Осторожней, люстра!

Фредерик поднял глаза — это была та самая люстра старинного саксонского фарфора, что украшала магазин «Художественная промышленность». В нем пробудились воспоминания минувших дней; но в этот миг солдат-пехотинец в караульной форме с тем простоватым видом, который по традиции приписывают новобранцам, встал перед ним и в знак удивления развел руками. Несмотря на безобразно острые черные усы, изменившие его лицо, Фредерик узнал своего приятеля Юсоне. На каком-то тарабарском языке, полуэльзасском, полунегритянском, шалопай рассыпался в поздравлениях, называя его полковником. Фредерик, смущенный при виде всей этой публики, не знал, что ответить. Раздался удар смычком по пюпитру, и танцоры с дамами заняли свои места.

Здесь собралось человек шестьдесят; женщины нарядились по большей части в костюмы поселянок или маркиз, а мужчины, почти все в зрелых летах, одеты были возчиками, грузчиками или матросами.

Фредерик стоял у стены и смотрел на кадриль.

Старый красавец в шелковой пурпурной мантии венецианского дожа танцевал с г-жой Розанеттой, на которой были зеленый мундир, облегающие штаны и мягкие сапоги с золотыми шпорами. Против них танцевали Арнаут, обвешанный ятаганами, и голубоглазая Швейцарка, белая, как молоко, пухлая, как перепелка, в красном корсаже без рукавов. Высокая блондинка, статистка в опере, желая щегольнуть своими волосами, доходившими ей до колен, нарядилась дикаркой и поверх коричневого трико

надела лишь кожаный передник, украсив себя браслетами из стеклянных бус и мишурной диадемой, над которой торчал пук павлиньих перьев. Впереди нее Притчард, щеголяя в непомерно широком черном фраке, локтем отбивал такт по своей табакерке. Пастушок в духе Ватто, весь лазоревый и серебряный, точно лунный луч, ударял посохом по тирсу вакханки, увенчанной виноградом, в леопардовой шкуре через левое плечо и в котурнах с золотыми завязками. По другую сторону танцевала Полька в ярко-красном бархатном казакине и газовой юбочке, колыхавшейся над светло-серыми шелковыми чулками и высокими розовыми ботинками с белой меховой оторочкой. Она улыбалась сорокалетнему толстобрюхому кавалеру, наряженному церковным певчим; он подпрыгивал очень высоко, одной рукой приподнимая стихарь, а другой придерживая красную скуфью. Но королевой, звездой была мадмуазель Лулу, знаменитая танцовщица публичных балов. Она теперь была богата, и на ее гладком камзоле черного бархата лежал широкий кружевной воротник; обширные шаровары пунцового шелка, плотно обтянутые сзади и схваченные в талии кашемировым шарфом, были украшены по швам живыми белыми камелиями. Бледное, чуть одутловатое лицо со вздернутым носиком казалось еще более наглым благодаря всклокоченному парику, на который надета была серая мужская фетровая шляпа, сдвинутая на правое ухо; а когда мадмуазель Лулу подскакивала, ее туфельки с бриллиантовыми пряжками чуть не задевали за нос ее кавалера, высокого Средневекового барона, изнывавшего в железных доспехах. Был тут и Ангел с золотым мечом в руке и с лебедиными крыльями за спиной; двигаясь взад и вперед, он поминутно терял своего кавалера, одетого Людовиком XIV, путал фигуры кадрили и мешал другим.

Фредерик глядел на этих людей и чувствовал себя одиноким, ему было не по себе. Он снова думал о г-же Арну, и ему казалось, что он участвует в чем-то враждебном, замышляемом ей во вред.

Когда кадриль кончилась, к нему подошла г-жа Розанетта. Она немного запыхалась; зеркально-глянцевитый нагрудник слегка приподнимался у нее под подбородком.

— А вы? — спросила она.— Не танцуете?

Фредерик извинился: он не умеет танцевать.

— Вот как? Ну, а со мной? В самом деле не умеете? Подбоченясь и слегка отставив назад одну ногу, она

левой рукой поглаживала перламутровую рукоятку шпаги; с минуту она смотрела на Фредерика взглядом полуумоляющим, полунасмешливым. Наконец сказала: «Прощайте»,— сделала пируэт и скрылась.

Фредерик, недовольный собой, не зная, что делать, стал бродить по комнатам.

Он вошел в будуар, обитый бледно-голубым шелком с разбросанными по нему букетами полевых цветов; на потолке в кольце из позолоченного дерева были изображены амуры; они летали по лазурному небу или резвились в облаках, напоминавших перины. Эти чудеса изящества, которые в наши дни были бы убожеством в глазах такой женщины, как Розанетта, ослепили его; он восхищался всем: искусственными вьюнками вокруг зеркала, заслонкой у камина, турецким диваном и — в нише стены — неким подобием шатра, обтянутого розовым шелком и покрытого белым муслином. Спальня была обставлена мебелью черного дерева с медной инкрустацией, а на возвышении, покрытом ковром из лебяжьего пуха, стояла широкая кровать под балдахином со страусовыми перьями. В полутьме комнаты, освещенной хрустальной люстрой, которая спускалась на трех цепочках, можно было различить булавки с драгоценными камнями, воткнутые в подушечки, кольца, брошенные на тарелочки, золотые медальоны и серебряные шкатулки. В маленькую приотворенную дверь видна была теплица, которая занимала почти всю террасу и заканчивалась вольером.

Такая обстановка не могла не понравиться Фредерику. В нем вдруг заговорила молодость, он поклялся насладиться всем этим и осмелел; вернувшись в гостиную, где народу теперь было еще больше (все кружилось в какой-то светящейся пыли), и став в дверях, он созерцал танцующих, щурился, чтобы лучше видеть, и впивал томные благоухания, носившиеся в воздухе, словно нескончаемый поцелуй.

Рядом с ним, по другую сторону двери, стоял Пелерен,— Пелерен в полном параде,— заложив левую руку за жилет, а в правой держа шляпу и белую разорванную перчатку.

— Ба! Давно вас не видно! Где же вы пропадали, черт возьми? Путешествовали? По Италии? Похожа на лубочную картинку? Не так здорово, как говорят? Ну, все равно! Принесите мне как-нибудь на днях ваши эскизы.

Не дожидаясь ответа, художник заговорил о себе.

Он сделал большие успехи и окончательно понял бессмысленность Линии. В произведении искусства считаться следует не столько с Красотой и Единством, сколько с характерностью и разнообразием предметов.

— В природе существует все, стало быть, все законно и все пластично. Дело лишь в том, чтобы схватить тон — вот и все! Я открыл этот секрет! — Толкнув Фредерика локтем, он несколько раз повторил: — Видите, я открыл секрет! Взгляните-ка на эту маленькую женщину с повязкой сфинкса на волосах, что танцует в паре с Русским ямщиком,— здесь все четко, сухо, определенно, все плоско и в резких тонах; индиго под глазами, киноварь на щеках, бистр на висках — раз-два! — Он размахивал большим пальцем, словно делал мазки кистью.— А вот эта толстуха, вон там,— продолжал он, указывая на Рыбную торговку в вишневом платье с золотым крестиком на шее, в батистовой косынке, завязанной на спине узлом,— сплошные округлости; ноздри расплющены, как банты на ее чепце, углы рта приподняты, подбородок опускается, все жирно, слитно, плотно, спокойно и солнечно, настоящий Рубенс! И обе они — совершенство! Где же тогда тип? — Он уже горячился: — Что такое красивая женщина? Что такое Прекрасное? Прекрасное, скажете вы мне...

Фредерик прервал его вопросом, кто такой этот Пьеро с козлиным профилем, что благословляет сейчас танцующих в самый разгар кадрили.

— Полное ничтожество! Вдов, отец трех мальчиков. Они у него без штанов, а он проводит время в клубе и живет со своей служанкой.

— А вот тот, одетый Средневековым судьей? Разговаривает у окна с маркизой Помпадур.

— Маркиза — это госпожа Вандаэль, бывшая актриса театра «Жимназ», любовница Дожа, графа де Палазо. Уже двадцать лет, как они живут вместе,— неизвестно почему. Что за дивные глаза были когда-то у этой женщины! А гражданина, стоящего рядом с ней, зовут капитаном д'Эрбиньи, он ветеран старой гвардии; кроме ордена Почетного легиона и пенсии, ничего не имеет, в торжественных случаях играет роль дядюшки какой-нибудь гризетки, распоряжается на дуэлях и всегда обедает в гостях.

— Каналья? — спросил Фредерик.

— Нет, порядочный человек!

Художник продолжал называть ему гостей, как вдруг заметил господина, который, подобно мольеровским вра-

чам, одет был в черную саржевую маятию, расстегнутую сверху донизу, чтобы всякий мог видеть все его брелоки.

— Перед вами доктор де Рожи; его бесит, что он не знаменит, написал порнографическую книгу по медицине, охотно лижет сапоги светским людям, умеет держать язык за зубами, здешние красотки его обожают. Он с супругой (вон та худощавая Средневековая дама в сером платье) таскаются вместе по всем публичным да и всяким другим местам. Несмотря на стесненные обстоятельства, у них бывают приемные дни,— изысканные чаепития, на которых читают стихи. Но тише!

Доктор и в самом деле к ним подошел, и вскоре они втроем, став у дверей гостиной, занялись разговором; к ним присоединились Юсоне, потом любовник Дикарки, молодой поэт, жалкое телосложение которого не мог скрыть короткий плащ в стиле Франциска I, и, наконец, остроумный малый, костюмированный турецким стражником. Его куртка с желтыми галунами так долго путешествовала на спинах странствующих дантистов, широкие красные панталоны в складках так вылиняли, тюрбан, скрученный по-татарски, являл такое убогое зрелище, словом, весь его наряд был так жалок и тем не менее так удачен, что женщины не могли скрыть свое отвращение. Доктор утешил его восторженными похвалами по адресу Грузчицы, его любовницы. Этот Турок был сыном банкира.

В промежутке между двумя кадрилями Розанетта направилась к камину, возле которого сидел в кресле полный старичок в коричневом фраке с золотыми пуговицами. Наперекор его поблекшим щекам, которые свисали над высоким белым галстуком, волосы его еще были белокуры и сами вились, точно шерсть пуделя, придавая его облику что-то игривое.

Она слушала собеседника, склонившись к самому его лицу. Потом приготовила ему стакан сиропа; ничто не могло быть изящнее ее ручек в кружевных манжетах, выступавших из-под обшлагов зеленого мундира. Старичок выпил сироп и поцеловал их.

— Да это же господин Удри, сосед Арну!

— Он-то его и погубил! — сказал со смехом Пелерен.

— Как так?

Гость в костюме почтаря из Лонжюмо схватил Розанетту за талию; начался вальс. Все женщины, сидевшие

на диванчиках по стенам гостиной, живо поднялись одна за другой, и все закружилось — их юбки, шаровары, прически.

Они кружились так близко от Фредерика, что он различал даже капельки пота на лбу, и это мерное вращательное движение все ускорялось, становилось все головокружительнее и опьяняло его, вызывая в воображении иные картины; все эти женщины, проносившиеся мимо, были равно ослепительны, но каждая по-своему волновала его в зависимости от рода своей красоты. Полька, томно отдавшаяся ритму танца, внушала ему желание прижать ее к сердцу и лететь с ней вдвоем на санях по снежной равнине. Грезы о безмятежных наслаждениях где-нибудь в хижине, на берегу озера, вызывала в нем легкая поступь Швейцарки, которая вальсировала, выпрямив стан и потупив взор. Вакханка, откинувшая темноволосую головку, будила в нем мечты об исступленных ласках в олеандровых рощах, в грозу, под невнятные звуки тамбурина. Рыбная торговка, задыхаясь от слишком быстрого темпа, громко смеялась, и ему хотелось попивать вместе с ней вино в каком-нибудь поршеронском кабачке и мять ее шейную косынку, совсем как в «доброе старое время». А Грузчица, едва касаясь паркета, как бы таила в гибкости своего тела, в сосредоточенном выражении лица всю утонченность современной любви, обладающей точностью науки и быстролетностью птицы. Розанетта кружилась подбоченясь; с ее затейливого парика, подпрыгивающего над воротником, во все стороны летела рисовая пудра, своими золотыми шпорами она при каждом туре чуть-чуть не задевала Фредерика.

С последним аккордом вальса явилась мадмуазель Ватназ в алжирском платке, надетом на голову, с множеством пиастров на лбу — в виде украшения, с подведенными глазами; на ней было что-то вроде бурнуса из черного кашемира, который спускался на светлую юбку, вышитую серебром; в руке она держала бубен.

За нею шел высокий мужчина в классическом костюме Данте; он оказался (теперь она уже не скрывала своих отношений с ним) тем самым певцом из «Альгамбры»; первоначально именуясь Огюстом Деламаром, впоследствии он начал называть себя Антенором Делламаре, затем Дельмасом, потом Бельмаром и, наконец, Дельмаром, видоизменяя и совершенствуя свою фамилию по мере роста своей славы; эстраду кабачков он сменил на театр и только что

с успехом дебютировал на сцене Амбигю в пьесе *Гаспардо-рыбак*.

Юсоне, увидев его, нахмурил брови. С тех пор как не приняли его пьесу, он терпеть не мог актеров. Невозможно себе представить, как тщеславны такого сорта господа, в особенности вот этот.

«Ну и кривляка, полюбуйтесь!»

Отвесив легкий поклон Розанетте, Дельмар прислонился к камину; он стоял неподвижно, приложив руку к сердцу, выставив вперед левую ногу, возведя глаза к небу, не снимая венка из золоченого лавра, надетого на капюшон, и силился придать своему взгляду побольше поэтичности, чтобы пленить дам. В самом деле, на некотором расстоянии от него уже образовался кружок.

Ватназ, после долгих объятий с Розанеттой, подошла к Юсоне попросить, чтобы он посмотрел с точки зрения стиля ее труд по педагогике — литературно-нравственную хрестоматию, которую она собиралась издать под заглавием *Венок молодым девицам*. Литератор обещал свое содействие. Тогда она спросила, не может ли он написать в одной из газет, в которых сотрудничает, что-нибудь похвальное о ее друге, а впоследствии даже поручить ему роль. Она так заговорила Юсоне, что тот прозевал стакан пунша.

Приготовил его Арну. Сопровождаемый графским грумом, который держал поднос, он с самодовольным видом предлагал пунш гостям.

Когда он приблизился к г-ну Удри, Розанетта его остановила:

— Ну, а как же насчет дела?

Он слегка покраснел; потом обратился к старику:

— Наша приятельница говорила мне, что вы так любезны...

— Да, разумеется, располагайте мною, дорогой сосед.

Тут было произнесено имя господина Дамбрёза; они разговаривали вполголоса. Фредерик плохо слышал их; он стал по другую сторону камина — там Розанетта уже беседовала с Дельмаром.

Лицо у актера было вульгарное, как декорация, словно рассчитанное на то, чтоб смотреть на него издали; руки были толстые, ноги большие, челюсть тяжелая; он ругал знаменитых актеров, свысока рассуждал о поэтах, говорил: «мой голос, моя внешность, мои данные»,— расцвечивал свою речь малопонятными ему самому словами, к ко-

торым питал пристрастие: «морбиденца», «аналогичный», «гомогенность».

Розанетта слушала его, в знак согласия кивая головой. Сквозь румяна было видно, как от восхищения разгораются ее щеки и что-то влажное, словно флером, заволакивает ее светлые, неопределенного цвета глаза. Как мог такой человек очаровать ее? Фредерик разжигал в себе презрение к актеру, надеясь, может быть, подавить зависть, которую тот в нем вызывал.

Мадмуазель Ватназ находилась теперь в обществе Арну; громко смеясь, она время от времени кидала взгляды на свою подругу, которую г-н Удри тоже не терял из виду.

Потом Арну и Ватназ исчезли, старик подошел к Розанетте и шепотом что-то сказал ей.

— Ну да, ну да, это уже решено! Оставьте меня в покое!

Она попросила Фредерика сходить на кухню посмотреть, там ли господин Арну.

На полу выстроилась целая батарея недопитых стаканов; кастрюли, котелки, сковороды шипели и булькали на плите. Арну распоряжался прислугой, всем говорил «ты», сбивал острый соус, пробовал подливки, шутил с кухаркой.

— Хорошо,— сказал он,— передайте ей, что я сейчас велю подавать!

Танцы прекратились, женщины сели, мужчины расхаживали по комнате. Занавеска на одном из окон вздувалась от ветра. Женщина-Сфинкс, несмотря на увещания, подставила вспотевшие плечи под струю свежего воздуха. Но где же Розанетта? Фредерик прошел дальше в будуар и в спальню. Некоторые гости, желая побыть в одиночестве или остаться с кем-нибудь вдвоем, удалились туда же. Шепот сливался с полутьмой. Слышался смех, приглушенный носовым платком, у корсажей медленно и плавно трепетали веера, словно крылья раненой птицы.

Войдя в оранжерею, Фредерик увидел около фонтана, под широкими листьями ароиды, Дельмара, лежавшего на полотняном диване, а Розанетта, сидя подле актера, гладила рукой его волосы; они смотрели друг на друга. В ту же минуту со стороны вольера вошел Арну. Дельмар вскочил, но к выходу направился спокойным шагом, не оборачиваясь, и даже остановился у двери, чтобы сорвать цветок гибиска и вдеть его в петлицу. Розанетта опустила

голову, Фредерик, смотревший на нее в профиль, заметил, что она плачет.

— Что с тобой? — спросил Арну.

Она вместо ответа пожала плечами.

— Это из-за него? — спросил он.

Она обвила руками его шею и, целуя в лоб, медленно проговорила:

— Ты же знаешь, что я всегда буду тебя любить, пузан. Забудь об этом! Идем ужинать!

Медная люстра в сорок свечей освещала столовую, стены которой были сплошь увешаны старинными фаянсовыми изделиями, и от этого резкого света, падавшего отвесно, еще больше казалось гигантское тюрбо, стоявшее в центре стола, среди закусок и фруктов; по краям выстроились тарелки с супом из раков. Шурша платьями, подбирая юбки, рукава и шарфы, женщины сели одна подле другой, мужчины, стоя, устроились по углам. Пелерен и г-н Удри оказались около Розанетты, Арну — против нее. Палазо и его приятельница только что уехали.

— Счастливого пути! — сказала Розанетта.— Приступим!

Церковный служка, большой шутник, перекрестился широким крестом и стал читать *Benedicite* [1].

Дамы были скандализованы, и больше всех Рыбная торговка, имевшая дочку, которую она желала видеть порядочной женщиной. Арну тоже не любил «такое», считая, что религию следует уважать.

Немецкие часы с петухом пробили два часа и вызвали немало острот, относившихся к птице. Тут последовали всякого рода каламбуры, анекдоты, хвастливые речи, пари, ложь, выдаваемая за правду, невероятные утверждения — все это сливалось в неясный гул, раздробившийся вскоре на частные беседы. Вино текло рекой, одно блюдо сменялось другим, доктор разрезал жаркое. Гости бросали через стол апельсины, пробки, вставали со своих мест, чтобы с кем-нибудь поговорить. Розанетта часто оборачивалась к Дельмару, который неподвижно стоял за ее спиной, Пелерен болтал, г-н Удри улыбался. Мадмуазель Ватназ почти одна съела блюдо раков; скорлупа хрустела на ее длинных зубах. Ангел, усевшись на табурет от фортепиано (единственное сиденье, на которое ему позволяли опуститься крылья), благодушно и непрерывно жевал.

---

[1] «Благословите», название молитвы *(лат.)*.

— Ну и аппетит! — повторял в изумлении Церковный служка.— Ну и аппетит!

А женщина-Сфинкс пила водку, кричала во все горло, бесновалась, как демон. Внезапно щеки ее раздулись, и, не в силах больше сдержать кровь, от которой она задыхалась, она поднесла к губам салфетку, потом швырнула ее под стол.

Фредерик это видел.

— Пустяки!

В ответ на его увещания уехать и подумать о своем здоровье она медленно произнесла:

— Ну да! А что толку? Не все ли равно, отчего подохнуть? Жизнь не такая уж занятная штука!

Он содрогнулся, охваченный леденящей печалью, как будто перед ним открылись целые миры нищеты и отчаяния, жаровня с угольями подле койки больного, трупы в морге, прикрытые кожаными передниками, под краном, из которого им на волосы льется холодная вода.

Между тем Юсоне, подсевший на корточках к ногам Дикарки, орал хриплым голосом, передразнивая актера Грассо:

— Не будь жестока, о Селюта! Этот маленький семейный праздник очарователен! Опьяняйте меня сладострастием, дорогие мои! Будем резвиться! Будем резвиться!

Он стал целовать женщин в плечи. Они вздрагивали, он колол их своими усами, потом вздумал разбить тарелку, стукнув ее о свою голову. Другие последовали его примеру; осколки фаянса падали, точно черепицы в сильный ветер; Грузчица воскликнула:

— Не стесняйтесь! Это ничего не стоит! Это нам подарок от господина, который их изготовляет!

Все взоры обратились к Арну.

— Ну нет, простите, за все уплачено! — возразил Арну, очевидно, намекая на то, что он не любовник Розанетты или уже перестал им быть.

Но вдруг раздались яростные голоса:

— Дурак!

— Бездельник!

— К вашим услугам!

— Я также!

Это ссорились Средневековый рыцарь и Русский ямщик; последний заметил, что при наличии лат храбрости не требуется, Рыцарь принял это за оскорбление. Он хотел

драться, гости вмешались, а Ветеран гвардии пытался всех перекричать:

— Господа, выслушайте меня! Два слова! Я человек опытный, господа!

Розанетта, постучав ножом о стакан, добилась наконец тишины и обратилась сперва к Рыцарю, не снимавшему шлема, потом к Ямщику в мохнатой меховой шапке:

— Снимите для начала вашу кастрюлю! Мне и то от нее жарко! А вы там — вашу волчью морду! Будете вы меня слушаться, черт возьми? Посмотрите на мои эполеты! Я ваша капитанша!

Они покорились; все зааплодировали, закричали:

— Да здравствует Капитанша! Да здравствует Капитанша!

Она сняла с камина бутылку шампанского и, подняв ее, стала наливать вино в протянутые бокалы. Но стол был слишком широк, поэтому гости, и в первую очередь женщины, окружили ее; они подымались на цыпочки, взбирались на стулья, так что на минуту образовалась целая пирамида из причесок, обнаженных плеч, вытянутых рук, склоненных станов; всюду искрились длинные струйки вина, так как Пьеро и Арну в разных концах столовой тоже откупоривали бутылки, обдавая брызгами лица окружающих. Птички из вольера, дверь которого оставили открытой, налетели в столовую; они в испуге порхали вокруг люстры, ударялись об окна, о мебель, а некоторые садились на прически, напоминая большие цветы, которыми иногда украшают волосы.

Музыканты ушли. Рояль перетащили из передней в гостиную. Ватназ села за него и под аккомпанемент Церковного служки, который бил в бубен, неистово заиграла кадриль, колотя по клавишам, как лошадь бьет копытом о землю, и раскачиваясь, чтобы лучше отмечать такт. Капитанша увлекла Фредерика, Юсоне ходил колесом. Грузчица изгибалась, точно клоун, Пьеро вел себя, как орангутан. Дикарка, раскинув руки, изображала качающуюся лодку. Наконец, дойдя до полного изнеможения, все остановились, распахнули окно.

В комнату вместе с утренней свежестью ворвался дневной свет. Раздался возглас изумления, потом наступило безмолвие. Дрожали желтые огни свечей, время от времени с треском лопалась розетка; ленты, бусы усеивали пол; на столиках оставались липкие пятна пунша и сиропа; обои были запачканы, платья измяты, запылены; косы

расплелись, а из-под румян и белил, которые растеклись вместе с потом, выступала мертвенная бледность лиц с мигающими красными веками.

У Капитанши, свежей, как будто она только что приняла ванну, щеки были розовые, глаза блестящие. Она далеко отшвырнула свой парик, волосы упали на плечи, точно руно, закрыв собой весь ее костюм, кроме панталон, что производило впечатление забавное и милое.

Женщине-Сфинксу, которая от лихорадки щелкала зубами, понадобилась шаль.

Розанетта побежала за шалью к себе в спальню, гостья поспешила за ней, но остановилась перед быстро захлопнувшейся дверью.

Турок заметил во всеуслышание, что никто не видел, как ушел г-н Удри. Все были настолько утомлены, что не обратили внимания на этот ехидный намек.

Потом, в ожидании экипажей, гости стали кутаться в плащи, надевать капоры. Пробило семь часов. Ангел все еще пребывал в столовой за тарелкой с сардинами в масле, а рядом Рыбная торговка курила папиросы, давая советы, как надо жить.

Наконец появились фиакры, все разъехались. Юсоне, работавший в отделе провинциальных известий, должен был до завтрака прочесть пятьдесят три газеты. Дикарке предстояла репетиция в театре. Пелерена ждал натурщик, у Церковного служки было назначено три свидания. Ангел ощутил первые признаки расстройства желудка, но не в силах был встать. Средневековый барон на руках донес молодую женщину до фиакра.

— Осторожнее с крыльями! — крикнула в окно Грузчица.

Мадмуазель Ватназ, уже выйдя на лестницу, сказала Розанетте:

— Прощай, дорогая! Твой вечер очень удался.— Потом наклонилась к ее уху: — Держи его при себе!

— До лучших времен,— сказала Капитанша, медленно поворачиваясь к ней спиной.

Арну и Фредерик возвращались вместе, так же как и приехали. У торговца фаянсом вид был такой сумрачный, что его спутник подумал, уж не болен ли он.

— Я? Нисколько!

Он покусывал усы, хмурил брови; Фредерик спросил, не дела ли так беспокоят его.

— Да ничуть! — воскликнул Арну. Потом вдруг: —

Ведь вы знакомы с дядюшкой Удри? Не правда ли? — И со злобой прибавил: — Богат, старый плут!

Потом Арну заговорил о каком-то важном обжиге, который сегодня следовало закончить у него на фабрике. Он хотел присутствовать при этом. Поезд отправлялся через час.

— Надо все-таки заехать домой — поцеловать жену!

«Гм... жену!» — подумал Фредерик.

Он лег спать с невыносимой болью в затылке и выпил целый графин воды, чтобы утолить жажду.

Иная жажда стала мучить его — жажда женщин, роскоши и всего, что составляет парижскую жизнь. Он чувствовал себя слегка ошеломленным, точно человек, сошедший с корабля, и не успел еще уснуть, как перед ним замелькали плечи Рыбной торговки, бедра Грузчицы, икры Польки, волосы Дикарки. Потом два больших черных глаза, которых на балу не было, появились тоже и, легкие, как бабочки, жгучие, как факелы, уносились прочь, возвращались, трепетали, поднимались до карниза, опускались к его губам. Фредерик безуспешно пытался вспомнить, чьи же эти глаза. Но сон уже овладел им: ему казалось, что он вместе с Арну запряжен в дышла фиакра, а Капитанша, сидя на нем верхом, вонзает в него золотые шпоры.

II

На углу улицы Румфорда Фредерик снял небольшой особняк и сразу купил двухместную карету, лошадь, мебель и две жардиньерки, которые выбрал у Арну, чтобы поставить по обе стороны двери в гостиной. За гостиной была еще комната с туалетной. Ему пришла мысль поселить там Делорье. Но как тогда принимать ее, свою будущую любовницу? Присутствие друга будет его стеснять. Он велел разобрать стену, чтобы расширить гостиную, а туалетную превратил в курительную.

Были куплены книги любимых поэтов, путешествия, географические атласы, словари,— Фредерик наметил обширный план занятий; он торопил рабочих, бегал по магазинам и в нетерпеливом стремлении насладиться жизнью в особняке брал все, не торгуясь.

По счетам поставщиков Фредерик увидел, что в ближайшее время должен израсходовать тысяч сорок, не считая пошлин за право наследования, которые превысят

тридцать семь тысяч; так как состояние его заключалось в недвижимости, Фредерик написал в Гавр своему нотариусу, прося продать часть ее, чтобы он мог расплатиться с долгами и некоторую сумму иметь в своем распоряжении. Потом, стремясь наконец познать то зыбкое, туманное, неопределимое, что носит название «свет», он послал Дамбрёзам записку, прося разрешения посетить их. Г-жа Дамбрёз ответила, что надеется увидеть его у себя на следующий день.

Этот день был приемный. Во дворе стояли экипажи. Два лакея поспешили к нему у подъезда, а третий, оказавшийся на верхней площадке лестницы, пошел впереди него.

Он миновал переднюю, еще одну комнату, затем большую гостиную с высокими окнами и монументальным камином, на котором стояли часы в виде шара и две фарфоровые вазы чудовищных размеров, а из них, как два золотых куста, поднимались два канделябра со множеством свечей. На стене висели картины в манере Рибейры; величественно ниспадали тяжелые тканые портьеры; во всей этой обстановке ампир, в этих креслах, консолях, столах было нечто внушительное и чопорное. Фредерик невольно улыбнулся от удовольствия.

Наконец он вступил в овальную комнату с обшивкой розового дерева, тесно уставленную миниатюрной мебелью, с зеркальным окном, которое выходило в сад. Г-жа Дамбрёз сидела у камина, человек десять гостей образовали около нее полукруг. Встретив Фредерика любезной фразой, она жестом пригласила молодого человека сесть, но не выказала удивления, что так давно не видала его.

Когда он вошел, все восхваляли красноречие аббата Кёра. Потом по поводу кражи, совершенной каким-то лакеем, стали сокрушаться об испорченности прислуги, и начались пересуды. Престарелая г-жа де Соммери простужена, мадмуазель де Тюрвизо выходит замуж, Моншароны вернутся не раньше конца января, Бретанкуры также. Теперь принято долго оставаться в деревне. Убожество предметов разговора словно подчеркивалось роскошью обстановки; но то, о чем говорилось, было еще более глупо, чем манера вести разговор,— без цели, без связи, без оживления. Между тем здесь были люди интересные, знавшие жизнь,— бывший министр, кюре из большого прихода, два-три крупных государственных деятеля; но никто из них не выходил за пределы самых избитых тем. У од-

них был вид безутешных вдов, у других повадки барышников; старики, явившиеся сюда со своими женами, годились этим женам в деды.

Госпожа Дамбрёз всех принимала одинаково любезно. Как только заговаривали о чьей-нибудь болезни, она скорбно сдвигала брови; когда же речь заходила о балах или вечерах, она весело улыбалась. Скоро ей придется отказаться от этих развлечений, так как она берет к себе в дом племянницу мужа, сироту. Стали превозносить ее самоотверженность: она поступает как настоящая мать.

Фредерик всматривался в хозяйку дома. Матовая кожа ее лица казалась упругой и свежей, но тусклой, точно законсервированный плод. Зато волосы, завитые по английской моде, были нежнее шелка, голубые глаза сияли, все движения отличались изяществом. Сидя в глубине комнаты на козетке, она перебирала красную бахрому японского экрана, наверно, чтобы показать свои руки, длинные, узкие, немного худые, с пальцами, слегка загнутыми кверху. Она была в сером муаровом платье с глухим лифом, точно пуританка.

Фредерик спросил, не собирается ли она в этом году в Ла Фортель. Г-жа Дамбрёз еще не знала. Он, впрочем, понимает: в Ножане ей, верно, было бы скучно. Гостей становилось все больше. По коврам, не переставая, шуршали платья; дамы, присев на кончик стула, похихикав и сказав несколько слов, через пять минут уезжали со своими дочерьми. Вскоре стало невозможно следить за беседой, и Фредерик уже намеревался откланяться, как вдруг г-жа Дамбрёз сказала ему:

— Итак, по средам, господин Моро? — Этой единственной фразой она искупала проявленное к нему равнодушие.

Фредерик был доволен. И все же, выйдя на улицу, он глубоко, с облегчением вздохнул; чувствуя потребность в обществе менее искусственном, он вспомнил, что должен сделать визит Капитанше.

Дверь в переднюю была открыта. Две гаванские болонки выбежали к нему навстречу. Раздался голос:

— Дельфина! Дельфина! Это вы, Феликс?

Он не пошел дальше; собачонки все еще тявкали. Наконец появилась Розанетта в пеньюаре из белого муслина, отделанном кружевами, в турецких туфлях на босу ногу.

— Ах, извините, сударь! Я думала, это парикмахер. Одну минутку! Сейчас вернусь!

Он остался один в столовой. Ставни были закрыты. Фредерик обвел взглядом комнату, вспоминая шум, царивший здесь в ту ночь, и вдруг заметил на середине стола мужскую фетровую шляпу, старую, измятую, засаленную, отвратительную. Чей это головной убор? Нагло выставив свою неряшливую подкладку, он как бы говорил: «А мне наплевать! Я здесь хозяин!»

Вошла Капитанша. Она взяла шляпу, открыла дверь в теплицу, бросила ее туда, затворила дверь (в то же время другие двери открывались и закрывались) и, проведя Фредерика через кухню, впустила его в свою туалетную комнату.

Сразу было видно, что это любимое место в доме, как бы его духовное средоточие. Стены, кресла и широкий упругий диван были обиты ситцем с узором, изображавшим густую листву; на белом мраморном столе стояли два больших таза из синего фаянса; стеклянные полочки, расположенные над ним в виде этажерки, были заставлены флаконами, щетками, гребнями, косметическими карандашами, коробками с пудрой; высокое трюмо отражало огонь, горевший в камине; с края ванны свешивалась простыня, воздух благоухал смесью миндаля и росного ладана.

— Извините за беспорядок! Я сегодня обедаю в гостях.

Повернувшись резким движением, она чуть было не раздавила одну из собачонок. Фредерик нашел, что они очаровательны. Розанетта взяла их на руки, поднесла к лицу гостя их черные мордочки и сказала:

— Ну, поцелуйте-ка этого господина!

В комнату вдруг вошел человек в грязном пальто с меховым воротником.

— Феликс, милый,— сказала она,— в воскресенье все будет улажено, непременно.

Вошедший стал ее причесывать. Он сообщал ей новости о ее приятельницах: г-же де Рошегюн, г-же де Сен-Флорантен, г-же Ломбар,— все об аристократках, совсем как у Дамбрёзов. Потом он заговорил о театрах; нынче вечером в «Амбигю» замечательный спектакль.

— Вы поедете?

— Да нет! Посижу дома.

Вошла Дельфина. Розанетта стала бранить ее за то, что она отлучилась без позволения. Та божилась, что «ходила на рынок».

— Ну тогда принесите мне расходную тетрадь! Вы разрешите?

Вполголоса читая записи, Розанетта делала замечания по поводу каждого расхода. Итог был неверный.

— Верните четыре су сдачи!

Дельфина отдала деньги, и Розанетта ее отпустила.

— Пресвятая дева! Что за мука с этим народом!

Фредерик был неприятно поражен ее словами. Они слишком живо напоминали ему только что слышанное и устанавливали между обоими домами обидное равенство.

Дельфина вновь вошла и, подойдя к Капитанше, что-то шепнула ей на ухо.

— Ну нет! Не хочу!

Дельфина еще раз вернулась:

— Барыня, она не слушает.

— Какая досада! Гони ее вон!

В этот самый миг на пороге появилась старая дама в черном. Фредерик ничего не расслышал, ничего не разглядел — Розанетта ринулась в спальню ей навстречу.

Когда она вернулась, лицо у нее горело, и она молча села в кресло. Слеза скатилась у нее по щеке; потом она обернулась к молодому человеку и тихо спросила:

— Как ваше имя?

— Фредерик.

— А, Федерико! Вам не неприятно, что я вас так называю?

И она ласково, почти влюбленно взглянула на него. Но тут же вскрикнула от радости: пришла мадмуазель Ватназ.

У этой особы артистического пошиба не было ни минуты свободного времени: ровно в шесть ей надо возглавить свой табльдот, она задыхалась, изнемогала. Первым делом она вынула из сумочки часовую цепочку и листок бумаги, потом разные вещи, покупки.

— К твоему сведению: на улице Жубер продаются шведские перчатки, по тридцать шесть су пара,— роскошь! Твой красильщик просит подождать еще неделю. Насчет гипюра я сказала, что зайду потом. Бюньо задаток получил. Вот и все как будто? Итого ты мне должна сто восемьдесят пять франков!

Розанетта достала из ящика десять наполеондоров. У обеих дам не оказалось мелочи. Фредерик пришел им на помощь.

— Я вам отдам долг,— сказала Ватназ, засовывая в сумочку пятнадцать франков.— Но вы противный! Я вас разлюбила: вы в тот вечер ни разу не танцевали со мной. Да, милая, на набережной Вольтера я видела в лавке раму, сделанную из чучел колибри,— прелесть! На твоем месте я бы ее купила. А вот взгляни, как тебе это понравится?

И она показала отрез старинного розового шелка, который купила в Тампле на средневековый камзол Дельмару.

— Он у тебя сегодня был, правда?

— Нет.

— Странно! — И минуту спустя: — Ты где сегодня вечером?

— У Альфонсины,— сказала Розанетта.

Это был уже третий вариант — как она собирается провести вечер.

Мадмуазель Ватназ опять спросила:

— Ну, а насчет старика с Горы что нового?

Но Капитанша подмигнула ей, чтобы заставить замолчать, и, проводив Фредерика до передней, спросила, скоро ли он увидит Арну.

— Пусть он придет ко мне, попросите его, конечно, не при супруге!

На площадке у стены стоял зонтик и рядом пара калош.

— Калоши Ватназ,— сказала Розанетта.— Какова ножка, а? Здоровенная у меня подружка?— И мелодраматическим тоном раскатисто произнесла: — Ей доверррять нельзя!

Фредерик, которому это признание придало смелости, хотел поцеловать ее в шею. Она холодно сказала:

— Пожалуйста! Это ничего не стоит!

Фредерик вышел от нее настроенный на легкомысленный лад, он уже не сомневался, что Капитанша скоро будет его любовницей. Это желание пробудило в нем другое, и, хотя он был сердит на г-жу Арну, ему захотелось ее видеть.

К тому же он должен был зайти к ним по поручению Розанетты.

«Но сейчас,— подумал он (пробило шесть часов),— сам Арну, наверное, дома».

И он отложил визит до следующего дня.

Она сидела в той же позе, что и в первый раз, и шила

детскую рубашку. Мальчик играл у ее ног с деревянными зверушками; Марта поодаль писала.

Он начал с того, что похвалил детей. В ее ответе не было и следа глупого материнского тщеславия.

Комната являла вид мирный и спокойный. Солнце ярко светило в окна, полированная мебель блестела: г-жа Арну сидела у окна, солнечные лучи, падая на ее затылок, на завитки волос, как бы жидким золотом пронизывали нежную смуглую кожу. Он сказал:

— Как выросла молодая особа за три года! Помните, мадмуазель, как вы спали у меня на коленях в коляске?

Марта не помнила.

— Это было вечером, мы ехали из Сен-Клу.

Госпожа Арну бросила на него взгляд, исполненный странной печали. Не запрещала ли она ему всякий намек на их общее воспоминание?

Ее прекрасные глаза, черные и блестящие, ласково смотрели из-под тяжеловатых век; в глубине их таилась беспредельная доброта. В нем опять проснулась любовь, еще более сильная, чем прежде, необъятная; созерцая г-жу Арну, он погрузился в оцепенение. Но тут же стряхнул его. Как поднять себя в ее мнении? Каким образом? Хорошенько подумав, Фредерик не нашел ничего лучшего, чем деньги. Он завел речь о погоде,— она здесь не такая холодная, как в Гавре.

— Вы там были?

— Да, по делам... семейным... о наследстве.

— Очень рада за вас,— сказала г-жа Арну с выражением такого искреннего удовольствия, что он был тронут, словно она оказала ему большую услугу.

Затем она спросила, что он теперь намерен делать,— ведь мужчина должен чем-нибудь заниматься. Он вспомнил о своем вымысле и сказал, что рассчитывает попасть в Государственный совет благодаря господину Дамбрёзу, депутату.

— Вы, может быть, знаете его?

— Только по фамилии.

Понизив голос, она спросила:

— *Он* ездил с вами на бал в тот раз, правда?

Фредерик молчал.

— Мне просто хотелось знать; благодарю вас.

Она задала ему два-три сдержанных вопроса о его семье и родном городе. Как это любезно, что он не забыл их, хоть и прожил там так долго!

— Но... разве я мог иначе? — спросил он.— И вы сомневались?

Госпожа Арну встала.

— Я полагаю, что у вас к нам искреннее и прочное чувство. Прощайте... нет, до свиданья.

Она крепко, по-мужски пожала ему руку. Не залог ли это, не обещание ли? Фредерик ощутил радость жизни; он сдерживал себя, чтобы не запеть; он испытывал потребность излить свой восторг, проявить великодушие, подать милостыню. Он посмотрел вокруг себя, нет ли человека, который нуждается в помощи. Ни один нищий не проходил поблизости, и готовность к жертве исчезла в нем, едва возникнув, ибо он был не так самоотвержен, чтобы долго питать подобные чувства.

Он вспомнил о своих друзьях. Сперва о Юсоне, потом о Пелерене. К Дюсардье, занимавшему очень скромное положение, следовало отнестись особенно внимательно. Что до Сизи, Фредерик радовался возможности похвастаться перед ним своим богатством. Он письменно пригласил всех четырех отпраздновать с ним новоселье в ближайшее воскресенье, ровно в одиннадцать часов, а Делорье поручил привести Сенекаля.

Репетитора уже уволили из третьего пансиона за то, что он высказался против раздачи наград,— обычая, который он считал пагубным с точки зрения равенства. Он теперь служил у некоего машиностроителя и уже полгода как съехал от Делорье.

Разлука их не слишком огорчила. К Сенекалю последнее время ходили какие-то блузники, всё —патриоты, трудолюбивые, честные люди; адвокату, однако, общество их казалось скучным. К тому же некоторые идеи его друга, превосходные как орудия борьбы, ему не нравились. Из честолюбия он об этом молчал, стараясь обращаться с Сенекалем бережно, чтобы иметь возможность им руководить, ибо он с нетерпением ожидал великого переворота, надеясь пробиться, занять положение.

Взгляды Сенекаля были бескорыстные. Каждый вечер, кончив работу, он возвращался к себе в мансарду и в книгах искал подтверждения своим мечтам. Он делал заметки к *Общественному договору*. Он пичкал себя *Независимым обозрением*. Он изучил Мабли, Морелли, Фурье, Сен-Симона, Конта, Кабе, Луи Блана — весь тяжеловесный арсенал писателей-социалистов, тех, что хотели бы низвести жизнь человечества до уровня казарм, тех, что желали

бы развлекать его в лупанариях или заставить корпеть за конторкой; из смеси всего этого он создал себе идеал добродетельной демократии, нечто похожее и на ферму и на прядильню, своего рода американской Лакедемон, где личность существовала бы лишь для того, чтобы служить обществу, более всемогущему, более самодержавному, непогрешимому и божественному, чем далай-ламы и Навуходоносоры. Он не сомневался в скором осуществлении этой идеи и яростно ратовал против всего, что считал враждебным ей, рассуждая, как математик, и слепо веря в нее, как инквизитор. Дворянские титулы, мундиры, ордена, в особенности ливреи и даже громкая слава, вызывали в нем возмущение, а книги, которые он изучал, и собственные невзгоды с каждым днем усиливали в нем ненависть ко всему выдающемуся и ко всякому проявлению превосходства.

— Чем я обязан этому господину, чтобы оказывать ему какие-то любезности? Если я ему нужен, он может сам ко мне прийти!

Делорье чуть не насильно притащил его к Фредерику.

Они застали своего приятеля в спальне. Шторы и двойные драпировки, венецианские зеркала — ни в чем не было недостатка; Фредерик в бархатной куртке сидел, развалившись в глубоком кресле, и курил турецкие папиросы.

Сенекаль насупился, как ханжа, попавший па веселое сборище. Делорье окинул все единым взглядом, потом низко поклонился:

— Ваша светлость! Честь имею приветствовать вас!

Дюсардье бросился ему на шею:

— Вы разбогатели? Как это славно, черт возьми, как славно!

Сизи явился с крепом на шляпе. После смерти своей бабушки он располагал значительным состоянием и стремился не столько веселиться, сколько отличаться от других, быть не как все, иметь «особый отпечаток». Это было его любимое выражение.

Был уже полдень, и все зевали; Фредерик поджидал еще кого-то. При имени Арну Пелерен состроил гримасу. Он смотрел на него как на ренегата с тех пор, как тот бросил искусство.

— А что, если обойтись без него? Как вы скажете?

Все были согласны.

Слуга в высоких гетрах распахнул дверь, и гости уви-

дели столовую, стены которой были отделаны широкой дубовой панелью с золотым багетом; на двух поставцах стояла посуда. На печке подогревались бутылки с вином; рядом с устрицами блестели лезвия новых ножей; в молочном стекле тончайших стаканов было нечто нежное, манящее, стол гнулся под тяжестью дичи, фруктов, разных необыкновенных яств. Эту изысканность Сенекаль не мог оценить.

Он первым делом потребовал простого хлеба (как можно более черствого) и по этому случаю заговорил об убийствах в Бюзансе и о продовольственном кризисе.

Ничего бы этого не случилось, если бы больше заботились о земледелии, если бы все не было отдано во власть конкуренции, анархии, злосчастного принципа «свободной торговли»! Вот как возникает денежный феодализм, худший, чем феодализм прежний. Но берегитесь! Народ в конце концов не выдержит и за свои страдания отплатит капиталистам кровавыми приговорами либо разграблением их дворцов.

Фредерику представилось на миг, как толпа людей с засученными рукавами наводняет парадную гостиную г-жи Дамбрёз и ударами пик разбивает зеркала.

Сенекаль продолжал: рабочий вследствие недостаточности заработной платы несчастнее, чем илот, негр или пария, особенно если у него есть дети.

— Что ж ему, удушить их, что ли, чтоб от них избавиться, как рекомендует, не помню уж какой, английский ученый, последователь Мальтуса? — И он обратился к Сизи: — Неужели же мы дойдем до того, что будем следовать советам гнусного Мальтуса?

Сизи, не подозревавший ни о гнусности, ни даже о самом существовании Мальтуса, ответил, что бедным все-таки много помогают и что высшие классы...

— Высшие классы! — проговорил с насмешкой социалист.— Во-первых, никаких высших классов нет; человека возвышает лишь его сердце. Нам не надо милостыни, слышите! Мы хотим равенства, справедливого распределения продуктов труда.

Он требовал, чтобы рабочий мог стать капиталистом, как солдат — полковником. Средневековые цехи, ограничивая число подмастерьев, по крайней мере, препятствовали излишнему скоплению рабочей силы, а чувство братства поддерживалось празднествами, знаменами.

Юсоне, как поэт, жалел о знаменах; Пелерен — также,

ибо имел к ним пристрастие с тех пор, как в кафе «Даньо» слышал беседу о фаланстере. Он заявил, что Фурье великий человек.

— Да ну! —сказал Делорье.— Эта старая скотина видит в государственных переворотах проявление божественного возмездия! Он вроде барина Сен-Симона и его дворни с их ненавистью к французской революции,— кучка болтунов, желающих восстановить католицизм.

Господин де Сизи, вероятно, из любознательности или для того, чтобы выставить себя в выигрышном свете, тихо спросил:

— Так эти ученые держатся других взглядов, чем Вольтер?

— Этого я вам уступаю! — ответил Сенекаль.

— Как? А я думал...

— Да нет же! Он не любил народ!

Потом разговор перешел на современные события: испанские браки, растрату в Рошфоре, новый капитул в Сен-Дени, который приведет к увеличению налогов. По мнению Сенекаля, они и так были достаточно велики.

— И для чего, боже ты мой? Чтобы воздвигать дворцы для музейных обезьян, устраивать на площадях блистательные парады или поддерживать среди придворных лакеев средневековый этикет!

— Я читал в Журнале мод,— сказал Сизи,— что в день святого Фердинанда на балу в Тюильри все были наряжены грузчиками.

— Ну разве это не безобразие? — воскликнул социалист, с отвращением пожимая плечами.

— А версальский музей! — воскликнул Пелерен.— Стоит о нем поговорить! Эти болваны укоротили одну из картин Делакруа и надставили Гро! В Лувре так хорошо реставрируют полотна, так их подчищают и подмазывают, что лет через десять, пожалуй, от них ничего не останется. А об ошибках в каталоге один немец написал целую книгу. Честное слово, иностранцы смеются над нами!

— Да, мы стали посмешищем Европы,— сказал Сенекаль.

— Все потому, что искусство подчинено короне.

— Пока не будет всеобщего избирательного права...

— Позвольте! — Художник, которого уже двадцать лет не принимали ни на одну выставку, возмущался властью.— Пусть нас оставят в покое. Лично я не требую ничего! Но

только палаты должны были бы с помощью законов оказывать поддержку искусству. Следовало бы учредить кафедру эстетики и найти такого профессора, который был бы практиком и в то же время философом и, надо надеяться, сумел бы объединить людей. Хорошо бы вам, Юсоне, коснуться этого в вашей газете!

— Разве газеты у нас пользуются свободой? Разве сами мы пользуемся ею? — с горячностью воскликнул Делорье.— Когда подумаешь, что, прежде чем спустить лодочку на реку, может потребоваться двадцать восемь формальностей, просто хочется бежать к людоедам! Правительство готово сожрать нас! Все принадлежит ему: философия, право, искусство, самый воздух, а измученная Франция хрипит под сапогом жандарма и сутаной попа!

Так будущий Мирабо долго изливал свою желчь. Наконец он поднял стакан, встал и, упершись рукой в бок, сверкая глазами, проговорил:

— Я пью за полное разрушение существующего строя, то есть всего, что называют Привилегией, Монополией, Управлением, Иерархией, Властью, Государством.— Закончил он громовым голосом: — Я хотел бы разбить их вот так! — При этом он ударил о стол красивым бокалом на ножке, и бокал разбился на множество осколков.

Все зааплодировали, особенно громко Дюсардье.

Его сердце возмущало зрелище несправедливостей. Он тревожился за судьбу Барбеса; он был из числа тех, кто готов броситься под экипаж, чтобы спасти упавшую лошадь. Его эрудиция ограничивалась двумя сочинениями; одно из них называлось Преступление королей, другое — Тайны Ватикана. Он слушал адвоката, разинув рот, упиваясь его речью. Наконец не выдержал:

— А я упрекаю Луи-Филиппа в том, что он предал поляков!

— Позвольте! — сказал Юсоне.— Прежде всего никакой Польши не существует; это выдумка Лафайета. Как правило, все поляки из предместья Сен-Марсо, а настоящие утонули вместе с Понятовским.

Словом, его «не проведешь», он «разуверился во всем этом». Все это такие же враки, как морской змей, отмена Нантского эдикта или «старая басня о Варфоломеевской ночи»!

Сенекаль, не защищая поляков, подхватил последние слова журналиста. Пап оклеветали — они, в сущности, стоят за народ,— а Лигу он назвал «зарею Демократии,

великим движением в защиту равенства против индивидуализма протестантов».

Фредерик был несколько удивлен такими идеями. Сизи они, наверно, тоже надоели: он перевел разговор на живые картины в театре «Жимназ», которые в то время привлекали много зрителей.

Сенекаля и это огорчило. Подобные зрелища развращают дочерей пролетариата; потом и они стремятся выставить напоказ бесстыдную роскошь. Поэтому он оправдывал баварских студентов, оскорбивших Лолу Монтес. По примеру Руссо, он больше уважал жену угольщика, чем любовницу короля.

— Вы отвергаете трюфели! — величественно возразил Юсоне.

Он стал на защиту подобных дам из внимания к Розанетте. Потом заговорил о бале и о костюме Арну.

— Говорят, дела его плохи? — спросил Пелерен.

У торговца картинами только что закончилось судебное дело из-за участков в Бельвиле, а теперь он состоял членом компании по разработке каолина в Нижней Бретани вместе с такими же сомнительными личностями, как он сам.

Дюсардье знал об этом больше, так как его хозяин, г-н Мусино, наводил об Арну справки у банкира Оскара Лефевра; тот сообщил, что считает Арну человеком несолидным — ему не раз приходилось отсрочивать векселя.

Десерт был окончен; перешли в гостиную, обтянутую так же, как и у Капитанши, желтым шелком и убранную в стиле Людовика XVI.

Пелерен поставил Фредерику в укор, что он не отдал предпочтения неогреческому стилю; Сенекаль чиркал спичками о шелковую обивку; Делорье никаких замечаний не сделал, но не мог воздержаться от них по поводу библиотеки, которую назвал библиотекой маленькой девочки. В ней была собрана большая часть современных авторов. Поговорить об их произведениях не представлялось возможным, так как Юсоне тотчас же начинал рассказывать анекдоты о них самих, критиковал их внешность, поведение, костюмы, превознося писателей пятнадцатого ранга, уничтожающе отзываясь о талантах первостепенных и, разумеется, сокрушаясь о современном упадке. В любой деревенской песенке поэзии больше, чем во всей лирике XIX века; Бальзака захвалили, Байрона уже низвергли, Гюго ничего не смыслит в театре и так далее.

— Почему,— спросил Сенекаль,— у вас нет книг наших рабочих поэтов?

А господин де Сизи, интересовавшийся литературой, удивился, что не видит на столе у Фредерика «каких-нибудь новейших физиологий — физиологии курильщика, рыболова, таможенного чиновника».

Приятели настолько вывели Фредерика из терпения, что ему захотелось вытолкать их вон. «Нет, я просто глупею!» Отведя Дюсардье в сторону, он спросил, не может ли быть ему чем-нибудь полезен.

Добрый малый был растроган. Но он служит кассиром и ни в чем не нуждается.

Затем Фредерик повел Делорье к себе в спальню и вынул из бюро две тысячи франков.

— На, дружище, забирай! Это остаток моих старых долгов.

— Ну... а как же газета? — спросил адвокат.— Ты ведь знаешь, я уже говорил об этом с Юсоне.

А когда Фредерик ответил, что временно находится в «стесненных обстоятельствах», Делорье зло усмехнулся.

После ликеров пили пиво, после пива — грог; еще раз закурили трубки. Наконец в пять часов гости разошлись; они шагали рядом и молчали, как вдруг Дюсардье заговорил о том, что Фредерик превосходно принял их. Все согласились.

Юсоне заявил, что завтрак был тяжеловат. Сенекаль раскритиковал заурядную обстановку Фредерика. Сизи был того же мнения: в доме у Фредерика нет «особого отпечатка».

— Я считаю,— проговорил Пелерен,— что он вполне мог бы заказать мне картину.

Делорье молчал, унося в кармане панталон банковые билеты.

Фредерик остался один. Он думал о своих друзьях и чувствовал, что его как бы отделяет от них глубокий ров, полный мрака. Он протянул им руку, но его искренность не вызвала отклика.

Он вспомнил все сказанное Пелереном и Дюсардье относительно Арну. Наверно, это выдумка, клевета. Но, собственно, почему? И он уже видел, как г-жа Арну, разоренная, в слезах распродает мебель. Эта мысль терзала его всю ночь; на следующий день он отправился к ней.

Не зная, как сообщить ей то, что ему известно, он спросил, по-прежнему ли Арну владеет участками в Бельвиле.

— Да, по-прежнему.

— Он теперь, кажется, член компании по добыче каолина в Бретани?

— Да.

— На фабрике все идет хорошо, не правда ли?

— Да... как будто.— Чувствуя, что он не решается что-то сказать, она спросила: — Что с вами? Вы меня пугаете!

Он сообщил ей об отсроченных векселях. Она опустила голову и сказала:

— Я так и думала!

Действительно, Арну ради выгодной спекуляции отказался продать землю, заложил ее за большую сумму и, не находя покупателей, решил поправить дело постройкой фабрики. Затраты превысили смету. Ей больше ничего не известно; он избегает вопросов и уверяет, что «дела идут прекрасно».

Фредерик попытался успокоить г-жу Арну. Это, может быть, временные затруднения. Впрочем, если он что-нибудь узнает, то сообщит ей.

— Да! Пожалуйста,— сказала она, складывая руки с очаровательным выражением мольбы.

Так, значит, он может быть ей полезен. Он входит в ее жизнь, в ее сердце!

Явился Арну.

— Как мило, что вы зашли взять меня в ресторан!

Фредерик опешил.

Арну поговорил о разных пустяках, потом предупредил жену, что вернется очень поздно, так как у него назначено свидание с г-ном Удри.

— У него дома?

— Ну конечно!

Спускаясь по лестнице, он признался, что Капитанша сегодня свободна и он едет с ней повеселиться в «Мулен Руж», а так как у него была потребность в излияниях, он попросил Фредерика проводить его до подъезда Розанетты.

Но вместо того, чтобы войти, он стал ходить по тротуару, поглядывая на окна третьего этажа. Вдруг занавески раздвинулись.

— А! Браво! Папаша Удри ушел. Всего доброго!

Так, значит, Розанетта на содержании старика Удри? Фредерик не знал, что и думать.

С этого дня Арну стал еще дружелюбнее прежнего; он

приглашал Фредерика обедать к своей любовнице, и вскоре тот начал посещать оба дома.

У Розанетты бывало занятно. К ней заезжали вечером после клуба или театра, пили чай, играли в лото; по воскресеньям разыгрывали шарады; Розанетта, самая неугомонная из всех, любила забавные выдумки: бегала на четвереньках, напяливала на себя ночной колпак. Глядя в окно на прохожих, надевала кожаную шляпу, курила трубку с чубуком, пела тирольские песни. Днем от нечего делать вырезала цветы из ситца, сама наклеивала их на стекла окон, мазала румянами двух своих собачек, зажигала курительные свечки или гадала на картах. Не умея ни в чем себе отказать, она приходила в восторг от увиденной безделушки, не спала ночь, спешила ее купить, выменивала на другую, без толку изводила какую-нибудь ткань, теряла драгоценности, сорила деньгами, готова была продать последнюю рубашку, чтобы достать литерную ложу на спектакль. Она часто просила Фредерика объяснить ей какое-нибудь слово, которое ей случалось прочесть, но не слушала объяснений, быстро перескакивала с одного предмета на другой и сыпала вопросами. Приступы веселости сменялись у нее детскими вспышками гнева; или же она погружалась в мечты, сидя на полу перед камином, опустив голову и обхватив колени руками, неподвижная, как заснувшая змейка. Не обращая на Фредерика внимания, она одевалась в его присутствии, медленно натягивала шелковые чулки, потом умывала лицо, обдавая все кругом брызгами, откидывалась назад, словно трепещущая наяда; ее смех, белизна ее зубов, блеск глаз, красота, веселость пленяли Фредерика и будоражили его.

Когда он приходил к г-же Арну, она либо учила читать своего мальчугана, либо стояла за стулом Марты, игравшей гаммы; если она занималась шитьем, для него было великим счастьем поднять упавшие ножницы. Все ее движения были спокойно-величавы; ее маленькие руки казались созданными для того, чтобы раздавать милостыню, утирать слезы, а в голосе, от природы глуховатом, были ласкающие интонации и как бы легкость ветерка.

Литературой она не увлекалась, зато ум ее сказывался в чарующе простых и прочувствованных словах. Она любила путешествовать, слушать шум ветра в лесу и без шляпы гулять под дождем. Фредерик наслаждался,— он думал, что их сближение уже начинается.

Общение с этими двумя женщинами составляло как

бы две мелодии; одна была игривая, порывистая, радостная, другая — торжественная, почти молитвенная; звуча одновременно, они непрерывно нарастали и мало-помалу сливались; если г-же Арну случалось прикоснуться к нему хоть кончиком пальца, перед ним вставал, откликаясь на его желания, образ Розанетты, ибо с ней он больше мог рассчитывать на успех; когда же в обществе Розанетты он чувствовал сердечное волнение, ему тотчас вспоминалась его великая любовь.

Этому смешению способствовало и сходство в обстановке обеих квартир. Один из двух старинных ларей, находившихся в прежнее время на бульваре Монмартр, украшал теперь столовую Розанетты, другой — гостиную г-жи Арну. В обоих домах сервизы были одинаковые, даже на креслах валялась одна и та же бархатная ермолка; множество мелких подарков — экраны, шкатулки, веера — переходили от жены к любовнице и обратно, ибо Арну, нисколько не стесняясь, часто отбирал у одной подаренную им же вещь, чтобы преподнести другой.

Капитанша вместе с Фредериком смеялась над этой некрасивой манерой Арну. Однажды в воскресенье, после обеда, она повела Фредерика в переднюю и показала ему в кармане пальто Арну пакет с пирожными, которые он стащил со стола, вероятно, чтобы угостить свою семью. Г-н Арну пускался на шалости, граничившие с гнусностью. Он считал долгом надувать городскую таможню; в театр он никогда не ходил за деньги; с билетом второго класса всегда, по его словам, пробирался в первый и рассказывал, как о милой шутке, о своем обыкновении опускать в купальнях в кружку для сбора денег вместо мелкой монеты пуговицу от штанов; все это, однако, не мешало Капитанше его любить.

Как-то раз она все же сказала:

— Надоел он мне! Довольно с меня! Вот возьму и найду себе другого!

Фредерик заметил, что «другой» как будто уже найден и зовется г-ном Удри.

— Ну так что же из того? — спросила Розанетта.

В голосе ее послышались слезы.

— Ведь я у него так мало прошу, а он и того не дает, скотина! Не хочет! Вот на обещания не скупится — какое там!

Он посулил ей даже четвертую часть прибылей от пресловутых разработок каолина; никаких прибылей она в гла-

за не видела, равно как и кашемировой шали, которую он уже полгода сулит ей.

Фредерик решил было подарить Розанетте такую шаль. Но Арну увидит, пожалуй, в этом поступке желание проучить его и рассердится.

А все-таки он был добрый, жена сама об этом говорила. Но такой сумасброд! Теперь, вместо того, чтобы каждый день принимать гостей у себя, он приглашал знакомых в ресторан. Он покупал совершенно ненужные вещи, например, золотые цепочки, стенные часы, хозяйственные принадлежности. Г-жа Арну как-то показала Фредерику в коридоре огромное количество чайников, грелок и самоваров. Наконец однажды она поведала ему о своих тревогах: Арну заставил ее подписать вексель на имя г-на Дамбрёза.

Фредерик между тем не отказывался от литературных замыслов,— они были для него в некотором роде вопросом чести. Он хотел написать историю эстетики — итог своих разговоров с Пелереном, потом — изобразить в драматической форме разные моменты французской революции и, под косвенным влиянием Делорье и Юсоне, задумал сочинить большую комедию. Часто во время работы перед ним вставало лицо то одной, то другой женщины; он боролся с желанием видеть одну из них, не мог устоять перед соблазном, а возвращаясь от г-жи Арну, становился еще грустнее.

Однажды утром, когда он предавался меланхолии, сидя у камина, вошел Делорье. Крамольные речи Сенекаля встревожили его патрона, и он снова очутился без средств к существованию.

— Что же я тут, по-твоему, могу сделать? — спросил Фредерик.

— Ничего! Денег у тебя нет, я знаю. Но не можешь ли ты найти ему место через Дамбрёза или через Арну?

Ведь Арну, конечно, нужны инженеры на фабрике. Фредерика осенило: Сенекаль мог бы сообщать ему об отлучках мужа, передавать письма, быть полезным во многих случаях, которые не преминут представиться. Мужчины всегда оказывают друг другу такие услуги. Впрочем, он найдет способ воспользоваться Сенекалем так, что тот и не догадается. Судьба посылает ему пособника, это добрый знак, упускать такую возможность нельзя; притворясь равнодушным, он ответил, что дело, пожалуй, удастся устроить и что он им займется.

Фредерик занялся им немедленно. У Арну было много хлопот с фабрикой. Он искал секрет медно-красной китайской краски, но его краски улетучивались при обжиге. Чтобы предохранить фаянс от трещин, он к глине примешивал известь; однако изделия становились ломкими, эмаль на рисунках пузырилась, большие пластинки коробились, и он, приписывая эти неудачи плохому оборудованию фабрики, хотел заказать новые дробильные мельницы, новые сушилки. Фредерик вспомнил некоторые из этих подробностей и, придя к Арну, объявил, что отыскал человека весьма сведущего, способного найти пресловутую красную краску. Арну так и подпрыгнул от радости, потом, выслушав все доводы, ответил, что ему никого не надо.

Фредерик стал расхваливать удивительные познания Сенекаля — одновременно инженера и счетовода, первоклассного математика.

Фабрикант дал согласие повидаться с ним.

Насчет вознаграждения они не сошлись. Фредерику пришлось вмешаться в дело, и к концу недели он добился того, что условие было заключено.

Но фабрика находилась в Крейле, и Сенекаль ничем не мог быть ему полезен. Это соображение, весьма простое, повергло Фредерика в уныние, как настоящая неудача.

Он решил, что чем меньше Арну будет видеться с женой, тем больше он сам может рассчитывать на успех у нее. И он стал без конца восхвалять Розанетту; он указал Арну на все, в чем тот перед нею виноват, передал ее недавние смутные угрозы и даже упомянул про кашемировую шаль, не утаив, что Розанетта обвиняет его в скупости.

Арну, задетый этим упреком (и к тому же обеспокоенный), подарил Розанетте шаль, но побранил ее за то, что она жаловалась Фредерику. А когда она сказала, что тысячу раз напоминала о его обещании, он стал уверять, что запамятовал, так как слишком занят.

На другой день Фредерик явился к ней. Хотя было два часа, Капитанша еще не вставала; у ее изголовья Дельмар доедал за круглым столиком кусок паштета. Она еще издали крикнула: «Получила! Получила!» — потом, взяв Фредерика за уши, поцеловала в лоб, долго благодарила, говорила ему «ты» и даже усадила к себе на постель. Ее красивые нежные глаза блестели, влажный рот улыбался, рубашка без рукавов открывала полные руки, время от

времени он чувствовал сквозь батист упругие формы ее тела. Дельмар между тем таращил глаза:

— Но, право, друг мой, дорогая моя!

То же повторилось и в следующие посещения. Как только Фредерик входил, она приподнималась на локте, чтобы ему удобнее было ее поцеловать, называла его душкой, прелестью, втыкала ему в петлицу цветок, поправляла галстук; эти знаки внимания бывали особенно нежны в присутствии Дельмара.

Не заигрывает ли она с ним? Фредерик так и подумал. А что до Арну, то на месте Фредерика он не постеснялся бы обмануть друга. Имеет же он право не быть добродетельным с его любовницей, раз он добродетелен с его женой, ибо Фредерик считал себя добродетельным, или, вернее, хотел в это верить, чтобы оправдать свое удивительное малодушие. Все же он считал свое поведение глупым и решил действовать с Капитаншей напрямик.

И вот как-то днем, когда она наклонилась над комодом, он подошел и обнял ее столь недвусмысленно, что она выпрямилась и вся вспыхнула. Он продолжал в том же роде; тогда она расплакалась и сказала, что очень несчастна, но из этого еще не следует, что она достойна презрения.

Он повторил свои попытки. Она стала держать себя поиному — все время смеялась. Он счел уместным отвечать ей в том же тоне, даже утрируя его. Но он прикидывался слишком веселым, чтобы она могла поверить его искренности, а их товарищеская непринужденность служила помехой для выражения серьезного чувства. Наконец она заявила как-то, что хватит с нее чужих объедков.

— Каких объедков?

— А разве нет? Ступай к своей госпоже Арну!

Фредерик о ней часто говорил, и Арну имел такую же привычку; в конце концов Розанетту стали выводить из терпения вечные похвалы этой женщине, и ее упрек был своего рода местью.

Фредерик затаил на нее обиду.

К тому же она начинала сильно раздражать его. Порою, выставляя себя опытной в делах любви, она со злостью говорила об этом чувстве, и ее скептический смешок возбуждал в нем желание дать ей пощечину. Четверть часа спустя любовь оказывалась единственной ценностью на свете, и, полузакрыв веки, скрестив руки на груди, словно кого-то обнимая, Розанетта в каком-то опьянении томно шептала: «Да, да! Это чудесно! Чудес-

но!» Невозможно было понять ее, узнать, например, любит ли она Арну; она издевалась над ним и вместе с тем как будто ревновала. То же и с Ватназ, которую она то называла мерзавкой, то лучшей своей подругой. Вообще во всем ее облике, даже в том, как она закалывала волосы, было нечто похожее на вызов, и Фредерик желал ее главным образом ради удовольствия победить и подчинить себе.

Как быть? Ведь часто она без церемонии выпроваживала его, появлялась на минуту в дверях, чтобы шепнуть: «Я до вечера занята!» — или же он заставал ее в обществе двенадцати гостей, а когда они оставались вдвоем, можно было побиться об заклад, что помехи будут возникать непрерывно. Он приглашал ее обедать, она всегда отказывалась; раз как-то согласилась, но не приехала.

В голове у него зародился план, достойный Макиавелли.

Зная от Дюсардье об упреках Пелерена по своему адресу, Фредерик придумал заказать ему портрет Капитанши, портрет в натуральную величину, такой, который потребует много сеансов; сам он не пропустит ни одного из них; обычная неаккуратность художника облегчит свидания наедине. И он предложил Розанетте позировать для портрета, чтобы преподнести свое изображение бесценному Арну. Она согласилась, ибо уже видела свой портрет в Большом салоне, на самом почетном месте, собравшуюся перед ним толпу; да и газеты заговорят о ней, так что она сразу «войдет в моду».

Пелерен с жадностью ухватился за предложение. Этот портрет сделает его знаменитым, будет его шедевром.

Он перебрал в памяти все портреты кисти великих мастеров, какие только были ему известны, и окончательно остановился на портрете в манере Тициана, решив прибавить к нему украшения в духе Веронезе. Итак, он осуществит свой замысел без искусственных теней, напишет в ярком свете тело, выдержанное в одном тоне, а на аксессуары будут падать лишь блики.

«Что, если нарядить ее,— думал он,— в розовое шелковое платье? С восточным бурнусом? Нет, нет! К черту бурнус! А не одеть ли ее в синий бархат на темно-сером фоне? Можно прибавить белый гипюровый воротник, черный веер, а позади алую драпировку».

С каждым днем он расширял свой замысел и восхищался им.

У него забилось сердце, когда Розанетта в сопровожде-

нии Фредерика явилась к нему на первый сеанс. Он попросил ее встать на некое подобие эстрады посреди комнаты; жалуясь на освещение и жалея о своей прежней мастерской, он заставил ее сперва облокотиться на какую-то подставку, потом сесть в кресло; он то удалялся, то снова приближался к ней, чтобы щелчком поправить складки платья, прищурясь, глядел на нее и отрывисто спрашивал у Фредерика совета.

— Так нет же! — воскликнул он.— Я возвращаюсь к прежнему замыслу! Делаю вас венецианкой!

Он ясно представлял себе Розанетту в бархатном пурпуровом платье с золотым поясом; из широкого рукава, отороченного горностаем, выступает обнаженная рука; молодая женщина опирается ею на балюстраду лестницы, которая изображена сзади нее. Слева, до верхнего края холста, поднимается высокая колонна, сливаясь с архитектурными деталями свода. Под его аркой смутно видны купы почти черных апельсиновых деревьев на фоне голубого неба с полосками белых облаков. На выступ лестницы наброшен ковер, на нем —серебряное блюдо, букет цветов, янтарные четки, кинжал и старинный, чуть пожелтевший ларец слоновой кости, полный золотых цехинов; монеты, упавшие на пол, протянутся цепью блестящих брызг, привлекая внимание к ее ножке, а стоять она будет на предпоследней ступеньке, в ярком свете.

Он принес ящик для упаковки картин и водрузил его на эстраде, чтобы изобразить ступеньку; потом в качестве аксессуаров разложил на табурете, заменявшем балюстраду, свою рабочую блузу, щит, коробку из-под сардин, пучок перьев, нож и, разбросав перед Розанеттой дюжину медяков, попросил ее встать в позу.

— Вообразите себе, что все эти вещи — сокровища, роскошные подарки. Головку немного вправо! Превосходно! И не двигайтесь! Такая величественная поза очень подходит к характеру вашей красоты.

Она была в клетчатом платье, в руке держала большую муфту; ей стоило огромных усилий не расхохотаться.

— А в волосы мы вплетем жемчуга; в рыжих волосах это всегда очень эффектно.

Капитанша возразила, что волосы у нее не рыжие.

— Не спорьте! Рыжий цвет у художников не тот, что у обывателей!

Пелерен стал набрасывать фон картины, он был так увлечен великими мастерами Возрождения, что только о

них и говорил. Целый час он грезил вслух о жизни этих людей, исполненной великолепия, гениальности, славы и пышности, о триумфальных въездах в города и пирах при свете факелов, среди женщин, полунагих, прекрасных, как богини.

— Вы созданы, чтобы жить так, как жили в те времена. Женщина, подобная вам, была бы достойна принца.

Розанетта находила, что комплименты Пелерена чрезвычайно милы. Назначен был день следующего сеанса; Фредерик взялся принести аксессуары.

От жарко натопленной печки у Розанетты немного кружилась голова, поэтому назад они отправились пешком по улице Дюбак и вышли на Королевский мост.

Была прекрасная погода, холодная, но ясная. Садилось солнце, окна домов Старого города блестели вдали, как золотые дощечки, а сзади, с правой стороны, башни собора Богоматери вырисовывались совсем черные на фоне синего неба, подернутого на горизонте серой дымкой. Подул ветер. Розанетта заявила, что проголодалась, и они вошли в «Английскую кондитерскую».

Молодые женщины с детьми ели, стоя у мраморного прилавка, где под стеклянными колпаками теснились тарелки, полные пирожных. Розанетта проглотила два бисквита с кремом. От сахарной пудры на углах рта у нее получились усики. Чтобы вытереть их, она несколько раз вынимала из муфты носовой платок; в обрамлении зеленого шелкового капора ее лицо напоминало распустившуюся розу среди листьев.

Они пошли дальше; на Рю-де-ла-Пэ она остановилась у ювелирного мазагина, стала рассматривать браслет; Фредерик захотел подарить ей его.

— Нет,— сказала она,— побереги деньги.

Его задели эти слова.

— Что это с моим мальчиком? Взгрустнулось?

Разговор снова завязался; Фредерик, как обычно, начал уверять ее в своей любви.

— Ты же знаешь, что это невозможно!

— Почему?

— Потому что...

Они шли рядом; она опиралась на его руку, оборки платья задевали его ногу. И тут он вспомнил зимние сумерки, когда по этому самому тротуару с ним рядом шла г-жа Арну, и эти воспоминания настолько поглотили его, что он перестал замечать Розанетту и думать о ней.

Она глядела куда-то в пространство, повиснув на его руке, а он тащил ее за собой, словно ленивого ребенка. Был тот час, когда парижане возвращаются с прогулки; по сухой мостовой быстро неслись экипажи. Ей, вероятно, пришла на память лесть Пелерена, и она вздохнула:

— Есть же такие счастливицы! Решительно, я создана для богатого человека.

Он грубо возразил:

— Так он же у вас есть! — По общему мнению, г-н Удри был трижды миллионер.

Оказывается, она только и мечтает, как бы избавиться от него.

— Кто же вам мешает?

И тут он дал волю желчным насмешкам над этим старым буржуа в парике, убеждая молодую женщину, что подобная связь недостойна ее и что с г-ном Удри надо порвать.

— Да,— ответила Капитанша, словно разговаривая сама с собой,— я, наверно, в конце концов так и сделаю.

Фредерика восхитило ее бескорыстие. Розанетта замедлила шаг; он подумал, что она устала. Она упорно не желала садиться в экипаж и отпустила Фредерика у своего подъезда, послав ему воздушный поцелуй.

«Какая жалость! Подумать только, что есть дураки, которые считают меня богатым!»

Он возвращался домой в мрачном расположении духа. Там его ждали Юсоне и Делорье.

Журналист, сидя за его столом, рисовал головы турок; адвокат, забравшись в грязных башмаках на диван, дремал.

— А, наконец-то! — воскликнул он.— Но какой свирепый вид! Можешь ты меня выслушать?

Мода на него как на репетитора проходила, ибо своих учеников он пичкал теориями, которые могли им помешать на экзаменах. Он два-три раза выступил в суде, проиграл дела, и каждое новое разочарование укрепляло в нем давнюю мечту о газете, где он мог бы показать себя, мстить, извергать свою желчь и свои мысли. Потом уже явятся известность и богатство. В надежде на это он обхаживал Юсоне, имевшего в своем распоряжении газету.

Тот выпускал ее теперь на розовой бумаге, сочинял утки, придумывал ребусы, ввязывался в полемику и даже (несмотря на тесноту помещения) собирался устраивать концерты. Годовая подписка «давала право на место в

партере в одном из главных театров Парижа; кроме того, редакция обязывалась снабжать господ иногородних всеми требуемыми справками из области искусства и прочими». Но типографщик был недоволен, хозяину дома задолжали за девять месяцев, возникли затруднения, и Юсоне дал бы Искусству погибнуть, если бы не заклинания адвоката, который изо дня в день старался поддерживать в нем бодрость. Делорье захватил его с собой, чтобы придать больший вес своему ходатайству.

— Мы пришли по поводу газеты,— сказал он.

— Ну? Ты еще о ней думаешь? — небрежно спросил Фредерик.

— Разумеется, думаю!

Он снова изложил свой план. Печатая биржевые отчеты, они завяжут отношения с финансистами и таким путем получат сто тысяч франков, необходимых для уплаты залога. Но для того, чтобы листок мог превратиться в политическую газету, надо сперва создать себе широкую клиентуру, а ради этого пойти на некоторые расходы, не считая издержек на бумагу, на печатание, на контору; короче — требовалась сумма в пятнадцать тысяч франков.

— У меня нет капиталов,— сказал Фредерик.

— Ну, а у нас? — спросил Делорье, скрестив руки на груди.

Фредерик, обиженный этим жестом, возразил:

— Я-то тут при чем?..

— Великолепно! У них есть дрова в камине, трюфели к обеду, мягкая постель, библиотека, экипаж, все радости жизни! А если другой дрожит от стужи на чердаке, обедает за двадцать су, трудится, как каторжный, погряз в нищете,— они тут ни при чем!

Он повторял: «Они тут ни при чем!» — с цицероновской иронией, отзывавшей судебным красноречием.

Фредерик хотел заговорить.

— Впрочем, я понимаю, есть потребности... аристократического свойства; без сомнения... какая-нибудь женщина...

— Хорошо, пусть так, но разве я не волен?..

— Ты волен делать все, что хочешь! — Помолчав, Делорье добавил: — Обещать легче всего.

— Боже мой! Да я не отказываюсь от своих обещаний! — воскликнул Фредерик.

Адвокат продолжал:

— В школьные годы дают клятвы, собираются учре-

дить фалангу, подражать *Тринадцати* Бальзака! А потом, когда встретятся: «Прощай, старина, ступай своей дорогой!» Кто мог бы оказать другому услугу, тот заботливо приберегает все для себя.

— Что?

— Да ты даже не представил нас Дамбрёзам!

Фредерик посмотрел на него: в старом сюртуке, тусклых очках, страшно бледный, адвокат показался ему столь жалким, что он не мог удержаться от презрительной улыбки. Делорье заметил ее и покраснел.

Он уже взялся за шляпу, собираясь уйти. Встревоженный Юсоне умоляющими взглядами пытался его смягчить и обратился к Фредерику, повернувшемуся к ним спиной:

— Ну, миленький, будьте моим меценатом! Окажите покровительство искусствам!

Фредерик с внезапной покорностью судьбе взял листок бумаги и, нацарапав несколько строчек, подал ему. Лицо Юсоне просияло. Он передал письмо Делорье:

— Просите извинения, сударь!

Их друг заклинал своего нотариуса прислать ему как можно скорее пятнадцать тысяч франков.

— Теперь я тебя узнаю! — воскликнул Делорье.

— Клянусь честью дворянина,— прибавил журналист,— вы молодец, вас поместят в галерею полезных деятелей!

Адвокат добавил:

— Ты не окажешься в накладе, сделка великолепная.

— Еще бы! — воскликнул Юсоне.— Даю голову на отсечение!

Он наговорил столько глупостей и наобещал столько чудес (в которые сам, быть может, и верил), что Фредерик не знал, над ними ли он смеется или над самим собою.

В тот же вечер он получил письмо от матери.

Подтрунивая над ним, она удивлялась, что он еще не министр. Далее она писала о своем здоровье и сообщала, что г-н Рокк теперь стал бывать у нее. «С тех пор как он овдовел, я считаю удобным принимать его. Луиза очень изменилась к лучшему». И в постскриптуме: «Ты ничего не пишешь о твоем влиятельном знакомом, господине Дамбрёзе; на твоем месте я воспользовалась бы его связями».

Отчего же не воспользоваться? Высокие стремления покинули Фредерика, а средства (он это видел) были недостаточны; после уплаты долгов и передачи друзьям условленной суммы его доход уменьшится на четыре ты-

сячи франков, по крайней мере. К тому же он испытывал потребность изменить образ жизни, пристроиться к чему-нибудь. Обедая на другой день у г-жи Арну, он рассказал о настояниях своей матери, требующей, чтобы он избрал какую-нибудь профессию.

— А мне казалось,— заметила г-жа Арну,— что господин Дамбрёз собирается устроить вас в Государственный совет? Это бы вам подошло.

Значит, она этого хочет. Он повиновался.

Как и в первый раз, банкир сидел за письменным столом и жестом попросил Фредерика подождать несколько минут; какой-то человек, повернувшись спиною к двери, разговаривал с ним о важных делах. Речь шла о каменном угле и предстоящем слиянии нескольких компаний.

По бокам зеркала висели два портрета — генерала Фуа и Луи-Филиппа: у стен, обшитых деревом, громоздились до самого потолка полки с папками; в комнате было только шесть соломенных стульев, ибо г-н Дамбрёз не нуждался для своих дел в лучшем помещении; ведь иной раз и в темных кухнях готовятся яства для роскошных пиров. Фредерик обратил особое внимание на два огромных несгораемых шкафа, стоявших по углам. Он спрашивал себя, сколько миллионов могут они вместить. Банкир отпер один из них; железная доска откинулась — внутри лежали только синие папки.

Наконец посетитель прошел мимо Фредерика. Это был старик Удри. Они поклонились друг другу и покраснели, что, видимо, удивило г-на Дамбрёза. Впрочем, он оказался очень мил. Сказал, что для него не составит труда отрекомендовать Фредерика министру, который будет рад принять на службу его молодого друга; в довершение любезности он пригласил Фредерика на вечер, который давал на днях.

Фредерик садился в карету, чтобы ехать на вечер к Дамбрёзам, когда ему принесли записку от Капитанши. При свете фонарей он прочел:

«Дорогой, я последовала вашим советам. Только что выставила старого хрыча. С завтрашнего вечера я свободна! Посмейте сказать, что я не молодец».

Только и всего! Но ведь это приглашение на освободившееся место. Он ахнул, спрятал записку в карман и уехал.

Два конных полицейских дежурили на улице. Над во-

ротами цепью горели плошки, а во дворе лакеи окриками приказывали кучерам подъезжать к крыльцу под навес. В вестибюле шум сразу замолкал.

Пышные растения украшали пролет лестницы; фарфоровые шары лили свет, от которого стены словно переливались белым атласом. Фредерик весело поднимался по лестнице. Слуга доложил о нем; г-н Дамбрёз протянул ему руку; вслед за мужем появилась г-жа Дамбрёз.

На ней было светло-лиловое платье, отделанное кружевами; локоны взбиты пышнее, чем обычно, и ни одной драгоценности.

Она посетовала на Фредерика за то, что он редко бывает у них, сказала ему несколько приветливых слов. Гости все прибывали; приветствуя хозяев, одни склонялись набок, другие складывались пополам, третьи лишь опускали голову; проходила супружеская чета, потом целое семейство, и все размещались в большой переполненной гостиной.

Под самой люстрой стоял огромный круглый диван, из середины которого поднималась жардиньерка; листья свешивались, как перья шляпы, на головы сидевших вокруг дам; другие гости расположились в глубоких креслах, расставленных двумя симметричными рядами, которые прерывались широкими, алого бархата, занавесями на окнах и высокими пролетами дверей с золочеными карнизами.

Толпа мужчин со шляпами в руках производила издали впечатление сплошной черной массы, на фоне которой красными точками мелькали ленточки орденов; благодаря однообразной белизне галстуков она казалась еще темней. За исключением совсем молодых людей с пушком вместо бороды, все, видимо, скучали; какие-то денди угрюмого вида покачивались на каблуках. Было много седых голов и париков; то тут, то там лоснился голый череп; лица, багровые или очень бледные, хранили следы крайней усталости — все эти люди принадлежали либо к политическому, либо к деловому миру. Дамбрёз пригласил также нескольких ученых, кое-кого из судейских, двух-трех известных врачей и скромно отклонял похвалы по поводу этого званого вечера и намеки на его богатство.

Сновали лакеи с широкими золотыми галунами. Высокие канделябры, словно огненные букеты, расцветали на фоне обоев и отражались в зеркалах, а буфет в глубине столовой, украшенной жасминовым трельяжем, был похож

на престол в соборе или на выставку драгоценностей — столько на нем было блюд, стеклянных колпаков, приборов, ложек серебряных и позолоченных, граненого хрусталя, от которого расходились радужные лучи, скрещиваясь над снедью. Три другие гостиные были украшены произведениями искусства, на стенах — пейзажи знаменитых живописцев; на столах — изделия из слоновой кости и фарфор; на консолях — китайские безделушки; перед окнами стояли лакированные ширмочки, на каминах возвышались кусты камелий, легкие звуки музыки доносились издали, как жужжание пчел.

Кадриль танцевали немногие, и можно было подумать, что танцоры выполняют скучную обязанность — так небрежно скользили они в своих бальных туфлях. Фредерик слышал фразы вроде следующих:

— Вы были на последнем благотворительном празднике у Ламберов, мадмуазель?

— Нет!

— Скоро будет невыносимо жарко!

— Да, ужасная духота!

— Кто сочинил эту польку?

— Право, не знаю.

За его спиной, у окна, три молодящихся старичка обменивались шепотом непристойными замечаниями; другие разговаривали о железных дорогах, о свободе торговли; какой-то спортсмен рассказывал про случай на охоте; легитимист спорил с орлеанистом.

Переходя от группы к группе, Фредерик дошел до комнаты, где играли в карты, и увидел там в обществе почтенных людей Мартинона, «причисленного к столичной прокуратуре».

Его толстое восковое лицо обрамляла аккуратная черная бородка, представлявшая собой настоящее чудо — так приглажен был каждый волосок, а сам он, соблюдая золотую середину между изяществом, которого требовал его возраст, и достоинством, налагаемым должностью, то засовывал большой палец под мышку, в подражание щеголям, то закладывал руку за жилет, по примеру доктринеров. Его лакированные башмаки ослепительно блестели, виски он брил, чтобы лоб у него был, как у мыслителя.

Холодно сказав Фредерику несколько слов, он опять повернулся к своим партнерам. Один из них — землевладелец — говорил:

— Люди этого сорта мечтают о ниспровержении общественных основ!

— Они требуют права на обеспеченный труд! — подхватил другой.— Можете себе представить?

— Что же вы хотите? — возразил третий.— Мы видим, как господин де Женуд протягивает руку газете *Век!*

— Даже консерваторы именуют себя прогрессистами! Чтобы привести нас к чему? К республике! Как будто она возможна во Франции!

Все заявили, что республика во Франции невозможна.

— Во всяком случае,— громко заметил какой-то господин,— революцией занимаются слишком много; о ней пишут уйму всякой всячины, множество книг!..

— А ведь есть, пожалуй, более серьезные предметы для изучения! — сказал Мартинон.

Министерский чиновник возмущался безобразиями в театре.

— Вот, например, новая драма *Королева Марго,* право, она переходит всякие границы! К чему говорить о Валуа? Это значит выставлять королевскую власть в невыгодном свете. То же можно сказать и о вашей прессе. Что там ни говорите, а сентябрьские законы чересчур мягки! Я желал бы, чтобы военные суды заткнули глотку журналистам! За малейшую дерзость — военный трибунал! И все!

— Осторожнее, сударь, осторожнее! — сказал профессор.— Не затрагивайте наших драгоценных завоеваний тысячи восемьсот тридцатого года! Будем уважать наши свободы!

По его мнению, следовало скорее произвести децентрализацию, расселить излишек городского населения по деревням.

— Но деревня развращена! — воскликнул католик.— Укрепляйте религию!

Мартинон поспешил вставить свое слово:

— Действительно, религия — узда!

По его мнению, все зло заключалось в том, что люди теперь хотят подняться над своим классом, жить в роскоши.

— Однако,— заметил промышленник,— роскошь благоприятствует торговле. Вот почему я одобряю герцога Немурского, который требует, чтобы на вечера к нему являлись в коротких панталонах.

— А господин Тьер приехал в длинных. Вы слышали его остроту?

— Да, прелестно! Но он становится демагогом, и его речь по вопросу о несовместимости повлияла в известной мере на покушение двенадцатого мая.

— Да что вы!

— Вот как?

Пришлось расступиться, чтобы пропустить лакея, который пробирался с подносом в игорный зал.

На столах там горели свечи под зелеными колпачками, по сукну разбросаны были карты и золотые монеты. Фредерик остановился у одного из столов, проиграл пятнадцать наполеондоров, сделал пируэт и оказался на пороге будуара, где в это время находилась г-жа Дамбрёз.

Будуар был полон дам, сидевших одна подле другой на мягких табуретах. Их длинные юбки вздувались, напоминая волны, из которых подымался стан, а в вырезе корсажей взгляду открывалась грудь. Почти у всех был в руках букетик фиалок. Матовый тон перчаток оттенял белизну рук; с плеч свешивались какие-то травы, бахрома; порой, когда по телу пробегал трепет, казалось, что платье вот-вот спадет. Но вызывающий вид одежды смягчался благопристойным выражением лиц; на некоторых было написано чуть ли не животное спокойствие; это сборище полуобнаженных женщин вызывало мысль о гареме; Фредерику пришло на ум сравнение еще более грубое. Действительно, здесь были все виды красоты: англичанка с профилем, какие встречаются в кипсеках; итальянка с черными глазами, огненными, как Везувий; три сестры в голубом, три нормандки, свежие, как яблони в апреле; высокая рыжеволосая женщина в уборе из аметистов; белые искры бриллиантов, дрожавших на эгретках в волосах, лучистые пятна драгоценных камней на груди, нежный отблеск жемчуга, оттенявшего цвет лица,— все сливалось со сверканием золотых колец, с кружевами, пудрой, перьями, с кораллом губ, перламутром зубов. Куполообразный потолок придавал будуару сходство с корзиной; от колыхания вееров пробегал душистый ветерок.

Фредерик, стоя с моноклем в глазу позади дам, нашел, что не у всех безукоризненные плечи; он думал о Капитанше, и мысль о ней умеряла иные вожделения или утешала его.

Все же он посмотрел на г-жу Дамбрёз и признал ее очаровательной, несмотря на несколько крупный рот и

слишком широкие ноздри. У нее была грация совсем особенная. Даже локоны и те будто были полны какой-то страстной томности, а гладкий, как агат, лоб, казалось, многое таил в себе, выдавая незаурядный характер.

Рядом с собой она посадила племянницу мужа, довольно некрасивую девицу. Время от времени она поднималась навстречу новым гостям; женские голоса, становившиеся все громче, напоминали щебет птиц.

Речь шла о тунисских посланниках и об их костюмах. Одна из дам присутствовала на последнем заседании в Академии; другая заговорила о *Дон Жуане* Мольера, недавно возобновленном во Французском театре. Но г-жа Дамбрёз, глазами указав на племянницу, поднесла палец к губам, а непроизвольная улыбка тут же опровергла эту строгость.

Вдруг на пороге противоположной двери появился Мартинон. Г-жа Дамбрёз встала. Он предложил ей руку. Фредерик, желая посмотреть, как Мартинон будет ухаживать за хозяйкой дома, прошел мимо карточных столов и присоединился к ним в большой гостиной; г-жа Дамбрёз тотчас же оставила своего кавалера и запросто заговорила с Фредериком.

Ей было понятно, почему он не танцует, не играет в карты.

— В молодости мы часто грустим!

Она окинула взглядом танцующих.

— К тому же все это невесело! Для некоторых, по крайней мере!

Проходя вдоль ряда кресел, она иногда останавливалась, говорила что-нибудь приятное, а старики с лорнетами подходили к ней сказать комплимент. Некоторым из них она представила Фредерика. Г-н Дамбрёз тихонько тронул его за локоть и повел на террасу.

Он уже разговаривал с министром. Дело оказалось не так просто. Для назначения аудитором в Государственный совет надо подвергнуться экзамену; Фредерик с непостижимой уверенностью в себе ответил, что предмет ему знаком.

Промышленник не удивился — так много лестного о Фредерике он слышал от г-на Рокка.

При этом имени Фредерик живо представил себе маленькую Луизу, свой дом, свою комнату, и ему вспомнились такие же ночи, которые он проводил, стоя у окна и прислушиваясь к грохоту фургонов. Воспоминания о бы-

лой тоске вызвали мысль о г-же Арну; он молча продолжал ходить по террасе. Окна выделялись в темноте длинными красными прямоугольниками; шум бала уже затихал; экипажи начинали разъезжаться.

— А почему,— спросил г-н Дамбрёз,— вам непременно хочется в Государственный совет?

Изображая из себя либерала, он стал уверять его, что государственная служба ни к чему не ведет, он-то это знает; заниматься делами гораздо лучше. Фредерик возразил, что этому трудно научиться.

— Полноте! Я бы вас быстро со всем ознакомил.

Не хочет ли он привлечь его в свои предприятия?

Молодому человеку, словно при блеске молнии, на миг представилось то огромное богатство, которое к нему придет.

— Вернемтесь в дом,— сказал банкир.— Вы, конечно, останетесь ужинать?

Было три часа. Ряды гостей поредели. Для близких друзей в столовой был накрыт стол.

Господин Дамбрёз увидал Мартинона и, подойдя к жене, шепотом спросил:

— Это вы пригласили его?

Она сухо ответила:

— Да.

Племянницы не было. Пили очень много, смеялись очень громко, и даже рискованные шутки никого не смущали, —ощущалось то облегчение, которое наступает после долгих часов натянутости. Один лишь Мартинон держался серьезно: от шампанского он отказался, считая, что этого требует хороший тон, вообще же был внимателен и крайне вежлив; так как г-н Дамбрёз, человек слабогрудый, жаловался на удушье, Мартинон несколько раз справлялся о его самочувствии; потом переводил свои голубоватые глаза на г-жу Дамбрёз.

Она обратилась к Фредерику с вопросом, кто из девиц ему понравился. Он не заметил ни одной и вообще предпочитал женщин лет тридцати.

— Это, пожалуй, неглупо! — ответила она.

Потом, когда гости уже надевали шубы и пальто, г-н Дамбрёз сказал ему:

— Приезжайте ко мне как-нибудь утром, мы потолкуем!

Мартинов, спустившись с лестницы, закурил сигару;

теперь в профиль он казался столь грузным, что у Фредерика вырвалось замечание:

— Ну и физиономия же у тебя, честное слово!

— А вскружила не одну голову! — ответил молодой судейский тоном самоуверенным и в то же время раздраженным.

Ложась спать, Фредерик подвел итог вечеру. Прежде всего его туалет (он несколько раз смотрелся в зеркало), начиная с покроя фрака и кончая бантами на туфлях, был безукоризнен; он разговаривал с лицами значительными, видел вблизи богатых женщин, г-н Дамбрёз прекрасно отнесся к нему, а г-жа Дамбрёз была почти ласкова. Он взвесил каждое ее слово, все ее взгляды, тысячи мелочей, неопределимых и все же таких красноречивых. Хорошо бы иметь такую любовницу! А почему бы и нет, в конце концов? Он ничем не хуже других! Может быть, она не так уж недоступна? Потом ему вспомнился Мартинон, и, засыпая, он улыбался от жалости к этому молодцу.

Проснулся он с мыслью о Капитанше; ведь слова ее записки «с завтрашнего вечера» означали свидание на сегодня. Он подождал до девяти часов и поспешил к ней.

Кто-то перед ним поднялся по лестнице, дверь затворилась. Он позвонил. Дельфина открыла и стала уверять, что барыни нет дома.

Фредерик настаивал, просил. Ему надо сообщить ей нечто очень важное, всего несколько слов. Наконец удачным доводом оказалась монета в сто су, и служанка оставила его одного в передней.

Показалась Розанетта. Она была в одной сорочке, с распущенными волосами; качая головой, она издали разводила руками — этот выразительный жест означал, что она не может его принять.

Фредерик медленно спустился по лестнице. Этот каприз превосходил все остальное. Он ничего не понимал.

Около швейцарской его остановила мадмуазель Ватназ.

— Она вас не приняла?

— Нет!

— Вас выставили?

— А как вы узнали?

— Это же видно! Идемте! Прочь отсюда! Мне дурно!

Ватназ вышла с ним на улицу. Она задыхалась. Он чувствовал, как дрожит ее тощая рука, которой она опиралась на его руку. И вдруг она разразилась:

— Ах, мерзавец!

— Кто?

— Да это же он! Он! Дельмар!

Фредерика такое открытие оскорбило; он спросил:

— Вы в этом уверены?

— Я же все время шла за ним! — воскликнула Ватназ.— Я видела, как он вошел! Понимаете? Впрочем, этого надо было ожидать; ведь я сама по глупости привела его к ней. Если бы вы только знали, боже мой! Я приютила его, кормила, одевала. А все мои хлопоты в газетах! Я любила его, как мать! — Злобно усмехнувшись, она продолжала: — Этому господину нужны бархатные костюмы! Для него это лишь сделка, можете не сомневаться! А она! Подумать только, что я знала ее белошвейкой! Не будь меня, она барахталась бы в грязи! Но я еще втопчу ее в грязь. Да! Да! Пусть подохнет в больнице! И пусть все узнают!

Словно поток нечистот из помойного ушата, она выплеснула перед Фредериком свою ярость, обнажила весь позор соперницы.

— Она спала с Жюмийяком, с Флакуром, с молодым Аларом, с Бертино, с Сен-Валери — рябым. Нет, с другим! Все равно, они братья! А когда у нее бывали затруднения, я же все улаживала. А был ли мне от этого прок? Нет, она такая скупая! И потом, согласитесь, с моей стороны большая любезность водиться с ней; в конце концов, мы с ней не одного круга! Я ведь не девка! Разве я продаюсь? Я уже не говорю о том, что она глупа как пробка! Слово «категория» пишет через два «т». Впрочем, они друг друга стоят, хоть он величает себя артистом и мнит себя гением! Но, боже мой, будь у него хоть капля разума, он не совершил бы такой гнусности! Покинуть незаурядную женщину ради какой-то шлюхи! В конце концов, мне наплевать. Он дурнеет! Он мне гадок! Если я его встречу, право, плюну ему в лицо.— Она плюнула.— Да, вот как низко я его ставлю теперь. Но Арну-то каково? Не правда ли, ужасно? Он столько раз прощал ей. Каких только жертв он не приносил ради нее! Ей следовало бы целовать ему ноги! Он такой щедрый, такой добрый!

Фредерик с удовольствием слушал, как она честит Дельмара. С Арну он мирился. Вероломство Розанетты казалось ему чем-то противоестественным, несправедливым; возбуждение старой девы передалось и ему, и он даже почувствовал к Арну нечто вроде нежности. И вдруг он очутился у его подъезда: он и не заметил, как мадмуазель Ватназ привела его в предместье Пуассоньер.

— Вот мы и пришли,— сказала она.— Зайти к нему я не могу. Но вам-то ничто не мешает?

— А зачем?

— Чтобы все ему рассказать, черт возьми!

Фредерик, словно внезапно очнувшись, понял, на какую низость его толкают.

— Ну что же вы? — спросила мадмуазель Ватназ.

Он посмотрел на третий этаж. У г-жи Арну горела лампа. Действительно, ничто не мешало ему подняться.

— Я жду вас здесь. Идите же!

Это приказание вконец расхолодило его, и он ответил:

— Я долго там пробуду. Вам бы лучше вернуться домой. Завтра я зайду к вам.

— Нет! Нет! — сказала Ватназ, топая ногой.— Захватите его! Возьмите с собой! Пусть он их накроет!

— Но Дельмара там уже не будет.

Она опустила голову.

— Да, пожалуй, верно.

Она молча стояла на мостовой среди мчавшихся экипажей; потом уставилась на него глазами дикой кошки.

— Я могу на вас рассчитывать, правда? Теперь мы сообщники, это свято! Ну так действуйте! До завтра!

Фредерик, проходя по коридору, услыхал два голоса — они спорили. Голос г-жи Арну говорил:

— Не лги! Да не лги же!

Он вошел. Они замолчали.

Арну расхаживал взад и вперед по комнате, а жена его сидела на низеньком стуле у камина, очень бледная, с остановившимся взглядом. Фредерик повернулся было к двери. Арну схватил его за руку, довольный, что явилась помощь.

— Я, кажется...— начал Фредерик.

— Останьтесь! — шепнул ему на ухо Арну.

Госпожа Арну сказала:

— Надо быть снисходительным, господин Моро! В семейной жизни такие сцены случаются.

— То есть их устраивают,— игриво сказал Арну.— И бывают же у женщин причуды! Вот, например, она, женщина совсем неплохая. Напротив! И что же, целый час докучает мне всякими выдумками!

— Это не выдумки, а правда! — раздраженно ответила г-жа Арну.— Ведь как-никак ты ее купил.

— Я?

— Да, ты! В «Персидском магазине»!

«Кашемировая шаль!» — решил Фредерик.

Он почувствовал себя виноватым, даже испугался.

Она тут же добавила:

— Это было в прошлом месяце, в субботу, четырнадцатого.

— А! В этот день я как раз был в Крейле! Итак, ты видишь...

— Вовсе нет! Ведь четырнадцатого мы обедали у Бертенов.

— Четырнадцатого?..— Арну поднял глаза к потолку, как бы вспоминая число.

— И продал ее белокурый приказчик!

— Разве я могу помнить приказчика?

— Но ты дал ему адрес: улица Лаваль, восемнадцать.

— Как ты узнала? — спросил изумленный Арну.

Она пожала плечами.

— Все очень просто: я зашла починить свою шаль, и старший приказчик сказал мне, что совершенно такую же они отправили в тот день госпоже Арну.

— Моя ли вина, что на той же улице живет какая-то госпожа Арну?

— Да, но не жена Жака Арну,— ответила она.

Тут он стал путаться, уверяя, что не виноват. Это ошибка, случайность, одна из тех необъяснимых странностей, какие иногда встречаются. Не следует осуждать людей по одному только подозрению, на основании шатких доказательств, и в качестве примера он привел несчастного Лезюрка.

— Словом, я утверждаю, что ты ошибаешься! Хочешь, я поклянусь тебе?

— Не стоит труда!

— Почему?

Она молча взглянула ему прямо в лицо, потом протянула руку, взяла с камина серебряный ларец и подала ему развернутый счет.

Арну покраснел до самых ушей, его растерянное лицо словно опухло.

— Ну?

— Так что же,— медленно проговорил он в ответ,— что же это доказывает?

— Вот как! — сказала она с особой интонацией, в которой слышались и боль и ирония.— Вот как!

Арну держал счет в руках и вертел его, не отрывая от

него глаз, как будто должен был найти там решение важного вопроса.

— Да, да, припоминаю,— сказал он наконец.— Это было поручение. Вам это должно быть известно, Фредерик.

Фредерик молчал.

— Поручение, которое меня просил выполнить... просил... да, старик Удри.

— А для кого?

— Для его любовницы!

— Для вашей! — воскликнула г-жа Арну, выпрямившись во весь рост.

— Клянусь тебе...

— Перестаньте! Я все знаю!

— А-а! Превосходно! Значит, за мной шпионят!

Она холодно ответила:

— Это, может быть, оскорбляет вас при вашей щепетильности?

— Когда люди выходят из себя,— начал Арну, ища шляпу,— вразумить их невозможно...— Он глубоко вздохнул.— Не женитесь, любезный друг, поверьте мне!

И поспешил выйти, ощутив потребность подышать свежим воздухом.

Наступило глубокое молчание; в комнате все как будто застыло. На потолке белел светлый круг от лампы, по углам, как полосы черного флера, ложились тени; слышно было тиканье часов, да в камине потрескивал огонь.

Госпожа Арну снова опустилась в кресло, теперь по другую сторону камина; она кусала губы, ее трясло; она подняла руки, всхлипнула, расплакалась.

Фредерик сел на низенький стул и ласковым голосом, каким разговаривают с больными, сказал:

— Не сомневайтесь, что я разделяю...

Госпожа Арну ничего не ответила.

— Я же не стесняю его! Ему незачем было лгать,— продолжая вслух свои размышления, сказала она.

— Разумеется,— подхватил Фредерик.— Наверно, всему виной его привычки, он просто не подумал и, может быть, в делах более важных...

— Что же, по-вашему, может быть более важного?

— Конечно, ничего!

Фредерик склонил голову с покорной улыбкой.

— У Арну все же есть некоторые достоинства, он любит своих детей.

— И делает все, чтобы их разорить!

— Причиной тому его нрав, слишком общительный; ведь в сущности он же добрый малый.

Она воскликнула:

— А что это значит — добрый малый?

Фредерик защищал Арну в выражениях самых неопределенных, какие только мог найти, и, хотя и сочувствовал ей, в глубине души радовался, блаженствовал. Из мести или из потребности в любви она теперь устремится к нему. Надежды, непомерно возрастая, укрепляли его любовь.

Еще никогда не казалась она ему такой пленительной, такой прекрасной. Временами грудь ее поднималась, ее неподвижные расширенные глаза как будто были прикованы к видению, возникшему перед ее духовным взором, а губы оставались полуоткрыты словно для того, чтобы дать душе вырваться из тела. Порою она крепко прижимала к ним носовой платок. Фредерику хотелось быть этим кусочком батиста, насквозь пропитанным слезами. Он невольно смотрел на постель в глубине алькова, рисуя в своем воображении ее голову, лежащую на подушках, и это видение было так отчетливо, что Фредерик должен был сдержаться, иначе он сжал бы ее в объятиях. Г-жа Арну закрыла глаза, притихшая, обессиленная. Он подошел к ней ближе и, наклонившись, стал жадно вглядываться в ее лицо. В коридоре раздались шаги — это вернулся муж. Они услышали, как он затворил дверь в свою спальню. Фредерик знаком спросил, не должен ли он пойти туда.

Она тоже знаком ответила ему: «Да»,— и этот немой обмен мыслями был словно соглашением, началом любовной связи.

Арну собирался ложиться спать и уже снимал сюртук.

— Ну, как она?

— Лучше! — сказал Фредерик.— Это пройдет!

Но Арну был огорчен.

— Вы ее не знаете! Она стала такая нервная!.. Дурак приказчик! Вот что значит быть слишком добрым! Если бы я не подарил Розанетте эту проклятую шаль...

— Не жалейте! Она вам как нельзя более благодарна!

— Вы думаете?

Фредерик в этом не сомневался. Доказательство — она дала отставку старику Удри.

— Милая крошка!

В приливе умиления Арну хотел бежать к ней.

— Да не надо! Я только что от нее! Она больна!

— Тем более.

Он поспешно надел сюртук и взял подсвечник. Фредерик проклинал себя за эту глупость и стал втолковывать Арну, что нынешний вечер он из приличия должен остаться дома с женой. Нельзя бросать ее одну, это было бы очень дурно.

— Говорю вам откровенно — вы не правы! Дело там вовсе не к спеху! Сходите завтра! Ну сделайте это для меня!

Арну поставил подсвечник и сказал:

— Вы добрый человек!

III

С той поры для Фредерика началось жалкое существование. Он сделался приживальщиком в этом доме.

Если кто-нибудь в семье заболевал, он по три раза в день заходил справляться о здоровье; он ездил за настройщиком, измышлял тысячи поводов, чтоб услужить, и с довольным видом терпел капризы мадмуазель Марты и ласки маленького Эжена, который всякий раз гладил его грязными руками по лицу. Он присутствовал на обедах, во время которых муж и жена, сидя друг против друга, не обменивались ни единым словом, или Арну отпускал колкие замечания, раздражавшие ее. После обеда Арну возился с мальчиком в спальне, играл с ним в прятки или носил на спине, становясь на четвереньки, как Беарнец. Стоило мужу уйти — и она заводила разговор на тему, служившую вечным источником жалоб: Арну.

Ее возмущало беспутство мужа, но, видимо, страдала и ее гордость, и г-жа Арну не скрывала отвращения к этому человеку, у которого не было ни чуткости, ни достоинства, ни чести...

— Или он просто сумасшедший! — говорила она.

Фредерик искусно вызывал ее на признания. Вскоре он узнал всю ее жизнь.

Ее родители, мелкие буржуа, жили в Шартре. Однажды Арну, рисуя на берегу реки (в те времена он мнил себя художником), увидел ее, когда она выходила из церкви, и вскоре сделал предложение; он был богат, и ее ро-

дители, не колеблясь, дали согласие. К тому же он без памяти любил ее. Она прибавила:

— Боже мой, он и теперь еще любит меня — по-своему!

Первые месяцы после свадьбы они путешествовали по Италии.

Арну, несмотря на свое восхищение ландшафтами и памятниками искусства, только и делал, что жаловался на плохое вино да затевал пикники с англичанами, чтобы развлечься. Удачно перепродав несколько картин, он решил заняться торговлей художественными предметами. Потом увлекся производством фаянса. Теперь его соблазняют другие спекуляции, и, становясь все пошлее и пошлее, он приобретает грубые и разорительные привычки. Она ставила ему в вину не столько его пороки, сколько все его поведение. Никакой перемены ожидать нельзя, и горе ее непоправимо.

Фредерик утверждал, что и его жизнь не удалась.

Но ведь он так молод. Зачем отчаиваться? Она давала ему добрые советы: «Работайте! Женитесь!» Он отвечал горькой усмешкой; вместо того чтобы назвать истинную причину своей печали, он прикидывался, будто у него есть причина иная, более возвышенная, разыгрывал Антони, несущего печать проклятия. Впрочем, он не вполне извращал и свою мысль.

Для иных людей действие тем недоступнее, чем сильнее охватившее их желание.

Их гнетет недоверие к самим себе, мучит опасение не понравиться; к тому же глубокие чувства похожи на порядочных женщин: они страшатся, что их разгадают, и проходят по жизни с опущенными глазами.

Ближе узнав г-жу Арну (или, может быть, именно поэтому), он стал еще более робок. Каждое утро он давал себе клятву действовать смелее. Но его удерживала непобедимая стыдливость, а руководствоваться чьим-либо примером он не мог, ибо это была женщина совсем особенная. Силой своей мечты он вознес ее над прочими людьми. Подле нее он чувствовал себя в этом мире более ничтожным, чем шелковинки, падавшие под ее ножницами.

Иногда он думал о вещах чудовищных, нелепых — вроде внезапного нападения ночью, с наркотическими снадобьями и подобранными ключами; все казалось ему легче, чем выслушать ее презрительный отказ.

К тому же дети, две служанки, расположение комнат

были непреодолимыми препятствиями. Он решил, что будет обладать ею один и что они уедут очень далеко, поселятся вдвоем в уединении; он даже раздумывал, в каком озере достаточно синяя вода, на каком пляже достаточно мелкий песок, и будет ли это в Испании, Швейцарии или на Востоке, и как раз в такие дни, когда она казалась особенно раздраженной, он говорил, что надо покончить с этим, найти какое-нибудь средство, и что он не видит иного выхода, кроме развода. Но из любви к детям она никогда не согласилась бы на подобную крайность. Такая добродетель еще усиливала его уважение к ней.

Время он проводил, вспоминая вчерашнее посещение и мечтая о том, что он увидит ее сегодня вечером. Если он не обедал у них, то часов около десяти приходил на угол их улицы, и, едва только Арну захлопывал парадную дверь, Фредерик живо подымался на третий этаж и как ни в чем не бывало спрашивал у служанки:

— Дома господин Арну?

И притворялся удивленным, что не застал его.

Часто Арну неожиданно возвращался домой. Тогда приходилось сопровождать его в маленькое кафе на улице Святой Анны, где бывал теперь Режембар.

Гражданин первым делом высказывал свое недовольство правительством. Потом завязывался разговор, причем они в дружеском тоне говорили друг другу колкости, ибо фабрикант считал Режембара выдающимся мыслителем и, огорченный тем, что такие способности пропадают даром, подшучивал над его леностью. Гражданин видел в Арну человека великодушного и одаренного воображением, но, несомненно, безнравственного; вот почему он обращался с ним без малейшего снисхождения и даже отказывался обедать у него: его раздражали «все эти церемонии».

Иногда при прощании оказывалось, что Арну проголодался. У него являлась «потребность» съесть яичницу или печеных яблок, а так как в заведении этого обычно не было, он посылал за снедью. Надо было ждать. Режембар не уходил и в конце концов, ворча, соглашался чего-нибудь отведать.

Тем не менее он был мрачен, часами просиживал за стаканом вина, опорожненным лишь наполовину. Провидение управляло миром несогласно с его мыслями, он превращался в ипохондрика, даже бросил читать газеты, и стоило лишь произнести слово «Англия», как он начинал

кричать. Однажды, когда официант ему не угодил, он воскликнул:

— Как будто мало нам оскорблений со стороны иностранных держав!

Впрочем, если не считать подобных вспышек, он бывал молчалив и обдумывал «удар без промаха — такой, чтобы с треском взлетела на воздух вся лавочка».

Пока он предавался размышлениям, Арну, с глазами, уже несколько осоловевшими, монотонно рассказывал невероятные истории, в которых он всегда блистал благодаря своей находчивости; Фредерик (должно быть, это зависело от какого-то тайного сходства между ними) чувствовал своего рода симпатию к нему. Он ставил себе в вину эту слабость,— он считал, что должен был бы его ненавидеть.

Арну горько жаловался ему на дурное настроение жены, на ее упрямство, предвзятость. Прежде она была не такая.

— На вашем месте,— говорил Фредерик,— я бы назначил ей содержание и поселился бы один.

Арну ничего не отвечал, а минуту спустя начинал ее расхваливать. Она добрая, преданная, умная, добродетельная; переходя к ее телесным совершенствам, он не скупился на подробности с легкомыслием человека, который раскладывает свои сокровища у всех на виду где-нибудь в гостинице.

Вскоре внезапная катастрофа вывела его из равновесия.

Он вошел в компанию по добыче каолина и стал членом ревизионного совета. Но, веря всему, что ему говорили, он подписывал неправильные отчеты и одобрил, не проверив, годовую ведомость, мошеннически составленную управляющим. Компания прогорела, и Арну, который нес солидарную ответственность, был вместе с прочими приговорен судом к возмещению убытков, что означало для него потерю около тринадцати тысяч франков, и положение еще осложнялось мотивировкой приговора.

Фредерик узнал об этом из газеты и стремглав бросился на улицу Паради.

Его приняли в комнате г-жи Арну. Было время завтрака. Большие чашки кофе с молоком стояли на столике у камина. На ковре валялись ночные туфли, на креслах — одежда. У Арну, сидевшего в кальсонах и в вязаной фуфайке, глаза были красные, волосы всклокоченные; ма-

ленький Эжен, болевший свинкой, жевал хлеб с маслом и плакал, сестра его ела спокойно, а г-жа Арну, более бледная, чем обычно, прислуживала всем троим.

— Ну вот! — с глубоким вздохом сказал Арну.— Вы уже знаете!

Фредерик сделал жест, выражавший сочувствие.

— Вот так-то! Я стал жертвой своей доверчивости!

Арну замолчал, он был подавлен настолько, что даже отказался от завтрака. Г-жа Арну подняла глаза к небу и пожала плечами. Он провел руками по лбу.

— В конце концов, я не виноват. Мне себя не в чем упрекнуть. Это просто несчастье! Как-нибудь выпутаемся! Что поделаешь!

Он отломил кусок сдобной булки, повинуясь, впрочем, уговорам жены.

Вечером ему захотелось отобедать с ней вдвоем в «Золотом доме», в отдельном кабинете. Г-же Арну остался непонятен его сердечный порыв, и она даже обиделась, что к ней отнеслись, как к лоретке; между тем со стороны Арну это было, напротив, проявлением любви. Потом ему стало скучно, и он поехал к Капитанше — развлечься.

До сих пор многое сходило ему с рук благодаря его добродушному нраву. Судебный процесс поставил его в число людей с сомнительной репутацией. Теперь вокруг его дома образовалась пустота.

Фредерик считал долгом чести бывать у них чаще, чем прежде. Он абонировал ложу бенуара в Итальянской опере и каждую неделю приглашал их с собой. Но они переживали тот период семейного разлада, когда после всех взаимных уступок возникает непреодолимое отвращение друг к другу, делающее невыносимой дальнейшую жизнь. Г-жа Арну сдерживалась, стараясь не терять самообладания. Арну хмурился; вид этих двух несчастных людей печалил Фредерика.

Она поручила ему — ведь он пользовался ее доверием — справляться о положении их дел. Ему было стыдно обедать у Арну и в то же время добиваться благосклонности его жены. И все-таки он продолжал эту жизнь, находя оправдание в том, что должен защищать *ее* и что может представиться случай быть *ей* полезным.

Через неделю после бала Фредерик посетил г-на Дамбрёза. Финансист предложил ему двадцать акций в своем каменноугольном предприятии; Фредерик не повторил визита. Делорье посылал ему письма—он на них не отвечал.

Пелерен приглашал его зайти взглянуть на портрет; он всякий раз вежливо отговаривался. Однако уступил настойчивым просьбам Сизи и познакомил его с Розанеттой.

Фредерика она встретила очень мило, но не бросилась на шею, как прежде. Приятель его был счастлив попасть к развратной женщине, а главное, побеседовать с актером: тут оказался и Дельмар.

Драма, в которой Дельмар играл простолюдина, отчитывающего Людовика XIV и предрекающего 1789 год, так выдвинула актера, что для него постоянно сочиняли такие же роли, и назначение его теперь состояло в том, чтобы осмеивать монархов всех стран. В роли английского пивовара он поносил Карла I, в роли студента из Саламанки проклинал Филиппа II или же, играя чувствительного отца, негодовал на маркизу Помпадур, что у него получалось лучше всего. Мальчишки, чтобы увидеть актера, ждали его у подъезда театра; в антрактах продавали его биографию, в которой описывалось, как он заботится о своей престарелой матери, как читает Евангелие, помогает бедным, короче говоря, он превращался в подобие святого Венсана де Поля с примесью Брута и Мирабо. Люди говорили: «Наш Дельмар». Он был носителем некой миссии, из него делали Христа.

Все это обворожило Розанетту, и она с легким сердцем отделалась от старика Удри. Она не отличалась корыстолюбием.

Арну, зная Розанетту, долгое время пользовался этим свойством ее характера и мало тратил на нее; потом появился Удри, и все трое старались избегать откровенных объяснений. Теперь, вообразив, что она ради него выставила старика, Арну увеличил ей содержание. Но молодая женщина все чаще просила денег, и это было тем более непонятно, что она вела образ жизни менее расточительный, чем прежде; продала даже кашемировую шаль, чтобы расплатиться со старыми долгами, как она объясняла, а он все давал и давал; она околдовала его, злоупотребляла им без всякой жалости. Счета, уведомления так и сыпались. Фредерик предчувствовал близкую развязку.

Как-то раз он зашел к г-же Арну. Ее не было дома. Г-н Арну, как ему сказали, был занят внизу, в магазине.

И в самом деле: Арну, стоя среди своих расписных ваз, старался втереть очки каким-то молодоженам, мещанской чете из провинции. Он толковал о токарной работе и гончарном деле, о наводе вразброс и о глазури, а посетители,

не желая показать, что они ничего не понимают, одобрительно кивали головой и покупали.

Когда они ушли, Арну рассказал, что утром у него с женой вышла ссора. Чтобы избежать ее замечаний по поводу расходов, он стал уверять, будто Капитанша уже не его любовница.

— Я даже сказал, что вы с ней живете.

Фредерик был возмущен, но упреки могли выдать его; он пробормотал:

— Как это нехорошо, как нехорошо!

— Что за беда? — сказал Арну.— Разве позор считаться ее любовником? Ведь я же не стыжусь. А разве вам это не было бы лестно?

Не сказала ли чего-нибудь Розанетта? Не был ли то намек? Фредерик поспешил ответить:

— Нет! Ничуть! Напротив!

— Ну так что же?

— Да, пожалуй, ничего!

Арну продолжал:

— Почему вы там больше не бываете?

Фредерик обещал возобновить посещения.

— Да, я и забыл! Вам бы следовало... в разговоре... сказать моей жене что-нибудь такое... не знаю что, но вы придумаете... пусть убедится, что вы любовник Розанетты. Окажите мне эту услугу. Ну как?

Молодой человек вместо ответа сделал двусмысленную гримасу. Эта клевета могла его погубить. Он в тот же вечер пошел к г-же Арну и поклялся, что утверждения Арну — ложь.

— В самом деле?

Казалось, он был искренен, и она, глубоко вздохнув, с чудесной улыбкой проговорила:

— Я вам верю.— Потом опустила голову и, не глядя на него, добавила: — Впрочем, на вас никто не имеет прав!

Значит, она ни о чем не догадывается, а может быть, презирает его, считая, что он не может любить ее настолько, чтобы хранить ей верность! Фредерик, забыв о своих попытках у Розанетты, почувствовал себя оскорбленным этой снисходительностью.

Затем она попросила его бывать иногда «у этой женщины», чтобы видеть, что там происходит.

Пришел Арну и пять минут спустя стал звать его к Розанетте.

Положение становилось нестерпимым.

Фредерика отвлекло письмо нотариуса, который должен был прислать ему на следующий день пятнадцать тысяч франков, и, чтобы загладить свою невнимательность к Делорье, он тотчас же решил сообщить эту приятную новость другу.

Адвокат жил на улице Трех Марий на шестом этаже, в квартире окнами во двор. В его кабинете, небольшой холодной комнате с сероватыми обоями и полом, выложенным плитками, главным украшением была золотая медаль, полученная за диссертацию на степень доктора, и висела она в черной деревянной раме рядом с зеркалом. В книжном шкафу красного дерева стояло за стеклом около сотни томов. Письменный стол, обитый сафьяном, занимал середину комнаты. По углам стояли четыре старых кресла, крытых зеленым бархатом; в камине горели щепки, но тут же лежала наготове вязанка дров, которые можно было подбросить в огонь, как только позвонят. Это были как раз его приемные часы; адвокат повязал белый галстук.

Известие о пятнадцати тысячах франков (должно быть, он на них уже не рассчитывал) обрадовало его, и он повторял, посмеиваясь:

— Это хорошо, старина, хорошо, очень хорошо!

Он подбросил дров в огонь, снова сел и тотчас же заговорил о газете. Первым делом следовало избавиться от Юсоне.

— Я устал от этого кретина! Что же касается направления, то, по-моему, всего вернее, всего остроумнее не иметь никакого!

Фредерика это удивило.

— Ну да, разумеется! Пора смотреть на политику с научной точки зрения. Старики восемнадцатого века положили начало такой политике, но Руссо и другие писатели ввели в нее филантропию, поэзию и прочие глупости, к вящему удовольствию католиков; впрочем, такой союз естествен, ибо новейшие реформаторы (я могу это доказать) все верят в Откровение. Но если вы служите мессы о спасении Польши, если бога доминиканцев, который был палачом, вы заменяете богом романтиков, а он всего-навсего обойщик, если, наконец, об Абсолюте у вас понятие не более широкое, чем у ваших предков, то сквозь ваши республиканские формы пробьется монархизм, и ваш красный колпак навсегда останется лишь поповской

скуфьей! Только вместо пыток будет одиночное заключение, вместо святотатства — оскорбление религии, вместо Священного союза — европейское согласие. И при этом чудесном строе, вызывающем всеобщее восхищение, созданном из обломков времен Людовика Четырнадцатого, из вольтерьянских развалин со следами императорской штукатурки и из обрывков английской конституции, мы увидим, как муниципальные советы постараются досадить мэру, генеральные советы — своему префекту, палаты — королю, печать — власти, администрация — всем вместе! Но добрые души в восторге от Гражданского кодекса, состряпанного, что бы там ни говорили, в духе мещанском и тираническом, ибо законодатель, вместо того чтобы делать свое дело, то есть вносить порядок в обычаи, вознамерился переделать общество на свой лад, точно какой-нибудь Ликург! Почему закон стесняет главу семьи в вопросах завещания? Почему он препятствует принудительному отчуждению недвижимости? Почему он наказует бродяжничество, как преступление, хотя оно, в сущности, даже не является нарушением закона. А ведь это еще не все! Уж я-то знаю! Я хочу написать романчик под заглавием *История идеи правосудия* — презабавная будет штука! Но мне отчаянно хочется пить! А тебе?

Он высунулся в окно и крикнул привратнику, чтобы тот сходил в кабачок за грогом.

— В общем, по-моему, существуют три партии... Нет! Три группы — впрочем, ни одна из них меня не интересует,— а именно: те, которые имеют, те, которые лишились, и те, которые хотят иметь. Но все единодушны в дурацком поклонении Власти! Примеры: Мабли советует запретить философам обнародование их учения, господин Вронский, математик, называет на своем языке цензуру «критическим пресечением умозрительной непосредственности»; отец Анфантен благословляет Габсбургов за то, что они «протянули через Альпы свою тяжелую длань, дабы обуздать Италию»; Пьер Леру желает, чтобы вас силой заставляли слушать оратора, а Луи Блан склоняется к государственной религии — до того все эти вассалы одержимы страстью управлять! Меж тем они все далеки от законности, несмотря на их вековечные принципы. А поскольку принцип означает первопричину, надо всегда обращаться мыслью к революции, к акту насилия, к чему-то переходному. Так, наш принцип — это народный суверенитет, выраженный в парламентских формах, хотя парла-

мент этого и не признает. Но почему народный суверенитет священнее божественного права? И то и другое — фикция! Довольно метафизики, довольно призраков! Чтобы мести улицы, не требуется догм! Мне скажут, что я разрушаю общество! Ну и что же? В чем тут беда? Нечего сказать, хорошо оно, это общество!

Фредерик мог бы многое ему возразить, но, видя, что Делорье далек от теорий Сенекаля, он был полон снисхождения к нему. Он удовольствовался замечанием, что подобная система вызовет к ним всеобщую ненависть.

— Напротив! Каждую партию мы уверим в своей ненависти к ее соседу, и все будут рассчитывать на нас. Ты тоже примешь участие в газете и займешься высокой критикой!

Нужно восстать против общепринятых взглядов, против Академии, Эколь Нормаль, Консерватории, Французской комедии, против всего, что напоминает какое-то установление. Таким путем они придадут своему *Обозрению* характер целостной доктрины. Потом, когда газета займет вполне прочное положение, она станет выходить ежедневно; тут они примутся за личности.

— И нас будут уважать, можешь не сомневаться!

Исполнялась давняя мечта Делорье — стать во главе редакции, то есть иметь невыразимое счастье руководить другими, переделывать статьи, заказывать их, отвергать. Его глаза сверкали из-под очков, он приходил в возбуждение и машинально пил стаканчик за стаканчиком.

— Тебе надо будет раз в неделю давать обед. Это необходимо, пусть даже половина твоих доходов уйдет на это! Все захотят попасть к тебе, для всех это окажется средоточием, для тебя — рычагом, и вот — ты увидишь,— направляя общественное мнение с двух концов, занимаясь и политикой и литературой, мы через какие-нибудь полгода займем в Париже видное место.

Фредерик, слушая его, чувствовал, как молодеет, подобно человеку, который после долгого пребывания в комнате выходит на свежий воздух. Воодушевление товарища передалось и ему.

— Да, я был лентяем, дураком, ты прав!

— В добрый час! — воскликнул Делорье.— Узнаю моего Фредерика.— Подставив ему кулак под подбородок, он прибавил: — И мучил же ты меня! Ну ничего! Я все-таки тебя люблю.

Они стояли и смотрели друг на друга, растроганные, готовые обняться.

На пороге передней показалась женская шляпка.

— Как это тебя занесло сюда? — спросил Делорье.

То была мадмуазель Клеманс, его любовница.

Она ответила, что, случайно проходя мимо, не могла устоять против желания увидеться с ним, а чтобы вместе закусить, она принесла сладких пирожков; она положила их на стол.

— Осторожнее, тут у меня бумаги! — раздраженно проговорил адвокат.— Кроме того, я уже в третий раз запрещаю тебе приходить ко мне в приемные часы.

Она хотела его поцеловать.

— Ладно! Убирайся! Скатертью дорога!

Он оттолкнул ее; она громко всхлипнула.

— Ну вот, начинается!

— Да ведь я люблю тебя!

— Я требую не любви, а внимания к себе!

Эти жестокие слова остановили слезы Клеманс. Она стала у окна и, прижавшись лбом к стеклу, застонала.

Ее поза и молчание сердили Делорье.

— Когда кончишь, прикажи подать себе карету! Слышишь?

Она живо обернулась к нему.

— Ты меня гонишь?

— Гоню!

Она, должно быть, в знак последней мольбы, подняла на него большие голубые глаза, потом повязала крест-накрест шотландский платок, подождала еще минуту и ушла.

— Ты бы ее вернул,— сказал Фредерик.

— Еще чего!

Делорье надо было уходить, и он прошел в кухню, служившую ему и туалетной комнатой. На плите рядом с парой сапог видны были остатки скудного завтрака, а на полу в углу валялся свернутый вместе с одеялом матрац.

— Вот тебе доказательство,— промолвил он,— что я редко принимаю у себя маркиз! Право, без них легко обойтись, да и без других тоже. Женщины, которые нам ничего не стоят, отнимают время, а это те же деньги, только в другой форме; я ведь не богат! И потом, они все так глупы! Так глупы! Неужели ты можешь разговаривать с женщиной?

Расстались они у Нового моста.

— Итак, решено? Ты принесешь мне деньги завтра, как только получишь?

— Решено! — сказал Фредерик.

На следующее утро, проснувшись, он получил по почте банковый чек на пятнадцать тысяч франков.

Этот клочок бумаги представился ему в виде пятнадцати больших мешков с деньгами, и Фредерик подумал, что, располагая такой крупной суммой, он мог бы прежде всего сохранить еще на три года свой выезд, вместо того чтобы его продавать, как это поневоле придется сделать в ближайшее время, или же приобрести два прекрасных набора оружия с узорчатыми насечками, которые он видел на набережной Вольтера, и множество всякой всячины — картины, книги, а сколько букетов, сколько подарков для г-жи Арну! Короче говоря, все было бы лучше, чем рисковать, чем выбрасывать столько денег на газету! Делорье казался ему самонадеянным; бесчувственность, проявленная им вчера, охладила Фредерика, и он уже предавался сожалениям, как вдруг, совсем для него неожиданно, вошел Арну и тяжело, словно чем-то подавленный, опустился на край постели.

— Что случилось?

— Я погиб!

Он в тот же день должен был внести в контору Бомине, нотариуса на улице Святой Анны, восемнадцать тысяч франков, занятых у некоего Ванеруа.

— Непостижимое несчастье! Я же дал ему обеспечение, которое как-никак должно было его успокоить! Но он угрожает судом, если не получит денег нынче, в течение дня!

— А что тогда?

— Что? Очень просто! Он наложит арест на мою недвижимость. Первое же объявление меня разорит, только и всего. Вот если бы найти человека, который дал бы мне взаймы эту проклятую сумму,— он заменил бы Ванеруа, и я был бы спасен! У вас случайно нет этих денег?

Чек лежал на ночном столике, рядом с книгой. Фредерик взял книгу и, положив ее на чек, ответил:

— Честное слово, нет, дорогой друг!

Но ему трудно было отказать Арну.

— Неужели вы никого не можете найти, кто бы согласился?

— Никого! И подумать только, что через неделю я но-

лучу деньги! К концу месяца мне должны отдать... пятьдесят тысяч франков!

— Не могли бы вы попросить людей, которые вам должны, заплатить раньше срока?

— Какое там!

— Но у вас же есть ценности, векселя?

— Ничего!

— Что же делать? — спросил Фредерик.

— Вот этот вопрос я и задаю себе,— ответил Арну.

Он замолчал и стал шагать взад и вперед по комнате.

— Ведь это не для меня, боже мой, а для моих детей, для бедной моей жены! — Потом, отчеканивая каждое слово, добавил: — В конце концов... я буду мужествен... уложу пожитки... и поеду искать счастья... куда—не знаю!

— Это невозможно! — воскликнул Фредерик.

Арну спокойно возразил:

— Как же мне теперь оставаться в Париже?

Наступило длительное молчание.

Фредерик заговорил:

— Когда вы могли бы отдать эти деньги?

Это не значит, что они у него есть, напротив! Но ничто не мешает ему повидаться с некоторыми друзьями, предпринять кое-какие шаги. Он позвонил слуге, собираясь одеваться. Арну принялся благодарить его.

— Вам нужны восемнадцать тысяч, не правда ли?

— О! Мне было бы достаточно и шестнадцати! Две с половиной — три тысячи я получу за столовое серебро, если только Ванеруа согласится подождать до завтра. Повторяю: вы можете поклясться кредитору, что через неделю, даже, может быть, дней через пять-шесть деньги будут возвращены. Кроме того, под них дается обеспечение. Итак, никакого риска, понимаете?

Фредерик уверил его, что понимает и сейчас же отправится к друзьям.

Он остался дома, проклиная Делорье, так как ему хотелось сдержать слово и в то же время помочь Арну.

«Что, если я обращусь к Дамбрёзу? Но под каким предлогом просить денег? Ведь это мне, наоборот, следует платить ему за каменноугольные акции! Да ну его с этими акциями! Я не обязан их брать».

Фредерик пришел в восторг от своей независимости, словно он отказал Дамбрёзу в услуге.

«Впрочем,— подумал он затем,— я много теряю на этом деле, ведь я мог бы на пятнадцать тысяч выиграть

сто! На бирже это случается... Так вот, если я не сделал одолжения Дамбрёзу, в моей воле не сдержать и обещания... К тому же Делорье может и подождать! Нет, нет, это нехорошо, пойду к нему!»

Он посмотрел на часы.

«Это не к спеху! Банк закрывается в пять часов».

В половине пятого, получив деньги, он решил: «Теперь уже не стоит! Я не застану его: схожу вечером!» — и дал себе, таким образом, возможность отказаться от своего намерения, ибо в сознании всегда хранятся следы проникших в него софизмов, от которых остается привкус, словно от скверного вина.

Он прогулялся по бульварам и пообедал один в ресторане. Потом, чтобы рассеяться, прослушал акт какой-то пьесы. Но банковые билеты беспокоили его, точно он их украл. Его не огорчило бы, если бы он потерял деньги.

Вернувшись домой, он нашел письмо, в котором содержались следующие строки:

«Что нового?

Жена присоединяется к моей просьбе, дорогой друг, в надежде... и т. д.

Ваш...»

И росчерк.

«Его жена! Она меня просит!»

В тот же миг появился Арну, чтобы узнать, не достал ли он требуемую сумму.

— Возьмите, вот она! — сказал Фредерик.

А через сутки сообщил Делорье:

— Я ничего не получил.

Адвокат приходил к нему три дня сряду. Он настаивал, чтобы Фредерик написал нотариусу. Он даже предложил съездить в Гавр.

— Нет! Это лишнее! Я сам поеду!

Через неделю Фредерик робко попросил у Арну свои пятнадцать тысяч.

Арну отложил платеж на завтра, потом на послезавтра.

Фредерик выходил теперь из дому лишь поздней ночью, боясь, что Делорье застигнет его где-нибудь врасплох.

Однажды вечером на углу у церкви святой Магдалины он столкнулся с прохожим. То был Делорье.

— Иду за деньгами,— сказал Фредерик.

Делорье проводил его до подъезда какого-то дома в предместье Пуассоньер.

— Подожди меня!

Он стал ждать. Наконец через сорок три минуты Фредерик вышел с Арну и знаком дал понять Делорье, чтобы он еще немного потерпел. Торговец фаянсом и его спутник прошлись под руку по улице Отвиль, затем свернули на улицу Шаброль.

Ночь была темная, порывами налетал теплый ветер. Арну шел медленно, рассказывая о Торговых рядах — крытых галереях, которые поведут от бульвара Сен-Дени к Шагле, замечательном предприятии, в которое ему очень хотелось бы вступить; время от времени он останавливался у окна какой-нибудь мастерской взглянуть на гризеток, потом продолжал свои рассуждения.

Фредерик слышал шаги Делорье — то были словно упреки, словно удары по его совести. Но потребовать деньги ему мешал ложный стыд, опасение, что это бесполезно. Делорье подходил все ближе. Фредерик решился.

Арну чрезвычайно развязным тоном ответил, что не получил еще долгов и сейчас не может вернуть пятнадцать тысяч франков.

— Они же вам не нужны, я полагаю?

В этот момент Делорье подошел к Фредерику и отвел его в сторону:

— Скажи прямо, есть у тебя деньги или нет?

— Ну так нет же их у меня! — ответил Фредерик.— Я их лишился!

— А! Каким же образом?

— Проиграл!

Делорье ни слова не ответил, поклонился очень низко и отошел. Арну воспользовался случаем, чтобы зайти в табачную лавку и закурить сигару. Воротясь, он спросил, кто этот молодой человек.

— Так, один приятель!

Три минуты спустя у подъезда Розанетты Арну сказал:

— Зайдите же, она будет рада вас видеть. Какой вы стали дикарь!

Свет фонаря, у которого они стояли, падал на его лицо; в этой самодовольной физиономии с сигарой в зубах было что-то невыносимое.

— Да, кстати; мой нотариус был у вашего сегодня утром для составления закладной. Это жена мне напомнила.

— Деловая женщина! — машинально заметил Фредерик.

— Еще бы!

Арну опять принялся ее расхваливать. Ей не было равных по уму, сердцу, бережливости; он шепотом прибавил, вращая глазами:

— А какое тело!

— Прощайте! — сказал Фредерик.

Арну вздрогнул:

— Позвольте! В чем дело?

И, нерешительно протянув руку, взглянул на него; Арну смутило гневное выражение лица Фредерика.

Тот сухо повторил:

— Прощайте!

Как камень, катящийся с высоты, спустился он по улице Брэда́, в отчаянии и тоске, негодуя на Арну, давая себе клятву не видеться с ним больше никогда, да и с ней также. Вместо того чтобы уйти от жены, как ожидал Фредерик, муж, напротив, снова стал обожать ее — всю, от корней волос до глубины души. Вульгарность этого человека выводила Фредерика из себя. Так, значит, все принадлежит ему, все! Он снова видел его на пороге дома лоретки, и к ярости собственного бессилия примешивалось болезненное чувство при мысли о происшедшем разрыве. К тому же честность Арну, предлагавшего обеспечение, унижала его; Фредерик готов был его задушить, а над его горем, точно туман, реяло сознание собственной подлости по отношению к другу. Слезы душили его.

Делорье шел по улице Мучеников, ругаясь вслух,— так он был возмущен, ибо его проект, подобно низверженному обелиску, казался ему теперь чем-то необычайно высоким. Он считал, что его обокрали, что он потерпел огромный убыток. Приязнь его к Фредерику умерла, и он испытывал от этого радость; это вознаграждало его! Его охватила ненависть к богачам. Он готов был разделить взгляды Сенекаля и давал себе слово следовать им.

Тем временем Арну, удобно расположившись в глубоком кресле у камина, попивал чай, а Капитанша сидела у него на коленях.

Фредерик больше не пошел к Арну, а чтобы отвлечься от своей пагубной страсти, ухватился за первое, что пришло ему в голову, и решил написать *Историю эпохи Возрождения.* Он в беспорядке нагромоздил у себя на столе книги гуманистов, философов, поэтов; он ходил в кабинет эстампов смотреть гравюры Маркантонио; он старался уразуметь Макиавелли. Тишина, необходимая для работы,

постепенно успокоила его. Погружаясь в изучение других личностей, он забывал про свою собственную — единственное, быть может, средство не страдать от нее.

Однажды, когда он сосредоточенно делал выписки, дверь отворилась, и слуга объявил о приходе г-жи Арну.

Это была она! Одна? Нет! За руку она держала маленького Эжена, следом шла нянька в белом переднике. Г-жа Арну села и, откашлявшись, проговорила:

— Давно вы не были у нас!

Фредерик не знал, что сказать в оправдание, и она прибавила:

— Это все ваша деликатность!

Он спросил:

— Почему деликатность?

— А то, что вы сделали для Арну! — сказала она.

Фредерик не удержался от жеста, означавшего: «Какое мне дело до него! Это я для вас!»

Она отослала ребенка с няней поиграть в гостиной. Они обменялись двумя-тремя вопросами о здоровье, потом разговор иссяк.

На ней было коричневое шелковое платье, цветом напоминавшее испанское вино, и черное бархатное пальто, отороченное куньим мехом; так и хотелось потрогать этот мех рукой, а низко зачесанных гладких волос коснуться губами. Но что-то волновало, беспокоило ее; обернувшись в сторону двери, она сказала:

— Здесь жарко!

Фредерик по взгляду угадал невысказанную мысль.

— Простите, двери лишь прикрыты!

— Ах да, правда!

Она улыбнулась, как будто хотела сказать: «Я ничего не боюсь».

Он спросил, что привело ее сюда.

— Мой муж,— проговорила она с усилием,— просил меня зайти к вам, он не решается сделать это сам.

— Но почему же?

— Вы ведь знакомы с господином Дамбрёзом?

— Да, немного!

— Ах, немного!

Она умолкла.

— Ну так что же?

Она рассказала, что третьего дня Арну не мог уплатить банкиру четырех тысяч франков по векселям, которые заставил ее в свое время подписать. Она раскаивается, что

подвергла риску состояние детей. Но все лучше, чем бесчестье, и если г-н Дамбрёз приостановит взыскание, ему, конечно, скоро все уплатят, так как она собирается продать свой домик в Шартре.

— Бедняжка! — пробормотал Фредерик.— Я к нему съезжу! Можете рассчитывать на меня.

— Благодарю!

Она поднялась, собираясь уйти.

— О! Не надо торопиться!

Она стоя рассматривала монгольские стрелы, свешивавшиеся с потолка, книжные шкафы, переплеты книг, письменные принадлежности, приподняла бронзовую чашечку, в которой лежали перья; ее каблучки мягко ступали по ковру. У Фредерика она несколько раз бывала и прежде, но всегда вместе с Арну. Теперь они были одни — одни в его доме,— событие необычайное, почти что удача в любви.

Она захотела посмотреть его садик; он предложил ей руку и стал показывать свои владения — участок в тридцать футов, окруженный со всех сторон домами, украшенный деревцами по углам и клумбою посредине.

Было начало апреля. Уже зеленели листья сирени, дул легкий ветерок, щебетали птицы, в их пение врывались удары кузнечного молота, доносившиеся из каретной мастерской.

Фредерик принес каминную лопатку для Эжена, и, пока они гуляли по саду, ребенок среди аллеи делал пирожки из песка.

Госпожа Арну не думала, что у сына будет впоследствии пылкое воображение, но он ласковый. Сестре его, напротив, свойственна сухость, порой обидная для матери.

— Это пройдет,— сказал Фредерик.— Не надо отчаиваться.

Она повторила:

— Не надо отчаиваться!

Эти слова, невольно повторенные ею, показались Фредерику как бы попыткой ободрить его; он сорвал розу, единственную в саду.

— Вы помните... букет роз однажды вечером в экипаже?

Она чуть покраснела и тоном насмешливого сожаления ответила:

— Я тогда была очень молода!

— А с этой,— тихим голосом продолжал Фредерик,— будет то же самое?

Она ответила, вертя стебелек между пальцами, словно нить веретена:

— Нет! Ее я сохраню!

Она знаком подозвала няню, и та взяла ребенка на руки; выходя на улицу, г-жа Арну понюхала цветок, склонив головку к плечу, и бросила на Фредерика взгляд, нежный, как поцелуй.

Вернувшись к себе в кабинет, он посмотрел на кресло, где она сидела, на вещи, до которых дотрагивалась. Что-то оставшееся от ее присутствия реяло вокруг него. Ласка, принесенная ею, еще жила.

— Так, значит, она приходила сюда! — говорил он себе.

И на него нахлынула волна беспредельной нежности.

На другой день в одиннадцать часов он явился к г-ну Дамбрёзу. Приняли его в столовой. Банкир завтракал, сидя против жены. Рядом с нею была племянница, по другую руку — гувернантка-англичанка с изрытым оспой лицом.

Господин Дамбрёз пригласил своего молодого друга позавтракать вместе с ними и, когда тот отказался, спросил:

— Чем могу быть полезен? Я вас слушаю.

Фредерик с притворным равнодушием сознался, что он приехал просить за некоего Арну.

— А-а, бывший торговец картинами,— сказал банкир и беззвучно рассмеялся, обнажив десны.— Прежде за него ручался Удри; теперь они в ссоре.

Он стал пробегать глазами письма и газеты, лежавшие рядом с его прибором.

Прислуживали два лакея, бесшумно ступавшие по паркету; высота этой комнаты с тремя вышитыми портьерами и двумя бассейнами белого мрамора, блеск конфорок, самая расстановка закусок, даже складки накрахмаленных салфеток,— все это благосостояние, вся эта роскошь представляли для Фредерика полный контраст с другим завтраком — у Арну. Он не осмеливался прервать г-на Дамбрёза.

Хозяйка заметила его смущение.

— Вы встречаетесь с нашим другом Мартиноном?

— Он будет сегодня вечером,— с живостью сказала девица.

— А-а! Тебе уже известно? — спросила тетка, остановив на ней холодный взгляд.

Один из лакеев доложил что-то, паклонясь к ее уху.

— Дитя мое, твоя портниха!.. Мисс Джон!

Послушная гувернантка скрылась вместе со своей воспитанницей.

Господин Дамбрёз, потревоженный шумом отодвигаемых стульев, спросил, в чем дело.

— Пришла госпожа Режембар.

— Как? Режембар! Эта фамилия мне знакома. Я встречал такую подпись.

Фредерик наконец изложил свою просьбу: Арну заслуживает участия; с единственной целью исполнить взятые на себя обязательства он собирается даже продать дом жены.

— Она, говорят, очень хорошенькая,— заметила г-жа Дамбрёз.

Промышленник прибавил добродушно:

— Вы, может быть, их близкий... друг?

Фредерик, не ответив прямо, сказал, что будет премного обязан, если г-н Дамбрёз примет во внимание...

— Ну что же, если это вам доставит удовольствие! Хорошо! Можно подождать! Время терпит. Хотите, спустимся ко мне в контору?

Завтрак был окончен; г-жа Дамбрёз кивнула головой, улыбнулась странной улыбкой, полной вежливой иронии. Фредерик не успел задуматься над этим: г-н Дамбрёз, как только они остались одни, спросил:

— Вы не заезжали за вашими акциями? — И, не давая ему извиниться, проговорил: — Ничего! Ничего! Вам следует ближе познакомиться с делом.— Он предложил ему сигарету и приступил к делу: — «Всеобщая компания по разработке французских каменноугольных копей» основана; ждут лишь утверждения устава. Самый факт слияния компаний уже сокращает расходы на контроль и рабочую силу, увеличивает прибыли. Кроме того, компания решила осуществить нововведение — заинтересовать в предприятии рабочих. Она построит им удобные, здоровые жилища; наконец, она станет поставщиком своих служащих, будет продавать им все по себестоимости.

И они будут в выигрыше. Вот где истинный прогресс! Это победоносный ответ на иные республиканские выкрики! У нас в совете состоят,— он извлек проспект,— пэр Франции, один ученый-академик, инженер-генерал в отставке, все люди известные! Подобные имена могут успокоить боязливых акционеров и привлечь умных! Компания

будет получать государственные заказы, снабжать железные дороги, пароходства, металлургические предприятия, газовые заводы, кухни городских жителей. Итак, мы отапливаем, мы освещаем, мы проникаем в самые скромные домашние очаги. Но, спросите вы, как нам удастся обеспечить сбыт? С помощью покровительственных законов, дорогой мой, а мы их добьемся; это уж наше дело. Я ведь ярый приверженец запретительной системы! Страна прежде всего!

Он выбран директором, но у него не хватает времени заниматься разными мелочами, между прочим — составлением докладов.

— Я немного не в ладу с классиками, позабыл греческий! Мне нужен человек, который мог бы излагать мои мысли.— И вдруг: — Не хотите ли стать таким человеком и получить звание генерального секретаря?

Фредерик не знал, что ответить.

— Ну как? Что может вам помешать?

Его обязанности ограничатся составлением ежегодного отчета для акционеров. Он будет каждодневно встречаться с самыми влиятельными людьми Парижа. Как представитель компании он, разумеется, заслужит любовь рабочих, что позволит ему впоследствии попасть в Генеральный совет, стать депутатом.

В ушах у Фредерика звенело. Откуда такая благосклонность? Он рассыпался в благодарностях.

Но не следует ставить себя в зависимое положение, говорил банкир. Лучшее средство для этого — приобрести акции, ибо они «отличное помещение денег, поскольку ваш капитал обеспечивается вашим положением, а ваше положение — капиталом».

— А как велик должен быть капитал? — спросил Фредерик.

— Бог мой, внесите сколько захотите! Полагаю, тысяч сорок — шестьдесят.

Эта сумма была для г-на Дамбрёза так ничтожна, а его авторитет так велик, что Фредерик немедленно решил продать одну из своих ферм. Предложение он принял. Г-н Дамбрёз должен был на днях назначить ему встречу, чтобы окончательно договориться.

— Итак, я могу сообщить Жаку Арну?..

— Все, что вам угодно! Ах, бедняга! Да, все, что вам угодно!

Фредерик написал супругам Арну, что они могут не

волноваться; отнести это письмо он послал слугу, которому ответили:

— Прекрасно!

А между тем своим старанием он заслуживал большего. Он ждал визита или по меньшей мере письма. Визита ему не сделали. Письма не написали.

Что же это — забывчивость с их стороны или умысел? Если г-жа Арну приходила к нему один раз, что же мешает ей прийти снова? Значит, тот намек, то полупризнание, которое она сделала,— лишь корыстная уловка? «Неужели они посмеялись надо мной? Неужели она сообщница?»

Несмотря на желание Фредерика побывать у Арну, что-то похожее на стыдливость удерживало его.

Однажды утром (через три недели после их свидания) г-н Дамбрёз написал ему, что ждет его к себе через час.

По дороге Фредерику опять не давала покоя мысль о супругах Арну, и, не в силах разгадать, чем вызвано их поведение, он был охвачен тоской, зловещим предчувствием. Чтобы избавиться от него, он кликнул кабриолет и велел ехать на улицу Паради.

Арну был в отъезде.

— А госпожа Арну?

— В деревне, на фабрике.

— Когда вернется господин Арну?

— Завтра непременно.

Итак, он застанет ее одну; случай ему благоприятствует. Внутренний голос властно требовал: «Поезжай!»

Но как же быть с г-ном Дамбрёзом? «Ну да ладно! Скажу, что был болен!» Он поспешил на вокзал. Потом, уже сидя в вагоне, подумал: «А может быть, не надо? Э, все равно!»

Справа и слева раскинулись зеленые равнины; поезд мчался без остановок; станционные домики скользили мимо, словно декорации, а дым паровоза отклонялся в одну сторону, тяжелыми клубами стлался по траве, потом рассеивался.

Фредерик, сидя один на диванчике, смотрел скучающим взором в окно, погруженный в ту апатию, которая вызывается порой чрезмерным нетерпением. Потянулись краны, склады. Это был Крейль.

Городок, построенный на склоне двух низких холмов (из которых один голый, а другой, у вершины, покрыт лесом), с его церковной башней, неодинаковыми домами и

каменным мостом, показался Фредерику веселым, скромным и приветливым. Большая плоскодонная лодка спускалась по течению реки, бурной от ветра; у подножия холмика с распятием наверху копошились в соломе куры; прошла женщина с тазом мокрого белья на голове.

Миновав мост, Фредерик очутился на острове, где справа видны развалины монастыря. Вращалось колесо мельницы, перегораживавшей второй рукав Уазы, над которым нависло здание фабрики. Внушительность этой постройки удивила Фредерика. Он почувствовал больше уважения к Арну. Пройдя еще три шага, он свернул в тупик, упиравшийся в железную решетку.

Он вошел в ворота. Привратница окликнула его:

— Есть у вас пропуск?

— Зачем?

— Чтобы пройти на фабрику.

Фредерик резко ответил, что идет к г-ну Арну.

— Это кто ж такой — господин Арну?

— Да начальник, хозяин, одним словом, владелец!

— Нет, сударь, это фабрика господ Лебефа и Милье!

Старуха, должно быть, пошутила. Подошли рабочие. Фредерик обратился к двум-трем из них: они ответили то же самое.

Фредерик вышел со двора, шатаясь, точно пьяный, с видом столь растерянным, что на мосту Боен обыватель, куривший трубку, спросил его, не потерял ли он что-нибудь. Этот человек знал фабрику Арну. Находилась она в Монтатере.

Фредерик стал искать экипаж; достать его можно было только у вокзала. Он вернулся туда. Перед багажной кассой одиноко стояла разбитая коляска, запряженная клячей в порванной сбруе, повисшей на оглоблях.

Мальчишка вызвался найти «дядюшку Пилона». Спустя десять минут он воротился: дядюшка Пилон, оказывается, завтракает. Фредерик, потеряв терпение, пошел пешком. Шлагбаум на переезде был опущен. Пришлось подождать, пока пройдут два поезда. Наконец он зашагал по полю.

Своей однообразной зеленью оно напоминало сукно огромного бильярда. По обеим сторонам дороги, похожие на кучи щебня, лежали груды шлака. На некотором расстоянии одна от другой дымили фабричные трубы. Впереди возвышались на круглом холме маленький замок с башенками и церковь с четырехугольной колокольней. Ниже,

среди деревьев, тянулась длинная изогнутая ограда, а в самом низу расположилась деревня.

Дома здесь были одноэтажные, сложенные из камня без цемента, каждый с крылечком в три ступеньки. Порой из какой-нибудь лавки доносилось звяканье дверного колокольчика. В черной грязи остались глубокие следы чьих-то грузных шагов, сеял мелкий дождь, заачерчивая тусклое небо бесчисленными штрихами.

Фредерик шел по мостовой; наконец на левой стороне у поворота он увидал большую деревянную арку с надписью золотыми буквами: «Фаянс».

Жак Арну не без умысла обосновался по соседству с Крейлем: построив свою фабрику как можно ближе к другой (давно уже имевшей хорошую репутацию), он рассчитывал, что публика спутает их к его выгоде.

Главный корпус здания выходил на берег речки, которая текла среди лугов. Хозяйский дом, окруженный садом, выделялся своим крыльцом, украшенным четырьмя вазами, в которых топорщились кактусы. Кучи белой глины сушились под навесами; другие лежали прямо под открытым небом, а посередине двора в неизменном синем пальто на красной подкладке стоял Сенекаль.

Бывший репетитор протянул Фредерику свою холодную руку.

— Вам хозяина? Его нет.

Фредерик смутился и преглупо ответил:

— Я знаю.— Но тотчас прибавил: — Я по делу, касающемуся госпожи Арну. Может она меня принять?

— Да я не видел ее уже три дня,— ответил Сенекаль.

Он излил целый поток жалоб. Соглашаясь на условия фабриканта, он предполагал жить в Париже, а не торчать в глуши, вдали от друзей, без газет. И все же он и с этим примирился! Но Арну, видимо, не обращает никакого внимания на его достоинства. К тому же он человек ограниченный, ретроград, невежа, каких мало. Вместо того чтобы стремиться к художественным усовершенствованиям, лучше было бы ввести угольное и газовое отопление. Буржуа *зарвался*. Сенекаль сделал упор на это слово. Короче, место ему не нравится, и он почти потребовал от Фредерика, чтобы тот замолвил за него словечко и добился увеличения жалованья.

— Будьте покойны! — сказал Фредерик.

На лестнице он никого не встретил. Поднявшись на второй этаж, Фредерик заглянул в пустую комнату; это

была гостиная. Он громко позвал. Никто не ответил; наверное, кухарки не было дома, служанки также; наконец, добравшись до третьего этажа, он толкнул дверь. Г-жа Арну была одна; она стояла перед зеркальным шкафом. Пояс расстегнутого капота свисал вдоль бедер. Волосы черным потоком спускались на правое плечо, а обе руки были подняты: одной рукой она собирала шиньон, другой втыкала в него шпильку. Она вскрикнула и исчезла.

Вернулась она тщательно одетая. Ее фигура, глаза, шелест платья — все восхитило Фредерика. Он сдерживался, чтобы не расцеловать ее.

— Извините,— проговорила она,— но я не знала...

У него хватило дерзости ее перебить.

— А между тем... вы были так хороши... только что...

Комплимент, должно быть, показался ей грубоватым; щеки ее покрылись румянцем. Он испугался, что обидел ее. Но она спросила:

— Какой счастливый случай привел вас сюда?

Фредерик не знал, что ответить; усмехнувшись, он подумал немного и все же нашелся:

— Если я скажу, вы мне, пожалуй, не поверите!

— Почему?

Фредерик рассказал, что прошлой ночью видел страшный сон.

— Мне снилось, что вы опасно больны, лежите при смерти.

— О! Ни я, ни мой муж никогда не болеем!

— Мне снились только вы,— сказал он.

Она спокойно взглянула на него:

— Сны не всегда сбываются.

Фредерик что-то забормотал, подыскивая слова, и наконец пустился в длинные рассуждения о сродстве душ. Существует такая сила, которая и на расстоянии может связать двух человек, она позволяет каждому из них узнавать то, что чувствует другой, и помогает им соединиться.

Она слушала, наклонив голову, улыбаясь своей прелестной улыбкой. Он украдкой смотрел на нее, исполненный глубокой радости, и свободнее изливал свое чувство, прикрывая его общими фразами. Она предложила ему осмотреть фабрику, он уступил ее настояниям.

Сперва, чтобы развлечь Фредерика, она повела его на лестницу, где было устроено нечто вроде музея. Образцы изделий, развешанные по стенам или расставленные на полочках, свидетельствовали об усилиях Арну и о смене

его увлечений. После попыток найти секрет китайской красной краски он взялся за производство майолики, вещей в этрусском и восточном стиле, за подделку итальянского фаянса, попытался наконец ввести некоторые усовершенствования, которые были осуществлены лишь впоследствии. Вот почему в ряду изделий можно было увидеть и большие вазы с изображением китайских мандаринов, и красновато-коричневые миски с золотистым отливом, и горшки, расцвеченные арабскими надписями, и кувшины во вкусе Возрождения, и большие тарелки с двумя человеческими фигурами, наведенными как бы сангиной, нежными и воздушными. Теперь он изготовлял буквы для вывесок, ярлыки для вин, но, обладая умом недостаточно возвышенным, чтобы подняться до подлинного искусства, и недостаточно пошлым, чтобы стремиться только к выгоде, он никого не удовлетворял и понемногу разорялся. Пока они рассматривали эти вещи, мимо прошла мадмуазель Марта.

— Разве ты его не узнаешь? — спросила мать.

— Узнаю! — ответила она и поклонилась Фредерику, а ее девический взгляд, взгляд светлый и настороженный, словно шептал: «Тебе-то что здесь надо?» Она пошла наверх, слегка склонив головку набок.

Госпожа Арну повела Фредерика во двор, стала серьезно объяснять, как растирают глину, как ее очищают, просеивают.

— Главное — приготовление массы.

Она ввела его в помещение, уставленное чанами, где вращалась вертикальная ось с горизонтальными рукоятками. Фредерик досадовал, что не отказался наотрез от ее приглашения.

— Это промывалки,— сказала она.

Название показалось ему смешным и как бы неуместным в ее устах.

Широкие ремни тянулись с одного конца потолка к другому, наматываясь на барабаны; все двигалось непрерывно, математически строго, раздражающе.

Они вышли оттуда и прошли мимо развалившейся лачуги, где прежде хранились садовые инструменты.

— Она уже ни на что не годится,— сказала г-жа Арну.

Он с дрожью в голосе отозвался:

— Счастье может еще найти в ней приют.

Слова его покрыл шум парового насоса, и они вошли в формовочную.

Рабочие, сидевшие за узким столом, клали кусок глины на диск, вращавшийся перед каждым из них; левой рукой они уминали его снизу, правой разглаживали сверху, и, точно распускающиеся цветы, на глазах вырастали вазы.

Госпожа Арну велела показать формы для более сложных изделий.

В другом помещении изготовлялись ободки, горлышки, выпуклые части. В верхнем этаже выравнивали спайки и замазывали гипсом дырочки, оставшиеся от предыдущих операций. На решетках, в углах, посреди коридоров — везде рядами стояла посуда.

Фредерик начинал скучать.

— Вас это, может быть, утомляет? — спросила г-жа Арну.

Опасаясь, как бы не пришлось этим ограничить свое посещение, Фредерик сделал вид, что, напротив, ему очень интересно. Он даже выразил сожаление, что сам не занялся этим делом.

Она как будто удивилась.

— Конечно! Я мог бы жить тогда подле вас!

Он старался уловить ее взгляд, а г-жа Арну, желая этого избежать, взяла со столика кусочки глины, оставшиеся после неудачных отделок, сплющила их в лепешку и отпечатала на ней свою руку.

— Можно мне взять это с собой? — спросил Фредерик.

— Боже мой, какой вы ребенок!

Он хотел что-то ответить, но вошел Сенекаль.

Уже с порога г-н вице-директор заметил нарушение правил. Мастерские полагалось подметать каждую неделю; была суббота, и, так как рабочие этого не сделали, Сенекаль объявил, что им придется остаться лишний час. «Сами виноваты!»

Они безропотно склонились над работой, но о гневе их можно было догадаться по тому, как хрипло они дышали. С ними, впрочем, нелегко было ладить: всех их в свое время прогнали с большой фабрики. Республиканец обращался с рабочими жестоко. Обладая умом теоретика, он считался только с массами и проявлял беспощадность к отдельным личностям.

Фредерик, стесненный его присутствием, шепотом спросил г-жу Арну, нельзя ли посмотреть печи. Они спустились в нижний этаж, и она принялась объяснять ему

назначение ящиков, как вдруг в разговор вмешался Сенекаль, не отстававший от них.

Он сам стал пояснять, распространился о различных видах горючего, о плавлении, о пироскопах, о печных устоях, соединениях, глазури и металлах, сыпал химическими терминами: «хлористое соединение», «серпистое соединение», «бура», «углекислая соль». Фредерик ничего в этом не понимал и поминутно оборачивался к г-же Арну.

— Вы не слушаете,— сказала она.— А господин Сенекаль объясняет очень понятно. Он все эти вещи знает гораздо лучше меня.

Математик, польщенный похвалой, предложил показать, как накладывают краски. Фредерик бросил на г-жу Арну тревожно-вопросительный взгляд. Она осталась безучастна,— должно быть, не желала оказаться с ним наедине, и вместе с тем ей не хотелось с ним расставаться. Он предложил ей руку.

— Нет, благодарю вас! Лестница слишком узка!

Когда они поднялись наверх, Сенекаль отворил дверь в помещение, полное женщин.

В руках у них были кисточки, пузырьки, раковинки, стеклянные дощечки. По карнизу вдоль стены тянулись доски с гравированными рисунками; по комнате летали обрывки тонкой бумаги, из чугунной печки шел невыносимый жар, к которому примешивался запах скипидара.

Работницы почти все были одеты самым жалким образом. Но среди них выделялась одна — в шелковом платке, с длинными серьгами. Она была стройная и в то же время пухленькая, с большими черными глазами и мясистыми, словно у негритянки, губами. Пышная грудь ясно вырисовывалась под рубашкой, схваченной в талии поясом юбки; одной рукой облокотясь на станок, а другую свесив, она рассеянно глядела вдаль. Рядом стояла бутылка вина и валялся кусок колбасы.

Правилами распорядка запрещалось есть в мастерских — мера, предусмотренная для соблюдения чистоты на фабрике и поддержания гигиены среди рабочих.

Сенекаль, то ли из чувства долга, то ли из склонности к деспотизму, еще издали закричал, указывая на объявление в рамке:

— Эй! Вы там! Бордоска! Прочтите-ка вслух параграф девятый!

— Ну, а еще что!

— Еще что, сударыня? А то, что вы заплатите три франка штрафа!

Она в упор, нагло посмотрела на него.

— Подумаешь! Хозяин вернется и снимет ваш штраф! Плевать мне на вас, дружок!

Сенекаль прогуливался, заложив руки за спину, точно классный надзиратель во время урока; в ответ он только улыбнулся.

— Параграф тринадцатый, неповиновение, десять франков!

Бордоска опять принялась за работу. Г-жа Арну приличия ради ничего не сказала — она только нахмурила брови. Фредерик тихо проговорил:

— Для демократа вы слишком уж строги!

Сенекаль менторским тоном возразил:

— Демократия — не разнузданность. Это равенство всех перед законом, разделение труда, порядок!

— Вы забываете о гуманности! — сказал Фредерик.

Госпожа Арну взяла его под руку; Сенекаль, оскорбленный, может быть, этим знаком безмолвного одобрения, удалился.

Фредерик почувствовал огромное облегчение. С самого утра он искал случая объясниться; случай представился. К тому же внезапное движение г-жи Арну словно таило в себе обещание. Будто затем, чтобы погреть ноги, он попросил позволения пройти в ее комнату. Но когда он сел рядом с ней, им овладело смущение; он не знал, с чего начать. К счастью, ему на ум пришел Сенекаль.

— Нет ничего глупее такого наказания!

Госпожа Арну возразила:

— Строгость бывает необходима.

— Как? И это говорите вы, такая добрая! Впрочем, я обмолвился — ведь иногда вам нравится мучить.

— Я не понимаю загадок, мой друг.

Суровый взгляд, более властный, чем слова, остановил его. Но Фредерик был намерен продолжать. На комоде оказался томик Мюссе. Он перевернул несколько страниц, потом заговорил о любви, о ее отчаянии, о ее порывах.

Все это, по мнению г-жи Арну, было или преступно, или надуманно.

Столь отрицательное суждение обидело молодого человека, и, чтобы опровергнуть его, он привел в доказательство самоубийства, о которых приходилось читать в газетах, стал превозносить знаменитые литературные типы —

Федру, Дидону, Ромео, де Грие. Тут он окончательно сбился.

Огонь в камине погас, в окна хлестал дождь. Г-жа Арну сидела неподвижно, положив обе руки на подлокотники; ленты ее чепца свисали, точно концы повязки сфинкса. В темноте белел ее чистый профиль.

Фредерику хотелось броситься к ее ногам. В коридоре раздался скрип — он не посмел.

К тому же его удерживал благоговейный страх. Это платье, сливавшееся с сумерками, казалось ему непомерным, бесконечным, какой-то непреодолимой преградой, и именно поэтому его желание усиливалось. Но боязнь, что он действует слишком смело или, наоборот, чересчур робко, отнимала у него способность здраво рассуждать.

«Если я ей не нравлюсь,— думал он,— пусть прогонит! Если же я ей по душе, пусть скажет!»

И со вздохом спросил:

— Значит, вы не допускаете, что можно любить... женщину?

Госпожа Арну ответила:

— Если она свободна — на ней женятся; если она принадлежит другому — уходят.

— Итак, счастье невозможно?

— Отчего же! Но счастье нельзя найти в обмане, в тревогах и в угрызениях совести.

— Не все ли равно, если оно дает божественную радость!

— Опыт обходится слишком дорого.

Он решил прибегнуть к иронии.

— Значит, добродетель не что иное, как трусость?

— Лучше скажите: дальновидность. А женщинам, готовым позабыть о долге и религии, помогает иногда простой здравый смысл. Эгоизм — прочная основа целомудрия.

— Какие у вас мещанские взгляды!

— Да я и не мню себя знатной дамой!

Тут прибежал маленький Эжен.

— Мама, пойдем обедать?

— Да, сейчас!

Фредерик поднялся, появилась Марта.

Он не мог решиться уйти и, бросив на г-жу Арну взгляд, полный мольбы, спросил:

— Женщины, о которых вы говорите, верно, очень бесчувственны?

— Нет! Но они глухи, когда надо!

Она стояла на пороге спальни, рядом с ней — двое ее детей. Он поклонился, не сказав ни слова. Она безмолвно ответила на его поклон.

Беспредельное изумление — вот что испытывал Фредерик в первую минуту. То, как она дала ему понять всю нелепость надежд, сразило его. Он чувствовал, что гибнет, как это чувствует человек, упавший в пропасть и знающий, что его не спасут и он должен умереть.

Все-таки он шел, шел наугад, ничего не видя, спотыкался о камни, сбился с дороги. Раздался стук деревянных башмаков — это рабочие возвращались с литейного завода. Тогда только он пришел в себя.

Железнодорожные фонари тянулись вдали огненной полоской. Он поспел на станцию как раз к отходу поезда; его втолкнули в вагон, и он сразу уснул.

Час спустя на бульварах вечернее веселье Парижа внезапно отодвинуло его поездку в далекое прошлое. Он решил быть твердым и облегчил душу, осыпая г-жу Арну бранными эпитетами:

— Идиотка, дура, тупица! Нечего о ней думать!

Вернувшись домой, он нашел у себя в кабинете письмо на восьми страницах голубой глянцевитой бумаги с инициалами Р. А.

Оно начиналось дружескими упреками:

«Что с вами, друг мой? Я скучаю».

Почерк был такой ужасный, что Фредерик уже хотел отшвырнуть письмо, как вдруг в глаза ему бросилась приписка:

«Я рассчитываю, что вы завтра поедете со мной на скачки».

Что означало это приглашение? Верно, какая-нибудь новая выходка Капитанши? Но нельзя же два раза кряду, ни с того ни с сего, издеваться над человеком; охваченный любопытством, он внимательно перечел письмо.

Фредерик разобрал: «Недоразумение... пойти по неверному пути... разочарования... Бедные мы созданья!.. Подобно двум потокам, которые сливаются...» и т. д.

Этот стиль не соответствовал обычному языку лоретки. Что за перемена произошла с ней?

Он долго держал в руке эти листочки. От них пахло присом; в очертании букв и неровных промежутках между строками было что-то, напоминавшее беспорядок в туалете, и это смутно волновало его.

«Почему бы не поехать? — подумал он наконец. — А если узнает госпожа Арну? Ну и пусть узнает. Тем лучше! И пусть ревнует! Я буду отомщен».

IV

Капитанша была готова и ждала его.

— Вот это мило! — сказала она, взглянув на него своими красивыми глазами, и ласковыми и веселыми.

Она завязала ленты шляпки, села на диван и замолкла.

— Что же, едем? — спросил Фредерик.

Она посмотрела на часы.

— О нет! Часа через полтора, не раньше.

Она как бы сама ставила этим предел своим колебаниям.

Наконец пробил назначенный час.

— Ну, andiamo, caro mio! [1]

Она в последний раз пригладила волосы, отдала распоряжения Дельфине.

— Вернетесь, барыня, к обеду?

— Нет, зачем же? Мы вместе пообедаем где-нибудь, в «Английском кафе», где захотим!

Собачки тявкали около нее.

— Их лучше взять с собой, правда?

Фредерик сам отнес их в экипаж. Это была наемная карета, запряженная парой почтовых лошадей, с форейтором; на запятках стоял лакей Фредерика. Капитанша была, видимо, довольна его предупредительностью; усевшись в карету, она сейчас же задала ему вопрос, не бывал ли он в последнее время у Арну.

— Целый месяц не был, — ответил Фредерик.

— А я встретила его третьего дня, он даже хотел сегодня приехать. Но у него всякие неприятности, опять какой-то процесс, уж не знаю, что там такое. Странный человек!

— Да! Очень странный! А кстати, — равнодушным тоном спросил Фредерик, — вы все еще видаетесь... как его зовут? С этим бывшим певцом... Дельмаром?

Она сухо ответила:

— Нет! С этим кончено!

---

[1] Идем, милый! *(ит.)*

Итак, разрыв не подлежал сомнению. У Фредерика возникла надежда.

Они шагом проехали квартал Брэда́; на улицах по случаю воскресенья было безлюдно, в окнах показывались лица обывателей. Экипаж покатил быстрее; заслышав стук колес, прохожие оборачивались; блестел откинутый кожаный верх; слуга выставлял грудь вперед; собачки напоминали две горностаевые муфты, положенные на подушки одна подле другой. Фредерик покачивался на сиденье. Капитанша с улыбкой поворачивала голову то вправо, то влево.

Ее соломенная шляпка с перламутровым отливом была отделана черным кружевом. Капюшон бурнуса развевался на ветру, от солнца она закрывалась лиловым атласным зонтиком, островерхим, как кровля пагоды.

— Что за прелесть эти пальчики! — сказал Фредерик, тихонько взяв ее левую руку, украшенную золотым браслетом в виде цепочки.— Премилая вещица! Откуда она у вас?

— О! Она у меня давно,— ответила Капитанша.

Молодой человек ничего не возразил на эти лицемерные слова. Он предпочел «воспользоваться случаем». Все еще держа кисть ее руки, он прильнул к ней губами между перчаткой и рукавом.

— Перестаньте, нас увидят!

— Ну так что же?

Проехав площадь Согласия, они свернули на набережную Конференс, а потом на набережную Бийи, где в одном из садов заметили кедр. Розанетта думала, что Ливан находится в Китае; она посмеялась своему невежеству и попросила Фредерика давать ей уроки географии. Потом, оставив справа Трокадеро, они переехали Иенский мост и наконец остановились среди Марсова поля, рядом с другими экипажами, уже стоявшими перед ипподромом.

Неровную поверхность поля усеял простой люд. Любопытные устроились на балконе Военного училища, оба павильона за весами были отведены для жокеев, две трибуны в кругу и третью против королевской ложи заполнила нарядная публика, которой, судя по ее манере себя держать, этот еще новый род развлечения импонировал. Публика скачек, в ту пору более своеобразная, имела и облик менее вульгарный; то были времена штрипок, бархатных воротников и белых перчаток. Дамы в ярких платьях с длинными талиями, расположившиеся на ска-

мейках трибуны, напоминали огромный цветник, на фоне которого темными пятнами выступали костюмы мужчин. Все взгляды были направлены на знаменитого алжирца Бу-Маза, невозмутимо сидевшего между двумя офицерами генерального штаба в одной из отдельных лож. Зрители на трибуне Джокей-клоба были сплошь важные господа.

Самые восторженные любители поместились внизу, у скакового круга, обнесенного двумя рядами столбов с натянутыми между ними веревками; внутри этого огромного овала орали торговцы напитками, другие продавали программы скачек, третьи — сигары; гул не утихал; взад и вперед сновали полицейские; колокол, висевший на столбе, покрытом цифрами, зазвонил. Появилось пять лошадей, публика заняла места.

А над самыми верхушками вязов клубились тяжелые облака. Розанетта испугалась дождя.

— Я захватил зонты,— сказал Фредерик.— И всякую всячину, чтобы позабавиться,— проронил он, приподнимая переднее сиденье, под которым была корзинка с закусками.

— Браво! Мы друг друга понимаем!

— И будем еще лучше понимать, не так ли?

— Возможно! — сказала она, краснея.

Жокеи в шелковых куртках старались установить в ряд лошадей и сдерживали их изо всех сил. Кто-то опустил красный флаг. Тогда все пятеро, склонившись над гривами лошадей, пустили их вскачь. Сперва они скакали вровень друг с другом, сплоченным строем; но вскоре цепь удлинилась, перервалась; жокей, на котором был желтый камзол, в середине первого круга чуть не упал; долгое время Филли и Тиби шли впереди, голова в голову, потом их догнал Том Пус, а Клубстик, отставший было с самого начала, всех обскакал и пришел первым, опередив Сэра Чарльза на два корпуса. Это была неожиданность; зрители кричали; дощатые помосты дрожали от топота ног.

— Тут весело! — сказала Капитанша.— Я люблю тебя, милый!

Фредерик больше не сомневался в своем счастье. Эти слова Розанетты были тому подтверждением.

Шагах в ста от него в двухместном кабриолете появилась дама. Она то выглядывала из кабриолета, то поспешно откидывалась назад; это повторилось несколько раз; Фредерик не мог разглядеть ее лица. У него мелькнуло

подозрение — ему показалось, что это г-жа Арну. Но нет, не может быть! К чему бы ей приезжать сюда?

Он вышел из экипажа под предлогом, будто хочет посмотреть на весы.

— Вы не слишком-то любезны! — сказала Розанетта.

Не слушая ее, он шел вперед. Кабриолет повернул обратно, лошадь побежала рысью.

В ту же минуту Фредерика перехватил Сизи:

— Здравствуй, дорогой! Как поживаете? Юсоне вон там! Послушайте!

Фредерик старался отделаться от него, чтобы нагнать кабриолет. Капитанша знаками приказывала ему вернуться. Сизи ее заметил и пожелал непременно поздороваться с ней.

С тех пор как кончился его траур по бабушке, он старался воплотить в жизнь свой идеал и приобрести *особый отпечаток*. Клетчатый жилет, короткий фрак, широкие банты на туфлях и входной билет, засунутый за ленту на шляпе,— действительно, все соответствовало тому, что сам он называл «шиком», то был шик англомана и мушкетера. Первым делом он стал жаловаться на Марсово поле, отвратительное место для скачек, потом поговорил о скачках в Шантийи и о том, какие там бывают мошенничества, божился, что может выпить двенадцать бокалов шампанского, пока в полночь часы бьют двенадцать, предлагал Капитанше пари и тихонько гладил болонок; опершись локтем о дверцу экипажа, засунув в рот набалдашник стека, расставив ноги и вытянувшись, он продолжал болтать всякие глупости. Фредерик, стоявший рядом с ним, курил, пытаясь определить, куда делся кабриолет.

Прозвонил колокол; Сизи отошел, к великому удовольствию Розанетты, которой, по ее словам, он очень надоел.

Второй заезд ничем особенным не ознаменовался, третий также, если не считать, что одного жокея унесли на носилках. Четвертый, в котором восемь лошадей состязались на приз города, оказался более интересным.

Зрители трибун взобрались на скамейки. Прочие, стоя в экипажах и поднеся к глазам бинокли, следили за движением жокеев. А жокеи, точно пятнышки — красные, желтые, белые и синие,— неслись мимо толпы, окружившей ипподром. Издали их езда казалась не особенно быстрой; на дальнем конце Марсова поля она как будто даже замедлялась, лошади словно скользили, касаясь животами земли и не сгибая вытянутых ног. Но, возвращаясь вскоре

назад, они вырастали; они рассекали воздух, земля дрожала, из-под копыт летел гравий; камзолы жокеев надувались от ветра точно паруса, жокеи ударами хлыста подстегивали лошадей; первыми прийти к финишу — такова была их цель. На табло одни цифры снимались, выставлялись другие, победившая лошадь, вся в мыле, понурив голову, не в силах согнуть ноги, тащилась среди рукоплесканий к весам, а наездник в седле, находившийся, казалось, при последнем издыхании, держался за бока.

Последний заезд затянулся из-за какого-то спорного обстоятельства. Скучающая толпа уже расходилась. Мужчины, стоя кучками, разговаривали у подножия трибуны. Речи были вольные; дамы из общества уехали, шокированные присутствием лореток.

Были тут и знаменитости публичных балов, актрисы бульварных театров, и больше всего похвал расточалось отнюдь не самым красивым. Старая Жоржина Обер, та самая, которую один водевилист назвал Людовиком XI от проституции, отчаянно размалеванная, развалилась в длинной коляске, закуталась в куний палантин, как будто была зима, и время от времени издавала звуки, более похожие на хрюканье, чем на смех. Госпожа де Ремусо, ставшая знаменитостью благодаря своему процессу, восседала в бреке в компании американцев, а Тереза Башлю, наружностью напоминавшая средневековую мадонну, заполняла своими двенадцатью оборками маленький фаэтон, где вместо фартука была жардиньерка с розами. Капитанша позавидовала всему этому великолепию; чтобы обратить на себя внимание, она усиленно стала жестикулировать и заговорила чрезвычайно громко.

Какие-то джентльмены узнавали ее и раскланивались. Она отвечала на поклоны, называя Фредерику имена знакомых мужчин. Все это были графы, виконты, герцоги и маркизы, и он даже возгордился, ибо во всех взглядах выражалось своего рода почтение, вызванное его любовной удачей.

Сизи, по-видимому, чувствовал себя не менее счастливым в кругу мужчин зрелого возраста. Эти люди в высоких тугих воротничках улыбались, словно посмеиваясь над ним; наконец он хлопнул по ладони самого старшего и направился к Капитанше.

Она с преувеличенной жадностью ела кусок паштета; Фредерик из послушания следовал ее примеру, зажав между коленями бутылку вина.

Вновь показался кабриолет — в нем была г-жа Арну. Она страшно побледнела.

— Налей мне шампанского! — сказала Розанетта.

Подняв как можно выше полный бокал, она крикнула:

— Эй вы там, порядочная женщина, супруга моего покровителя, эй!

Кругом раздался смех, кабриолет скрылся. Фредерик дергал Розанетту за платье, он готов был вспылить. Но рядом был Сизи — в той же позе, что и раньше; он еще более самоуверенно пригласил Розанетту отобедать с ним нынче вечером.

— Не могу! — ответила Розанетта. — Мы едем вместе в «Английское кафе».

Фредерик молчал, как будто ничего не слышал, и Сизи с разочарованным видом отошел от Капитанши.

Пока он разговаривал с ней, стоя у правой дверцы, слева подошел Юсоне и, услышав про «Английское кафе», подхватил:

— Славное заведение! Не перекусить ли там чего-нибудь, а?

— Как вам угодно, — сказал Фредерик.

Забившись в угол кареты, он смотрел, как вдали скрывается кабриолет, и чувствовал, что произошло непоправимое и он утратил свою великую любовь. А другая любовь была тут, возле него, веселая и легкая. Но, усталый, весь во власти противоречивых стремлений, он даже не знал, чего ему хочется, и испытывал беспредельную грусть, желание умереть.

Шум шагов и голосов заставил его поднять голову; мальчишки перепрыгивали через барьер скакового круга, глазели на трибуны; все разъезжались. Упало несколько капель дождя. Скопилось множество экипажей. Юсоне исчез из виду.

— Ну, тем лучше! — сказал Фредерик.

— Предпочитаем быть одни? — спросила Капитанша и положила ладонь на его руку.

В эту минуту мимо них проехало, сверкая медью и сталью, великолепное ландо, запряженное четверкой цугом, с двумя жокеями в бархатных куртках, обшитых золотой бахромой. Г-жа Дамбрёз сидела рядом с мужем, а на скамеечке против них помещался Мартинон; у всех троих были удивленные лица.

«Они меня узнали!» — подумал Фредерик.

Розанетта потребовала остановить, — ей хотелось лучше

видеть разъезд. Но ведь опять могла появиться г-жа Арну. Он крикнул кучеру:

— Поезжай! Поезжай! Скорей!

И карета понеслась к Елисейским полям вместе с другими экипажами — колясками, бричками, английскими линейками, тендемами, тильбюри, фургонами, где за кожаными занавесками хором распевали подгулявшие мастеровые, одноконными каретами, которыми осторожно правили отцы семейств. Из битком набитой открытой коляски свешивались ноги мальчика, сидевшего у взрослых на коленях. В больших каретах с обитыми сукном сиденьями дремали пожилые дамы; неожиданно проносился великолепный рысак, впряженный в пролетку, простую и элегантную, как черный фрак денди. Дождь между тем усиливался. Появлялись зонты, парасоли, макинтоши; едущие перекликались издали: «Здравствуйте!», «Как себя чувствуете?», «Да!», «Нет!», «До свиданья!» Лица мелькали с быстротой китайских теней. Фредерик и Розанетта молчали, ошеломленные этим множеством колес, вертевшихся подле них.

Временами тесные вереницы экипажей останавливались все разом. Тогда едущие, пользуясь близким соседством, рассматривали друг друга. Из экипажей, украшенных гербами, на толпу падали равнодушные взгляды; седоки фиакров смотрели глазами, полными зависти; презрительные улыбки служили ответом на горделивую осанку богачей, широко разинутые рты выражали глупое восхищение; прохожий, очутившийся посреди мостовой, торопливо отскакивал перед всадником, который скакал между экипажами, чтобы выбраться из этой тесноты. Потом все опять приходило в движение; кучера отпускали вожжи, вытягивались их длинные бичи; возбужденные лошади встряхивали уздечками, брызгали пеной; лучи заходящего солнца пронизывали пар, подымавшийся от влажных крупов и грив. Под Триумфальную арку проникали снопы рыжеватого света, в котором вспыхивали спицы колес, ручки дверец, концы дышл, кольца седелок; по обе стороны широкого проезда, напоминавшего поток, где колыхались гривы, одежды, человеческие головы, двумя зелеными стенами возвышались деревья, блестевшие от дождя. Местами уже проглядывало голубое небо, нежное, как шелк.

Тут Фредерику вспомнились те давно прошедшие дни, когда он завидовал невыразимому счастью — сидеть в од-

ном из таких экипажей рядом с одной из таких женщин. Теперь это счастье пришло, но большой радости от него не было.

Дождь перестал. Прохожие, укрывшиеся под колоннадой морского министерства, выходили оттуда. Гуляющие шли по Королевской улице в сторону бульвара. На ступеньках министерства иностранных дел стояли зеваки.

У Китайских бань, где в мостовой были выбоины, карета замедлила ход. По краю тротуара шел человек в гороховом пальто. Грязь, брызгавшая из-под колес, залила ему спину. Человек в ярости обернулся. Фредерик побледнел: он узнал Делорье.

Выйдя у «Английского кафе», он отослал экипаж. Розанетта пошла вперед, пока он расплачивался с кучером.

Он нагнал ее на лестнице, где она разговаривала с каким-то мужчиной. Фредерик взял ее под руку. Но в коридоре ее остановил другой господин.

— Да ты иди! — сказала она.— Я сейчас!

И он вошел один в отдельный кабинет. Оба окна были распахнуты; в окнах домов на противоположной стороне улицы видны были люди. Асфальт, подсыхая, переливал муаром; магнолия, поставленная на краю балкона, наполняла комнату ароматом. Это благоухание и эта свежесть успокоили его нервы; он опустился на красный диван под зеркалом.

Вошла Капитанша и, целуя его в лоб, спросила:

— Бедняжке взгрустнулось?

— Может статься! — ответил он.

— Ну, не тебе одному! — Это должно было означать: «Забудем наши печали и насладимся счастьем вдвоем».

Потом она взяла в губы лепесток цветка и потянулась к Фредерику, чтобы он ее поцеловал. Этот жест, полный сладостной прелести и почти нежности, умилил его.

— Зачем ты мне делаешь больно? — спросил он, думая о г-же Арну.

— Делаю больно? Я?

Став перед ним, положив ему руки на плечи, она посмотрела на него прищуренными глазами.

Вся его добродетель, вся его обида потонули в безграничном малодушии.

Он продолжал:

— Ведь ты не хочешь меня любить! — И притянул ее к себе на колени.

Она не сопротивлялась; он обеими руками обнял ее за талию; слыша, как шелестит шелк ее платья, он терял голову.

— Где они? — произнес в коридоре голос Юсоне.

Капитанша порывисто встала и, пройдя на другой конец комнаты, повернулась спиной к двери.

Она потребовала устриц; сели за стол.

Юсоне не был забавен. Вынужденный каждый день писать на всевозможные темы, читать множество газет, выслушивать множество споров и говорить парадоксами, чтобы пускать пыль в глаза, он в конце концов утратил верное представление о вещах, ослепленный тусклым блеском собственных острот. Заботы жизни, некогда легкой, но теперь трудной, держали его в непрестанном напряжении, а из-за бессилия, в котором он не хотел сознаться, он становился ворчливым, язвительным. По поводу *Озаи*, нового балета, он жестоко ополчился на танцы, а по поводу танцев — на оперу; потом, по поводу оперы,— на итальянцев, которых теперь заменила труппа испанских актеров, «как будто нам еще не надоела Кастилия!». Фредерик был оскорблен в своей романтической любви к Испании и, чтобы прервать этот разговор, спросил о Французском колледже, откуда только что были исключены Эдгар Кине и Мицкевич. Но Юсоне, поклонник де Местра, объявил себя приверженцем Власти и Спиритуализма. Он сомневался в фактах самых достоверных, отрицал историю и оспаривал вещи, менее всего подлежавшие сомнению, вплоть до того, что, услышав слово «геометрия», воскликнул: «Ерунда, эта ваша геометрия!» и все время он подражал разным актерам. Главным его образцом был Сенвиль.

Это паясничанье отчаянно надоело Фредерику. Нетерпеливо ерзая на стуле, он под столом задел ногой одну из болонок — обе неистово залились лаем.

— Вы бы отослали их домой! — сказал он резко.

Розанетта никому не решилась доверить собачек.

Тогда он обратился к журналисту:

— Ну, Юсоне, принесите себя в жертву!

— Да, да, дорогой! Это было бы так мило!

Юсоне повиновался, не заставив себя просить.

Как отблагодарить его за такую любезность? Фредерик об этом не подумал. Он уже начинал радоваться, что они остались вдвоем, как вдруг вошел лакей.

— Сударыня, вас кто-то спрашивает.

— Как! Опять?

— Надо все-таки пойти взглянуть! — сказала Розанетта.

Он жаждал ее, она была нужна ему. Ее исчезновение казалось ему вероломством, почти что подлостью. Чего она хочет? Разве мало того, что она оскорбила г-жу Арну? Впрочем, тем хуже для той. Теперь он ненавидел всех женщин. Слезы душили его: любовь не нашла ответа, желания были обмануты.

Капитанша вернулась и, представляя ему Сизи, сказала:

— Я его пригласила. Не правда ли, я хорошо сделала?

— Еще бы! Конечно! — Фредерик с улыбкой мученика попросил аристократа присесть.

Капитанша стала просматривать меню, останавливаясь на причудливых названиях.

— Что, если бы нам съесть тюрбо из кролика а-ля Ришелье и пудинг по-орлеански?

— О нет! Только не по-орлеански! — воскликнул Сизи, который принадлежал к легитимистам и хотел сострить.

— Вы предпочитаете тюрбо а-ля Шамбор? — спросила она.

Такая предупредительность возмутила Фредерика.

Капитанша решила взять обыкновенное филе, раков, трюфели, салат из ананаса, ванильный шербет.

— А там видно будет. Пока ступайте... Да, совсем забыла! Принесите мне колбасы. Без чеснока.

Она называла лакея «молодым человеком», стучала ножом по стакану, швыряла в потолок хлебные шарики. Она пожелала тотчас же выпить бургонского.

— Перед едой вино не принято пить,— заметил Фредерик.

По мнению виконта, это иногда делается.

— О нет! Никогда!

— Уверяю вас, что делается!

— Ага! Вот видишь!

Она сопровождала свои слова взглядом, означавшим: «Он человек богатый, так слушайся его!»

Между тем дверь ежеминутно хлопала, раздавались визгливые голоса лакеев, а в соседнем кабинете кто-то барабанил вальс на отвратительном рояле. Разговор со скачек перешел на искусство верховой езды вообще и на две противоположные ее системы. Сизи защищал Боше,

Фредерик — графа д'Ор. Розанетта наконец пожала плечами:

— Боже мой! Довольно! Он лучше тебя знает в этом толк, поверь!

Она ела гранат, облокотившись на стол; пламя свечей в канделябрах дрожало перед нею от ветра; яркий свет пронизывал ее кожу переливами перламутра, румянил веки, зажигал блеск в глазах; багрянец плода сливался с пурпуром ее губ, тонкие ноздри вздрагивали; во всем ее облике проступало что-то дерзкое, пьяное и распутное; это раздражало Фредерика, и в то же время в его сердце вспыхивало безумное желание.

Затем она спокойно спросила, чье это было большое ландо с лакеем в коричневой ливрее.

— Графини Дамбрёз,— ответил Сизи.

— Они очень богаты, да?

— О! Чрезвычайно богаты! Хотя у госпожи Дамбрёз — она всего-навсего урожденная Бутрон, дочь префекта,— состояние небольшое.

Муж ее, напротив, получил, как говорят, несколько наследств. Сизи перечислил, от кого и сколько; бывая у Дамбрёзов, он хорошо знал их историю.

Фредерик, желая досадить Сизи, упорно ему противоречил. Он утверждал, что г-жа Дамбрёз — урожденная де Бутрон, упирал на ее дворянское происхождение.

— Не все ли равно! Мне бы хотелось иметь такую коляску! — сказала Капитанша, откидываясь в кресле.

Рукав ее платья немного отвернулся, и на левой руке блеснул браслет с тремя опалами.

Фредерик заметил его.

— Постой! Что это?..

Все трое переглянулись и покраснели.

Дверь осторожно приоткрылась, показались сперва поля шляпы, а затем профиль Юсоне.

— Простите, я помешал вам, влюбленная парочка!

Он остановился, удивленный, что видит Сизи и что Сизи занял его место.

Подали еще один прибор. Юсоне был очень голоден и потому наудачу хватал остатки обеда, мясо с блюда, фрукты из корзины, держал в одной руке стакан, в другой вилку и рассказывал в то же время, как он выполнил поручение. Собачки доставлены в целости и сохранности. Дома ничего нового. Кухарку он застал с солдатом — этот эпизод Юсоне сочинил только для того, чтобы произвести впечатление.

Капитанша сняла с вешалки свою шляпу. Фредерик бросился к звонку и еще издали крикнул слуге:

— Карету!

— У меня есть карета,— сказал виконт.

— Помилуйте, сударь!

— Позвольте, сударь!

Они уставились друг на друга; оба были бледны, руки у них дрожали.

Капитанша наконец взяла под руку Сизи и, указывая на занятого едой Юсоне, проговорила:

— Уж позаботьтесь о нем — он может подавиться. Мне бы не хотелось, чтобы его преданность к моим собачонкам погубила его!

Дверь захлопнулась.

— Ну? — сказал Юсоне.

— Что — ну?

— Я думал...

— Что же вы думали?

— Разве вы не...

Фразу он дополнил жестом.

— Да нет! Никогда в жизни.

Юсоне не настаивал.

Напросившись на обед, он преследовал особую цель. Так как его газета, называвшаяся теперь не *Искусство*, а *Весельчак*, с эпиграфом: «Канониры, по местам!» — отнюдь не процветала, ему хотелось превратить ее в еженедельное обозрение, которое он издавал бы сам, без помощи Делорье. Он заговорил о своем старом проекте и изложил новый план.

Фредерик, не понимавший, по-видимому, в чем дело, отвечал невпопад. Юсоне схватил со стола несколько сигар, сказал: «Прощай, дружище»,— и скрылся.

Фредерик потребовал счет. Счет был длинный, а пока гарсон с салфеткой под мышкой ожидал уплаты, подошел второй — бледный субъект, похожий на Мартинона, и сообщил:

— Прошу прощения, забыли внести в счет стоимость фиакра.

— Какого фиакра?

— Того, что отвозил барина с собачками.

Лицо гарсона вытянулось, как будто ему жаль было бедного молодого человека. Фредерику захотелось дать ему пощечину. Он оставил ему на водку все двадцать пять франков сдачи.

— Благодарю, ваша светлость! — сказал человек с салфеткой, низко кланяясь.

Весь следующий день Фредерик предавался гневу и мыслям о своем унижении. Он упрекал себя, что не дал пощечины Сизи. А с Капитаншей он клялся больше не встречаться, в других столь же красивых женщинах не будет недостатка; так как для того, чтобы обладать ими, нужны деньги, он продаст свою ферму, будет играть на бирже, разбогатеет, своею роскошью сразит Капитаншу да и весь свет. Когда настал вечер, его удивило, что он ни разу не подумал о г-же Арну.

«Тем лучше! Что толку?»

На третий день, в восемь часов утра, его посетил Пелерен. Он начал с похвал обстановке, с любезностей. Потом вдруг спросил:

— Вы были в воскресенье на скачках?

— Увы, да!

Художник начал возмущаться английскими лошадьми, восхвалять лошадей Жерико, коней Парфенона.

— С вами была Розанетта?

Он ловко начал расхваливать ее.

Холодность Фредерика его смутила. Он не знал, как заговорить о портрете.

Первоначально он намеревался написать портрет в манере Тициана. Но мало-помалу его соблазнил богатый колорит модели, и он дал себе полную волю, накладывая слой за слоем, нагромождая пятна света. Сперва Розанетта была в восторге; ее свидания с Дельмаром прервали эти сеансы, и Пелерен на досуге только и делал, что восхищался самим собой. Затем, когда восхищение улеглось, он спросил себя, достаточно ли величия в картине. Он сходил посмотреть полотна Тициана, понял разницу, признал свое заблуждение и стал отделывать контуры; затем он попытался, ослабив их, слить, сблизить тона головы и фон картины, и лицо стало отчетливее, тени внушительнее, во всем появилась большая четкость. Наконец Капитанша снова пришла. Она даже позволила себе делать замечания. Художник, разумеется, стоял на своем. Он приходил в бешенство от ее глупости, но потом сказал себе, что, может быть, она и права. Тогда начался период сомнений, бесплодных усилий, которые вызывают спазмы в желудке, бессонницу, лихорадку, отвращение к самому себе; у него хватило мужества поправить картину, но делал он это неохотно, чувствуя, что работа его неудачна.

Жаловался он вслух лишь на то, что картину отказались принять на выставку, затем упрекнул Фредерика — ведь тот даже не зашел взглянуть на портрет Капитанши.

— Какое мне дело до Капитанши!

Эти слова придали смелости Пелерену.

— Представьте себе, теперь этой дуре портрет больше не нужен!

Он не сказал, что потребовал с нее тысячу экю. Капитанше было все равно, кто заплатит за портрет, но, предпочитая получать от Арну вещи более необходимые, она просто ничего не сказала ему о портрете.

— А что же Арну? — спросил Фредерик.

Розанетта уже посылала к нему Пелерена. Бывшему торговцу картинами портрет оказался не нужен.

— Он утверждает, что эта вещь принадлежит Розанетте.

— Действительно, это ее собственность.

— Как! А она прислала меня к вам,— сказал Пелерен.

Если бы он верил в совершенство своего произведения, то, быть может, и не подумал бы о том, чтобы его сбыть. Но известная сумма (притом сумма значительная) могла бы явиться опровержением критиков и подспорьем для него самого. Чтобы отделаться от художника, Фредерик вежливо спросил его о цене.

Чудовищная цифра возмутила его.

— Нет, нет! — сказал он.

— Но ведь вы ее любовник, вы заказали мне картину!

— Позвольте, я был посредником!

— Но не может же портрет остаться у меня!

Художник пришел в бешенство.

— Я никогда не думал, что вы такой жадный!

— А я не думал, что вы такой скупой! Слуга покорный!

Не успел он уйти, как явился Сенекаль.

Фредерик смутился, встревожился.

— Что случилось?

Сенекаль рассказал целую историю:

— В субботу, часов в девять, госпожа Арну получила письмо, ее вызывали в Париж. Случайно не оказалось никого, кто мог бы отправиться в Крейль за экипажем, и она вздумала послать меня. Я отказался, потому что это не входит в мои обязанности. Она уехала и вернулась в воскресенье вечером. Вдруг вчера утром на фабрике появляется Арну. Бордоска ему нажаловалась. Не знаю, что

у них там такое, но он при всех сложил с нее штраф. У нас произошел крупный разговор. Словом, он меня рассчитал — вот и все! Впрочем, я не раскаиваюсь,— прибавил Сенекаль, отчеканивая слова,— я исполнил свой долг. Но все равно, это ваша вина.

— Почему моя? — воскликнул Фредерик, опасаясь, как бы тот не догадался.

Сенекаль, очевидно, ни о чем не догадывался, он продолжал:

— Да если бы не вы, я, быть может, пашел бы что-нибудь получше.

Фредерик испытывал нечто похожее на угрызения совести.

— Чем я теперь могу вам быть полезен?

Сенекаль просил устроить ему какое-нибудь занятие, какое-нибудь место.

— Вам это легко. У вас столько знакомых, в том числе и господин Дамбрёз, как мне говорил Делорье.

Другу Делорье упоминание о нем было неприятно. После встречи на Марсовом поле он вовсе не собирался посещать Дамбрёзов.

— Я недостаточно с ними близок, чтобы кого-нибудь рекомендовать им.

Демократ стоически перенес этот отказ и, немного помолчав, сказал:

— Я уверен, что всему причиной Бордоска да еще ваша госпожа Арну.

Слова «ваша госпожа Арну» убили в сердце Фредерика всякое желание ему помочь. Однако из деликатности он взял ключ от своего бюро.

Сенекаль предупредил его.

— Благодарю вас!

Затем, позабыв о своих невзгодах, Сенекаль заговорил о государственных делах, об орденах, которые щедро раздаются в день рождения короля, о смене кабинета, о процессах Друйара и Бенье, наделавших много шума, он возмущался буржуазией и предрекал революцию.

Его взгляды привлек висевший на стене японский кинжал. Он взял его, потрогал рукоятку, потом брезгливо бросил на диван.

— Ну, прощайте! Мне пора к Лоретской богоматери.

— Вот как! Зачем?

— Сегодня годовщина смерти Годфруа Кавеньяка. Он-то умер на посту! Но не все еще кончено. Посмотрим!

Сенекаль бодро протянул ему руку.

— Мы не увидимся, быть может, никогда. Прощайте!

Это дважды повторенное «прощайте», взгляд из-под насупленных бровей, брошенный на кинжал, эта покорность судьбе и, главное, эта торжественность настроили Фредерика на мечтательный лад. Вскоре он перестал думать о Сенекале.

На той же неделе гаврский нотариус прислал Фредерику деньги, вырученные от продажи фермы: сто семьдесят четыре тысячи франков. Он разделил сумму на две части; одну положил в банк, другую отнес биржевому маклеру, чтобы начать игру на бирже.

Он обедал в модных ресторанах, посещал театры и старался развлекаться. Среди таких занятий его застало письмо Юсоне, весело сообщавшего ему, что Капитанша на другой же день после скачек оставила Сизи. Это обрадовало Фредерика; он не стал задумываться, почему повеса Юсоне пишет ему об этом.

Три дня спустя случай привел его встретиться с Сизи. Молодой дворянин проявил полное самообладание и даже пригласил его обедать в среду на следующей неделе.

Утром этого дня Фредерик получил от судебного пристава бумагу, в которой г-н Шарль-Жан-Батист Удри извещал его, что, согласно определению суда, к нему перешло имение, находящееся в Бельвиле и принадлежавшее г-ну Жаку Арну, и что он готов уплатить двести двадцать три тысячи франков — стоимость имения. Но из того же уведомления явствовало, что сумма, за которую оно было заложено, превышает его стоимость, а потому долговое обязательство, данное Фредерику, утрачивает свою силу.

Вся беда случилась оттого, что в свое время срок действия закладной не был продлен. Арну взялся сделать это и забыл. Фредерик рассердился на него, а когда гнев прошел, сказал себе: «Ну, чего уж там!.. Если эти деньги могут его спасти, тем лучше! Я от этого не умру! Не стоит и думать о них!»

Но, разбирая бумаги у себя на столе, он опять натолкнулся на письмо Юсоне и обратил внимание на постскриптум, которого в первый раз не заметил. Журналист просил пять тысяч франков, не больше и не меньше, чтобы наладить дела газеты.

— И надоел же он!

Фредерик послал Юсоне лаконичную записку с резким

отказом и стал одеваться, чтобы ехать на обед в «Золотой дом».

Сизи представил ему своих гостей, начав с самого почтенного — толстого седовласого господина:

— Маркиз Жильбер дез Оне, мой крестный отец. Господин Ансельм де Форшамбо,— сказал он о другом госте (то был белокурый и хилый молодой человек, уже лысый), затем указал на мужчину лет сорока, державшего себя просто: — Жозеф Бофре, мой двоюродный брат; а вот мой старый наставник, господин Везу.— Это был человек, похожий не то на ломового извозчика, не то на семинариста, с большими бакенбардами, и в длинном сюртуке, застегнутом на одну нижнюю пуговицу, так что он топорщился на груди.

Сизи ожидал еще одно лицо — барона де Комена, который «обещал быть, но не наверно». Он каждую минуту выходил, казался взволнованным. Наконец в восемь часов все перешли в залу, великолепно освещенную и слишком просторную для такого числа гостей. Сизи выбрал ее нарочно для большей торжественности.

Ваза из позолоченного серебра, в которой были и цветы и фрукты, занимала середину стола, уставленного, по старинному французскому обычаю, серебряными блюдами; их окаймляли небольшие блюда с соленьями и пряностями; возвышались кувшины с замороженным розовым вином, пять бокалов разной высоты стояли перед каждым прибором, снабженным множеством замысловатых приспособлений для еды, назначение которых было неизвестно. И уже на первую перемену были поданы: осетровая головизна в шампанском, йоркская ветчина, вымоченная в токайском, дрозды в сухарях, жареные перепелки, волован под бешемелью, соте из красных куропаток и, наконец, по обе стороны всех этих яств — картофельный салат с трюфелями. Люстра и жирандоли освещали залу, стены были обтянуты красным шелком. За креслами, обитыми сафьяном, стояли четыре лакея во фраках. При этом зрелище гости не могли удержаться от возгласов восхищения, в особенности наставник.

— Право, наш амфитрион совсем забыл о благоразумии. Это слишком!

— Что вы! — сказал виконт де Сизи.— Пустяки! — И, проглотив первую ложку, спросил: — Ну как же, дорогой дез Оне, смотрели вы в «Пале-Рояль» *Отца и дворника?*

— Ты же знаешь, что у меня нет времени! — ответил маркиз.

По утрам он был занят, так как слушал курс лесоводства, вечером посещал сельскохозяйственный клуб, а днем изучал на заводах производство земледельческих машин. Проводя три четверти года в Сентонже, он пользовался пребыванием в столице для пополнения своих знаний, и его широкополая шляпа, которую он положил на консоль, была полна брошюр.

Сизи заметил, что г-н де Форшамбо отказывается от вина.

— Пейте же, право! Сплоховали вы, ведь это ваш последний холостой обед!

При этих словах все стали раскланиваться и поздравлять жениха.

— А юная особа очаровательна, не правда ли? — спросил наставник.

— Еще бы! — воскликнул Сизи.— Как бы то ни было, он не прав: жениться — так глупо!

— Ты судишь легкомысленно, друг мой,— возразил г-н дез Оне, в глазах которого появились слезы: он вспомнил свою покойницу.

А Форшамбо, посмеиваясь, несколько раз кряду повторил:

— Сами тем же кончите! Вот увидите!

Сизи не соглашался. Он предпочитал развлекаться, вести образ жизни «во вкусе Регентства». Он хотел изучить приемы драки, чтобы посещать кабаки Старого города, как принц Родольф в *Парижских тайнах;* извлек из кармана короткую трубку, был груб с прислугой, пил чрезвычайно много и, чтобы внушить высокое мнение о себе, бранил все кушанья, а трюфеля велел унести; и наставник, лакомившийся ими, сказал, чтобы ему угодить:

— Да, это не то, что яйца в сабайоне, которые готовили у вашей бабушки!

Он возобновил разговор со своим соседом-агрономом, который считал, что жизнь в деревне имеет много преимуществ, позволяя ему, например, воспитывать в своих дочерях любовь к простоте. Наставник приветствовал такие взгляды и грубо льстил ему, думая, что тот имеет влияние на его воспитанника, к которому ему втайне хотелось попасть в управители.

Фредерик был зол на Сизи. Глупость виконта его обезоружила. Но жесты Сизи, его лицо — все в нем напоминало

Фредерику обед в «Английском кафе», и это все сильнее раздражало его; он не без удовольствия прислушивался к нелюбезным замечаниям, которые вполголоса делал кузен Жозеф, добрый малый без всякого состояния, страстный охотник и биржевой игрок. Сизи в шутку несколько раз назвал его плутом; потом вдруг воскликнул:

— А, вот и барон!

Вошел мужчина лет тридцати с грубоватым лицом и вкрадчивыми движениями; шляпу он носил набекрень, в петлицу вдел цветок. То был идеал виконта. В восторге от такого гостя, вдохновленный его присутствием, он решился сказать каламбур по поводу глухаря, которого как раз подавали:

— Вот глухарь — он глух, но не глуп!

Сизи забросал г-на де Комена вопросами о разных лицах, неизвестных остальным гостям,— наконец, словно вспомнив что-то, спросил:

— А скажите, вы подумали обо мне?

Тот пожал плечами:

— Рано вам, малыш! Нельзя!

Сизи просил г-на де Комена ввести его в свой клуб. Барон, сжалившись, очевидно, над самолюбивым юнцом, сказал:

— Чуть было не забыл! Поздравляю, дорогой мой: ведь вы выиграли пари!

— Какое пари?

— Да там, на скачках, вы утверждали, что в тот же вечер будете у этой дамы.

Фредерик испытал такое чувство, словно его хлестнули бичом. Но он сразу успокоился, увидев смущенное лицо Сизи.

Действительно, уже на другой день, как только появился Арну, прежний ее любовник, *ее* Арну, Капитанша раскаялась. Они дали понять виконту, что тот лишний, и выставили вон, нимало не церемонясь.

Он сделал вид, что не расслышал. Барон прибавил:

— Что поделывает милейшая Роза? У нее все такие же красивые ножки? — Он хотел показать, что близко с нею знаком.

Фредерика обозлило это открытие.

— Тут нечего краснеть,— продолжал барон.— Оно неплохо!

Сизи щелкнул языком.

— Да и не так уж хорошо!

— Вот как?

— Конечно! Во-первых, я не вижу в ней ничего особенного, а потом таких, как она, можно найти сколько угодно. Ведь как-никак это... товар!

— Не для всех! — раздраженно возразил Фредерик.

— Ему кажется, что он не такой, как все! — сказал Сизи.— Вот чудак!

Гости засмеялись.

У Фредерика сердце так сильно билось, что он задыхался. Он выпил залпом два стакана воды.

Но у барона сохранились приятные воспоминания о Розанетте.

— Она по-прежнему с неким Арну?

— Ничего не могу сказать,— ответил Сизи.— Я не знаю этого господина!

Тем не менее он стал утверждать, что Арну мошенник.

— Позвольте! — крикнул Фредерик.

— Да это же всем известно! У него даже был процесс!

— Неправда!

Фредерик вступился за Арну. Он ручался за его честность, сам поверил в нее, придумывал цифры, доказательства. Виконт, обозленный и к тому же пьяный, упрямился. Фредерик строго спросил его:

— Вы хотите меня оскорбить?

Взгляд, брошенный им на виконта, был жгуч, как кончик его сигары.

— О, ничуть! Я даже согласен, что у него есть нечто весьма хорошее: его жена.

— Вы ее знаете?

— Еще бы! Софи Арну — кто ее не знает.

— Как вы сказали?

Сизи поднялся и, запинаясь, повторил:

— Кто ее не знает!

— Замолчите! Она не из тех, у кого вы бываете!

— Надеюсь!

Фредерик швырнул ему в лицо тарелку.

Она молнией пролетела над столом, повалила две бутылки, разбила салатник, раскололась на три части, ударившись о серебряную вазу, и угодила виконту в живот.

Все вскочили, чтобы удержать Сизи. Он отбивался, кричал, был в ярости. Г-н дез Оне твердил:

— Успокойтесь! Ну полно, дитя мое!

— Но это же ужасно! — вопил наставник.

Форшамбо был бледен как полотно и дрожал; Жозеф

громко хохотал; лакеи вытирали вино, поднимали с пола осколки, а барон затворил окно, потому что, несмотря на стук экипажей, шум могли услышать на бульваре.

В ту минуту, когда Фредерик бросил тарелку, все говорили разом; поэтому осталось невыясненным, что дало повод к оскорблению, кто был причиной — сам Арну, г-жа Арну, Розанетта или еще кто-нибудь. Несомненно было одно — ни с чем не сравнимая грубость Фредерика, но он решительно отказался выразить хоть малейшее сожаление.

Господин дез Оне попытался смягчить его, кузен Жозеф также; о том же старались наставник и даже Форшамбо. Барон тем временем успокаивал Сизи, который проливал слезы, ослабев от нервного потрясения. Раздражение Фредерика, напротив, все росло, и дело, может быть, не разрешилось бы до самого утра, если бы барон не сказал, чтобы положить этому конец:

— Милостивый государь! Виконт пришлет к вам завтра своих секундантов.

— В котором часу?

— В полдень, если разрешите.

— К вашим услугам, милостивый государь.

Очутившись на улице, Фредерик вздохнул полной грудью. Слишком уж долго он сдерживался: наконец-то он дал себе волю! Он чувствовал какую-то мужественную гордость, прилив внутренней силы, которая опьяняла его. Ему требовались два секунданта. Первый, о ком он подумал, был Режембар, и он тотчас же направился в известный ему кабачок на улице Сен-Дени. Ставни были закрыты, но в окошке над дверью блестел свет. Дверь открылась, и он вошел, низко наклонив голову, чтобы не задеть навес.

В пустом помещении горела свечка, поставленная на прилавок у самого края. Все табуреты ножками вверх стояли на столах. Хозяин с хозяйкой и слуга ужинали в углу, у двери в кухню; Режембар, не сняв шляпы, разделял их трапезу и стеснял слугу, который сидел боком и при каждом глотке принужден был поворачиваться к столу. Фредерик коротко рассказал Режембару, в чем дело, и объяснил свою просьбу. Гражданин сперва ничего не ответил; он хмурился, как будто раздумывал, несколько раз обошел комнату и наконец сказал:

— Хорошо, с удовольствием!

Кровожадная улыбка осветила его лицо, когда он узнал, что противник — аристократ.

— Уж мы не дадим ему спуску, будьте спокойны! Во-первых, дуэль на шпагах...

— Но, может быть,— заметил Фредерик,— я не имею права...

— Говорят вам — надо драться на шпагах! — резко возразил Гражданин.— Вы умеете фехтовать?

— Немножко.

— А-а, немножко! Все они таковы! А туда же, рвутся в бой! Будто чему-нибудь научились на уроках фехтования! Слушайте: сохраняйте дистанцию, не выходя из круга, и отступайте, отступайте. Измотайте противника! Потом нападайте открыто! А главное — никаких хитростей, никаких ударов в духе Ла Фужера! Нет, просто раз-два, отбой. Вот смотрите! Надо поворачивать кисть, как будто вы отпираете ключом... Дядюшка Вотье, дайте-ка вашу трость! Ага! Вот это мне и нужно.

Он схватил палку, с помощью которой зажигали газ, округлил правую руку, согнул левую в локте и стал наносить удары стене. Он притопывал ногой, оживился и, делая вид, будто встречает препятствия, кричал: «Попался, а? Попался?» — и на стене вырисовывался его огромный силуэт, а шляпа словно касалась потолка. Хозяин время от времени приговаривал: «Браво! Прекрасно!» Супруга его тоже восхищалась, хоть и была взволнована, а Теодор, бывший солдат, к тому же ярый поклонник Режембара, от изумления прирос к полу.

На следующий день рано утром Фредерик поспешил в магазин — место службы Дюсардье. Миновав ряд помещений, где полно было материй, сложенных на полках или выставленных на прилавках, а на деревянных подставках в виде грибов висели шали, он обнаружил Дюсардье в какой-то клетке, за решеткой, среди счетных книг: он писал, стоя за конторкой. Славный малый тотчас же бросил свои дела.

Секунданты прибыли ровно в двенадцать. Фредерик счел более приличным не присутствовать при переговорах.

Барон и г-н Жозеф заявили, что их удовлетворит самое простое извинение. Но Режембар, державшийся правила никогда не уступать и считавший своим долгом защищать честь Арну (Фредерик ни о чем другом ему не говорил), потребовал, чтобы извинения принес виконт. Г-н де Комен был возмущен такой наглостью. Гражданин не же-

лал идти на уступки. Примирение стало невозможным, было решено драться.

Возникли новые затруднения, так как по правилам выбор оружия принадлежал оскорбленному, то есть Сизи. Но Режембар утверждал, что, посылая вызов, виконт тем самым выступает как оскорбитель. Секунданты Сизи возмутились: ведь пощечина как-никак жесточайшее оскорбление. Но Гражданин, придравшись к словам, возразил, что удар не пощечина. Наконец решено было обратиться к военным, и все четыре секунданта ушли, чтобы где-нибудь в казармах посоветоваться с офицерами.

Они остановились у казармы на набережной Орсе. Г-н де Комен обратился к двум капитанам и изложил им предмет спора.

Капитаны сперва ничего не поняли, так как замечания, которые вставлял Гражданин, только путали дело. В конце концов они предложили секундантам составить протокол, прочитав который они смогут вынести решение. Перешли в кафе. Из осторожности в протоколе Сизи был обозначен буквой «Г», а Фредерик — буквой «К».

Потом вернулись в казарму. Офицеров не было. Но скоро они показались и объявили, что выбор оружия, несомненно, принадлежит г-ну Г. Все отправились к Сизи. Режембар и Дюсардье остались на улице.

Виконт, узнав об этом решении, так взволновался, что несколько раз заставил повторить его, а когда г-н де Комен заговорил о требованиях Режембара, он пролепетал: «Однако же...» — втайне склоняясь к тому, чтобы согласиться на них. Потом он рухнул в кресло и заявил, что драться не будет.

— Как? Что? — спросил барон.

И тут из уст Сизи полился беспорядочный поток слов. Он хотел стрелять в упор, через платок, и чтобы пистолет был один.

— Или пусть в стакан насыплют мышьяку и бросят жребий. Это иногда делается, я читал!

Барон, человек нрава не особенно терпеливого, оборвал его:

— Господа секунданты ждут вашего ответа. Это неприлично, в конце концов! Что вы выбираете? Ну! Шпагу, что ли?

Виконт кивнул головой, что означало «да», и дуэль была назначена на следующее утро, ровно в семь часов, у заставы Майо.

Дюсардье был вынужден вернуться к себе в магазин; сообщить обо всем Фредерику пошел Режембар.

Фредерик целый день оставался без вестей; его нетерпение перешло всякие пределы.

— Тем лучше! — воскликнул он.

Гражданин был доволен его самообладанием.

— От нас требовали извинений, вообразите! Пустяк, одно какое-нибудь словечко! Но я им показал! Ведь я так и должен был поступить, не правда ли?

— Разумеется,— сказал Фредерик и подумал, что лучше было бы пригласить другого секунданта.

Потом, уже оставшись один, он несколько раз повторил вслух:

— Я буду драться на дуэли. Да, я буду драться! Странно!

Расхаживая по комнате, он заметил в зеркале, что лицо у него побледнело.

«Уж не трушу ли я?»

Страшное беспокойство овладело им при мысли, что на дуэли он оробеет.

«А что, если меня убьют? Ведь отец тоже погиб на дуэли. Да, меня убьют!»

И вдруг ему представилась мать в трауре; бессвязные образы замелькали у него перед глазами. Он пришел в отчаяние от своего малодушия. И его обуял порыв храбрости, охватила жажда истребления. Он не отступил бы перед целым батальоном. Когда возбуждение улеглось, он с радостью почувствовал, что непоколебим. Чтобы рассеяться, он пошел в театр, где давали балет, послушал музыку, поглядел на танцовщиц, а в антракте выпил стакан пунша. Но, увидев дома свой кабинет, обстановку, среди которой находился, быть может, в последний раз, ощутил какую-то слабость.

Фредерик спустился в садик. Сверкали звезды; он предался их созерцанию. Мысль, что он будет драться за женщину, возвышала, облагораживала его в собственных глазах. И он спокойно лег спать.

Иначе вел себя Сизи. Когда барон уехал, Жозеф сделал попытку пробудить в нем бодрость, но так как виконт не поддавался уговорам, он предложил:

— Однако, любезный, если ты предпочитаешь замять дело, я пойду скажу им.

Сизи не решился ответить: «Да, конечно»,— но затаил злобу на своего кузена, который не оказал ему этой услуги без его ведома.

Виконту хотелось, чтобы Фредерик умер этой ночью от апоплексического удара или чтобы вспыхнуло восстание и наутро оказалось столько баррикад, что пробраться в Булонский лес было бы невозможно; или чтобы какое-нибудь препятствие помешало явиться одному из секундантов, ибо за отсутствием секунданта поединок не состоится. Он жаждал уехать на курьерском поезде все равно куда. Жалел, что не знает медицины, а то принял бы какое-нибудь безвредное снадобье, уснул бы, и окружающие сочли бы его мертвым. Он дошел до того, что стал мечтать о каком-нибудь тяжелом заболевании.

Ища совета и поддержки, он послал за г-ном дез Оне. Оказалось, что этот достойный человек уехал к себе в Сентонж, получив депешу о болезни одной из дочерей. Сизи это показалось дурным предзнаменованием. К счастью, зашел г-н Везу, его наставник. Тут начались излияния.

— Что делать? Боже мой, что делать?

— Я бы на вашем месте, граф, нанял на Крытом рынке какого-нибудь молодца, и тот вздул бы его.

— Он поймет, кто его подослал! — возразил Сизи. Время от времени он испускал стон; наконец спросил: — А разве закон разрешает драться на дуэли?

— Это пережиток варварства! Что поделаешь!

Педагог из сочувствия к виконту сам напросился на обед. Воспитанник ничего не ел, а после обеда почувствовал потребность прогуляться.

Когда они проходили мимо церкви, он сказал:

— Не заглянуть ли... так, ненадолго?

Господин Везу охотно согласился и даже предложил ему святой воды.

Был май, престол утопал в цветах, слышалось пение, звучал орган. Но молиться виконт не мог; богослужение напоминало ему о похоронах, в ушах как будто раздавались невнятные слова *De Profundis*...[1]

— Пойдемте! Мне не по себе!

Всю ночь они играли в карты. Виконт старался проигрывать, чтобы умилостивить рок, и г-н Везу этим воспользовался. Уже на рассвете измученный Сизи уронил голову на зеленое сукно и погрузился в дремоту, полную неприятных сновидений.

Однако если храбрость есть желание побороть слабость,

---

[1] «Из глубины воззвах...» *(лат.)*.

то виконт оказался храбрым, ибо, увидев секундантов, которые пришли за ним, он взял себя в руки,— самолюбие подсказывало ему, что отступление его погубит. Г-н де Комен похвалил его за бодрость.

Но, сидя в фиакре, от тряски и утреннего солнца он ослабел. Душевные силы покинули его. Он даже не узнавал улиц.

Барон развлечения ради усиливал его страх, заговаривая о «трупе», который придется тайком провезти в город. Жозеф отвечал в том же духе. Оба они, считая всю эту историю смехотворной, были убеждены, что все уладится.

Сизи ехал, понурив голову; он медленно поднял ее и заметил, что не взяли с собой врача.

— Это ни к чему,— сказал барон.

— Так, значит, опасности нет?

Жозеф ответил торжественно:

— Будем надеяться!

И в карете никто больше не проронил ни слова.

В десять минут восьмого прибыли к заставе Майо. Фредерик и его секунданты находились уже там, все трое одетые в черное. Режембар вместо обычного галстука надел галстук военных на конском волосе; в руках у него был длинный ящик вроде футляра для скрипки, всегда фигурирующий в подобных случаях. Дуэлянты холодно обменялись поклонами. Затем все направились в глубь Булонского леса, по Мадридской дороге, чтобы выбрать подходящее место.

Режембар сказал Фредерику, который шел между ним и Дюсардье:

— Ну, как вы справились со страхом? Если вам что-нибудь нужно — не стесняйтесь, я ведь понимаю! Человеку свойственно бояться.— И, понизив голос, добавил: — Не курите, курение расслабляет.

Фредерик бросил сигару, которая ему мешала, и твердым шагом продолжал путь. Виконт шел сзади, поддерживаемый своими секундантами.

Навстречу изредка попадались прохожие. Небо было голубое, порой в траве раздавался шорох — это прыгали кролики. На повороте тропинки женщина в клетчатом платке разговаривала с мужчиной в блузе, по большой аллее, обсаженной каштанами, конюхи в полотняных куртках прогуливали лошадей. Сизи вспоминались те счастливые дни, когда с моноклем в глазу, верхом на своем

рыжем жеребце он гарцевал рядом с какой-нибудь коляской; воспоминания еще усилили его тоску; мучила невыносимая жажда; жужжание мух сливалось с пульсацией собственной крови; ноги вязли в песке; ему казалось, что путь продолжается целую вечность.

Секунданты, не останавливаясь, пристально смотрели по сторонам. Начали обсуждать, куда идти — к Каталанскому кресту или к Багательской стене. Наконец свернули направо и, дойдя до рощицы, остановились под соснами.

Место выбрали так, чтобы обоих противников поставить в одинаковые условия. Отметили, куда им следует стать. Режембар отпер свой ящик. В нем па красной сафьяновой подушке лежали четыре великолепные шпаги с выемкой посредине, с филигранными украшениями на рукоятках. Яркий луч, прорезав листву, упал на шпаги, и Сизи они показались серебряными змеями, сверкнувшими над лужей крови.

Гражданин показал, что все они равной длины; третью он взял сам, чтобы в случае необходимости разнять противников. Г-н де Комен держал трость. Наступило молчание, на всех лицах читалась растерянность или жестокость.

Фредерик снял сюртук и жилет. Жозеф помог Сизи сделать то же самое; когда тот развязал галстук, все заметили, что у него на шее образок. У Режембара это вызвало улыбку презрительной жалости.

Тогда г-н де Комен (чтобы дать Фредерику еще минуту на размышление) попытался кое к чему придраться. Он оговаривал право надеть перчатку, схватить шпагу противника левой рукой; Режембару не терпелось приступить к делу, и он не возражал. Наконец барон обратился к Фредерику:

— Все зависит от вас! В признании своих ошибок нет ничего постыдного.

Дюсардье в знак согласия кивнул головой. Гражданин пришел в негодование:

— Что же, по-вашему, мы сюда в игрушки играть пришли, черт побери? По местам!

Противники стояли друг против друга, секунданты по бокам. Режембар крикнул:

— Начинайте!

Сизи смертельно побледнел. Кончик его шпаги задрожал, как хлыст. Он запрокинул голову, раскинул руки и упал на спину, лишившись чувств. Жозеф поднял виконта

и, поднеся к его носу флакон с солью, стал трясти изо всех сил. Тот открыл глаза и вдруг, как безумный, ринулся к своей шпаге. Фредерик держал шпагу наготове и ждал противника, глядя прямо перед собой.

— Остановитесь! Остановитесь! — донесся с дороги чей-то голос. Раздался топот лошади, мчавшейся во весь опор; сучья ломались о верх кабриолета. Какой-то человек, высунувшись из экипажа, махал платком и продолжал кричать: — Остановитесь! Остановитесь!

Господин де Комен, думая, что это вмешалась полиция, поднял трость:

— Довольно! Перестаньте! Виконт ранен!

— Я ранен? — спросил виконт.

В самом деле, падая, он оцарапал себе большой палец левой руки.

— Да это когда он упал,— пояснил Гражданин.

Барон притворился, что не расслышал.

Из кабриолета выскочил Арну.

— Я опоздал? Нет? Слава богу!

Он схватил в охапку Фредерика, ощупывал его, покрывал поцелуями его лицо.

— Я знаю причину: вы заступились за старого друга! Это прекрасно! Да, прекрасно! Никогда этого не забуду! Какой вы чудесный человек! Ах, милое дитя!

Он не отрывал от него глаз, смеялся и плакал от радости.

Барон обернулся к Жозефу:

— Думаю, мы лишние на этом маленьком семейном празднике. Все ведь кончено, господа, не правда ли? Виконт, подвяжите руку. Вот, возьмите мой платок.— И с повелительным жестом прибавил: — Полно же! Миритесь! Таков обычай.

Противники нехотя обменялись рукопожатием. Виконт, г-н де Комен и Жозеф удалились в одну сторону, Фредерик со своими приятелями — в другую.

Поблизости находился ресторан «Мадрид», и Арну предложил зайти туда выпить по кружке пива.

— Можно бы и позавтракать,— сказал Режембар.

Но Дюсардье спешил: пришлось ограничиться легкой закуской в саду. Все четверо пребывали в том блаженном состоянии, какое наступает вслед за счастливой развязкой. Гражданин все же досадовал, что дуэль прервали в самый интересный момент.

Арну узнал о ней от приятеля Режембара, некоего

Компена, и в великодушном порыве поспешил в Булонский лес, чтобы помешать дуэли, считая себя ее причиной. Но попросил Фредерика рассказать подробности. Фредерику, которого тронула привязанность Арну, было совестно поддерживать в нем заблуждение.

— Бога ради, довольно об этом!

В его сдержанности Арну увидел проявление деликатности. И тут же, с обычным своим легкомыслием, он перешел на другую тему:

— Что нового, Гражданин?

Они заговорили о векселях, платежных сроках. Чтобы устроиться поудобнее, пересели к другому столу и стали шептаться.

Фредерик разобрал слова:

— Вы мне подпишете?

— Да. Но вы-то, разумеется...

— Я наконец перепродал за триста! Выгодное дело, право!

Словом, было ясно, что Арну и Гражданин обделывают вместе какие-то дела.

Фредерик хотел напомнить Арну о своих пятнадцати тысячах. Но давешнее его появление исключало возможность упреков, даже самых мягких. К тому же давала себя знать усталость. Место было неподходящее. Он отложил разговор до другого раза.

Арну, сидя в тени жасминного куста, курил и был очень весел. Окинув взглядом двери отдельных кабинетов, которые все выходили в сад, он сказал, что бывал здесь прежде очень часто.

— И не один, наверно? — спросил Гражданин.

— Еще бы!

— Какой вы шалопай. А ведь женатый человек!

— Ну, а вы-то! — подхватил Арну и, снисходительно улыбнувшись, заметил: — Я даже убежден, что у этого бездельника имеется где-нибудь комнатка и он там принимает девочек.

В подтверждение этих слов Гражданин только поднял брови. Тут оба они стали распространяться о своих вкусах. Арну нравились теперь молоденькие девочки, работницы; Режембар терпеть не мог «жеманниц» и ценил превыше всего положительные свойства. Торговец фаянсом пришел к выводу, что не следует относиться к женщинам всерьез.

«А свою жену он все-таки любит», — думал Фредерик,

возвращаясь домой. Арну казался ему человеком бесчестным. Он сердился на него за эту дуэль, как будто ради него только что рисковал жизнью.

Фредерик, благодарный Дюсардье за преданность, настойчиво приглашал его к себе, и в конце концов приказчик стал ежедневно посещать приятеля.

Фредерик давал ему книги: Тьера, Дюлора, Баранта, *Жирондистов* Ламартина. Добрый малый внимательно слушал и принимал его мнения как мнения наставника.

Однажды вечером он явился в полном смятении.

Утром того же дня на бульваре на него наскочил человек, мчавшийся во весь дух, и, узнав в нем одного из друзей Сенекаля, сообщил:

— Сенекаля сейчас схватили, мне пришлось бежать!

Это была совершенная правда. Весь день Дюсардье наводил справки. Сенекаль, обвиняемый в политическом преступлении, сидел теперь в тюрьме.

Родом из Лиона, сын мастера, ученик одного из адептов Шалье, Сенекаль по приезде в Париж вступил в члены «Общества семейств»; образ его жизни был известен; полиция за ним следила. В мае 1839 года он оказался в числе сражавшихся; с тех пор он держался в тени, но негодование его все росло; фанатически поклоняясь Алибо, он не видел разницы между недовольством, которое внушало ему общество, и злобой, возбуждаемой в народе монархией; каждое утро он просыпался с надеждой на революцию, которая за две недели или за месяц изменит мир. Выведенный из терпения нерешительностью своих собратьев, взбешенный задержками, которые отдаляли его мечту, разуверившись в поддержке родного народа, он вступил, как химик, в ряды заговорщиков, изготовлявших зажигательные бомбы, и был застигнут врасплох по пути на Монмартр, где собирался испытать действие пороха, который нес с собой,— отчаянная попытка установить республику.

Дюсардье республика была не менее дорога, чем Сенекалю, ибо в его представлении она означала свободу и всеобщее счастье. Однажды — ему тогда было пятнадцать лет — он увидел на улице Транснонен возле бакалейной лавочки солдат со штыками, красными от крови; к прикладам ружей прилипли волосы; с тех пор правительство возмущало его как воплощение несправедливости. В его глазах жандармы и убийцы мало чем отличались друг от друга; сыщик был для него тем же, что отцеубийца. Все зло, существующее на земле, он приписывал по простоте

душевной Власти и ненавидел ее ненавистью органической, постоянной, царившей в его сердце и обострявшей все его чувства. Разглагольствования Сенекаля покорили его. Виновен тот или невиновен, преступна или нет его попытка — не все ли равно? Раз он стал жертвой Власти, надо ему помочь.

— Пэры вынесут ему, конечно, обвинительный приговор. А потом его увезут в арестантской карете, как каторжника, и запрут в тюрьме на Мон-Сен-Мишель, где правительство морит заключенных! Остен сошел с ума! Штейбен покончил с собой! Когда Барбеса переводили в каземат, его тащили за ноги, за волосы! Тонтали ногами, голова его подскакивала на каждой ступеньке. Какой ужас! Подлецы!

Он задыхался, рыдал от гнева и метался в отчаянии по комнате.

— Надо же что-нибудь сделать! Послушайте, я просто не знаю, как быть! А что, если мы попробуем освободить его, а? Когда его поведут в Люксембургский дворец, можно напасть в коридоре на конвойных! Десять смельчаков всюду пройдут!

Глаза его так горели, что Фредерик вздрогнул.

Сенекаль показался ему значительнее, чем он думал. Он вспомнил, сколько тот перестрадал, какую вел суровую жизнь; не разделяя восторгов Дюсардье, он все же преклонялся перед Сенекалем, как перед всяким человеком, приносящим себя в жертву идее. Он говорил себе, что, если бы он помог Сенекалю, тот не дошел бы до тюрьмы; приятели усердно пытались изобрести какой-нибудь способ, чтобы спасти его.

Связаться с ним оказалось невозможно.

Фредерик справлялся в газетах о судьбе заключенного и в течение трех недель посещал читальни.

Как-то раз ему попалось несколько номеров *Весельчака*. Передовая бывала неизменно посвящена осмеянию какой-нибудь известной личности. Затем следовали светская хроника, сплетни. Далее шли насмешки над «Одеоном», над Карпентрá, над рыбоводством и над приговоренными к смерти, если таковые были. Исчезновение океанского парохода послужило на целый год темой для шуток. Третий столбец занимали корреспонденции, где в форме анекдотов или советов давались рекламы портных, помещались отчеты о балах, объявления о распродажах, разбор книг; здесь одинаковым стилем писали о томике стихов и о ка-

кой-нибудь паре сапог. Единственным серьезным отделом был обзор маленьких театров, представлявший ожесточенные нападки на двух-трех директоров; для рассуждения об интересах искусства критику давали повод декорации в Театре канатных плясунов или актриса на роли любовниц в театре «Отдохновение».

Фредерик уже хотел отложить газету, как вдруг его взгляд упал на статью, озаглавленную: *Курочка и три петуха*. Это была история его дуэли, изложенная слогом игривым и развязным. Он без труда узнал самого себя, так как по его адресу много раз повторялась шутка: «Юноша, прошедший в Санском коллеже курс наук, но ничему не научившийся». Он был изображен жалким провинциалом, низкородным простаком, стремящимся водить знакомство со знатью. Что касается виконта, то роль благородного героя играл он — и во время ужина, куда он явился незваный, и в истории с пари, ибо он увез даму, и, наконец, на дуэли, во время которой он вел себя, как подобает дворянину. Храбрость Фредерика, правда, не отрицалась, но автор статьи давал понять, что посредник, то есть сам «покровитель», явился как раз вовремя. Все это заканчивалось фразой, таившей, очевидно, коварнейшие намеки: «Откуда столь нежные взаимоотношения? Вот вопрос! И, как говорит дон Базилио, кого, черт возьми, здесь обманывают?»

Это была, без всякого сомнения, месть Юсоне за отказ Фредерика дать ему пять тысяч франков.

Что было делать? Если он потребует объяснений, Юсоне будет уверять в своей непричастности к статье, и он ничего не добьется. Лучше молча проглотить пилюлю. Никто, в конце концов, не читает этого *Весельчака*.

Выйдя из читальни, он увидел, что перед лавкой торговца картинами толпится народ. Взоры привлекал женский портрет, под которым была подпись черной краской: «Мадмуазель Роза-Анетта Брон. Собственность г-на Фредерика Моро из Ножана».

Да, это была она — во всяком случае, ее можно было узнать,— изображенная анфас, с открытой грудью, с распущенными волосами. В руке она держала красный бархатный кошелек, из-за ее плеча виднелась голова павлина, огромный хвост которого веером раскинулся на фоне стены.

Пелерен выставил картину, чтобы принудить Фредерика заплатить за нее, совершенно уверенный в своей зна-

менитости и в том, что и весь Париж не только горячо поддержит его, но и займется этой мазней.

Уж не заговор ли это? Не сообща ли художник и журналист подготовили нападение?

Дуэль ничего не изменила. Он становится смешон, все издеваются над ним.

Дня через три, в последних числах июня, акции Северной компании поднялись на пятнадцать франков, благодаря чему Фредерик, который в прошлом месяце купил две тысячи этих бумаг, получил целых тридцать тысяч франков. Эта улыбка судьбы вернула ему уверенность в себе. Он решил, что ни в ком не нуждается, что все его неудачи происходят от робости, нерешительности. С Капитаншей надо было сразу же повести себя более круто, с самого начала прогнать Юсоне, не вступать в отношения с Пелереном; желая показать, что он не чувствует никакой неловкости, Фредерик отправился к г-же Дамбрёз на один из ее обычных вечеров.

В передней Мартинон, приехавший одновременно с ним, обернулся.

— Как, ты здесь? — спросил он, удивленный и даже недовольный тем, что видит Фредерика.

— А почему бы нет?

Теряясь в догадках, отчего ему оказывают такой прием, Фредерик прошел в гостиную.

Несмотря на лампы, зажженные по углам комнаты, освещение казалось тусклым; все три окна, широко распахнутые, резко выделялись большими черными четырехугольниками. Под картинами в простенках стояли жардиньерки в человеческий рост, в глубине комнаты отражались в зеркале серебряный чайник и самовар. Слышались негромкие голоса, скрип башмаков по ковру.

Он различил черные фраки, потом его глазам представился круглый стол, освещенный лампой под большим абажуром; вокруг нее сидело семь или восемь дам, одетых по-летнему, а немного дальше, в качалке, г-жа Дамбрёз. Она была в платье из сиреневой тафты, с прорезями на рукавах, из которых выглядывали кисейные оборки, нежный тон материи гармонировал с цветом ее волос; она откинулась назад и положила ногу на подушку — спокойная, как произведение искусства, изысканная, как редкий цветок.

Господин Дамбрёз с каким-то седовласым старцем прохаживался взад и вперед по гостиной. Мужчины, присев

на козетки, беседовали небольшими группами; другие, собравшись в кружок, стояли посредине.

Разговор шел о выборах, об изменениях, вносимых в законы, о дополнениях к этим изменениям, о речи г-на Грандена, об ответе на нее г-на Бенуа. Третья партия действительно зашла слишком далеко! Левому центру не следовало бы забывать историю своего возникновения! Министерство потерпело большой урон! Утешительно, однако, что у него не нашлось преемников,— словом, положение совершенно такое же, как в 1834 году.

Фредерику все это было скучно, и он подошел к дамам. Мартинон находился подле них: он стоял со шляпой под мышкой, вполоборота и вид имел столь изящный, что напоминал фигурку из севрского фарфора. Он взял номер *Ревю де Дё Монд,* валявшийся на столе между *Подражанием Христу* и *Готским альманахом*, и свысока произнес свое суждение об одном знаменитом поэте; сказал, что посещает чтения, посвящаемые святому Франциску; жаловался на горло, глотал конфетки от кашля; говорил о музыке, рисовался своей ветреностью. Мадмуазель Сесиль, племянница г-на Дамбрёза, вышивавшая себе рукавички, искоса посматривала на него своими бледно-голубыми глазами, а мисс Джон, курносая гувернантка, даже бросила вышивание; обе как будто восклицали про себя: «Какой красавец!»

Госпожа Дамбрёз обернулась к нему:

— Принесите мне веер — он там, на столике... Нет, нет, вы не там ищете! На другом!

Она встала, а так как Мартинон уже возвращался с веером, они встретились посреди гостиной лицом к лицу; она что-то резко сказала ему — видимо, то был упрек, судя по надменному выражению ее лица. Мартинон попытался улыбнуться, потом присоединился к кружку солидных мужчин. Г-жа Дамбрёз снова села и, перегнувшись через ручку кресла, сказала Фредерику:

— Я третьего дня видела одного господина, который говорил со мной о вас,— это господин де Сизи. Вы ведь с ним знакомы?

— Да... немножко...

Вдруг г-жа Дамбрёз воскликнула:

— Герцогиня! Какое счастье! — И поспешила к двери, навстречу маленькой старушке в платье из серой тафты и кружевном чепце с длинными концами. Эта дама, дочь одного из товарищей по изгнанию графа д'Артуа и вдова

наполеоновского маршала, ставшего пэром Франции в 1830 году, имела связи как при старом, так и при новом дворе и могла добиться весьма многого. Гости, стоявшие посреди комнаты, расступились, и разговор продолжался.

Теперь беседа перешла на пауперизм, все описания которого, по мнению разговаривающих, были весьма преувеличены.

— Однако,— заметил Мартинон,— нищета существует, надо в этом сознаться! Ни наука, ни власть не помогут излечиться от нее. Это вопрос чисто индивидуальный. Когда низшие классы захотят отделаться от своих пороков, исчезнет и нужда. Пусть народ станет нравственнее, и он будет богаче!

Господин Дамбрёз считал, что ничего нельзя сделать без избытка капиталов.

— Итак, единственное средство — это вверить, как, впрочем, того хотели и сенсимонисты (ведь у них, бог мой, есть же что-то хорошее, будем ко всем справедливы), вверить, говорю я, дело прогресса людям, которые могут приумножить народное богатство.

Разговор незаметно коснулся крупных промышленных предприятий, железных дорог, угольных копей. Дамбрёз, обратившись к Фредерику, тихо сказал:

— Вы так и не заехали поговорить о нашем деле.

Фредерик сослался на нездоровье, но, чувствуя, как глупо звучит это оправдание, прибавил:

— К тому же мне тогда нужны были деньги.

— Чтобы купить коляску? — подхватила г-жа Дамбрёз, проходившая мимо с чашкой чая, и поглядела на него через плечо.

Она думала, что он любовник Розанетты; намек был ясен. Фредерику даже показалось, что все дамы, перешептываясь, издали смотрят на него. Чтобы лучше разобраться в том, что они думают, он опять направился к ним.

Мартинон, сидевший по другую сторону стола, подле мадмуазель Сесиль, перелистывал альбом. Это были литографии, изображавшие испанские костюмы. Мартинон читал вслух надписи: *Женщина из Севильи, Валенсийский садовник, Андалузский пикадор* — и, дойдя до конца страницы, прочел без всякой паузы:

— «Жак Арну, издатель». Кажется, это один из твоих друзей?

— Да,— сказал Фредерик, оскорбленный выражением его лица.

— В самом деле,— подхватила г-жа Дамбрёз,— вы ведь как-то утром приезжали... по поводу дома... так, кажется?.. Да, да, дома, принадлежащего его жене.

Это означало: «Она ваша любовница».

Он покраснел до ушей, а г-н Дамбрёз, подошедший в эту минуту, еще прибавил:

— Вы как будто даже принимали в них большое участие.

Слова эти окончательно смутили Фредерика. Его замешательство, которое, как он думал, все заметили, должно было подтвердить подозрения, как вдруг Дамбрёз, подойдя к нему еще ближе, серьезным тоном спросил:

— Надеюсь, у вас с ним нет общих дел?

Фредерик в знак отрицания стал трясти головой, не понимая, что капиталист желает только дать ему совет.

Фредерику хотелось уехать. Боязнь показаться малодушным его удержала. Лакей убирал чайные чашки; г-жа Дамбрёз разговаривала с дипломатом в синем фраке; две девушки, низко склонив головки, рассматривали кольцо; дамы, разместившись полукругом в креслах, медленно поворачивали друг к другу белые лица, окаймленные черными или светлыми волосами; словом, никому до него не было дела. Фредерик направился к двери и, проделав ряд зигзагов, уже почти достиг выхода, как вдруг, проходя мимо консоли, заметил засунутую между китайской вазой и стеной сложенную пополам газету. Он потянул ее за край и прочитал название: *Весельчак.*

Кто принес ее сюда? Сизи! Никто иной, разумеется. Впрочем, не все ли равно? Они поверят; они все, быть может, уже поверили статье. Почему такое ожесточение? Его окружала молчаливая насмешка. Он чувствовал себя затерянным в пустыне. Но вдруг раздался голос Мартинона:

— Кстати, об Арну. В списке обвиняемых по делу о зажигательных бомбах я увидел имя одного из его служащих — Сенекаля. Это не наш ли?

— Он самый,— ответил Фредерик.

Мартинон, громко вскрикнув, дважды повторил:

— Как! Наш Сенекаль?! Наш Сенекаль?!

Его начали расспрашивать о заговоре; благодаря своей службе в суде он должен знать о нем.

Он уверял, что сведений у него нет. Вообще же этот субъект был ему мало знаком, так как видел он его всего два-три раза; в общем, он считал его изрядным негодяем. Фредерик, возмущенный, воскликнул:

— Ничуть не бывало! Он честнейший малый!

— Однако,— заметил один из богачей,— честные люди не участвуют в заговорах!

Большинство мужчин, находившихся здесь, служило по крайней мере четырем правительствам; они готовы были продать и Францию, и род человеческий, чтобы спасти свое богатство, избегнуть неудобства, затруднения, или просто из подлости, из врожденного преклонения перед силой. Все объявили, что политическим преступлениям нет оправдания. Скорее уж можно простить те, которые вызваны нуждой! Собеседники не преминули привести в пример пресловутого отца семейства, который у неизменного булочника крадет неизменный кусок хлеба.

Какой-то крупный чиновник даже воскликнул:

— Если бы я узнал, что мой брат участвует в заговоре, то донес бы на него!

Фредерик сослался на право сопротивления и, вспомнив кое-какие фразы, слышанные им от Делорье, указал на Дезольма, Блекстона, на английский билль о правах и статью вторую конституции девяносто первого года. Именно в силу этого права и был низвергнут Наполеон; оно было признано в 1830 году, легло в основу хартии.

— Впрочем, когда монарх нарушает свои обязательства, справедливость требует его низвержения.

— Но ведь это ужасно! — возгласила жена одного префекта.

Остальные хранили молчание, смутно напуганные, как будто услышали свист пуль. Г-жа Дамбрёз качалась в своем кресле и слушала Фредерика с улыбкой.

Какой-то промышленник, сам бывший карбонарий, попытался доказать ему, что Орлеанский дом — прекрасное семейство; правда, есть злоупотребления...

— Ну и что же?

— Не надо говорить о них, дорогой мой! Если бы вы знали, как вредно отражаются на делах все эти крики оппозиционеров!

— Дела? Да наплевать мне на них! — отрезал Фредерик.

Его возмущали эти прогнившие старики, и, поддавшись порыву храбрости, который охватывает порою самых робких, он стал нападать на финансистов, на депутатов, на правительство, на короля, защищать арабов, наговорил много глупостей. Кое-кто иронически его подбадривал: «Ну, ну, продолжайте!» — а другие бормотали: «Черт

возьми, какой пыл!» Наконец он счел приличным удалиться; когда он уже собирался откланяться, Дамбрёз, намекая на место секретаря, сказал ему:

— Ничто еще не решено окончательно! Но вам надо поторопиться!

А г-жа Дамбрёз проговорила:

— До скорого свидания, не правда ли?

Эти слова, сказанные на прощание, Фредерик счел последней насмешкой. Он принял решение никогда не возвращаться в этот дом, не посещать больше этих людей. Он думал, что оскорбил их,— он не знал, каким огромным запасом равнодушия обладает свет. В особенности женщины возмущали его. Ни одна не поддержала его хотя бы сочувственным взглядом. Он сердился на них за то, что они не были взволнованы его речами. А в г-же Дамбрёз он находил томность и в то же время сухость, мешавшую ему подыскать для нее определение. Есть ли у нее любовник? Что это за любовник? Дипломат или кто-нибудь другой? Уж не Мартинон ли? Не может быть! Однако Мартинон вызывал в нем нечто вроде ревности, а она — необъяснимую злобу.

Дома его, как всегда, ждал Дюсардье. Фредерику было тяжело, он отвел душу, и жалобы его, правда, смутные и непонятные, опечалили приказчика. Фредерик сетовал даже на то, что он совсем один. Дюсардье нерешительно предложил ему зайти к Делорье.

Когда было произнесено имя адвоката, Фредерик почувствовал страстное желание увидеться с ним. Он глубоко ощущал свое духовное одиночество, а общество Дюсардье его не удовлетворяло. Он ответил, что все предоставляет на его усмотрение.

Делорье со времени их ссоры тоже чувствовал, что в его жизни чего-то не хватает. Он без труда согласился на дружеское примирение.

Друзья обнялись и завели разговор на безразличные темы.

Сдержанность Делорье тронула Фредерика, и, чтобы как-нибудь оправдаться перед другом, он рассказал, как лишился пятнадцати тысяч франков, умолчав о том, что первоначально они предназначались ему. Однако адвокат в этом не сомневался. Неприятность, случившаяся с Фредериком и подкреплявшая предубеждение Делорье против Арну, совершенно обезоружила его, и он уже больше не напоминал о прежнем обещании.

Фредерик, введенный в заблуждение его молчанием, подумал, что Делорье о нем забыл. Несколько дней спустя он спросил адвоката, нельзя ли получить обратно эти деньги.

Можно было бы оспорить предыдущие закладные, обвинить Арну в незаконной продаже, предъявить иск к его жене.

— Нет, нет! Только не к ней! — воскликнул Фредерик и в ответ на настойчивые вопросы бывшего клерка рассказал ему правду. Делорье остался в убеждении, что Фредерик из деликатности признался не во всем. Такое недоверие его обидело.

Однако они по-прежнему были дружны; быть вместе доставляло обоим такое удовольствие, что присутствие Дюсардье стало их тяготить. Под предлогом совместных занятий они мало-помалу от него избавились. Есть люди, назначение которых состоит в том, чтобы служить посредниками: через них переходят, как через мост, и идут дальше.

Фредерик ничего не скрывал от старого друга. Он рассказал ему о каменноугольной компании и о предложении Дамбрёза. Адвокат задумался.

— Странно! На это место требуется человек, сведущий в вопросах права!

— Ты мог бы помогать мне,— ответил Фредерик.

— Да, верно... черт возьми! Разумеется.

На той же неделе Фредерик показал ему письмо матери.

Госпожа Моро каялась в том, что неправильно судила о г-не Рокке, который дал ей теперь удовлетворительные объяснения своих поступков. Затем она писала о его богатстве и о возможности для Фредерика жениться в будущем на Луизе.

— Это, пожалуй, было бы неглупо! — сказал Делорье.

Фредерик с жаром отверг такую возможность; к тому же дядюшка Рокк — старый мошенник. По мнению адвоката, это ничего не значило.

В конце июля северные акции по непонятной причине упали в цене; Фредерик не успел продать свои акции и сразу потерял шестьдесят тысяч франков. Доходы его значительно уменьшились. Надо было сократить расходы, найти себе занятие или поправить дело выгодным браком.

Делорье стал говорить ему о мадмуазель Рокк. Ничто не мешает ему съездить в Ножан и собственными глазами

взглянуть, что там делается. Фредерик утомлен, а провинция и родной дом будут для него отдыхом. Фредерик собрался в путь.

Проезжая по освещенным луною улицам Ножана, он перенесся в мир далеких воспоминаний и почувствовал тоску, как те, кто возвращается из долгих странствований.

У матери сидели ее обычные гости: Гамблен, Эдра и Шамбрион, семейство Лебрен, «барышни Оже» и дядюшка Рокк, а за ломберным столом, против г-жи Моро,— Луиза. Теперь это была взрослая женщина. Вскрикнув, она вскочила со стула. Все засуетились. Она застыла на месте; свет, который бросали четыре свечи, стоявшие на столе в серебряных подсвечниках, еще усиливал ее бледность. Когда она снова взялась за карты, рука ее дрожала. Волнение Луизы безмерно польстило Фредерику, уязвленному в своей гордости. «Ты-то уж меня полюбишь!» — подумал он и, вознаграждая себя за все огорчения, перенесенные в Париже, принялся разыгрывать столичного льва, сообщал театральные новости, рассказывал великосветские анекдоты, почерпнутые из плохоньких газет,— словом, поразил своих земляков.

На другой день г-жа Моро стала расписывать сыну достоинства Луизы, затем перечислила леса и фермы, которые должны были достаться ей. Состояние у г-на Рокка было значительное.

Он составил себе капитал, ссужая под проценты деньги Дамбрёза; взаймы он давал только лицам, которые могли представить солидные гарантии, что позволяло ему выпрашивать комиссионные или отчисления в свою пользу. Ссуды благодаря бдительному надзору не подвергались никакому риску. Впрочем, дядюшка Рокк не останавливался и перед наложением ареста; затем он по низкой цене скупал заложенные имения, а Дамбрёз, видя, как растет его капитал, находил, что дела его ведутся отлично.

Но эти не вполне законные сделки бросали тень на самого Дамбрёза и роняли его в глазах управляющего. Дамбрёз ни в чем не мог ему отказать. Именно по настояниям Рокка он так хорошо принимал Фредерика.

А дядюшка Рокк лелеял в душе честолюбивый замысел. Ему хотелось, чтобы дочь его стала графиней, и он не знал другого молодого человека, благодаря которому удалось бы, не рискуя счастьем дочери, достигнуть этой цели.

Покровительство Дамбрёза могло бы доставить Фредерику титул его деда, ибо г-жа Моро была дочерью графа

де Фуван и к тому же находилась в родстве с самыми старинными фамилиями Шампани — Лавернадами и д'Эгриньи. Что касается самих Моро, то готическая надпись, которую можно было видеть у мельниц города Вильнев-Аршевек, гласила о некоем Жакобе Моро, отстроившем их заново в 1596 году, а могила его сына, Пьера Моро, главного шталмейстера при Людовике XIV, находилась в часовне святого Николая.

Господин Рокк, сын лакея, был заворожен всем этим величием. Если бы ему не удалось добиться графской короны для дочери, он отыгрался бы на другом: когда Дамбрёз будет возведен в пэры, Фредерик может стать депутатом и начнет содействовать Рокку в его делах, добывать ему поставки, концессии. Сам по себе молодой человек ему нравился. И, наконец, он хотел выдать за него дочь потому, что уже давно вбил себе в голову эту мысль и все больше дорожил ею.

Теперь он стал ходить в церковь, а г-жу Моро ему удалось соблазнить главным образом надеждой на титул. Все же она не решалась дать окончательный ответ.

Неделю спустя, хотя никакого предложения еще не было сделано, Фредерик уже считался «суженым» мадмуазель Луизы, и дядюшка Рокк, человек мало щепетильный, иногда оставлял их вдвоем.

V

Делорье получил от Фредерика копию закладной и доверенность, составленную по форме и дававшую ему все полномочия; но когда, поднявшись к себе на пятый этаж, он очутился один в своем унылом кабинете и уселся в кожаное кресло, вид гербовой бумаги вызвал в нем омерзение.

Он устал от всего: от обедов по тридцать два су, от поездок в омнибусе, от своей бедности и своих усилий. Он взялся за бумаги, тут же были и другие: проспект каменноугольной компании и список рудников с указанием их размеров,— Фредерик передал ему все это, чтобы узнать его мнение.

У него явилась мысль отправиться к Дамбрёзу и попросить у него место секретаря. Конечно, этого места не получить, если не приобрести известного количества акций. Он понял нелепость своего плана и решил:

«Нет! Это было бы нехорошо».

Тогда он стал придумывать, каким способом вернуть пятнадцать тысяч франков. Для Фредерика такая сумма ничего не значила. Но, владей этой суммой он, какой бы то был могучий рычаг! Бывший клерк возмущался тем, что его друг богат.

«Он глупо пользуется своим состоянием. Он эгоист. Мне очень нужны его пятнадцать тысяч!»

Ради чего дал он их в долг? Ради прекрасных глаз г-жи Арну? Она его любовница! Делорье в этом не сомневался. «Вот на что, между прочим, идут деньги!» Им овладела злоба.

Потом он задумался о самой личности Фредерика. Он всегда поддавался почти женственному обаянию друга, теперь опять восхищался его успехом, на который себя самого считал неспособным.

Однако разве воля не главный элемент всякого начинания? А если с помощью воли все можно преодолеть...

«Вот было бы забавно!»

Но он устыдился своего вероломства, а минуту спустя подумал:

«Что это? Неужели я испугался?»

Госпожа Арну (оттого, что он так много о ней слышал) необычайными красками рисовалась его воображению. Постоянство в любви Фредерика раздражало его, как неразрешимая загадка.

Собственный ригоризм, отчасти наигранный, начал его тяготить. К тому же светская женщина (или то, что он под этим подразумевал) ослепляла адвоката как символ и как квинтэссенция множества неизвестных наслаждений. Живя в бедности, он стремился к роскоши в ее самой яркой форме.

«В конце концов если Фредерик рассердится — пускай! Он дурно поступил со мной, и я не стану церемониться! У меня нет доказательств, что она его любовница! Он сам это отрицает. Значит, я ничем не связан!»

Желание сделать этот шаг уже не покидало его. Ему хотелось испытать свои силы, и вот однажды он сам вычистил себе сапоги, купил белые перчатки и пустился в путь, воображая себя на месте Фредерика, и почти отождествлял себя с ним в силу странного самообмана, в котором сочетались жажда мести и симпатия, подражание и дерзость.

Он велел доложить о себе: «Доктор Делорье».

Госпожа Арну удивилась: она не посылала за врачом.

— Ах, виноват! Я ведь доктор права. Я пришел к вам по делу господина Моро.

Это имя как будто смутило ее.

«Тем лучше! — подумал бывший клерк.— Не отвергла его — не отвергнет и меня»,— успокаивал он себя прописной истиной, будто любовника легче вытеснить, чем мужа.

Он имел удовольствие встретиться с нею однажды в суде; он даже назвал день и число. Такая памятливость удивила г-жу Арну. Он вкрадчиво продолжал:

— Вы и тогда уже... находились... в затруднительных обстоятельствах!

Она ничего не ответила: значит, это была правда.

Он заговорил о том о сем, о ее квартире, о фабрике, потом, заметив возле зеркала несколько медальонов, предположил:

— Это, наверно, семейные портреты?

Он обратил внимание на портрет пожилой женщины, матери г-жи Арну.

— Судя по лицу, чудесная женщина, типичная южанка.

Оказалось, что она родом из Шартра.

— Шартр? Красивый город.

Он похвалил Шартрский собор и пироги, затем, вернувшись к портрету, обнаружил в нем сходство с г-жой Арну и сказал ей, кстати, несколько косвенных комплиментов. Это ее не оскорбило. Он стал увереннее и сообщил, что давно знаком с Арну.

— Славный малый, но компрометирует себя! Например, вот эта закладная — нельзя себе представить, до какого легкомыслия...

— Да, я знаю,— ответила она, пожав плечами.

Презрение, невольно высказанное ею, ободрило Делорье, и он продолжал:

— История с каолином — вам это, может быть, неизвестно — чуть было не кончилась очень скверно, и его репутация...

Увидев нахмуренные брови, он осекся.

Перейдя к темам более общим, он стал жалеть бедных женщин, мужья которых проматывают состояние...

— Но это же его состояние, у меня ничего нет!

Все равно! Ведь трудно предсказать... Опытный в делах человек всегда может быть полезен. Он просил верить его преданности, располагать им, стал превозносить собствен-

ные достоинства, а сам через поблескивавшие очки смотрел ей прямо в лицо.

Она поддалась какому-то смутному оцепенению, но вдруг пересилила себя:

— Прошу вас, перейдемте к делу!

Он открыл папку.

— Вот доверенность Фредерика. Если такой документ окажется в руках судебного пристава и тот отдаст распоряжение,— дело просто: в двадцать четыре часа... (Она оставалась невозмутимой; он изменил тактику.) Мне, впрочем, непонятно, что его заставило требовать эту сумму, ведь он совершенно не нуждается в ней!

— Позвольте! Господин Моро был так добр...

— О, не спорю!

Делорье принялся расхваливать Фредерика, а потом постепенно стал его чернить, изображая человеком, не помнящим добра, себялюбивым, скупым.

— Я думала, что он вам друг.

— Это не мешает мне видеть его недостатки. Так, например, он плохо умеет ценить... Как бы это сказать?.. Ту симпатию...

Госпожа Арну перелистывала толстую тетрадь. Она прервала его, попросила объяснить ей какое-то слово.

Он склонился к ее плечу, и так близко, что коснулся ее щеки. Она покраснела; этот румянец воспламенил Делорье; он схватил ее руку и впился в нее губами.

— Что вы делаете?

Она вскочила и, прислонясь к стене, с негодованием смотрела на него своими большими черными глазами; от этого взгляда он застыл на месте.

— Выслушайте меня! Я люблю вас!

Она расхохоталась — это был резкий, неумолимый, убийственный смех. Делорье почувствовал такую ярость, что готов был задушить ее. Он сдержался и с видом побежденного, который молит о пощаде, сказал:

— Вы не правы! Я бы не стал, как он...

— О ком это вы?

— О Фредерике!

— Господин Моро меня мало интересует, я ведь сказала вам!

— О, простите, простите! — Он язвительно прибавил, растягивая слова: — А я-то думал, что вы не безучастны к нему и вам доставит удовольствие узнать...

Она побледнела. Бывший клерк прибавил:

— Он женится.
— Женится?
— Через месяц — самое позднее, на мадмуазель Рокк, дочери управляющего господина Дамбрёза. Только поэтому он и уехал в Ножан.

Она поднесла руку к сердцу, как будто ей нанесли сильный удар, но тотчас же схватилась за звонок. Делорье не стал ждать, чтобы его выгнали. Когда она обернулась, его уже не было.

Госпоже Арну было душно. Она подошла к окну подышать свежим воздухом.

По ту сторону улицы, на тротуаре, упаковщик, сняв куртку, заколачивал ящик. Проезжали экипажи. Она затворила окно и опять села. Высокие соседние дома напротив скрывали солнце, и в комнату падал какой-то неживой свет. Детей дома не было, вокруг царила тишина. Все как будто отступились от нее.

«Он женится! Может ли это быть?»

Ее охватила нервная дрожь.

«Что это? Разве я люблю его?»

И вдруг она ответила себе:

«Да, да, люблю!.. Люблю!..»

Ей казалось, что она падает куда-то и что ее падению нет конца. Часы пробили три. Она слушала, как замирает звон. И с застывшей на губах улыбкой она продолжала сидеть на краю кресла и пристально смотрела перед собой.

В тот же день, в тот же самый час Фредерик и мадмуазель Луиза гуляли на острове по саду, который принадлежал Рокку. Старуха Катрин издали наблюдала за ними. Они шли рядом, и Фредерик говорил:

— Помните, как я вас брал с собой за город?

— Вы были так добры ко мне! — ответила она.— Помогали делать пирожки из песка, наливали лейку, качали на качелях...

— А что сталось с вашими куклами, которых вы называли маркизами и королевами?

— Право, не знаю!

— А ваш песик, Черныш?

— Утонул, бедняжка!

— А *Дон Кихот*, в котором мы вместе раскрашивали картинки?

— Книга до сих пор у меня.

Фредерик напомнил Луизе о ее первом причастии, о том, как она была мила во время вечерни в белой вуали и

с большой свечой в руке, когда вместе с другими девочками обходила престол под звон колокольчика.

Вероятно, для мадмуазель Рокк в этих воспоминаниях было мало привлекательного; она ничего не ответила, а минуту спустя сказала:

— Противный! Ни разу не написал мне!

Фредерик сослался на свои многочисленные занятия.

— Что же вы такое делаете?

Вопрос несколько затруднил его; он ответил, что занимался изучением политики.

— А-а! — Не расспрашивая его больше, она прибавила: — Вам, конечно, интересно, а мне...

И она рассказала ему, как ей скучно живется, как она одинока, никого не видит, не знает никаких удовольствий, развлечений. Теперь ей хочется ездить верхом.

— Викарий находит, что для девушки это неприлично. Что за глупая вещь — приличия! Раньше мне позволяли делать все, что я хочу, а теперь ничего нельзя!

— Ваш отец, однако же, любит вас!

— Да, но все-таки...

Она вздохнула, и вздох ее означал: «Для моего счастья этого мало».

Наступило молчание. Только скрипел песок у них под ногами, а вдали шумела вода. Выше Ножана Сена делится на два рукава. Рукав, который приводит в движение мельницы, в этом месте рвется из берегов — так силен напор воды, а дальше сливается с естественным руслом; если миновать мосты, то направо, на противоположном берегу, виден покрытый газоном пригорок с белым домом наверху. Налево тянутся ряды тополей, а прямо перед глазами горизонт ограничен изгибом реки. В этот час она была гладкая как зеркало; крупные насекомые скользили по ее неподвижной поверхности; по берегам рос островками камыш и тростник; всевозможные растения цвели золотыми бубенчиками, распускались желтыми гроздьями, свисали метелками лиловых цветов, тянулись вверх зелеными султанами. Заводь была усеяна белыми кувшинками; старые ивы, под которыми ставились волчьи капканы, заменяли с этой стороны изгородь.

Внутри сада находился окруженный каменной оградой с черепичным коньком огород, где бурыми квадратами выделялись участки недавно взрыхленной земли. Над узкой грядкой с дынями блестели, вытянувшись в ряд, стеклянные колпаки; гряды с артишоками, фасолью, шпина-

том, морковью и помидорами чередовались вплоть до участка, отведенного под спаржу, которая казалась рощицей из перьев.

Во времена Директории все это место представляло собою то, что тогда называлось «капризом». С тех пор деревья непомерно разрослись. Ломонос оплел их стволы, дорожки затянулись мхом, везде буйно расплодился ежевичник. В траве крошились обломки гипсовых статуй. Ноги цеплялись за обрывки проволоки. От павильона остались только две нижние комнаты с ободранными синими обоями. Вдоль фасада шла дорожка в итальянском вкусе, затененная виноградными лозами, которые густо увили деревянные решетки, укрепленные по ее бокам на кирпичных столбиках.

Они пошли по этой дорожке; лучи пробивались сквозь неровные просветы в зелени, и Фредерик, разговаривая с Луизой, наблюдал сбоку, как на ее лицо ложились тени от листьев.

Волосы у нее были рыжие, в шиньон воткнута булавка со стеклянной шишечкой изумрудного цвета; хотя Луиза все еще носила траур, на ногах у нее были (до такой наивности доходила она в своем безвкусии) соломенные туфли, отделанные розовым атласом,— пошлая диковинка, купленная, очевидно, где-нибудь на ярмарке.

Он заметил их и обратился к Луизе с ироническим комплиментом.

— Не смейтесь надо мной! — сказала она и, окинув его взглядом с головы до ног, от серой фетровой шляпы до шелковых носков, воскликнула:

— Какой вы франт!

Потом попросила указать ей книги для чтения. Он назвал несколько заглавий, и она промолвила:

— О, какой вы ученый!

Еще совсем ребенком она полюбила его той детской любовью, которая дышит религиозной чистотой и вместе с тем исполнена непреодолимой страсти. Он был для нее товарищем, братом, учителем, развлекал ее ум, заставлял биться сердце и невольно погружал ее в тайное и непрестанное опьянение. Потом он уехал, бросив ее как раз в трагическую минуту, в день смерти матери, и эти два горя слились в одно. За годы разлуки он еще вырос в ее воспоминании; вернулся он окруженный ореолом, и она простодушно отдавалась счастью видеть его снова.

Фредерик первый раз в жизни чувствовал себя люби-

мым, и от этого сладостного ощущения, которое было всего-навсего новым удовольствием, в груди у него что-то ширилось; он раздвинул руки и откинул голову.

По небу в это время двигалась большая туча.

— Она плывет в сторону Парижа,— сказала Луиза.— Вам бы хотелось последовать за ней, правда?

— Мне? Почему?

— Как знать!

Уколов его острым, подозрительным взглядом, она проговорила:

— Может быть, у вас там есть (она искала слова)... привязанность.

— Нет у меня привязанности!

— Наверно?

— Ну, конечно, мадмуазель Луиза!

Не прошло и года, а в девушке совершилась необычайная перемена, удивившая Фредерика. Немного помолчав, он прибавил:

— Нам надо бы говорить друг другу «ты», как прежде. Хотите?

— Нет.

— Почему же?

— Так!

Он настаивал. Она сказала, опустив голову:

— Я не смею.

Они теперь стояли в самом конце сада, около запруды. Фредерик шалости ради стал бросать камешки в воду. Она велела ему сесть. Он повиновался; спустя немного он промолвил, глядя на порог реки:

— Прямо Ниагара!

И заговорил о дальних странах, долгих путешествиях. Мысль о путешествиях пленяла и Луизу. Ничто ее не испугало бы — ни бури, ни львы.

Сидя рядом, они набирали пригоршни песка и, пропуская его сквозь пальцы, продолжали беседовать; теплый ветер, дувший с полей, приносил по временам благоухание лаванды, смешанное с запахом дегтя от баржи, стоявшей по ту сторону плотины. Солнце освещало водопад; на зеленоватые камни, по которым, как по стенке, мерно стекала вода, была словно накинута прозрачная серебряная ткань, развертывавшаяся без конца. Внизу рассыпалась брызгами длинная полоса пены. Здесь возникали водовороты, вода бурлила, струи сталкивались и наконец сливались в один прозрачный и гладкий, как пелена, поток.

Луиза тихо сказала, что завидует рыбам.

— Нырять, спускаться в самую глубину — это, должно быть, так приятно, такое приволье! И чувствовать, как тебя со всех сторон что-то ласкает!

Она вздрагивала и со сладострастной томностью поводила плечами.

Неожиданно раздался голос:

— Где ты?

— Вас няня зовет,— сказал Фредерик.

— Пусть зовет.

Луиза не двигалась с места.

— Она рассердится,— продолжал он.

— Мне все равно! И вообще...

Мадмуазель Рокк пренебрежительным жестом дала понять, что няня у нее в подчинении.

Все-таки она встала, потом начала жаловаться на головную боль. А когда они подошли к большому сараю, где сложены были вязанки хвороста, она сказала:

— Не схорониться ли нам да поозорничать?

Он притворился, будто не понимает, и, придравшись к местному говору Луизы, принялся дразнить ее. Уголки ее рта задрожали. Она начала кусать себе губы и, закапризничав, отстала от него.

Фредерик вернулся назад, поклялся, что не хотел ее обидеть и что он очень любит ее.

— Правда? — вскрикнула она и взглянула на него с улыбкой, осветившей все ее лицо, слегка покрытое веснушками.

Он не устоял перед этой смелостью чувства, перед ее юной свежестью и продолжал:

— Зачем мне лгать тебе?.. Ты сомневаешься? — Он обнял ее за талию левой рукой.

Из груди Луизы вырвался возглас, нежный, как воркованье; голова откинулась назад, она едва не потеряла сознание; он поддержал ее. Бороться с искушением не пришлось; перед этой девушкой, готовой ему отдаться, Фредериком овладел страх. Он помог ей пройти несколько шагов, совсем медленно. Ласковые слова иссякли, и, стараясь говорить только о вещах безразличных, он коснулся ножанского общества.

Вдруг она оттолкнула его и с горечью воскликнула:

— У тебя не хватит смелости увезти меня!

Он застыл на месте, страшно изумленный. Она зарыдала, спрятав голову у него на груди.

— Разве я могу жить без тебя?

Он старался ее успокоить. Она положила ему руки на плечи; чтобы лучше видеть его, она впилась в него своими зелеными глазами, влажными, почти хищными.

— Хочешь быть моим мужем?

— Но...— сказал Фредерик, пытаясь придумать ответ.— Конечно... я только этого и желаю.

Тут из-за куста сирени показалась фуражка г-на Рокка.

Он пригласил «молодого друга» совершить поездку в свое имение и два дня возил Фредерика по окрестностям. Вернувшись, тот застал дома три письма.

Первое было от Дамбрёза, который звал его на обед в прошлый вторник. Откуда такая любезность? Значит, ему простили тогдашнюю выходку?

Второе было от Розанетты. Она благодарила его за то, что он ради нее рисковал жизнью. Фредерик сначала не понял, что она хочет сказать; далее, после всяких обиняков, она умоляла его «на коленях», как молят о куске хлеба, оказать ей ввиду настоятельной необходимости небольшую помощь в сумме пятисот франков. Он тотчас же решил дать ей эти деньги.

Третье письмо, от Делорье, касалось закладной и было длинно и туманно. Адвокат еще ничего не предпринял. Он уговаривал Фредерика не утруждать себя: «Возвращаться тебе не к чему!» Он настаивал на этом с каким-то странным упорством.

Фредерик терялся в догадках, и ему захотелось вернуться в Париж; притязания друга на руководство его поступками возмущали его.

Им снова овладевала тоска по бульварам; кроме того, мать так торопила его, г-н Рокк так рьяно обхаживал, а любовь мадмуазель Луизы была столь сильна, что, не сделав предложения, он не мог дольше здесь оставаться. Надо все это обдумать — издали будет виднее.

Чтобы объяснить свой отъезд, Фредерик выдумал какую-то историю и уехал, говоря всем, да и сам в это веря, что скоро вернется.

VI

Возвращение в Париж не порадовало его; был конец августа, вечер; бульвары, казалось, опустели, у прохожих были хмурые лица, кое-где дымились чаны с асфальтом,

во многих домах ставни были закрыты наглухо. Фредерик приехал домой. Обои покрылись пылью; обедая в полном одиночестве, он поддался странному чувству, как будто он всеми покинут, и тут же подумал о мадмуазель Рокк.

Мысль о женитьбе уже не казалась ему чем-то чудовищным. Они будут путешествовать, поедут в Италию, на Восток! Ему представлялась Луиза: она стоит на вершине холма, любуется видом или, опираясь на его руку, осматривает флорентийскую галерею, останавливается перед картинами. Радостно будет видеть, как это милое существо расцветает под лучами Искусства и Природы! Оторвавшись от своей среды, она очень скоро станет прелестной подругой. К тому же его соблазняло и состояние Рокка. Все же это решение претило ему, как слабость, как унижение.

Но он был твердо намерен (чего бы это ни стоило) изменить свою жизнь, то есть не растрачивать сердце на бесплодные страсти, и даже колебался исполнить поручение, данное Луизой. Надо было приобрести для нее у Жака Арну две большие раскрашенные статуэтки, изображавшие негров, точно такие, как в префектуре Труа. Она запомнила вензель фабриканта и просила купить их только у него. Фредерик не хотел идти в тот дом из боязни, что в нем оживет былая любовь.

Весь вечер его занимали эти мысли; он собирался уже ложиться спать, как вдруг в комнату вошла женщина.

— Это я,— со смехом сказала мадмуазель Ватназ.— По поручению Розанетты.

Так, значит, они помирились?

— Боже мой, ну да! Вы же знаете, я не злопамятна! Вдобавок бедняжка Розанетта... Слишком долго рассказывать.

Короче говоря, Капитанша хотела его видеть; она ждала ответа на свое письмо, пересланное из Парижа в Ножан. Мадмуазель Ватназ не было известно его содержание. Фредерик осведомился о Капитанше.

Теперь она жила с человеком очень богатым, русским князем Чернуковым, который увидел ее прошлым летом во время скачек на Марсовом поле.

— Целых три экипажа, верховая лошадь, слуги в ливреях, грум по английской моде, загородный дом, ложа в Итальянской опере и еще многое другое. Вот какие дела, дорогой мой.

Ватназ, как будто ей тоже пошла на пользу перемена

в судьбе Розанетты, казалось, повеселела, была вполне счастлива. Она сняла перчатки и стала рассматривать мебель, безделушки. Словно антиквар, она определяла их настоящую цену. Ему следовало бы спросить ее совета, тогда они достались бы ему гораздо дешевле. Она хвалила его вкус:

— Премило, очень хорошо! Никто лучше вас не сумел бы обставить дом! — Заметив в алькове, позади изголовья, дверь, она спросила: — Вы отсюда выпускаете дамочек, а?

И дружески взяла его за подбородок. Он вздрогнул от прикосновения ее длинных рук, топких и нежных. Рукава у нее были обшиты кружевами, лиф зеленого платья отделан шнуром, как у гусара. Черная тюлевая шляпа с опущенными полями слегка закрывала лоб; из-под шляпы блестели глаза; волосы пахли пачулями. Кенкет, стоявший на круглом столике, освещал ее снизу, словно театральная рампа, и от этого еще резче выделялся подбородок; глядя на эту некрасивую женщину, гибкую, как пантера, Фредерик почувствовал непреодолимое вожделение, порыв животной страсти.

Вынув из кармана три листка бумаги, она елейным тоном спросила:

— Ведь вы возьмете?

Это были билеты на бенефис Дельмара.

— Как! На его бенефис!

— Ну да!

Мадмуазель Ватназ, не пускаясь в объяснения, прибавила, что обожает его больше, чем когда-либо. По ее словам, актер был окончательно признан «одной из знаменитостей нашего времени». Он воплощал в себе не тот или иной персонаж, выводимый на сцене, а самый гений Франции, Народ! У него «гуманная душа, ему понятно таинство Искусства». Чтобы положить конец этим восхвалениям, Фредерик поспешил заплатить ей за все три места.

— Там вы можете не говорить об этом!.. Боже мой, как поздно! Мне пора... Да, чуть не забыла дать вам адрес: улица Гранж-Бательер, четырнадцать.

Она уже стояла в дверях.

— Прощайте, человек, которого любят!

«Кто любит? — спрашивал себя Фредерик. — Что за странная особа!»

И ему пришло на память, что однажды Дюсардье ска-

зал о ней: «О, она немногого стоит!» — точно намекая на какие-то темные истории.

На другой день он отправился к Капитанше. Жила она в недавно выстроенном доме. Маркизы, затенявшие окна, нависали над улицей. На площадках лестницы были зеркала, перед окнами — корзины с цветами, по ступеням спускалась полотняная дорожка; всех, кто входил сюда, обдавало приятной свежестью.

У Розанетты была и мужская прислуга — ему отворил лакей в красном жилете. В передней, словно в приемной у министра, сидели на скамейке женщина и двое мужчин — очевидно, поставщики — и ждали. Налево, через приоткрытую дверь столовой, видны были пустые бутылки на буфетах, салфетки на спинках стульев, а параллельно столовой тянулась галерея, где золоченые палки подпирали шпалеры роз. Внизу, во дворе, двое слуг, засучив рукава, чистили коляску. Их голоса смешивались с прерывистым стуком скребницы о камень.

Лакей вернулся, сказал: «Барыня просит пожаловать»,— и провел Фредерика через вторую переднюю и большую гостиную, обтянутую желтой парчой, со шнурами по углам, которые соединялись на потолке и как будто переходили в крученые ветви люстры. Прошлой ночью здесь, очевидно, пировали: на консолях остался пепел сигар.

Наконец Фредерик очутился в своего рода будуаре, который мягко освещался окнами с цветным стеклом. Над дверью красовались вырезанные из дерева трилистники; за балюстрадой — три пурпурных матраца, служившие диваном, а на них валялась трубка платинового кальяна. Над камином вместо зеркала висела пирамидальная этажерка с целой коллекцией диковинок; старинные серебряные часы, богемские рожки, пряжки с драгоценными каменьями, пуговицы из нефрита, эмали, китайские идолы, византийский образок богоматери в ризе из позолоченного серебра — все это в золотистом сумраке сливалось с голубоватым ковром, с перламутровым отблеском табуретов и рыжевато-коричневой кожаной обивкой стен. По углам на тумбочках стояли бронзовые вазы с букетами цветов, распространявших тяжелое благоухание.

Розанетта появилась в розовой атласной курточке, в белых кашемировых шароварах, с ожерельем из пиастров и в красной шапочке, вокруг которой вилась ветка жасмина.

Фредерик не мог скрыть своего изумления; овладев

собой, он сказал, что принес «требуемое», и подал ей банковый билет.

Она оторопело уставилась на него; он, не зная, куда положить ассигнацию, продолжал держать ее в руке.

— Берите же!

Она схватила ее и бросила на диван.

— Вы очень любезны.

Деньги понадобились ей для ежегодного взноса за земельный участок в Бельвю. Фредерик был обижен такой бесцеремонностью. Впрочем, тем лучше! Это отместка за прошлое.

— Садитесь! — сказала она.— Вот сюда, поближе.— И перешла на серьезный тон: — Прежде всего я должна поблагодарить вас, дорогой мой, ведь вы рисковали жизнью ради меня.

— О, какие пустяки!

— Что вы! Это же прекрасно!

Благодарность Капитанши смущала Фредерика; очевидно, она думала, что дрался он исключительно ради Арну, который, вообразив это себе, не удержался и рассказал ей.

«Она, чего доброго, смеется надо мной»,— размышлял Фредерик.

Делать здесь ему было нечего, и, сославшись на важное свидание, он поднялся.

— Нет, нет! Оставайтесь!

Он снова сел и похвалил ее костюм.

Она удрученно ответила:

— Князь любит, чтобы я так одевалась! И еще надо курить вот из этих штук,— прибавила Розанетта, показывая кальян.— А что, не отведать ли? Хотите?

Принесли огня; металлический сплав накалялся медленно, и Розанетта от нетерпения затопала ногами. Потом ее охватила вялость, и она неподвижно лежала на тахте, подложив подушку под руку, слегка изогнувшись, поджав одну ногу, а другую вытянув совершенно прямо. Длинная змея из красного сафьяна, лежавшая кольцами на полу, обвилась вокруг ее руки. Янтарный мундштук она поднесла к губам и, щуря глаза, глядела на Фредерика сквозь дым, клубившийся вокруг нее. От дыхания Розанетты булькала вода, время от времени слышался ее шепот:

— Милый мальчик! Бедняжка!

Он старался найти приятную тему для разговора; ему вспомнилась Ватназ.

Он сказал, что, по его мнению, она была очень нарядна.

— Еще бы! — ответила Капитанша.— Счастье ее, что я существую! — И ни слова не прибавила: столько умолчаний было в их разговоре.

Оба чувствовали какую-то принужденность, что-то мешало им. Розанетта действительно считала себя причиной дуэли, которая льстила ее самолюбию.

Ее очень удивило, что он не поспешил явиться к ней — похвастать своим подвигом, и, чтобы заставить его прийти, она и придумала попросить у него пятьсот франков. Почему же в награду он не просит ласки? То была утонченность, приводившая ее в изумление; в сердечном порыве Розанетта предложила ему:

— Хотите, поедемте с нами на морские купания?

— С кем это — с *нами?*

— Со мной и моим гусем. Я, как в старинных комедиях, буду говорить, что вы мой двоюродный брат.

— Слуга покорный!

— Ну, так наймите себе квартиру поблизости от нас.

Прятаться от богатого человека ему казалось унизительным.

— Нет, это невозможно!

— Как угодно!

Розанетта отвернулась, на глазах у нее были слезы. Фредерик это заметил и, желая выразить ей участие, сказал, что его радует благополучие, которого она достигла.

Она пожала плечами. Кто же виновник ее огорчений? Или, быть может, ее не любят?

— О нет! Меня всегда любят! Смотря по тому, какой любовью! — прибавила она.

Жалуясь на жару, от которой она «задыхается», Капитанша сняла курточку, осталась в одной шелковой рубашке и, склонив голову на плечо, приняла позу рабыни-соблазнительницы.

Человек менее рассудительный не подумал бы о том, что может появиться виконт, г-н Комен или еще кто-нибудь. Но Фредерика слишком часто обманывали эти томные взоры, и он вовсе не хотел подвергаться новым унижениям.

Она поинтересовалась, с кем он водит знакомство, как развлекается; осведомилась даже о его делах и предложила дать ему взаймы, если он нуждается в деньгах. Фредерик не выдержал и взялся за шляпу.

— Ну, дорогая, желаю вам повеселиться на морских купаниях! До свиданья!

Она вытаращила глаза, потом сухо ответила:

— До свиданья!

Он опять прошел через желтую гостиную и вторую переднюю. Там, на столе, между вазой с визитными карточками и черпильницей, стоял серебряный чеканный ларец. То был ларец г-жи Арну! Фредерик почувствовал умиление и вместе с тем стыд, словно стал свидетелем святотатства. Ему захотелось дотронуться до ларца, открыть его. Он побоялся, что это будет замечено, и прошел мимо.

Фредерик остался добродетельным до конца. Он не поехал к Арну.

Он послал лакея купить статуэтки негров, снабдив его всеми необходимыми указаниями, и в тот же вечер отправил посылку в Ножан. На другой день по дороге к Делорье он на углу улицы Вивьен и бульвара столкнулся лицом к лицу с г-жой Арну.

Первым движением обоих было отступить назад, потом одна и та же улыбка появилась у них на губах, и они подошли друг к другу. С минуту длилось молчание.

На нее светило солнце, и ее овальное лицо, длинные брови, черная кружевная шаль на плечах, платье переливчатого шелка, букет фиалок на шляпке — все показалось ему блистательным, несравненным. Бесконечной нежностью светились ее прекрасные глаза, и Фредерик наудачу пробормотал первые пришедшие ему в голову слова:

— Как поживает Арну?

— Благодарю вас!

— А ваши дети?

— Очень хорошо!

— Какая чудесная погода, не правда ли?

— Да, прекрасная!

— Вы за покупками?

— Да.— Медленно наклонив головку, она сказала: — Прощайте!

Она не протянула ему руки, не вымолвила ни одного ласкового слова, не пригласила даже к себе — не все ли равно! Эту встречу он не отдал бы за самое блестящее приключение и, продолжая путь, снова и снова переживал ее сладость.

Делорье удивило появление друга, но он скрыл свою досаду, так как упорно продолжал питать какие-то надежды относительно г-жи Арну и писал Фредерику, сове-

туя оставаться в Ножане именно для того, чтобы иметь свободу действий.

Однако он рассказал, что был у нее с целью узнать, обусловлена ли ее брачным контрактом общность имущества: в этом случае можно было предъявить иск жене.

— А какое у нее было выражение лица, когда я ей сказал о твоей женитьбе!

— Это еще что за выдумка!

— Нужно же было объяснить, зачем тебе понадобились деньги! Человек, равнодушный к тебе, не упал бы от этого в обморок, как она.

— Правда? — воскликнул Фредерик.

— Эх, приятель, ты себя выдаешь! Ну полно же, будь откровенен!

Поклонником г-жи Арну овладело безграничное малодушие.

— Да нет же... уверяю тебя... честное слово!

Эти вялые возражения окончательно убедили Делорье. Он поздравил его с успехом. Стал расспрашивать о «подробностях». Фредерик ничего не рассказал и даже подавил желание выдумывать эти подробности.

Что до закладной, то он попросил ничего не делать, подождать. Делорье нашел, что Фредерик не прав, и отчитал его.

Впрочем, Делорье был теперь еще мрачнее, озлобленнее и раздражительнее, чем раньше. Через год, если в судьбе его не наступит перемены, он отправится в Америку или пустит себе пулю в лоб. Словом, все приводило его в такую ярость и радикализм его был столь велик, что Фредерик не удержался и сказал:

— Ты стал совсем как Сенекаль.

Тут Делорье сообщил ему, что Сенекаля выпустили из тюрьмы Сент-Пелажи, так как следствие, по-видимому, не дало достаточных доказательств для судебного процесса.

По случаю его освобождения Дюсардье на радостях захотел «позвать гостей на пунш» и пригласил Фредерика «при сем присутствовать», все же предупредив его, что он встретится с Юсоне, который по отношению к Сенекалю проявил себя с самой лучшей стороны.

Дело в том, что при редакции *Весельчака* была учреждена деловая контора, которая, судя по ее проспектам, состояла из «Конторы виноторговли», «Бюро объявлений»,

«Отдела розыска и справок» и т. д. Но Юсоне опасался, как бы это предприятие не нанесло ущерба его литературной репутации, и пригласил математика вести книги. Место, правда, было неважное, но иначе Сенекаль умер бы с голоду. Фредерик, не желая огорчить честного малого, принял приглашение.

Дюсардье еще за три дня сам натер красный плиточный пол своей мансарды, выколотил кресло и вытер пыль с камина, где между сталактитом и кокосовым орехом стояли под стеклянным колпаком алебастровые часы. Трех его подсвечников — двух больших и одного маленького — было недостаточно, он попросил у привратника еще два, и эти пять светильников сияли на комоде, покрытом для большей благопристойности салфетками, на которых были расставлены тарелки с миндальными пирожными, бисквитами, сдобным хлебом и дюжина бутылок пива. Против комода, у стены, оклеенной желтыми обоями, в книжном шкафике красного дерева стояли *Басни* Лашамбоди, *Парижские тайны*, *Наполеон* Норвена, а со стены алькова улыбалось в палисандровой рамке лицо Беранже.

Приглашены были (кроме Делорье и Сенекаля) фармацевт, только что окончивший курс, но не имевший средств, чтобы завести свое дело; молодой человек, работавший вместе с Дюсардье в магазине; комиссионер по винной торговле; архитектор и какой-то господин, служивший в страховом обществе. Режембар прийти не мог. Об его отсутствии пожалели.

Фредерик был встречен очень радушно, так как благодаря Дюсардье все знали, что он говорил у Дамбрёза. Сенекаль ограничился тем, что с достоинством протянул ему руку.

Он стоял, прислонившись к камину. Остальные сидели, покуривая трубки, и слушали его рассуждения о всеобщем избирательном праве, которое должно привести к победе демократии и осуществлению евангельских принципов. К тому же время настало; в провинции то и дело устраиваются реформистские банкеты; Пьемонт, Неаполь, Тоскана...

— Это правда,— на полуслове перебил его Делорье,— так продолжаться не может.

Он обрисовал положение дел.

— Голландию мы принесли в жертву, чтобы Англия признала Луи-Филиппа, а пресловутый союз с Англией пропал даром из-за испанских браков. В Швейцарии

г-н Гизо, по внушению Австрии, поддерживает трактаты тысяча восемьсот пятнадцатого года. Пруссия и ее таможенный союз готовят нам немало хлопот. Восточный вопрос остается открытым.

Если великий князь Константин шлет подарки герцогу Омальскому, это не дает нам основания полагаться на Россию. А во внутренних делах никто еще не видел такого ослепления, такой глупости! Среди их большинства и то нет единства! Словом, всюду, следуя известному речению, ничего, ничего! И, несмотря на такой позор, они,— продолжал адвокат, подбоченясь,— заявляют, что удовлетворены!

Этот намек на знаменитый случай с голосованием вызвал аплодисменты. Дюсардье откупорил бутылку пива; пена забрызгала занавески, он и внимания на это не обратил; он набивал трубки, резал сдобный хлеб, потчевал им гостей, несколько раз спускался вниз справиться, не готов ли пунш. А гости не замедлили прийти в возбужденное состояние, так как все одинаково негодовали на Власть. Негодование их было сильно и питалось лишь ненавистью к несправедливости; но наряду с правильными обвинениями возникали и нелепейшие упреки.

Фармацевт сокрушался о жалком состоянии нашего флота. Страховой агент не мог простить маршалу Сульту, что у его подъезда стоят два часовых. Делорье обличал иезуитов, которые открыто обосновались в Лилле. Сенекаль еще сильнее ненавидел кузена, чем иезуитов, ибо эклектизм учит нас черпать убеждения в разуме и этим развивает эгоизм, разрушает солидарность; комиссионер по винной торговле, мало понимая в этих вещах, во всеуслышание заметил, что о многих подлостях забыли:

— Королевский вагон на Северной железной дороге должен обойтись в восемьдесят тысяч франков! Кто за него заплатит?

— Да, кто за него заплатит? — подхватил приказчик с такой яростью, как будто эти деньги были взяты из его кармана.

Посыпались жалобы на биржевиков-эксплуататоров и на взяточничество среди чиновников. По мнению Сенекаля, причину зла следует искать выше и обвинять прежде всего принцев, воскрешающих нравы Регентства.

— Знаете ли вы, что на днях друзья герцога Монпансье возвращались из Венсена, разумеется, пьяные, и по-

тревожили своими песнями рабочих Сент-Антуанского предместья?

— Люди кричали: «Долой грабителей!» — сказал фармацевт.— Я тоже там был, тоже кричал!

— Тем лучше! После процесса Теста — Кюбьера народ наконец просыпается.

— А меня этот процесс огорчил,— сказал Дюсардье.— Опозорили старого солдата!

— А известно ли вам,— продолжал Сенекаль,— что у герцогини де Прален нашли...

Тут кто-то ударил ногой в дверь, и она распахнулась. Вошел Юсоне.

— Приветствую вас, сеньоры! — сказал он, усаживаясь на кровать.

Ни одного намека не было сделано на его статью; впрочем, он в ней раскаивался, так как ему основательно попало за нее от Капитанши.

Он прибыл из театра Дюма, где смотрел *Кавалера де Мезон-Руж,*— пьесу он находил «невыносимой».

Подобное суждение удивило демократов: благодаря своим тенденциям, вернее, своим декорациям, драма эта пришлась им по вкусу. Сенекаль, чтобы окончить спор, спросил, служит ли пьеса делу демократии.

— Да, пожалуй... Но что за стиль!

— Так, значит, пьеса хороша. Что такое стиль? Важна идея! — Не дав Фредерику возразить, он продолжал: — Итак, я утверждал, что в деле Прален...

Юсоне прервал его:

— Старая песня! Надоела она мне!

— И не только вам,— заметил Делорье.— Из-за нее закрыли уже пять газет! Послушайте-ка эту заметку.— Вынув записную книжку, он прочитал: — «С тех пор как утвердилась «лучшая из республик», состоялось тысяча двести двадцать девять процессов по делам печати, результатом которых для авторов явились: три тысячи сто сорок один год тюремного заключения и небольшой штраф на сумму семь миллионов сто десять тысяч пятьсот франков». Не правда ли, мило?

Все горько усмехнулись. Фредерик, возбужденный, как и все остальные, подхватил:

— *Мирная демократия* привлечена к суду из-за романа, который был там напечатан,— *Удел женщины.*

— Вот так так! — сказал Юсоне.— С этими запретами мы, мужчины, не у дел окажемся!

— И чего только не запрещают! — воскликнул Делорье.— Запрещают курить в Люксембургском саду, запрещают петь гимн Пию Девятому!

— Запретили банкет типографщиков! — глухо произнес чей-то голос.

Это сказал архитектор, сидевший в полумраке алькова и до сих пор молчавший. Он добавил, что на прошлой неделе за оскорбление короля вынесли обвинительный приговор некоему Руже.

— Ну, песенка Руже спета,— заметил Юсоне.

Сенекаль нашел эту шутку столь неподходящей, что упрекнул Юсоне в том, будто он защищает «фигляра из Ратуши, друга предателя Дюмурье».

— Я защищаю? Напротив!

Луи-Филиппа он считал пошляком, солдафоном, лавочником и мещанином, каких мало. Приложив руку к сердцу, журналист произнес сакраментальные фразы: «Каждый раз с новым удовлетворением... Польский народ не погибнет... Наши великие дела будут завершены. Не откажите мне в деньгах для моей дорогой семьи...» Все много смеялись и находили, что он чудесный, остроумный малый; веселье удвоилось, когда внесли чашу с пуншем, заказанным внизу, в распивочной.

Пламя спирта и пламя свечей быстро нагрело комнату; свет, падавший из окна мансарды во двор, доходил до края противоположной крыши, где на фоне ночного неба черным столбом возвышалась труба. Говорили очень громко, все разом; сюртуки сняли; натыкались на стулья, чокались.

Юсоне воскликнул:

— Пригласите сюда знатных дам! Пусть и у нас будет *Нельская башня;* побольше местного колорита, что-нибудь рембрандтовское, разрази меня господь!

А фармацевт, без устали размешивая пунш, запел во все горло:

Два белых быка в моем стойле,
Два белых огромных быка...

Сенекаль зажал ему рот рукой, он не любил беспорядка; в окна уже выглядывали жильцы, удивленные необычным шумом, доносившимся из мансарды Дюсардье.

Добрый малый был счастлив и сказал, что ему вспоминаются их прежние сборища на набережной Наполеона; кое-кого, однако, не хватает, «например, Пелерена».

— Без него можно обойтись,— заметил Фредерик.

Делорье осведомился о Мартиноне:

— Что-то поделывает этот интересный господин?

Тут Фредерик дал волю своей неприязни к Мартинону и принялся критиковать его ум, характер, поддельный лоск, всю его особу. Типичный выскочка из крестьянской среды! Новая аристократия — буржуазия — не может равняться с прежней знатью, с дворянством. Он настаивал на этом, и демократы соглашались, как будто Фредерик принадлежал к старой аристократии, а сами они бывали в домах новой знати. Фредериком все были очарованы. Фармацевт сравнил его даже с г-ном д'Альтон-Шэ, который стоял за Народ, хоть и был пэром Франции.

Пора было расходиться. На прощанье пожимали друг другу руки; умиленный Дюсардье пошел провожать Фредерика и Делорье. Едва они оказались на улице, адвокат словно задумался о чем-то и, с минуту помолчав, спросил:

— Так ты очень сердит на Пелерена?

Фредерик не стал скрывать своей досады.

Но ведь художник снял с витрины свою пресловутую картину. Не стоит ссориться из-за пустяков! Зачем наживать себе врага?

— Он поддался вспышке гнева, извинительной, когда у человека пусто в кармане. Тебе этого не понять.

Когда Делорье дошел до своего подъезда, приказчик не отстал от Фредерика; он даже постарался уговорить его купить портрет. Дело в том, что Пелерен, утратив надежду запугать Фредерика, прибегнул к помощи друзей, которые должны были убедить его взять картину.

При следующей встрече Делорье снова заговорил о том же и проявил настойчивость. Требования художника он считал основательными.

— Я уверен, что за какие-нибудь пятьсот франков...

— Ну так отдай ему эти деньги! Вот, возьми! — сказал Фредерик.

В тот же вечер картину принесли. Она показалась Фредерику еще более ужасной, чем в первый раз. Тени и полутени столько раз были закрашены, что сделались свинцовыми и как бы потемнели, выделяясь на фоне кричащих пятен света.

Фредерик, вознаграждая себя за приобретение картины, жестоко ее разругал. Делорье поверил другу на слово и одобрил его поведение,— он стремился, как и прежде, образовать фалангу и стать во главе ее; некоторые люди

наслаждаются тем, что принуждают своих друзей делать неприятные для них вещи.

Фредерик больше не посещал Дамбрёзов. У него не было денег. Да и потребуются бесконечные объяснения: он не знал, на что решиться. Пожалуй, он был прав. Теперь ни в чем нельзя быть уверенным, в каменноугольной компании — не более, чем в другом предприятии; надо порвать с кругом Дамбрёзов; Делорье окончательно уговорил его не связываться с этим делом. От ненависти к богачам он становился добродетельным; к тому же Фредерика он предпочитал видеть небогатым. Так они оставались на равной ноге и в более тесном общении друг с другом.

Поручение мадмуазель Рокк было исполнено очень неудачно. Ее отец написал об этом Фредерику, давая новые, самые подробные указания и заканчивая письмо следующей шуткой: «Боюсь, что вам придется потрудиться, как негру».

Фредерику ничего не оставалось, как только отправиться к Арну. Он вошел в магазин. Там никого не было. Торговый дом пришел в упадок, приказчики в своей нерадивости не уступали патрону.

Он прошел мимо длинных полок, уставленных фаянсовой посудой и занимавших всю середину помещения, а подходя к прилавку, который находился в самой глубине, стал ступать как можно тяжелее, чтобы кто-нибудь услышал его шаги.

Приподнялась портьера, появилась г-жа Арну.

— Как! Это вы? Вы здесь?!

— Да,— пробормотала она, несколько смущенная.— Я искала...

На конторке он заметил ее носовой платок и догадался, что к мужу она зашла, наверно, чем-нибудь обеспокоенная, в надежде выяснить недоразумение.

— Но... вам, может быть, нужно что-нибудь? — спросила она.

— Так, безделицу, сударыня.

— Эти приказчики невыносимы! Вечно куда-нибудь уходят.

Зачем порицать их? Он, напротив, рад этому стечению обстоятельств.

Она с иронией посмотрела на него.

— Ну, а как же свадьба?

— Какая свадьба?

— Ваша!

— Моя? Да никогда в жизни!
Она жестом выразила недоверие.
— А даже если бы и так? Мы ищем прибежища в посредственности, отчаявшись в той красоте, о которой мечтали!
— Однако не все ваши мечты были столь... невинны!
— Что вы хотите сказать?
— Если вы ездите на скачки с такими... особами!
Он проклял в душе Капитанну. На помощь ему пришла память.
— Но ведь когда-то вы сами просили меня встречаться с ней ради Арну!
Она ответила, покачав головой:
— И вы воспользовались случаем, чтобы поразвлечься.
— Боже мой! Не стоит думать об этих глупостях!
— Вы правы, раз вы собираетесь жениться!
Кусая губы, она подавила вздох.
Он воскликнул:
— Но я же говорю вам, что это не так! Неужели вы можете поверить, будто я, с моими духовными запросами, моими привычками, зароюсь в провинции, чтобы играть в карты, присматривать за рабочими на постройке и разгуливать в деревянных башмаках? И чего ради? Вам сказали, что она богата, ведь так? Деньги для меня ничто! Если я стремился к самому прекрасному, самому пленительному на свете, к ангелу во плоти, если я, наконец, нашел этот идеал, если это видение скрывает от меня все остальное...
Обеими руками он сжал ее голову и стал целовать в глаза, повторяя:
— Нет, нет, нет! Я никогда не женюсь! Никогда! Никогда!
Она принимала эти ласки, замирая от изумления и восторга.
Хлопнула наружная дверь магазина. Г-жа Арну отскочила и вытянула руку, словно приказывая ему молчать. Шаги приближались. Потом кто-то спросил из-за двери:
— Сударыня, вы здесь?
— Войдите!
Когда счетовод отворил дверь, г-жа Арну стояла, облокотясь на прилавок, и спокойно вертела в руке перо.
Фредерик встал.
— Честь имею кланяться, сударыня! Сервиз будет готов, не правда ли? Могу рассчитывать?

Она ничего не ответила. Но молчаливое сознание сообщничества зажгло ее лицо всеми оттенками румянца, какие знает прелюбодеяние.

На следующий день Фредерик снова пошел к ней; его приняли, и, желая воспользоваться достигнутым, он сразу же, без всяких отступлений, начал оправдываться в том, что было на Марсовом поле. С этой женщиной он оказался совершенно случайно. Допустим, что она красива (на самом деле это не так),— как может она хоть на минуту завладеть его мыслями, если он любит другую?

— Вы же это знаете, я вам говорил.

Госпожа Арну опустила голову.

— Очень жаль, что говорили.

— Почему?

— Простое чувство приличия требует теперь, чтобы я больше с вами не встречалась!

Он стал уверять ее, что любовь его чиста. Прошлое служит порукой за будущее; он дал себе слово не тревожить ее покоя, не волновать своими жалобами.

— Но вчера мое сердце не выдержало.

— Мы больше не должны вспоминать об этой минуте, друг мой!

Однако что же тут дурного, если общая печаль сольет воедино два бедных существа?

— Ведь вы тоже несчастливы! О! Я знаю. У вас нет никого, кто утолял бы вашу потребность в любви, в преданности. Я буду делать все, что вы хотите! Я вас не оскорблю... клянусь вам!

Он упал на колени, невольно склонясь под бременем своего чувства.

— Встаньте! — сказала она.— Я приказываю!

И властно объявила ему, что он никогда больше не увидит ее, если не повинуется сейчас же.

— Меня не пугают ваши угрозы! — ответил Фредерик.— Что мне делать в этом мире? У других все помыслы направлены на добывание денег, славы, власти! У меня нет положения в свете, вы — мое единственное занятие, все мое богатство, цель, средоточие моей жизни, моих мыслей. Без вас я не могу жить, как без воздуха! Разве вы не чувствуете, как моя душа рвется к вашей душе, не чувствуете, что они должны слиться и что я умираю?

Госпожа Арну задрожала всем телом.

— О, уйдите! Прошу вас!

Растерянность, написанная на ее лице, остановила его.

Он сделал шаг к ней. Но она отступила, умоляюще сложив руки.

— Оставьте меня! Ради бога! Сжальтесь!

И так сильна была его любовь, что он ушел.

Вскоре он рассердился на себя, обозвал себя дураком и на следующий день снова отправился к ней.

Госпожи Арну не было дома. Он стоял на площадке лестницы вне себя от ярости, от возмущения. Арну появился и сообщил, что жена уехала утром в Отейль — пожить в загородном домике, который они там снимают с тех пор, как продали свою дачу в Сен-Клу.

— Обычные ее причуды! Что же, ей это удобно... Да и мне, в сущности, тоже. Пускай! Пообедаем вместе?

Фредерик, сославшись на неотложное дело, поспешил в Отейль.

Госпожа Арну от радости вскрикнула. И все его негодование испарилось.

Фредерик не заговорил о своей любви. Чтобы внушить ей полное доверие, он был преувеличенно сдержан; зато когда спросил, можно ли ему снова приехать, она ответила: «Ну конечно»,— и протянула руку, но тотчас же отдернула ее.

С этого дня наезды Фредерика участились. Кучеру он всякий раз сулил крупные чаевые. Но часто, когда медленная езда выводила его из терпения, он выскакивал из экипажа, потом, запыхавшись, влезал в омнибус; и с каким презрением вглядывался он в лица пассажиров, которые сидели против него и ехали не к ней!

Дом ее он узнавал издали по огромной жимолости, закрывавшей одну сторону деревянной крыши. Это было нечто вроде швейцарского шале, выкрашенного в красный цвет, с балконом. В саду росли три старых каштана, а посредине, на пригорке, стоял большой соломенный зонт с ножкой в виде обрубка древесного ствола. Цепляясь за черепицы ограды, по ней вилась виноградная лоза, свисавшая местами, как толстый прогнивший канат. Долго заливался у калитки туго натянутый колокольчик; открывать обычно медлили. И каждый раз Фредерик испытывал тревогу, безотчетный страх.

Наконец, шлепая туфлями по песку, выходила служанка или появлялась сама г-жа Арну. Как-то раз, когда он пришел, она стояла на коленях спиной к нему и искала в траве фиалки.

Дочь, из-за ее дурного характера, пришлось отдать в

монастырский пансион; мальчуган днем бывал в школе; у Арну много времени отнимали завтраки в Пале-Рояль в обществе Режембара и дружища Компена. Влюбленным не грозило появление незваного гостя.

Они твердо решили, что не должны принадлежать друг другу. Это решение, предохранявшее их от опасности, облегчало сердечные излияния.

Она поведала ему о своей прежней жизни в Шартре, у матери, о том, какая набожная она была в двенадцать лет, как потом увлеклась музыкой и до поздней ночи пела у себя в комнате, окно которой выходило на крепостной вал. Он рассказал ей о своей меланхолии в школьные годы и о том, как в его поэтических мечтах сиял образ женщины; вот почему, увидев ее впервые, он сразу ее узнал.

По обыкновению в своих беседах они касались тех лет, когда уже были знакомы. Он вспоминал о разных мелочах, о том, какого цвета было ее платье тогда-то, кто приходил к ней в такой-то день, что она говорила, и она, в полном восхищении, отвечала:

— Да, помню!

У них были одинаковые вкусы, суждения.

Нередко, слушая г-жу Арну, Фредерик восклицал:

— Я тоже!

Или она отзывалась на его слова:

— Да, и я тоже!

Потом следовали бесконечные сетования на провидение.

— Почему не угодно было богу?.. Если бы мы встретились раньше!..

— Если бы я была моложе! — вздыхала она.

— Нет, мне бы надо быть постарше!

Им рисовалась жизнь, занятая только любовью, столь богатая смыслом, что ею заполнилось бы самое глубокое одиночество, не сравнимая ни с какой радостью, побеждающая всякое горе,— жизнь, где время текло бы незаметно в непрестанном излиянии чувств, нечто ослепительное и возвышенное, как мерцание звезд.

Они почти всегда сидели на открытом воздухе, на крыльце дома: верхушки деревьев, тронутых осенней желтизной, неровными рядами уходили вдаль, вплоть до бледной полосы горизонта. Или же они шли в конец аллеи и располагались в беседке, где не было другой мебели, кроме серого, обитого холстом дивана. Зеркало было усеяно черными точками; от стен пахло плесенью; и они засижи-

вались здесь, увлеченно беседуя о себе, о других, обо всем на свете. Иногда лучи солнца, проникнув сквозь ставни, протягивались от пола до потолка, подобные струнам лиры, пылинки кружились вихрем в этих сверкающих полосах. Г-жа Арну забавлялась, рассекая их движением руки; Фредерик осторожно брал эту руку и рассматривал сплетение вен, оттенок кожи, форму пальцев. Каждый из них был для него почти живым существом.

Она подарила ему свои перчатки, а неделю спустя носовой платок. Она звала его «Фредерик», он ее звал «Мари», поклоняясь этому имени, созданному, по его словам, для того, чтобы его шептали в минуты экстаза,— имени, которое как бы заключало в себе облака фимиама, лепестки роз.

Наконец они стали заранее назначать дни свиданий; будто невзначай выходя из дому, она шла по дороге навстречу ему.

Погруженная в ту беззаботность, которая отличает истинное счастье, она не старалась распалять его страсть. В то время она постоянно носила коричневый шелковый капот, обшитый по краям бархатом такого же цвета,— удобную, просторную одежду, которая шла к мягкости ее движений и серьезному выражению лица. К тому же она вступала в осеннюю пору женской жизни, пору нежности и размышлений, когда зрелость зажигает взгляд пламенем более глубоким, когда сила чувства сочетается с жизненным опытом, и женщина, достигнув полноты расцвета, расточает сокровища гармонии и красоты. Никогда раньше в ней не было такой мягкости, такой снисходительности. Уверенная в том, что падение не совершится, она отдавалась чувству, право на которое, как ей казалось, было завоевано пережитыми огорчениями. Притом это было так чудесно, так ново! Какая пропасть между грубостью Арну и поклонением Фредерика!

Он боялся сказать лишнее слово, которое могло отнять у него все, чего он добился, и говорил себе, что счастливый случай может представиться снова, а сказанную глупость поправить нельзя. Он хотел, чтобы она сама отдалась ему, не думал принуждать ее. Он наслаждался уверенностью в ее любви, словно предвкушая миг обладания, и прелесть ее больше волновала его душу, чем чувство. То было неизъяснимое блаженство, такое упоение, что он забывал о самой возможности полного счастья. В разлуке с ней его терзали страстные желания.

Вскоре их беседы стали прерываться долгими минутами молчания. Иногда, как бы стыдясь своего пола, они краснели. О любви говорили все уловки, к которым они прибегали, чтобы скрыть ее; и чем сильнее она разгоралась, тем они были сдержаннее. Этот взаимный обман обострил их чуткость. Они без устали наслаждались запахом влажной листвы, страдали, если дул восточный ветер, переживали беспричинные волнения, поддавались зловещим предчувствиям; шаги, треск половицы пугали их, как будто они были преступники; они чувствовали, что их влечет к пропасти; их окутывала грозовая атмосфера, и, если у Фредерика вырывались жалобы, она обвиняла себя.

— Да, я поступаю нехорошо! Можно подумать, что я кокетка! Не приезжайте больше!

Он повторял прежние клятвы, которые она каждый раз слушала с радостью.

Ее возвращение в Париж и новогодние хлопоты прервали на время их встречи. Когда он снова посетил ее, в его манерах появилось что-то более решительное. Она каждую минуту выходила, распоряжаясь по хозяйству, и, несмотря на его просьбы, принимала всех этих буржуа, навещавших ее. Разговоры шли о Леотаде, Гизо, папе, восстании в Палермо и банкете 12-го округа, который внушал беспокойство. Фредерик отводил душу, возмущаясь правительством, ибо ему, так же как и Делорье, хотелось полного переворота,— до того он был теперь озлоблен. Хмурилась и г-жа Арну.

Муж ее не знал удержу в сумасбродствах, содержал одну из работниц своей фабрики, ту самую, которую называли Бордоской. Г-жа Арну сообщила об этом Фредерику. Отсюда ему хотелось извлечь вывод в свою пользу: «Ведь ей же изменяют!»

— О, меня это нисколько не волнует! — сказала она.

Этот ответ, как ему казалось, окончательно упрочил их близость. Нет ли подозрений у Арну?

— Нет! Теперь нет!

Она рассказала, что однажды вечером, оставив их наедине, Арну вскоре вернулся и подслушивал у двери, а так как они разговаривали о вещах безразличных, то он успокоился.

— А ведь он прав,— с горечью сказал Фредерик.

— Да, конечно!

Лучше бы она этого не говорила.

Однажды ее не оказалось дома в такое время, когда

Фредерик обычно приходил. Он воспринял это как измену.

Другой раз он подосадовал, что цветы, которые он ей приносит, всегда остаются в стакане с водой.

— Где же им быть, по-вашему?

— О, только не здесь! Впрочем, тут им, пожалуй, не так холодно, как у вашего сердца.

Несколько дней спустя он упрекнул ее в том, что накануне она ездила в Итальянскую оперу и не предупредила его. Другие видели ее, любовались ею, быть может, влюблялись в нее. Фредерик не отказывался от своих подозрений только потому, что хотел ее упрекнуть, помучить,— он начинал ненавидеть ее и считал вполне естественным, чтоб и ей досталась доля его страданий!

Однажды днем (это было в середине февраля) он застал ее в большом волнении. Эжен жаловался на боль в горле. Однако доктор сказал, что это пустяки, сильная простуда, грипп. Фредерика поразило, что ребенок какой-то сонный. Все же он постарался успокоить мать, привел в пример нескольких малышей, которые перенесли такую же болезнь и скоро выздоровели.

— Правда?

— Ну разумеется!

— Какой вы добрый!

Она взяла его за руку. Он сжал ее руку в своей.

— Оставьте меня!

— Что же в этом дурного, ведь вы протянули ее утешителю! Вы мне верите в таких случаях и сомневаетесь... когда я говорю вам о любви!

— Я не сомневаюсь, мой милый друг!

— Почему такая недоверчивость? Как будто я негодяй, как будто я могу злоупотребить...

— О нет!

— Если бы только у меня было доказательство!..

— Какое доказательство?

— Такое, которое дают первому встречному, которое когда-то вы давали и мне.

И он ей напомнил, что как-то раз они вместе шли по улице в зимних сумерках, в тумане. Давно все это было! Кто же мешает ей появиться под руку с ним совершенно открыто, так, чтобы у нее не было опасений, а у него — никакой задней мысли, чтобы никто не мешал им?

— Хорошо! — ответила она с такой отвагой, так решительно, что Фредерик в первое мгновение изумился.

Но он тотчас же подхватил:

— Хотите, я буду ждать вас на углу улицы Тронше и улицы Ферм?

— Боже мой! Друг мой...— бормотала г-жа Арну.

Не давая ей времени подумать, он прибавил:

— Значит, во вторник?

— Во вторник?

— Да, между двумя и тремя!

— Приду!

И она, покраснев, отвернулась. Фредерик коснулся губами ее затылка.

— Это нехорошо,— сказала она.— Вы заставите меня раскаяться.

Он поспешил уйти, опасаясь обычной женской изменчивости. Уже в дверях он ласково прошептал, как будто все было решено:

— До вторника!

Она скромно и покорно опустила свои прекрасные глаза.

У Фредерика возник особый план.

Он надеялся, что дождь или палящее солнце дадут ему случай укрыться с ней в каком-нибудь подъезде и что, зайдя в подъезд, она согласится войти и в дом. Трудно было найти что-нибудь подходящее.

Он отправился на поиски и в середине улицы Тронше еще издали увидел вывеску: «Меблированные комнаты».

Лакей, отгадав его намерение, сразу же показал ему на антресолях две комнаты — спальню и кабинетик, с двумя выходами. Фредерик снял их на месяц и заплатил вперед.

Потом он побывал в магазинах и накупил редчайших духов, приобрел кусок поддельного гипюра, чтобы заменить им отвратительное красное стеганое одеяло, выбрал пару голубых атласных туфель. Лишь опасение показаться грубым удержало его от дальнейших покупок. Он принес все купленное и набожнее, чем если бы ему приходилось украшать престол, переставил мебель, сам повесил занавески, на камин поставил вереск, а на комод фиалки. Ему хотелось бы золотом выложить весь пол. «Это будет завтра,— твердил он себе,— да, завтра! Это не сон». И он чувствовал, как сильно бьется от упоения его сердце, полное надежд. А когда все было сделано, он ушел, спрятав ключ в карман, точно счастье, дремавшее в доме, могло улететь.

Дома его ждало письмо от матери.

«Почему тебя так долго нет? Твое поведение начинает вызывать насмешки. Я понимаю, что, готовясь вступить в этот брак, ты можешь испытывать некоторые колебания. Но все-таки обдумай!»

Она сообщала точные сведения: сорок пять тысяч ливров дохода. Впрочем, уже «идут разговоры», и г-н Рокк ждет окончательного ответа. Что касается девушки, то положение ее в самом деле неловкое. «Она тебя очень любит».

Фредерик бросил письмо, не дочитав, и распечатал другое — записку от Делорье.

«Дружище!

Груша созрела. Согласно твоему обещанию, мы рассчитываем на тебя. Собираемся завтра ранним утром на площади Пантеона. Зайди в кафе Суфло. Мне надо поговорить с тобой до манифестации».

«Знаю я их манифестации! Слуга покорный! Мне предстоит встреча более приятная».

На другой день Фредерик в одиннадцать часов вышел из дому. Ему хотелось окончательно удостовериться, все ли приготовлено; к тому же — как знать! — она могла случайно выйти раньше его. Дойдя до улицы Тронше, он услышал крики, доносившиеся из-за церкви святой Магдалины; он прошел дальше и в конце площади, слева, увидел людей в блузах и обывателей.

Действительно, объявление, напечатанное в газетах, приглашало собраться на этом месте всех, желавших участвовать в банкете реформистов. Правительство почти сразу выпустило обращение, запрещавшее банкет. Накануне вечером парламентская оппозиция от него отказалась; но патриоты, не зная о решении вождей, явились на место сбора, сопровождаемые множеством зевак. Депутация от студентов только что отправилась к Одилону Барро. Она находилась, очевидно, в министерстве иностранных дел, и никто не знал, состоится ли банкет, осуществит ли правительство свою угрозу, появится ли Национальная гвардия. Депутаты возбуждали такое же недовольство, как и правительство. Толпа все возрастала, воздух огласился звуками *Марсельезы*.

Это приближалась колонна студентов. Они шагали двумя рядами в ногу, в полном порядке, с возбужденными лицами, с засученными рукавами, и время от времени все разом кричали:

— Да здравствует реформа! Долой Гизо!

Конечно, приятели Фредерика тоже здесь. Они могут заметить его и увлечь с собою. Он поспешил скрыться за угол улицы Аркад.

Студенты, два раза обойдя церковь святой Магдалины, направились к площади Согласия. Здесь было полно народа, густая толпа издали казалась волнующейся черной нивой.

В ту же минуту слева от церкви выстроились в боевом порядке войска.

Между тем толпа не двигалась. Чтобы положить этому конец, полицейские в штатском грубо схватили самых задорных и увели в участок. Фредерик, несмотря на свое возмущение, остался в стороне, иначе его могли бы забрать вместе с прочими, и он не встретился бы с г-жой Арну.

Немного спустя показались каски муниципальной гвардии. Размахивая саблями, солдаты наносили удары плашмя. Упала одна из лошадей; ее стали поднимать, а как только всадник снова оказался в седле, все разбежались.

Наступила полная тишина. Мелкий дождь, смочивший асфальт, перестал. Тучи рассеялись, их разогнал слабый западный ветер.

Фредерик стал расхаживать по улице Тронше, беспрестанно оглядываясь.

Пробило наконец два часа.

«Теперь ей пора! — подумал он.— Она выходит из дому, идет сюда». Прошла минута. «Она могла быть уже здесь». До трех часов он пытался успокоить себя: «Нет, она не опоздает. Немножко терпения!»

От нечего делать он рассматривал магазины, которых здесь было немного: лавку книготорговца, седельщика, магазин траурного платья. Вскоре он изучил заглавия всех книг, все виды упряжи, все материи. Торговцы, заметив, что он без конца ходит взад и вперед, сперва удивились, потом испугались и закрыли лавки.

Наверное, ей что-нибудь помешало, и это ее тоже мучает. Зато какая радость ждет их! Она придет, в этом не может быть сомнений! «Ведь она обещала!» И все же им овладела невыносимая тоска.

Он вернулся в меблированные комнаты, как будто она могла быть там,— нелепая мысль! Но, быть может, в эту самую минуту она идет к нему. Он бросился обратно. Никого! И снова зашагал по тротуару.

Он рассматривал трещины в мостовой, отверстия водосточных труб, фонари, номера на воротах. Незначительнейшие предметы превращались для него в товарищей или, вернее, в насмешливых свидетелей, ровные фасады домов казались ему беспощадными. Ноги озябли. Он чувствовал себя разбитым, измученным. Звук собственных шагов отдавался у него в голове.

Когда стрелка часов показала четыре, он почувствовал головокружение, страх. Он пытался повторять стихи, делать вычисления, придумывать истории. Ничего не выходило: его преследовал образ г-жи Арну. Ему хотелось бежать ей навстречу. Но какой путь избрать, чтобы не разойтись?

Он подошел к посыльному, сунул ему в руку пять франков и поручил сбегать на улицу Паради к Жаку Арну, узнать у привратника, дома ли барыня. А сам стал на углу улиц Ферм и Тронше, чтобы видеть одновременно и ту и другую. Вдали, на бульваре, двигались какие-то темные толпы. Порою он различал драгунский султан или женскую шляпку и, чтобы разглядеть ее, напрягал зрение. Оборванный мальчик савояр, показывавший сурка в ящике, улыбаясь, попросил у него милостыню.

Посыльный в плисовой куртке вернулся. «Привратник сказал, что дама не выходила». Кто задержал ее? Если бы она была больна, привратник сообщил бы. Какой-нибудь гость? Можно не принимать, чего проще! Он ударил себя по лбу. «Какой же я дурак! Все дело в беспорядках!» Это простое объяснение его успокоило. Потом он внезапно сказал себе: «Но ведь в ее квартале спокойно». И страшное сомнение овладело им. «Что, если она не придет? Если, давая это обещание, она хотела только избавиться от меня?.. Нет, нет! Помешал ей, наверно, какой-нибудь необыкновенный случай, одно из тех событий, которые никак нельзя предусмотреть. Но тогда она бы написала». И он послал слугу из меблированных комнат к себе на дом, на улицу Румфорда, узнать, нет ли письма.

Писем не приносили. Это отсутствие новостей его успокоило.

Он начал гадать, беря за примету лицо прохожего, масть лошади, количество монет, наудачу выхваченных из кармана, а если предсказание было неблагоприятно, старался не верить ему. В припадке гнева он вполголоса ругал г-жу Арну. Потом наступала такая слабость, что он почти терял сознание, и вдруг снова приливала надежда.

Она сейчас появится. Она здесь, за его спиной. Он оборачивался — никого! Один раз он шагах в тридцати заметил женщину такого же роста, одетую так же, как она. Он догнал ее — то была другая. Пробило пять часов! Половина шестого, шесть! Зажигали газовые фонари. Г-жа Арну не пришла.

Минувшей ночью ей приснилось, что она уже стоит па тротуаре улицы Троншe. Она ждала здесь чего-то неопределенного, но значительного и, сама не зная почему, боялась быть замеченной. Какая-то проклятая собачонка, озлясь на нее, теребила ее подол зубами. Собачонка кидалась и лаяла все громче. Г-жа Арну проснулась. Лай продолжался. Она прислушалась. Звук доносился из детской. Она бросилась туда босиком. Это кашлял Эжен. Руки у него были в огне, лицо красное, а голос до странности хриплый. Дыхание ребенка с каждой минутой становилось труднее. Склонившись над ним, она до самого утра не спускала с него глаз.

В восемь часов барабан Национальной гвардии возвестил г-ну Арну, что товарищи его ждут. Он живо оделся и ушел, обещав сразу же зайти к врачу, г-ну Коло. В десять часов Коло еще не было, и г-жа Арну послала за ним горничную. Доктор оказался в отъезде, в деревне, а молодой человек, заменявший его, ушел навещать больных.

Голова Эжена, лежавшая на подушке, свесилась набок, брови были нахмурены, ноздри раздувались; его личико было бледнее простыни, а из горла с каждым вздохом вырывался свист, все более короткий, сухой, как бы металлический. Кашель напоминал лай, какой издают игрушечные картонные собаки с грубым механизмом внутри.

Госпожой Арну овладел ужас. Она бросилась к звонкам, звала на помощь, кричала:

— Доктора! Доктора!

Через десять минут явился пожилой господин в белом галстуке, с седыми, хорошо подстриженными бакенбардами. Он задал множество вопросов о привычках, возрасте и характере юного пациента, осмотрел ему горло, приложил ухо к спине и прописал рецепт. Спокойствие этого человека вызывало отвращение. Он напоминал бальзамировщика. Ей хотелось его избить. Он сказал, что зайдет вечером.

Страшные приступы кашля вскоре возобновились. По временам ребенок вдруг приподнимался. От судороги

грудь напрягалась, при каждом вздохе живот втягивался, как при быстром беге. Потом он снова падал назад, запрокинув голову, широко раскрыв рот. Г-жа Арну с бесконечными предосторожностями пыталась заставить его проглотить содержимое склянок — сироп ипекакуаны, керметизованную микстуру. Но он отталкивал ложку и слабо стонал. Казалось, он пытался выдохнуть какие-то слова.

Время от времени она перечитывала рецепт. Примечания к нему пугали ее — в аптеке, может быть, ошиблись.

Собственное бессилие приводило ее в отчаяние. Явился помощник Коло.

Это был молодой человек, новичок, державшийся скромно и не утаивший, что мальчик опасно болен. Боясь сделать какую-нибудь оплошность, он не знал, на что решиться, и наконец прописал лед, который долго не могли достать. Затем пузырь с кусочками льда лопнул. Ребенку пришлось переменить рубашку. Все это вызвало новый приступ кашля, еще более жестокий.

Эжен пытался разорвать воротник рубашки, как будто хотел убрать то, что его душило; он царапал стену, хватался за полог кроватки, ища точки опоры, чтобы вздохнуть. У него посинело лицо, тельце, мокрое от холодного пота, словно похудело. Его растерянные, полные ужаса глаза уставились на мать. Он обхватил руками ее шею, судорожно повис на ней, а она, подавляя рыдания, шептала ему нежные слова:

— Любовь моя, ангел мой, сокровище мое!..

Потом он затих.

Она принесла игрушки, полишинеля, картинки, разложила все это на одеяле, чтобы развлечь его. Она пробовала даже петь.

Она запела песню, которой когда-то убаюкивала его, запеленав на этом самом креслице, покрытом ковром. Но вдруг по всему его телу пробежала дрожь, точно волна, которую гонит ветер; глаза выступили из орбит; она решила, что он умирает, и отвернулась, чтобы не видеть.

Спустя минуту она пересилила себя и взглянула. Он был еще жив. Часы шли за часами, тяжелые, томительные, бесконечные, и каждая минута была для нее минутой агонии. Кашель, от которого сотрясалась грудь ребенка, подбрасывал его словно затем, чтобы разбить; наконец его вырвало чем-то странным, похожим на пергаментный сверток. Что бы это было? Она вообразила, что это кусок

кишки. Но он дышал теперь свободно и ровно. Это кажущееся улучшение испугало ее больше, чем все остальное; она стояла, словно окаменев, свесив руки, неподвижно глядя в одну точку; тут появился Коло. Ребенок, по его словам, был спасен.

Она сперва даже не поняла и заставила повторить себе эти слова. Не было ли это просто утешением, принятым у врачей? Но доктор ушел вполне успокоенный. Тогда ею овладело такое чувство, как будто веревки, стягивавшие ей сердце, развязались.

— Спасен?! Неужели?!

Внезапно мелькнула мысль о Фредерике, отчетливая и безжалостная. То было предостережение свыше. Но господь в своем милосердии не захотел покарать ее навеки! Если бы она не отказалась от любви, ей жестоко пришлось бы искупить свой грех в будущем! Наверное, сына оскорбляли бы из-за нее, и г-жа Арну представила его себе юношей, раненным на поединке, лежащим на носилках при смерти. Она бросилась к низкому стулу, упала на колени и, вложив в молитву все силы души, принесла в жертву богу свою первую страсть, свою единственную слабость.

Фредерик вернулся домой. Он сидел в кресле, даже не имея сил проклинать ее. Им овладела дремота; сквозь кошмар он услышал шум дождя, и ему казалось, что он все еще стоит там, на тротуаре.

На следующее утро, в последний раз поддавшись малодушию, он снова отправил к г-же Арну посыльного.

То ли посыльный не исполнил поручения, то ли ей надо было сказать так много, что не хватило бы слов, но только Фредерик не получил никакого ответа. Это глубоко оскорбило его. В нем заговорили и гордость и гнев. Он поклялся, что будет подавлять в себе всякое воспоминание о ней, и, как листок, подхваченный бурей, исчезла его любовь. Он ощутил облегчение, стоическую радость, потом — жажду деятельности, бурной, кипучей, и пошел без цели бродить по улицам.

Жители предместий проходили с ружьями, старыми саблями, некоторые были в красных колпаках, и все распевали *Марсельезу* или *Жирондистов*. На каждом шагу попадался национальный гвардеец, спешивший в мэрию своего округа. Вдали слышался стук барабана. Сражались у ворот Сен-Мартен. В воздухе чувствовалась какая-то приподнятость, воинственность. Фредерик шел дальше. Волнение великого города веселило его.

Проходя мимо ресторана Фраскати, он увидел окна Капитанши; дикая мысль пришла ему в голову, проснулась молодость. Он перешел бульвар.

Запирали ворота; Дельфина, горничная, углем писала на них: «Оружие сдано».

— А с барыней что творится! Нынче утром она прогнала грума, он ей надерзил. Теперь ей кажется, что всех будут грабить! Она умирает со страху! Да и барин уехал.

— Какой барин?

— Князь!

Фредерик прошел в будуар. Капитанша появилась в нижней юбке, с распущенными волосами, вне себя.

— О, благодарю! Ты спасаешь меня! Это уже второй раз! И никогда не требуешь награды!

— Прошу извинить! — сказал Фредерик, обвив ее стан обеими руками.

— Что такое? Что ты делаешь?..— пробормотала Капитанша, удивленная и вместе обрадованная таким обращением.

Он ответил:

— Следую политической моде, ввожу реформу.

Не сопротивляясь ему, она упала на диван; он осыпал ее поцелуями, она продолжала смеяться.

Остаток дня они провели у окна, глядя на улицу, полную народа. Потом он повез ее обедать к «Трем провансальским братьям». Обед был длинный, изысканный. Домой пошли пешком, за отсутствием экипажей.

Весть о смене министерства изменила облик Парижа. Все радовались; появились гуляющие; от фонариков, которые зажглись на каждом этаже, было светло как днем. Солдаты возвращались в казармы, измученные и унылые. Их приветствовали криками: «Да здравствует армия!» Они, не отвечая, продолжали путь. Зато офицеры Национальной гвардии, красные от восторга, размахивали саблями и орали: «Да здравствует реформа!» — и слова эти каждый раз вызывали у влюбленных смех. Фредерик шутил, был очень весел.

На бульвары они вышли по улице Дюфо. Венецианские фонарики на фасадах тянулись огненными гирляндами. Внизу кишели люди; в сумраке поблескивали штыки. Стоял смутный гул. Давка была такая, что пройти прямым путем оказалось невозможным; они уже свернули на улицу Комартена, как вдруг за их спиной раздался

треск, точно разорвали огромный кусок шелковой материи. То была пальба на бульваре Капуцинок.

— Подстрелили каких-нибудь буржуа,— сказал Фредерик вполне спокойно, ибо в жизни бывают положения, когда человек, наименее жестокий, настолько оторван от других людей, что даже гибель всего рода человеческого может оставить его равнодушным.

У Капитанши, цепко ухватившейся за его руку, стучали зубы. Она объявила, что не в состоянии пройти и двадцати шагов. Тогда в порыве утонченной ненависти, чтобы как можно сильнее оскорбить в душе г-жу Арну, он привел Розанетту в меблированные комнаты на улице Тронше, в спальню, приготовленную для другой.

Цветы еще не завяли. Гипюровая накидка лежала на постели. Он вынул из шкафа туфельки. Розанетта осталась довольна такой нежной заботливостью.

Около часа ночи ее разбудил отдаленный барабанный бой, и она увидела, что Фредерик рыдает, спрятав лицо в подушку.

— Что с тобой, любимый?

— Это от избытка счастья,— ответил он.— Я слишком долго тебя желал.





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Фредерик внезапно проснулся от ружейных выстрелов и, несмотря на настояние Розанетты, непременно захотел посмотреть, что происходит. Он шел по Елисейским полям, в направлении, откуда доносились выстрелы. На углу улицы Сент-Оноре ему встретились люди в блузах, кричавшие:

— Нет, не сюда! В Пале-Рояль!

Фредерик пошел за ними. Ограда у церкви Вознесения была сломана. Далее он заметил посреди улицы три булыжника,— вероятно, здесь начали сооружать баррикаду,— затем осколки бутылок и мотки проволоки, которые должны были помешать движению кавалерии; вдруг из переулка выскочил высокий бледный юноша с черными волосами, разметавшимися по плечам, в фуфайке горошинками. Он держал длинное солдатское ружье и бежал на цыпочках, в туфлях, похожий на лунатика, проворный, как тигр. Время от времени слышны были выстрелы.

Накануне вечером, когда проехала фура с пятью трупами, подобранными на бульваре Капуцинок, настроение народа изменилось; и пока в Тюильри без конца сменялись адъютанты, пока г-н Моле формировал новый кабинет, а г-н Тьер пытался составить другой, пока король строил козни, колебался и, назначив Бюжо главнокомандующим, только и делал, что мешал ему, восстание грозно разрасталось, словно направляемое единой рукой. На перекрестках какие-то люди с неистовым красноречием взывали к толпе, другие изо всей мочи били в набат, отливали пули, набивали патроны; деревья на бульварах, общественные уборные, скамейки, решетки, фонари — все было разрушено, опрокинуто. К утру Париж покрылся баррикадами. Сопротивление вскоре было сломлено; всюду в дело вмешивалась Национальная гвардия; к восьми часам

народ, местами даже без боя, завладел пятью казармами, почти всеми мэриями, самыми надежными стратегическими пунктами. Монархия распалась сама собой, без особых потрясений, и восставшие вели теперь осаду поста в Шато д'О, чтобы освободить пятьдесят пленных, которых там не было.

Подойдя к площади, Фредерику поневоле пришлось остановиться. Она была полна вооруженных людей. Отряды пехоты занимали улицы Святого Фомы и Фроманто. Вход на улицу Валуа преграждала огромная баррикада. Дым, стлавшийся над ее гребнем, рассеялся, и стало видно, что по ней бегут люди, широко размахивая руками; они скрылись; потом пальба возобновилась. Из Шато д'О тоже стреляли, но внутри никого не было видно; в дубовых ставнях, защищавших окна, были проделаны бойницы, и все двухэтажное здание, с двумя флигелями, узенькой дверью посредине и бассейном внизу, уже начало покрываться белыми пятнышками от ударявших в него пуль. На трех ступеньках крыльца никто не появлялся.

Рядом с Фредериком какой-то человек во фригийском колпаке и фуфайке, поверх которой надет был патронташ, ссорился с женщиной, повязанной платком. Она твердила:

— Да вернись же! Вернись!

— Не приставай! — отвечал муж.— Можешь и одна посидеть в привратницкой. Гражданин, я вас спрашиваю: правильно я делаю? Я все разы свой долг выполнял — и в тысяча восемьсот тридцатом, и в тридцать втором, и в тридцать четвертом, и в тридцать девятом! Сегодня дерутся! И я должен драться! Проваливай!

Жена привратника в конце концов уступила увещаниям мужа, которого поддержал национальный гвардеец, стоявший рядом с ними, мужчина лет сорока, с добродушным лицом, окаймленным русой бородой. Он заряжал ружье и стрелял, продолжая разговаривать с Фредериком, невозмутимый среди мятежа, как садовник среди насаждений. Около него увивался юноша в холщовом переднике, чтобы получить патроны и зарядить свое ружье, превосходный охотничий карабин, подаренный ему «одним господином».

— Бери вон там, у меня за спиной,— сказал ему бородач,— и спрячься, не то убьют!

Барабаны били атаку. Раздавались пронзительные возгласы, победные крики «ура». Толпа волновалась, как море. Фредерик, попавший в этот водоворот, не двигался;

к тому же он был захвачен открывшимся перед ним зрелищем и очень забавлялся. Падавшие раненые, мертвецы, лежавшие на земле, были не похожи на настоящих раненых, на настоящих мертвецов. Ему казалось, что он смотрит спектакль.

Над сбившейся толпой показался верхом на белой лошади под бархатным седлом старик в черном фраке. В одной руке он держал зеленую ветвь, в другой — какую-то бумагу и упорно ими размахивал. Наконец, потеряв надежду, что его услышат, удалился.

Отряд пехоты скрылся, и муниципальная гвардия одна защищала теперь Шато д'О. Смельчаки потоком ринулись на крыльцо; их перестреляли, подоспели другие, дверь, в которую ударяли железными болтами, гудела; муниципальная гвардия не сдавалась. Тогда к стене подкатили коляску, набитую сеном, и подожгли ее; она запылала, как гигантский факел. Приволокли хворосту, соломы, бочонок со спиртом. Огонь пополз вверх по камням стены, все здание начало дымиться, и широкие языки пламени с пронзительным свистом взвились над крышей, над перилами террасы. Второй этаж Пале-Рояль был битком набит национальными гвардейцами. Изо всех окон, выходивших на площадь, раздавались выстрелы; пули свистели; вода, вырвавшаяся из пробитого бассейна, смешалась с кровью и образовала лужи; люди скользили по грязи, спотыкались об одежду, кивера, оружие; Фредерик ступил на что-то мягкое; то была рука сержанта в серой шинели, ничком лежавшего в канаве. Прибывали все новые толпы народа, подталкивая сражавшихся вперед. Выстрелы участились. Винные лавки были открыты; время от времени туда заходили выкурить трубку, выпить кружку пива, потом снова шли драться. Завыла собака, отставшая от хозяина. Все захохотали.

Фредерик пошатнулся — человек, раненный в бок, хрипя, упал к нему на плечо. Выстрел, направленный, может быть, в него, разъярил Фредерика, и он уже бросился вперед, но его остановил национальный гвардеец:

— Ни к чему это! Король бежал. Коли не верите, сами сходите посмотреть!

Утверждение гвардейца утихомирило Фредерика. На площади Карусели с виду было спокойно. Четко выделялся на ней, как всегда, «Отель де Нант»; дома позади него, купол Лувра, видневшийся напротив, длинная деревянная галерея, которая тянулась справа, и пустырь, прости-

равшийся вплоть до ларьков уличных торговцев,— все тонуло в серой дымке, откуда доносился отдаленный гул голосов, в то время как на другом конце площади солнце, прорезавшее облака, ярко освещало фасад Тюильри и белым пламенем вспыхивало в его окнах. У Триумфальных ворот валялся труп лошади. По ту сторону решетки люди разговаривали, собравшись кучками в пять-шесть человек. Двери во дворец были открыты; слуги, стоявшие у порога, пропускали всех желающих.

В нижнем этаже, в маленькой зале, были приготовлены чашки кофе с молоком. Какие-то зеваки, шутя, уселись за стол, другие продолжали стоять, в том числе извозчик. Он схватил обеими руками вазочку с сахарной пудрой, тревожно осмотрелся по сторонам и с жадностью стал есть сахар, все глубже погружая в него нос. У главной лестницы какой-то человек расписывался в книге. Фредерик узнал его по спине.

— А! Юсоне!

— Ну да,— ответил тот.— Представляюсь ко двору. Какова шутка! А?

— Не подняться ли нам наверх?

Они вошли в Маршальский зал. Портреты славных мужей были в полной сохранности, за исключением портрета Бюжо, которому прокололи живот. Все они стояли, опершись на сабли, на фоне пушек, в грозных позах, не соответствовавших моменту. На больших стенных часах было двадцать минут второго.

Вдруг грянула *Марсельеза*. Юсоне и Фредерик свесились через перила. То пел народ. Люди неслись вверх по лестнице; в их головокружительном потоке мелькали обнаженные головы, каски, красные колпаки, штыки и плечи,— неслись так безудержно, что казались бурлящими волнами, которые поднимались с протяжным ревом, как воды реки, гонимые могучим приливом в пору равноденствия. Наверху толпа рассеялась, и пение смолкло.

Теперь слышалось только топание, смешанное с всплесками голосов. Безобидная толпа довольствовалась тем, что глазела по сторонам. Но время от времени в тесноте чей-нибудь локоть вышибал стекло или валилась на пол стоявшая на столике ваза, статуэтка. Деревянные панели трещали. Все лица были красные, пот лил с них градом. Юсоне заметил:

— А герои не очень-то благоухают!

— Вы просто несносны! — возразил Фредерик.

Толпа напирала на них, и они очутились в комнате, где под потолком был раскинут красный бархатный балдахин. Внизу, на троне, сидел чернобородый пролетарий в расстегнутой рубашке, с лицом веселым и глупым, как у китайского болванчика. На возвышение поднимались и другие, чтобы тоже посидеть на троне.

— Прямо сценка из мифологии! — заметил Юсоне.— Вот он — народ-властитель.

Кресло подняли за ручки и понесли, раскачивая, через залу.

— Черт возьми, как его качает! Корабль государства носится по бурным волнам! Ну и канкан! Настоящий канкан!

Трон поднесли к окну и под свистки кинули вниз.

— Бедный старик! — сказал Юсоне, глядя, как трон упал в сад, где его быстро схватили, чтобы отнести к Бастилии и там сжечь.

Всеми овладела неистовая радость, как будто исчезновение трона сулило безграничное счастье в будущем, и не столько из мести, сколько ради того, чтобы проявить свою власть, народ стал рвать занавески, бить, ломать зеркала, люстры, подсвечники, столы, стулья, табуреты, всякую мебель, уничтожая даже альбомы с рисунками и рабочие корзинки. Раз уж победили — надо позабавиться! Чернь насмешливо закутывалась в кружева и шали. Золотая бахрома обвивала рукава блуз, шляпы со страусовыми перьями украшали головы кузнецов, ленты Почетного легиона опоясывали проституток. Всякий удовлетворял свою прихоть: одни танцевали, другие пели. В комнате королевы какая-то женщина мазала себе волосы помадой; за ширмой два игрока занялись картами; Юсоне указал Фредерику на какого-то субъекта, который курил трубку, облокотясь на перила балкона. А безумие возрастало, звенели осколки фарфора и хрусталя,— падая, они издавали такой же звук, как клавиши гармоники.

Потом неистовство приняло более зловещую форму. Непристойное любопытство заставляло людей заглядывать во все уголки, открывать все ящики. Каторжники запускали руки в постели принцесс и валялись на них, вознаграждая себя за невозможность изнасиловать королевских дочерей. Какие-то мрачные личности безмолвно бродили по дворцу, стараясь что-нибудь украсть; но народу было слишком много. В пролеты дверей видна была среди блеска позолоты и облаков пыли темная людская масса, за-

полнившая анфиладу зал. Все тяжело дышали; жара становилась удушливой; боясь, что их запрут, приятели направились к выходу.

В передней, на куче одежды, стояла, как статуя Свободы, публичная девка, неподвижная, страшная, с вытаращенными глазами.

Едва друзья вышли на улицу, как им попался взвод одетых в шинели муниципальных гвардейцев; сняв форменные фуражки и обнажив облысевшие головы, гвардейцы низко-низко поклонились народу. Видя такое почтение к себе, оборванцы-победители преисполнились гордости. Юсоне и Фредерику это тоже доставило удовольствие.

Их охватило воодушевление. Они пошли назад, к Пале-Рояль. Против улицы Фроманто лежали сваленные на соломе трупы солдат. Юсоне и Фредерик хладнокровно прошли мимо, гордясь таким самообладанием.

Дворец был полон народа. На внутреннем дворе пылало семь костров. Из окон выбрасывали рояли, комоды и стенные часы. Из пожарных труб били струи воды, долетавшие до крыши. Озорники пытались саблями перерезать их рукава. Фредерик стал уговаривать студента Политехнической школы воспрепятствовать этому. Студент не понял, впрочем, он казался круглым дураком. На обеих галереях чернь, завладевшая винными погребами, предавалась дикому пьянству. Вино лилось рекой, растекалось под ногами; уличные мальчишки пили из черепков от бутылок и, шатаясь, что-то орали.

— Пойдем отсюда,— сказал Юсоне,— такой народ вызывает во мне омерзение.

Вдоль всей Орлеанской галереи на тюфяках, положенных прямо на пол, лежали раненые; пурпурные занавески заменяли одеяла; скромные мещаночки из соседнего квартала приносили раненым суп и белье.

— Что бы там ни было,— сказал Фредерик,— по-моему, народ прекрасен!

В большом вестибюле бурлила рассвирепевшая толпа, желавшая подняться в верхние этажи, чтобы завершить разрушение; национальные гвардейцы, стоявшие на ступенях, пытались удержать ее. Самым отважным казался стрелок без шапки, со всклоченными волосами, в изодранной кожаной амуниции; его рубашка выбилась из-под пояса и вздулась между штанами и курткой; он вместе с другими ожесточенно отбивался. Юсоне, у которого были зоркие глаза, еще издали узнал Арну.

Наконец они добрались до сада Тюильри и вздохнули свободно. Они сели на скамейку и несколько минут просидели с закрытыми глазами, ошеломленные до такой степени, что не могли говорить. Прохожие обменивались новостями. Герцогиня Орлеанская назначена регентшей; все было кончено, и чувствовалось то особое успокоение, которое следует за быстрыми развязками, как вдруг в окнах дворцовой мансарды показались слуги, рвавшие на себе ливреи. Они бросали их в сад в знак отречения. Народ освистал их. Они скрылись.

Внимание Юсоне и Фредерика привлек к себе высокий детина, быстро шагавший по аллее с ружьем на плече. Его красную блузу стягивал патронташ. Лоб под фуражкой был повязан платком. Он обернулся. То был Дюсардье; он бросился к ним в объятия.

— Какое счастье, дорогие мои! — воскликнул он, не в силах сказать ничего больше: он задыхался от радости и утомления.

Двое суток он был на ногах. Он строил баррикады в Латинском квартале, дрался на улице Рамбюто, спас трех драгун, вступил в Тюильри с отрядом Дюнуайе, потом отправился в палату, а оттуда в Ратушу.

— Я прямо оттуда. Все прекрасно! Народ торжествует! Рабочие обнимаются с буржуа! Если б вы знали, что я видел! Какие чудные люди! Как это хорошо! — И, не замечая, что у них нет оружия, прибавил: — Я был уверен, что встречу вас здесь! Трудные были минуты, да что уж там! — На щеке у него появилась капля крови, но на вопросы друзей он ответил: — Ерунда, штыком оцарапало!

— Так оставлять нельзя.

— Это пустяки, я здоровый! Республику провозгласили! Теперь мы будем счастливы! Журналисты говорили при мне, что скоро освободят Италию и Польшу. Королей больше не будет! Понимаете? Свобода на всей земле! Свобода на всей земле!

Окинув взглядом горизонт, он победоносно воздел руки. Но по террасе вдоль берега длинной вереницей спешили люди.

— Ах, дьявол!.. Я и забыл! Форты еще не взяты. Побегу туда. Прощайте! — Он обернулся и крикнул им, потрясая ружьем: — Да здравствует республика!

Из труб дворца повалили клубы черного дыма и посыпались искры. Звон колоколов вдали напоминал блеяние

испуганных овец. Направо и налево — везде победители разряжали ружья. Фредерик, хоть и не отличался воинственным пылом, почувствовал, как в нем закипает галльская кровь. Ему сообщился магнетизм восторженных толп. Он с наслаждением вдыхал грозовой воздух, пахнувший порохом, а сам трепетал от наплыва бесконечной любви, возвышенного, всеобъемлющего умиления, как будто сердце всего человечества билось у него в груди.

Юсоне, зевая, сказал:

— Пожалуй, пора идти оповещать население!

Фредерик пошел с другом в редакцию его газеты, помещавшуюся на Биржевой площади; он сочинил для газеты в Труа отчет о событиях — настоящее художественное произведение в лирическом стиле — и поставил свою подпись. Затем они пообедали вдвоем в ресторане. Юсоне был задумчив; эксцентричность революции превосходила его собственные сумасбродства.

Когда после кофе они отправились в Ратушу, чтобы узнать новости, его врожденное озорство взяло верх. Он, как горный козел, перескакивал через баррикады и отвечал часовым патриотическими шутками.

При свете факелов они услышали, как провозглашают временное правительство. Наконец в полночь Фредерик, изнемогая от усталости, вернулся домой.

— Ну как,— спросил он лакея, помогавшего ему раздеваться,— ты доволен?

— Да, разумеется, сударь. Только вот не люблю я, когда народ так распоясывается!

Проснувшись на другое утро, Фредерик вспомнил о Делорье. Он поспешил к нему. Адвокат только что уехал: он был назначен комиссаром в провинцию. Накануне вечером он добрался до Ледрю-Роллена и до тех пор приставал к нему, ссылаясь на интересы высших школ, пока не урвал себе места и не получил назначения. Впрочем, по словам привратника, он на следующей неделе должен был сообщить свой адрес.

Фредерик пошел к Капитанше. Она встретила его с обидой, досадуя на то, что он бросил ее одну. Гнев Розанетты угас, когда он уверил ее, что мир восстановлен. Все спокойно, бояться нечего; он обнял ее; она объявила себя сторонницей республики, подобно тому как это уже сделал архиепископ Парижский и как вскоре должны были сделать с изумительным рвением и поспешностью судейское сословие, Государственный совет, Академия, марша-

лы Франции, Шангарнье, г-н де Фаллу, все бонапартисты, все легитимисты и немалое число орлеанистов.

Падение монархии совершилось с такой быстротой, что, когда оцепенение прошло, буржуа словно удивились: как это они остались в живых? Расстрел без суда нескольких воров показался вполне справедливым. Целый месяц повторяли фразу Ламартина о красном знамени, «которое только раз было обнесено вокруг Марсова поля, между тем как трехцветное знамя...» и т. д., и все укрылись под его сенью, ибо из трех его цветов каждой партии был виден только ее цвет и она рассчитывала истребить два других, как только возьмет верх.

Так как деловая жизнь приостановилась, беспокойство и любопытство гнали людей на улицу. Небрежность одежды сглаживала разницу в общественном положении, ненависть пряталась, надежды выставлялись напоказ, толпа была приветлива. На всех лицах сияло гордое сознание завоеванного права. Царило карнавальное веселье, люди жили, как на бивуаке. Нельзя было представить себе ничего более занимательного, чем Париж, каким он был в эти первые дни.

Фредерик брал под руку Капитаншу, и они бродили вдвоем по улицам. Ее забавляли банты, красовавшиеся в петлицах у прохожих, флаги, свисавшие с каждого окна, разноцветные афиши, расклеенные по стенам, и она бросала монету в кружку для пожертвований в пользу раненых, стоявшую па стуле где-нибудь посреди улицы. Она останавливалась перед карикатурами, изображавшими Луи-Филиппа в виде кондитера, фокусника, собаки или пиявки. Но люди Коссидьера, их сабли и шарфы пугали ее. Иногда случалось видеть, как сажают «дерево Свободы». Участие в этом обряде принимали и господа священники; они благословляли республику, являясь в сопровождении прислужников с золотыми галунами; толпа находила, что это прекрасно. Наиболее привычным зрелищем были всевозможные депутации, направлявшиеся в Ратушу с какой-либо просьбой: все ремесла, все промыслы ждали, что правительство раз навсегда положит конец их бедам. Правда, кое-кто шел лишь затем, чтобы дать правителям совет, поздравить их или просто-напросто навестить и посмотреть, как «работает машина».

Однажды в середине марта, когда Фредерик отправился по поручению Розанетты в Латинский квартал, он увидел на Аркольском мосту процессию каких-то длиннобо-

родых людей в затейливых шляпах. Во главе их шел и бил в барабан негр, бывший натурщик, а развевающееся знамя с надписью «Живописцы» нес не кто иной, как Пелерен.

Он знаком предложил Фредерику подождать его и через пять минут снова появился,— время у него еще было, так как правительство принимало сейчас каменотесов. Пелерен с коллегами собирался потребовать создания Форума Искусств, своего рода биржи, где обсуждались бы вопросы искусства; как только все труженики сольют воедино свои таланты, возникнут великие произведения. Вскоре Париж обогатится исполинскими сооружениями, а он сам будет их украшать; он уже начал писать фигуру *Республики*. Пелерена позвал один из его товарищей и увел, так как следом за ними шла депутация торговцев живностью.

— Что за глупость! — проворчал из толпы чей-то голос.— Вечно какая-то ерунда! Ничего путного!

Это был Режембар. Он не поклонился Фредерику, но воспользовался случаем, чтобы излить накопившуюся горечь.

Гражданин целые дни скитался по улицам, крутя усы, тараща глаза, выслушивая и распространяя зловещие новости; наготове у него всегда были две фразы: «Берегитесь, события могут нас захлестнуть!» и «Черт возьми! Республику и ту собираются подменить!» Он был недоволен всем, в частности тем, что мы не восстановили наших естественных границ. При имени Ламартина он пожимал плечами, Ледрю-Роллена считал не на высоте задачи, Дюпона де л'Эра называл «старой тряпкой», Альбера — идиотом, Луи Блана — утопистом, Бланки — человеком крайне опасным, а когда Фредерик спросил его, что же делать, он ответил, схватив его за руку и сжав ее до боли:

— Взять Рейн, говорят вам, взять Рейн, черт побери!

Затем он стал обвинять реакцию.

Она сбросила с себя маску. Разгром замков Нейи и Сюрен, пожар в Батиньоле, волнения в Лионе, всякая крайность, всякая обида давали теперь повод к преувеличениям, так же как циркуляр Ледрю-Роллена, принудительный курс кредитных билетов, рента, упавшая до шестидесяти франков, и, наконец, высшее беззаконие, последний удар, величайшая гнусность — налог в сорок пять сантимов. А в довершение всего — социализм! Эти теории столь же новы, как игра в «гусек»; в течение сорока лет о них

написано достаточно, чтобы заполнить целые библиотеки, и все же они напугали обывателей, словно град аэролитов; люди негодуют, преисполненные той ненависти, какую порождает всякая новая идея именно потому, что это идея, ненависти, которая потом создает идее славу, так что ненавистники всегда оказываются ниже ее, как бы ничтожна она ни была.

И вот Собственность стала предметом почитания, почти культа, и слилась с понятием бога. Нападки на нее показались святотатством, преступлением, чуть ли не людоедством. Несмотря на гуманнейшее законодательство, какое только было возможно, снова возник призрак девяносто третьего года, и в каждом слоге слова «республика» слышался лязг гильотины, что, впрочем, не мешало презирать эту республику за слабость. Франция, лишившись господина, кричала от страха, как слепец, потерявший палку, как малыш, отбившийся от няньки.

Но ни один француз так не струсил, как г-н Дамбрёз. Новый порядок вещей угрожал его благосостоянию, а главное, обманул его опытность. Такая прекрасная система, такой мудрый король! Возможно ли? Миру пришел конец! На следующий же день он уволил трех слуг, продал лошадей, купил себе мягкую шляпу для выхода на улицу, даже собрался отпустить бороду; упав духом, он засел дома, с горечью перечитывал газеты, наиболее враждебные его взглядам, и стал так мрачен, что даже шутки над трубкою Флокона не вызывали у него улыбки.

Являясь опорой низвергнутой монархии, он боялся, что мщение народа обрушится на его поместья в Шампани. Однажды ему попалась на глаза статья Фредерика. Прочтя ее, он вообразил, что его молодой друг — лицо влиятельное и может оказать ему услугу или, по крайней мере, защитить его; и вот как-то утром Дамбрёз явился к Фредерику в сопровождении Мартинона.

Единственной целью этого посещения, по словам Дамбрёза, было желание повидаться и побеседовать с Фредериком. В конечном итоге события радуют его, и он от всего сердца принимает «наш возвышенный девиз: *Свобода, Равенство, Братство*,— так как, в сущности, всегда был республиканцем». Если при прежнем строе он голосовал за правительство, то лишь ради того, чтобы ускорить неминуемое крушение. Он даже рассердился, говоря о Гизо, «из-за которого мы здорово поплатились,— этого нельзя отрицать!». Зато он восхищен Ламартином, который, «чест-

ное слово, был прямо великолепен, когда по поводу красного знамени...».

— Да, я знаю,— сказал Фредерик.

Дамбрёз заявил о своей симпатии к рабочим.

— Ведь в конце концов все мы люди рабочие.

Его беспристрастие дошло до того, что он признал логичность Прудона: «О, Прудон очень логичен, черт возьми!» С широтой, свойственной возвышенному уму, он заговорил о выставке, где видел картину Пелерена. Он находил ее оригинальной, удачной.

Мартинон то и дело вставлял одобрительные замечания; он тоже считал, что надо «не на словах, а на деле примкнуть к Республике», и заговорил о своем отце-земледельце, притворяясь крестьянином, простолюдином. Речь вскоре зашла о выборах в Национальное собрание и о кандидатах от Фортельского округа. Кандидат оппозиции не мог рассчитывать на успех.

— Вы должны были бы занять его место! — сказал Дамбрёз.

Фредерик стал отговариваться.

Но почему он не хочет? Ведь голоса крайних левых обеспечены ему благодаря его личным взглядам, голоса консерваторов — благодаря происхождению.

— А также, может быть,— с улыбкой прибавил промышленник,— благодаря и моему влиянию.

Фредерик признался, что не знает, как взяться за дело. Да ничего нет проще! Надо только получить от одного из столичных клубов рекомендацию к патриотам департамента Обы. Надо не просто заявить о своих убеждениях, как это ежедневно делается в газетах, а серьезно изложить определенные взгляды.

— Принесите мне свою речь, когда напишете. Я знаю, что требуется в тех местах. Повторяю: вы могли бы оказать большие услуги стране, всем нам, даже мне. В такие времена следует помогать друг другу, и если Фредерику или его друзьям что-нибудь нужно...

— Я так вам признателен!

— Услуга за услугу, что и говорить.

Решительно, Дамбрёз — славный человек.

Фредерик невольно задумался над этим советом, у него кружилась голова, он был ошеломлен.

Великие образы Конвента встали перед ним. Ему показалось, что занимается блистательная заря. Рим, Венеция, Берлин охвачены восстанием, австрийцев прогнали из

Венеции, вся Европа пришла в волнение. Час настал принять участие в движении, быть может, ускорить его, и к тому же его прельщало одеяние, в котором, как уверяли, будут ходить депутаты. Он уже видел себя в жилете с отворотами, в трехцветном шарфе, и этот порыв, это наваждение были так сильны, что он открылся Дюсардье.

Честный малый по-прежнему был в восторге.

— Разумеется! Конечно! Выставляйте свою кандидатуру!

Фредерик все же посоветовался с Делорье. Идиотская оппозиция, с которой комиссар сталкивался в провинции, усилила его либерализм. Он тотчас же ответил Фредерику и поддержал его в самых энергичных выражениях.

Однако Фредерику хотелось услышать одобрение от большего числа лиц, и он поделился своим планом с Розанеттой в присутствии мадмуазель Ватназ.

Мадмуазель Ватназ принадлежала к числу тех незамужних парижанок, которые после уроков и попыток продать неважные рисуночки или пристроить плохие рукописи возвращаются вечером домой с забрызганным грязью подолом, сами стряпают себе обед, съедают его в полном одиночестве, а потом, поставив ноги на грелку, при свете тусклой, нечищеной лампы мечтают о любви, о семье, об очаге, о богатстве — обо всем, чего у них нет. Поэтому она, подобно многим другим, приветствовала революцию, как путь к воамездию, и стала ярой поборницей социализма.

Освободить пролетариат, по мнению Ватназ, было возможно лишь при условии раскрепощения женщины. Она требовала для женщины доступа ко всем должностям, права объявлять отца незаконорожденного ребенка, требовала изменить законодательство, уничтожить или, по крайней мере, «упорядочить брак на более разумных основаниях». Тогда всякая француженка будет обязана выйти замуж за француза или приютить старика. Кормилицы и повивальные бабки должны стать государственными служащими и получать жалованье от казны; необходимо учредить жюри, которое оценивало бы произведения искусства, созданные женщинами, издательство для женщин, политехническую школу для женщин, национальную гвардию, состоящую из женщин, короче говоря, все сделать для женщин! А поскольку правительство не признает их прав, женщины должны силе противопоставить силу.

Десять тысяч гражданок, вооруженных ружьями, могут навести страх на Ратушу!

Мадмуазель Ватназ считала, что Фредерик может содействовать осуществлению ее идей. Она ободрила молодого человека и даже сулила ему славу в будущем. А Розанетта порадовалась, что у нее будет любовник, который произносит речи в палате.

— А вдобавок тебе, пожалуй, дадут и хорошее местечко.

Фредерик, слабый, как всякий человек, поддался всеобщему безумию. Он сочинил речь и отправился показать ее Дамбрёзу.

Когда он вошел во двор и ворота захлопнулись, в одном из окон отдернули занавеску: показалась женщина; он не успел разглядеть, кто это; в передней его внимание остановила картина, поставленная на стул, вероятно, временно,— картина Пелерена.

Она изображала Республику, или Прогресс, или Цивилизацию под видом Иисуса Христа, управляющего паровозом, который мчится по девственному лесу. Поглядев на картину, Фредерик воскликнул:

— Что за гадость!

— Не правда ли? — спросил Дамбрёз, подошедший в эту минуту: он вообразил, что слова Фредерика относятся не к живописи, а к доктрине, возвеличенной художником.

Тотчас же появился Мартинон. Прошли в кабинет, и Фредерик уже извлек из кармана бумагу, как вдруг вошла мадмуазель Сесиль и с невинным видом спросила:

— Тетя здесь?

— Ты же знаешь, что нет,— ответил банкир.— Впрочем, не беда! Будьте как дома, сударыня!

— Нет, благодарю вас! Я ухожу.

Едва она вышла, Мартинон сделал вид, что ищет носовой платок.

— Я оставил его в пальто. Извините, я схожу за ним.

— Пожалуйста! — сказал Дамбрёз.

Очевидно, он прекрасно замечал эти хитрости и как будто даже покровительствовал им. Почему? Вскоре Мартинон вернулся, и Фредерик приступил к своей речи. Уже со второй страницы, где на господство денежных интересов указывалось как на позор, банкир поморщился. Далее, перейдя к реформам, Фредерик потребовал свободы торговли.

— Как?.. Но помилуйте!

Фредерик не слушал и продолжал читать. Он требовал налога на ренту, прогрессивного налога, общеевропейской федерации, просвещения для народа, широкого поощрения изящных искусств.

«Если бы таким людям, как Делакруа или Гюго, страна предоставила сто тысяч франков содержания, разве это было бы плохо?»

Речь кончалась советами, обращенными к высшим классам:

«Ничего не жалейте, богачи! Будьте щедры! Будьте щедры!»

Кончив чтение, он продолжал стоять. Оба слушателя сидели молча; Мартинон вытаращил глаза. Дамбрёз побледнел. Наконец, скрыв свое волнение под кислой улыбкой, он проговорил:

— Ваша речь превосходна! — и стал усиленно хвалить ее форму, избегая высказываться по существу.

Столько яда со стороны безобидного молодого человека пугало его главным образом как симптом. Мартинон попытался его успокоить. Разумеется, партия консерваторов в скором времени возьмет реванш; из многих городов уже прогнали комиссаров Временного правительства; выборы назначены на 23 апреля, время еще есть; словом, Дамбрёз сам должен выставить свою кандидатуру как представитель департамента Обы; с этих пор Мартинон уже не покидал Дамбрёза, стал его секретарем и окружил промышленника сыновними заботами.

Фредерик пришел к Розанетте чрезвычайно довольный собой. Он застал там Дельмара, который «окончательно» решил выставить свою кандидатуру от департамента Сены. В своем воззвании «К Народу» — актер обращался к нему на «ты» — Дельмар хвалился, что «он-то понимает народ», ради его спасения «взошел на Голгофу искусства» и является теперь воплощением масс, их идеалом. Он и в самом деле думал, что пользуется огромным влиянием, и даже впоследствии предложил в канцелярии какого-то министерства единолично подавить восстание, а на вопрос, как он это сделает, ответил:

— Не бойтесь! Я просто покажусь народу!

Фредерик, чтобы досадить ему, сказал о своей собственной кандидатуре. Комедиант, узнав, что его будущий коллега остановился на провинции, предложил свои услуги и взялся ввести его в парижские клубы.

Они посетили почти все клубы, красные и синие, яростные и миролюбивые, пуритански чинные и развязные, мистические и разгульные, те, где королям выносились смертные приговоры, и те, где изобличались плутни торгашей, и всюду жильцы проклинали домохозяев, блузники нападали на людей во фраках, а богачи вступали в заговор против бедняков. Одни требовали вознаграждения за то, что пострадали от полиции, другие просили денег, чтобы пустить в ход какое-нибудь изобретение, третьи предлагали планы фаланстеров, проекты окружных базаров или системы общественного благополучия; среди нагромождения глупостей сверкал порой проблеск ума, язвительные реплики поражали внезапностью, как брызги грязи на улице; в бранном слове звучало требование прав, цветы красноречия расцветали на губах у оборванца, надевшего перевязь сабли на голое плечо. Иной раз на трибуне появлялся аристократ, державшийся униженно, говоривший попростонародному и не вымывший рук, чтобы они казались мозолистыми. Кто-нибудь узнавал оратора, наиболее ярые патриоты набрасывались на него, и он уходил, затаив в душе ярость. Чтобы производить впечатление человека здравомыслящего, надо было ругать адвокатов и как можно чаще пользоваться оборотами речи: «принести свой камень для постройки здания», «социальный вопрос», «рабочая мастерская».

Дельмар не упускал случая взять слово, а когда ему больше нечего было сказать, он одной рукой упирался в бок, а другую закладывал за жилет, оборачиваясь в профиль, чтобы резче выделялось его лицо. Тогда раздавались рукоплескания — это мадмуазель Ватназ аплодировала из глубины зала.

Несмотря на то, что ораторы были слабые, Фредерик не решался выступить. Все эти люди казались ему слишком невежественными или слишком враждебными.

Но за дело взялся Дюсардье и однажды сообщил ему, что на улице Сен-Жак есть клуб, именуемый клубом Разума. Название обнадеживало. К тому же он обещал привести друзей.

Привел он тех, кто был у него на пунше: счетовода, агента по делам виноторговли, архитектора; явился даже Пелерен, ждали Юсоне, а на улице у входа стоял Режембар с двумя субъектами — один из них был его верный Компен, низенький, рябой человек с красными глазами, а другой — нечто вроде негра-обезьяны, мужчина чрез-

вычайно волосатый, о котором известно было только, что он «патриот из Барселоны».

Миновав коридор, вошли в большую комнату, служившую, по-видимому, столярной мастерской; стены были недавно оштукатурены, и от них пахло известкой. Четыре кенкета, висевшие друг против друга, лили неприятный свет. В глубине, на возвышении, стояла конторка, на ней был колокольчик, внизу стол, заменявший трибуну, а по обе его стороны — два других стола пониже, для секретарей. Публика, занимавшая скамейки, состояла из художников-неудачников, классных наставников, никому не известных сочинителей. Среди рядов пальто с засаленными воротниками виднелись то женский чепец, то рабочая блуза. В конце залы было много рабочих, пришедших, вероятно, от нечего делать или приведенных ораторами, которым они обещали аплодировать.

Фредерик сел между Дюсардье и Режембаром, который положил обе руки на свою трость, оперся на них подбородком и закрыл глаза; на другом конце залы стоял Дельмар, возвышаясь над всеми собравшимися.

У конторки на председательском месте появился Сенекаль.

Эта неожиданность — так думал простачок-приказчик — будет приятна Фредерику. Но она раздосадовала его.

Публика проявила большое уважение к своему председателю. Он был из числа тех, кто 25 февраля требовал права на обеспеченный труд; на следующий день в Прадо он призвал к нападению на Ратушу; а так как здесь все кому-нибудь подражали — Сен-Жюсту, Дантону, Марату,— то Сенекаль взял за образец Бланки, который, в свою очередь, подражал Робеспьеру. Черные перчатки и волосы щеткой придавали ему строгий вид, чрезвычайно подходивший к случаю.

Заседание он открыл чтением *Декларации прав человека и гражданина*, превратившимся в привычный ритуал. Потом чей-то мощный голос затянул *Народную память* Беранже.

Послышались крики:

— Нет! Нет! Не это!

— *Фуражку!* — заорали из глубины зала патриоты.

И хором запели злободневные стихи:

> На колени — перед рабочими,
> Перед фуражкой — шляпы долой!

По знаку председателя аудитория смолкла. Один из секретарей начал перебирать письма:

— «Группа молодых людей сообщает, что каждый вечер они сжигают перед Пантеоном номер *Национального собрания* и приглашают всех патриотов следовать их примеру».

— Браво! Принято! — ответили собравшиеся.

«Гражданин Жан-Жак Лангрене, типограф с улицы Дофина, предлагает воздвигнуть памятник мученикам Термидора».

«Мишель-Эварист-Непомюсен Венсан, бывший учитель, выражает желание, чтобы европейская демократия установила единый язык. Можно было бы воспользоваться одним из мертвых языков, например, латынью, усовершенствовав ее».

— Нет! Долой латынь! — закричал архитектор.

— Почему? — спросил классный наставник.

Они затеяли спор, в который вступили и другие, причем каждый старался блеснуть своими познаниями; стало так скучно, что многие ушли.

Старичок в зеленых очках, с удивительно высоким лбом, потребовал слова для неотложного сообщения.

Он прочел докладную записку о распределении налогов. Цифры лились рекой, и конца им не было видно. Нетерпение слушателей выразилось сперва в воркотне и разговорах; ничто не смущало его. Потом начали свистеть, улюлюкать; Сенекаль одернул публику; старичок продолжал говорить, точно заведенная машина. Чтобы остановить оратора, пришлось схватить его за локоть. Тогда он словно очнулся от сна и, спокойно подняв очки, сказал:

— Виноват, граждане! Виноват! Удаляюсь! Прошу меня извинить!

Неудача, постигшая это выступление, смутила Фредерика. В кармане у него лежала написанная речь, но импровизация могла бы иметь больше успеха.

Наконец председатель объявил, что пора перейти к главному вопросу — к выборам. Длинные республиканские списки не стоило обсуждать. Однако клуб Разума, как и всякий клуб, имел право составить свой список — «да не прогневаются господа падишахи из Ратуши»,— и гражданам, желавшим удостоиться доверия народа, предоставлялось объявить свое имя и звание.

— Ну, начинайте! — сказал Дюсардье.

Курчавый, бойкий человек в сутане уже поднял руку. Он пробормотал, что его зовут Дюкрето, что он священник и агроном, автор ученого труда *об удобрениях*. Ему посоветовали обратиться в общество садоводов.

Затем на трибуну поднялся патриот в блузе. Это был широкоплечий плебей с длинными черными волосами и полным, очень добродушным лицом. Он обвел собрание почти сладострастным взглядом, откинул голову, раздвинул руки и наконец сказал:

— Вы отвергли Дюкрето, братья мои! И хорошо сделали. Но поступили вы так не от безверия, ибо все мы верующие.

Некоторые слушали его, разинув рот, всем своим видом выражая восторженное внимание, точно прозелиты, которых наставляют в вере.

— И поступили вы так не потому, что он священнослужитель, ибо мы тоже священнослужители! Рабочий — священнослужитель так же, как и основоположник социализма, наш общий учитель Иисус Христос!

Настало время утвердить царство божие на земле! Евангелие — прямой путь к восемьдесят девятому году! После уничтожения рабства — освобождение пролетариата. Миновал век ненависти, скоро настанет век любви.

Христианство — основа, краеугольный камень нового здания...

— Смеетесь вы над нами, что ли? — крикнул агент по винной торговле.— Откуда взялся этот поп?

Выпад его вызвал настоящий скандал. Многие повскакали на скамейки и, сжав кулаки, завопили: «Безбожник! Аристократ! Сволочь!» — между тем как председатель не переставая звонил и с удвоенной силой раздавались крики: «К порядку! К порядку!» Но агент, преисполненный отваги и к тому же подкрепившийся до собрания «тремя чашками кофе», отбивался.

— Как! Я аристократ? Это еще что?!

Получив наконец позволение объясниться, он заявил, что спокойствия не будет, пока существуют священники, и раз речь идет об экономии, то всего экономнее упразднить церкви, дароносицы и всякие обряды.

Кто-то заметил, что он заходит слишком далеко.

— Да, я далеко захожу! Но когда корабль застигнут бурей...

Не дожидаясь, чем кончится это сравнение, другой возразил:

— Не спорю! Но это то же, что разрушить одним ударом, как безрассудный каменщик...

— Вы оскорбляете каменщиков! — завопил гражданин, измазанный известкой.

Вообразив, что ему брошен вызов, он стал ругаться, хотел затеять драку, ухватился за скамейку. Понадобилось три человека, чтобы выставить его из залы.

А между тем рабочий все еще стоял на трибуне. Оба секретаря предупреждали его, что пора сойти. Он протестовал против такого нарушения его законных прав:

— Вы не можете заткнуть мне рот, я буду кричать: нашей дорогой Франции — вечная любовь! Республике — тоже вечная любовь!

— Граждане! — возгласил Компен.— Граждане!

Добившись тишины благодаря неустанному повторению слова «граждане», он положил на кафедру свои красные, похожие на обрубки руки, наклонился вперед и, часто мигая, проговорил:

— Полагаю, что следовало бы найти более широкое применение телячьей голове.

Все безмолвствовали, подумав, что ослышались.

— Да, телячьей голове!

Триста человек, все как один, ответили взрывом смеха. Задрожал потолок. Увидев все эти лица, исказившиеся от хохота, Компен отпрянул. Он продолжал рассвирепев:

— Как! Вы не знаете, что такое телячья голова?

Публика начала беситься. Люди хватались за бока. Некоторые падали на пол, валились под скамейки. Компен, не выдержав, подошел к Режембару и хотел увести его.

— Нет, я останусь до конца! — сказал Гражданин.

Услышав этот ответ, Фредерик решился; оглядываясь по сторонам, он стал искать поддержки у своих друзей, как вдруг заметил Пелерена, стоявшего перед ним на трибуне. Художник свысока обратился к аудитории:

— Мне все же хотелось бы знать, где здесь представитель искусства? Я написал картину...

— Картины нам ни к чему! — резко сказал тощий человек с красными пятнами на скулах.

Пелерен возмутился, что его перебивают.

Но тот продолжал трагическим тоном:

— Разве правительству не следует уничтожить декретом проституцию и нищету?

Сразу обеспечив себе этими словами благосклонность народа, он стал громить испорченность, царящую в больших городах.

— Стыд и позор! Всех этих буржуа нужно было бы хватать, когда они выходят из «Золотого дома», и плевать им в лицо! Если бы еще правительство не покровительствовало распутству! Но акцизные чиновники так непристойно держат себя с нашими сестрами и дочерьми!..

Кто-то сидевший поодаль воскликнул:

— Вот потеха!

— Прочь отсюда!

— С нас тянут налоги, чтобы оплачивать разврат! Вот, например, актеры, получающие большое жалованье...

— Прошу слова! — закричал Дельмар.

Он вскочил на трибуну, всех растолкал, стал в позу и, заявив, что презирает столь пошлые обвинения, пустился рассуждать о просветительной миссии актера. Поскольку же театр есть очаг народного просвещения, он подает голос за реформу театра: прежде всего долой директоров, долой привилегии!

— Да, никаких привилегий!

Выступление актера разжигало толпу; отовсюду неслись разрушительные предложения:

— Долой академии! Долой Институт!

— Долой миссии!

— Долой аттестаты зрелости!

— Долой ученые степени!

— Сохраним их,— сказал Сенекаль,— но пусть они будут присуждаться всеобщим голосованием, волей Народа, единственного настоящего судьи!

Впрочем, не в этом суть. Сперва надо уравнять богачей со всеми прочими! И он описал, как в своих домах с золочеными потолками богачи предаются разврату, а бедняки, изнывающие от голода на чердаках, преисполнены всевозможных добродетелей. Рукоплескания заглушили его последние слова. Несколько минут он простоял с закрытыми глазами, откинув голову, словно убаюкиваемый той яростью, которую он пробудил.

Потом Сенекаль снова заговорил — резко, повелительно, как законодатель. Государство должно завладеть банками и страховыми обществами. Право наследования отменяется. Учреждается общественный фонд для тружени-

ков. В будущем следует осуществить и другие полезные меры. Пока достаточно и этих. Он вернулся к вопросу о выборах:

— Нам нужны граждане с чистой совестью, люди, не искушенные в политике! Кто хочет предложить свою кандидатуру?

Фредерик встал. Поднялся одобрительный гул — это старались его друзья. Но Сенекаль, приняв вид Фукье-Тенвиля, стал допрашивать, как его имя и фамилия, каково его прошлое, какую жизнь он ведет.

Фредерик отвечал ему в общих чертах, кусая губы. Сенекаль спросил, нет ли у кого-нибудь возражений против этой кандидатуры.

— Нет! Нет!

А у него было возражение. Все вытянули шеи, напрягли слух. Гражданин кандидат не предоставил некой суммы, обещанной им для демократического дела — основания газеты. Далее, 22 февраля, хотя его успели предупредить, он не явился на место сбора — на площадь Пантеона.

— Клянусь, что он был в Тюильри! — крикнул Дюсардье.

— Можете ли вы поклясться, что видели его у Пантеона?

Дюсардье опустил голову. Фредерик молчал; друзья были сконфужены и глядели на него с беспокойством.

— Можете ли вы, по крайней мере,— спросил Сенекаль,— указать патриота, который поручился бы за ваши убеждения?

— Я поручусь! — сказал Дюсардье.

— Этого мало. Надо еще одного.

Фредерик обернулся к Пелерену. Художник ответил жестами, обозначавшими: «Дорогой мой, они меня отвергли! Черт возьми, ничего не поделаешь!»

Тогда Фредерик толкнул локтем Режембара.

— Да, правда, пора! Иду!

Режембар шагнул на эстраду, потом, указывая на испанца, последовавшего за ним, сказал:

— Разрешите мне, граждане, представить вам патриота из Барселоны!

Патриот низко поклонился и, вращая, точно автомат, своими блестящими глазами, приложил руку к сердцу и заговорил:

— Ciudadanos! Mucho aprecio el honor que me dispen-

sáis, y si grande es vuestra bondad mayor es vuestra atención[1].

— Прошу слова! — закричал Фредерик.

— Desde que se proclama la constitución de Cádiz, ese pacto fundamental de las libertades españolas, hasta la última revolución, nuestra patria cuenta numerosos y heróicos mártires[2].

— Но, граждане!..

Испанец продолжал:

— El martes próximo tendrá lugar en la iglesia de la Magdalena un servicio fúnebre[3].

— Это же, в конце концов, бессмыслица! Никто ничего не понимает!

Это замечание разъярило толпу.

— Вон отсюда! Вон!

— Кого? Меня? — спросил Фредерик.

— Именно вас! — величественно изрек Сенекаль.— Уходите!

Фредерик направился к выходу, а голос иберийца преследовал его:

— Y todos los españoles descarrian ver allí reunidas las diputaciones de los clubs y de la milicia nacional. Una oración fúnebre, en honor de la libertad española y del mundo entero, será pronunciada por un miembro del clero de París en la sala Bonne-Nouvelle. Honor al pueblo francés, que llamaría yo el primero pueblo del mundo, sino fuese ciudadano de otra nación[4].

— Аристократишка! — взвизгнул какой-то оборванец, показывая кулак возмущенному Фредерику, который спешил выбраться во двор.

Он уже раскаивался в своем рвении и не думал о том, что возведенные на него обвинения были в конце концов

---

[1] Граждане! Я очень ценю честь, которую вы мне оказываете. велика ваша доброта и еще больше — внимание *(исп.)*.

[2] С той поры, как была объявлена конституция в Кадисе — этот основной договор об испанских свободах,— вплоть до последней революции наша родина насчитывает многочисленных героических мучеников *(исп.)*.

[3] В ближайший вторник в церкви святой Магдалины будет совершена заупокойная служба *(исп.)*.

[4] Все испанцы отправятся туда, присоединившись к депутациям от клубов и Национальной гвардии. Поминальная речь в честь испанской свободы и всего мира будет произнесена членом парижского клира в зале Бон-Нувель. Слава французскому народу, который я назову первым народом в мире, хоть я и принадлежу к другой нации *(исп.)*.

справедливы. Какая злополучная идея — выставить свою кандидатуру! Но что за ослы, что за кретины! Он сравнивал себя с этими людьми и, думая об их глупости, врачевал рану, нанесенную его самолюбию.

Потом ему захотелось повидать Розанетту. После всех этих безобразий, всей этой напыщенности общество такой милой женщины для него будет отдыхом. Ей было известно, что в этот вечер он должен выступать в клубе. Но когда он вошел, она даже ни о чем не спросила. Она сидела у камина и отпарывала подкладку платья. Подобное занятие удивило его.

— Что ты делаешь?

— Ты же видишь,— сухо ответила она,— чиню свои тряпки! Вот она, твоя республика!

— Почему «твоя»?

— А что же, может быть, моя?

Она принялась попрекать его всеми событиями, происшедшими во Франции за эти два месяца, обвиняя его в том, что революцию сделал он, что из-за него люди разорены, богачи покидают Париж, а ее ожидает смерть на больничной койке.

— Хорошо тебе рассуждать при твоих доходах! Впрочем, если дальше так пойдет, и твои доходы скоро кончатся.

— Вполне возможно,— сказал Фредерик.— Самоотверженные люди всегда остаются непонятыми; если бы не чистая совесть, то скоты, с которыми приходится путаться, отбили бы охоту к самоотречению!

Розанетта поглядела на него, нахмурила брови.

— Что такое? Самоотречение? Нас, очевидно, постигла неудача? Тем лучше! Это тебя научит давать деньги на нужды родины. О, не лги! Я знаю, что ты дал им триста франков: ведь она же содержанка, твоя республика! Ну так и веселись с ней, дружок!

Фредерик, на которого обрушилась эта лавина глупости, перешел от одного разочарования к другому, еще горшему.

Он удалился в глубину комнаты. Она подошла к нему.

— Ты только рассуди! В стране, так же как и в доме, должен быть хозяин, а то всякий норовит сплутовать. Во-первых, всем известно, что Ледрю-Роллен весь в долгах! Что касается Ламартина, то не поэту понимать толк в политике. Да, можешь пожимать плечами, можешь считать себя умнее других, и все же это так! Но ты вечно споришь,

при тебе слова нельзя сказать! Вот, например, Фурнье-Фонтен, владелец магазинов в Сен-Роке,— знаешь, какие у него убытки? Восемьсот тысяч франков! А Гомэр, упаковщик, который живет напротив, тоже республиканец, он об голову жены изломал каминные щипцы и вынил столько абсента, что его собираются отвезти в больницу. Вот каковы все эти республиканцы! Республика, а требует двадцать пять процентов! Да, есть чем похвастаться!

Фредерик ушел. Прорвавшаяся наружу глупость этой девки, заговорившей вдруг столь грубым языком, внушала ему омерзение. Он почувствовал, что снова становится патриотом.

Досада Розанетты все возрастала. Мадмуазель Ватназ раздражала ее своей восторженностью. Веря в свое особое призвание, она со страстью разглагольствовала, поучала, а так как в этих вопросах она была сильнее подруги, то донимала ее обилием доказательств.

Однажды она явилась, негодуя на Юсоне, который позволил себе дурачиться в женском клубе. Розанетта одобрила его поведение, даже заявила, что сама оденется мужчиной, «пойдет, скажет им всю правду да еще отхлещет их». Как раз в эту минуту вошел Фредерик.

— Ведь ты пойдешь со мной?

И, несмотря на его присутствие, они поругались — одна разыгрывала буржуазную даму, другая — женщину-философа.

Женщины, по мнению Розанетты, созданы для любви или для того, чтобы воспитывать детей и хозяйничать.

Мадмуазель Ватназ считала, что женщина должна играть роль в государстве. В былые времена галльские и англосаксонские женщины занимались законодательством; у гуронов они заседали в совете. Просвещение — дело общее. Все женщины должны содействовать ему; эгоизм должен наконец смениться братством, индивидуализм — ассоциацией, а раздробленность земель — общественной их обработкой.

— Ну вот! Ты теперь и в обработке полей знаешь толк!

— Отчего бы и нет? К тому же дело идет о человечестве, о его будущности.

— Заботилась бы лучше о своей!

— Это уж мое дело!

Ссора разгоралась. Фредерик вмешался. Ватназ горячилась и даже стала защищать коммунизм.

— Что за вздор! — сказала Розанетта.— Разве это может когда-нибудь сбыться?

Ватназ привела в доказательство ессеев, моравских братьев, парагвайских иезуитов, семейство Пенгонов близ Тьера, в Оверни; так как она сильно жестикулировала, цепочка от ее часов запуталась в связке брелоков и зацепилась за маленького золотого барашка.

Вдруг Розанетта страшно побледнела.

Мадмуазель Ватназ продолжала отцеплять брелок.

— Можешь не трудиться,— сказала Розанетта,— теперь я знаю твои политические убеждения.

— Что? — спросила Ватназ, зардевшись, точно невинная девушка.

— Ты меня прекрасно понимаешь!

Фредерик ничего не понимал. Очевидно, между ними встало нечто более серьезное и более интимное, чем социализм.

— А если бы и так! — возразила Ватназ, бесстрашно выпрямившись.— Это я заняла, моя милая. Долг платежом красен!

— Еще бы, я от своих долгов не отказываюсь! Стоит ли разговаривать из-за нескольких тысяч франков. Я, по крайней мере, занимаю деньги, но никого не обкрадываю!

Мадмуазель Ватназ попыталась засмеяться.

— О, я готова руку положить в огонь!

— Берегись! Рука у тебя сухая, может и загореться.

Старая дева подняла правую руку и поднесла ее к своему лицу.

— Но кое-кому из твоих друзей она приходится по вкусу!

— Верно, андалузцам? Вместо кастаньет!

— Мерзавка!

Капитанша ответила глубоким поклоном:

— Вы очаровательны!

Мадмуазель Ватназ ничего не ответила. На висках у нее выступили капли пота. Глаза пристально смотрели на ковер. Она задыхалась. Наконец она подошла к двери и с шумом распахнула ее.

— Прощайте! Я еще вам покажу!

— Посмотрим! — сказала Розанетта.

Усилия, которые она делала, чтобы сдержаться, надломили ее. Она упала на диван, дрожа, бормоча ругательства, проливая слезы. Неужели угроза Ватназ так взволновала ее? Да нет же! Наплевать ей на угрозы. Может быть,

та должна ей что-нибудь? Все дело в золотом барашке, в подарке, и сквозь слезы у нее вырвалось имя Дельмара. Значит, она влюблена в актера!

«Так зачем же ей понадобился я? — спрашивал себя Фредерик.— С чего это он к ней вернулся? Кто велит ей поддерживать отношения со мною? Какой во всем этом смысл?»

Розанетта продолжала тихонько всхлипывать. Она все еще лежала на боку, вытянувшись на диване, подложив под правую щеку обе руки, и казалась существом столь хрупким, измученным и беспомощным, что Фредерик подошел и нежно поцеловал ее в лоб.

Начались уверения в любви: князь уехал, они свободны. Но теперь она... в затруднительном положении. «Ты сам видел на днях, как я пустила в ход старую подкладку». Экипажей больше нет! И это еще не все: обойщик грозит увезти мебель из спальни и большой гостиной. Она не знает, как быть.

Фредерику хотелось ответить: «Не беспокойся, я заплачу!» Но ведь эта особа могла и солгать. Он был научен опытом и ограничился обычными утешениями.

Опасения Розанетты были не напрасны: пришлось отдать мебель и выехать из прекрасной квартиры на улице Друо. Розанетта сняла другую, на бульваре Пуассоньер, на пятом этаже. Всяких редкостей из ее прежнего будуара было достаточно, чтобы придать трем комнатам кокетливый вид. Повесили китайские шторы, над балконом устроили тент, для гостиной купили по случаю ковер, совсем новый, и пуфы, обитые розовым шелком. Фредерик принимал щедрое участие в этих приобретениях; он радовался, как новобрачный, у которого наконец есть собственный дом, жена; ему здесь нравилось, и он чуть не каждую ночь проводил у Розанетты.

Однажды утром, выйдя из квартиры, он заметил внизу, в четвертом этаже, кивер национального гвардейца, направлявшегося наверх. Куда он идет? Фредерик решил выждать. Человек все подымался, слегка опустив голову; вдруг он взглянул наверх. Оказалось, что это Арну. Положение было ясно. Оба покраснели, испытывая одинаковую неловкость.

Арну первый нашел выход из затруднения.

— Ей ведь лучше, не правда ли? — спросил он, как будто Розанетта была больна, а он пришел узнать о ее здоровье.

Фредерик воспользовался этим:

— Да, несомненно! Так, по крайней мере, мне сказала служанка.— Он хотел намекнуть, что его не приняли.

Теперь они стояли друг против друга в нерешительности, и каждый выжидательно смотрел на соперника. Вопрос был в том, кто из них уйдет. Арну и на этот раз нашел решение:

— Ну ничего. Зайду потом... Куда вы направляетесь? Я провожу вас!

Они вышли на улицу, и Арну заговорил как ни в чем не бывало. Очевидно, он не был ревнив или по свойственному ему добродушию не умел сердиться.

К тому же его занимали дела отечества. Теперь он не расставался с военной формой. 29 марта он защищал контору «Прессы». Когда народ ворвался в палату, он отличился своей храбростью и приглашен был на банкет в честь амьенской Национальной гвардии.

Юсоне, всегда дежуривший вместе с Арну, чаще чем кто-либо пользовался его фляжкой и сигарами, но, непочтительный от природы, любил ему противоречить, браня не слишком правильный язык декретов, совещания в Люксембургском дворце, везувианок, тирольцев — решительно все, вплоть до колесницы Земледелия, которую вместо волов тащили лошади и сопровождали некрасивые девицы. Наоборот, Арну защищал правительство и мечтал о слиянии партий. Между тем дела его принимали скверный оборот. Это его мало беспокоило.

Отношения Фредерика с Капитаншей не огорчили его — это открытие (так он полагал) давало ему право лишить ее содержания, которое он снова назначил ей после отъезда князя. Он сослался на свое стесненное положение, долго сокрушался, и Розанетта проявила великодушие. Тогда Арну стал считать себя настоящим любовником, а это возвышало его, молодило в собственных глазах. Не сомневаясь, что Капитанша на содержании у Фредерика, он вообразил, что «затеял забавную шутку», даже стал скрывать свою связь и, встречаясь с Фредериком, уступал ему место.

Необходимость делиться с Арну оскорбляла Фредерика, любезности соперника казались ему затянувшимся издевательством. Но, поссорившись с ним, он лишил бы себя возможности вернуться к своей прежней любви, и, помимо всего, он только от Арну мог что-нибудь услышать о ней. Торговец фаянсом, по своему обыкновению, а может быть,

лукавя, часто упоминал о жене и даже спрашивал молодого человека, почему он больше не навещает ее.

Фредерик, исчерпав все отговорки, стал уверять, что несколько раз заходил к г-же Арну, но не заставал ее дома. Арну не усомнился в этом; он часто высказывал недоумение, почему исчез их приятель, а она всякий раз отвечала, что он приходил, когда ее не было; таким образом, одна ложь не только не противоречила другой, но и подкрепляла ее.

Кротость молодого человека и отрадная мысль, что он обманывает его, заставляли Арну еще больше любить соперника. Свою фамильярность он доводил до крайности, и не из пренебрежения, а потому, что должен уехать на сутки по неотложному делу, и просил заменить его на дежурстве. Фредерик не решился отказать и отправился на площадь Карусели.

Ему пришлось переносить общество национальных гвардейцев, и все они за исключением одного рафинировщика, весельчака, поразительно много пившего, показались ему глупыми как пробка. Главной темой разговора была замена кожаной амуниции одной портупеей. Некоторые горячились из-за Национальных мастерских. «Куда мы идем?» — вопрошал кто-нибудь. Тот, к кому был обращен этот возглас, отвечал, широко открыв глаза, словно оказался на краю пропасти: «Куда мы идем?» А ктонибудь посмелее восклицал: «Так не может продолжаться! Пора с этим покончить!» Одни и те же разговоры повторялись до самого вечера. Фредерик скучал смертельно.

Каково же было его удивление, когда в одиннадцать часов появился Арну, сразу сообщивший, что он спешит отпустить его, так как уже справился со своими делами.

Дел у него не было. Он все выдумал, чтобы провести сутки наедине с Розанеттой. Но славный Арну не рассчитал своих сил, а когда утомился, почувствовал угрызения совести. Он пришел поблагодарить Фредерика и предложить ему поужинать.

— Покорно благодарю! Я не голоден! Мне бы только добраться до постели.

— Так тем более надо будет позавтракать вместе! Какой вы неженка! Сейчас нельзя идти домой! Уже поздно! Это опасно!

Фредерик еще раз уступил. Товарищи, не ждавшие Арну, стали за ним ухаживать, особенно рафинировщик. Все его любили, он был так добродушен, что даже пожа-

лел об отсутствии Юсоне. Но ему хотелось вздремнуть — на одну минутку, не дольше.

— Ложитесь со мной,— сказал он Фредерику, растянувшись на походной кровати и не сняв снаряжения. На случай тревоги он вопреки правилам положил рядом с собой ружье, потом пробормотал: «Милочка! Ангел мой!» — и не замедлил уснуть.

Разговаривавшие замолчали, мало-помалу водворилась глубокая тишина. Фредерика мучили блохи, и он смотрел по сторонам. Вдоль стены, выкрашенной желтой краской, тянулась длинная полка, на которой лежали ранцы, образуя ряд горбиков, а внизу были составлены ружья, все — свинцового цвета; слышался храп национальных гвардейцев, их животы смутно вырисовывались в сумраке. На печке стояли тарелки и пустая бутылка. Вокруг стола, на котором валялись игральные карты, стояли три соломенных стула. На скамейке лежал барабан, ремни его свисали до полу. В дверь дул теплый ветер, и лампа коптила. Арну спал, раскинув руки, ружье его лежало наискось, прикладом вниз, дуло было нацелено ему под мышку. Фредерик заметил это и испугался.

«Да нет! Пустое! Нечего опасаться! А все-таки, если бы он умер...»

И сразу нескончаемой вереницей замелькали картины. Он увидел себя рядом с ней, ночью, в почтовой карете; потом на берегу реки летним вечером; наконец, при свете лампы, дома, в их доме. Он даже занялся хозяйственными выкладками и планами, созерцая, уже осязая свое счастье, а для достижения его надо было только взвести курок. Можно просто толкнуть его носком; раздался бы выстрел — случайность, только и всего.

Фредерик развивал свою мысль, точно драматург, занятый сюжетом. Вдруг ему показалось, что она близится к осуществлению и что дело не обойдется без его участия, что ему этого хочется; и тут его охватил ужас. Он мучился, но испытывал удовольствие и все сильнее ему отдавался, чувствуя со страхом, как исчезают его сомнения. В этом бреду растворился весь остальной мир, и только невыносимое стеснение в груди поддерживало в нем сознание своего «я».

— Не выпить ли нам белого вина? — спросил, проснувшись, рафинировщик.

Арну соскочил с постели, а когда вино было выпито, захотел стать на дежурство вместо Фредерика.

Затем Арну повел его завтракать на Шартрскую улицу, к Парли, и, так как ему надо было подкрепиться, он заказал два мясных блюда, омара, яичницу с ромом, салат и т. д.; все это они запивали сотерном 1819 года и романеей сорок второго, не считая шампанского, поданного к десерту, и ликеров.

Фредерик ни в чем не противоречил ему. Он чувствовал себя неловко, как будто Арну мог заметить на его лице следы недавних мыслей.

Облокотясь на стол и очень низко наклонившись, Арну смущал Фредерика упорным взглядом и делился с ним своими фантазиями.

Ему хотелось арендовать все насыпи Северной железной дороги, чтобы засадить их картофелем, или же устроить по бульварам грандиозную кавалькаду, в которой участвовали бы «современные знаменитости». Он снял бы по пути ее следования все окна и, сдав каждое из них по три франка, в среднем получил бы недурной барыш. Вообще он мечтал об удаче, которую ему принесет какая-нибудь спекуляция. Рассуждал он, однако, как человек нравственный, порицал излишества, бесчинства, вспоминал о своем «бедном отце» и рассказывал, что каждый вечер, прежде чем помолиться богу, отдает себя на суд своей совести.

— Еще капельку кюрасо, а?

— Как вам угодно.

Что до республики, то все уладится; словом, он считал себя счастливейшим в мире человеком и, забывшись, стал превозносить достоинства Розанетты, сравнивая ее даже со своей женой. Это уж совсем другое дело! Какие бедра!

— За ваше здоровье!

Фредерик чокнулся с ним. В угоду Арну он выпил лишнее; к тому же яркое солнце опьянило его, и, когда они вместе пошли по улице Вивьен, их эполеты братски соприкасались.

Вернувшись домой, Фредерик проспал до семи часов. Потом отправился к Капитанше. Она с кем-то ушла. Может быть, с Арну? Не зная, чем заняться, он дошел до бульвара, но не мог пробраться дальше ворот Сен-Мартен: так много здесь было народу.

Многие рабочие были выброшены на улицу и, предоставленные самим себе, каждый вечер приходили к воротам Сен-Мартен и делали смотр своим силам в ожидании,

когда будет подан сигнал. Несмотря на закон, запрещавший всякие сборища, эти *клубы отчаяния* становились угрожающе многолюдными, и у многих буржуа вошло в моду ежедневно прогуливаться здесь, щеголяя своей храбростью.

Вдруг в трех шагах от себя Фредерик увидел Дамбрёза с Мартиноном. Фредерик отвернулся — Дамбрёз достиг того, что его избрали в депутаты, и он был на него сердит. Но промышленник остановил его:

— На одну минутку, дорогой мой! Я вам должен дать объяснения!

— Да мне они не требуются...

— Сделайте милость, выслушайте меня!

Тут вовсе не было его вины. Его упросили, в известном смысле даже принудили. Мартинон подтвердил: жители Ножана прислали к нему депутацию.

— К тому же я не считал себя связанным с тех пор, как...

Толпа, хлынувшая на тротуар, оттеснила Дамбрёза.

Вскоре он снова появился и сказал Мартинону:

— Вот уж это истинная услуга! Вы не раскаетесь...

Все трое остановились около магазина и прислонились к стене, чтобы удобнее было разговаривать.

Время от времени раздавались крики: «Да здравствует Наполеон! Да здравствует Барбес! Долой Мари!» Слышался громкий говор бесчисленной толпы, и все эти голоса, отраженные стенами домов, сливались в непрерывный гул, подобный шуму волн в гавани. Порой они смолкали; тогда гремела *Марсельеза.* В подворотнях какие-то таинственные личности предлагали трости с кинжалами. Иногда два субъекта, перемигнувшись мимоходом, быстро расходились. На тротуаре кучками стояли зеваки; на мостовой колыхалась густая толпа; отряды полицейских, выходивших из переулков, сразу же растворялись в ней. Красные флажки, мелькавшие то здесь, то там, напоминали вспышки пламени; кучера, восседавшие на козлах, разводили руками, а потом поворачивали назад. Все находилось в движении, зрелище было чрезвычайно занятное.

— Как бы все это развлекло мадмуазель Сесиль! — сказал Мартинон.

— Вы ведь знаете, жена моя не любит отпускать племянницу с нами,— ответил, улыбаясь, Дамбрёз.

Он стал неузнаваем. Целых три месяца он кричал: «Да здравствует Республика!» — и даже голосовал за изгна-

ние Орлеанской династии. Но пора было прекратить уступки. Он был так озлоблен, что носил в кармане кастет.

Кастет был и у Мартинона. Судебные должности перестали быть несменяемыми, поэтому он бросил службу и резкостью суждений превосходил Дамбрёза.

Промышленник особенно ненавидел Ламартина (за то, что он поддерживал Ледрю-Роллена), а заодно и Пьера Леру, Прудона, Консидерана, Ламенне — всех сумасбродов, всех социалистов.

— Ведь чего они хотят, в конце концов? Отменили пошлину на мясо и аресты за долги, сейчас разрабатывается проект земельного банка, на днях учредили государственный банк! А в бюджете — пять миллионов предусмотрено на нужды рабочих! Но, к счастью, с этим покончено благодаря де Фаллу! Пусть проваливают. Скатертью дорога!

В самом деле, не зная, как прокормить сто тридцать тысяч рабочих, занятых в Национальных мастерских, министр общественных работ подписал в тот же день постановление, приглашавшее всех граждан в возрасте от восемнадцати до двадцати лет поступить в солдаты или отправиться в провинцию обрабатывать землю.

Это предложение их возмутило; они решили, что хотят уничтожить республику. Жизнь вдали от столицы казалась печальной, как изгнание; им уже рисовалась дикая местность, где они погибнут от лихорадки. К тому же многие из них привыкли к тонким ремеслам и считали земледелие занятием унизительным; наконец, это был обман, насмешка, полный отказ от всех обещаний! Если они станут сопротивляться, власти прибегнут к силе; они не сомневались в том и хотели предупредить нападение.

К девяти часам люди, скопившиеся у Бастилии и у Шатле, хлынули на бульвар. От ворот Сен-Дени до ворот Сен-Мартен кишела сплошная огромная темно-синяя, почти черная масса. У всех, кого можно было разглядеть в толпе, глаза горели, лица были бледные, исхудавшие от голода, возбужденные несправедливостью. А тем временем собирались тучи; грозовое небо наэлектризовывало толпу, кружившуюся на одном месте, нерешительную, охваченную широким волнообразным движением, которое напоминало водоворот; и в глубинах ее чувствовалась сила, как бы стихийная мощь. Потом все запели: «Фонарики! Фонарики!» Несколько окон остались неосвещенными; в

них бросили камни. Дамбрёз счел более осторожным удалиться. Молодые люди пошли провожать его.

Он предвидел великие бедствия. Народ опять мог ворваться в палату. По этому поводу Дамбрёз рассказал, что 15 мая он погиб бы, если бы не самоотверженность одного национального гвардейца.

— Да это же ваш приятель, я и забыл! Ваш приятель, торговец фаянсом, Жак Арну!

Мятежники задавили бы его, а этот храбрый гражданин взял его на руки и отнес в сторону. Тут и завязалось нечто вроде знакомства.

— Как-нибудь на днях надо будет пообедать вместе, а вы передайте ему, раз вы часто с ним встречаетесь, что он мне очень нравится. Прекрасный человек. По-моему, на него клевещут. И он не глуп, этот плут! Ну, прощайте! Всего лучшего!

Расставшись с Дамбрёзом, Фредерик отправился к Капитанше и очень мрачно сказал, что она должна выбрать: либо он, либо Арну. Она кротко ответила, что совершенно не понимает «таких глупостей», что не любит Арну, нисколько не дорожит им. Фредерик жаждал уехать из Парижа. Она не воспротивилась этой прихоти, и они на следующий же день перебрались в Фонтенбло.

В гостинице, где они остановились, посреди двора журчал фонтан, что составляло ее главное отличие. Двери комнат выходили в коридор, точно в монастыре. Им отвели большую комнату, хорошо обставленную, обтянутую кретоном и очень спокойную,— путешественников было мало. По улице расхаживали праздные обыватели; попозже, когда настали сумерки, под их окнами дети затеяли игру в городки; тишина, которой сменился шум Парижа, удивляла и умиротворяла их.

Ранним утром они пошли осматривать дворец. Войдя в железные ворота, они увидели весь его фасад, пять павильонов с остроконечными крышами, лестницу в форме подковы в глубине двора и два более низких флигеля справа и слева. Лишайники на мощеном дворе сливались издали с бурыми тонами кирпичей; дворец, напоминавший окраской ржавые латы, был царственно невозмутим, исполнен воинственного и печального величия.

Наконец появился сторож со связкой ключей. Сперва он показал им покои королев, папскую молельню, галерею Франциска I, столик красного дерева, на котором император подписал отречение от престола, а в одной из комнат,

на которые разделена была прежняя Оленья галерея,— то место, где по приказанию Христины был убит Мональдески. Розанетта внимательно выслушала эту историю, потом, обернувшись к Фредерику, сказала:

— Наверно, из ревности? Смотри, берегись!

Затем они прошли через залу Совета, через караульную залу, тронную залу и гостиную Людовика XIII. В высокие незанавешенные окна проникал дневной свет; ручки дверей и окон, медные ножки консолей потускнели под слоем пыли; мебель закрывали чехлы из грубого холста; над дверьми изображены были охотничьи сцены времен Людовика XV, а на гобеленах — боги Олимпа, Психея, сражения Александра.

Проходя мимо зеркала, Розанетта всякий раз останавливалась на минуту, чтобы пригладить волосы.

Миновав башенный двор и осмотрев капеллу святого Сатурника, они вошли в парадную залу.

Их ослепило великолепие плафона, разделенного на восьмиугольники с золотым и серебряным орнаментом, превосходящим тонкостью работы драгоценную безделушку, и обилие стенной живописи, начиная с гигантского камина, украшенного гербом Франции в раме из полумесяцев, и кончая эстрадой для музыкантов на другом конце залы. Десять сводчатых окон были широко распахнуты; живопись блистала в лучах солнца; голубое небо, уходя в беспредельность, перекликалось с ультрамариновым тоном сводов, а из глубины туманных лесов, скрывавших горизонт, как будто доносились эхо охотничьих рогов из слоновой кости и звуки мифологических балетов, исполняемых под сенью листвы принцессами и вельможами, переодетыми нимфами и сильванами,— отголоски времен наивных знаний, сильных страстей и пышного искусства, когда мир стремились превратить в грезу о Гесперидах, а любовниц королей уподобляли небесным светилам. Прекраснейшая из этих знаменитых женщин велела запечатлеть себя на правой стене в виде Дианы-охотницы и даже Адской Дианы, очевидно, в знак того, что власть ее не кончится даже за гробом. Все эти символы вещали о славе этой женщины, и до сих пор что-то оставалось от нее — не то смутный отзвук ее голоса, не то отблеск ее сияния.

Фредерик почувствовал невыразимое вожделение, рожденное этим прошлым. Чтобы отвлечься, он нежно взглянул на Розанетту и спросил, не хочется ли ей быть на месте этой женщины.

— Какой женщины?

— Дианы де Пуатье! — Он повторил: — Дианы де Пуатье, любовницы Генриха Второго.

В ответ она протянула:

— А-а!

Ее молчание ясно доказывало, что она ничего не знает, ничего не понимает. Снисходя к ней, он спросил:

— Тебе, может быть, скучно?

— Нет, нет, напротив!

Подняв голову и обводя стены ничего не выражающим взглядом, Розанетта изрекла:

— Это вызывает воспоминания!

Однако по лицу ее было заметно, что она делает усилие, чтобы настроиться на благоговейный лад, а так как серьезность очень шла к ней, он извинил ее.

Пруд с карпами занял ее гораздо больше. Она добрых четверть часа кидала в воду кусочки хлеба, чтобы посмотреть, как набрасываются на них рыбы.

Фредерик сел рядом с ней под липами. Он думал о тех людях, которых видели эти стены,— о Карле V, о королях из дома Валуа, о Генрихе IV, о Петре Великом, о Жан-Жаке Руссо и «прекрасных дамах, проливавших слезы в нижних ложах», о Вольтере, Наполеоне, Пие VII, Луи-Филиппе; он чувствовал, как обступают, теснят его неугомонные покойники; нестройная вереница вставших перед ним образов ошеломила Фредерика, хотя он и ощущал прелесть прошлого.

Наконец они спустились к цветнику.

Он занимает большой прямоугольный участок, и можно было одним взглядом окинуть широкие желтые дорожки, квадратики газона, завитки буксов, пирамидальные тисы, низкие кустики и узкие клумбы, где редкие цветы выделяются пятнами на серой земле. За цветником начинается парк, из конца в конец которого тянется длинный канал.

Королевские жилища полны какой-то своеобразной меланхолии, вызываемой, должно быть, несоответствием между их огромными размерами и немногочисленностью обитателей, той тишиной, которую мы с удивлением находим здесь после стольких трубных звуков, той незабываемой роскошью, которая своей древностью изобличает быстротечность династий, неизбывную тщету всего сущего, и это дыхание веков, дурманящее и скорбное, точно аромат мумии, воспринимают даже умы, не отличающиеся

тонкостью. Розанетта отчаянно зевала. Они вернулись в гостиницу.

После завтрака им подали открытый экипаж. Они выехали из Фонтенбло через обширную круглую площадку, потом стали шагом подыматься по песчаной дороге в низкорослом сосновом лесу. Дальше деревья становились выше; кучер время от времени говорил: «Вот «сиамские близнецы», «фарамонд», «королевский букет»,— не пропуская ни одного из знаменитых пейзажей, и порою останавливал лошадей, чтобы можно было полюбоваться видом.

Они въехали в Франшарскую рощу. Экипаж скользил по траве, точно сани; ворковали невидимые голуби; вдруг появился слуга из кафе, и коляска остановилась у садовой ограды, за которой стояли круглые столики. Затем, оставив слева стены разрушенного аббатства, Фредерик и Розанетта пошли по тропинке, усеянной крупными камнями, и вскоре очутились в глубине ущелья.

Один его склон покрыт песчаником и кустами можжевельника, а другой, почти голый, спускается в овраг, где среди яркого вереска бледной лентой тянется тропинка; вдали подымается вершина холма в форме усеченного конуса, а за ней телеграфная вышка.

Полчаса спустя они еще раз вышли из коляски и стали взбираться на высоты Апремона.

Дорога вьется среди приземистых сосен и угловатых скал; в этой части леса глухо, дико, сурово. На память приходят отшельники, которые некогда жили здесь среди огромных оленей с огненными крестами между рогов, и, отечески улыбаясь, встречали добрых французских королей, преклонявших колена у входа в их пещеры. Жаркий воздух насыщен был запахом смолы, корни деревьев сплетались на земле, точно жилы. Розанетта, спотыкаясь о них, приходила в отчаяние, ей хотелось плакать.

Но, взобравшись на вершину, она повеселела: под навесом из ветвей оказалось нечто вроде ресторанчика, тут же продавались вещицы, вырезанные из дерева. Она выпила бутылку лимонада, купила палку из остролиста и, даже не взглянув на ландшафт, открывавшийся с плоскогорья, вошла в Разбойничью пещеру вслед за мальчиком, который нес факел.

Коляска ожидала их в Ба-Брео.

Художник в синей блузе работал под дубом, держа на коленях ящик с красками. Он поднял голову, поглядел им вслед.

На косогоре Шайи они попали под внезапно хлынувший ливень, так что пришлось поднять верх экипажа. Дождь быстро прекратился, и, когда они въезжали в город, мостовая блестела на солнце.

От путешественников, только что прибывших, они узнали, что в Париже идут жестокие, кровавые бои. Розанетту и ее любовника это не удивило. Вскоре новые постояльцы отправились в дорогу; в гостинице снова все стихло, газ погасили, и они заснули под плеск фонтана, который бил во дворе.

На другой день они поехали осматривать Волчье ущелье, озеро Фей, Долгий утес, Марлотту, а на третий — предоставили кучеру везти их, куда ему вздумается, даже не спрашивая, где они, и зачастую не обращая внимания на знаменитые пейзажи.

Им так хорошо было в старом ландо, обтянутом внутри полотняной материей, с выцветшими полосками, с низким, точно диван, сиденьем! Овраги, заросшие кустарником, скользили мимо них мерно и непрерывно. Белые лучи, точно стрелы, пронизывали высокий папоротник; уходя прямыми линиями вдаль, в стороне открывались дороги, по которым теперь никто не ездил, и местами на них уже мягко зыбилась трава. На перепутьях простирали свои руки кресты, а кое-где столб кривился подобно засохшему дереву; узкая, извилистая тропинка, теряясь под деревьями, манила в лес; лошадь тут же сворачивала, колеса вязли в грязи; дальше виднелись глубокие колеи, поросшие мхом.

Им казалось, что они совсем одни, далеко от людей. Но вдруг навстречу попадался лесничий с ружьем или проходили женщины в лохмотьях, с длинными вязанками хвороста на спине.

Когда коляска останавливалась, воцарялась полная тишина; только слышно было, как дышит лошадь да раздавался слабый птичий крик.

Кое-где опушка леса была ярко освещена, а чаща погружена в тень; местами свет, смягченный на первом плане мглистым сумраком, расстилался вдали лиловатой дымкой, белыми пятнами. Солнце, стоявшее высоко в небе, бросало отвесные лучи на широколиственную сень деревьев, осыпало их брызгами света, усеивало кончики ветвей серебряными каплями, расстилалось по траве изумрудными полосами, ложилось золотыми бликами на груды опавших листьев; закинув голову, можно было между вер-

хушками деревьев увидеть небо. Некоторые деревья, непомерно высокие, походили на императоров и патриархов, иные вершинами касались друг друга, образуя подобие триумфальных арок; те же, что росли косо, казались колоннами, которые вот-вот рухнут.

В этом ряду частых отвесных стволов возникали кое-где просветы. Тогда огромными зелеными волнами вздымались неровные цепи холмов, сливавшихся с долинами, а за ними высились гребни других холмов, спускавшихся к золотистым нивам, которые исчезали в бледной, смутной дали.

Порой, стоя друг подле друга на какой-нибудь возвышенности, они вдыхали ветер и чувствовали, что в душу их проникает как бы гордое сознание иной, более свободной жизни, и ощущали избыток сил, беспричинную радость.

Благодаря разнообразию деревьев пейзаж все время менялся. Буки с белыми и гладкими стволами сплетались корнями; ясени томно опускали свои синевато-зеленые ветки среди молодых грабов; точно вылитые из бронзы, щетинились остролисты; потом шел ряд тонких берез, склонившихся в элегической позе, а сосны, симметричные, как трубы органа, казалось, пели, беспрерывно покачиваясь из стороны в сторону. Были здесь и огромные узловатые дубы; устремляясь ввысь, они судорожно изгибались, сжимали друг друга в объятиях и, крепко держась на корнях, простирали вверх обнаженные ветви, точно бросая отчаянные призывы, яростные угрозы, подобно титанам, оцепеневшим в гневе. Что-то гнетущее, какое-то лихорадочное томление тяготело над гладью болотистых вод, окруженных колючим кустарником; лишайники, растущие по их берегам, куда волки приходят на водопой, напоминали цветом серу, как будто по ним ступали ведьмы; непрестанное кваканье лягушек отвечало карканью кружившихся ворон. Далее тянулись однообразные просеки, кое-где засаженные молодыми деревцами. Раздавался грохот железа, тяжелые и частые удары: на склоне холма артель рабочих дробила камень. Скалы попадались все чаще и наконец заполнили весь пейзаж; кубические, как дома, или плоские, как плиты, они сталкивались, громоздились одна на другую, сливались, словно неведомые чудовищные развалины исчезнувшего города. Но самое неистовство их хаоса скорее наводило на мысль о вулканах, потопах, великих, неведомых нам катаклизмах. Фредерик

говорил, что скалы эти стоят здесь от начала мира и останутся до конца его; Розанетта отворачивалась, заявляя, что она «от таких вещей с ума сойдет», и отправлялась рвать вереск. Его мелкие лиловатые цветочки, теснясь один к другому, сливались в неровные пятна, а земля, осыпавшаяся под его кустиками, черной бахромой выделялась на песке, усеянном блестками слюды.

Однажды они решили взобраться на песчаный холм и поднялись до половины его. По склону, не знавшему следов человеческой ноги, симметричными волнами застыл песок, кое-где выступали скалы, точно острова на высохшем ложе океана, смутно напоминая своими формами разных зверей — черепах с вытянутыми головами, ползающих тюленей, гиппопотамов, медведей. Кругом никого. Ни единого звука. Песок, озаренный солнцем, слепил глаза; и вдруг в этом дрожащем свете звери словно зашевелились, Фредерик и Розанетта в испуге бросились назад,— у них закружилась голова.

Строгое спокойствие леса передавалось им, и, покачиваясь на рессорах, они порой хранили молчание, отдаваясь безмятежной неге. Обняв Розанетту за талию, он слушал ее голос и щебетание птиц, рассматривал черные виноградины на ее шляпке и ягоды на кустах можжевельника, складки ее вуали и завитушки облаков, а наклоняясь к ней, вдыхал свежесть ее кожи вместе с запахами леса. Все забавляло их; они, как на диковинку, указывали друг другу на тонкие нити паутины, свесившиеся с куста, на углубления в камнях, полные воды, на белку в ветвях, на двух бабочек, летевших им вслед; шагах в двадцати от них спокойно прошла под деревьями кроткая благородная лань, а рядом ее детеныш. Розанетте захотелось догнать их и расцеловать.

Как-то раз она очень испугалась: неожиданно к ним подошел человек и показал в ящике трех гадюк. Она крепко прижалась к Фредерику, и он был счастлив, чувствуя ее слабость и свою силу, сознавая, что может защитить ее.

В тот же вечер они обедали в ресторане на берегу Сены. Стол их стоял у окна. Розанетта сидела против Фредерика, и он любовался ее изящным носиком, сочными губками, ясными глазами, пышными каштановыми волосами, красивым овалом лица. Платье из небеленого фуляра плотно облегало ее плечи, немного покатые, а руки, выступавшие из гладких манжет, резали, наливали, двигались над

скатертью. Им подали распластанного цыпленка, матлот из угрей в глиняной миске, терпкое вино, черствый хлеб, зазубренные ножи. Все это усиливало их радость, поддерживало сладостную иллюзию. Им чудилось, что они путешествуют по Италии, справляя медовый месяц.

Перед тем как сесть в экипаж, они пошли прогуляться по берегу реки.

Нежно-голубое небо, точно купол, опрокинулось над землей, касаясь вдали зубчатых очертаний леса. На противоположном конце поляны высилась колокольня сельской церкви, а дальше, налево, крыша дома отражалась красным пятном в извилистой реке, казавшейся неподвижной. Однако камыши наклонялись, и вода тихо покачивала воткнутые у берега жерди, на которых были развешаны сети; тут же стояли ивовая верша и две-три старые лодки. У постоялого двора служанка в соломенной шляпе тянула ведра из колодца; каждый раз, как ведро поднималось, Фредерик с невыразимым наслаждением прислушивался к скрипу цепи.

Он не сомневался, что будет счастлив до конца своих дней: таким естественным было это счастье, так неразрывно оно сливалось с его жизнью и с обликом этой женщины. Ему хотелось говорить ей нежные слова. Она мило отвечала ему, тихонько ударяла его по плечу, и его очаровывала неожиданность ее ласк. Он открывал в ней новую красоту, которая, быть может, являлась лишь отблеском окружающего мира или была вызвана к жизни его сокровенной сущностью.

Когда они отдыхали в поле, он клал голову ей на колени, под тень зонтика; или оба они ложились на траву, подолгу смотрели в глаза друг другу, пробуждая желание, затем утоляли его и, смежив веки, погружались в молчание.

По временам слышались где-то вдали раскаты барабана. Это в деревне били тревогу, созывая народ на защиту Парижа.

— Ах да! Это восстание,— говорил Фредерик с презрительной жалостью,— все эти волнения казались ему ничтожными по сравнению с их любовью и вечной природой.

Они болтали бог весть о чем, о вещах, которые и так были им известны, о людях, которые их не занимали, о всяких пустяках. Она рассказывала ему о своей горничной

и о своем парикмахере. Однажды она проговорилась, сказала, сколько ей лет: двадцать девять; она стареет.

Не раз, сама того не замечая, Розанетта сообщала ему подробности из своей жизни: она служила продавщицей в магазине, ездила в Англию, готовилась стать актрисой; все это были отрывочные сведения, и Фредерик не мог восстановить цельной картины. Однажды она рассказала о себе больше — когда они сидели на луговом откосе под платаном. Внизу, у дороги, босая девочка пасла корову. Заметив их, она подошла попросить милостыню; одной рукой она придерживала лохмотья своей юбки, а другой почесывала черные волосы, напоминавшие парик времен Людовика XIV и окаймлявшие ее смуглое личико, которое озарялось блеском ослепительных глаз.

— Со временем она будет хорошенькая,— сказал Фредерик.

— Хорошо, если у нее нет матери! — заметила Розанетта.

— Как? Почему?

— Ну да. Вот если бы у меня...

Она вздохнула и стала рассказывать про свое детство. Ее родители были прядильщики в Круа-Рус. У отца она была вместо подмастерья. Бедняга работал, старался изо всех сил, но жена ругала его и все норовила распродать, лишь бы напиться. Розанетта как сейчас помнила их комнату, станки, стоявшие боком у окон, котел с супом на печке, кровать, выкрашенную под красное дерево, против нее шкаф и темный чулан, где она спала до пятнадцати лет. Однажды к ним явился господин, жирный, с бурым лицом и с повадками святоши, весь в черном. Он переговорил с ее матерью, и вот через три дня... Розанетта запнулась и добавила, бросив на Фредерика взгляд, полный бесстыдства и горечи:

— Дело было сделано! — Как бы отвечая на невольное движение Фредерика, она продолжала: — Он был женатый (дома боялся скомпрометировать себя), поэтому меня отвели в ресторан, в отдельный кабинет, и сказали, что я буду счастлива, что он сделает мне хороший подарок.

Первое, что меня поразило, едва только я вошла, был вызолоченный канделябр на столе, где стояло два прибора,— они отражались в зеркале на потолке; стены были обтянуты голубым шелком, комната походила на альков. Все это меня изумляло. Ты понимаешь: ведь я была ни-

щая девочка, ничего еще не видевшая. Хоть меня и ослепил этот блеск, мне сделалось страшно. Мне хотелось уйти, но я осталась.

У стола стульев не было, стоял только диван. Я села — он был такой мягкий! Из отдушины, покрытой ковром, шел горячий воздух. Я ни к чему не притрагивалась. Передо мной стоял лакей и уговаривал меня поесть. Он налил мне полный стакан вина. У меня закружилась голова, я хотела открыть окошко, но он сказал: «Нет, барышня, нельзя». И ушел. На столе была всякая всячина, о которой я и представления не имела. Ни одно из кушаний мне не понравилось. Тогда я набросилась на варенье в вазочке и все ждала. Не знаю, что его задержало. Было уже поздно, около полуночи, я изнемогала от усталости; я стала перекладывать подушки, чтобы поудобнее улечься, и вдруг мне под руки попалось нечто вроде альбома, какая-то тетрадь с неприличными картинками... Я спала, подложив ее под голову, когда он вошел.

Розанетта поникла и задумалась.

Вверху шелестели листья, над густой травой покачивался высокий стебель наперстянки, поляну заливали волны света, и только изредка слышно было, как корова, которую они уже потеряли из виду, пощипывает траву.

Розанетта пристально, сосредоточенно смотрела в одну точку прямо перед собой; ноздри ее трепетали. Фредерик взял ее за руку.

— Сколько ты выстрадала, бедняжка!

— Да,— промолвила Розанетта,— больше, чем ты думаешь!.. Даже хотела покончить с собой; меня вытащили из воды.

— Как так?

— Не стоит вспоминать!.. Я тебя люблю, я счастлива! Поцелуй меня.

И она стала отдирать репей, приставший к подолу ее платья.

А Фредерик думал о том, чего она не сказала. Какими путями выбилась она из нищеты? Кому из любовников обязана своим воспитанием? Что было в жизни Розанетты до того дня, когда он в первый раз появился в ее доме? Ее последнее признание затрудняло расспросы. Он только полюбопытствовал, как она познакомилась с Арну.

— Через Ватназ.

— Не тебя ли я видел однажды вместе с ними в Пале-Рояль?

Он назвал дату. Розанетта сделала усилие, припоминая.

— Да, верно... Невесело мне было в те времена!

Однако Арну показал себя с наилучшей стороны. Фредерик в этом не сомневался, но все же их друг — большой чудак, у него много недостатков; он не преминул перечислить их. Она соглашалась.

— Что из того?.. Все-таки нельзя не любить этого негодяя!

— Даже теперь? — спросил Фредерик.

Она покраснела и полусмеясь, полусердито возразила:

— Да нет же! Все это было давно. Я от тебя ничего не скрываю. А даже если бы и так, ведь он — совсем другое! Впрочем, ты не особенно мило ведешь себя со своей жертвой.

— Жертвой?

Розанетта взяла его за подбородок.

— Ну, разумеется! — И засюсюкала, как делают это кормилицы: — Ты не всегда был паинька! С его женой в одной постельке — бай-бай!

— Я? Никогда в жизни.

Розанетта улыбнулась. Ее улыбка оскорбила его, как доказательство равнодушия (так он подумал). Но она стала кротко расспрашивать его, взглядом умоляя ответить ложью:

— Правда?

— Ну конечно!

Фредерик поклялся ей, что никогда не помышлял о г-же Арну; ведь он страстно влюблен в другую.

— В кого же это?

— Да в вас, моя красавица!

— Не издевайся надо мной! Меня это раздражает!

Он счел более осторожным рассказать ей о вымышленном увлечении, придумал целую историю. Он сочинял подробности, самые правдоподобные. Впрочем, особа эта сделала его очень несчастным.

— Тебе решительно не везет! — сказала Розанетта.

— Да нет же, не всегда,— ответил Фредерик, намекая на любовные удачи и желая этим внушить Розанетте более высокое мнение о себе, подобно тому как она не называла всех своих любовников, ибо даже в минуты самых искренних излияний остаются недомолвки, и причина их — ложный стыд, совестливость или жалость. В своем ближнем, а затем и в самом себе открываешь бездны или

клоаки, которые не позволяют идти дальше; к тому же чувствуешь, что тебя не поймут; трудно точно выразить что бы то ни было, недаром в любви полное единение редко.

У бедной Капитанши ничего лучшего не было в жизни. Часто, когда она глядела на Фредерика, слезы блестели у нее на ресницах; она поднимала глаза к небу или смотрела вдаль, как будто там вставала яркая заря, открывалась будущность, полная безграничного блаженства. Наконец она призналась, что ей хотелось бы отслужить молебен: «Это принесет счастье нашей любви».

Отчего же она так долго противилась ему? Она и сама не знала. Он несколько раз задавал ей этот вопрос, и она отвечала, сжимая его в объятиях:

— Я боялась слишком горячо полюбить тебя, милый!

В воскресенье утром Фредерик, читая газету, встретил в списке раненых имя Дюсардье. Он вскрикнул и, показав Розанетте газету, заявил, что немедленно уезжает.

— Зачем это?

— Чтобы видеть его, ухаживать за ним!

— Надеюсь, ты не оставишь меня одну?

— Поедем вместе.

— Ах, вот как! Чтоб попасть в эту кутерьму? Благодарю покорно!

— Но я ведь не могу...

— Та-та-та! Как будто в больницах мало фельдшеров! А он-то чего совался, ему какое дело? Каждый должен думать о себе!

Он был возмущен ее эгоизмом и стал упрекать себя, зачем не остался там, вместе с другими. В этом равнодушии к бедствиям родины было нечто пошлое, мещанское. Любовь к Розанетте вдруг стала тяготить его, точно преступление. Они целый час дулись друг на друга.

Потом она стала умолять его выждать, не подвергать себя опасности.

— А вдруг тебя убьют?

— Ну что же! Зато я исполню свой долг!

Розанетта так и подскочила. Его долг — прежде всего любить ее. Значит, она ему не нужна? Где во всем этом здравый смысл? Что за фантазия, боже мой!

Фредерик позвонил и велел слуге принести счет. Но вернуться в Париж было нелегко. Дилижанс конторы Лелуар только что ушел, кареты Леконта не брали пассажиров, дилижанс из Бурбоне прибывал поздно ночью, обыч-

но переполненный, ничего нельзя было предвидеть. Потеряв много времени на справки, Фредерик решил взять почтовых лошадей. Почтмейстер отказал ему, так как у Фредерика не было с собой паспорта. В конце концов он нанял коляску (ту самую, в которой она ездила кататься), и к пяти часам они добрались до «Торговой гостиницы» в Мелене.

На рыночной площади стояли в козлах ружья. Префект запретил Национальной гвардии выступать в Париж. Гвардейцы, не принадлежавшие к его департаменту, хотели продолжать путь. Раздавались крики. В гостинице стоял шум.

Испуганная Розанетта объявила, что дальше не поедет, и снова стала умолять его остаться. Хозяин и хозяйка гостиницы поддержали ее. В спор вмешался один из обедавших, добрый малый; он утверждал, что сражаться скоро перестанут, но свой долг надо исполнить. Капитанша зарыдала еще громче. Фредерик был вне себя. Он отдал Розанетте свой кошелек, наскоро поцеловал ее и скрылся.

На вокзале в Корбейе он узнал, что мятежники разобрали кое-где рельсы, а кучер отказался везти его дальше, говоря, что лошади «замучились».

Все же с его помощью Фредерик достал скверный кабриолет, в котором за шестьдесят франков, не считая того, что он дал на водку, его согласились довезти до Итальянской заставы. Но уже за сто шагов до заставы кучер попросил его сойти и повернул назад. Фредерик пошел по дороге, как вдруг часовой штыком преградил ему путь. Четыре человека набросились на него, крича:

— Это один из них! Держите его! Обыскать! Разбойник! Сволочь!

Изумление Фредерика было так велико, что он дал увести себя в караульню у заставы, на площади, где сходятся бульвары Гобеленов и Госпитальный и улицы Годфруа и Муфтар.

Подступы к площади загораживали четыре баррикады, четыре громадные груды булыжника; местами трещали факелы; несмотря на клубившуюся пыль, Фредерик различал пехотинцев и национальных гвардейцев с почерневшими, свирепыми лицами, в изодранных мундирах. Они только что заняли эту площадь и расстреляли несколько человек; ярость их еще не улеглась. Фредерик сказал, что он приехал из Фонтенбло, желая помочь раненому товарищу, который живет на улице Бельфон; сначала ему не

повернли; осмотрели его руки, даже понюхали уши, чтобы удостовериться, не пахнет ли от него порохом.

Однако, все время твердя одно и то же, он наконец убедил в своей правоте капитана, и тот приказал двум стрелкам препроводить его к посту у Ботанического сада.

Спустились по Госпитальному бульвару. Дул сильный ветер. Он освежил Фредерика.

Потом повернули на Конный рынок. Направо огромным темным массивом выступал Ботанический сад, налево, будто охваченный пожаром, сверкал огнями фасад больницы Милосердия; во всех окнах горел свет, за ними мелькали тени.

Провожатые Фредерика вернулись назад. До Политехнической школы его сопровождал уже другой человек.

На улице Сен-Виктор царил полный мрак: ни одного газового рожка, ни одного освещенного окна. Каждые десять минут раздавался оклик:

— Часовой! Слушай!

И этот крик, прорезывая тишину, рождал отклики, как камень, падающий в пропасть и пробуждающий эхо.

Порою приближались чьи-то тяжелые шаги. Это проходил патруль — смутная масса, по меньшей мере сотня людей; доносился шепот, негромкое бряцание оружия; мерно покачиваясь, патруль уходил, растворялся в темноте.

На каждом перекрестке неподвижно возвышался конный драгун. Время от времени галопом проносился курьер, затем снова наступала тишина. Где-то везли пушки, и над мостовой стоял глухой и грозный грохот; сердце сжималось от этих звуков, не похожих на привычные звуки. Они как будто даже углубляли тишину — зловещую, полную, черную тишину. К солдатам подходили люди в белых блузах, что-то говорили им и исчезали, как привидения.

В караульне Политехнической школы было битком набито. На пороге толпились женщины, просившие свидания с сыном или мужем. Их отсылали в Пантеон, превращенный в морг, и никто не хотел слушать Фредерика. Он настаивал, клялся, что его друг Дюсардье ждет его, что он может умереть. В конце концов отрядили капрала проводить его в конец улицы Сен-Жак, в мэрию 12-го округа.

Площадь Пантеона была полна солдат, спавших на соломе. Занималось утро. Гасли бивачные огни.

Мятеж в этом квартале оставил страшные следы. Улицы, разрытые из конца в конец, вставали горбом. На баррикадах, теперь разрушенных, громоздились кузова омнибусов, газовые трубы, колеса от телег; кое-где виднелись небольшие черные лужи — должно быть, кровь. Стены домов были пробиты снарядами, из-под отвалившейся штукатурки выступала дранка. Жалюзи, державшиеся на одном гвозде, висели точно рваные тряпки. Лестницы провалились, двери открывались в пустоту. Можно было заглянуть в комнаты — обои превратились в лохмотья; кое-где оказывалась в целости какая-нибудь хрупкая вещица. Фредерик заметил стенные часы, жердочку для попугая, гравюры.

Когда он вошел в здание мэрии, национальные гвардейцы без умолку говорили о смерти Бреа, Негрие, депутата Шарбонеля и архиепископа Парижского. Уверяли, что в Булони высадился герцог Омальский, что Барбес бежал из Венсена, из Буржа везут артиллерию, а из провинции прибывают подкрепления. К трем часам кто-то принес отрадные вести: мятежники отправили к председателю Национального собрания своих парламентеров.

Все обрадовались; Фредерик, у которого еще оставалось двенадцать франков, послал за дюжиной вина, надеясь таким путем ускорить свое освобождение. Вдруг кому-то почудились выстрелы. Возлияния прекратились; на пленника устремились подозрительные взгляды. Кто его знает, может быть, это Генрих V?

Чтобы снять с себя всякую ответственность, национальные гвардейцы привели Фредерика в мэрию 11-го округа, откуда его отпустили только в девять часов утра.

До набережной Вольтера он бежал что есть духу. У открытого окна стоял старик в одном жилете и плакал, не вытирая слез. Мирно текла Сена; небо было совершенно синее; на деревьях в Тюильри пели птицы.

Когда Фредерик переходил площадь Карусели, ему встретились носилки. Часовые тотчас же взяли на караул, офицер, приложив руку к киверу, сказал: «Честь и слава храбрецу в несчастье!» Слова эти стали почти обязательными; тот, кто произносил их, неизменно принимал вид торжественно-взволнованный. Носилки сопровождали несколько человек, кричавших в ярости:

— Мы отомстим за вас! Отомстим!

По бульварам ехали экипажи; женщины, сидя у дверей, щипали корпию. Между тем мятеж был подавлен или

почти подавлен; так гласило воззвание Кавеньяка, только что расклеенное на стенах. В конце улицы Вивьен показался взвод подвижной гвардии. Обыватели в восторге завопили; они махали шляпами, рукоплескали, плясали, стремились обнять солдат, предлагали им вина, с балконов дамы бросали им цветы.

Наконец в десять часов, когда под грохот пушек брали предместье Сент-Антуан, Фредерик попал в мансарду Дюсардье. Тот лежал на спине и спал. Из соседней комнаты неслышно вышла женщина — мадмуазель Ватназ.

Она отвела Фредерика в сторону и сообщила ему, при каких обстоятельствах Дюсардье был ранен.

В субботу с баррикады на улице Лафайета какой-то мальчишка, завернувшись в трехцветное знамя, кричал национальным гвардейцам: «Неужто вы будете стрелять в своих братьев?» Но те продолжали наступать; Дюсардье, бросив ружье, растолкал всех, прыгнул на баррикаду, ударом ноги повалил мятежника и вырвал у него знамя. Дюсардье нашли с раздробленным бедром под развалинами баррикады. Пришлось сделать разрез, чтобы вынуть осколки снаряда. В тот же вечер мадмуазель Ватназ пришла к раненому и уже не отходила от него.

Она с полным знанием дела приготовляла все необходимое для перевязок, давала ему пить, ловила его малейшие желания, двигалась совершенно неслышно и ласково смотрела на него.

Фредерик навещал друга каждое утро в течение двух недель; как-то он заговорил о самоотверженности Ватназ, но Дюсардье пожал плечами:

— Ну нет! Это не бескорыстно!

— Ты думаешь?

— Уверен,— ответил Дюсардье, не желая распространяться на эту тему.

Она была так предупредительна, что приносила ему газеты, в которых прославлялся его подвиг. Похвалы как будто досаждали ему. Он даже признался Фредерику, что его мучит совесть.

Может быть, ему следовало стать на сторону блузников; ведь, в сущности, им много наобещали и ничего не дали. Победители ненавидят республику, и к тому же обошлись с ними очень жестоко. Конечно, мятежники были неправы, однако не совсем, и честного малого терзала мысль, что, может быть, он боролся против справедливости.

Сенекаль, заключенный в подвал Тюильри под террасой, выходящей на набережную, не знал этих сомнений.

Девятьсот человек содержались там в грязи, тесноте; они почернели от пороха и запекшейся крови, тряслись в лихорадке, кричали от ярости; когда кто-нибудь умирал, труп не убирали. Иногда, услышав выстрел, они решали, что сейчас всех расстреляют, и прижимались к стене, потом снова падали на прежнее место: одуревшим от страдания людям чудилось, будто все это кошмар, зловещая галлюцинация. Лампа, висевшая под сводчатым потолком, казалась им кровавым пятном, в воздухе кружились зеленые и желтые огоньки, загоравшиеся от испарений этого склепа. Для предупреждения эпидемий была назначена особая комиссия. Председатель комиссии собрался было спуститься в подвал, но отпрянул, придя в ужас от зловония трупов и нечистот. Когда заключенные подходили к отдушинам, солдаты Национальной гвардии, стоявшие на часах, пускали в ход штыки, кололи наудачу, чтобы не дать пленным расшатать решетку.

Солдаты были безжалостны. Те, кому не пришлось участвовать в сражениях, хотели теперь отличиться. Это был разгул трусости. Мстили за газеты, за клубы, за сборища, за доктрины — за все, что уже целых три месяца приводило их в отчаяние; равенство, несмотря на свое поражение (как будто карая своих защитников и насмехаясь над врагами), с торжеством заявило о себе, тупое звериное равенство; установился одинаковый уровень кровавой подлости, ибо жажда наживы не уступала безумствам нищеты, аристократия неистовствовала точно так же, как чернь, а ночной колпак оказался не менее мерзок, чем красный колпак. Общественный разум помутился, как это бывает после великих бедствий. Иные умные люди после этого на всю жизнь остались идиотами.

Дядюшка Рокк проявил храбрость. Вступив в Париж 26-го с отрядом из Ножана, он не пожелал идти с ним назад и присоединился к Национальной гвардии, расположившейся лагерем в Тюильри, а теперь был очень доволен, что его поставили часовым со стороны набережной, у террасы. Тут, по крайней мере, эти разбойники были в его власти! Он наслаждался, думая об их неудаче, об их унижении, и не мог удержаться от ругани.

Один из них, белокурый длинноволосый подросток, приник лицом к решетке и просил хлеба. Рокк приказал ему замолчать. Но юноша жалобно повторял:

— Хлеба!

— Откуда я тебе возьму хлеба?

К решетке приблизились другие заключенные, со всклокоченными бородами, с горящими глазами; они толкали друг друга и выли:

— Хлеба!

Дядюшка Рокк возмутился, что не признают его авторитета. Чтобы испугать их, он стал целиться, а тем временем юноша, которого толпа, напирая, подняла до самого свода, крикнул еще раз:

— Хлеба!

— Вот тебе! Получай! — сказал дядюшка Рокк и выстрелил.

Раздался страшный рев, потом все затихло. На краю лохани осталось что-то белое.

Рокк отправился домой; на улице Сен-Мартен у него был дом, где он держал квартирку для себя на случай приезда, и то обстоятельство, что во время мятежа был испорчен фасад здания, немало способствовало его свирепости. Теперь, когда дядюшка Рокк снова взглянул на фасад, ему показалось, что ущерб он преувеличил. Поступок, только что им совершенный, умиротворил его, словно ему возместили убытки. Дверь отворила родная дочь. Луиза объяснила, что ее беспокоило долгое отсутствие отца; она боялась, не случилось ли с ним несчастья, не ранен ли он.

Подобное доказательство дочерней любви умилило старика. Он удивился, как это она отправилась в путешествие без Катрин.

— Я только что послала ее по делу,— ответила Луиза и осведомилась о его здоровье, о том о сем; потом равнодушно спросила, не встречался ли ему Фредерик.

— Нет! Нигде, ни разу!

А ведь приехала она в Париж только ради него.

В коридоре послышались шаги.

— Ах, извини!..

Катрин не застала Фредерика. Его уже несколько дней не было дома, а близкий его друг, г-н Делорье, находился в провинции.

Луиза вернулась, вся дрожа, не в силах вымолвить ни слова. Она хваталась за мебель, боясь упасть.

— Что с тобой? Да что с тобой? — вскрикнул отец.

Она жестом объяснила, что это пустяки, и сделала усилие, чтобы прийти в себя.

Из ресторана, помещавшегося напротив, принесли обед. Но дядюшка Рокк пережил слишком сильное волнение. «Это не может так быстро пройти». И за десертом с ним сделалось нечто вроде обморока. Немедленно послали за врачом, тот прописал микстуру. Потом, уже лежа в постели, Рокк попросил укрыть его как можно теплее, чтобы пропотеть. Он вздыхал, охал.

— Спасибо тебе, моя добрая Катрин! А ты поцелуй своего бедного папу, моя цыпочка! Ох, уж эти революции!

Дочь пожурила его за то, что он так волнуется, даже заболел.

— Да, ты права! — согласился дядюшка Рокк. — Это выше моих сил! У меня слишком чувствительное сердце!

II

Госпожа Дамбрёз сидела у себя в будуаре между племянницей и мисс Джон и слушала старика Рокка, повествовавшего о тяготах военной жизни.

Она кусала губы, ей было явно не по себе.

— Не беда! Пройдет! — сказала она и любезным тоном сообщила: — У нас сегодня обедает ваш знакомый, господин Моро.

Луиза встрепенулась.

— Еще кое-кто из наших близких друзей, между прочим, Альфред де Сизи.

Она стала расхваливать его манеры, внешность, а главное, его нравственность.

В речах г-жи Дамбрёз было меньше лжи, чем она думала: виконт мечтал жениться. Он говорил это Мартинону, присовокупив, что нравится мадмуазель Сесиль, что он в этом уверен и что родные согласятся.

Отважившись на такое признание, он, очевидно, располагал благоприятными сведениями о ее приданом. А Мартинон подозревал, что Сесиль — незаконная дочь Дамбрёза, и, вероятно, было бы весьма неплохо на всякий случай просить ее руки. Этот смелый шаг представлял и опасность; поэтому Мартинон до сих пор держал себя так, чтобы не оказаться связанным; кроме того, он не знал, как избавиться от тетки. Услышав признание Сизи, он решился и переговорил с банкиром, который, не видя никаких препятствий, только что сообщил об этом г-же Дамбрёз.

Появился Сизи. Она встала ему навстречу.

— Вы нас совсем забыли... Сесиль, shake hands[1].

В ту же минуту вошел Фредерик.

— Ну, наконец-то отыскались! — воскликнул дядюшка Рокк.— Я на этой неделе три раза был у вас вместе с Луизой.

Фредерик упорно избегал их. Он сослался на то, что все дни проводит у постели раненого товарища. К тому же он был занят множеством дел; ему пришлось выдумать разные истории. К счастью, стали съезжаться гости: сперва Поль де Гремонвиль, дипломат, бывший здесь на балу, затем Фюмишон — промышленник, консервативные взгляды которого в свое время возмутили Фредерика; появилась герцогиня де Монтрей-Нантуа.

Но вот из передней послышались два голоса. Один из них говорил:

— Я в этом уверена!

— Дорогая, очаровательная! — отвечал другой.— Бога ради, успокойтесь!

То были г-н де Нонанкур, старый франт, мумия, намазанная кольдкремом, и г-жа де Ларсийуа, супруга префекта, служившего при Луи-Филиппе. Она вся дрожала, ибо только что слышала, как на шарманке играют польку, а эта полька — условный сигнал мятежников. Многих тревожили подобные же фантазии. Буржуа верили, что люди, скрывающиеся в катакомбах, намерены взорвать Сен-Жерменское предместье; им чудилось, что из подвалов доносится какой-то шум, за окнами домов происходят подозрительные вещи.

Все постарались успокоить г-жу де Ларсийуа. Порядок восстановлен. Бояться больше нечего: «Кавеньяк спас всех нас!» И как будто ужасов восстания было недостаточно, их еще преувеличивали. На стороне социалистов было двадцать три тысячи каторжников, никак не меньше!

Не подлежало сомнению, что съестные припасы отравляют, что солдат подвижной гвардии распиливают пополам, положив между двух досок, и что надписи на знаменах призывают к грабежу и поджогам.

— И еще кое к чему! — добавила жена экс-префекта.

— Ах, дорогая! — стыдливо молвила г-жа Дамбрёз и взглядом указала на трех юных девушек.

[1] Поздоровайся *(англ.)*.

Дамбрёз вышел из своего кабинета вместе с Мартиноном. Г-жа Дамбрёз отвернулась и ответила на поклон Пелерена, входившего в комнату. Художник с тревогой оглядывал стены. Промышленник отвел его в сторону и объяснил, что на время пришлось удалить его революционную картину.

— Разумеется! — сказал Пелерен, воззрения которого изменились после его провала в клубе Разума.

Дамбрёз весьма учтиво намекнул, что закажет ему другие картины.

— Виноват... Дорогой мой, какая радость!

Перед Фредериком стояли Арну и его жена.

Он почувствовал легкое головокружение. Весь этот день его раздражала Розанетта, восхищавшаяся солдатами; проснулась старая любовь.

Дворецкий доложил хозяйке, что кушать подано. Г-жа Дамбрёз взглядом велела виконту вести к столу Сесиль, шепнула Мартинону: «Негодяй!» — и все прошли в столовую.

Посреди стола, под зелеными листьями ананаса, лежал большой золотистый карп, обращенный головою к жаркому из косули; хвостом он касался блюда раков. Винные ягоды, огромные вишни, груши, виноград (новинки парижских теплиц) возвышались пирамидами в старинных вазах саксонского фарфора; местами с ярким блеском серебра сочетались букеты цветов; белые шелковые шторы были опущены, смягчая дневной свет; два бассейна, в которых плавали куски льда, освежали воздух; прислуживали высокие лакеи в коротких штанах. После пережитых волнений все это казалось еще лучше. Снова начинали наслаждаться тем, чего чуть было не лишились, и Нонанкур выразил чувство, разделяемое всеми, сказав:

— Будем надеяться, что господа республиканцы позволят нам пообедать!

— Несмотря на их братские чувства! — сострил Рокк.

Этих почтенных мужей усадили по правую и по левую руку г-жи Дамбрёз, занявшей место против мужа, соседками которого были с одной стороны г-жа Ларсийуа, восседавшая рядом с дипломатом, с другой — старая герцогиня, оказавшаяся возле Фюмишона. Далее разместились художник, торговец фаянсом и мадмуазель Луиза, а так как Мартинон занял место Фредерика, возле Сесиль, то Фредерик очутился рядом с г-жой Арну.

Она была в черном барежевом платье, на руке у нее

блестел золотой браслет, и так же как в первый раз, когда он обедал у нее, в волосах алела ветка фуксии, обвивавшаяся вокруг шиньона. Он не удержался и сказал:

— Давно мы не виделись!

— Да,— ответила она холодно.

Он продолжал, мягкостью тона сглаживая дерзость вопроса:

— Случалось ли вам иногда думать обо мне?

— Почему я должна была думать о вас?

Фредерика обидел этот ответ.

— В конце концов, вы, может быть, правы.

Но, тотчас раскаявшись в своих словах, он поклялся ей, что не было дня, когда он не терзался бы воспоминанием о ней.

— Я этому не верю.

— Но ведь вы же знаете, что я люблю вас!

Госпожа Арну не ответила.

— Вы знаете, что я люблю вас.

Она опять промолчала.

«Ну так и без тебя обойдемся»,— сказал себе Фредерик и, подняв глаза, увидел на противоположном конце стола мадмуазель Рокк.

Она решила, что ей будет к лицу зеленое, но этот цвет резко оттенял ее рыжие волосы. Пряжка пояса приходилась слишком высоко, воротничок стягивал шею; это отсутствие вкуса, вероятно, и вызвало ту холодность, с какой встретил ее Фредерик. Она издали с любопытством наблюдала за ним, и, как ни рассыпался в любезностях Арну, сидевший с ней рядом, ему и двух слов не удалось вытянуть из нее, так что, отказавшись от надежды угодить соседке, он стал прислушиваться к общему разговору. Темой его служило ананасное пюре, приготовляемое в Люксембургском дворце.

Луи Блан, по словам Фюмишона, владеет особняком на улице Сен-Доминик, однако не отдает его внаймы рабочим.

— А по-моему, вот что забавно! — сказал Нонанкур.— Представьте, Ледрю-Роллен охотится в королевских угодьях!

— Он задолжал двадцать тысяч франков ювелиру,— вставил Сизи,— и даже поговаривают...

Госпожа Дамбрёз перебила его:

— Как это нехорошо горячиться из-за политики!

Стыдно, молодой человек! Займитесь лучше вашей соседкой!

Люди солидные напали на печать.

Арну заступился за газеты. Фредерик вмешался в разговор и сказал, что это обыкновенные коммерческие предприятия, а их сотрудники — либо дураки, либо лгуны. Он делал вид, что знает их, и великодушным чувствам своего друга противопоставлял сарказмы. Г-жа Арну не замечала, что этими речами он мстит ей.

Между тем виконт мучительно пытался пленить мадмуазель Сесиль. Сперва он выказал артистический вкус, порицая форму графинчиков и рисунок вензелей на ножах. Потом заговорил о своей конюшне, о своем портном, о поставщике белья; наконец, коснулся вопросов религии и нашел возможность дать ей понять, что исполняет все обязанности верующего.

Мартинон оказался гораздо искуснее. Однообразным тоном, не сводя глаз с Сесиль, он восхвалял ее птичий профиль, ее тусклые белокурые волосы, ее слишком короткие руки. Дурнушка таяла, очарованная потоком любезностей.

Никто не слышал их, так как все говорили очень громко. Рокк требовал, чтобы Францией правила «железная рука». Нонанкур даже выразил сожаление, что отменена казнь за политические преступления. Этих подлецов следовало бы перебить всех до единого!

— Они к тому же и трусы! — сказал Фюмишон.— Я не вижу храбрости в том, чтобы прятаться за баррикадами!

— Кстати, расскажите нам о Дюсардье! — попросил Дамбрёз, обернувшись к Фредерику.

Честный приказчик стал теперь героем вроде Саллеса, братьев Жансон, матушки Пекийе и других.

Фредерик, не заставив себя просить, рассказал о своем друге; отблеск ореола упал и на него.

Разговор, вполне естественно, зашел о разных проявлениях храбрости. По мнению дипломата, побороть страх смерти нетрудно; это могут подтвердить люди, которым приходилось драться на дуэли.

— Об этом можно спросить виконта,— сказал Мартинон.

Виконт густо покраснел.

Гости смотрели на него, а Луиза, более всех удивленная, прошептала:

— А что такое?

— Он *спасовал* перед Фредериком,— тихо ответил ей Арну.

— Вам что-нибудь известно, мадмуазель? — спросил Нонанкур и передал ее ответ г-же Дамбрёз; та, слегка наклонившись, принялась разглядывать Фредерика.

Мартинон предупредил вопросы Сесиль. Он сообщил ей, что эта история связана с одной особой предосудительного поведения. Девушка тихонько отодвинулась, как будто старалась избежать прикосновения развратника.

Разговор возобновился. Обносили тонкими бордоскими винами, гости оживились; Пелерен был в претензии на революцию: из-за нее безвозвратно погиб музей испанской живописи. Его как художника это огорчало больше всего. Тут к нему обратился Рокк:

— Не вашей ли кисти принадлежит одна замечательная картина?

— Возможно! А что за картина?

— На ней изображена дама в платье... право же, несколько... легком, с кошельком в руке и с павлином за спиной.

Теперь румянцем залился Фредерик. Пелерен притворился, что не слышит.

— Но ведь это же ваша работа! Внизу стоит ваше имя, и на раме надпись, что картина принадлежит господину Моро.

Как-то раз, когда дядюшка Рокк и его дочь дожидались Фредерика у него на квартире, они увидали портрет Капитанши. Рокк даже принял его за «картину в готическом вкусе».

— Это просто портрет одной женщины,— отрезал Пелерен.

Мартинон прибавил:

— И женщины вполне живой! Не правда ли, Сизи?

— Ну, я ничего не могу сказать на этот счет.

— А я думал, что вы с ней знакомы. Но если этот разговор вам неприятен, прошу извинить меня!

Сизи опустил глаза, подтверждая своим замешательством, что по отношению к этой женщине он сыграл плачевную роль. Оригиналом портрета могла явиться только любовница Фредерика. Это было одно из тех предположений, какие возникают мгновенно, и лица присутствующих ясно говорили об этом.

«Как он мне лгал!» — подумала г-жа Арну.

«Так вот ради кого он бросил меня!» — решила Луиза.

Фредерик вообразил, что эти две истории компрометируют его, и, когда общество перешло в сад, он обратился к Мартинону с упреками.

Жених мадмуазель Сесиль расхохотался ему в лицо:

— Да нет же! Ничуть! Это послужит тебе на пользу! Будь смелей!

Что он хотел этим сказать? И откуда эта благожелательность, столь несвойственная ему? Ничего не объяснив, Мартинон отправился в сад, где сидели дамы. Мужчины стояли около них, а Пеллерен излагал свои мысли. Разумеется, искусствам всего более благоприятствует монархия. Современность вызывает в нем отвращение — «взять хотя бы Национальную гвардию»; он жалеет о средних веках, о временах Людовика XIV; Рокк приветствовал такие взгляды и даже признался, что они разрушают его предубеждение против художников; но он почти тотчас же отошел — его привлек голос Фюмишона. Арну пытался установить, что существуют два социализма: хороший и дурной. Промышленник разницы не видел; при слове «собственность» он терял голову от злости.

— Это право начертано самой природой! Дети держатся за свои игрушки; все народы разделяют мое мнение, все животные тоже; даже лев, если бы он мог говорить, заявил бы, что он собственник! Например, я, господа, начал дело с капитала в пятнадцать тысяч франков! Я, знаете ли, целых тридцать лет вставал в четыре часа утра! Трудился, как сто чертей, чтобы сколотить состояние! И вдруг мне станут доказывать, что не я его хозяин, что мои деньги не мои деньги, словом, что собственность — это кража!

— Однако Прудон...

— Оставьте меня в покое с вашим Прудоном! Окажись он тут, я бы, кажется, его задушил!

Он и задушил бы его. После ликеров Фюмишон уже совсем не помнил себя, и его апоплексическое лицо, казалось, вот-вот лопнет, точно бомба.

— Здравствуйте, Арну! — сказал Юсоне, стремительно шагая по газону.

Журналист принес Дамбрёзу первый лист брошюры под заглавием *Гидра*, в которой он отстаивал интересы реакционного круга, и банкир упомянул об этом, представляя его гостям.

Юсоне развлек их; сперва он уверял, что торговцы са-

лом платят жалованье тремстам восьмидесяти двум мальчишкам, чтобы те каждый вечер кричали: «Фонарики!»,— потом издевался над принципами восемьдесят девятого года, освобождением негров, левыми ораторами; он даже решил изобразить «господина Прюдома на баррикаде» — быть может, из чувства самой обыкновенной зависти к этим сытно пообедавшим буржуа. Шарж имел посредственный успех. Лица вытянулись.

Вообще теперь не время шутить; это сказал Нонанкур, напомнивший о гибели архиепископа Афра и генерала де Бреа. О них постоянно вспоминали, на них ссылались в спорах. Рокк объявил, что кончина архиепископа — «верх величия», Фюмишон пальму первенства отдал генералу; вместо того чтобы просто пожалеть убитых, гости затеяли спор о том, какое из этих убийств наиболее отвратительно. Потом стали проводить другую параллель — между Ламорисьером и Кавеньяком, причем Дамбрёз превозносил Кавеньяка, а Нонанкур — Ламорисьера. Никто из присутствующих, кроме Арну, не видел их в деле. Тем не менее каждый высказывал безапелляционное суждение об их действиях. Лишь Фредерик отказался выразить свое мнение, сознавшись, что не брался за оружие. Дипломат и Дамбрёз в знак одобрения кивнули ему головой. В самом деле, сражаться с восставшими значило защищать Республику. Исход борьбы, хотя и благоприятный, укреплял ее, и вот теперь, когда удалось разделаться с побежденными, хотелось избавиться и от победителей.

Едва выйдя в сад, г-жа Дамбрёз отвела Сизи в сторону и пожурила за неловкость; завидев Мартинона, она отпустила Сизи и пожелала узнать у своего будущего племянника, почему он издевается над виконтом.

— Да просто так.

— Значит, вы хотите возвеличить г-на Моро! С какой же целью?

— Без всякой цели. Фредерик — славный малый. Он мне очень нравится.

— И мне тоже! Пусть подойдет! Позовите его!

Сказав две-три банальные фразы, она начала высмеивать своих гостей, тем самым ставя его выше остальных. Он не преминул покритиковать прочих дам — удачный способ говорить комплименты. Она время от времени оставляла его: день был приемный, приезжали новые гости,— потом возвращалась, кресла их случайно были так расположены, что никто не мог услышать их беседу.

Она казалась то игривой, то серьезной, то меланхоличной, то рассудительной. Злободневные интересы мало что значат для нее; есть целый мир чувств менее быстротечных. Она жаловалась на поэтов, которые искажают действительность, потом подняла глаза к небу и спросила у Фредерика название какой-то звезды.

На деревьях висели китайские фонарики; их раскачивал ветер, и на ее белом платье дрожали разноцветные лучи. Она, по обыкновению, откинулась в кресле, положила ноги на скамеечку, выставив носок черного атласного башмачка; порой г-жа Дамбрёз повышала голос, даже смеялась.

Это кокетство не задевало Мартинона, занятого Сесиль, но оно терзало маленькую Рокк, которая беседовала с г-жой Арну. Луизе показалось, что только в обхождении г-жи Арну нет ничего пренебрежительного, в отличие от прочих дам. Она подошла и села рядом с ней; потом, уступая потребности поделиться своими чувствами, сказала:

— Правда, Фредерик Моро хорошо говорит?

— Вы с ним знакомы?

— Очень давно! Мы соседи, он играл со мной, когда я была совсем маленькая.

Госпожа Арну пристально посмотрела на нее, и взгляд ее означал: «Надеюсь, вы не влюблены в него?»

Взгляд девушки без всякого смущения отвечал: «Влюблена!»

— Значит, вы часто с ним видитесь?

— О нет! Только когда он приезжает к своей матери. Вот уже десять месяцев он не был! А ведь обещал, что скоро вернется.

— Не надо верить обещаниям мужчин, дитя мое.

— Но меня-то он не обманывал!

— Ну, а других?

Луиза вздрогнула: «Неужели же он и этой что-нибудь обещал?» Лицо ее исказилось от подозрения и злобы.

Госпожа Арну испугалась; она пожалела, что у нее вырвались эти слова. Обе замолчали.

Фредерик сидел напротив, на складном стуле, а они глядели на него, одна — соблюдая приличия, почти незаметно, другая — не стесняясь, разинув рот, так что г-жа Дамбрёз даже сказала ему:

— Да повернитесь же, дайте ей посмотреть на вас!

— О ком это вы?

— О дочери господина Рокка!

И она стала вышучивать его, дразня любовью юной провинциалки. Он защищался, пытаясь шутить:

— Да что вы! Помилуйте! Такая уродина!

Однако все это тешило его тщеславие. Ему вспомнился другой вечер в этом доме, унижение, которое он испытал, уходя отсюда,— и он дышал полной грудью; он чувствовал себя в своей настоящей сфере, почти как дома, будто все это принадлежало ему, даже особняк Дамбрёза. Дамы, сидевшие полукругом, слушали его, а он, желая блеснуть, высказался за восстановление развода, который следовало бы облегчить настолько, чтобы можно было сходиться и расходиться до бесконечности, сколько душе угодно. Одни возражали, другие перешептывались; в полумраке у стены, обвитой зеленью, слышались отрывистые возгласы, какое-то веселое кудахтанье; он развивал свою теорию с той уверенностью, какую придает сознание успеха. Лакей принес в увитую зеленую беседку поднос с мороженым. Подошли мужчины. Они говорили об арестах.

Тут Фредерик, в отместку виконту, стал уверять, что его теперь будут преследовать как легитимиста. Виконт возражал, что не выходил из своей комнаты; противник не скупился на зловещие предостережения; это рассмешило даже Дамбрёза и Гремонвиля. Затем оба наговорили комплиментов Фредерику, хотя и пожалели, что он не применяет своих способностей к защите порядка, и дружески пожали ему руку,— отныне он может рассчитывать на них. Когда все уже расходились, виконт низко поклонился Сесиль:

— Мадмуазель, честь имею пожелать вам спокойной ночи!

Она сухо ответила ему:

— Спокойной ночи!

А Мартинону улыбнулась.

Дядюшка Рокк, желая продолжить беседу с Арну, предложил проводить его, «равно как и его супругу»,— ведь им было по дороге. Луиза и Фредерик оказались впереди. Она схватила его под руку, а когда они отошли от прочих гостей, промолвила:

— Наконец-то, наконец! И мучилась же я весь вечер! Какие эти женщины злые! Какие надменные!

Он взял их под свою защиту.

— Во-первых, ты мог бы подойти ко мне с самого начала, ведь мы целый год не видались!

— Не целый год,— возразил Фредерик, довольный тем,

что поймал ее на этой неточности, и надеясь обойти молчанием все остальное.

— Хотя бы и так! Время-то тянулось так медленно! Но на этом ужасном обеде можно было подумать, что ты меня стыдишься! Да, я понимаю, что не могу нравиться, как эти дамы.

— Ты ошибаешься,— заметил Фредерик.

— Правда?! Поклянись мне, что ни в одну из них ты не влюблен!

Он поклялся.

— И любишь меня одну?

— Ну конечно!

Это уверение возвратило ей веселость. Ей хотелось заблудиться на этих улицах, чтобы всю ночь гулять с ним.

— Я так истерзалась! Только и речи было что о баррикадах! Мне все мерещилось, что ты падаешь навзничь, весь в крови! Твоя мать лежала в постели, у ней ревматизм. Она ничего не знала. Мне приходилось молчать! Я не выдержала! Взяла с собой Катрин...

И она рассказала ему о своем отъезде, о путешествии и о том, как налгала отцу.

— Через два дня он повезет меня домой. Приходи завтра вечером, будто невзначай, и воспользуйся случаем, поговори с отцом, посватайся.

Фредерик никогда еще не был так далек от мысли о браке. К тому же мадмуазель Рокк представлялась ему созданием довольно смешным. Какая разница между нею и женщиной вроде г-жи Дамбрёз!

Ему суждена иная будущность. Сегодня он в этом уверился, значит, не время связывать себя, решаться на столь важный шаг под влиянием сердечного порыва. Теперь надо быть рассудительным, да и, кроме того, он снова увидел г-жу Арну. Все же его смущала откровенность Луизы.

Он спросил:

— Обдумала ли ты как следует этот шаг?

— Да что ты! — вскрикнула она и похолодела от изумления и негодования.

Он сказал, что жениться в настоящее время было бы безумием.

— Так я тебе не нужна?

— Да ты меня не понимаешь!

И он пустился в путаное рассуждение, пытаясь втолковать ей, что его удерживают соображения высшего по-

рядка, что дела его не закончены, состояние расстроено (Луиза коротко и ясно разбивала все доводы) и, наконец, политические события препятствуют их браку. Итак, самое благоразумное — подождать еще немного. Все, наверное, устроится — он, по крайней мере, надеется на это; а когда все доводы были исчерпаны, он притворился, будто сейчас только вспомнил, что ему еще два часа назад надо было зайти к Дюсардье.

Раскланявшись с другими знакомыми, он свернул на улицу Отвиль, обошел здание театра «Жимназ», вышел опять на бульвар и бегом поднялся на пятый этаж к Розанетте.

Супруги Арну простились с дядюшкой Рокком и его дочерью на углу улицы Сен-Дени. Они молча продолжали путь,— Арну устал от собственной болтовни, а она чувствовала себя разбитой и опиралась на его руку. Это был единственный человек, высказавший в этот вечер честные взгляды. Она прониклась снисхождением к нему. Он же слегка сердился на Фредерика:

— Ты видела, какую он состроил мину, когда заговорили о портрете? Я же тебе говорил, что он ее любовник! А ты еще не хотела мне верить.

— Да, да, я ошибалась.

Арну, торжествуя, настаивал:

— Готов побиться об заклад, что он бросил нас и сразу побежал к ней! Теперь он у нее, будь уверена! Ночует у нее.

Госпожа Арну надвинула капор на самые глаза.

— Ты вся дрожишь!

— Мне холодно,— ответила она.

Луиза, как только отец ее заснул, вошла в комнату Катрин и стала трясти ее за плечи.

— Вставай!.. Скорее, скорее! Достань мне фиакр.

Катрин ответила, что в такое время фиакров уже нет.

— Ну так проводи меня!

— Это еще куда?

— К Фредерику!

— Нельзя! Зачем это?

Ей надо с ним поговорить. Она не может ждать. Она хочет сейчас же видеть его.

— Да что ты! Как можно прийти ночью в чужой дом?! Да он давно спит!

— Я его разбужу!

— Это неприлично для барышни!

— Я не барышня! Я его жена! Я его люблю!.. Ну, пойдем! Надевай платок!

Катрин в раздумье стояла около кровати. Наконец сказала:

— Нет, не пойду!

— Ну так оставайся! Я пойду одна!

Луиза, как змейка, выскользнула на лестницу. Катрин бросилась за ней и нагнала уже на тротуаре. Увещания не помогли, и старуха бежала за девушкой, на ходу застегивая кофту. Дорога показалась ей бесконечно длинной. Она жаловалась на свои старые ноги:

— И то сказать, нет во мне твоего пыла. Где уж там!..

Потом Катрин расчувствовалась:

— Бедняжечка ты моя! Никого-то у тебя нет, только твоя Като!

Временами ею снова овладевали сомнения:

— Подумай только, на что ты меня толкаешь! Вдруг отец проснется... Господи боже! Только бы несчастья не случилось!

У театра варьете их остановил патруль Национальной гвардии. Луиза, не задумываясь, сказала, что идет со служанкой на улицу Румфорда за врачом. Их пропустили.

У площади святой Магдалины им встретился другой патруль, а когда Луиза дала то же объяснение, один из граждан подхватил:

— Уж не ту ли болезнь лечить, что длится девять месяцев, кошечка?

— Гужибо! — крикнул капитан. — В строю без шалостей! Сударыня, проходите!

Несмотря на окрик, острословие продолжалось:

— Желаем повеселиться!

— Поклонитесь доктору!

— Не попадите в лапы к волку!

— Любят позубоскалить, — вслух заметила Катрин. — Молодые.

Наконец они пришли к дому Фредерика. Луиза несколько раз с силой дернула звонок. Дверь приотворилась, привратник на ее вопрос ответил:

— Его нет!

— Он, верно, спит?

— Говорю вам: нет его! Вот уж три месяца, как дома не ночует!

Окошечко привратника щелкнуло, как нож гильотины. Они стояли в подъезде, в темноте.

— Да уходите же! — крикнул им злобный голос.

Дверь снова отворилась, они вышли; Луиза, обессиленная, опустилась на тумбу и горько заплакала, закрыв лицо руками, дала волю слезам.

Светало; проезжали повозки.

Катрин повела Луизу домой, поддерживая, целуя ее, наговорила в утешение всякой всячины, почерпнутой из собственного опыта. Стоит ли так убиваться из-за кавалера? С этим не вышло — найдется другой!

III

Когда Розанетта охладела к солдатам подвижной гвардии, она стала еще очаровательнее, чем прежде, и у Фредерика незаметно вошло в привычку все время проводить у нее.

Лучшей порой были для них утренние часы на балконе. В батистовой кофточке и в туфлях на босу ногу она ходила взад и вперед, чистила клетку у канареек, меняла воду золотым рыбкам и разрыхляла каминной лопаткой землю в ящике, где росли настурции, обвивавшие трельяж. Потом, облокотясь на перила балкона, они разглядывали экипажи, прохожих, грелись на солнце, строили планы, как провести вечер. Отлучался он самое большее часа на два; потом они отправлялись куда-нибудь в театр, брали литерную ложу, и Розанетта, с большим букетом в руках, слушала музыку, а Фредерик, наклонившись к ее уху, рассказывал смешные истории или нашептывал любезности. Иногда они нанимали коляску, ехали в Булонский лес и катались долго, до поздней ночи. На обратном пути проезжали под Триумфальной аркой, а затем по большой аллее, вдыхая свежий воздух; над ними светили звезды; впереди, уходя вдаль, вытягивались двумя нитями лучистых жемчужин газовые рожки.

Фредерику вечно приходилось ждать Розанетту перед выездом — она долго завязывала ленты от шляпы; стоя перед зеркальным шкафом, сама себе улыбалась. Потом, взяв Фредерика под руку, заставляла и его поглядеть в зеркало.

— До чего же мило получается, когда мы стоим вот так рядом! Душка моя! Я бы тебя, кажется, съела!

Теперь он был ее вещью, ее собственностью. И от этого сознания лицо ее сияло, а в манерах появилась особая том-

ность; она пополнела, Фредерик находил в ней перемену, хотя и не мог сказать, в чем она состоит.

Однажды она сообщила ему как очень важную новость, что почтенный Арну открыл бельевой магазин для бывшей работницы со своей фабрики, что он каждый вечер бывает у нее, «очень много тратит, не далее как на прошлой неделе подарил ей палисандровую мебель».

— Откуда тебе это известно? — спросил Фредерик.

— О, я знаю наверное!

По ее приказанию справки наводила Дельфина.

Значит, она любит Арну, если он так сильно ее занимает! Фредерик ограничился вопросом:

— Тебе-то что?

Розанетту как будто удивили эти слова.

— Но этот мерзавец мне должен! Разве это не безобразие, что он содержит какую-то дрянь? — И с торжествующей ненавистью в голосе прибавила: — Впрочем, она здорово надувает его! У нее еще три таких. Тем лучше! Пусть оберет его до последнего су, буду очень рада!

Действительно, Арну с той снисходительностью, которая свойственна старческой страсти, позволял Бордоске эксплуатировать себя.

Фабрика приходила в упадок, дела были в плачевном состоянии, и, чтобы выпутаться из беды, Арну задумал открыть кафешантан, где исполнялись бы только патриотические песни. Благодаря субсидии, которую ему обещал министр, это заведение могло стать очагом пропаганды и источником его благоденствия. После падения правительства это стало невозможным. Теперь он мечтал о большом магазине военных головных уборов. Но у него не было денег для начала.

Не более счастлив был он и в домашней жизни. Г-жа Арну стала менее уступчива, порою бывала даже резка. Марта всегда становилась на сторону отца. Это усиливало рознь, и семейная жизнь сделалась невыносимой. Он часто с самого утра уходил из дому, совершал большие прогулки, чтобы рассеяться, потом обедал в кабачке где-нибудь за городом и предавался размышлениям.

Долгое отсутствие Фредерика нарушало его привычки. Однажды днем Арну пришел к своему молодому другу и стал умолять, чтобы он бывал у них по-прежнему, тот обещал.

Фредерик не решался вернуться к г-же Арну. Ему казалось, что он ей изменил. Но ведь он вел себя как трус.

Оправдаться же было нечем. Следовало положить этому конец! И вот как-то вечером он отправился к ним.

Укрываясь от дождя, Фредерик свернул в пассаж Жуфруа, где к нему тотчас же подошел толстяк в фуражке. При свете, падавшем из витрин, Фредерик без труда узнал Компена, оратора, чье предложение вызвало в клубе такой смех. Он опирался на руку некоего субъекта с выпяченной верхней губой, с лицом желтым, как апельсин, и редкой бородкой, который щеголял в красной шапке зуава и глядел на своего спутника большими восхищенными глазами.

По-видимому, Компен гордился им; он сказал Фредерику:

— Познакомьтесь с этим молодцом! Это мой приятель, сапожник и патриот! Выпьем чего-нибудь?

Фредерик поблагодарил и отказался, а тот немедленно стал метать громы и молнии против предложения Рато — подвоха, придуманного аристократами. Чтобы покончить с этим, следует вернуться к девяносто третьему году! Затем он осведомился о Режембаре и еще о некоторых знаменитостях — о Маслене, Сансоне, Лекорню, Марешале и некоем Делорье, замешанном в деле о карабинах, которые были перехвачены в Труа.

Для Фредерика все это было ново. Но Компен ничего больше не знал. Прощаясь с Фредериком, он проговорил:

— До скорого свидания, не правда ли? Ведь вы тоже принимаете участие?

— В чем это?

— В телячьей голове!

— Какой телячьей голове?

— Вот проказник! — воскликнул Компен, хлопнув его по животу.

Оба террориста вошли в кафе.

Десять минут спустя Фредерик уже не думал о Делорье. Он стоял на тротуаре улицы Паради и смотрел на окна третьего этажа, где за занавесками был виден свет лампы.

Наконец он поднялся по лестнице.

— Дома господин Арну?

Горничная ответила:

— Нет. Но вы все-таки пожалуйте,— и распахнула ему одну из дверей.

— Сударыня! Это господин Моро.

Госпожа Арну поднялась, она была бледнее своего воротничка и вся дрожала.

— Чему я обязана честью... столь неожиданного посещения?

— Ничему! Просто желаю повидать старых друзей!

Садясь, он спросил:

— Как поживает милейший Арну?

— Прекрасно! Но его нет дома.

— А, понимаю! Все те же привычки — вечером надо развлечься!

— Почему бы и нет? После целого дня вычислений надо же дать голове отдых!

Она стала хвалить мужа как труженика. Фредерика эти похвалы раздражали. На коленях у нее лежал кусок черного сукна, отделанного синим сутажом, и Фредерик спросил:

— Что это у вас?

— Переделываю кофточку для дочери.

— Кстати, я что-то не вижу ее, где же она?

— В пансионе,— ответила г-жа Арну.

На глазах у нее появились слезы, она изо всех сил старалась не расплакаться и быстро работала иглой. Он взял номер *Иллюстрасьон*, лежавший на столе около нее.

— Карикатуры Кама очень забавны, правда?

— Да.

Они снова погрузились в молчание.

Вдруг от порыва ветра задребезжали стекла.

— Ну и погода! — сказал Фредерик.

— Право же, это очень любезно с вашей стороны, что вы пришли в такой сильный дождь!

— О, я на это не смотрю! Я не из тех, кому дождь мешает прийти на свидание!

— На какое свидание? — наивно спросила она.

— А вы не помните?

Она вздрогнула и опустила голову.

Он мягко коснулся рукой ее плеча.

— Уверяю вас, вы меня заставили очень страдать!

Она ответила каким-то жалобным тоном:

— Но мне было так страшно за ребенка!

Она рассказала ему о болезни маленького Эжена и обо всех тревогах того дня.

— Благодарю, благодарю вас! Я больше не сомневаюсь! Я люблю вас, как любил всегда!

— Да нет! Это же неправда!

— Почему?

Она холодно посмотрела на него.

— Вы забыли про другую. Про ту, которую вы возите на скачки. Про женщину, чей портрет хранится у вас. Про вашу любовницу!

— Так что же из этого! — воскликнул Фредерик.— Я ничего не стану отрицать! Я негодяй! Но выслушайте меня!

Если он сошелся с Розанеттой, виной тому было отчаяние; это то же, что самоубийство. Впрочем, он причинил ей много горя, мстя за свое унижение.

— Это пытка! Неужели вы не понимаете?

Госпожа Арну обратила к нему свое прекрасное лицо, протянула руку, и они в упоении закрыли глаза, убаюканные тихой безграничной радостью. Потом, сидя лицом к лицу, совсем близко, они долго смотрели друг на друга.

— И вы могли поверить, что я вас разлюбил?

Она ответила низким, ласкающим голосом:

— Нет! Несмотря ни на что, я чувствовала в глубине души, что это невозможно и когда-нибудь преграда, разделяющая нас, падет!

— Да, я тоже! И мне смертельно хотелось видеть вас!

— А ведь однажды,— продолжала она,— я прошла мимо вас в Пале-Рояле.

— Правда?

Тут он рассказал, какое это было счастье встретить ее у Дамбрёзов.

— Зато как же я ненавидел вас, уходя от них в тот вечер!

— Бедный!

— Мне так тоскливо живется!

— А мне? Если бы одни только печали, тревоги, унижения, я бы не жаловалась, я все вытерпела бы как мать, как жена: все мы умрем. Самое ужасное — это одиночество. Я совсем одна...

— Но ведь я здесь! Здесь!

— Да, да!

Уже не сдерживая слез, она в порыве нежности встала и протянула к нему руки; они обнялись, прильнув друг к другу в долгом поцелуе.

Скрипнул паркет. Рядом с ними стояла женщина — Розанетта. Г-жа Арну ее узнала; широко раскрыв глаза, полные изумления и негодования, она разглядывала ее. Наконец Розанетта проговорила:

— Я пришла к господину Арну по делу.

— Его здесь нет, вы же видите.

— Да, верно! — ответила Капитанша.— Ваша служанка была права! Прошу прощения! А ты тут? — обратилась она к Фредерику.

Это «ты», сказанное в присутствии г-жи Арну, заставило ее покраснеть, как от увесистой пощечины.

— Повторяю: его здесь нет!

Капитанша, оглядываясь по сторонам, спокойно спросила:

— Что ж, поедем домой? У меня фиакр.

Он притворился, что не слышит.

— Идем!

— Ну что ж! Воспользуйтесь случаем! Ступайте же, ступайте! — сказала г-жа Арну.

Они вышли. Она перегнулась через перила, чтобы посмотреть им вслед, и на них обрушился пронзительный, раздирающий сердце смех. Фредерик втолкнул Розанетту в экипаж, уселся против нее и за всю дорогу не произнес ни слова.

Оскорбление он навлек на себя сам. Он чувствовал и гнетущий позор унижения, и тоску по утраченному блаженству; когда он уже мог наконец обладать им, оно безвозвратно исчезло,— и причиной была она, эта девка, эта шлюха! Ему хотелось задушить ее, он задыхался. Войдя в квартиру, он швырнул шляпу на стул, сорвал с себя галстук.

— Ну и устроила же ты сценку! Нечего сказать!

Она встала перед ним в вызывающей позе.

— А что такое? Что я плохого сделала?

— Как? Ты же шпионишь за мной!

— Моя ли это вина? Ты-то чего ходишь развлекаться к порядочным женщинам?

— Не твое дело! Я не желаю, чтобы ты их оскорбляла.

— Чем же я ее оскорбила?

Он ничего не мог ответить и с еще большей злобой продолжал:

— Еще тогда, на Марсовом поле...

— И надоел же ты со своими прежними!..

— Мерзавка!

Он занес кулак.

— Не убивай меня! Я беременна!

Фредерик отступил.

— Лжешь!

— Да посмотри на меня!

Она взяла подсвечник и поднесла к своему лицу.

— Понимаешь, что это значит?

Лицо у нее как-то странно припухло, кожа была усеяна желтыми пятнышками. Фредерик не стал спорить против очевидности. Он растворил окно, прошелся несколько раз по комнате, затем опустился в кресло.

Это было бедствие: оно отдаляло их разрыв и нарушало все его планы. Да и мысль стать отцом представлялась ему нелепой, он не допускал ее. А, собственно, почему? Если бы вместо Капитанши... И он погрузился в такую глубокую задумчивость, что испытал нечто вроде галлюцинации. Он видел здесь, на ковре перед камином, девочку. Она была похожа на г-жу Арну и немного на него самого, брюнетка, но беленькая, черноглазая, с длинными бровями, с розовым бантом в кудрявых волосах. (О, как бы он ее любил!) Ему слышался голосок: «Папа! Папа!»

Розанетта, раздевшись, подошла к нему, заметила слезы на его ресницах и торжественно поцеловала в лоб. Он встал.

— Ну что же! Пусть живет малыш!

Тогда она принялась болтать. Разумеется, будет мальчик! Назовем его Фредериком. Пора готовить приданое. Видя, как она счастлива, он почувствовал жалость. Теперь, когда гнев утих, ему захотелось узнать причину ее недавнего появления.

Дело в том, что как раз в этот день мадмуазель Ватназ предъявила ей давно просроченный вексель, и она поспешила к Арну, чтобы достать денег.

— Я бы дал тебе! — сказал Фредерик.

— Проще было получить с него то, что мне причитается, и вернуть ей тысячу франков.

— Надеюсь, ты ей больше ничего не должна?

— Ничего! — ответила Розанетта.

На другой день в девять часов вечера (время, указанное привратником) Фредерик явился к мадмуазель Ватназ.

В передней он натолкнулся на груду мебели. Но, услышав музыку и голоса, нашел дорогу. Отворив дверь, он очутился на рауте. У рояля, за которым сидела девица в очках, стоял Дельмар, важный, точно жрец, и декламировал трогательное стихотворение о проституции; его замогильный голос переливался под аккомпанемент резких ак-

кордов. Вдоль стен сидели женщины, большей частью в темных платьях без воротничков и без манжет. Пять-шесть мужчин, все мыслящие личности, расположились на стульях. В кресле восседал старик баснописец — настоящая развалина; едкий запах двух ламп смешивался с ароматом шоколада, который налит был в чашки, расставленные на ломберном столе.

Мадмуазель Ватназ, опоясанная восточным шарфом, сидела у камина. По другую сторону поместился лицом к ней Дюсардье; он, видимо, был смущен своим положением да и вообще чувствовал себя неловко в артистической среде.

Порвала ли Ватназ с Дельмаром? Может быть, и нет. Как бы то ни было, она, очевидно, ревновала честного приказчика; когда Фредерик попросил уделить ему несколько минут внимания, она знаком велела Дюсардье пройти вместе с ними в спальню. Получив тысячу франков, она потребовала еще и проценты.

— Не надо! — сказал Дюсардье.

— Помолчи!

Это малодушие со стороны человека столь мужественного было приятно Фредерику как оправдание собственной слабости. Он вернулся с оплаченным векселем и больше не заговаривал о выходке Розанетты у г-жи Арну. Но с этих пор он стал замечать все недостатки Капитанши.

У нее был неисправимо дурной вкус, ее отличала непостижимая леность, невежественность дикарки, доходившая до того, что доктора Дерожи она считала большой знаменитостью и с гордостью принимала у себя вместе с его супругой, ибо они «люди женатые». Она с умным видом учила житейской мудрости мадмуазель Ирму — бедное создание, обладавшее небольшим голоском и нашедшее себе покровителя в лице «очень приличного» господина, бывшего таможенного чиновника, мастера на фокусы с картами; Розанетта звала его «мой милый пузанчик». Столь же невыносимо было Фредерику слушать, как она повторяет глупые выражения вроде: «Держи карман шире!», «С ума сойти!», «Что за штука?» и т. д.; по утрам она непременно обметала пыль со своих безделушек старыми белыми перчатками. Всего больше возмущало Фредерика ее обращение со служанкой: она вечно задерживала ее жалованье и даже брала у нее взаймы. В дни, когда они производили расчеты, обе ругались, как уличные торговки, а потом, помирившись, обнимались. Невесело было

оставаться с Розанеттой вдвоем. Он почувствовал облегчение, когда возобновились вечера у г-жи Дамбрёз.

С ней, по крайней мере, нельзя было соскучиться! Она была осведомлена о светских интригах, о назначении посланников, о достоинствах портних, а если и попадались в ее речи общие места, они принимали форму столь условную, что фраза могла показаться или нарочито любезной, или иронической. Надо было видеть ее в обществе двадцати гостей, в беседе которых она участвовала, никого не оставляя без внимания, вызывая желаемые реплики и избегая всего щекотливого! Самые простые слова становились в ее устах чем-то вроде признания; малейшая ее улыбка навевала мечты; словом, ее очарование, так же как духи, чудесный аромат которых обычно ей сопутствовал, было сложным, неопределимым. В ее обществе Фредерик испытывал всякий раз новое удовольствие, как будто делал открытие; а между тем она неизменно встречала его с безмятежным спокойствием, подобным зеркальной глади прозрачных вод. Но почему в ее обхождении с племянницей была такая холодность? Порою она даже как-то странно поглядывала на нее.

Едва зашла речь о браке Сесиль, она указала Дамбрёзу на слабое здоровье «милого ребенка» и сразу же увезла ее на воды в Баларюк. Когда они вернулись, возникли новые препятствия: у молодого человека нет положения в свете, к этой страстной любви нельзя отнестись серьезно, лучше всего подождать. Мартинон ответил, что подождет. Его поведение являло верх благородства. Он превозносил Фредерика. Мало того: он научил его, как понравиться г-же Дамбрёз, даже намекнул, что знает от племянницы, какие чувства питает к нему тетка.

Дамбрёз был далек от ревности; он окружил своего молодого друга вниманием, спрашивал у него совета, заботился о его будущности и даже как-то раз, когда речь зашла о дядюшке Рокке, лукаво шепнул ему на ухо:

— Вы поступили правильно.

Сесиль, мисс Джон, слуги, привратник — все в этом доме относились к Фредерику как нельзя лучше. Он бывал здесь каждый вечер, оставляя Розанетту в одиночестве. Предстоящее материнство настраивало молодую женщину на серьезный и даже несколько грустный лад, как будто ее тревожили какие-то опасения. На все вопросы Фредерика она отвечала:

— Да нет, ты ошибаешься! Я чувствую себя хорошо!

А дело было в том, что в свое время она подписала еще пять векселей. Не решаясь сказать об этом Фредерику, после того как он уплатил по первому векселю, Розанетта снова посетила Арну, который в письменной форме обещал ей третью часть своей прибыли от эксплуатации газового освещения в городах Лангедока (великолепное предприятие!), посоветовав не предъявлять этого письма до собрания акционеров; собрание же откладывалось с недели на неделю.

Капитанша нуждалась в деньгах. Но она скорее бы умерла, чем попросила их у Фредерика. У него она ничего не хотела брать. Это осквернило бы их любовь. Правда, он оплачивал расходы по хозяйству, но коляска, которую он нанимал помесячно, и другие траты, неизбежные с тех пор, как он посещал Дамбрёзов, не позволяли ему уделять больше денег своей любовнице. Два-три раза, возвращаясь в необычное время, он замечал мужские спины, исчезавшие за дверью; Розанетта же часто уходила из дому и не говорила куда. Фредерик не желал во все это углубляться. На днях он должен был принять решение. Он мечтал о другой жизни, более интересной и благородной. С таким идеалом в душе он относился снисходительно к дому Дамбрёзов.

Их дом представлял собою как бы неофициальный филиал улицы Пуатье. Здесь он встретил великого А..., прославленного Б..., глубокомысленного В..., красноречивого Г..., выдающегося Д..., старых запевал левого центра, паладинов правого, бургграфов «золотой середины» — вечных марионеток человеческой комедии. Его изумила гнусность их речей, их мелочность, злопамятность, бессовестность; все эти люди, подавшие голос за конституцию, изощрялись, чтобы уничтожить ее, много суетились, выпускали манифесты, памфлеты, биографии. Юсоне написал биографию Фюмишона — истинный шедевр. Нонанкур вел пропаганду в деревнях, де Гремонвиль — среди духовенства, Мартинон объединял молодых буржуа. Каждый старался по мере сил, даже Сизи. Он стал гораздо серьезнее и целыми днями разъезжал в кабриолете по делам партии.

Дамбрёз, уподобляясь барометру, неизменно выражал все последние колебания. Нельзя было заговорить о Ламартине, чтобы он не процитировал слова какого-то простолюдина: «Хватит с нас лиры!» Кавеньяк был теперь в его глазах всего-навсего предателем! Президент, которым он восхищался целых три месяца, упал в его мнении (ибо

не обладал «необходимой энергией»; а так как у него была потребность уповать на какого-нибудь спасителя, то после событий у Консерватории он стал преклоняться перед Шангарнье. «Слава богу, Шангарнье... Будем надеяться, что Шангарнье... Нам нечего бояться, пока Шангарнье...»

Выше всех превозносили обычно Тьера — за его книжку против социализма, в которой он проявил себя не только как писатель, но и как мыслитель. Зло смеялись над Пьером Леру, который цитировал в палате выдержки из философов. Издевались над фаланстерами. В театре рукоплескали *Ярмарке идей* и сравнивали авторов с Аристофаном. Фредерик тоже посмотрел эту пьесу.

Политическая болтовня и вкусный стол притупляли его нравственное чувство. Какими бы ничтожными ни казались ему эти люди, он гордился знакомством с ними, и в душе ему хотелось добиться почета у буржуа. Любовница вроде г-жи Дамбрёз помогла бы ему выдвинуться.

Он стал делать все, чтобы достичь этого.

На прогулке попадался ей навстречу, в театре не пропускал случая зайти поздороваться в ее ложу; зная, в какое время она посещает церковь, становился в меланхолической позе за колонной. Они то и дело обменивались записочками по поводу новинок, концертов, книг и журналов, которые брали друг у друга. Посещал он ее не только по вечерам, приезжал иногда и днем, и, пока он проходил ворота, двор, переднюю, обе гостиные, чувство радости все росло; наконец он вступал в ее безмолвный, как гробница, теплый, как альков, будуар, где гостя обступала мягкая мебель и великое множество всевозможных предметов: шифоньерок, экранов, чаш и подносов — лаковых, черепаховых, малахитовых, из слоновой кости, дорогих, часто сменявшихся безделушек. Были вещицы и попроще: три обточенных морем камня из Этрета́ вместо пресс-папье; фламандский чепчик, висевший на китайской ширме; однако все эти вещи гармонировали друг с другом и, вместе взятые, поражали своим благородством — отчасти это зависело от высоты потолка, от пышности портьер и от длинной шелковой бахромы, спускавшейся с золоченых перекладин табуретов.

Она почти всегда сидела на диванчике около жардиньерки, поставленной у окна. А он, присев на большой пуф с ножками на колесиках, говорил ей комплименты, стараясь, чтобы их можно было принять за истину; она глядела на него, склонив голову немного набок и улыбаясь.

Фредерик читал ей стихи, вкладывая в них всю душу,— он старался растрогать ее и вместе с тем блеснуть. Она прерывала его насмешливым замечанием или практическим соображением; беседа их беспрестанно возвращалась к вечной теме любви. Они спрашивали друг друга, что возбуждает ее, кто сильнее чувствует — женщина или мужчина — и в чем здесь различие. Фредерик пытался высказать свое мнение так, чтобы в нем не было ни грубости, ни притворства. Беседа превращалась в своего рода поединок, подчас приятный, а порою скучный.

Вблизи этой женщины он не испытывал ни того безмерного упоения, которое влекло его к г-же Арну, ни той сумбурной веселости, которую вначале вызывала в нем Розанетта. Фредерик стремился к ней как к чему-то необыкновенному, недоступному, потому что она была знатна, потому что она была богата, набожна, и, наделяя ее изысканностью чувств, столь же редкостной, как ее кружева, воображал, будто она носит ладанки и сохраняет целомудрие даже в развращенности.

Старая любовь пошла ему на пользу. Все, что он некогда пережил благодаря г-же Арну,— томление, тревоги, мечты,— он высказывал ей так, словно это она их внушила. Г-жа Дамбрёз принимала все это как женщина, привыкшая к ухаживанию, и, не отталкивая его по-настоящему, ни в чем не уступала ему. Фредерику так же не удавалось соблазнить ее, как Мартинону — жениться. Желая окончательно отвадить поклонника племянницы, она обвинила его в том, что он зарится на деньги, и попросила мужа подвергнуть его испытанию. Дамбрёз объявил молодому человеку, что у сироты Сесиль, дочери бедных родителей, нет приданого и «надеяться» ей не на что.

Мартинон либо не поверил, либо зашел слишком далеко и уже не мог отступить, либо был одарен глупым упрямством, переходящим в гениальность, но только он ответил, что отцовского состояния, пятнадцати тысяч ливров в год, для них достаточно. Промышленника тронуло это непредвиденное бескорыстие. Он обещал выхлопотать ему место податного инспектора, внеся нужный для этого залог, и в мае месяце 1850 года Мартинон женился на мадмуазель Сесиль. Бала не давали. Молодые в тот же вечер уехали в Италию. На другой день Фредерик пришел с визитом к г-же Дамбрёз. Ему показалось, что она бледнее обыкновенного. Несколько раз она принималась язви-

тельно перечить ему из-за каких-то пустяков. Впрочем, все мужчины эгоисты.

Но ведь есть же среди них и преданные люди — взять хотя бы его.

— Ну да! Вы такой же, как все! — Глаза у нее были красные, она плакала. Потом постаралась улыбнуться: — Извините меня! Я не права! Пришли в голову грустные мысли!

Он ничего не понимал.

«Во всяком случае,— подумал Фредерик,— она не так тверда, как я думал».

Госпожа Дамбрёз позвонила, потребовала стакан воды, отпила глоток, велела унести стакан, потом стала жаловаться на слуг. Чтобы развлечь ее, он предложил себя в лакеи, уверяя, что сумеет подавать тарелки, обметать пыль с мебели, докладывать о гостях — словом, быть камердинером или скорее егерем, хотя мода на них прошла. Он хотел бы стоять в шляпе с петушиными перьями на запятках ее кареты.

— А как бы величаво я выступал за вами с собачкой на руках!

— Вы веселый,— заметила г-жа Дамбрёз.

Разве не безумие, подхватил он, относиться ко всему серьезно? Горестей и так достаточно, не надо их измышлять. Ни о чем не стоит печалиться. Г-жа Дамбрёз подняла брови, как бы выражая одобрение.

Встретив сочувствие, Фредерик осмелел. Былые неудачи научили его быть проницательнее. Он продолжал:

— Наши деды лучше умели жить. Почему не отдаться влечению? В конце концов любовь сама по себе не так уж важна.

— Но то, что вы говорите, безнравственно!

Она опустилась на диванчик. Он присел с краю, почти касаясь ее колен.

— Да разве вы не видите, что я лгу? Ведь чтобы нравиться женщинам, нужно прикидываться беспечным, разыгрывать шута или неистовствовать, как в трагедии! Они над нами смеются, когда мы просто говорим, что любим их! По-моему, гиперболы, которые их забавляют,— это осквернение подлинной любви; в конце концов не знаешь, как ее выразить, особенно когда вас слушают... женщины... умные.

Она смотрела на него, прищурившись. Он понижал голос, наклоняясь к ее лицу.

— Да! Я вас боюсь! Быть может, я оскорбил вас?.. Простите! Ведь я не хотел говорить! Это не моя вина! Вы так прекрасны!

Госпожа Дамбрёз закрыла глаза, и он изумился, как легко одержана победа. Высокие деревья, томно шелестевшие в саду, замерли. Неподвижные облака протянулись по небу длинными красными полосами, и в мире все словно оборвалось. Ему смутно вспомнились такие же вечера, полные такой же тишины. Где это было?..

Он опустился на колени, взял ее руку и поклялся в вечной любви. А потом, когда он уже собрался уходить, она знаком подозвала его и сказала совсем тихо:

— Приходите сегодня обедать! Мы будем одни!

Когда Фредерик спускался по лестнице, ему казалось, что он стал другим человеком, что на него веет благоуханным зноем теплицы, что наконец-то он вступает в высший круг, в мир патрицианских любовных измен и великосветских интриг. Чтобы занять там первое место, достаточно владеть такой женщиной, как эта. Томившаяся жаждой деятельности и власти, но связанная браком с человеком посредственным, для которого она очень много сделала, г-жа Дамбрёз захочет, может быть, руководить кем-нибудь более сильным? Теперь в этом нет ничего невозможного! Он чувствовал, что готов проехать верхом двести миль, проработать без устали несколько ночей кряду; его сердце было преисполнено гордости.

По тротуару впереди него шел, понурясь, человек в старом пальто; у него был такой измученный вид, что Фредерик обернулся. Тот поднял голову. Это был Делорье. Он пребывал в нерешительности. Фредерик бросился ему на шею.

— А, дружище! Неужто это ты?

И повел его к себе, забрасывая вопросами.

Бывший комиссар Ледрю-Роллена поведал сперва, какие невзгоды ему пришлось перенести. Так как он консерваторам проповедовал братство, а социалистам — уважение к законам, то одни в него стреляли, а другие принесли веревку, чтобы его повесить. После июньских событий его бесцеремонно отрешили от должности. Он примкнул к заговорщикам, но оружие было отобрано у них в Труа. За отсутствием улик его отпустили. Затем революционный комитет послал его в Лондон, и там он подрался на банкете со своими соратниками. Вернувшись в Париж...

— Почему ты не пришел ко мне?

— Тебя никогда не было дома. Твой швейцар держал себя как-то таинственно, я не знал, что и подумать, да к тому же мне не хотелось явиться побежденным.

Он стучался в двери Демократии, предлагая служить ей пером, словом, делом, но всюду был отвергнут; ему не доверяли, и вот пришлось продать часы, книги, белье.

— Право, лучше уж околевать на Бель-Ильской каторге вместе с Сенекалем!

Фредерика, завязывавшего в ту минуту галстук, это известие как будто не очень взволновало.

— А-а! Так милейший Сенекаль сослан?

Делорье, с завистью оглядывая стены, ответил:

— Не всем так везет, как тебе!

— Извини меня,— сказал Фредерик, не замечая намека,— но я нынче обедаю в гостях. Обед тебе приготовят, заказывай все, что хочешь! Спать ложись на моей кровати.

Горечь Делорье исчезла, побежденная таким необыкновенным радушием.

— На твоей кровати? Но... это стеснит тебя.

— Да нет же! У меня не одна!

— Ну, прекрасно! — смеясь, ответил адвокат.— У кого же ты обедаешь?

— У госпожи Дамбрёз.

— Так ты, чего доброго... того и гляди...

— Ты слишком любопытен,— сказал Фредерик, улыбкой подтверждая это предположение. Затем, поглядев на часы, снова сел.— Вот какие дела! Да ты не отчаивайся, старый защитник народа!

— Помилуй бог! Пусть теперь этим занимаются другие!

Адвокат ненавидел рабочих, он натерпелся от них у себя в провинции, в каменноугольном крае. Каждая шахта избирала свое временное правительство и давала ему наказ.

— Впрочем, они всюду были хороши — в Лионе, в Лилле, в Гавре, в Париже! Ведь по примеру фабрикантов, которые хотели бы закрыть доступ заграничным товарам, эти господа требуют изгнания иностранных рабочих — англичан, немцев, бельгийцев, савояров! А что до их интеллекта, к чему повели во времена Реставрации их знаменитые общества подмастерьев? В тысяча восемьсот тридцатом году они вступили в Национальную гвардию и даже не подумали подчинить ее себе! А в сорок восьмом

сразу же появились ремесленные цехи, каждый со своим знаменем! Они пожелали иметь своих депутатов, которые защищали бы только их интересы! Вроде того, как представители сахарозаводчиков только и хлопочут о сахарной свекле! Довольно с меня мерзавцев, которые падают ниц то перед эшафотом Робеспьера, то перед императорским сапогом, то перед зонтиком Луи-Филиппа,— довольно с меня этой сволочи, преданной тому, кто заткнет ей глотку хлебом! Все еще кричат о продажности Талейрана и Мирабо, но ведь посыльный, что стоит там внизу, продал бы отечество за пятьдесят сантимов, если бы ему пообещали платить три франка за каждое поручение! Какую мы сделали ошибку! Нам следовало бы поджечь всю Европу!

Фредерик возразил:

— Не хватало искры! Вы были всего-навсего мелкими буржуа, а лучшие из вас — педантами. Зато рабочим есть на что жаловаться: если не считать миллиона, выкроенного для них в бюджете, который вы поднесли им с таким подлым подобострастием, да еще ваших фраз, вы же ничего для них не сделали! Расчетная книжка находится в руках хозяина, рабочий (даже перед судом) остается в подчинении у своего нанимателя, ибо его словам не верят. По-моему, республика устарела. Кто знает? Пожалуй, только аристократия или даже только отдельная личность может еще осуществлять прогресс. Инициатива всегда идет сверху! Народ — несовершеннолетний, что бы там ни говорили!

— Может быть, ты и прав,— заметил Делорье.

По мнению Фредерика, большинство граждан стремится лишь к покою (в доме Дамбрёзов он кое-что усвоил), и все шансы на стороне консерваторов. Но этой партии недостает свежих людей.

— Если бы ты выступил кандидатом, я уверен...

Он не докончил. Делорье понял, провел обеими руками по лбу, потом вдруг сказал:

— А что же ты? Тебе ведь ничто не мешает? Почему тебе не стать депутатом?

В департаменте Обы, где проводятся дополнительные выборы, есть свободная вакансия. Дамбрёз, избранный в Законодательное собрание,— представитель другого округа.

— Хочешь, я этим займусь?

У него там были знакомства среди кабатчиков, учителей, врачей, клерков и их патронов.

— Впрочем, крестьяне поверят всему, чему угодно!

Фредерик почувствовал, как вновь разгорается его честолюбие.

Делорье прибавил:

— Ты приискал бы мне место в Париже.

— О, через Дамбрёза это будет нетрудно!

— Кстати, раз уж мы заговорили о каменном угле,— продолжал адвокат,— что сталось с его каменноугольной компанией? Мне бы как раз подошло занятие в этом роде: я был бы им полезен, а сам сохранил бы независимость.

Фредерик обещал зайти с ним к банкиру в один из ближайших дней.

Обед наедине с г-жой Дамбрёз был восхитителен. Она сидела против Фредерика и улыбалась, смотря па него поверх корзины с цветами при свете висячей лампы; в открытое окно видны были звезды. Говорили они мало, вероятно, еще опасаясь друг друга; но как только слуги отлучались, они посылали друг другу воздушные поцелуи. Он поделился с ней планом выдвижения своей кандидатуры. Она одобрила этот план, даже обещала добиться содействия Дамбрёза.

Вечером кое-кто из друзей зашел поздравить ее и посочувствовать: должно быть, она очень огорчена разлукой с племянницей? Как бы то ни было, молодые хорошо сделали, что отправились в свадебное путешествие; потом пойдут дети, начнутся заботы! Но Италия не соответствует тому представлению, какое о ней сложилось. Впрочем, они еще не вышли из возраста иллюзий, да и медовый месяц все может скрасить.

Дольше всех оставались де Гремонвиль и Фредерик. Дипломат никак не хотел уходить. Наконец в полночь он поднялся. Г-жа Дамбрёз сделала знак Фредерику, чтобы и он ушел вместе с ним, и за послушание поблагодарила его пожатием руки, более отрадным, чем все остальное.

Капитанша вскрикнула от радости, увидев его. Она уже с пяти часов его ждала. В оправдание он сослался на необходимость предпринять шаги ради Делорье. Лицо у него было торжествующее, словно осененное ореолом, и этот ореол ослепил Розанетту.

— Может быть, это от черного фрака, он тебе очень идет, но я никогда не видела тебя таким красивым! Какой ты красивый!

В порыве нежности она поклялась себе не принадле-

жать больше никому, что бы ни случилось, хотя бы ей пришлось умереть в нищете!

Ее прелестные влажные глаза искрились такой глубокой страстью, что Фредерик привлек ее к себе на колени и подумал: «Какой же я мерзавец!» — в душе восхищаясь своей испорченностью.

IV

Когда Делорье явился к Дамбрёзу, тот думал о том, чтобы вдохнуть жизнь в свое каменноугольное предприятие. Но на слияние частных обществ смотрели косо; кричали, что получится монополия, не желая принимать во внимание, что такое крупное дело требует огромных капиталов.

Делорье нарочно прочел книгу Гобе, статьи Шаппа в *Горнозаводском журнале* и изучил вопрос до тонкости. Он пояснил, что закон 1810 года устанавливает незыблемое право концессионера. Впрочем, всему предприятию можно придать демократическую окраску, ведь воспрепятствовать объединению каменноугольных компаний — это значит нарушить самый принцип ассоциации.

Дамбрёз вручил ему свои заметки для составления докладной записки. Что же до оплаты его трудов, то он надавал кучу обещаний, столь же заманчивых, сколь и неопределенных.

Делорье пришел к Фредерику и сообщил о своем разговоре. Кроме того, выходя от промышленника, он видел в подъезде г-жу Дамбрёз.

— Поздравляю, тебе чертовски повезло!

Потом поговорили о выборах. Надо было что-то придумать.

Три дня спустя Делорье принес исписанный лист бумаги — статью, предназначенную для газеты; это было открытое письмо Дамбрёза, в котором он одобрял кандидатуру их друга. Получив поддержку консерватора и заслужив похвалу красного, кандидатура Фредерика должна была иметь успех. Каким образом капиталист поставил свое имя под этим сочинением? Адвокат по собственному почину, ничуть не стесняясь, показал статью г-же Дамбрёз, та нашла ее очень удачной и взялась устроить остальное.

Фредерика этот шаг удивил, однако он его одобрил.

Узнав, что Делорье предстоит встретиться с г-ном Рокком, Фредерик рассказал ему о своих отношениях с Луизой.

— Скажи им все, что захочешь, что у меня дела расстроены, что я привожу их в порядок; она еще достаточно молода, может ждать!

Делорье уехал. Фредерик стал смотреть на себя как на человека чрезвычайно ловкого. Он испытывал полное и глубокое удовлетворение. Радостное сознание, что он обладает богатой женщиной, ничем не омрачалось, его чувства гармонировали со всем ее окружением. Теперь его жизнь полна очарования.

Пожалуй, приятнее всего было созерцать г-жу Дамбрёз, когда она сидела у себя в гостиной в обществе нескольких знакомых. Видя, как строго она держится, он представлял ее себе такой, какой она бывала наедине с ним; пока она холодно беседовала с гостями, он вспоминал взволнованный лепет любви; уважение, которое было данью ее добродетели, услаждало его, как будто это почитание относилось и к нему; подчас Фредерику хотелось крикнуть: «Да я же знаю ее лучше, чем вы! Она моя!»

Вскоре связь их стала известна в свете, превратилась в нечто всеми признанное. Г-жа Дамбрёз всю зиму выезжала в свет вместе с Фредериком.

Он почти всегда приезжал раньше ее и мог видеть, как она входит с веером в руке, с жемчугом в волосах, с обнаженными плечами. Она останавливалась на пороге, вырисовываясь в дверях, точно в рамке, делала легкое нерешительное движение и щурила глаза, отыскивая его взглядом. Назад она везла его в своей карете; в стекла хлестал дождь; прохожие, подобные теням, скользили по грязи. А Фредерик и г-жа Дамбрёз, прижавшись друг к другу, смотрели на все это рассеянно, с пренебрежительным равнодушием. Потом под разными предлогами он еще добрый час оставался у нее в комнате.

Госпожа Дамбрёз отдалась ему главным образом от скуки. Но этот последний опыт не должен был остаться тщетным. Ей захотелось зажечь в нем страстную любовь, она стала баловать его, осыпать подарками.

Она посылала ему цветы, вышила обивку для кресла; чтобы вся его жизнь была связана с мыслью о ней, подарила портсигар, чернильницу, множество вещиц, необходимых в обиходе. Вначале эти знаки внимания восхищали его, но вскоре стали казаться вполне естественными.

Она садилась в фиакр, отсылала его, доехав до какого-нибудь крытого прохода, углублялась в него, а потом с противоположной стороны опять выходила на тротуар и, скользя вдоль домов, с двойной вуалью на лице, добиралась до улицы, где Фредерик, уже стоявший на часах, быстро брал ее под руку и уводил к себе. Обоих лакеев он отпускал со двора, швейцара отсылал с каким-нибудь поручением. Г-жа Дамбрёз оглядывалась по сторонам; опасаться было нечего, и она с облегчением вздыхала, как изгнанник, узревший родину. Удача придала им смелости. Их свидания участились. Вдруг как-то вечером она нежданно явилась к нему в бальном наряде. Такие сюрпризы были опасны; он упрекнул ее в неосторожности; к тому же она произвела на него невыгодное впечатление. Открытый лиф слишком обнажал ее тощую грудь.

И тут он осознал то, что скрывал от себя,— чувственное разочарование в ней. Это не мешало ему притворяться пылко влюбленным; но, чтобы ощутить страсть, он должен был вызывать в своей памяти образ Розанетты или г-жи Арну.

Благодаря этой вялости чувств голова его была вполне ясна, и более чем когда-либо он стремился к высокому положению в свете. Раз у него такая опора, следует, по крайней мере, воспользоваться ею.

Однажды утром, в середине января, в кабинет к Фредерику вошел Сенекаль и в ответ на его удивленное восклицание сообщил, что он теперь секретарь Делорье. Он привез с собой письмо. В письме были добрые вести, однако Делорье журил друга за небрежность; приехать надо было самому.

Будущий депутат ответил, что отправится в путь послезавтра.

Сенекаль не высказал своего мнения о его кандидатуре. Говорил он о самом себе, о положении в стране.

Как бы ни было оно плачевно, это его радовало, ибо открывало путь к коммунизму. Прежде всего само правительство ведет к этому — ведь с каждым днем становится все больше дел, которые вершит государство. Если же говорить о собственности, то, несмотря на свои слабые стороны, конституция сорок восьмого года не пощадила ее; во имя общественной пользы государство может отныне брать все, что находит нужным. Сенекаль объявил, что стоит за твердую власть, и Фредерик услышал в его речах преувеличенный отголосок собственных слов, сказан-

ных в беседе с Делорье. Республиканец ополчился даже на несостоятельность масс.

— Робеспьер, защищая права меньшинства, предал Людовика Шестнадцатого суду Конвента и спас народ. Цель оправдывает средства. Диктатура иногда неизбежна. Да здравствует тирания, если только тиран творит добро!

Беседа была продолжительной; собираясь уходить, Сенекаль признался (может быть, это и составляло цель его посещения), что Делорье очень встревожен молчанием Дамбрёза.

Но Дамбрёз болен. Фредерик навещает его каждый день — он, как близкий человек, имеет доступ к больному.

Промышленника крайне взволновала отставка генерала Шангарнье. В тот же вечер он почувствовал сильный жар и такое стеснение в груди, что не мог спокойно лежать. После пиявок ему сразу полегчало. Сухой кашель прошел, дыхание стало ровнее, а неделю спустя он, глотая бульон, сказал:

— Да, дело идет на лад! Но я чуть было не отправился на тот свет!

— Только не без меня! — воскликнула г-жа Дамбрёз, давая понять, что она не пережила бы его.

Вместо ответа он посмотрел на жену и ее любовника со странной улыбкой, сочетавшей в себе и смирение, и снисходительность, и насмешку, и даже как бы шутку, почти веселый намек.

Фредерик собрался ехать в Ножан, но г-жа Дамбрёз не пустила его, и он то укладывал, то распаковывал чемоданы, смотря по тому, какой оборот принимала болезнь.

Неожиданно у Дамбрёза пошла кровь горлом. Светила науки, призванные к больному, не сказали ничего нового. Ноги у него опухли, он слабел. Несколько раз он выражал желание повидать Сесиль, находившуюся на другом конце Франции вместе с мужем, который месяц тому назад был назначен податным инспектором. Он велел непременно вызвать ее. Г-жа Дамбрёз написала три письма и показала их мужу.

Не доверяя сестре милосердия, она ни на секунду не оставляла его, не ложилась спать по ночам. Знакомые, которые расписывались у швейцара, с благоговением спрашивали о ней; прохожие проникались уважением при виде

огромного количества соломы, положенной на мостовой возле дома.

Двенадцатого февраля в пять часов у больного открылось сильное кровохарканье. Дежуривший у него врач предупредил, что положение опасное. Послали за священником.

Пока Дамбрёз исповедовался, супруга издали с любопытством смотрела на него. Затем молодой врач поставил шпанскую мушку и стал ждать, что будет.

Лампы, отгороженные мебелью, неровно освещали спальню. Фредерик и г-жа Дамбрёз, стоя у изголовья кровати, смотрели на умирающего. У окна вполголоса разговаривали священник и врач; сестра милосердия, стоя на коленях, бормотала молитвы.

Наконец послышалось хрипение. Руки холодели, бледнело лицо. Порою он испускал глубокий вздох; вздохи становились все реже; вырвалось несколько невнятных слов; он тихонько вздохнул, закатил глаза, голова свесилась на подушку.

С минуту все стояли неподвижно.

Госпожа Дамбрёз подошла и без усилия, просто, как исполняют долг, закрыла ему глаза.

Потом она воздела руки, извиваясь всем телом, словно бы от затаенного отчаяния, и вышла из комнаты, поддерживаемая врачом и сестрой милосердия. Четверть часа спустя Фредерик поднялся в ее спальню.

Там чувствовался неизъяснимый аромат, исходивший от изящных и хрупких вещей, которыми она была наполнена. На постели лежало черное платье, резко выделявшееся на фоне розового покрывала.

Госпожа Дамбрёз стояла у камина. Хотя он и не ожидал найти ее в глубокой скорби, но все же думал, что она опечалена, и спросил грустным тоном:

— Тебе тяжело?

— Мне? Нет, нисколько.

Обернувшись, она увидела платье, стала его разглядывать; потом попросила его не стесняться:

— Кури, если хочешь! Ты же у меня! — И глубоко вздохнула: — О господи! Какое облегчение!

Фредерика это восклицание удивило. Он заметил, целуя ей руку:

— Но ведь нам же и так не мешали!

Этот намек на легкость их связи, видимо, кольнул г-жу Дамбрёз.

— Ты не знаешь, какие услуги я ему оказывала и какие неприятности мне приходилось переносить!

— Да неужели?

— Ну да! Разве можно жить спокойно, когда с тобой рядом его незаконная дочь, эта девочка, которую он ввел в дом через пять лет после свадьбы? Если бы не я, он, конечно, сделал бы ради нее какую-нибудь глупость.

Тут она посвятила Фредерика в свои дела. По свадебному контракту каждый из супругов самостоятельно распоряжался своим имуществом. Ее состояние достигало трехсот тысяч франков. Дамбрёз на случай своей смерти закрепил за ней пятнадцать тысяч годового дохода и дом. Но вскоре написал завещание, по которому она являлась его единственной наследницей, а по приблизительным подсчетам его состояние превышает в настоящее время три миллиона франков.

Фредерик изумился.

— Было из-за чего стараться, правда? Впрочем, я помогла их нажить! Ведь я защищала свое же добро. Сесиль меня обобрала бы, а это было бы несправедливо.

— Почему она не приехала повидаться с отцом?

Услышав этот вопрос, г-жа Дамбрёз пристально посмотрела на него, потом сухо ответила:

— Не знаю! Верно, потому, что бессердечна! О, я ее знаю! Зато от меня она не получит ни одного су!

Но Сесиль вовсе не была ей в тягость, особенно со времени своего замужества.

— Ох, уж это замужество! — усмехнулась г-жа Дамбрёз.

Теперь она раскаивается, что слишком хорошо относилась к этой дуре, завистливой, корыстной, лицемерной. «Все недостатки отца!» Она бранила его все ожесточеннее. Не было человека более лживого, к тому же беспощадного, черствого, бездушного. «Скверный, скверный человек!»

Допустить ошибку могут самые умные люди. Промах сделала и г-жа Дамбрёз, дав волю накопившейся злобе. Фредерик, сидя против нее в глубоком кресле, размышлял; его шокировало все это.

Она встала и медленно опустилась к нему на колени.

— Один ты хороший! Я люблю только тебя!

Она глядела на него, и сердце ее смягчилось; наступила первая реакция, глаза наполнились слезами, и она прошептала:

— Хочешь на мне жениться?

Сперва он подумал, что ослышался. Такое богатство ошеломило его. Она повторила громче:

— Хочешь на мне жениться?

Наконец он улыбнулся и сказал:

— И ты сомневаешься?

Потом ему стало стыдно, и, чтобы хоть как-то исправить свою вину перед покойным, он вызвался провести ночь около него. Но, стесняясь такого добродетельного намерения, развязно прибавил:

— Так, пожалуй, будет приличнее.

— Да, пожалуй,— ответила она,— из-за прислуги!

Кровать выдвинули из алькова. Монахиня стояла в ногах, у изголовья встал священник, не тот, что был днем, а другой — высокий, тощий человек, похожий на испанца, с виду фанатик. На ночном столике, покрытом белой салфеткой, горели три свечи.

Фредерик сел на стул и стал смотреть на покойника.

Лицо было желтое, как солома; по углам рта запеклась кровавая пена; голова повязана фуляром; лежал он в вязаной фуфайке, с распятием в скрещенных на груди руках.

Кончилась эта суетная жизнь! Сколько раз он ездил по всяким канцеляриям, сколько итогов подводил, сколько дел устраивал, сколько выслушивал докладов! Сколько болтовни, улыбок, поклонов! Он приветствовал Наполеона, казаков, Людовика XVIII, 1830 год, рабочих, все правительства и так нежно любил всякую Власть, что сам готов был платить, лишь бы его купили.

Но после него остались поместье в Ла Фортель, три мануфактуры в Пикардии, лес Крансе в департаменте Ионны, ферма под Орлеаном, ценное движимое имущество.

Фредерик пересчитывал его богатства; ведь они должны достаться ему! Прежде всего он подумал о том, что «скажут люди», затем о подарке для матери, о своих будущих выездах, о старом кучере их семьи, которого он возьмет к себе швейцаром. Ливрея, разумеется, будет иная. Большую гостиную он превратит в рабочий кабинет. Если в третьем этаже разобрать три стены, то можно будет завести там картинную галерею. Внизу, если удастся, надо устроить турецкую баню. А как быть с конторой Дамбрёза, этой неприятной комнатой?

Когда священник сморкался или монахиня мешала угли в камине, эти звуки грубо нарушали мечты Фреде-

рика. Но действительность подтверждала их: покойник по-прежнему лежал здесь. Веки приподнялись, и, хотя глаза заволокла темная пелена смерти, они сохраняли невыносимо загадочное выражение. Фредерик словно читал в них осуждение себе и испытывал угрызения совести, ибо не мог пожаловаться на этого человека, который, напротив... «Да полно же! Старый мерзавец!» Он пристальнее вглядывался в него, чтобы ободриться, и мысленно спрашивал: «Ну и что же? Разве я убил тебя?»

Священник читал молитвы; монахиня дремала не шевелясь; пламя свечей удлинялось.

Целых два часа раздавался глухой грохот повозок, ехавших к Крытому рынку. В окнах посветлело; проехал фиакр, потом по мостовой прогнали стадо ослиц; доносились удары молотка, крики разносчиков, звуки рожка; все это сливалось в мощном голосе пробуждающегося Парижа.

Фредерик принялся за хлопоты. Прежде всего отправился в мэрию, чтобы заявить о смерти; потом, когда врач выдал свидетельство, снова поехал в мэрию сообщить, на каком кладбище семья желает похоронить покойника, а затем в бюро похоронных процессий.

Служащий извлек проспект бюро и реестр, где перечислялись разряды погребения и все подробности церемониала. Какую колесницу пожелают заказчики: с карнизом или с султанами? Должны ли быть у лошадей заплетены гривы? А плюмажи у прислуги? Поставить на похоронных дрогах вензель или герб? Потребуются ли погребальные факелы? Человек, чтобы нести ордена? Сколько потребуется карет? Фредерик не скупился. Г-жа Дамбрёз решила ничего не жалеть.

Потом он отправился в церковь.

Викарий, ведавший похоронами, первым делом стал бранить похоронное бюро; особое лицо для несения орденов, право же, ни к чему; лучше бы заказать побольше свечей! Условились, что заупокойная обедня будет с органом. Фредерик расписался под условием, обязуясь за все уплатить сполна.

Далее он заехал в Ратушу, чтобы купить место на кладбище. Участок в два метра длиной и один шириной стоил пятьсот франков. Место приобретается на пятьдесят лет или навечно?

— Разумеется, навечно! — сказал Фредерик.

Он с головой ушел в эти хлопоты, старался изо всех сил. Во дворе особняка его ждал мастер-мраморщик с

проектами памятников в греческом, египетском, мавританском стиле и сметами. Но домашний архитектор уже успел обсудить этот вопрос с самой хозяйкой; на столе в вестибюле лежали объявления насчет чистки матрацев, дезинфекции комнат и различных способов бальзамирования.

После обеда он поехал к портному заказать траур для прислуги, и, наконец, пришлось еще раз съездить туда же, так как он заказал замшевые перчатки, а надобно было шелковые.

Когда он явился на следующее утро к десяти часам, в большой гостиной уже собралось много народа, и почти все с печальным видом, подходя друг к другу, говорили:

— Еще месяц тому назад я видел его! Боже мой! Все там будем!

— Да, но постараемся, чтобы это случилось как можно позднее!

Затем, с довольным смешком, затевали не относящиеся к делу разговоры. Наконец распорядитель похорон в черном фраке, по французскому обычаю, в коротких штанах, в плаще с плерезами, со шпагой на перевязи и треугольной шляпой под мышкой, поклонился и произнес традиционные слова:

— Если угодно, господа, пожалуйте.

Шествие тронулось.

Был день цветочного базара на площади у церкви святой Магдалины. Погода стояла ясная, теплая, ветерок, трепавший парусиновые навесы палаток, надувал с боков огромное черное сукно, повешенное над главным входом, где трижды повторялся герб Дамбрёза, прикрепленный к бархатным квадратам. Он представлял *на черном поле златую шуйцу, сжатую в кулак, в серебряной перчатке, с графской короной и девизом: Всеми путями.*

Тяжелый гроб внесли по ступеням лестницы, сопровождающие вошли в церковь.

Шесть приделов храма, полукруг за алтарем, сиденья — все было обтянуто черным. На катафалк, стоявший перед алтарем, падал желтоватый свет высоких восковых свечей. По углам его горел в канделябрах спирт.

Наиболее важные лица разместились поближе к алтарю, прочие сели в нефе, и служба началась.

За исключением нескольких человек, все присутствующие были столь несведущи в церковных обрядах, что распорядитель похорон время от времени подавал знак, приглашая встать, опуститься на колени, снова сесть. Орган

и два контрабаса чередовались с голосами певчих; в промежутках слышно было бормотанье священника у алтаря; потом пение и музыка возобновлялись.

Из трех куполов лился матовый свет; в открытую дверь врывался поток дневного света, озаряя обнаженные головы, а в воздухе, на половине высоты церкви, стоял полумрак, пронизанный отблесками золотых украшений на ребрах сводов и на листьях капителей.

Чтобы рассеяться, Фредерик прислушался к *Dies irae*;[1] он оглядывал присутствующих, старался рассмотреть живопись, расположенную слишком высоко,— эпизоды из жития Магдалины. По счастью, рядом с ним сел Пелерен и тотчас пустился в долгие рассуждения о фресках. Ударил колокол. Стали выходить из церкви.

Дроги, задрапированные сукном и украшенные высокими султанами, направились к кладбищу Пер-Лашез; колесницу везли четыре вороные лошади с заплетенными гривами, плюмажами на головах и в длинных черных попонах, шитых серебром. Кучер был в ботфортах и в треуголке, с длинным ниспадающим крепом. За шнуры колесницы держались четверо: квестор палаты депутатов, член генерального совета департамента Обы, представитель каменноугольной компании и — на правах друга — Фюмишон. За дрогами следовали коляска покойного и двенадцать траурных карет. Остальные провожающие шли по бульвару.

Прохожие останавливались посмотреть на траурную процессию, женщины с младенцами на руках влезали на стулья, посетители кафе, зашедшие выпить кружку пива, появлялись с бильярдными киями у окон.

Путь был длинный, и, подобно тому, как на парадных обедах гости вначале бывают сдержанны, а потом становятся общительны, натянутость вскоре исчезла. Беседовали о том, что палата отказала президенту в ассигнованиях. Пискатори слишком резок, Монталамбер «великолепен, как всегда», господам Шамболю, Пиду, Кретону — словом, всей комиссии надо было последовать совету Кантен-Бошара и Дюфура.

Разговоры продолжались и на улице Рокет с ее лавками, в витринах которых выставлены только цепочки из цветного стекла да черные кружки, покрытые золотыми узорами и буквами, что придает этим лавкам сходство с

[1] «День гнева» *(лат.)*.

пещерами, полными сталактитов, или с посудными магазинами. Но у решетки кладбища все мгновенно замолкли.

Между деревьями возвышались надгробные памятники — усеченные колонны, пирамиды, часовни, дольмены, обелиски, склепы в этрусском стиле, с бронзовыми дверями. За оградами были устроены своего рода могильные будуары с садовыми креслами и складными стульями. Паутина лохмотьями свисала с цепочек на урнах, пыль покрывала атласные банты букетов и распятий. И всюду между столбиками оград и на могилах венки из иммортелей, светильники, вазы, цветы, черные диски, украшенные золотыми буквами, гипсовые статуэтки — мальчики, девочки, ангелочки, повисшие в воздухе на латунной проволоке; над некоторыми могилами были устроены цинковые навесы. С надгробных стел на каменные плиты спускались, извиваясь, как удавы, огромные канаты из крученого стекла, черного, белого и голубого. Освещенные солнцем, они искрились среди черных деревянных крестов, а колесница медленно подвигалась в глубь широких проездов, мощенных наподобие городских улиц. Оси время от времени скрипели. Стоя на коленях, так что подол платья волочился по траве, женщины тихо беседовали со своими покойниками. Между зелеными ветвями тисов подымался беловатый дым. Это жгли остатки старых венков и украшений.

Могила Дамбрёза находилась по соседству с могилами Манюэля и Бенжамена Констана.

Здесь начинается крутой спуск, обрыв. Внизу видны зеленые вершины деревьев, дальше — трубы паровых насосов, а вдали — весь огромный город.

Слушая надгробные речи, Фредерик любовался видом.

Первая речь была произнесена от имени Палаты депутатов, вторая — от имени генерального совета департамента Обы, третья — от имени каменноугольной компании Соны и Луары, четвертая — от имени агрономического общества Ионны; была даже речь от имени филантропического общества. Провожающие стали уже расходиться, как вдруг некий незнакомец начал читать шестую речь — от имени общества амьенских антикваров.

И каждый пользовался случаем напасть на социализм, жертвой которого пал Дамбрёз. Зрелище анархии и его преданность порядку — вот что сократило дни финансиста. Превозносили его ум, честность, щедрость и даже молчаливость в роли народного представителя; правда, он не

был оратором, зато обладал такими в тысячу раз более ценными качествами, как... и т. д. Было сказано все, что полагается в подобных случаях: «безвременная кончина», «вечные сожаления», «иной мир», «прощай... нет, вернее, до свиданья!».

Посыпалась земля, смешанная с камешками, и теперь уже никому на свете не было дела до г-на Дамбрёза.

О нем еще немного поговорили, пока шли по кладбищу, и в суждениях не стеснялись. Юсоне, которому предстояло дать в газете описание похорон, припомнил и высмеял все речи: ведь что ни говори, а почтенный Дамбрёз был за последнее царствование одним из самых крупных *взяточников*. Потом траурные кареты развезли всех этих буржуа по их конторам; церемония заняла не слишком много времени, так что все были довольны. Фредерик, утомленный, поехал домой.

Когда на другой день он явился к г-же Дамбрёз, ему сказали, что она занята внизу, в конторе. Папки, ящики были открыты, счетные книги разбросаны, сверток с надписью *Безнадежные взыскания* валялся на полу; Фредерик чуть было не упал, зацепившись за него ногой, и поднял бумаги. Г-жа Дамбрёз, казалось, потонула в глубоком кресле.

— Что такое? Почему вы пропали? Что случилось?

Она вскочила.

— Что случилось? Я разорена, разорена! Понимаешь?

Нотариус, г-н Адольф Ланглуа, пригласил ее к себе в контору и сообщил содержание завещания, составленного ее мужем еще до их свадьбы. Он все оставлял Сесиль, а другое завещание, более позднее, было потеряно. Фредерик побледнел. Наверно, она плохо искала.

— Да ты посмотри! — воскликнула г-жа Дамбрёз, указывая на комнату.

Оба несгораемых шкафа стояли открытые, замки были сломаны молотком; она перерыла еще раз письменный стол, обыскала стенные шкафы, встряхнула соломенные половики, но вдруг пронзительно вскрикнула и бросилась в угол: только сейчас ей бросился в глаза ящичек с медным замком; она открыла его — пусто!

— Ах, мерзавец! А я так самоотверженно ухаживала за ним!

Она зарыдала.

— Может быть, завещание в другом месте? — спросил Фредерик.

— Да нет! Оно было здесь, в несгораемом шкафу. Я недавно его видела. Он его сжег! Я уверена!

В начале своей болезни Дамбрёз как-то приходил сюда подписать бумаги.

— Тогда он это и сделал!

Она в изнеможении упала на стул. Мать, потерявшая ребенка, не так скорбит над опустевшей колыбелью, как сокрушалась г-жа Дамбрёз у зияющих несгораемых шкафов. И все же, несмотря на низменность мотивов, горе ее казалось столь глубоким, что он попытался утешить вдову. Ведь в конце концов это же не нищета.

— Нет, нищета, раз я не могу предложить тебе большое состояние!

У нее оставалось только тридцать тысяч годового дохода, не считая дома, стоившего, пожалуй, тысяч восемнадцать — двадцать.

Хотя в глазах Фредерика и это было богатством, он тоже испытал разочарование. Прощайте, мечты! Прощай, широкая жизнь, которую он собирался вести! Чувство чести требовало, чтобы он женился на г-же Дамбрёз. Он подумал немного, потом ласково промолвил:

— Но со мной будешь ты!

Она бросилась к нему в объятия, и он прижал ее к своей груди с нежностью, к которой отчасти примешивалось и восхищение самим собою. Г-жа Дамбрёз, осушив слезы, подняла к нему лицо, сияющее от счастья, и взяла его за руку.

— О, я никогда в тебе не сомневалась! Я на это рассчитывала!

Такая заблаговременная уверенность в том, что сам он считал благородным поступком, молодому человеку не понравилась.

Потом она увела его к себе в спальню, и они стали строить планы. Фредерик должен теперь подумать о своей карьере. Она дала ему превосходные советы относительно его кандидатуры.

Во-первых, надо выучить две-три фразы из политической экономии. Затем следует избрать себе специальность, например, коннозаводство, написать несколько статей по вопросам местного характера, поддерживать связь с почтовыми конторами, табачными лавочками и оказывать множество мелких услуг. Дамбрёз мог служить в этом смысле образцом. Как-то раз в деревне, катаясь с друзьями в шарабане, он велел кучеру остановиться перед ма-

стерской сапожника, купил для своих гостей двенадцать пар обуви, а для себя ужасные сапоги и даже имел мужество носить их целых две недели. Эта история развеселила любовников. Она рассказала и другие случаи, оживилась, помолодела, стала по-прежнему мила и остроумна.

Она одобрила намерение Фредерика немедленно съездить в Ножан. Они нежно простились; на пороге она еще раз шепнула ему:

— Ведь ты меня любишь, правда?

— Навеки твой! — был его ответ.

Дома его ждал посыльный с запиской карандашом, сообщавшей, что Розанетта вот-вот должна родить. Последние дни он был так занят, что забыл об этом. Она теперь находилась в специальном заведении в Шайо.

Фредерик нанял фиакр и поехал туда.

На углу улицы Марбёф он увидел дощечку, на которой крупными буквами было написано: *«Лечебница с отделением для рожениц. Содержательница г-жа Алессандри, акушерка первого разряда, окончившая курс в Институте материнства, автор многих трудов»* и т. д. С улицы, над калиткой, заменявшей ворота, вывеска повторяла ту же надпись (с пропуском слов «отделение для рожениц»): «Лечебница г-жи Алессандри» и перечисляла все звания владелицы.

Фредерик постучал.

Горничная с манерами субретки ввела его в гостиную, где стояли стол красного дерева, кресла, обитые малиновым бархатом, и часы под стеклянным колпаком.

Почти сразу же вышла хозяйка. Это была высокая брюнетка лет сорока, с тонкой талией, красивыми глазами, видимо, знающая свет. Она сообщила Фредерику, что мать благополучно разрешилась от бремени, и повела его к ней.

Розанетта встретила Фредерика несказанной улыбкой и, словно задыхаясь от любви, утопая в ее волнах, тихо сказала:

— Мальчик... вот там, там! — и показала на колыбельку, стоявшую возле кровати.

Он раздвинул занавески; среди белья лежало что-то желтовато-красное, страшно сморщенное, дурно пахнущее и громко орущее.

— Поцелуй его!

Чтобы скрыть свое отвращение, он ответил:

— Я боюсь сделать ему больно.

— Нет, нет!

Он еле коснулся губами своего ребенка.

— Как он на тебя похож!

Слабыми руками она обняла его за шею с такой горячей нежностью, какой она никогда еще не проявляла.

Он вспомнил о г-же Дамбрёз. Ему показалось чудовищным обманывать это бедное создание, любившее и страдавшее со всей непосредственностью своей натуры. Несколько дней подряд он просиживал у нее до самого вечера.

В этом укромном доме она чувствовала себя счастливой; у окон, выходивших на улицу, ставни постоянно бывали закрыты; комната ее, обтянутая светлым штофом, выходила в большой сад; г-жа Алессандри, единственной слабостью которой была привычка выдавать знаменитых врачей за своих близких приятелей, окружила ее заботами; товарки Розанетты, почти все провинциальные барышни, очень скучали, так как никто их не навещал. Розанетта заметила, что ей завидуют, и с гордостью сказала об этом Фредерику. Разговаривать, однако, приходилось вполголоса: стены были тонкие, и, хотя разносились, не умолкая, звуки фортепиано, все держались настороже.

Он наконец собрался ехать в Ножан, как вдруг пришло письмо от Делорье.

Появились два новых кандидата: один — консерватор, другой — красный; третий, каков бы он ни был, уже не мог рассчитывать на успех. Виноват сам Фредерик: он пропустил подходящий момент, ему следовало расшевелиться и приехать раньше. «Ты даже не показался в сельскохозяйственном обществе!» Адвокат порицал его за то, что у него нет связей с газетами. «Ах, если бы ты вовремя послушался моих советов! Если бы у нас была своя газета!» Он это подчеркивал. Впрочем, многие из тех, кто голосовал бы за него из уважения к Дамбрёзу, теперь уже отпали. Сам Делорье был в их числе. Он больше ничего не ждал от капиталиста и отступился от его подопечного.

Фредерик пошел с этим письмом к г-же Дамбрёз.

— Так ты не был в Ножане? — спросила она.

— Почему ты спрашиваешь?

— Я видела Делорье три дня тому назад.

Узнав о смерти ее мужа, адвокат явился к ней, чтобы вернуть заметки о каменноугольном предприятии, и предложил свои услуги в качестве поверенного. Фредерику это показалось странным: что же его друг делает в Ножане?

Госпожа Дамбрёз пожелала узнать, чем был занят Фредерик во время их разлуки.

— Я был болен,— ответил он.

— Ты должен был хотя бы предупредить меня.

— Не стоило!

К тому же у него было множество хлопот, деловых свиданий, визитов.

С этих пор жизнь его раздвоилась: он регулярно ночевал у Капитанши, а вторую половину дня проводил у г-жи Дамбрёз, так что свободного времени у него оставалось не более часа в день.

Ребенка отправили в деревню, в Андийи. Родители навещали его каждую неделю.

Дом кормилицы находился поблизости от деревни, в глубине маленького двора, устланного соломой, мрачного, как колодец; там ходили куры, под навесом стояла тележка для овощей. Розанетта первым делом осыпáла своего мальчика неистовыми поцелуями, а потом, в каком-то безумном порыве, начинала суетиться, пыталась доить козу, ела простой крестьянский хлеб, вдыхала запах навоза, готова была даже взять щепотку его в носовой платок.

Потом они совершали длинную прогулку; она заходила в садоводство, срывала ветки сирени, свешивавшиеся через ограду; завидя осла, запряженного в двуколку, кричала: «Ну, пошел, серый!» — останавливалась у решетки красивого сада и любовалась им; или же кормилица выносила ребенка, укладывала его в тени орешника, и обе женщины целыми часами болтали всякие глупости.

Фредерик, оставаясь тут же, созерцал квадраты виноградников, среди которых местами виднелась густая листва какого-нибудь дерева, пыльные тропинки, похожие на серые ленты, дома, белыми и красными пятнами выделявшиеся среди зелени; по временам у подножия холмов, поросших кустами, тянулся горизонтальный дымок локомотива, похожий на гигантское страусовое перо, кончик которого порой отрывался и таял.

Потом глаза Фредерика снова останавливались на сыне. Он представлял его себе юношей, надеялся, что он будет ему товарищем; но, быть может, из него выйдет дурак, во всяком случае, человек несчастный. То, что он незаконнорожденный, всегда будет тяготеть над ним. Лучше было бы для него не родиться вовсе, и непонятная тоска наполняла сердце Фредерика, шептавшего: «Бедное дитя!»

Они часто опаздывали на последний поезд. В таких случаях г-жа Дамбрёз журила его за неаккуратность. Он сочинял какую-нибудь небылицу.

Небылицы приходилось изобретать и для Розанетты. Она не понимала, что он делает по вечерам; когда бы к нему ни послать, его вечно нет дома! Как-то раз обе женщины пришли к нему почти одновременно. Капитаншу он выпроводил, а г-жу Дамбрёз спрятал, сказав, что должна приехать его мать.

Вскоре эта ложь начала забавлять его; клятву, данную одной, он повторял другой, посылал обеим одинаковые букеты, писал им одновременно, а потом сравнивал письма, но в мыслях его вечно жила третья. Ее недосягаемость была оправданием вероломства, которое обостряло удовольствие, внося в него разнообразие. И чем больше он обманывал одну или другую, тем сильнее была их ответная любовь, как будто чувство к нему г-жи Дамбрёз распаляло страсть Розанетты, и наоборот, как будто, соревнуясь друг с другом, каждая хотела заставить его забыть о сопернице.

— Оцени мое доверие,— сказала однажды г-жа Дамбрёз, показывая письмо, в котором ей сообщали, что г-н Моро живет с некой Розой Брон.— Чего доброго, это та самая, которая была с тобой на скачках?

— Что за вздор! — возразил он.— Дай взглянуть.

В письме, написанном печатными буквами, подпись отсутствовала. Вначале г-жа Дамбрёз терпела эту любовницу, благодаря которой легче было скрывать их связь. Но теперь, когда любовь ее стала более страстной, она потребовала разрыва, что, по словам Фредерика, давно уже было сделано; в ответ на все его уверения она прищурилась и, обратив на него взгляд, поблескивавший, словно острие кинжала под кисеей, спросила:

— Ну, а другая?

— Какая другая?

— Жена торговца посудой!

Он презрительно пожал плечами. Она не настаивала.

Но однажды, месяц спустя, когда речь зашла о чести и честности и он похвастался (вскользь, осторожности ради) этим качеством, она сказала:

— Это правда, ты честный; ты больше не ездишь туда.

Фредерик, думавший о Капитанше, пробормотал:

— Куда это?

— Да к госпоже Арну.

Он стал умолять ее признаться, от кого у нее эти сведения. Она получила их от одной из своих портних — г-жи Режембар.

Значит, ей была известна его жизнь; он же о ее жизни ничего не знал!

Между тем в ее туалетной он обнаружил миниатюрный портрет господина с длинными усами: уж не тот ли это, о самоубийстве которого ему говорили что-то неопределенное? Но не было никакой возможности узнать больше! Да, впрочем, к чему? Сердце женщины — ларец с секретом, со множеством ящичков, вставляемых один в другой; стараешься изо всех сил, ломаешь ногти — и наконец находишь высохший цветок, хлопья пыли или пустоту! И к тому же он боялся, пожалуй, узнать слишком много.

Она заставляла его отказываться от приглашений в те дома, куда ей нельзя было ехать вместе с ним, держала его при себе, страшилась потерять, и, несмотря на близость, возрастающую с каждым днем, ни с того ни с сего, из-за какой-нибудь безделицы, различия во взглядах на то или иное лицо или произведение искусства между ними открывалась бездна.

У нее была особая манера играть на рояле, сдержанная, сухая. Ее спиритуализм (г-жа Дамбрёз верила в переселение душ на звезды) не мешал ей держать свою казну в образцовом порядке. Она была высокомерна с прислугой; при виде лохмотьев бедняка глаза ее оставались сухи. Наивный эгоизм прорывался в выражениях: «Какое мне дело?», «Хороша бы я была!», «С какой стати!» — и в тысяче мелких, не поддающихся анализу, но отвратительных поступков. Она могла подслушивать у дверей; на исповеди, вероятно, лгала. Из деспотизма пожелала, чтобы по воскресеньям Фредерик сопровождал ее в церковь. Он повиновался и носил ее молитвенник.

Потеря наследства вызвала в ней большую перемену. Грусть, которую объясняли смертью г-на Дамбрёза, была ей к лицу, и она по-прежнему принимала у себя много народу. С тех пор как Фредерику не повезло на выборах, она мечтала о том, чтобы он получил место при посольстве, где-нибудь в Германии, поэтому прежде всего следовало приспособиться к господствующим взглядам.

Одни желали империи, другие — возвращения Орлеанского дома, третьи — графа Шамбора, но все сходились на том, что необходима децентрализация; предлагалось не-

сколько ее способов, например: разбить Париж на множество больших улиц и устроить из них деревни, правительство перевести в Версаль, учебные заведения — в Бурж, упразднить библиотеки, дела доверить дивизионным генералам; все превозносили деревню, ибо у неграмотного человека больше природного здравого смысла, чем у всех прочих. Ненависть так и кипела — ненависть к учителям начальной школы и к виноторговцам, к курсам философии, к лекциям по истории, к романам, красным жилетам, длинным бородам, ко всякой независимости, ко всякому проявлению индивидуальности, ибо надо было восстановить «принцип власти», откуда бы она ни исходила, во имя чего бы она ни действовала, лишь бы это была Сила, Власть! Консерваторы рассуждали теперь так же, как Сенекаль. Фредерик перестал что-либо понимать, слыша в доме своей давнишней любовницы те же речи, произносимые теми же людьми.

Салоны кокоток (с того времени они и начали играть роль) были нейтральной почвой, где встречались реакционеры разного толка. Юсоне, занимавшийся развенчанием современных знаменитостей (дело, полезное для восстановления Порядка), возбудил в Розанетте желание устраивать у себя вечера, как это делается у других,— он стал бы писать о них отчеты; и вот для начала он привел человека серьезного — Фюмишона; затем появились Нонанкур, де Гремонвиль, де Ларсийуа, бывший префект, и Сизи, ставший теперь агрономом, убежденным нижнебретонцем и еще более ревностным христианином, чем прежде.

Приходили и прежние любовники Капитанши — барон де Комен, граф де Жюмийяк и некоторые другие; их развязность оскорбляла Фредерика.

Желая дать им почувствовать, что он хозяин, Фредерик поставил дом на широкую ногу. Наняли грума, переменили квартиру, завели новую мебель. Эти расходы принесли ему пользу — они наводили на мысль, что Фредерик богат и женится не из корысти. Зато его состояние таяло с поразительной быстротой. А Розанетта ничего во всем этом не понимала!

Мещанка, потерявшая связь со своей средой, она обожала семейную жизнь, тихий домашний уют. Однако она была довольна, что у нее есть «приемный день»; говоря о себе подобных, называла их: «Эти женщины»,— желала быть и даже считала себя «светской дамой». Она просила

Фредерика больше не курить в гостиной и приличия ради заставляла его есть постное.

Словом, она изменяла своей роли, становилась серьезной и, ложась спать, выказывала всякий раз некую меланхолию,— так перед кабаком сажают иной раз кипарисы.

Он открыл причину этой перемены: она тоже мечтала о браке! Фредерика это ожесточило. К тому же он не забыл о ее появлении у г-жи Арну, да и сердился на нее за то, что она долго ему сопротивлялась.

Все же Фредерик пытался узнать, кто были ее любовники. Она все отрицала. Им овладела своего рода ревность. Его раздражали подарки, которые она получала, продолжала получать, и, по мере того как его все больше возмущал характер этой женщины, чувственность, властная, звериная, влекла его к ней,— мгновенное наслаждение, сразу же переходившее в ненависть.

Слова, улыбка, голос Розанетты — все опротивело ему, в особенности ее глаза, этот женский взгляд, неизменно прозрачный и бессмысленный. Порою ему становилось так тошно, что, если бы она умерла у него на глазах, он остался бы равнодушен. Но как найти повод для ссоры? Ее кротость приводила его в отчаяние.

Вновь появился Делорье и объяснил свою поездку в Ножан тем, что приценялся к адвокатской конторе. Фредерик обрадовался ему: все-таки близкий человек! Он ввел его к Розанетте.

Адвокат время от времени обедал у них, а если возникали пререкания, всегда становился на сторону Розанетты, и однажды Фредерик сказал другу:

— Ну и живи с ней, если она тебе по душе,— так ему хотелось найти повод, чтобы избавиться от Капитанши.

В середине июня Розанетта получила от судебного пристава Атаназа Готро извещение, в котором ей было предложено уплатить четыре тысячи франков — ее долг девице Клеманс Ватназ; в противном случае придется завтра же произвести опись имущества.

Действительно, из четырех векселей, подписанных ею в свое время, оплачен был только один; деньги, которые ей случалось иметь, уходили на другие нужды.

Она поспешила к Арну. Он жил теперь в Сен-Жерменском предместье; прежний привратник не знал, на какой улице. Она решила посетить еще несколько друзей, никого не застала дома и вернулась в отчаянии. Она ничего

не хотела говорить Фредерику, дрожа при мысли, что эта новая история помешает их браку.

На следующее утро явился Атаназ Готро в сопровождении двух помощников; один был бледный, невзрачный, с печатью зависти на лице, другой щеголял в воротничке, в брюках с тугими штрипками, и носил на указательном пальце колпачок из черной тафты, оба казались омерзительно грязными; и у того и другого ворот сюртука просалился, а рукава были слишком коротки.

Патрон их — мужчина как раз очень красивый — стал извиняться, что пришел по неприятному делу, а в то же время оглядывал квартиру, «полную премилых вещиц, честное слово!». И прибавил: «Не считая тех, на которые нельзя наложить арест». По его знаку оба понятых скрылись.

Он рассыпался в комплиментах. Кто бы мог подумать, что у особы столь... прелестной нет надежного друга! Продажа имущества с торгов — большое несчастье! От этого никогда не оправиться. Он попробовал испугать ее; потом, увидев, что она взволнована, принял отеческий тон. Он знает людей, ему приходилось иметь дело со всякими дамами, и, называя их имена, он рассматривал картины на стенах. Эти картины принадлежали прежде милейшему Арну: эскизы Сомбаза, акварели Бюрьё, три пейзажа Дитмера. Розанетта, очевидно, не представляла себе их ценности. Готро обернулся к ней:

— Послушайте! Чтобы доказать вам, что я добрый малый, сделаем так: уступите мне этих Дитмеров, и я оплачу ваши долги. Решено?

В эту минуту в комнату вошел, не снимая шляпы, разгневанный Фредерик: он только что в передней узнал обо всем от Дельфины и заметил обоих понятых. Готро снова принял величественный вид, а так как дверь оставалась открытой, он заговорил громко:

— Итак, господа, запишите! Во второй комнате: дубовый стол с двумя откидными досками, два буфета...

Фредерик перебил его, спросив, нет ли способа избежать описи.

— О, разумеется, есть! Кто платил за обстановку?

— Я.

— В таком случае, подайте встречный иск. Выиграете время.

Готро поспешил закончить опись и, составив протокол по делу мадмуазель Брон, удалился.

Фредерик не сделал ни единого упрека. Он рассматривал пятна на ковре — следы побывавших здесь грязных сапог и, разговаривая сам с собой, сказал:

— Надо достать деньги!

— Боже мой! Какая же я дура! — воскликнула Капитанша.

Она порылась в ящике, вынула какое-то письмо и поспешила в общество освещения городов Лангедока, чтобы получить стоимость своих акций.

Она вернулась через час. Бумаги были проданы другому лицу! Служащий, посмотрев на ее документ, обязательство, подписанное Арну, ответил ей: «Эта бумага не дает вам никаких прав на акции. Компания ее не признает».

Словом, ее спровадили; задыхаясь от волнения, она сказала, что Фредерику надо сейчас же отправиться к Арну для выяснения вопроса.

Но Арну может подумать, что он хочет косвенным путем получить с него свои пятнадцать тысяч франков; к тому же обращаться с требованием денег к человеку, который был покровителем его любовницы, казалось ему низостью. Избрав другой путь, он достал у г-жи Дамбрёз адрес жены Режембара, отправил к ней посыльного и узнал таким образом, какое кафе посещает теперь Гражданин.

Это было маленькое кафе на площади Бастилии; здесь Режембар проводил весь день, неподвижно сидя в дальнем углу, направо; казалось, он составлял часть обстановки.

Пройдя последовательно ряд стадий: полчашки кофе, грог, бишоф, подогретое вино и даже воду, подкрашенную вином,— он вновь обратился к пиву и теперь каждые полчаса ронял одно лишь слово: «Кружку!» — сократив свою речь до минимума. Фредерик спросил его, встречается ли он с Арну.

— Нет!

— Почему же?

— Он болван!

Может быть, их разделяли политические взгляды? Фредерик счел уместным осведомиться о Компене.

— Скотина! — сказал Режембар.

— Как так?

— Телячья голова!

— Да объясните же мне, что такое телячья голова?

Режембар презрительно усмехнулся.

— Глупости!

После долгого молчания Фредерик снова спросил:

— Так он переехал на другую квартиру?

— Кто?

— Арну.

— Да. На улице Флерюс.

— Номер дома?

— Разве я бываю у иезуитов?

— Как у иезуитов?

Гражданин ответил в ярости:

— На деньги одного патриота, с которым я его познакомил, этот скот открыл торговлю четками!

— Не может быть!

— Сходите сами, увидите!

Оказалось, что это сущая правда: Арну, перенесший апоплексический удар, обратился к религии; впрочем, «у него всегда имелись наклонности к благочестию», и вот (совмещая торгашество с чистосердечием, как это было ему свойственно), чтобы спасти и душу свою, и состояние, он принялся торговать предметами церковного обихода.

Фредерик без труда отыскал магазин, на вывеске которого было написано: *Готическое искусство.— Церковная утварь. Украшения для храмов. Раскрашенные изваяния. Ладан трех волхвов*... и т. д. и т. п.

По бокам витрины стояли две деревянные позолоченные статуи, выкрашенные в красный и голубой цвет,— Иоанн Креститель в овечьей шкуре и святая Женевьева с розами в переднике и с прялкой под мышкой; были и гипсовые группы: монахиня, поучающая девочку, мать на коленях возле кровати, трое школьников перед причастием. Но лучше всего было некое подобие хижины, внутри которой находились осел, бык и ясли с младенцем Иисусом, лежавшим на соломе, самой настоящей соломе. Полки были завалены всевозможными четками, медальками, заставлены кропильницами в форме раковин и портретами церковных знаменитостей, среди которых блистали его преосвященство епископ Афр и сам святейший отец — оба улыбались.

Арну сидел за прилавком и дремал, опустив голову. Он сильно постарел, на висках у него появились прыщи; отблеск золотых крестов, освещенных солнцем, падал на них.

Фредерику стало грустно, когда он все это увидел.

Но ради Капитанши он сделал над собой усилие и вошел. В глубине магазина промелькнула г-жа Арну; он поспешил уйти.

— Я не мог разыскать его,— сказал Фредерик, вернувшись домой.

Напрасно он уверял Розанетту, что тотчас же напишет насчет денег своему нотариусу в Гавр,— она вышла из себя. Нельзя себе представить человека более слабохарактерного, какая он тряпка! Она терпит всевозможные лишения, а другие живут припеваючи.

Фредерик думал о бедной г-же Арну, рисуя себе горестную скудость ее жизни. Он сел за письменный стол, а так как пронзительный голос Розанетты не умолкал, он воскликнул:

— Да замолчи ты, бога ради!

— Ты, чего доброго, еще станешь заступаться за них?

— И стану! — крикнул он.— Откуда у тебя такая злоба?

— Но ты-то почему не хочешь, чтобы они заплатили? Боишься огорчить свою прежнюю? Сознайся!

Ему хотелось запустить в нее часами, которые стояли на столе; он не находил слов. Розанетта, расхаживая по комнате, прибавила:

— Я притяну твоего Арну к ответу! Обойдусь и без тебя! — Она поджала губы.— Я посоветуюсь с юристом.

Три дня спустя в комнату неожиданно вбежала Дельфина.

— Сударыня, сударыня, там какой-то человек с банкой клея... Напугал меня!

Розанетта прошла на кухню и увидела забулдыгу с лицом, изрытым оспой, с парализованной рукой, полупьяного; он что-то бормотал.

Это был рассыльный Готро, расклеивавший объявления. Встречный иск был отвергнут, и естественным следствием была распродажа с аукциона.

За свои труды, состоявшие в том, что поднялся по лестнице, рассыльный сперва потребовал стаканчик вина, потом стал просить о другом: ему хотелось билет в театр, он думал, что барыня — актриса. Затем он несколько минут подмигивал, неизвестно зачем, наконец заявил, что за сорок су оборвет края объявления, которое он уже наклеил внизу, на дверях: Розанетта была там названа по имени и фамилии — исключительная жестокость, доказывавшая всю ненависть Ватназ.

Когда-то Ватназ отличалась чувствительностью и даже, переживая сердечное горе, написала письмо Беранже, просила у него совета. Но жизненные треволнения озлобили ее; теперь она давала уроки музыки, держала столовую, сотрудничала в журналах мод, сдавала меблированные комнаты, торговала кружевами, имея дело с женщинами легкого поведения, причем благодаря своим знакомствам она многим, в том числе и Арну, могла оказывать услуги. До этого она служила в торговой фирме.

Она раздавала там жалованье работницам, на каждую было заведено по две книжечки, и одна из них оставалась у Ватназ. Дюсардье, который из любезности вел книжку некой Гортензии Баслен, пришел в кассу как раз в ту минуту, когда Ватназ принесла счет этой девушки — 1682 франка, тут же выплаченные кассиром. Между тем лишь накануне Дюсардье записал на счет Баслен всего 1082 франка. Под каким-то предлогом он попросил у работницы книжку, а потом, желая положить конец этой грязной истории, сказал ей, что книжку потерял. Гортензия Баслен по своей простоте пересказала эту выдумку Ватназ, а та принялась с наигранным равнодушием расспрашивать честного приказчика. Он ограничился ответом: «Я ее сжег». И все. Вскоре после этого она ушла из фирмы, так и не поверив, что книжка уничтожена, и воображая, что она хранится у Дюсардье.

Узнав, что он ранен, она примчалась к нему в надежде заполучить книжку. Но, ничего не найдя, несмотря на самые настойчивые поиски, она прониклась уважением, а вскоре и любовью к этому человеку, такому честному и кроткому, такому отважному и сильному! Найти такое счастье в ее возрасте было нежданной удачей. Недаром она с жадностью ухватилась за Дюсардье, отказалась ради него от литературы, от социализма, от «утешительных доктрин и великодушных утопий», от лекций «о раскрепощении женщины», которые она читала,— от всего, даже от Дельмара; наконец, она предложила Дюсардье вступить с ней в брак.

Хоть она и была его любовницей, он нисколько не был влюблен в нее. К тому же он помнил о ее воровстве. Да она была и слишком богата для него. Он отказался. Тогда она со слезами рассказала ему о своей мечте — открыть вместе с ним магазин готового платья. Для начала у нее имелись деньги, к которым на следующей неделе должны

были прибавиться еще четыре тысячи франков; она рассказала об иске, предъявленном Капитанше.

Дюсардье это огорчило из-за его друга. Он помнил портсигар, подаренный ему на гауптвахте, вечера на набережной Наполеона, задушевные разговоры, книги, которые ему давал Фредерик, множество других любезностей. Он попросил Ватназ отказаться от иска.

Она высмеяла его за простоту и проявила непостижимую ненависть к Розанетте; даже к богатству она стремилась лишь затем, чтобы впоследствии унизить Розанетту, приобрести собственный экипаж.

Эта черная злоба напугала Дюсардье; когда ему стал точно известен день, на который назначен аукцион, он ушел из дому. На следующее утро он в смущении явился к Фредерику.

— Я должен просить у вас извинения.

— За что?

— Вы, наверно, считаете меня неблагодарным; ведь она со мной...— Он запинался.— О, я с ней больше не увижусь, я не буду ее сообщником!

Фредерик смотрел на него, не скрывая удивления.

— Разве неправда, что у вашей подруги через три дня будет распродажа? — спросил Дюсардье.

— От кого вы слышали?

— Да от нее самой, от Ватназ! Но я боюсь, что вы обидитесь.

— Полно, дорогой друг!

— Правда, вы такой добрый!

Он смиренно подал ему маленький сафьяновый бумажник. В нем было четыре тысячи франков — все его сбережения.

— Что вы! Нет, нет!

— Я так и знал, что вы обидитесь,— со слезами на глазах ответил Дюсардье.

Фредерик пожал ему руку, честный малый стал умолять его:

— Возьмите! Сделайте мне удовольствие! Я в таком отчаянии! Да, впрочем, разве не все погибло? Когда настала революция, я думал, что мы будем счастливы. Помните, как все было хорошо, как легко дышалось! Но теперь еще хуже, чем раньше.— Он уставил глаза в пол.— Теперь они губят нашу республику, как погубили когда-то римскую! А несчастная Венеция, несчастная Польша, несчастная Венгрия! Как все это возмутительно! Сперва сру-

били деревья свободы, потом ограничили избирательное право, закрыли клубы, восстановили цензуру и отдали школы в руки священников; не хватает только инквизиции! А может быть, и ее восстановят? Ведь консерваторы были бы рады казакам! Запрещают газеты, если в них пишут против смертной казни. Париж наводнен штыками, в шестнадцати департаментах объявлено осадное положение, амнистию снова отвергли! — Он схватился за голову, потом в порыве отчаяния развел руками.— А почему бы не попробовать? Если бы люди были почестнее, можно бы еще столковаться! Да нет! Рабочие не лучше буржуа, вот в чем беда! На днях в Эльбефе на пожаре они отказались помогать! Какие-то мерзавцы называют Барбеса аристократом! Чтобы сделать народ посмешищем, они хотят избрать в президенты Надо, каменщика. Ну что вы на это скажете? И ничего не поделаешь! Ничем не поможешь! Все против нас! Я никогда никому не делал зла, а на душе словно камень. Я с ума сойду, если так будет продолжаться! Лучше бы меня убили. Уверяю вас, этих денег мне не нужно! Вы их отдадите, черт возьми! Я даю вам их в долг.

Фредерик, вынужденный к тому необходимостью, взял в конце концов эти четыре тысячи франков. Таким образом, тревоги, связанные с Ватназ, прекратились.

Но вскоре Розанетта, возбудившая дело против Арну, проиграла процесс и из упрямства решила обжаловать постановление суда.

Делорье выбился из сил, стараясь ей растолковать, что обещание Арну не представляет собой ни дарственной записи, ни формальной передачи; она даже не слушала его, считая закон несправедливым; все это оттого, что она — женщина, а мужчины друг за друга стоят! В конце концов она все же послушалась его советов.

Он так распоясался, что даже несколько раз приводил к ним обедать Сенекаля. Подобная бесцеремонность была неприятна Фредерику, который помогал ему деньгами и даже одевал у своего портного; адвокат же свои старые сюртуки отдавал социалисту, существовавшему неизвестно на какие средства.

Все же Делорье хотелось оказать услугу Розанетте. Как-то раз, когда она показала ему двенадцать акций компании по добыче каолина (предприятия, из-за которого Арну приговорили к штрафу в тридцать тысяч франков), он воскликнул:

— Тут что-то неладное! Отлично!

Она имела право подать на Арну в суд, требуя возмещения стоимости этих бумаг. Прежде всего, можно доказать, что в силу круговой поруки он отвечает всем своим имуществом за долги компании; кроме того, он выдал, очевидно, свои личные долги за долги компании, иначе говоря, присвоил себе часть ее имущества.

— Все это дает повод к обвинению его в злостном банкротстве — статьи пятьсот восемьдесят шестая и пятьсот восемьдесят седьмая Торгового кодекса,— и мы его засадим, прелесть моя, будьте уверены.

Розанетта бросилась ему на шею. На другой день он передал ее дело своему бывшему патрону, не имея возможности заняться им, так как ему предстояло ехать в Ножан; в случае надобности Сенекаль ему напишет.

Покупка нотариальной конторы была только предлогом. Он все время проводил у Рокка, причем с самого начала не только расхваливал их общего друга, но и старался по возможности подражать его манерам и речам; этим он заслужил доверие Луизы, а благосклонности ее отца добился благодаря яростным нападкам на Ледрю-Роллена.

Фредерик не приезжает, потому что вращается в высшем свете. Но постепенно Делорье выкладывал им, что тот влюблен в кого-то, что у него есть ребенок, есть содержанка.

Луиза пришла в отчаяние, велико было и негодование г-жи Моро. Ей уже казалось, что сын ее, подхваченный вихрем, летит в пропасть; она, благоговейно соблюдавшая приличия, была оскорблена поведением Фредерика и переживала все это как личное бесчестие; но вот однажды выражение ее лица изменилось. Когда ее спрашивали, как поживает Фредерик, она многозначительно отвечала:

— Прекрасно, превосходно!

Она узнала, что он женится на г-же Дамбрёз.

День свадьбы уже был назначен, и Фредерик старался придумать, как преподнести это известие Розанетте.

В середине осени она выиграла процесс, связанный с акциями компании по добыче каолина. Фредерик узнал об этом от Сенекаля, который как раз шел из суда и встретился ему у подъезда.

Арну признали соучастником всех злоупотреблений, и бывший репетитор, видимо, так обрадовался этому, что

Фредерик не дал ему подняться к Розанетте, сказав, что сам обо всем сообщит ей. Он вошел к ней раздраженный.

— Ну вот! Можешь радоваться!

Но она не обратила внимания на его слова.

— Посмотри-ка!

Она указала ему на ребенка, лежавшего в колыбели возле камина. Утром у кормилицы она нашла его в таком плохом состоянии, что решила перевезти в Париж.

Ручки и ножки его исхудали, губы усеяны были белыми пятнышками, а во рту словно белели сгустки молока.

— Что сказал врач?

— Врач? Он считает, что от переезда у него усилился... не помню уж, какое-то название на «ит»... Словом, у него молочница. Знаешь такую болезнь?

Фредерик без малейшего колебания ответил: «Конечно»,— и прибавил, что это пустяки.

Но вечером он испугался — такой жалкий вид был у младенца и столько появилось белых пятнышек, напоминавших плесень, как будто жизнь уже покинула его хилое тельце и остался лишь прах, покрывавшийся этой растительностью. Ручки были холодные, ребенок уже не мог пить, и кормилица, новая, которую привратник нанял для них через контору, твердила:

— Плох он, очень плох!

Розанетта всю ночь не ложилась.

Утром она позвала Фредерика:

— Поди сюда. Он не шевелится.

В самом деле, ребенок был мертв. Она взяла его на руки, пробовала трясти, обнимала, называя самыми нежными именами, осыпала поцелуями, сжимала в объятиях, растерянно бегала по комнате, рвала на себе волосы, кричала; наконец, рухнула на диван и так осталась лежать с открытым ртом, с остановившимися глазами, из которых струились потоки слез. Потом на нее нашло оцепенение, и все в квартире утихло. Кресла и стулья были опрокинуты. Валялись полотенца. Пробило шесть часов. Ночник погас.

Фредерику, глядевшему на все это, думалось: не сон ли? Сердце его сжималось от тоски. Ему казалось, что эта смерть — только начало и что за ней таится близкое и еще более тяжкое несчастье.

Вдруг Розанетта мягко спросила:

— Мы сделаем так, чтобы он сохранился, хорошо?

Ей хотелось набальзамировать его. Но тут возникло

много трудностей. По мнению Фредерика, самый веский довод против этого сводился к тому, что нельзя бальзамировать таких маленьких детей. Лучше заказать портрет. С этой мыслью она согласилась. Он написал записку Пелерену, и Дельфина отнесла ее.

Пелерен поспешил прийти, желая загладить своим рвением воспоминание о прежних поступках. Сначала он сказал:

— Бедный ангелочек! Боже мой, какое горе!

Но мало-помалу в нем проснулся художник, и он заявил, что с этими коричневыми тенями вокруг глаз, этим посиневшим личиком ничего нельзя сделать, получится просто натюрморт, тут требуется большой талант; он бормотал:

— Трудно, очень трудно!

— Только бы вышло похоже,— заметила Розанетта.

— Ну вот еще, очень мне нужно сходство! Долой реализм! Надо передавать сущность, дух! Оставьте меня! Постараюсь вообразить, каким он был прежде.

Он стал размышлять, подперев лоб левой рукой, придерживая локоть правой; потом вдруг воскликнул:

— Вот что мне пришло в голову! Пастель! С помощью полутонов и еле обозначенных контуров можно достичь большой выразительности.

Он послал горничную за своим ящиком; потом, подставив себе под ноги скамеечку, придвинул стул и стал делать набросок с такой невозмутимостью, словно рисовал гипсовую фигуру. Он восхвалял маленьких Иоаннов Крестителей Корреджо, инфанту Розу Веласкеса, молочные тона Рейнольдса, изысканность Лоуренса, но, главное, того мальчика с длинными волосами, что сидит на коленях у леди Глоузр.

— Да и может ли быть что-нибудь очаровательнее этих малышей! Тип высшей красоты (Рафаэль доказал это своими мадоннами) — пожалуй, мать с младенцем!

Розанетту душили слезы, и она вышла.

— Каков Арну!..— воскликнул Пелерен.— Вы знаете, что произошло?

— Нет. А что?

— Так, впрочем, и должно было кончиться!

— Да что такое?

— Теперь он уже, может быть... Простите!

Художник встал и слегка приподнял голову трупика.

— Так вы сказали...— начал Фредерик.

Пелерен прищурился, чтобы лучше определить пропорции.

— Я сказал, что приятель наш Арну сейчас, вероятно, уже за решеткой! — И с удовлетворением добавил: — Посмотрите! Хорошо получается?

— Превосходно! Но что же Арну?

Пелерен положил карандаш.

— Насколько я мог понять, его преследует некий Миньо, приятель Режембара,— этот тоже хорош, а? Что за идиот! Представьте себе: как-то раз...

— Да ведь не в Режембаре дело!

— Вы правы! Так вот, вчера вечером Арну должен был достать двенадцать тысяч франков, иначе ему крышка.

— Это, наверно, преувеличено,— заметил Фредерик.

— Ничуть! По-моему, дело серьезное, весьма серьезное!

В эту минуту вернулась Розанетта, с красными, воспаленными, как будто подкрашенными веками. Она посмотрела на рисунок. Пелерен жестом дал понять, что прервал рассказ из-за нее. Но Фредерик не обратил на это внимания.

— Все же я не могу поверить...

— Повторяю,— продолжал художник,— я встретил его вчера в семь часов вечера на улице Жакоб. Из предосторожности он даже с собой паспорта не взял, говорил, что собирается сесть в Гавре на пароход со всем семейством.

— Как? И с женой?

— Разумеется! Он хороший семьянин и не станет жить в одиночестве.

— Вы уверены?

— Еще бы! Подумайте: где он мог раздобыть двенадцать тысяч франков?

Фредерик раза два-три прошелся по комнате. Ему трудно было дышать, он кусал губы, потом взялся за шляпу.

— Куда же ты? — спросила Розанетта.

Он молча вышел.

V

Необходимо достать двенадцать тысяч франков, иначе он больше не увидит г-жи Арну; ведь до сих пор в нем все еще жила непобедимая надежда. Разве г-жа Арну не заполонила его сердца, не была основой его жизни? Не-

сколько минут он стоял, шатаясь, на тротуаре, объятый тревогой и все же радуясь, что ушел от той, другой.

Где добыть денег? Фредерик по опыту знал, как трудно получить их сразу, даже за любые проценты. Единственный человек мог выручить его — г-жа Дамбрёз. У нее в секретере всегда хранились банковые билеты. Он пришел к ней и непринужденно спросил:

— Можешь дать мне взаймы двенадцать тысяч франков?

— Зачем?

Это чужая тайна. Она хотела ее узнать. Он не сдавался. Оба упрямились. Наконец она объявила, что ничего не даст, пока не узнает, для какой цели. Фредерик густо покраснел. Один из его товарищей совершил растрату. Сумму надо возместить сегодня же.

— Как его зовут? Его фамилия? Ну, как его фамилия?

— Дюсардье!

Он бросился перед ней на колени, умоляя никому не говорить об этом.

— Какого же ты мнения обо мне? — спросила г-жа Дамбрёз.— Можно подумать, что ты сам это натворил. Брось трагические позы! На, возьми! И дай ему бог здоровья!

Он побежал к Арну. Торговца в магазине не оказалось. Но он по-прежнему жил на улице Паради, у него были две квартиры.

На улице Паради привратник побожился, что г-на Арну не было со вчерашнего дня; о барыне он ничего не мог сказать. Фредерик стрелой взлетел на лестницу и приложил ухо к замочной скважине. Дверь наконец открыли. Барыня уехала вместе с барином. Служанка не знала, когда они вернутся; жалованье ей заплатили, она уходит с этого места.

Вдруг послышался скрип двери.

— Здесь кто-то есть?

— Да нет же, сударь! Это ветер.

Он удалился. Что бы там ни было, а это внезапное исчезновение казалось непостижимым.

Быть может, Режембар, как приятель Миньо, объяснит в чем дело? Фредерик поехал на Монмартр, на улицу Императора.

Перед домом был садик, обнесенный решеткой с железными бляхами. Крыльцо в три ступеньки оживляло белый фасад; проходя по тротуару, можно было заглянуть в обе

комнаты нижнего этажа — гостиную, где на стульях и креслах были разложены платья, и мастерскую, где сидели швеи, работавшие у г-жи Режембар.

Все они были уверены, что муж хозяйки занят серьезными делами, что у него важные знакомства и что он человек выдающийся. Когда он проходил по коридору, в шляпе с загнутыми полями, в зеленом сюртуке, с суровым вытянутым лицом, они отрывались от работы. А Режембар не упускал случая сказать им что-нибудь в поощрение, какую-нибудь любезность в форме сентенции, и впоследствии, выйдя замуж, они чувствовали себя несчастными, ибо он оставался для них недостижимым идеалом.

Все же ни одна из них не любила его так сильно, как г-жа Режембар, низенькая деловая женщина, содержавшая его своим ремеслом.

Едва г-н Моро велел доложить о себе, как она поспешила ему навстречу, зная через прислугу о его отношениях с г-жой Дамбрёз. Муж должен «вернуться сию минуту»; Фредерик, следуя за ней, изумлялся порядку в квартире и обилию разложенных повсюду клеенок. Несколько минут он прождал в какой-то комнате, своего рода кабинете, куда Гражданин удалялся для размышлений.

На этот раз Гражданин был менее сердит, чем обычно.

Он рассказал историю Арну. Бывший фабрикант фаянсовых изделий поймал на удочку некоего Миньо, патриота, владельца сотни акций газеты *Век,* доказав ему, что с демократической точки зрения следует сменить администрацию и редакцию газеты; и якобы для того, чтобы одержать верх на ближайшем собрании акционеров, он попросил у Миньо пятьдесят акций, обещая передать их надежным друзьям, которые его поддержат при голосовании; Миньо не придется нести ответственности, не придется ни с кем ссориться, а когда успех будет достигнут, он устроит ему хорошее место в дирекции, на пять-шесть тысяч франков по крайней мере. Акции перешли в его руки. Но Арну сразу же продал их и на вырученные деньги вошел в товарищество с торговцем церковной утварью. Тут начались требования со стороны Миньо, Арну увиливал; наконец патриот пригрозил привлечь его к суду за мошенничество, если тот не возвратит акций или соответствующей суммы — пятьдесят тысяч франков.

На лице Фредерика отразилось отчаяние.

— Это еще не все,— сказал Гражданин.— Миньо, человек порядочный, согласился получить хотя бы четверть

этой суммы. Новые обещания со стороны Арну и, само собой, новые проделки. Словом, третьего дня утром Миньо потребовал, чтобы ему в течение суток вернули двенадцать тысяч франков.

— Да они у меня есть! — сказал Фредерик.

Гражданин медленно повернулся к нему.

— Вот шутник.

— Простите! Они у меня в кармане. Я хотел передать ему деньги.

— Ну и прыть у вас! Честное слово! Впрочем, поздно; жалоба подана, Арну уехал.

— Один?

— Нет, с женой. Их видели на Гаврском вокзале.

Фредерик помертвел. Г-жа Режембар подумала, что он упадет в обморок. Он овладел собой и даже оказался в силах задать еще два-три вопроса об этом событии. Режембара оно огорчило, так как все это в общем вредит делу демократии. Арну всегда был взбалмошным и неосмотрительным человеком.

— Пустая башка! Прожигатель жизни! Сгубили его юбки! Мне не Арну жаль, а его бедную жену! — Гражданин чтил добродетельных женщин и высоко ставил г-жу Арну.— Немало ей пришлось выстрадать!

Фредерик был благодарен Гражданину за его сочувствие и, как будто Режембар услужил ему, с жаром пожал ему руку.

— Ты побывал везде, где нужно? — спросила Розанетта, когда он вернулся.

Нет, у него не хватило духу что-либо делать, он просто бродил по улицам, стараясь забыться.

В восемь часов они перешли в столовую, молча сидели друг против друга, время от времени глубоко вздыхали и отсылали тарелки нетронутыми. Фредерик выпил водки. Он чувствовал себя разбитым, подавленным, уничтоженным и уже ничего не сознавал, кроме страшной усталости.

Розанетта принесла портрет. Красная, желтая, зеленая и синяя краски были наложены грубыми мазками и оставляли отвратительное, почти комическое впечатление.

Впрочем, маленький покойник стал неузнаваем. Фиолетовые губы резко оттеняли белизну кожи, носик заострился, глаза ввалились; головка покоилась на подушке из голубой тафты среди лепестков камелий, осенних роз и

фиалок; эту мысль подала служанка, и обе женщины с набожным чувством убрали младенца цветами. На камине, покрытом кружевной накидкой, между ветками букса, окропленными святой водой, стояли золоченые подсвечники; по углам в двух вазах горели курительные свечки; все это вместе с колыбелью казалось чем-то вроде престола, и Фредерику вспомнилось его бдение у тела г-на Дамбрёза.

Почти каждые четверть часа Розанетта приоткрывала полог колыбели, чтобы посмотреть на своего ребенка. Она представляла себе, как через несколько месяцев он начал бы ходить, как впоследствии на школьном дворе играл бы в городки с товарищами, каким бы он был в двадцать лет, и каждый из этих образов, которые она рисовала себе, становился для нее новой утратой; приступы отчаяния обостряли в ней материнское чувство.

Фредерик, неподвижно сидя в другом кресле, думал о г-же Арну.

Теперь, наверно, она в поезде,— смотрит в окно вагона на поля, мчащиеся в сторону Парижа, или, быть может, стоит на палубе парохода, как в первый раз, когда он ее увидел; но этот пароход уносит ее в беспредельную даль, в края, откуда она не вернется. Потом он представлял ее себе в комнате гостиницы: на полу чемоданы, обои свисают лоскутьями, дверь сотрясается от ветра. А потом? Что она будет делать? Станет учительницей, компаньонкой, может быть, горничной? Теперь она подвластна любым случайностям нищеты. Ничего не знать о ее судьбе было мучительно. Ему следовало помешать ее бегству или же уехать вслед за нею. Разве не он ее настоящий супруг? Думая о том, что больше никогда не увидит ее, что все кончено, что он безвозвратно утратил ее, Фредерик чувствовал, как все его существо разрывается на части; полились слезы, накопившиеся с самого утра.

Розанетта заметила их.

— И ты плачешь? Тебе тоже тяжело?

— Да, да! И мне!..

Он прижал ее к груди, и, обнявшись, оба разрыдались.

Госпожа Дамбрёз тоже плакала, лежа ничком на постели, обхватив голову руками.

Олимпия Режембар, приходившая примерить ей первое после траура светлое платье, рассказала о посещении Фредерика и даже о том, что у него наготове было двенадцать тысяч франков, предназначенных для г-на Арну.

Значит, деньги, ее деньги, понадобились ему, чтобы помешать отъезду той, другой, чтобы сохранить любовницу!

Сперва ею овладел приступ ярости, и она решила прогнать его, как выгоняют лакея. Обильные слезы успокоили ее. Лучше ничего не говорить, все затаить в себе.

На другой день Фредерик принес ей обратно двенадцать тысяч.

Она предложила ему оставить их у себя — на тот случай, если они понадобятся его другу,— и подробно расспросила об этом господине. Кто же заставил его решиться на такое дело? Наверно, женщина? Женщины толкают людей на любые преступления.

Ее насмешливый тон смутил Фредерика. Он раскаивался в клевете, которую возвел на Дюсардье. Его успокаивало лишь то, что г-жа Дамбрёз не могла узнать правды.

Она, однако, упорно возвращалась к этому разговору и через день снова осведомилась о его приятеле, а затем спросила о Делорье:

— Он человек толковый и надежный?

Фредерик расхвалил его.

— Попросите его зайти ко мне на днях, как-нибудь утром; я хотела бы посоветоваться с ним об одном деле.

Она случайно нашла сверток с бумагами, среди которых были векселя Арну, опротестованные, как полагается, и за подписью г-жи Арну. Именно из-за них Фредерик приходил однажды к Дамбрёзу во время завтрака; хотя капиталист и не собирался предъявлять их ко взысканию, все же он добился того, что Коммерческий суд вынес приговор не только Арну, но и его жене, которая об этом не знала, так как муж не счел уместным предупредить ее.

Вот превосходное оружие! Г-жа Дамбрёз не сомневалась в его силе. Но, пожалуй, нотариус посоветует отказаться от этого дела; она решила поручить его кому-нибудь менее известному и вспомнила о высоком, наглом субъекте, предлагавшем ей свои услуги.

Фредерик по простоте душевной исполнил ее поручение.

Адвокат пришел в восторг от того, что ему придется иметь дело с такой важной дамой.

Он поспешил явиться к ней.

Госпожа Дамбрёз сообщила ему, что все наследство перешло к ее племяннице, но, дорожа интересами супругов

Мартинон, она непременно хочет получить деньги по этим векселям.

Делорье понял, что здесь кроется некая тайна, и задумался, глядя на векселя. Имя г-жи Арну, начертанное ее собственной рукой, воскресило в его памяти ее образ и понесенное оскорбление. Если представляется случай отомстить, почему не воспользоваться им?

Он посоветовал г-же Дамбрёз продать с аукциона оставшиеся от мужа безнадежные векселя. Подставное лицо перекупит их и предъявит ко взысканию. Он взялся подыскать подходящего человека.

В конце ноября Фредерик, проходя по улице, где жила г-жа Арну, поднял глаза к ее окнам и заметил на двери объявление, где крупными буквами было написано:

«Продается движимое имущество, состоящее из кухонной посуды, белья носильного и столового, рубашек, кружев, юбок, панталон, шалей французских и индийских, рояля Эрара, двух дубовых шкафов в стиле Возрождения, венецианских зеркал, фарфора китайского и японского».

«Ведь это же их вещи!» — подумал Фредерик; привратник подтвердил его предположение.

Кто именно довел дело до аукциона, он не знал. Но, пожалуй, разъяснения мог дать оценщик Бертельмо.

Чиновник сперва не хотел говорить, какой кредитор потребовал распродажи. Фредерик проявил настойчивость. Оказывается, это был некий Сенекаль, поверенный; Бертельмо был так любезен, что дал Фредерику соответствующий номер *Мелких объявлений*.

Вернувшись к Розанетте, Фредерик развернул листок и бросил его на стол.

— На, читай!

— Что такое? — спросила она; лицо ее было так невозмутимо спокойно, что он вознегодовал.

— Знаем мы эту невинность!

— Не понимаю.

— Это из-за тебя продаются с аукциона вещи г-жи Арну?

Она перечитала объявление.

— Где же ее имя?

— Но это ее вещи! Ты это знаешь лучше, чем я!

— Какое мне дело? — сказала Розанетта, пожав плечами.

— Какое тебе дело? Ты мстишь, вот и все! Потому и преследуешь их! Разве ты не оскорбляла ее, даже ходила

к ней? Ты, девка, пошла к ней, святой женщине, очаровательной, лучшей на свете! Почему тебе хочется погубить ее?

— Ты ошибаешься, уверяю тебя!

— Брось! Как будто не ты привлекла к делу Сенекаля?

— Что за глупости!

Он пришел в бешенство.

— Ты лжешь! Лжешь, мерзавка! Ты ревнуешь к ней! У тебя исполнительный лист на ее мужа! Сенекаль уже совался в твои дела! Он ненавидит Арну, вы с ним столкновались. Я видел, как он был рад, когда ты выиграла тяжбу. Ты и тут будешь отпираться?

— Даю тебе слово...

— Знаю, чего оно стоит!

Фредерик стал перечислять ее любовников, называя их по именам, приводя подробности. Розанетта, побледнев, отступила.

— Это тебя удивляет? Я на все закрывал глаза, а ты думала: я слепой. Теперь с меня довольно! От измен таких женщин, как ты, не умирают! А когда эти измены слишком чудовищны,— уходят прочь. Наказывать тебе подобных — значило бы унижаться!

Она ломала руки.

— Боже мой! Да тебя как будто подменили!

— Никто в этом не виноват, кроме тебя!

— И все из-за госпожи Арну! — со слезами воскликнула Розанетта.

Он холодно ответил:

— Ее одну я любил всю жизнь.

Оскорбление прервало поток ее слез.

— Это доказывает, какой у тебя хороший вкус! Женщина перезрелая, цвет лица лакричный, талия толстая, глаза большие, как отдушины в подвале, и такие же пустые! Если тебе это нравится, ступай к ней!

— Я так и ждал! Покорно благодарю!

Розанетта застыла на месте, ошеломленная такой неожиданностью. Она даже не помешала ему выйти; потом выбежала в переднюю и обвила его шею руками.

— Да ты сумасшедший, сумасшедший! Это какая-то нелепость! Я тебя люблю! — Она умоляла его: — Боже мой, во имя нашего ребеночка!

— Сознайся, что это твои проделки,— сказал Федерик.

Она снова стала уверять его, что не виновна.

— Не хочешь сознаться?

— Нет!

— Ну так прощай! И навсегда!

— Выслушай меня!

Фредерик обернулся.

— Если бы ты лучше знала меня, то поняла бы, что мое решение бесповоротно!

— Ты еще вернешься ко мне!

— Никогда!

Он с силой захлопнул дверь.

Розанетта написала Делорье, что ей немедленно нужно видеть его.

Он пришел вечером пять дней спустя; когда она сообщила ему о своем разрыве с Фредериком, он сказал:

— И только-то? Подумаешь, какое несчастье!

Сперва она думала, что он может привести к ней Фредерика, но теперь все погибло. От привратника она узнала о его предстоящей женитьбе на г-же Дамбрёз.

Делорье, пожурив ее сперва, стал потом как-то необыкновенно весел, даже игрив; а когда оказалось, что уже поздно, попросил разрешения переночевать у нее в кресле. На другое утро он уехал в Ножан, предупредив Розанетту, что не знает, когда они снова увидятся; скоро в его жизни произойдет, может быть, большая перемена.

Через два часа после его приезда весь городок был в полном смятении. Толковали, что Фредерик женится на г-же Дамбрёз. Наконец три девицы Оже, не выдержав, отправились к г-же Моро, и она с гордостью подтвердила это известие. Дядюшка Рокк заболел. Луиза заперлась у себя в комнате. Прошел слух, что она сошла с ума.

Фредерик между тем не мог скрыть свою печаль. Г-жа Дамбрёз, стараясь, вероятно, развлечь его, стала еще внимательнее. Каждый день пополудни она ездила с ним кататься в своем экипаже, а однажды, когда они проезжали по Биржевой площади, ей вздумалось зайти, забавы ради, в аукционный зал.

Было первое декабря, как раз тот день, на который была назначена распродажа вещей г-жи Арну. Он вспомнил про это и сказал, что ему не хочется на аукцион, что в зале будет невыносимо,— столько там народу и так шумно. Ей бы только взглянуть одним глазком. Карета остановилась. Пришлось последовать за г-жой Дамбрёз.

Во дворе стояли умывальники без тазов, кресла, с которых была содрана обивка, старые корзины, валялись

фарфоровые черепки, пустые бутылки, матрацы; какие-то люди в блузах и грязных сюртуках, серые от пыли, отталкивающие на вид, некоторые с холщовыми мешками за спиной, разговаривали отдельными кучками и громко окликали друг друга.

Фредерик заметил, что идти дальше неудобно.

— Глупости!

Они поднялись по лестнице.

В первой же комнате направо какие-то господа с каталогами в руках рассматривали картины, в другой продавалась коллекция китайского оружия; г-жа Дамбрёз повернула назад. Она всматривалась в номера над дверьми и привела его в самый конец коридора, в какое-то помещение, полное народа.

Он тотчас же узнал обе этажерки из магазина «Художественная промышленность», ее рабочий столик, всю ее мебель! Нагроможденная несколькими ярусами в глубине комнаты, она образовала целую гору от пола до потолка; на других стенах были развешаны ковры и портьеры. Тут же на скамейках, расположенных амфитеатром, дремали какие-то старички. Налево было нечто вроде конторки, за которой находился оценщик в белом галстуке; он помахивал молоточком. Молодой человек тут же рядом вел записи, а ниже стоял здоровенный детина, похожий не то на коммивояжера, не то на театрального барышника, и выкрикивал названия вещей. Трое служащих приносили их и клали на стол, вокруг которого, расположившись в ряд, сидели старьевщики и перекупщики. За их спинами теснились люди.

Когда Фредерик вошел, покупатели были заняты юбками, косынками, носовыми платками, и все это вплоть до рубашек передавалось из рук в руки, разглядывалось; иногда вещи перебрасывали, и в воздухе мелькало что-то белое. Потом были проданы ее платья, одна из ее шляп, с которой свисало сломанное перо, меха, и, наконец, три пары башмаков; дележ этих реликвий, в которых ему неясно виделись очертания ее тела, казался ему зверской жестокостью, словно у него на глазах вороны раздирали ее труп. Спертый воздух вызывал тошноту. Г-жа Дамбрёз предложила ему флакон с нюхательной солью; все это будто бы очень занимало ее.

Дошла очередь до обстановки спальни. Бертельмо объявлял цену. Аукционист тотчас повторял ее еще громче, а трое служителей спокойно ждали удара молотка и уно-

сили вещь в соседнюю комнату. Так скрылись из глаз большой ковер с белыми камелиями по синему фону, которого касались ее ноги, когда она шла навстречу Фредерику, вышитое кресло, в котором он обычно сидел лицом к ней, когда они оставались вдвоем, оба экрана, стоявшие перед камином,— их слоновая кость становилась еще нежнее от прикосновения ее рук,— бархатная подушечка, в которую еще были воткнуты булавки. С этими вещами словно отрывались куски его сердца; однообразие голосов и движений утомило его, и он погрузился в глубокое оцепенение, граничившее с небытием.

Вдруг у самого его уха зашуршало шелковое платье. Рядом стояла Розанетта.

Об аукционе она узнала от самого же Фредерика. Утешившись, она вздумала воспользоваться распродажей. Она приехала в белом атласном жилете с перламутровыми пуговицами, в платье с оборками, в узких перчатках. Вид у нее был победоносный.

Он побледнел от гнева. Розанетта взглянула на женщину, с которой он был вместе.

Госпожа Дамбрёз узнала ее, и с минуту они пристально с головы до ног осматривали друг друга, стараясь подметить какой-нибудь недостаток, изъян,— одна, вероятно, завидовала молодости соперницы, другая была раздосадована редкой изысканностью и аристократической простотой светской дамы.

Наконец г-жа Дамбрёз отвернулась с невыразимо надменной улыбкой.

Аукционист открыл рояль — ее рояль! Стоя, он правой рукой проиграл гамму и объявил цену инструмента; тысяча двести франков, потом спустил до тысячи, до восьмисот, до семисот.

Госпожа Дамбрёз игривым тоном издевалась над этой «посудиной».

Перед старьевщиками поставили ларчик с серебряными медальонами, уголками и застежками, тот самый, который Фредерик увидел, когда в первый раз обедал на улице Шуазёль, потом ларчик перекочевал к Розанетте и снова вернулся к г-же Арну; часто во время их бесед глаза Фредерика останавливались на ларчике, который был связан для него с самыми дорогими воспоминаниями; при виде его он умилился душой, как вдруг г-жа Дамбрёз сказала:

— Вот это я куплю.

— Вещь неинтересная,— возразил он.

Она же, напротив, находила ее премилой; аукционист превозносил ее изящество:

— Вещица во вкусе Возрождения! Восемьсот франков, господа! Почти весь из чистого серебра! Потереть мелом — заблестит!

Она стала пробираться в толпе.

— Что за странная мысль! — сказал Фредерик.

— Вам неприятно?

— Нет. Но на что вам такая безделушка?

— Как знать? Пригодится, может быть, чтобы хранить любовные письма.

Взгляд, сопровождавший эти слова, пояснял намек.

— Тем более не следует обнажать тайны умерших.

— Я не думала, что она окончательно умерла.— Г-жа Дамбрёз отчетливо прибавила: — Восемьсот восемьдесят франков.

— Как это нехорошо с вашей стороны! — прошептал Фредерик.

Она смеялась.

— Дорогая, ведь это первая милость, о которой я вас прошу.

— А знаете, вы будете не очень-то любезным мужем.

Кто-то набавил цену; она подняла руку:

— Девятьсот!

— Девятьсот! — повторил Бертельмо.

— Девятьсот десять... пятнадцать... двадцать... тридцать,— взвизгивал аукционист, взглядом окидывая присутствующих и покачивая головой.

— Докажите, что у меня благоразумная жена,— сказал Фредерик.

Он медленно повел ее к выходу.

Оценщик продолжал:

— Ну что же, господа? Девятьсот тридцать! Кто покупает за девятьсот тридцать?

Госпожа Дамбрёз, успевшая дойти до двери, остановилась и громко сказала:

— Тысяча франков!

Публика встрепенулась, наступило молчание.

— Тысяча франков, господа, тысяча франков! Больше нет желающих? Подумайте! Тысяча франков!.. За вами!

Молоточек из слоновой кости опустился.

Она передала свою карточку, ей принесли ларчик.

Она сунула его в муфту.

У Фредерика на сердце похолодело.

Госпожа Дамбрёз все время держала его под руку и решилась посмотреть ему в лицо только на улице, где ее ждала карета.

Она кинулась в экипаж, точно вор, спасающийся бегством, и, усевшись, обернулась к Фредерику. Он стоял со шляпой в руке.

— Вы не поедете?

— Нет.

Холодно поклонившись, он захлопнул дверцу; потом велел кучеру трогать.

Сперва он ощутил радость от сознания отвоеванной свободы. Он был горд, что отомстил за г-жу Арну, ради нее пожертвовав богатством; потом подивился самому себе, и им овладела безмерная усталость.

На другое утро слуга сообщил ему новости: объявлено военное положение. Законодательное собрание распущено, часть народных представителей отправлена в тюрьму Мазас. К общественным делам Фредерик остался равнодушен — настолько он был поглощен своими собственными.

Он написал поставщикам, отменил заказы, сделанные для предстоящей женитьбы, которая теперь представлялась ему не вполне благовидной сделкой; г-жа Дамбрёз внушала ему отвращение — из-за нее он чуть было не совершил подлость. Он забыл о Капитанше, даже не беспокоился о г-же Арну и был занят мыслью о себе, о себе одном, окруженный обломками своих грез, больной, измученный, павший духом. Возненавидев полную фальши среду, где он так много выстрадал, Фредерик стал мечтать о зеленой траве, о тишине провинции, о дремотной жизни под сенью родного крова, среди бесхитростных сердец. Наконец в среду вечером он вышел из дому.

Народ теснился на бульваре, собирался кучками. Время от времени проходил патруль и рассеивал толпу, но она тотчас же возникала снова. Говорили без всякого стеснения, войска провожали насмешками и руганью, но и только.

— Как? Драться разве не будут? — спросил Фредерик одного из рабочих.

Блузник ему ответил:

— Не такие мы дураки, чтобы умирать ради буржуа! Пусть сами устраиваются!

А какой-то господин, покосившись на этого жителя предместья, проворчал:

— Сволочи социалисты! Хоть бы теперь удалось прикончить их!

Фредерик не понимал, откуда столько ненависти, столько тупости. Его отвращение к Парижу еще усилилось, и через день он первым утренним поездом уехал в Ножан.

Дома скоро исчезли, начались поля, простор. Фредерик был один в купе; положив ноги на противоположный диванчик, он перебирал в памяти события последних дней, свое прошлое. Ему вспомнилась Луиза.

«Вот она любила меня! Напрасно я отверг свое счастье... Ну, да что там! Забудем про это!»

А минут через пять он уже говорил себе: «Впрочем, как знать?.. Со временем — почему бы и нет?»

И мечты его, так же как глаза, устремились в смутную даль.

«Она наивная, совсем крестьяночка, почти дикарка, но такая добрая!»

Чем ближе подъезжал он к Ножану, тем роднее она становилась ему. Когда показались сурденские луга, он вспомнил, как в былые дни она бегала здесь под тополями и ломала камыш на берегу заводи.

Приехали. Он вышел из вагона.

На мосту он остановился и облокотился на перила, чтобы посмотреть на остров и сад, где когда-то они гуляли вместе в солнечный день; дорожная усталость, деревенский воздух, упадок сил после недавних волнений привели его в состояние, близкое к экзальтации, и он подумал: «Может быть, она вышла из дому? А что, если я встречу ее?»

У святого Лаврентия звонили, на площади перед церковью собрались нищие, стояла коляска, единственная в тех краях (ее нанимали для свадеб); вдруг под порталом, окруженные толпой обывателей в белых галстуках, появились новобрачные.

Фредерик решил, что ему почудилось. Да нет! Это она, Луиза, рыжеволосая, в белой фате до пят. И это он, Делорье, в синем фраке с серебряным шитьем, в мундире префекта. Как же так?

Фредерик спрятался за угол дома, чтобы пропустить свадебный кортеж.

Пристыженный, побежденный, разбитый, он вернулся на вокзал и уехал назад, в Париж.

Кучер, нанятый им, уверял, что от площади Шато-д'О до театра «Жимназ» всюду баррикады, и повез его через предместье Сен-Мартен. На углу улицы Прованс Фредерик отпустил экипаж и пешком направился к бульварам.

Было пять часов, моросил мелкий дождь. На тротуаре около Оперы толпились буржуа. На противоположной стороне все подъезды были заперты. В окнах — никого. По бульвару, во всю его ширину, пригнувшись к лошадям, карьером неслись драгуны с саблями наголо, султаны на их касках и широкие белые плащи развевались по ветру, мелькая в свете газовых фонарей, качавшихся в тумане. Толпа глядела, безмолвная, испуганная.

В промежутках между кавалерийскими наездами появлялись отряды полицейских, оттеснявшие толпу в соседние улицы.

Но на ступеньках кафе Тортони продолжал стоять неподвижный, как кариатида, высокий человек, которого еще издали было видно,— Дюсардье.

Один из полицейских, шедший впереди, в треуголке, надвинутой на глаза, пригрозил ему шпагой.

Тогда Дюсардье, сделав шаг вперед, крикнул:

— Да здравствует республика!

Он упал навзничь, раскинув руки.

Рев ужаса пронесся по толпе. Полицейский оглянулся, обвел всех глазами, и ошеломленный Фредерик узнал Сенекаля.

VI

Он отправился в путешествие.

Он изведал тоску на палубе пароходов, утренний холод после ночлега в палатке, забывался, глядя на пейзажи и руины, узнал горечь мимолетной дружбы.

Он вернулся.

Он выезжал в свет и пережил еще не один роман. Но неотступное воспоминание о первой любви обесцвечивало новую любовь; да и острота страсти, вся прелесть чувства была утрачена. Гордые стремления ума тоже заглохли. Годы шли, и он мирился с праздностью мысли, сухостью сердца.

В конце марта 1867 года, под вечер, когда он сидел в одиночестве у себя в кабинете, к нему вошла женщина.

— Госпожа Арну!

— Фредерик!

Она взяла его за руки, нежно подвела к окну; всматриваясь в его лицо, она повторяла:

— Да, это он! Он!

В надвигающихся сумерках он видел только ее глаза под черной кружевной вуалью, закрывавшей лицо.

Она положила на камин маленький бумажник из темно-красного бархата и села. Оба не в силах были говорить и молча улыбались друг другу.

Потом он забросал ее вопросами о ней и ее муже.

Они теперь живут в глуши Бретани, стараются поменьше тратить и выплачивают долги. Арну почти все время болеет, на вид совсем старик. Дочь — замужем, живет в Бордо; сын со своим полком в Мостаганеме. Она подняла голову и сказала:

— Но я опять вижу вас! Я счастлива!

Он не преминул сказать ей, что, узнав об их беде, сразу же бросился к ним.

— Я знаю.

— Как вы об этом узнали?

Она видела его, когда он шел по двору, и спряталась.

— Зачем?

С дрожью в голосе и с долгими паузами между словами она проговорила:

— Я боялась! Да, боялась вас... самой себя!

Его охватила сладострастная дрожь, когда он услышал это признание. Сердце учащенно забилось. Она продолжала:

— Простите, что я не пришла раньше.— И, указав на бархатный, гранатового цвета бумажник, расшитый золотом, прибавила: — Я нарочно вышила его для вас. В нем та сумма, за которую был заложен участок в Бельвиле.

Фредерик поблагодарил за подарок, пожурив ее, однако, за то, что она побеспокоилась ради этого.

— Нет! Я не из-за этого приехала! Мне хотелось навестить вас, потом я опять уеду... туда.

Она описала ему место, где они живут.

Там низенький одноэтажный дом с садом, где растут огромные буксы, каштановая аллея подымается на вершину холма, оттуда видно море.

— Я люблю посидеть там на скамейке, я назвала ее «скамейка Фредерика».

Потом она стала жадно рассматривать мебель, безделушки, картины, чтобы запечатлеть их в памяти. Занавесь наполовину скрывала портрет Капитанши. Но золотые и

белые пятна, выделявшиеся в темноте, привлекали ее внимание.

— Мне кажется, я знаю эту женщину?

— Нет, не может быть,— сказал Фредерик.— Это старая итальянская картина.

Она призналась, что ей хотелось бы пройтись с ним под руку по улицам.

Они вышли.

Огни магазинов время от времени освещали ее бледный профиль, потом ее снова окутывал мрак; не замечая ни экипажей, ни толпы, ни шума, ничего не слыша, они шли, поглощенные друг другом, как будто гуляли где-то за городом, по дороге, усеянной сухими листьями.

Они вспоминали о прежних днях, об обедах времен «Художественной промышленности», о чудачествах Арну, о его привычке поправлять воротничок и мазать усы брильянтином, говорили и о других вещах, более интимных и более значительных. Как он был восхищен, когда первый раз услышал ее пение! Как она была хороша в день своих именин в Сен-Клу! Он вспоминал садик в Отейле, вечера, проведенные в театре, встречу на бульваре, ее старых слуг, ее негритянку.

Она удивлялась его памяти.

— Иногда ваши слова слышатся мне, как далекое эхо, как звуки колокола, которые доносит ветер; а когда я в книгах читаю про любовь, мне чудится, что вы здесь, рядом.

— Все, что в романах порицают за преувеличение, я пережил благодаря вам,— сказал Фредерик.— Я понимаю Вертера, которому не было противно смотреть, как Шарлотта делает бутерброды.

— Милый друг!..

Она вздохнула и после короткого молчания промолвила:

— Все равно... мы глубоко любили друг друга!

— И все же друг другу не принадлежали!

— Может быть, так оно и лучше,— заметила она.

— Нет, нет! Как бы мы были счастливы!

— Еще бы, такая любовь!

И какой силой должна была обладать эта любовь, если пережила столь долгую разлуку!

Фредерик спросил ее, как она догадалась о его любви.

— Это было как-то вечером, когда вы поцеловали мне руку между перчаткой и рукавом. Я подумала: «Да он

любит меня... любит!» Но я боялась в этом убедиться. Ваша сдержанность была так чудесна, что я наслаждалась ею как невольной и непрестанной данью уважения.

Он ни о чем не жалел. Он был вознагражден за все былые страдания.

Когда они вернулись, г-жа Арну сняла шляпу. Лампа, поставленная на консоль, осветила ее волосы, теперь седые. Его словно ударило в грудь.

Чтобы скрыть свое разочарование, он опустился на пол у ее ног и, взяв ее за руки, стал говорить полные нежности слова:

— Все ваше существо, всякое ваше движение приобретали для меня сверхчеловеческий смысл. Когда вы проходили мимо, мое сердце, словно придорожная пыль, облаком поднималось вслед за вами. Вы были для меня как лунный луч в летнюю ночь, когда все кругом благоухает, когда всюду мягкие тени, белые блики, неизъяснимая прелесть; все блаженство плоти и души заключалось для меня в вашем имени, которое я повторял, стараясь поцеловать его, пока оно не слетело с моих губ. Выше этого я ничего не мог себе представить. Я любил госпожу Арну именно такою, какой она была,— с ее двумя детьми, нежную, серьезную, ослепительно прекрасную и такую добрую! Этот образ затмевал все остальные. Да и мог ли я подумать о ком-нибудь другом? Ведь в глубине моей души всегда звучала музыка вашего голоса и сиял блеск ваших глаз!

Она с восторгом принимала эту дань поклонения — поклонения той женщине, какой она уже не была. Фредерик, опьяненный своими словами, начинал верить тому, что говорил. Г-жа Арну, сидя спиной к лампе, наклонилась к нему. Он чувствовал на лбу ласку ее дыхания, а сквозь платье смутное прикосновение ее тела. Они сжали друг другу руки; кончик башмачка чуть выступал из-под ее платья, и Фредерик почти в изнеможении сказал:

— Вид вашей ноги волнует меня.

Внезапно застыдившись, она встала. Потом, не двигаясь с места, проговорила, как лунатик:

— В мои-то годы... он! Фредерик!.. Ни одну женщину не любили так, как меня. Нет, нет! К чему мне молодость? Не нужна она мне! Я презираю тех женщин, которые сюда приходят!

— Никто сюда не приходит! — любезно возразил он.

Лицо ее просияло, и она захотела узнать, собирается ли он жениться.

Он поклялся, что нет.

— Это правда? А почему?

— Из-за вас,— сказал Фредерик, обняв ее.

Она замерла, откинувшись назад, приоткрыв рот, подняв глаза. Но вдруг с отчаянием оттолкнула Фредерика, а вместо ответа, о котором он молил, сказала, опустив голову:

— Мне бы хотелось сделать вас счастливым.

Фредерик подумал: не пришла ли г-жа Арну с тем, чтобы отдаться ему, и в нем снова пробудилось вожделение, но более неистовое, более страстное, чем прежде. А между тем он чувствовал что-то невыразимое, какое-то отвращение, как бы боязнь кровосмешения. Остановило его и другое — страх, что потом ему будет противно. К тому же зачем усложнять свою жизнь? Из осторожности и вместе с тем чтобы не осквернить свой идеал, он повернулся на каблуках и стал сворачивать сигарету.

Она с восхищением смотрела на него.

— Какой вы чуткий! Вы один такой во всем мире! Один!

Пробило одиннадцать часов.

— Уже! — сказала она.— В четверть двенадцатого я ухожу.

Она снова села; но теперь она следила за стрелкой часов, а он курил, продолжая ходить взад и вперед. Оба уже не знали, что сказать. Перед расставанием бывает минута, когда любимый человек уже не с нами.

Наконец стрелка перешла за двадцать пять минут двенадцатого; г-жа Арну принялась медленно завязывать ленты своей шляпки.

— Прощайте, бесценный друг мой! Я больше никогда не увижу вас! У меня, как у женщины, нет будущего. Душа моя никогда не расстанется с вами. Да благословит вас небо!

Она поцеловала его в лоб, точно мать.

Но тут же, поискав что-то глазами, попросила у него ножницы.

Она вынула гребень; седые волосы упали ей на плечи.

Она порывистым движением отрезала длинную прядь, под самый корень.

— Сохраните их! Прощайте!

Когда она ушла, Фредерик открыл окно. Г-жа Арну, стоя на тротуаре, знаком подозвала фиакр, проезжавший мимо. Она села. Экипаж скрылся из виду.

И это было все.

VII

В начале зимы Фредерик и Делорье беседовали у камина, еще раз примиренные, еще раз подчинившиеся тому роковому свойству своей натуры, которое сближало их и вызывало взаимную привязанность.

Один в общих чертах рассказал о своем разрыве с г-жой Дамбрёз, которая вторично вышла замуж за англичанина.

Другой, не пояснив, почему он женился на мадмуазель Рокк, сообщил, что в один прекрасный день жена убежала от него с певцом. Стараясь сгладить комизм своего положения, он у себя в префектуре проявил такое административное рвение, что скомпрометировал себя. Его сместили. Потом он был начальником поселений в Алжире, секретарем паши, редактором газеты, агентом по объявлениям и в конце концов поступил юрисконсультом в одно промышленное предприятие.

А Фредерик, прожив две трети своего состояния, вел теперь образ жизни скромного буржуа.

Затем они спросили друг у друга про общих знакомых.

Мартинон теперь сенатор.

Юсоне занимает большой пост — ведает всеми театрами, всей прессой.

Сизи предался благочестию, он уже отец восьмерых детей и живет в замке своих предков.

Пелерен, пройдя через увлечение фурьеризмом, гомеопатией, вертящимися столами, готическим искусством и гуманитарной живописью, стал фотографом, и на любой стене в Париже можно увидеть его изображение — крохотное туловище в черном фраке и огромную голову.

— А что твой друг Сенекаль?

— Исчез. Не знаю! Ну, а твоя великая страсть — госпожа Арну?

— Она, должно быть, в Риме вместе со своим сыном, лейтенантом.

— А ее муж?

— Умер в прошлом году.

— Да что ты! — воскликнул адвокат и ударил себя по лбу.— Кстати, на днях я встретил в магазине милейшую Капитаншу,— она вела за руку мальчика, своего приемыша. Она вдова некоего Удри, страшно растолстела, прямо чудовище. Какая жалость! А ведь у нее была когда-то такая тонкая талия!

Делорье не скрыл, что в свое время удостоверился в этом, воспользовавшись ее отчаянием.

— Ты, впрочем, сам мне разрешил.

Эта откровенность восполняла то молчание, которое он хранил о своей попытке по отношению к г-же Арну. Фредерик извинил бы ее, поскольку она не удалась.

Хотя открытие это несколько раздосадовало Фредерика, он сделал вид, что ему смешно, а подумав о Капитанше, вспомнил про Ватназ.

Делорье никогда не встречался с нею, так же как и со многими посетителями Арну; но он прекрасно помнил Режембара.

— Жив он еще?

— Еле дышит. Каждый вечер непременно тащится с улицы Грамон до улицы Монмартр, обходит все кафе, слабый, сгорбленный, разбитый,— настоящий призрак.

— Ну, а Компен?

Тут Фредерик весело вскрикнул и попросил бывшего комиссара Временного правительства открыть ему загадку телячьей головы.

— Эта затея пришла к нам из Англии. Чтобы высмеять праздник, который роялисты справляют тридцатого января, независимые учредили ежегодный банкет, на котором едят телячьи головы и пьют красное вино из телячьих черепов, подымая бокалы за истребление Стюартов. После термидора террористы основали такое же братство; это доказывает, что глупость быстро распространяется.

— Мне кажется, что ты теперь равнодушен к политике?

— Такие уж годы! — сказал адвокат.

Они стали подводить итоги своей жизни.

Обоим она не удалась — и тому, кто мечтал о любви, и тому, кто мечтал о власти. В чем же причина?

— Может быть, в недостатке твердости,— сказал Фредерик.

— Что касается тебя, возможно, это и так. Я же, напротив, был слишком тверд, не считался с множеством

мелочей, а они-то важнее всего. Я был слишком логичен, ты же слишком чувствителен.

Потом они стали винить случайности судьбы, обстоятельства, время, в которое родились.

Фредерик заметил:

— Не о такой будущности думали мы в былые дни, еще в Сансе, когда ты собирался написать критическую историю философии, а я большой роман из истории Ножана на средневековый сюжет, который нашел в хронике Фруассара: *Как господин Брокар де Фенестранж и епископ города Труа напали на господина Эсташа д'Амбресикура*. Помнишь?

Углубляясь в воспоминания молодости, они то и дело повторяли: «Помнишь?»

Они снова видели двор коллежа, часовню, приемную, фехтовальный зал внизу около лестницы, лица классных наставников и воспитанников, Анжельмара из Версаля, который из старых сапог выкраивал себе штрипки, г-на Мирбаля и его рыжие бакенбарды, учителей черчения и рисования — Варо и Сюрире, вечно ссорившихся друг с другом, и поляка, соотечественника Коперника, с его солнечной системой из картона, странствующего астронома, которому вместо платы за лекцию была предложена трапеза; потом — дикую попойку во время прогулки, впервые выкуренные трубки, распределение наград, радость вакаций.

Во время каникул 1837 года они побывали у Турчанки.

Так звали женщину, настоящее имя которой было Зораида Тюрк; многие считали ее мусульманкой, турчанкой, что усиливало поэтическую прелесть ее заведения, находившегося на берегу реки, за городским валом. Даже в самый разгар лета прохладная тень окутывала дом, который легко было узнать — на окне рядом с горшком резеды стоял стеклянный сосуд с золотыми рыбками. Девицы, в белых кофтах, нарумяненные, с длинными серьгами, стучали в окна при виде прохожих, а по вечерам, стоя на пороге, тихо напевали хриплыми голосами.

Это пагубное место бросало на округу фантастический отблеск. Говоря о нем, прибегали к иносказаниям: «знакомое вам место», «известная улица», «за мостами». Окрестные фермерши дрожали за мужей, горожанки боялись за свою женскую прислугу, потому что однажды там накрыли кухарку г-на супрефекта, и, само собой разумеется, об этом доме неотступно мечтали втайне все подростки.

И вот однажды в воскресенье, когда все были у вечерни, Фредерик и Делорье сходили к парикмахеру завиться, нарвали цветов в саду г-жи Моро, вышли через калитку в поле и, сделав большой крюк, прошли виноградниками, вернулись в город через Рыбачий поселок и проскользнули к Турчанке, каждый с большим букетом в руках.

Фредерик нес свой букет, точно жених, идущий навстречу невесте. Но от жары, от страха перед неизведанным, от угрызений совести и, наконец, от присутствия стольких доступных женщин он разволновался, смертельно побледнел и стоял как вкопанный, не в силах вымолвить ни слова. Все смеялись, всех забавляло его смущение; он решил, что над ним издеваются, и убежал, а так как деньги были у него, то и Делорье пришлось за ним последовать.

Когда они выходили на улицу, их заметили. Получилась целая история, которую не позабыли и три года спустя.

Они с мельчайшими подробностями припоминали это событие, каждый пополнял то, что позабыл другой; а когда кончили, Фредерик сказал:

— Это лучшее, что было у нас в жизни!

— Да, пожалуй! Лучшее, что было у нас в жизни! — согласился Делорье.

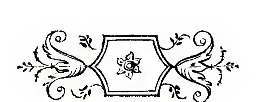




ИСКУШЕНИЕ СВЯТОГО АНТОНИЯ

Перевод

М. Петровского





Памяти моего друга
Альфреда Ле Пуатвена,
умершего в Нёвиль-Шан-Дуазеле
3 апреля 1848 года

I

Фиваида. Вершина горы, площадка в форме полумесяца, зажатая со всех сторон огромными камнями.

В глубине хижина отшельника. Хижина сделана из глины и тростника, с плоской крышей, без двери. Внутри видны кувшин и черный хлеб; посредине, на деревянной подставке, большая книга; на земле обрывки плетенья, две-три циновки, корзина, нож.

В десяти шагах от хижины воткнут в землю высокий крест, на другом краю площадки свесилась над пропастью старая, искривленная пальма; гора в этом месте обрывается отвесно, и Нил образует нечто вроде озера у ее подножия.

Вид справа и слева ограничен грядою скал. Со стороны пустыни огромными пепельными волнами вздымаются пески и, набегая друг на друга, уходят вдаль; за ними встает белая как мел цепь Ливийских гор, окутанная фиолетовой дымкой. Солнце садится. Небо на севере жемчужно-серое: в зените, словно космы гигантской гривы, распластались по голубому своду пурпурные облака. Их огненные полосы постепенно тускнеют, лазурь неба становится перламутровой, кустарники, валуны, земля — все кажется теперь твердым, как бронза, и в воздухе плавает золотая пыль, столь тонкая, что она сливается с трепетанием света.

Святой Антоний

У него длинная борода, длинные волосы, на плечах туника из козьей шкуры; он сидит, скрестив ноги, и плетет циновку. Как только солнце скрывается, он испускает глубокий вздох, глядя вдаль.

Прошел день! Еще один день!

Прежде, однако, я не был так несчастен! Перед рассветом я становился на молитву, потом шел к реке за водой и возвращался по крутой тропинке с бурдюком на плече, распевая гимны. Весело убирал хижину; вынимал инструменты и старался, чтобы циновки выходили ровными, а корзины легкими, ибо в малейших делах я видел важные обязанности и нисколько не тяготился ими.

В один и тот же час я прекращал работу и, молитвенно воздев руки, ощущал, как поток благодати изливается с высоты неба в мое сердце. Ныне он иссяк. Почему?..

(Медленно прохаживается взад и вперед.)

Все порицали меня, когда я покинул родной дом. Мать упала замертво, сестра, простирая руки, звала меня обратно, и плакала Аммонария, та девочка, которую я встречал каждый вечер у водоема, когда она пригоняла туда буйволов. Аммонария бежала за мной. Браслеты на ее ногах блестели в пыли, туника с разрезами по бокам развевалась от ветра. Старый аскет, увозивший меня, бранил ее. А верблюды уносили нас все дальше и дальше; с тех пор я никогда больше не видел своих близких.

Сперва я избрал себе жилищем гробницу фараона. Эти подземные дворцы полны странных чар, и мрак там словно напоен курением древних благовоний. Из глубины саркофагов доносился звавший меня скорбный голос; иной раз передо мной оживали мерзости, нарисованные на стенах. Я сбежал к берегам Красного моря и нашел пристанище в развалинах крепости. Я жил там среди скорпионов, ползавших по камням; в голубом небе, над моей головой, непрестанно кружили орлы. По ночам меня раздирали чьи-то когти, щипали чьи-то клювы, касались чьи-то мягкие крылья, и ужасные демоны, воя мне в уши, опрокидывали меня. Однажды люди из какого-то каравана, направлявшегося в Александрию, подали мне помощь, а затем увезли с собой.

Тогда мне захотелось поучиться у доброго старца Дидима. Хотя он был слеп, никто не знал Писания лучше, чем он. Кончив урок, он шел гулять, опершись на мое плечо. Я вел его на Панеум, откуда виден маяк и открытое море. На обратном пути мы проходили через гавань, где толпились люди всяких народностей, вплоть до киммерийцев в медвежьих шкурах и гимнософистов с Ганга, натершихся коровьим навозом. На улицах постоянно бывали схватки: то евреи отказывались платить налог, то мятежники пытались изгнать римлян. Кроме того, город был полон еретиков, приверженцев Манеса, Валентина, Василида, Ария,— и все они приставали к нам, споря и убеждая.

Их речи иногда вспоминаются мне. Как ни стараешься пренебрегать ими, они все же смущают.

Я удалился в Кольцим и предался столь суровому покаянию, что перестал страшиться бога. Несколько чело-

век, желавших стать анахоретами, примкнули ко мне. Я дал им устав деятельной жизни, ибо ненавидел сумасбродства гностиков и мудрствования философов. Мне отовсюду присылали послания. Люди издалека приходили, чтобы посетить меня.

В ту пору народ истязал исповедников, и жажда мученичества увлекла меня в Александрию. Гонение прекратилось за три дня до моего прихода.

На возвратном пути толпа задержала меня у храма Сераписа. Правитель, говорили люди, повелел наказать кого-то в назидание другим. Посреди портика, белым днем, была привязана к колонне нагая женщина, и два солдата бичевали ее ремнями; при каждом ударе тело ее корчилось. Она обернулась, рот ее был открыт, и под длинными волосами, закрывавшими ей лицо, мне померещилась — там, за столпившимся народом,— Аммонария...

Однако... эта была выше... и прекрасна... неописуемо!

(Проводит рукою по лбу.)

Нет! нет! Не хочу думать об этом!

В другой раз Афанасий призвал меня, чтобы я поддержал его против ариан. Все ограничилось поношениями и насмешками. Но потом он был оклеветан, лишился сана, бежал. Где он теперь? Не знаю. Никто больше не сообщает мне новостей. Все ученики покинули меня, даже Иларион!

Ему было лет пятнадцать, когда он пришел ко мне; он обладал умом таким пытливым, что поминутно задавал мне вопросы. Внимательно выслушивал ответы и все, в чем я нуждался, приносил мне без ропота, проворный, как козленок, и такой веселый, что рассмешил бы патриархов. Да, он был мне как сын!

Небо стало красным, земля совсем почернела. От ветра, как огромный саван, вздымается кое-где песок и снова опадает.

В минуту затишья видно, как пролетит иной раз треугольная стая птиц, подобная куску металла, только края у него трепещут. Антоний смотрит на птиц.

Как бы мне хотелось улететь за ними!

Сколько раз взирал я с такой же завистью на большие корабли с парусами, похожими на крылья, особенно когда они увозили тех, кто посещал меня! Как хорошо нам было вместе! Как раскрывались наши сердца! Больше всех понравился мне Аммон: он рассказывал мне о своем путешествии в Рим, о катакомбах, о Колизее, о благочестии знаменитых женщин и множество других историй!..

А я не захотел уехать с ним! Откуда у меня это упорство, это желание продолжать подобную жизнь? Лучше бы я остался у нитрийских монахов — ведь они умоляли меня не уходить. Они живут в отдельных кельях и вместе с тем общаются друг с другом. По воскресеньям труба сзывает их в церковь, где висят три плетки для наказания провинившихся, воров и пролаз, ибо устав у них суров.

И все же у монахов нет недостатка в усладах жизни. Верные приносят им яйца, плоды и даже щипчики для вытаскивания заноз. Вокруг Писпира лежат виноградники, а у табенцев есть плот, чтобы ездить за провизией.

Но, пожалуй, было бы еще лучше, если бы я служил ближним как простой священник: помогал бедным, совершал таинства и пользовался влиянием в семьях.

Да и не все миряне прокляты богом, и от меня одного зависело стать... например... грамматиком, философом. В моей комнате стоял бы тростниковый глобус, я держал бы в руках дощечки, вокруг меня толпилась бы молодежь, а у двери висел бы вместо вывески лавровый венок.

Однако в таких успехах слишком много гордыни. Ремесло солдата куда проще. Я был достаточно крепок и смел, чтобы натягивать канаты, идти через темные леса, врываться со шлемом на голове в дымящиеся города!.. Ничто не мешало мне также купить должность сборщика пошлин у какого-нибудь моста; путники рассказывали бы мне всякие истории и показывали бы свою поклажу, состоящую из множества любопытных вещей.

Александрийские купцы плавают в праздничные дни по Канопской реке и пьют вино из чашечек лотоса под шум бубнов, от которых дрожат стены прибрежных таверн. По ту сторону реки конусообразные деревья защищают мирные поместья от южного ветра. Кровля высокого дома опирается на тонкие колонки, частые, как прутья решетки; в просветах между ними хозяину, отдыхающему в кресле, видны его владения, караульщики в полях, давильня для винограда, быки, которые приводят в движение молотилку. Дети играют поблизости, жена наклонилась, чтобы обнять его.

В белесой ночной мгле появляются острые морды с торчащими ушками и блестящими глазами. Антоний идет по направлению к ним. Камешки катятся у него из-под ног, звери убегают. Это была стая шакалов. Остался только один; он стоит на задних лапах, выгнув спину и опустив голову; весь его вид говорит о настороженности.

Как он красив! Хочется тихонько погладить его по спине.

Антоний свистит, подзывая шакала. Шакал исчезает.

Он ушел к своим! Как я одинок! Какая тоска!

(С горьким смехом.)

Веселая жизнь, нечего сказать! Гнуть на огне палки для посохов, выделывать корзины, плести циновки, а затем выменивать все это у кочевников на хлеб, о который можно зубы сломать. Горе мне! Будет ли этому конец? Уж лучше смерть. Нет больше сил! Довольно! Довольно!.. *(Топает ногой и начинает метаться по площадке, потом, запыхавшись, останавливается, рыдает и ложится на бок прямо на землю.)*

Ночь тиха, мерцают бесчисленные звезды; слышно только пощелкивание тарантулов.

Крест отбрасывает тень на песок; плачущий Антоний замечает ее.

Боже мой! Неужели я так слаб? Мужайся! Встань! *(Входит в хижину, разгребает золу, находит тлеющий уголь, зажигает факел и втыкает его в деревянную подставку так, чтобы свет падал на большую книгу.)*

Не раскрыть ли мне... Деяния Апостолов? Да!.. Раскрою наугад!

«И видит отверстое небо и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю; в нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь».

Значит, господь желал, чтобы его апостол вкушал ото всего?.. А я...

(Поникает головою. Шелест страниц, которые перебирает ветер, выводит его из задумчивости. Антоний читает.)

«И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле».

Следует перечисление убитых: семьдесят пять тысяч. Но ведь иудеи столько претерпели! Да и враги их были врагами истинного бога. А как они, должно быть, наслаждались местью, избивая идолопоклонников! Город был, верно, переполнен мертвецами! Они валялись у входа в сады, на ступенях лестниц и так загромождали комнаты, что дверей нельзя было отворить!.. Вот я и погрузился в мысли об убийстве и крови!

(Открывает книгу в другом месте.)

«Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу».

Это хорошо! Всевышний возносит пророков своих над царями; Навуходоносор проводил жизнь в пирах, упоенный наслаждениями и гордыней. В наказание бог превратил его в животное. И он ходил на четвереньках!

(Антоний хохочет и кончиком пальца перелистывает книгу. Его взгляд падает на следующую фразу.)

«Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его».

Представляю себе... драгоценные камни, алмазы, монеты, наваленные до самого потолка. Человек, скопивший такие великие сокровища, уже не похож на других людей. Перебирая их, он думает, что владеет плодом бесчисленных усилий, как бы жизнью народов, которую он вобрал в себя и теперь может расточать. Такая предусмотрительность полезна для царей. Мудрейший из всех не пренебрегал ею. Корабли везли ему слоновую кость, обезьян... Но где же сказано об этом?

(Поспешно перелистывает книгу.)

А, вот это место: «Царица Савская, услышавши о славе Соломона, пришла испытать его загадками...»

Чем надеялась она искусить его? Дьяволу очень хотелось искусить Иисуса. Но Иисус восторжествовал, потому что он бог, а Соломон — благодаря своей магической науке. Высокая это наука! Ибо мир, как объяснял мне философ, образует некое целое, все части которого связаны между собой, как органы единого тела. Важно познать естественные силы притяжения и отталкивания, а затем привести их в действие. Значит, можно изменить то, что казалось непреложным?

Тень отбрасывается крестом позади отшельника, выдвигается вперед, образуя как бы два больших рога.

(Антоний взывает.)

Господи, помоги!

Тень возвращается на место.

Это был обман зрения! Только и всего! Напрасно терзаю я свой дух. Но я бессилен... бессилен!

(Садится, скрестив на груди руки.)

А между тем... я словно почувствовал его приближение... Но зачем приходить *ему*? Впрочем, разве мне не ведомы его козни? Я оттолкнул зловещего пустынника, который предлагал мне, смеясь, теплые хлебцы, кентавра, пытавшегося посадить меня к себе на спину, и черного ребенка, появившегося среди песков: он был очень красив и сказал мне, что зовется духом блуда.

(Быстро ходит взад и вперед.)

По моему повелению было выстроено множество святых обителей, где спасалось столько монахов во власяницах под козьими шкурами, что можно было бы набрать из них целое войско! Я заочно исцелял больных, я изгонял бесов, я перешел реку, кишащую крокодилами; император Константин написал мне три грамоты; Валакий, пренебрегший моими посланиями, был разорван собственными конями; когда я снова появился в Александрии, люди дрались, чтобы увидеть меня, Афанасий проводил меня до заставы. И правда, велики мои подвиги! Вот уже больше тридцати лет я живу и страдаю в пустыне! Я носил на чреслах своих восемьдесят фунтов бронзы, как Евсевий, я подставлял тело укусам насекомых, как Макарий, я пятьдесят три ночи не закрывал глаз, как Пахомий; и, пожалуй, меньше заслуг у тех, кому отрубают голову, кого пытают клещами, сжигают на костре, ибо моя жизнь — непрерывное мученичество!

(Замедляет шаг.)

Поистине, нет человека несчастнее меня! Добрые сердца встречаются все реже и реже. Мне уже больше ничего не подают. Моя одежда изношена. У меня нет сандалий, нет даже чашки, ибо я роздал бедным и семье все свое добро до последнего обола. А ведь только на инструменты, нужные для работы, мне надо бы иметь немного денег. О, совсем мало! Пустяки!.. Я был бы бережлив.

Никейские отцы в пурпурных одеяниях сидели вдоль стен, как волхвы на тронах; их угощали на пиру, осыпали почестями, особенно Пафнутия, потому что он крив и хром со времен Диоклетианова гонения! Император несколько раз облобызал его выколотый глаз. Что за глупость! К тому же среди членов Собора были мерзкие нечестивцы — епископ из Скифии Феофил; епископ из Персии Иоанн; пастух Спиридон! Александр был слишком стар. Афанасию следовало бы помягче обходиться с арианами, чтобы добиться от них уступок!

Да разве ариане пошли бы на уступки? Меня они и

слушать не захотели. Молодой высокий мужчина с завитой бородой спокойно выдвигал против меня самые коварные возражения, и, покуда я искал слова, все остальные злобно смотрели на меня, воя, как гиены. Если бы я мог заставить императора изгнать их всех до единого! Нет, лучше бы избить их, раздавить, замучить, насладиться их страданиями! Я-то ведь страдаю!

(В изнеможении прислоняется к стене хижины.)

Я слишком много постился! Силы мои иссякают. Если бы съесть... хоть раз... кусок говядины!

(В истоме прикрывает глаза.)

Да, съесть мяса с кровью... сочную гроздь винограда!.. Простокваши, густой, чтобы дрожала на блюде!..

Но что со мной?.. Что со мной? Сердце мое набухло, как море, вздувшееся перед грозой. Безграничная слабость овладела мною, теплый воздух словно напоен ароматом волос. Но ведь поблизости как будто нет женщин?

(Поворачивается лицом к тропинке между скал.)

Вот отсюда появляются иногда женщины, покачиваясь на носилках, которые несут черные евнухи. Они сходят на землю и, молитвенно сложив руки, отягченные кольцами, преклоняют колени. Они рассказывают мне о своих горестях. Жажда сверхчеловеческой страсти терзает их; они хотели бы умереть, они видели во сне богов, призывавших их; край женских одежд касается моей ступни. Я отталкиваю грешных. «О, нет, говорят они, повремени! Скажи, что мне делать?» Их не страшит никакое покаяние. Они просят самого сурового, готовы следовать моему примеру, готовы жить вместе со мной.

Давно я не видел их! Может статься, они придут? Почему бы нет? Вдруг... я услышу звон колокольчиков мула в горах? Кажется...

(Антоний взбирается на скалу, где начинается тропинка, и, наклоняясь, вперяет взор в темноту.)

Да, там, внизу, что-то движется, как будто путники, сбившиеся с дороги. Но ведь тропинка здесь! Они заблудились!

(Зовет.)

Скорее! Сюда! Сюда!

Эхо повторяет: «Сюда! Сюда!»

(Пораженный, Антоний опускает руки.)

Какой стыд! Несчастный Антоний!

И тотчас же слышится шепот: «Несчастный Антоний».

Кто там? Отвечайте!

Ветер воет в расселинах скал; и в этих неясных звуках Антоний различает голоса, словно сам воздух заговорил. Голоса низкие и вкрадчивые, свистящие.

Первый голос

Хочешь женщин?

Второй голос

Или лучше груды серебра?

Третий голос

Сверкающий меч?

Другие голоса

— Весь народ боготворит тебя!
— Усни!
— Ты их уничтожишь, поверь, уничтожишь!

Предметы меняют свой вид; старая пальма с желтой листвой, растущая на краю утеса, превращается в торс женщины, которая склонилась над пропастью; ее длинные волосы развеваются.

Антоний
(оборачивается к хижине, и скамейка, на которой лежит большая книга со страницами, испещренными черными буквами, кажется ему кустом, на котором сидят ласточки)
Все дело в факеле, в игре света и тени... Потушим его!

Наступает глубокая тьма.

В воздухе неожиданно проплывает сначала лужа воды, затем блудница, угол храма, фигура солдата, колесница с парой вздыбившихся белых коней.

Эти образы появляются внезапно, рывками, выступая во мраке, как пурпурный орнамент на черном фоне. Движение их ускоряется. Они проносятся с головокружительной быстротой. Временами останавливаются и постепенно бледнеют, тают или же уносятся прочь, и тогда сейчас же возникают другие.

Антоний закрывает глаза.

Образы множатся, окружают его, осаждают. Невыразимый ужас овладевает им, и он уже ничего больше не ощущает, кроме жгучей боли в груди. Несмотря на оглушительный шум в голове, он воспринимает великое молчание, отделяющее его от мира. Он пробует говорить — и не может! Словно что-то сломалось в нем; Антоний без сил падает на циновку.

II

Тут большая тень, прозрачнее обычных, с гроздьями других теней по бокам, обозначается на земле.

Это Дьявол; он облокотился на крышу хижины и держит под двумя крыламп, подобяо гигантской летучей мыши, кормящей грудью детенышей, семь смертных грехов, чьи уродливые головы смутно вырисовываются в темноте.

Антоний, глаза которого по-прежнему закрыты, блаженно вытягивается на циновке.

Циновка кажется ему все мягче и мягче, как будто ее набивают пухом, она подпимается, становится постелью, постель — лодкой, вода плещется у ее бортов.

Справа и слева возникают две узкие полосы черной земли, а над ними возделанные поля с торчащими кое-где смоковрами. Вдали раздаются звон бубенцов, стук барабанов и голоса певцов. То путники идут в Канопу, чтобы уснуть в храме Сераписа и видеть вещие сны. Антонию это известно, а его лодка все скользит и скользит, подгоняемая ветром, между берегами канала. Листья папирусов и красные цветы нимфей, крупнее человека, склоняются над ним. Он вытянулся на дне лодки; весло погрузилось в воду и тащится вслед за лодкой. Время от времени набегает теплый ветерок, шуршат тонкие тростники. Ропот мелких волн смолкает. Дремота овладевает Антонием. Ему снится, что он египетский пустынник.

Тут он вскакивает.

Неужели это сон?.. Все было так ясно, даже не верится. Во рту у меня горит! Пить!

(Входит в хижину, ощупью ищет кувшин.)

Почва сырая!.. Разве шел дождь? Что это? Осколки?! Кувшин разбит!.. А мех?..

(Находит мех.)

Пуст! Совершенно пуст!

Спуститься к реке? На это уйдет часа три, не меньше, а ночь так черна, что и дороги не разглядеть. Меня мучает голод. Где хлеб?

(После долгих поисков подбирает корку не больше яйца.)

Как? Шакалы стащили хлеб? Проклятие!

(В ярости бросает корку на землю.)

Не успел он бросить ее, как перед ним вырастает стол, уставленный всевозможными яствами.

Виссонная скатерть, бороздчатая, как повязка сфинкса, отливает шелковистым блеском, на ней — огромные куски мяса с кровью, большие рыбы, птицы в оперенье, животные в шкурах, плоды телесного цвета, искрящиеся огнями, глыбы белого льда и хрустальные фиолетовые сосуды. Антоний видит посредине дымящегося кабана с поджатыми лапами, с полузакрытыми глазами, и мысль, что он может съесть это чудовищное животное, радует его необычайно. Потом он замечает неизвестные ему доселе кушанья: темное рубленое мясо, золотистое желе, рагу, в котором плавают

грибы, словно ненюфары в прудах, взбитые сливки, легкие, как облака.

В благоухании яств он различает соленый запах океана, свежесть источников, могучий дух леса. Ноздри его раздуваются, рот наполняется слюной, он бормочет, что ему хватит этого на год, на десять лет, на всю жизнь!

По мере того как его удивленный взгляд перебегает с блюда на блюдо, появляются новые яства, образуя пирамиду, углы которой начинают оползать. Вина текут, рыбы трепещут, кровь в блюдах закипает, плоды раскрываются, как влюбленные уста; стол поднимается все выше, он уже Антонию по грудь, по подбородок, но теперь на нем — только одна тарелка и один-единственный хлеб.

Антоний хочет взять его — появляются другие хлебы.

Неужели все это мне?.. Но...

(Антоний отступает.)

Как? Вместо одного хлеба такое множество?!

Да, это чудо, такое чудо, как то, что сотворил Спаситель!..

Для чего? Впрочем, все остальное столь же непонятно! Отыди! Отыди, сатана!

(Толкает стол ногой. Стол исчезает.)

И вновь ничего?

(Глубоко вздыхает.)

Велико было искушение. И все же я преодолел его! *(Подымает голову и спотыкается о металлический предмет.)*

Что это?

(Наклоняется.)

Чаша! Какой-нибудь путник потерял ее. Тут нет ничего удивительного...

(Слюнявит палец и трет чашу.)

Блестит! Как будто металл! Впрочем, так не различишь...

(Зажигает факел и рассматривает чашу.)

Чаша серебряная, с выпуклым орнаментом по краям, на дне — медаль.

(Подцепив ногтем медаль, вынимает ее.)

Да это монета, достоинством в семь или восемь драхм от силы. Нужды нет! Этого вполне хватит на покупку овечьей шкуры.

Отблеск факела падает на чашу.

Быть не может! Она золотая! Да!.. Из чистого золота!

На дне чаши оказывается другая монета, покрупнее. Под ней еще несколько.

Да это же целое состояние!.. На эти деньги можно купить трех быков... участок земли!

Теперь чаша наполнена до краев золотыми монетами.

Какое там! Сотню рабов, солдат, целый полк...

Орнамент, отделяясь от чаши, превращается в жемчужное ожерелье.

Перед такой драгоценностью не устоит и жена императора!

Ловким движением Антоний надевает ожерелье на кисть руки. Левой рукой он держит чашу, правой поднимает факел, чтобы лучше осветить ее. Как струя воды, вытекающая из бассейна, сплошным потоком льются из чаши алмазы, карбункулы, сапфиры вперемешку с крупными золотыми монетами, на которых изображены цари, и вскоре на песке образуется искрящийся холмик.

Что это? Статеры, сикли, дарики, ариандики! Александр, Деметрий, Птолемеи, Цезарь! Право, ни у кого из них не было такого богатства! Все мне доступно теперь! Прощайте, страдания, меня слепят эти лучи! Сердце мое переполнено! Как хорошо!.. Да... Еще, еще! Им нет конца! Сколько бы я ни вздумал бросать денег в море, у меня их много останется. Но зачем расточать добро? Я все сберегу, никому ничего не скажу, я выдолблю в скале пещеру, выложу ее бронзовыми плитами и буду приходить туда, чтобы чувствовать, как ступни мои погружаются в груды золота; я опущу в него руки по локоть, как в мешок с зерном, разотру им лицо, буду спать на нем!

(Выпускает факел, чтобы обнять свое сокровище, и падает ничком на землю. Подымается. Ничего нет.)

Что я наделал?

Умри я минуту назад — и отправился бы в ад, в самое пекло!

(Содрогается.)

Так, значит, я проклят? Нет, нет! Я сам виноват! Попадаю во все ловушки. Какой же я глупец, какой негодяй! Я готов избить себя, мне хотелось бы вовсе лишиться тела! Слишком долго я сдерживал свои порывы! Я должен мстить, разить, убивать, словно в душе моей ожила стая диких зверей! Я готов наносить удары направо и налево в гуще толпы... А, вот и кинжал!..

Заметив нож, хватает его. Нож выскальзывает у него из рук, и Антоний стоит, прислонясь к стене хижины, с широко раскрытым ртом, неподвижно, как бы в столбняке.

Все исчезло.

Антонию чудится, что он в Александрии, на Панеуме — искусственном холме, воздвигнутом в центре города, куда ведет винтообразная лестница.

Перед ним Мареотидское озеро, направо — море, налево — равнина, а прямо перед глазами, внизу,— нагромождение плоских крыш, прорезанное с юга на север и с востока на запад двумя пересекающимися улицами, которые проходят под цепью портиков с коринфскими капителями. В окнах домов, нависших над этой двойной колоннадой, цветные стекла. К некоторым зданиям пристроены извне огромные деревянные балконы, где всегда веет прохладой.

Разнообразные памятники архитектуры теснятся друг подле друга. Египетские пилоны возвышаются над греческими храмами. Обелиски торчат, как копья, между зубцами из красного кирпича. Посреди площадей — Гермесы с заостренными ушами и Анубисы с собачьей головой. Антоний различает мозаику во дворах и подвешенные к балкам потолка ковры.

Он охватывает взглядом две гавани (Большую гавань и Эвност); обе они круглые, как два цирка, и разделены молом, связывающим Александрию со Скалистым островком, на котором стоит четырехугольная башня Маяка, высотою в пятьсот локтей, о девяти ярусах, с грудой дымящихся черных углей на верхушке.

Главные гавани делятся на малые внутренние. Мол начинается и заканчивается мостом на мраморных колоннах, врытых прямо в морское дно. Под мостами проплывают парусные корабли; тяжелые габары, груженные товарами, таламеги с инкрустациями из слоновой кости, гондолы с тентами, триремы и биремы; всевозможные суда проходят мимо или стоят у причалов.

Большая гавань опоясана великолепными строениями: дворец Птолемеев, Музей, Посидион, Цезареум, Тимонион, где укрывался Марк Антоний, Сома с саркофагом Александра; на другом конце города, в предместье за Эвностом, видны мастерские — там выделывают стекло, там — ароматные вещества, там — папирусы.

Снуют, толкаются бродячие торговцы, носильщики, погонщики ослов. Встречается то жрец Озириса со шкурой пантеры на плече, то римский солдат в бронзовой каске, везде много негров. У порога лавок теснятся женщины, работают ремесленники; скрип повозок спугивает птиц, клюющих на земле мясные отбросы и остатки рыбы.

Переплетение улиц кажется черной сеткой, наброшенной на однообразную массу белых домов. На их фоне рынки, полные овощей, выглядят зелеными островками, сушилки красильщиков — цветными пластинками, золотые орнаменты храмов — сияющими точками, и все это лежит в овале сероватых стен, под сводом синего неба, вблизи неподвижного моря.

Но толпа остановилась и смотрит на запад, откуда надвигаются огромные облака пыли.

Это приближаются фиваидские монахи, одетые в козьи шкуры, вооруженные дубинами и горланящие воинственную песнь с припевом: «Где они? Где они?»

Антоний понимает, что они идут избивать ариан. И сразу улицы пустеют, видны только ноги бегущих людей.

Пустынники уже в городе. Их грозные палки, усаженные гвоздями, вращаются, как стальные солнца. Слышен грохот разбиваемых вещей в домах. По временам все стихает. Потом опять раздаются громкие крики...

По улицам, из конца в конец,— непрерывное движение смятенной толпы.

У многих пики в руках. Иногда две группы сталкиваются, сливаются в одну; и эта груда скользит по плитам, распадается, исчезает. Но длинноволосые люди появляются вновь и вновь.

Струйки дыма выбиваются из-за углов зданий. Двери соскакивают с петель. Рушатся стены. Падают архитравы.

Антоний встречает поочередно всех своих врагов. Он узнает тех, кого успел забыть, но поносит их, прежде чем умертвить. Он вспарывает животы, режет, колет, тащит стариков за бороды, давит детей, добивает раненых. Пришельцы мстят горожанам и за роскошь: невежды рвут книги, портят, разбивают статуи, уничтожают картины, мебель, ларцы, великое множество изящных вещей; они не знают их назначения, и это еще больше раздражает их. Время от времени они останавливаются, чтобы перевести дух, и снова принимаются за дело.

Жители, укрывшиеся во дворах, дрожат от страха. Женщины подымают к небу заплаканные глаза, воздевают обнаженные руки. Чтобы умилостивить пустынников, они обхватывают их колени; те отталкивают их, и кровь брызжет до потолка, стекает по стенам, струится с обезглавленных трупов, наполняет акведуки, большими красными лужами стоит на земле.

Антоний весь в крови. Он ступает по ней, слизывает со своих губ и дрожит от радости, ощущая ее на своем теле, под власяной туникой, пропитанной ею.

Наступает ночь. Страшные вопли стихают.

Пустынники исчезли.

Вдруг Антоний замечает на внешних галереях, идущих вокруг девяти ярусов Маяка, какие-то черные полосы, словно там уселись вороны. Он бежит туда и оказывается на самом верху.

Большое медное зеркало, повернутое к открытому морю, отражает корабли в водном пространстве.

Антонию забавно на них смотреть; число их все увеличивается.

Они теснятся в заливе, имеющем форму полумесяца. Позади, на мысу, расположился новый город римской архитектуры, с каменными куполами, коническими крышами, розовым и голубым мрамором и медными украшениями на завитках капителей, на кровлях домов, на карнизах.

Над городом господствует лес кипарисов. Цвет моря кажется зеленее, воздух прохладнее. Вдали, на горах, лежит снег.

Антоний ищет дорогу, и тут какой-то человек подходит к нему и говорит: «Иди, тебя ждут!»

Антоний пересекает форум, двор, пагнувшись, проходит в двери и оказывается перед фасадом дворца и восковой группой, которая представляет собой императора Константина, повергающего дракона. Посреди порфирового водоема лежит золотая раковина, наполненная фисташками. Провожатый говорит, что Антоний может их взять. Антоний берет.

Далее он блуждает в анфиладе покоев.

На мозаичных стенах изображены полководцы, подносящие на ладони императору завоеванные города. И повсюду базальтовые колонны, филигранные серебряные решетки, кресла из слоновой кости, стенные ковры, шитые жемчугом. Свет льется со сводов, Антоний идет дальше. Веет теплом; иногда слышится осторожное

щелканье сандалий. Стражи, похожие на истуканов, стоят в передних комнатах, с вызолоченными жезлами на плечах.

Наконец он в зале, перегороженной в глубине гиацинтовыми занавесями. Их раздвигают, и появляется сидящий на троне император в фиолетовой тунике и красных полусапожках с черными шнурами.

Из-под жемчужной диадемы ниспадают на плечи завитые волосы. У него — полуопущенные веки, прямой нос, тяжелый и сумрачный взгляд. По углам балдахина, над его головой, сидят четыре золотых голубя, а у подножия трона стоят на задних лапах два покрытых эмалью льва. Голуби начинают ворковать, львы рычат, император поднимает глаза, Антоний подходит ближе, и сразу же, без предисловий, они заводят беседу о случившемся. В Антиохии, Эфесе и Александрии разграблены храмы, статуи богов пошли на горшки и котелки; император немало тому смеется. Антоний укоряет его за терпимость к новацианам. Император сердится: новациане, ариане, мелециане — все ему надоели. Зато он восхищен епископатом: когда христиане смещают епископов, которые зависят от пяти-шести лиц, достаточно подкупить этих последних, чтобы привлечь на свою сторону всех остальных. Он сам не раз тратил на это значительные суммы. Но он ненавидит отцов Никейского собора. «Пойдем поглядим на них!» Антоний следует за императором.

И они сразу же оказываются на террасе.

Внизу ипподром, полный народа, а над ним — портики, где гуляют остальные зрители. Посреди ристалища — длинная узкая площадка, на которой расположены маленький храм Меркурия, статуя Константина, три сплетающиеся бронзовые змеи; на одном конце площадки — большие деревянные яйца, на другом — семь дельфинов хвостами вверх.

Позади императорской ложи вплоть до первого этажа церкви, все окна которой заняты женщинами, выстроились стройными рядами префекты палат, начальники дворцовой охраны и патриции. Направо — трибуна партии синих, налево — зеленых, внизу — караул солдат, а на уровне арены — ряд коринфских арок, ведущих в клетки.

Ристания вот-вот начнутся, выравнивают лошадей. Их высокие султаны колышутся от ветра, как деревья, и, нетерпеливо перебирая ногами, лошади трясут колесницы в форме раковин, которыми правят голоногие бородатые возничие с бритыми, как у гуннов, лбами, одетые в многоцветные одежды с узкими внизу и широкими вверху рукавами.

Антоний оглушен гулом голосов. Он видит накрашенные лица, пестрые одежды, драгоценные украшения; белый песок арены блестит, как зеркало.

Император беседует с ним. Он поверяет ему важные тайны, признается в убийстве своего сына Криспа, советуется даже о своем здоровье.

Антоний замечает рабов в глубине клеток. То — отцы Никейского собора, жалкие, в лохмотьях. Мученик Пафнутий расчесывает гриву коню, Феофил моет ноги другому, Иоанн красит копыта третьему, Александр сметает навоз в корзину.

Антоний проходит среди них. Они выстраиваются в ряд, просят его о заступничестве, целуют ему руки. Толпа поносит мучеников; Антоний безмерно наслаждается их унижением. А сам он уже при дворе, он — доверенный императора, первый министр!

Константин возлагает свою диадему на его чело. Антоний принимает ее, находя эту честь вполне заслуженной.

Тут из темноты выступает огромная зала, освещенная золотыми светильниками.

Колонны, наполовину скрытые во тьме — так они высоки,— стоят по обе стороны столов, длинная череда которых протянулась туда, где в светящейся дымке виднеется множество лестниц, аркад, колоссов, башен, а за ними смутные очертания дворцов, над которыми высятся кедры темнее ночного мрака.

Гости в венках из фиалок возлежат на низких ложах. Из наклоняемых амфор льется вино, а в глубине залы, одинокий, с тиарой на голове, сверкая карбункулами, ест и пьет царь Навуходоносор.

По правую и по левую руку от него кадят курильницами жрецы в остроконечных шапках. По полу ползают пленные, безногие и безрукие цари, и гложут кости, которые бросает им Навуходоносор; ниже сидят его братья с повязками на глазах, ибо все они слепы.

Непрерывный стон доносится из глубины эргастулов. Нежные и протяжные звуки водяного орга́на чередуются с хорами голосов; чувствуется, что за пределами залы лежит огромный город, людской океан, волны которого бьют о стены дворца.

Бегают рабы, обнося гостей кушаньями, снуют женщины, предлагая напитки; корзины трещат под тяжестью хлебов; верблюд, навьюченный продырявленными мехами, обрызгивает плиты пола освежающей вербеной.

Укротители приводят львов. Танцовщицы в сетках, стягивающих волосы, ходят на руках, извергая огонь из ноздрей; жонглируют фигляры-негры: голые дети играют в снежки, и снежки крошатся, падая на блестящую серебряную утварь. Гул голосов так громок, что напоминает бурю, а над пиршественным столом стоит туман — такой густой пар поднимается от мясных блюд. Порой, как падающая звезда, пронизывает ночь искра от больших светильников, подхваченная ветром.

Царь отирает с лица благовония. Он ест из священных сосудов, потом разбивает их; мысленно пересчитывает свои корабли, свои войска, свои народы. Вот сейчас из прихоти он возьмет и сожжет свой дворец со всеми гостями. Он замыслил восстановить Вавилонскую башню и свергнуть с престола Всевышнего.

Антоний издали читает эти мысли на его челе. Они овладевают отшельником, и он сам становится Навуходоносором.

В ту же минуту он чувствует, что пресыщен излишествами и кровью, и его охватывает желание пресмыкаться во прахе. Впрочем, унижение того, кто приводит в трепет людей, есть оскорбление их духа, новый способ поразить их; и так как нет ничего презреннее зверя, Антоний ползает на четвереньках по столу и ревет как бык.

Антоний ощущает боль в руке — камешек случайно поранил его,— и он снова оказывается перед своей хижиной.

Никого нет. Звезды сияют. Все тихо.

Опять я обманулся! Откуда это наваждение? То плоть во мне бунтует. О, я несчастный!

(Вбегает в хижину, берет связку веревок с металлически-

ми зубьями на концах, обнажается до пояса и поднимает глаза к небу.)

Боже, прими мое покаяние! Не отвергни его, если оно недостаточно! Сделай его глубоким, долгим, беспредельным! Пора! К делу!

(Изо всех сил хлещет себя.)

Ай!.. Нет, нет! Не надо жалеть себя.

(Возобновляет бичевание.)

Ой! Ой! Ой! Каждый удар раздирает кожу, рассекает тело. О, как ужасно жжет!

Полно, это вовсе не так страшно! Ко всему можно привыкнуть. Мне даже кажется...

(Прекращает самобичевание.)

Ну же, трус, еще раз! Так, так! По рукам, по спине, по груди, по животу, везде! Свищите, плети, впивайтесь в тело, раздирайте меня! Пусть капли моей крови брызнут до звезд, пусть кости мои затрещат, пусть обнажатся жилы! Тиски сюда, дыбу, расплавленного свинца! Мученики еще не то испытали! Не правда ли, Аммонария?

Тень от рогов Дьявола появляется снова.

Меня бы могли привязать к столбу, рядом с тобой, у тебя на глазах, лицом к лицу, я бы вторил твоим крикам своими стонами, и наши страдания слились бы, наши души соединились.

(Яростно бичует себя.)

Вот тебе! Еще, еще! Трепет пробегает по телу. Какая мука, какое наслаждение! Словно поцелуи! Кости мои плавятся! Умираю!

Он видит прямо перед собой трех всадников верхом на онаграх, в зеленых одеждах, с лилиями в руках, и все на одно лицо.

Антоний оборачивается и видит трех других подобных же всадников, на таких же онаграх, в той же позе.

Он отступает. Тогда онагры — все сразу — подвигаются на шаг, трутся о него мордами, стараясь ухватить его за одежду. Раздаются крики: «Сюда, сюда, здесь!» И в расселинах горы показываются знамена, головы верблюдов с красными шелковыми уздечками, навьюченные мулы и женщины в желтых покрывалах, сидящие по-мужски на пегих лошадях.

Измученные животные ложатся, рабы бросаются к тюкам, развертывают пестрые ковры, раскладывают на земле сверкающие украшения.

Белый слон, в золотой сетчатой попоне, подбегает, тряся пучком страусовых перьев, прикрепленных к его налобнику.

У него на спине, среди подушек из голубой шерсти, скрестив ноги, полузакрыв веки и покачивая головой, сидит женщина; одета она ослепительно и вся лучится, как солнце. Свита падает ниц,

слон подгибает колена — и, соскользнув с него, ступает на ковры и направляется к святому Антонию

Царица Савская

Платье из золотой парчи, с оборками из жемчуга, агатов и сапфиров стягивает ее стан; узкий корсаж украшен цветными нашивками, изображающими двенадцать знаков зодиака. На ногах высокие башмаки; один из них — черный с серебряными звездами и полумесяцем; другой, белый, покрыт золотыми крапинками с солнцем посредине.

Широкие рукава, отделанные изумрудами и птичьими перьями, не скрывают маленьких округлых рук и эбеновых браслетов, пальцы унизаны кольцами, ногти такие острые, что кончики их напоминают иглы.

Плоская золотая цепь, проходя под подбородком царицы, подымается вдоль щек, закручивается спиралью вокруг прически, посыпанной голубым порошком, затем, опускаясь, касается плеч и заканчивается бриллиантовым скорпионом, который просунул язычок между ее грудей. Две крупные желтоватые жемчужины оттягивают ей уши. Края век окрашены в черный цвет. На левой щеке — коричневая родинка; царица дышит, приоткрыв рот, как будто платье стесняет ее.

На ходу она помахивает зеленым зонтиком с ручкой из слоновой кости, увешанным позолоченными колокольчиками; двенадцать курчавых негритят несут длинный шлейф ее платья, обезьяна держит его за край и время от времени приподнимает.

Она говорит.

Прекрасный отшельник! Прекрасный отшельник! Сердце мое замирает!

Я так сильно топала ногами от нетерпения, что набила себе мозоли на пятке и сломала ноготь! Я высылала вперед пастухов, чтобы они стояли в горах и наблюдали за окрестностями, защитив рукою глаза, охотников, которые выкрикивали твое имя по лесам, и соглядатаев, которые ходили по дорогам и спрашивали каждого встречного: «Не видели ли вы его?»

Ночью я плакала, повернувшись лицом к стене. Под конец слезы мои прожгли два углубления в мозаике, ибо я люблю тебя. О да, люблю!

(Теребит его за бороду.)

Улыбнись же, прекрасный отшельник! Улыбнись! Я очень веселая, вот увидишь. Я играю на лире, пляшу, как мотылек, и знаю множество рассказов, один забавнее другого.

Ты не представляешь себе, как был долог наш путь. Онагры моих зеленых скороходов пали от усталости.

Онагры неподвижно лежат на земле.

Три долгие луны они бежали, не сбавляя хода, с камнем в зубах, чтобы рассекать воздух, вытянув хвост, не разгибая колен и все время вскачь. Других таких не сыскать! Они достались мне от деда по матери, императора Сахариля, сына Якшаба, сына Яараба, сына Кастана. Если бы они были живы, мы запрягли бы их в носилки, чтобы скорее вернуться домой! Но... Что с тобой?.. О чем ты думаешь?

(Всматривается в его лицо.)

Когда ты будешь моим мужем, я разодену тебя, умащу благовониями, удалю с тебя волосы.

Антоний стоит бледнее смерти, неподвижный как столб.

Ты печален или тебе жаль этой хижины? Но я-то все бросила ради тебя,— даже царя Соломона, а он ведь мудрейший из мудрых, у него двадцать тысяч военных колесниц и прекрасная борода! Я привезла тебе мои свадебные подарки. Выбирай!

(Прохаживается между рядами рабов и товаров.)

Вот генисаретский бальзам, фимиам с Гардефанского мыса, ладан, киннамон и сильфий, прекрасная приправа к соусам. Есть тут и ассурское шитье, и слоновая кость с Ганга, и элисский пурпур; а в этом ящике со льдом — халибон, драгоценное вино ассирийских царей — его пьют неразбавленным из рога единорога. Вон ожерелья, аграфы, сетки, зонтики, золотой ваазский порошок, касситер из Тартесса, пандийское голубое дерево, исседонские белые меха, карбункулы с острова Палесимонда и зубочистки из волос тахаса — вымершего зверя, которого находят в земле. Эти подушки из Емафа, а бахрома для плащей — из Пальмиры. На этом вавилонском ковре есть... Но подойди! Подойди же ко мне!

Тянет святого Антония за рукав. Он противится.

Эта тонкая ткань, что потрескивает словно искры под пальцами,— знаменитый желтый холст, привезенный купцами из Бактрии. Для этого путешествия им требуется сорок три толмача. Я закажу тебе из него одежды, которые ты будешь носить дома.

Отстегните крючки у футляра из сикоморы и дайте мне ларец слоновой кости, он на спине у моего слона!

Из ящика вынимают что-то круглое, обернутое в покрывало, а также ларчик резной работы.

Хочешь ты щит Джян-бен-Джяна, того, кто построил пирамиды? Вот этот щит! Он сделан из семи кож дракона, положенных одна на другую, скрепленных алмазными винтами и дубленных желчью отцеубийцы. На одной его стороне изображены все войны, происходившие со времен изобретения оружия, а с другой — все войны, какие произойдут до конца света. Молния отскакивает от него, как пробковый мяч. Я надену тебе щит на руку, и ты будешь брать его на охоту.

Если бы ты знал, что у меня в маленьком ларчике! Поверни его, попытайся открыть! Это никому не удается: поцелуй меня, и я научу тебя.

Берет святого Антония за обе щеки; он отталкивает ее.

В ту ночь царь Соломон потерял голову. Наконец, мы заключили договор. Он поднялся и, выходя на цыпочках...

(Делает пируэт.)

Тебе не узнать этого, прекрасный отшельник! Никогда не узнать!

(Помахивает зонтиком, и все его колокольчики начинают звенеть.)

Чего только нет у меня! И сокровища, сложенные в галереях, где теряешься, как в лесу. И летние дворцы из тростника, и зимние дворцы из черного мрамора. Посреди озер, величиной с целое море, у меня есть острова, круглые, как серебряные монеты, и сплошь усеянные перламутровыми раковинами; берега этих островов звучат, точно музыка, когда о них бьют волны, набегающие на песок. Мои кухонные рабы берут птиц из моих птичников и ловят рыбу в моих садках. Резчики без устали вырезают мои изображения на твердом камне, литейщики, задыхаясь, отливают мои статуи; мастера благовоний смешивают сок растений с уксусом и приготовляют мази. Швеи кроят ткани, ювелиры работают над драгоценными изделиями, искусницы изобретают для меня прически, усердные художники заливают украшения на стенах кипящей смолой и охлаждают ее опахалами. Моих прислужниц хватило бы на целый гарем, а евнухов — на целое войско. Мне подвластны войска, мне подвластны народы! В приемной моего дворца стоят на страже карлики с трубами из слоновой кости за спиной.

Антоний вздыхает.

У меня есть упряжки газелей, квадриги слонов, сотни пар верблюдов, кобылицы с такой длинной гривой, что путаются в ней, когда скачут, и стада с такими широкими рогами, что перед ними вырубают леса, чтобы они могли пастись. Жирафы гуляют в моих садах и кладут головы на край моей крыши, когда я дышу свежим воздухом у окна.

Сидя в раковине, влекомой дельфинами, я объезжаю гроты и слушаю, как падает вода со сталактитов. Я приплываю в страну алмазов, где маги, мои друзья, предлагают мне на выбор лучшие камни; затем я выхожу на берег и возвращаюсь домой.

Царица издает резкий свист, и большая птица, спустившись с небес, падает на ее волосы, с которых осыпается голубой порошок. Оранжевое оперение птицы словно состоит из металлической чешуи. Головка с серебряным хохолком напоминает лицо человека. У нее четыре крыла, ястребиные лапы и огромный павлиний хвост, который она только что распустила.

Она берет в клюв зонтик царицы, слегка покачивается, чтобы обрести равновесие, и, взъерошившись, застывает.

Благодарю тебя, прекрасный Симорг-анка! Ты указал мне, где скрывается мой возлюбленный! Благодарю тебя, посланник моего сердца!

Симорг-анка быстр, как желание. За день он облетает весь мир. Возвратясь вечером, садится у моего ложа и рассказывает мне про то, что видел,— про моря, проносившиеся под ним с их рыбами и кораблями, про огромные безлюдные пустыни, которые он созерцал с высоты небес, про хлеба, склонившиеся под тяжестью колосьев, и про деревья, растущие на стенах покинутых городов.

(В томлении ломает руки.)

О, если бы ты захотел, если бы только захотел!.. У меня есть дом на мысе, посредине перешейка, соединяющего два океана. Стены его облицованы стеклом, пол выложен черепахой, двери выходят на все четыре стороны света. Я вижу оттуда, как прибывают мои корабли и люди подымаются на холм с ношами на плечах. Мы спали бы с тобой на пуху мягче облаков, пили бы прохладные напитки, налив их в выдолбленные плоды, и смотрели бы на солнце сквозь изумруды! Приди ко мне!..

Антоний отступает. Царица подходит к нему; с досадой.

Как? Ни богатство, ни игривость, ни влюбленность тебе не нужны? Тебе мало всего этого? Ты хочешь женщину похотливую, жирную, с хриплым голосом, с огненными воло-

сами и пышным телом? Или предпочитаешь тело холодное, как кожа змеи, а может быть, большие черные глаза, темнее таинственных пещер? Посмотри мне в глаза!

Антоний наперекор собственному желанию смотрит на нее.

Всех, кого ты встречал, начиная с уличной девки, поющей под фонарем, до патрицианки, обрывающей лепестки роз с высоты носилок,— все образы, виденные тобой, все грозы, подсказанные тебе вожделением,— требуй их у меня! Я не женщина: я — целый мир! Стоит моим одеждам упасть — и ты откроешь во мне тайну за тайной!

Антоний скрежещет зубами.

Прикоснись пальцем к моему плечу — и огненная струя пробежит по твоим жилам. Обладание малейшей частью моего тела даст тебе большие радости, чем завоевание империи. Приблизь уста! У моих поцелуев вкус плода, который растает в твоем сердце! Приди, ты забудешься под покровом моих волос, упьешься моей грудью, пленишься моим станом, и, спаленный моими взорами, в моих объятиях, в вихре...

Антоний творит крестное знамение.

Ты пренебрегаешь мною! Прощай!
(Уходит в слезах, потом возвращается.)
Ты так уверен в себе? А ведь я красавица!

Хохочет; обезьяна, держащая край ее платья, приподнимает его.

Ты раскаешься, прекрасный отшельник, будешь стонать! Тосковать! А мне все равно! Ля-ля-ля! Ох! Ох! Ох!
(Убегает, подпрыгивая и закрыв лицо руками.)

Мимо святого Антония проходят рабы, лошади, дромадеры, слоны, служанки, вновь навьюченные мулы, негритята, обезьяна, зеленые скороходы со сломанными лилиями в руках; а судорожные всхлипывания царицы Савской похожи издали не то на рыдания, не то на хохот.

III

Едва царица Савская скрылась, как Антоний замечает на пороге своей хижины ребенка. «Это, верно, один из слуг царицы»,— думает он.

Ребенок ростом с карлика, но коренаст, как Кабир, кривобок, жалок. Его непомерно большая голова покрыта седыми волосами;

он дрожит от холода в своей дрянной тунике, сжимая в руках свиток папируса.

Свет луны, выглянувшей из-за облака, падает на него.

Антоний

(издали наблюдает за ним, и ему становится страшно)

Кто ты?

Ребенок

Твой бывший ученик Иларион!

Антоний

Лжешь! Иларион уже много лет живет в Палестине.

Иларион

Я вернулся оттуда! Это я, взгляни на меня!

Антоний

(подходит и смотрит на него)

Лицо Илариона сияло как заря, было ясное, радостное. А у этого оно мрачное и старое.

Иларион

Долгие труды истомили меня!

Антоний

Голос тоже другой. Звук его леденит меня.

Иларион

Виною тому горькая пища!

Антоний

А седые волосы?

Иларион

Я столько выстрадал!

Антоний

(в сторону)

Возможно ли?..

Иларион

Я был не так далеко, как ты думаешь. Пустынник Павел посетил тебя в этом году, в месяце шебар. Ровно два-

дцать дней тому назад кочевники принесли тебе хлеба. Третьего дня ты просил матроса достать тебе три шила.

Антоний

Ему все известно!

Иларион

Знай же: я никогда тебя не покидал. Но ты подолгу не замечаешь меня.

Антоний

Неужели? Правда, временами мой разум мутится! Особенно нынче ночью...

Иларион

Да, к тебе явились все смертные грехи. Но их жалкие козни развеялись в прах пред таким святым, как ты!

Антоний

О нет!.. Нет! Я то и дело впадаю в грех! Почему я не из тех, чьи души бестрепетны и дух неизменно тверд,— как, например, у великого Афанасия!

Иларион

Он был незаконно рукоположен семью епископами!

Антоний

Не все ли равно, если его добродетель...

Иларион

Полно! Он гордый, жестокий человек, вечно занятый происками, и под конец был изгнан за стяжательство.

Антоний

Клевета!

Иларион

Не станешь же ты отрицать, что он хотел подкупить Евстафия, хранителя пожертвований?

Антоний

Так утверждают. Согласен.

Иларион

Он сжег из мести дом Арсения!

Антоний

Увы!

Иларион

На Никейском соборе он сказал, говоря об Иисусе: «Человек господень».

Антоний

Да, это богохульство!

Иларион

К тому же он так ограничен, что признается в полном непонимании природы Слова.

Антоний
(удовлетворенно улыбаясь)

Действительно, ум у него не очень-то... возвышен.

Иларион

Если бы тебя поставили на его место, это было бы великим счастьем для твоих братьев, да и для тебя самого. Такая жизнь вдали от людей пагубна.

Антоний

Напротив! Человек есть дух и потому должен отойти от бренного мира. Всякое действие принижает его. Я не хотел бы касаться земли — даже подошвами ног!

Иларион

Лицемер тот, кто удаляется в пустыню, дабы свободнее предаваться разгулу своих вожделений! Ты лишаешь себя мяса, вина, бани, рабов и почестей; зато ты даешь волю своему воображению, и оно рисует тебе пиры, благовония, голых женщин и рукоплескания толпы! Твое целомудрие — только более тонкий разврат, а презрение к миру — бессильная злоба против него! Вот почему все тебе подобные такие унылые, а может быть, причиной тому их сомнения. Обладание истиной дает радость. Разве Иисус был печален? Он ходил, окруженный друзьями, отдыхал в тени олив, бывал в доме мытаря, умножал чаши с вином, прощал грешницу, исцелял все скорби. А ты сострадаешь лишь своей нищете. Можно подумать, что тобою движет угрызение совести и дикое безумие, в порыве которого ты

способен отпихнуть ласковую собаку или улыбающегося ребенка.

Антоний
(разражается рыданиями)

Довольно, довольно: ты раздираешь мне сердце!

Иларион

Отряхни насекомых со своих лохмотьев! Восстань из нечистот, в которых ты погряз! Твой бог — не Молох, требующий тела в жертву себе!

Антоний

И все же страдание благословенно. Херувимы склоняются, приемля кровь исповедников.

Иларион

Восхищайся в таком случае монтанистами: они всех превзошли.

Антоний

Но ведь мучениками становятся ради истины учения.

Иларион

Как могут мученики доказать его истинность, если их поступки свидетельствуют также о заблуждении?

Антоний

Замолчи, ехидна!

Иларион

Вероятно, быть мучеником не так уже трудно. Увещевания друзей, удовольствие от сознания, что бросаешь вызов людям, данная клятва, опьянение,— множество обстоятельств помогают ему.

Антоний отходит от Илариона. Тот следует за ним.

К тому же этот вид смерти вызывает великую смуту. Дионисий, Киприан и Григорий уклонялись от него. Петр Александрийский порицал его, а Эльвирский собор...

Антоний
(затыкает уши)

Слышать ничего не хочу!

Иларион
(повышает голос)

Вот ты и впадаешь в свой привычный грех — леность. Невежество — оборотная сторона гордости. Говорят: «Таково мое убеждение, о чем же спорить?» — и презирают учителей, философов, предание, наконец, даже Закон, которого не знают. Неужели ты так уверен, что овладел мудростью?

Антоний

Я все еще слышу его! Эти слова оглушают, отдаются у меня в голове!

Иларион

Стремление постигнуть бога возвышеннее твоего самоистязания ради того, чтобы его умилостивить. Наша главная добродетель — жажда Истины. Религия не может всего объяснить, и разрешение вопросов, которых ты не признаешь, сделает ее более неуязвимой и более высокой. Итак, для спасения религии нужно общаться с братьями — иначе церковь, как собрание верующих, была бы лишь пустым словом — и выслушивать все доводы, не гнушаясь ничем и никем. Пророк Валаам, поэт Эсхил и Кумская сивилла возвестила пришествие Спасителя... Дионисий Александрийский получил свыше повеление прочесть все книги. Святой Климент наказал нам хранить и изучать греческую письменность, Герма был обращен в истинную веру призраком некогда любимой им женщины.

Антоний

Какой у тебя властный вид! И ты словно стал выше...

Действительно, Иларион вырос, и, боясь смотреть на него, Антоний закрывает глаза.

Иларион

Успокойся, добрый отшельник!

Давай сядем вон там, на большом камне,— как прежде, когда при первом проблеске утра я приветствовал тебя, называя «ясной денницей», и ты тотчас же приступал к наставлениям. Они еще не закончены. Луна достаточно светла. Я внемлю тебе.

(Вынимает из-за пояса заостренную тростинку и, скрестив на земле ноги, держа в руке папирус, подымает взор на

святого Антония, который сидит возле него, склонив голову. Помолчав, продолжает.)

Слово божие подтверждено чудесами, не так ли? Однако фараоновы маги тоже совершали чудеса, да и другие обманщики могут творить их; люди впадают тут в заблуждение. Итак, что такое чудо? Явление, которое, как нам кажется, находится вне пределов природы. Но знаем ли мы, насколько могущественна природа? И если обыденное явление нас не поражает, следует ли из этого, что мы его понимаем?

Антоний

Пустое! Надо верить Писанию.

Иларион

Святой Павел, Ориген и многие другие не понимали Писания дословно; однако, если его изъяснять аллегориями, оно становится достоянием немногих, и очевидность истины пропадает. Что же делать?

Антоний

Положиться на церковь.

Иларион

Значит, Писание бесполезно?

Антоний

Вовсе нет! Хотя в Ветхом завете, признаю, есть... темные места... Но Новый сияет чистым светом.

Иларион

Однако, по Матфею, ангел является с благой вестью к Иосифу, а по Луке — к Марии. Помазание Иисуса женщиной происходит, по первому Евангелию, в начале его служения, а согласно трем остальным — за несколько дней до его смерти. Питье, предлагаемое ему на кресте, по Матфею — уксус с желчью, по Марку — вино и мирра. По Луке и Матфею, апостолы не должны иметь ни серебра, ни сумы, ни даже сандалий и посоха; у Марка, напротив, Иисус запрещает им брать с собой что-либо, кроме сандалий и посоха. Я теряюсь!..

Антоний
(с изумлением)

А ведь правда... правда...

Иларион

Когда до него дотронулась кровоточивая, Иисус обернулся и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Значит, он не знал, кто прикоснулся к нему. Это противоречит всеведению Иисуса. Если гробница охранялась стражами, женам нечего было беспокоиться о помощнике, чтобы отвалить камень. Значит, стражи отсутствовали или же святые жены не были там. В Эммаусе он вкушает пищу с учениками и дает им осязать свои раны. Человеческое тело — нечто вещественное, весомое, и, однако, оно проходит сквозь стены. Возможно ли это?

Антоний

Много понадобилось бы времени, чтобы тебе ответить!

Иларион

Зачем сходит на него Святой дух, если он Сын? Для чего ему крещение, если он — Слово? Как мог дьявол искушать его, бога?

Разве эти мысли никогда не приходили тебе в голову?

Антоний

Да!.. Часто! Приглушенные или неистовые, они живут в моем сознании. Я подавляю их — они возрождаются, душат меня; и временами мне думается, что я проклят.

Иларион

Тогда зачем тебе служить богу?

Антоний

У меня всегда была потребность поклоняться ему!

После долгого молчания

Иларион
(продолжает)

Однако вне догмы нам дана полная свобода исканий. Желаешь ты знать иерархию ангелов, силу чисел, смысл зарождений и метаморфоз?

Антоний

Да, да! Мысль моя бьется, чтобы вырваться из тюрьмы. Мне кажется, что, собравшись с силами, я преуспею в этом. Иной раз, на мгновение, я как бы возношусь над землей; потом снова падаю.

Иларион

Тайна, которой ты хотел бы обладать, хранится мудрецами. Они живут в далекой стране, восседая под гигантскими деревьями, в белых одеждах, безмятежные, как боги. Теплый воздух питает их. Леопарды ходят вокруг по траве. Журчанье ручьев и ржание единорогов сливаются с их голосами. Ты услышишь мудрецов — и лик Неведомого откроется тебе!

Антоний
(вздыхая)

Путь долог, а я стар!

Иларион

Ученые люди не редки! Их можно найти даже поблизости. Вот здесь! Войдем!

IV

И тут Антоний видит перед собой огромную базилику.

Из глубины ее льется дивный свет, как бы исходящий от некоего многоцветного солнца. Он освещает бесчисленную толпу, которая заполняет неф и растекается между колонн к боковым приделам, где виднеются алтари, ложи, цепочки из голубых камней и изображения созвездий на стенах.

Среди этой движущейся толпы остановились кое-где кучки людей. Одни стоят на скамьях и проповедуют, подняв палец; другие молятся, скрестив руки, третьи лежат на земле, четвертые поют гимны или пьют вино; за столом верные творят вечерю, мученики снимают с себя повязки и показывают свои раны; старики, опершись на посохи, рассказывают о своих странствиях.

Есть тут пришельцы из земли германцев, из Фракии и Галлии, из Скифии и Индии, с бородами в снегу, с перьями в волосах, с колючками в бахроме одежд, с потемневшими от пыли сандалиями и обожженной солнцем кожей. Мелькают всевозможные одеяния — пурпуровые мантии и холщовые платья, расшитые далматики, шерстяные плащи, матросские шапки, епископские митры. Глаза у всех лихорадочно блестят. У них вид палачей или евнухов.

Иларион входит в толпу. Все его приветствуют. Прижавшись к его плечу, Антоний наблюдает. Он замечает много женщин. Некоторые одеты по-мужски, с наголо остриженными головами; при взгляде на них ему становится страшно.

Иларион

Это христианки, обратившие своих мужей. Впрочем, женщины всегда за Иисуса, даже язычницы,— свидетельство тому — Прокула, жена Пилата, и Поппея, наложница Нерона. Не бойся! Вперед!

Появляются все новые и новые видения.

Они раздваиваются, множатся, легкие, как тени, испускают громкие крики, в которых слышится ярость, любовь, словословия и проклятия.

Антоний
(понизив голос)

Чего они хотят?

Иларион

Господь сказал: «Я буду говорить вам еще о многом». Они знают это многое.

Толкает Антония к золотому трону о пяти ступенях, где, окруженный девяносто пятью худыми и очень бледными учениками, умащенными маслом, восседает пророк Манес, прекрасный, как архангел, недвижимый, как статуя, в индийском одеянии, с карбункулами в заплетенных волосах; в левой его руке — книга с цветными рисунками, а под правой — глобус. На рисунках изображены создания, дремавшие в хаосе. Антоний наклоняется, чтобы разглядеть их. Затем

Манес
(поворачивает глобус и, соразмеряя свои слова с кристально чистыми звуками лиры, говорит)

Земля небесная у высшего предела, земля смертная у низшего предела. Ее поддерживают два ангела — Сплендитененс и Омофор с шестью ликами.

На вершине самого высокого неба пребывает бесстрастное божество; внизу, лицом к лицу,— Сын божий и Князь тьмы.

Когда тьма приблизилась к его царству, бог извлек из своей сущности силу, которая произвела первого человека, и наделил его пятью свойствами. Но демоны тьмы похитили у человека одну часть, и часть эта — душа.

Есть лишь одна душа, разлитая повсеместно, как воды реки, разветвленной на многие рукава. Это она вздыхает в шуме ветра, скрежещет в мраморе под пилой, воет голосом моря и плачет млечными слезами, когда обрывают листья смоковницы.

Души, покинувшие этот мир, переселяются на звезды, которые суть существа одушевленные.

Антоний
(смеется)

Что за сумасбродство!

Человек
(безбородый, сурового вида)

Почему?

Антоний хочет ответить, но Иларион шепчет ему, что этот человек — великий Ориген; и

Манес
(продолжает)

Сначала они пребывают на луне, где очищаются. Затем восходят на солнце.

Антоний
(медленно)

Мне кажется... ничто не мешает нам... верить в это.

Манес

Цель всякой твари есть освобождение небесного луча, заключенного в материи. Легче всего ему вырваться в запахах, в пряностях, аромате старого вина, невесомых вещах, подобных мыслям. Но круговорот жизни его удерживает. Человекоубийца возродится в теле Селефа; тот, кто умертвит животное, сам станет этим животным; если ты посадишь виноградную лозу, то будешь связан с ее ветвями. Еда поглощает небесный луч. Итак, воздерживайтесь! Поститесь!

Иларион

Как видишь, они умеренны!

Манес

Много небесной субстанции в мясе, меньше в овощах. И чистым, по высоким их заслугам, доступно отделять от растений эту светоносную часть, и она возносится в обитель свою. Животные через размножение заточают ее в теле. Итак, бегите женщин!

Иларион

Восхищайся их воздержанием!

Манес

Или лучше поступайте так, чтобы женщины оставались бесплодными. Для души лучше пасть на землю, нежели томиться в телесных оковах.

Антоний

О, мерзость!

Иларион

Какое нам дело до этой иерархии гнусности? Ведь церковь превратила брак в таинство!

Сатурнин
(в сирийской одежде)

Он насаждает пагубные идеи! Чтобы наказать мятежных ангелов, бог-отец повелел им создать мир. Христос пришел, дабы бог иудеев, который был одним из этих ангелов...

Антоний

Как одним из ангелов? Он же Создатель!

Кердон

Разве он не желал убить Моисея, обмануть своих пророков? Разве он не соблазнил народы, не распространил ложь и идолопоклонство?

Маркион

Несомненно, Создатель не есть истинный бог!

Святой Климент Александрийский

Материя вечна!

Бардесан
(в одежде вавилонского волхва)

Она сотворена семью планетными духами.

Герниане

Ангелы создали души!

Прискиллиане

Создал мир дьявол!

Антоний
(пятится)

Ужас!

Иларион
(поддерживая его)

Ты слишком скоро отчаиваешься! Ты плохо понимаешь их учение! Смотри: вот тот, кто воспринял свое учение от Феодата, друга святого Павла. Выслушай его!

И по знаку Илариона выступает

Валентин
(в тунике из серебряной ткани; у него хриплый голос и заостренный череп)

Мир — создание исступленного бога.

Антоний
(опускает голову)

Создание исступленного бога?!

(После долгого молчания.)

Как так?

Валентин

Совершеннейшее из существ, Эонов, Бездна почила с Мыслью в лоне Глубины. От их союза возник Разум, подругой коего стала Истина.

Разум и Истина породила Слово и Жизнь, а те, в свою очередь, породили Человека и Церковь, что составляет восемь Эонов.

(Считает по пальцам.)

Слово и Истина произвели десять других Эонов, то есть пять пар. Человек и Церковь произвели еще двенадцать, среди них — Параклет и Вера, Надежда и Милосердие, Совершенство и Мудрость — София.

Совокупность сих тридцати Эонов образует Плерому, или Всебытие божие. И как отзвуки удаляющегося голоса, как веяние испаряющегося благовония, как огни заходящего солнца, постепенно ослабевают Могущества, исшедшие из Начала.

Но София, жаждавшая познать Отца, устремилась за пределы Плеромы, и тогда Слово создало другую пару — Христа и Святого духа, который объединил Эоны; и все вместе они произвели Иисуса, цветок Плеромы.

Между тем усилие Софии, вырвавшейся из Плеромы, оставило в пустоте ее образ, дурную субстанцию — Ахарамоф. Спаситель, возымев к ней сострадание, освободил ее от страстей; и из улыбки освобожденной Ахарамоф родил-

ся свет, слезы ее создали воды, ее печаль породила черную материю.

От Ахарамоф изошел Демиург, творец миров, небес и Дьявола. Он пребывает гораздо ниже Плеромы и, не замечая ее, полагает себя истинным богом и твердит устами своих пророков: «Нет иного бога, кроме меня!» Потом он сотворил человека и бросил ему в душу нематериальное семя, кое было Церковью, отблеском другой Церкви, помещенной в Плероме.

Достигнув когда-нибудь высшей области, Ахарамоф соединится со Спасителем; огонь, сокрытый в мире, уничтожит всю материю, поглотит сам себя, и люди, став чистыми духами, вступят в брак с ангелами!

Ориген

Тогда Демон будет побежден и наступит царство божие!

Антоний с трудом сдерживает крик; и тотчас

Василид
(берет его за локоть)

Высшее существо с бесконечными излучениями именуется Абраксас, а Спаситель со всеми своими благими свойствами — Каулакау, иначе — линия над линией, прямизна над прямизной.

Приобщиться к силе Каулакау можно с помощью слов, начертанных для памяти на этом халцедоне.
(Показывает у себя на шее камешек, испещренный причудливыми линиями.)

Тогда ты будешь перенесен в Незримое и, став выше закона, презришь все, даже добродетель!

Мы же, Чистые, должны бежать страдания по примеру Каулакау.

Антоний

Как? А крест?

Элкесаиты
(в гиацинтовых одеждах отвечают ему)

Скорбь, ничтожество, проклятие и угнетение наших отцов изгладились благодаря пришествию посланного.

Можно отрицать Христа низшего, человека Иисуса, но надлежит поклоняться другому Христу, явившемуся на свет под крылом Голубицы.

Почитайте брак! Святой дух — женского рода!

Иларион исчез; и вот перед Антонием, теснимым толпой,

Карпократиане

(лежащие с женщинами на пурпуровых подушках)

Прежде чем возвратиться в лоно Едино, ты пройдешь через ряд условий и действий. Чтобы избавиться от мрака, выполняй отныне его дела! Супруг скажет супруге: «Окажи милость твоему брату», и она поцелует тебя.

Николаиты

(собравшиеся вокруг дымящегося блюда)

Вот идоложертвенное мясо — вкуси его! Отступничество дозволено тому, чье сердце чисто. Насыщай свою плоть тем, чего она требует. Старайся изничтожить ее, предаваясь распутству. Пруникос, мать Неба, погрязла в мерзостях.

Маркосиане

(в золотых кольцах, умащенные бальзамом)

Войди к нам, дабы соединиться с Духом! Войди к нам, дабы вкусить бессмертия!

Один из них поднимает стенной ковер и показывает Антонию тело человека с головой осла. Это изображение Саваофа, отца Дьявола. В знак ненависти он плюет на него.

Другой открывает низкое ложе, усыпанное цветами, и говорит.

Сейчас свершится духовный брак.

Третий держит стеклянную чашу и произносит заклинание; в чаше появляется кровь.

Вот она! Вот она! Кровь Христова!

Антоний отстраняется. Но он обрызган водой, выплеснувшейся из купели.

Гельвидиане

(бросаются в нее, головой вниз, бормоча)

Человек, возрожденный крещением, безгрешен!

Затем Антоний проходит мимо большого костра, у которого греются адамиты, совершенно обнаженные в подражание райской чистоте, и наталкивается на мессалиан.

Мессалиане

(валяются на полу, полусонные, ошалевшие)

Раздави нас, если хочешь, мы не двинемся с места! Труд — грех, всякое занятие — скверна!

Позади них презренные

Патерниане
(мужчины, женщины и дети, валяются вперемешку на куче нечистот; их омерзительные лица залиты вином)

Нижние части тела сотворены Дьяволом и принадлежат ему. Давайте пить, есть, блудодействовать!

Эций

Преступления — потребности, до которых не опускается око божие!

Но вдруг

Человек
(в карфагенском плаще бросается на всех со связкой ремней в руке и, стегая направо и налево, неистово кричит)

Ах вы, обманщики, разбойники, симонийцы, еретики, демоны! Паразиты школ, подонки ада! Маркион — синопский матрос, отлученный от церкви за кровосмешение; Карпократа изгнали как мага; Эций обокрал свою наложницу, Николай продавал жену, а Манес, называющий себя Буддою,— настоящее же его имя Кубрик,— был ободран заживо острием тростника, и его дубленая кожа болтается на вратах Ктесифона!

Антоний
(узнает Тертуллиана и бросается к нему)

Учитель! Ко мне! Ко мне!

Тертуллиан

Разбивайте иконы! Закрывайте лица девиц покрывалом! Молитесь, поститесь, плачьте, умерщвляйте плоть! Прочь философию! Прочь книги! После Иисуса знание бесполезно!

Все разбежались, и Антоний видит на месте Тертуллиана женщину, сидящую на каменной скамье.

Она рыдает, прислонив голову к колонне: волосы ее распущены, тело в длинной бурой симарре поникло.

Затем они оказываются рядом, вдали от толпы. Наступило спокойствие, необычайная тишина, как в лесу, когда ветер стихает и листья перестают шелестеть.

Женщина очень красива, хотя и поблекла и бледна, как покойница. Они глядят друг на друга, и глаза их как бы обмениваются мыслями, множеством старинных, смутных и глубоких воспоминаний.

Наконец

Прискилла
(начинает говорить)

Я была в последнем отделении бань и задремала под уличный шум.

Вдруг я услышала громкие голоса. Люди кричали: «Это маг! Это Дьявол!» — и толпа остановилась перед нашим домом, против Эскулапова храма. Я приподнялась на руках и заглянула в узкое оконце.

В перистиле храма стоял человек с железным ошейником на шее... Он брал уголья с жаровни и проводил ими широкие полосы у себя на груди, взывая: «Иисус! Иисус!» Народ говорил: «Это не дозволено! Побьем его камнями!» А он все продолжал... То было нечто неслыханное, упоительное. Цветы, огромные, как солнце, вращались перед моими глазами, и до меня доносились откуда-то звуки золотой арфы. День угас. Руки мои выпустили оконную решетку, тело ослабло, и когда он увел меня в свой дом...

Антоний

О ком ты говоришь?

Прискилла

О Монтане!

Антоний

Монтан умер.

Прискилла

Неправда!

Голос

Нет, не умер Монтан!

Антоний оборачивается; рядом с ним, на другой стороне скамьи, сидит вторая женщина — белокурая и еще более бледная, чем первая; веки ее припухли, словно она долго плакала. Не дожидаясь вопроса, она говорит.

Максимилла

Мы возвращались из Тарса по горам и вдруг там, где дорога делает поворот, увидели под смоковницей человека.

Он издали закричал: «Стойте!» — и разразился бранью. Рабы сбежались. Он засмеялся. Лошади вздыбились. Сторожевые псы завыли.

Он стоял. Пот катился по его лицу. Плащ хлопал на ветру.

Называя нас по именам, он поносил суету наших деяний, греховность наших тел и грозил кулаком, указывая на серебряные колокольчики, висевшие на шее дромадеров.

Его ярость внушала мне ужас, и в то же время какое-то сладостное чувство убаюкивало меня, опьяняло.

Сначала приблизились рабы. «Господин,— сказали они,— животные наши устали»; затем заговорили женщины: «Нам страшно», и рабы отошли. Наконец, подняли плач дети. «Мы голодны!» — жаловались они. Но никто не ответил женщинам, и они исчезли.

А он все говорил. Я почувствовала, что кто-то стоит возле меня. То был мой супруг; я внимала другому. Он встал на колени среди камней, вопрошая: «Ты покидаешь меня?» — и я, дабы последовать за Монтаном, ответила: «Да, уходи!»

Антоний

За евнухом!

Прискилла

Тебя это удивляет, грубый сердцем! Но ведь Магдалина, Иоанна, Марфа и Сусанна не делили ложа со Спасителем. Души способны с еще большей страстью обниматься, нежели тела. Дабы соблюсти непорочность Евстолии, епископ Леонтий изувечил себя: он больше любил любовь свою, чем свою мужскую силу. Притом это не моя вина: некий дух понуждает меня: Сота не мог меня излечить. А ведь Монтан жесток! Нужды нет! Я — последняя из пророчиц, и после меня наступит конец света.

Максимилла

Он осыпал меня подарками. Впрочем, ни одна женщина не любит его сильнее, чем я,— и ни одна им так не любима!

Прискилла

Ты лжешь! Он любит меня!

Максимилла

Нет, меня!

Дерутся.
Между ними появляется голова негра.

Монтан
(в черном плаще с застежкой из двух человеческих костей)

Успокойтесь, мои голубицы! Мы неспособны испытать земное счастье, но наш союз дает нам полноту духовную. За веком Отца пришел век Сына, а я предвещаю третий век — век Параклета. Его свет сошел на меня в те сорок ночей, когда небесный Иерусалим сиял в небе над моим домом в Пепусе.

В какой тоске кричите вы, бичуемые ремнями! Как ваше исстрадавшееся тело жаждет моей пламенной ласки! Как вы томитесь у меня на груди от неосуществленной страсти! Сила ее открыла вам миры, и отныне вы можете созерцать души вашими земными очами.

Антоний изумлен.

Тертуллиан
(вновь появляясь возле Монтана)

Несомненно, ибо у души есть тело; то, что не имеет тела, не существует.

Монтан

Дабы сделать душу более восприимчивой, я установил суровое умерщвление плоти: три поста в год и еженощные молитвы с закрытыми устами,— из опасения, как бы дыхание, вырвавшись наружу, не замутило мысли. Надлежит воздерживаться от вторичных браков, а еще лучше — от всяких браков! Ангелы и те грешили с женами.

Архонтики
(во власяницах из конского волоса)

Спаситель сказал: «Я пришел разрушить дело Женщины».

Татианиане
(во власяницах из тростника)

Она и есть древо зла! Наше тело — одежда из шкур.

Продолжая идти в том же направлении, Антоний встречает

Валезиан
*(распростертых на земле с кровавыми ранами внизу живота под туникой.
Они протягивают ему нож)*

Поступай, как Ориген и как мы! Или ты боишься боли, трус? Или любовь к плоти удерживает тебя, лицемер?

Пока он смотрит, как они извиваются, лежа на спине в лужах крови,

Каиниты
(волосы которых связаны гадюкой, проходят мимо, восклицая у него над ухом)

Слава Каину! Слава Содому! Слава Иуде!

Каин был родоначальником племени сильных, Содом ужаснул землю из-за постигшей его кары, благодаря Иуде бог спас мир!.. Да, без Иуды не было бы ни смерти, ни искупления!

(Исчезают при приближении.)

Циркумцеллионы
(с железными палицами, в волчьих шкурах и терновых венцах.
Они вопят)

Давите плод! Мутите источники! Топите детей! Грабьте богатого, ибо он наслаждается счастьем и много ест! Бейте бедного, ибо он завидует попоне осла, корму собаки, гнезду птицы и сокрушается, что другие не так несчастны, как он.

Мы — святые, и, дабы ускорить конец света, мы отравляем, поджигаем, избиваем!

Спасение только в мученичестве. Мы предаем себя мукам. Мы сдираем клещами кожу со своих черепов, ложимся под плуг, бросаемся в жерла печей!

Долой крещение! Долой евхаристию! Долой брак! Проклятие всему!

В базилике усугубляются безумства.

Авдиане мечут стрелы в Дьявола; коллиридиане подбрасывают к потолку синие покрывала; аскиты простираются перед винным мехом; маркиониты совершают крещение мертвеца елеем.

В пояснение слов Апеллеса женщина, сидящая с ним рядом, показывает круглый хлеб в бутыли; другая, окруженная сампсеянами, раздает, как просфоры, пыль со своих сандалий. На усыпанном розами ложе маркосиан двое любовников обнимаются. Циркумцеллионы избивают друг друга, валезиане хрипят, Бардесан поет, Карпократ пляшет, Максимилла с Прискиллой громко стонут, а Каппадокийская лжепророчица, совершенно голая, облокотясь на льва и потрясая тремя факелами, предсказывает конец мира.

Колонны качаются, как стволы деревьев, амулеты на шеях ересиархов вспыхивают огненными зигзагами, созвездия в часовнях приходят в движение, и стены раздвигаются под напором людей, головы которых превращаются в стремительные ревущие волны.

Между тем, заглушая гул голосов и взрывы смеха, раздается песня, в которой повторяется имя Иисуса.

То — люди из простонародья; все они хлопают в ладоши в такт песни. Посреди них

Арий
(в одежде дьякона)

Безумцы, ратующие против меня, берутся истолковать бессмыслицу; чтобы посрамить их до конца, я сочинил песенки, такие забавные, что их знают наизусть на мельницах, в кабаках и гаванях.

Нет, тысячу раз нет! Сын не совечен Отцу и не единосущен! Иначе он не сказал бы: «Отче, да минует меня чаша сия! Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один бог! Восхожу к богу моему и богу вашему!» — и других слов, свидетельствующих, что он сотворен. На то указывают и все его именования: агнец, пастырь, родник, мудрость, сын человеческий, пророк, путь благой, краеугольный камень!

Савелий

А я утверждаю, что оба они едины.

Арий

Антиохийский собор постановил обратное.

Антоний

Что же такое Слово?.. Кто был Иисус?

Валентиниане

Супруг раскаявшейся Ахаромоф!

Сифиане

Сим, сын Ноя!

Феодотиане

Мельхиседек!

Меринтиане

Всего лишь человек!

Аполлинаристы

Он только приял облик человека! Страсти его — притворство.

Маркел Анкирский

Он — проявление Отца!

Папа Каликст

Отец и Сын — два образа единого бога!

Мефодий

Сначала он был в Адаме, затем — в человеке!

Керинф

И он воскреснет!

Валентин

Невозможно: тело его небесное!

Павел Самосатский

Он стал богом лишь после крещения!

Гермоген

Он обитает на солнце!

Все ересиархи окружают Антония — тот плачет, закрыв лицо руками.

Иудей

(рыжебородый, с язвами проказы на теле, подходит вплотную к Антонию; с отвратительной усмешкой)

Его душа была душой Исава! Он страдал беллерофонтовой болезнью; а его мать, торговка благовониями, отдалась Пантеру, римскому солдату, на снопах маиса, вечером, во время жатвы.

Антоний

(подымает голову, молча на них смотрит, затем идет прямо на них)

Ученые, маги, епископы и дьяконы, люди и призраки, прочь, прочь! Все вы — обман!

Ересиархи

Наши мученики больше претерпели, чем твои, наши молитвы труднее, порывы любви возвышеннее, а восторги столь же долги.

Антоний

Но у вас нет откровения! Нет доказательств!

Все потрясают свитками папируса, деревянными дощечками, кусками кожи, полосами тканей и, отталкивая друг друга, кричат.

Керинфиане

Вот Евангелие иудеев!

Маркиониты

Евангелие господне!

Маркосиане

Евангелие Евы!

Энкратиты

Евангелие Фомы!

Каиниты

Евангелие Иуды!

Василид

Трактат о душе!

Манес

Пророчество Баркуфа!

Антоний отбивается, ускользает от них — и замечает в темном углу

Старых эбионитов

(иссохших, как мумии, с потухшим взором, седыми бровями.

Они говорят дрожащими голосами)

Мы-то знали его, знали, он сын плотника! Мы были его сверстниками, жили на той же улице. Он любил лепить птичек из глины, не боялся порезаться инструментом, помогал отцу в работе или мотал для матери крашеную шерсть. Потом он совершил путешествие в Египет и вынес оттуда великие тайны. Мы были в Иерихоне, когда он повстречал пожирателя саранчи. Они беседовали вполголоса, так что никто их не слышал. Но с этого времени он прогремел в Галилее, и о нем пошли всякие россказни.

(Повторяют дрожа.)

Мы-то знали его! Знали!

Антоний

Говорите, говорите! Какое у него было лицо?

Тертуллиан

Дикого и отталкивающего вида, ибо он был отягчен всеми пороками, всеми страданиями и уродствами мира.

Антоний

Нет, нет! Напротив, мне кажется, весь его облик был нечеловечески прекрасен.

Евсений Кесарийский

В Панеаде, против старой лачуги, в густой траве, есть каменное изваяние, воздвигнутое, как говорят, кровоточивой женой. Но время изъело ему лицо, и дожди повредили надпись.

Из кучки карпократиан выступает женщина.

Марцеллина

Некогда я была диакониссой в маленькой церкви в Риме и показывала верным серебряные изображения святого Павла, Гомера, Пифагора и Иисуса Христа.

У меня сохранилось только изображение Христа.

(Приоткрывает плащ.)

Хочешь видеть его?

Голос

Он сам является, когда мы призываем его! Час настал! Идем!

Антоний чувствует у себя на плече чью-то грубую руку, которая тянет его за собой.

Он поднимается по темной лестнице и, пройдя много ступеней, оказывается перед дверью.

Тогда его провожатый (может быть, это Иларион? — он не знает) говорит кому-то: «Грядет господь»,— и их вводят в комнату с низким потолком, без всякого убранства.

Антонию бросается в глаза длинная кровавого цвета Хризалида с человечьей светящейся головой и слово «Кнуфис», написанное по-гречески вокруг этой головы. Хризалида венчает ствол колонны, стоящей прямо против него на пьедестале. Стены комнаты украшены железными полированными медальонами с головами животных — быка, льва, орла, собаки и даже осла!

Глиняные светильники, висящие под этими медальонами, слабо мерцают. Сквозь отверстие в стене Антоний видит лунную дорожку на море, различает тихий плеск волн и глухие удары корабля о камни мола.

Мужчины сидят на корточках, закрыв лица плащами, и время от времени как бы сдавленно лают. Женщины дремлют, положив голову на руки; они так закутаны в покрывала, что их можно принять за кучи тряпья, разложенные вдоль стены. Возле них полуобнаженные дети, сплошь покрытые насекомыми, тупо глазеют на пламя светильников; никто ничего не делает, все ждут чего-то.

Люди говорят вполголоса о своих семьях или сообщают друг другу средства от болезней. Многие собираются отплыть на рассвете, ибо гонения усиливаются. Однако язычников обмануть нетрудно. «Они воображают, глупцы, будто мы поклоняемся Кнуфис!»

Но тут, внезапно вдохновившись, один из братьев встает перед колонной, где поверх корзины, наполненной укропом и кирказоном, лежит большой хлеб.

Остальные занимают свои места, выстроившись тремя параллельными рядами.

Вдохновленный

(развертывает свиток с цилиндрическими фигурами)

На тьму сошел луч Слова, и раздался могучий крик, походивший на голос света.

Все

(покачиваясь)

Кирие элейсон!

Вдохновленный

Затем нечестивый бог Израиля сотворил человека с помощью

(указывая на медальоны)

Астофая, Орая, Саваофа, Адонаи, Элохим, Яо!

И человек лежал в грязи, мерзостный, немощный, безобразный, тупой.

Все

(жалобно)

Кирие элейсон!

Вдохновленный

Но София, сострадая, оживила его частицей своей души.

Тогда, узрев красоту человека, бог разгневался. Он заточил его в своем царстве, запретив ему вкушать от древа познания.

София еще раз помогла человеку. Она послала змия, который побудил его хитрыми уловками преступить сей закон ненависти.

И человек, вкусив познания, постиг небесное.

Все

(громко)

Кирие элейсон!

Вдохновленный

Но из мести Ябдалаоф низверг человека в материю и змия вместе с ним.

Все

(очень тихо)

Кирие элейсон!

(Умолкают.)

В теплом воздухе запахи гавани смешиваются с чадом светильников. Фитили, потрескивая, тухнут; кружатся крупные москиты. Антоний стонет в тоске: что-то чудовищное надвигается на него, и он ощущает ужас перед преступлением, готовым совершиться. Но

Вдохновленный

(топая ногой, щелкая пальцами, тряся головой, поет в неистовом ритме под звуки кимвалов и визгливой флейты)

Явись! Явись! Явись! Выйди из своей пещеры!

Быстрый, ты бежишь без ног, ловкий, ты берешь без рук!

Петляющий, как реки, кругообразный, как солнце, черный с золотыми пятнами, как твердь, усеянная звездами, подобный извивам лозы и спиралям внутренностей!

Нерожденный! Пожирающий землю! Вечно юный! Прозорливый! Почитаемый в Эпидавре! Милостивый к людям! Исцеливший царя Птолемея, воинов Моисея и Главка, Миносова сына!

Явись! Явись! Явись! Выйди из своей пещеры!

Все

(повторяют)

Явись! Явись! Явись! Выйди из своей пещеры!

Никто не показывается.

Почему? Что с ним?

Все совещаются, предлагают разные средства.

Какой-то старик приносит кусок дерна. Тут в корзине что-то начинает шевелиться. Зелень колеблется, цветы опадают — и появляется голова пифона.

Он медленно ползет по хлебу, подобно кольцу, вращающемуся вокруг неподвижного диска, потом развертывается, поднимается; он огромен и немалого веса. Не давая ему касаться земли, мужчины поддерживают его грудью, женщины — головой, дети — ладонями; и его хвост, выйдя через отверстие в стене, вытягивается все больше и больше до дна моря. Кольца его раздваиваются, заполняют комнату; они опоясывают Антония.

Верные

(припадая губами к коже пифона, вырывают друг у друга хлеб, который он надкусил)

Это ты! Это ты!

Ты был вознесен Моисеем, сокрушен Езекией, воссоздан Мессией, он испил тебя в водах крещения, но ты покинул его в Гефсиманском саду, и он почувствовал тогда всю свою слабость.

Изогнувшись на перекладине креста, над его главой, точа слюну на терновый венец, ты созерцал его смерть, ибо ты — не Иисус, нет, ты — само Слово! Ты — Христос!

Антоний лишается чувств от ужаса и падает перед своей хижиной на щепки, где слабо тлеет факел, выскользнувший у него из рук.

От сотрясения глаза его открываются; в бледном сиянии луны он замечает Нил, светлый и извилистый, как огромная змея, лежащая среди песков; и снова его обуревают видения, как будто он и не покидал офитов: они окружают его, зовут с собой, везут поклажу, спускаются к гавани. Он отплывает вместе с ними.

Неощутимо течет время.

И вот над Антонием свод темницы. Прутья решетки в окне кажутся черными линиями на голубом фоне неба; по сторонам, в полутьме, плачут и молятся люди, окруженные другими, которые их ободряют и утешают.

Снаружи ему чудится гул толпы и блеск летнего дня.

Пронзительные голоса предлагают арбузы, воду, напитки со льдом, сенники для сиденья. Время от времени гремят рукоплескания. Он слышит шаги над своей головой.

Вдруг раздается долгий рев, могучий и гулкий, как шум воды в акведуке.

И он видит за другой решеткой льва, который расхаживает по своей клетке; затем ряд сандалий, голых ног и пурпурную бахрому. Дальше идут, постепенно расширяясь, переполненные народом ярусы цирка, от нижнего, замыкающего арену, до верхнего, над которым натянут прикрепленный к шестам гиацинтовый навес. Лестницы, спускаясь по направлению к центру, делят на разные промежутки эти огромные каменные ряды. Ступеней не видно — так густо усеяли их зрители: всадники, сенаторы, солдаты, плебеи, весталки и куртизанки — в шерстяных капюшонах, шелковых одеждах, желтых туниках с украшениями из драгоценных камней, с султанами из перьев и ликторскими связками; все это кишит, орет, неистовствует и оглушает Антония как огромный кипящий котел. Посреди арены, на жертвеннике, курится сосуд с фимиамом.

Итак, люди вокруг него — христиане, обреченные на растерзание. Мужчины — в красных плащах жрецов Сатурна, женщины — в повязках Цереры. Друзья делят между собой их одежду, их кольца. Чтобы проникнуть в тюрьму, говорят они, пришлось дать много денег. Нужды нет! Они останутся там до конца.

Среди утешителей Антоний замечает лысого человека в черной тунике, лицо которого он где-то видел; лысый говорит несчастным о бренности мира и о блаженстве избранных. Антоний охвачен любовью. Он жаждет отдать свою жизнь за Спасителя, и ему кажется, что сам он тоже один из мучеников.

Но, кроме длинноволосого фригийца, молитвенно воздевшего руки, у всех христиан грустный вид. Старик рыдает на скамье, юноша стоит с опущенной головой, погруженный в думы.

Старик
(отказался платить на углу перекрестка, перед статуей Минервы; и он смотрит на товарищей взглядом, в котором можно прочитать):

«Вы должны были бы прийти мне на помощь! Общины добиваются иногда, чтобы их оставили в покое. Многие из вас приобрели даже подложные грамоты, свидетельствующие о жертвоприношении идолам».

(Спрашивает.)

Разве не Петр Александрийский поучал, как нужно поступать, когда изнеможешь от пыток?

(Про себя.)

Тяжко это в мои годы! Немощи ослабили меня! И все же я мог бы протянуть до будущей зимы!

Воспоминание о своем садике умиляет его, и он смотрит в сторону жертвенника.

Юноша
(затеявший драку на празднестве Аполлона, бормочет)

Ведь только от меня зависело бежать в горы!
— Солдаты схватили бы тебя,—

говорит один из братьев.

— О! Я поступил бы, как Киприан,— я отрекся бы; и в другой раз проявил бы больше мужества, уверен!

Он думает о долгих днях предстоявшей жизни, о всех радостях, которых ему не суждено изведать, и тоже смотрит в сторону жертвенника.

Человек в черной тунике
(подбегает к нему)

Какой позор! Что ты говоришь, ты — избранник божий? Все эти женщины взирают на тебя, подумай только! И потом, бог творит иной раз чудеса. Пионий заставил оцепенеть руки своих палачей, кровь Поликарпа погасила пламя костра.

(Оборачивается к старику.)

Отец, отец! Ты должен показать нам пример своею смертью. Оттягивая ее, ты не преминул бы совершить дурной поступок, который погубил бы плод твоих добрых дел. Могущество божие бесконечно. Быть может, твой пример обратит весь народ.

А львы между тем безостановочно мечутся по клетке. Самый большой из них взглянул на Антония, зарычал, и пар вырвался из его пасти.

Женщины сбились в кучу около мужчин.

Утешитель

(ходит от одного к другому)

Что сказали бы вы, что сказал бы ты, если бы тебя жгли каленым железом, если бы тебя четвертовали, если бы твое тело, вымазанное медом, жалили пчелы? Ты же умрешь смертью охотника, врасплох захваченного в лесной чаще.

Антоний предпочел бы попасться к свирепым диким зверям; ему кажется, что он чувствует их зубы, их когти, что его кости хрустят в их пасти.

В темницу входит беллуарий; мученики дрожат.

Один лишь фригиец, тот, что молился в стороне, остается бесстрастным. Он сжег три храма; и он идет вперед, воздев руки, с отверстыми устами, обратив взор к небу и ничего не видя вокруг, как сомнамбула.

(Взывает.)

Назад, назад! Дух Монтана может овладеть вами.

Все

(отступают, крича)

Проклятие монтанисту!

Они ругают фригийца, плюют в него, готовы его избить.

Львы яростно прыгают, вцепляясь друг другу в гривы. Народ вопит: «Зверей! Зверей!»

Мученики, рыдая, сжимают друг друга в объятиях. Им предлагают чашу дурманящего вина. Они поспешно передают ее из рук в руки.

У двери клетки другой беллуарий ожидает знака. Дверь отворяется: лев выходит.

В несколько прыжков он пересекает арену. За ним появляются другие львы, потом медведь, три пантеры, леопарды. Они разбредаются, как стадо по лугу.

Раздается щелканье бича. Христиане дрожат — и, чтобы покончить с этим, братья подталкивают их. Антоний закрывает глаза.

Когда он открывает их, кругом темно.

Вскоре мрак рассеивается, и Антоний различает сухую, бугристую равнину, какие бывают вокруг заброшенных каменоломен.

Растительность пробивается кое-где между плит, лежащих вровень с землей, и над ними стоят, склонившись, белые фигуры призрачнее облаков.

Легкой поступью приближаются другие. Их глаза блестят в разрезе длинных покрывал. По небрежности походки и по ароматам, доносящимся до него, Антоний узнает патрицианок. Есть тут и мужчины, но низшего сословия, ибо их лица грубы и простодушны.

Одна из женщин
(глубоко вздыхая)

Как хорошо дышать воздухом прохладной ночи среди гробниц! Меня истомила нега ложа, дневной шум, давящий зной солнца!

Служанка вынимает из холщового мешка факел и зажигает его. Верные зажигают от него другие факелы и втыкают в могилы.
(Тяжело дыша.)

Наконец-то я здесь! Какая тоска быть женой идолопоклонника!

Другая

Посещения темниц, беседы с братьями — все вызывает подозрения у наших мужей! И даже крестное знамение приходится творить втайне: они сочли бы его за магическое заклинание.

Третья

У меня с мужем дня не обходилось без ссор; я не желала подчиняться его домогательствам, а он донес из мести, что я христианка.

Четвертая

Помнишь, Луция, того молодого красавца, которого привязали, как Гектора, к колеснице? Его тащили от Эсквилинских ворот до Тибуртинских холмов, и кровь пятнала кустарник по обе стороны дороги! Я собрала капли этой крови. Вот она!

(Вынимает спрятанную на груди губку,— губка вся почернела от крови,— осыпает ее поцелуями, затем бросается на могильную плиту.)

Мой друг, мой любимый друг!

Мужчина

Сегодня исполнилось ровно три года, как погибла Домитилла. Она была побита камнями в Прозерпининой роще. Я собрал ее кости, сверкавшие, как светляки в траве. Ныне земля покрывает их!

(Бросается на могилу.)

Невеста моя! Невеста!

Остальные
(оглашают всю равнину своими восклицаниями)

О сестра моя! Брат мой! Дочь моя! Мать моя!

(Они стоят на коленях, закрыв лица руками, или лежат ничком, раскинув руки, и грудь их разрывается от сдавленных рыданий. Возведя очи к небу, говорят.)

Буди милостив, господи, к его душе! К ее душе! Она томится в обители теней, даруй ее воскресение, дабы она могла радоваться твоему свету!

(Устремив взор на плиты, шепчут.)

Покойся с миром! Тебе принесено вино, мясо!

Вдова

Вот кушанье, приготовленное мною по его вкусу; в нем много яиц и двойная мера муки! Мы вместе будем есть его, как прежде, ведь правда?

Она пробует блюдо и вдруг начинает смеяться страшным, безумным смехом.

Другие, как и она, жуют что-то, отпивают глоток вина.

Они делятся рассказами о своих мучениях; горе уже не знает предела, возлияния множатся. Мокрыми от слез глазами они смотрят друг на друга. Что-то бормочут в опьянении и отчаянии; мало-помалу их руки соприкасаются, губы соединяются, покрывала приоткрываются, и они падают друг другу в объятия на могилах, среди чаш и факелов.

Небо начинает сереть. Туман увлажняет одежды, и, словно чужие, христиане расходятся разными дорогами по равнине.

Солнце сияет, трава стала выше, местность преобразилась.

Антоний отчетливо видит сквозь заросли бамбука целый лес голубовато-серых колонн. Это деревья, выросшие из одного ствола. От каждой ветви спускаются вниз молодые побеги и уходят в почву; и это бесконечное множество горизонтальных и перпендикулярных линий напоминало бы леса чудовищной постройки, если бы среди черноватой листвы не виднелись кое-где небольшие плоды смоковницы.

Антоний различает у основания ветвей кисти желтых цветов, фиолетовые цветы и папоротники, похожие на птичьи перья.

Под деревьями мелькают рога бубала или блестящие глаза антилопы; сидят попугаи, порхают бабочки, ползают ящерицы, жужжат мухи, и в тишине слышится как бы биение таинственной жизни.

При входе в лес, на сложенных для костра бревнах, стоит странная фигура — человек, обмазанный коровьим навозом, совершенно голый, иссохший, как мумия; его руки и ноги подобны узловатым палкам. К ушам подвязаны раковины, лицо длинное, с ястребиным носом. Вытянутая левая рука одеревенела, как кол; он стоит здесь, не сходя с места, так давно, что птицы свили гнездо в его волосах.

По углам костра разгорается огонь. Солнце светит прямо в лицо человеку. Он созерцает его широко раскрытыми глазами и, не смотря на Антония, вопрошает.

Брамин с берегов Нила, что скажешь ты?

Между бревнами показывается пламя, и

Гимнософист
(продолжает)

Подобно носорогу, я стал жить в одиночестве. Прибежищем мне служило дерево, то, что растет позади меня.

Действительно, в стволе толстой смоковницы видно естественное углубление в рост человека.

Я кормился цветами и плодами, столь строго соблюдая заповеди, что даже собаки не видели, как я ем.

Жизнь происходит от греха, грех — от желания, желание — от ощущения, ощущение — от соприкосновения, вот почему я избегал всякого действия, всякого соприкосновения, и, недвижимый, как надгробная стела, дыша через ноздри, сосредоточивая взгляд на своем носу и созерцая эфир в своем духе, мир в своем теле, луну в своем сердце, я размышлял о сущности великой Души, из коей непрерывно вырываются, как искры из пламени, начала жизни.

Я постиг, наконец, мировую Душу во всех существах, все существа в мировой Душе, и мне удалось ввести в нее свою душу, которую я наделил всеми пятью свойствами.

Я получаю знание прямо с неба, как птица чатака, которая утоляет жажду только в струях дождя.

И благодаря тому, что я познал все сущее, оно перестало для меня существовать.

Для меня теперь нет надежды и нет тоски, нет счастья, нет добродетели, нет ни дня, ни ночи, ни тебя, ни меня — нет ничего, ровно ничего.

Страшные лишения сделали меня могущественнее Сил. Напряжением воли я могу убить сто царских сыновей, низринуть богов с престола, ниспровергнуть мир.

(Гимнософист произносит все это бесстрастным голосом.)

Листья вокруг свертываются. Крысы разбегаются.

(Он медленно переводит взгляд на огонь, который вздымается все выше, и добавляет.)

Я почувствовал отвращение к материи, отвращение к восприятию, отвращение к самому знанию, ибо мысль не более долговечна, чем преходящее явление, которое ее породило, а разум — только видимость, как и все остальное.

Все, что рождено, погибнет, все, что умерло, оживет; существа, ныне исчезнувшие, пребудут в не созданных

еще утробах и вернутся на землю, чтобы в муках служить другим созданиям.

Я влачил бесконечное множество существований в обличии богов, людей и животных и теперь отказываюсь от странствия — я не желаю больше уставать! Я покидаю свою грязную оболочку, грубо выкроенную из мяса, красную от крови, покрытую безобразной кожей, полную нечистот, и в награду себе отхожу, наконец, ко сну в глубочайшие недра абсолютного, в Небытие.

Пламя подымается до его груди, затем охватывает все тело. Только голова выступает как бы из отверстия в стене. Глаза попрежнему широко открыты.

Антоний
(поднимается с земли)

Факел поджег древесные щепки, и пламя опалило ему бороду. Антоний с криком топчет огонь и, когда остается лишь груда золы, говорит:

Где же Иларион? Он только что был здесь.

Я видел его!

Нет, это немыслимо, я ошибаюсь!

Но почему?.. Моя хижина, камни, песок, пожалуй, не более вещественны. Я схожу с ума. Надо успокоиться. Где я был? Что произошло?

А! Гимнософист!.. Такая смерть обычна у индийских мудрецов. Калан сжег себя в присутствии Александра; другой мудрец сделал то же во времена Августа. Какую ненависть надо питать к жизни, чтобы дойти до самосожжения! Быть может, их толкает на это гордость!.. Все равно, велико бесстрашие мучеников! Ну, а что до тех, других, я верю теперь всем толкам об их распущенности.

Что же было до этого? Да, вспоминаю! Толпа ересиархов... Какие крики! Какие глаза! И в чем причина стольких излишеств плоти и заблуждений духа?

И всеми этими путями они думают приблизиться к богу! Какое право я имею проклинать их? Ведь я сам спотыкаюсь. Когда они исчезли, я был, вероятно, близок к истине. Все проносилось мимо, как в вихре; у меня не было времени найти ответ. Теперь мой разум стал как бы шире и яснее. Я спокоен. Я чувствую себя способным... Но что это? Ведь я затушил огонь!

Огонек мелькает между скалами, и чей-то прерывистый голос слышится далеко, в горах.

Что это — вой гиены или рыдания заблудившегося путника?

Антоний слушает. Огонек приближается. Антоний видит плачущую женщину, которая опирается на руку человека с седой бородой.

На ней пурпурная мантия в лохмотьях. Он — с обнаженной головой, как и она, в тунике того же цвета; в руках у него бронзовый сосуд, над которым вьется синий огонек.

Антонию страшно — и хочется узнать, кто эта женщина.

Чужеземец (Симон)

Эта девушка — бедное дитя, которое я повсюду вожу с собой.

(Поднимает бронзовый сосуд.)

Антоний рассматривает девушку при свете колеблющегося пламени. На лице у нее следы укусов, руки испещрены рубцами; растрепанные волосы запутались в прорехах рубища; глаза кажутся невидящими.

Симон

Иногда она подолгу бывает такой, не говорит, не ест; потом пробуждается — и изрекает удивительные вещи.

Антоний

Правда?

Симон

Эннойя! Эннойя! Эннойя, расскажи о том, что ты знаешь.

Она озирается, как бы пробуждаясь ото сна, медленно проводит пальцами по бровям и говорит жалобным голосом.

Елена (Эннойя)

У меня живет в памяти страна изумрудного цвета. Единственное дерево заполняет ее всю.

Антоний вздрагивает.

По два Духа обитают в промежутках между его широких ветвей, которые переплелись вокруг них, как вены в теле человека. Духи созерцают круговращение вечной жизни, от корней, погруженных во мрак, до вершины, превышающей солнце. Я жила на второй ветке, и лицо мое освещало летние ночи.

Антоний

(прикасаясь ко лбу)

А! Понимаю! Не в порядке голова!

Симон
(приложив палец к губам)

Тсс!..

Елена

Парус был надут, судно разрезало волны. Он говорил мне: «Нужды нет, если я повергну в негодование свою родину, если я лишусь царства! Ты будешь принадлежать мне в моем доме!»

Как хороша была высокая комната в его дворце! Он покоился на ложе из слоновой кости и, лаская мои волосы, пел, как влюбленный.

В конце дня я видела оба лагеря, где зажигались сигнальные огни, Улисса у входа в палатку, Ахилла в полном вооружении, правившего колесницей по берегу моря.

Антоний

Она безумна, совсем безумна! Отчего?..

Симон

Тсс!.. Тсс!..

Елена

Они умастили меня мазями и продали черни, чтобы я забавляла ее.

Однажды вечером я играла на систре, и под эту музыку плясали греческие матросы. Дождь лил, не переставая, на крышу таверны, и чаши горячего вина дымились. Вошел человек, хотя дверь при этом не отворилась.

Симон

То был я! Я вновь нашел тебя!

Вот она, Антоний,— та, кого зовут Сиге, Эннойя, Барбело, Пруникос! Из зависти Духи, правители мира, заключили ее в тело женщины.

Она была Еленой Троянской, чью память заклеймил поэт Стесихор. Она была Лукрецией, патрицианкой, изнасилованной царями. Она была Далилой, обрезавшей волосы Самсону. Она была той дщерью Израиля, которая отдавалась козлам. Она любила блуд, идолопоклонство, ложь и глупость. Она продавала свое тело всем народам. Она пела на всех перекрестках. Она целовала всех мужчин.

В Тире Сирийском она была любовницей воров. Она пила с ними по ночам и укрывала убийц в тепле своего грязного ложа.

Антоний

Что мне до этого!..

Симон
(в неистовстве)

Я выкупил ее, говорю тебе, восстановил в прежней славе, и даже Гай Цезарь Калигула влюбился в нее, ибо пожелал спать с Луною!

Антоний

Ну?..

Симон

Но ведь она и есть Луна! Разве не писал папа Климент, что она была заточена в башню? Триста человек окружили башню и в каждой бойнице увидели одновременно Луну, хотя в мире лишь одна луна и одна Эннойя!

Антоний

Да... Я что-то припоминаю...
(Погружается в задумчивость.)

Симон

Невинная, как Христос, умерший за мужчин, она принесла себя в жертву ради женщин. Ибо бессилие Иеговы явствует из грехопадения Адама, и древний закон, противный порядку вещей, должен быть отвергнут.

Я проповедовал обновление в колене Ефремовом и Иссахаровом, странствуя по берегу потока Бизор, за озером Уле, в долине Мегиддо, по ту сторону гор, в Бостре и Дамаске. Да придут ко мне те, кто запятнан вином, кто запятнан грязью, кто запятнан кровью, и я очищу их от скверны Духом святым, получившим именование Минервы у греков! Она — Минерва! Она — Дух святой! Я — Юпитер, Аполлон, Христос, Параклет, великое могущество божие, воплощенное в образе Симона!

Антоний

Так это ты!.. Ты? Мне ведомы твои преступления!

Ты родился в Гиттоне, вблизи Самарии. Досифей, твой первый учитель, прогнал тебя. Ты проклял апостола Пав-

ла за то, что он обратил одну из твоих жен, и, побежденный апостолом Петром, в страхе и ярости бросил в воду мешок с твоими ложными чудесами!

Симон

Хочешь совершать их?

Антоний смотрит на Симона, и внутренний голос нашептывает ему: «А почему бы нет?»

(Симон продолжает.)

Познавший силы Природы и сущность Духов должен творить чудеса. Такова мечта всех мудрецов — и желание, гложущее тебя. Признайся!

Окруженный толпами римлян, я взлетал в цирке так высоко, что пропадал из глаз. Нерон приказал меня обезглавить: но на землю вместо моей головы упала голова овечья. Наконец меня заживо погребли, но я воскрес на третий день. Доказательство — я перед тобой!

(Дает ему понюхать свои руки. Они пахнут трупом.)

Антоний отшатывается.

Стоит мне повелеть — и задвижутся бронзовые змеи, засмеются мраморные изваяния, заговорят собаки. Я покажу тебе несметные сокровища; я посажу царей на престолы; ты узришь народы, поклоняющиеся мне! Я могу ступать по облакам и по волнам, проходить сквозь горы, являться в образе юноши, старца, тигра и муравья, принять твой облик и дать тебе свой, могу направлять молнию. Слышишь?

Гремит гром, сверкают молнии.

Се глас Всевышнего! «Ибо Вечный твой бог есть огонь», и все создания исходят от искр этого очага.

Ты примешь это крещение — и второе крещение, возвещенное Иисусом и сошедшее однажды на апостолов во время грозы, когда было отворено окно!

Двигает рукой, и пламя медленно колеблется, как бы окропляя Антония.

Мать милосердия, ты, открывающая тайны, дабы покой посетил нас в восьмой обители...

Антоний
(восклицает)

Если бы только у меня была святая вода!

Пламя гаснет, сильно чадя. Эннойя и Симон исчезли.

Чрезвычайно холодный, густой и зловонный туман опускается на землю.

(Простирая руки, как слепой.)

Где я?.. Как бы мне не упасть в пропасть! А крест, наверное, далеко...

Какая ночь! Какая ночь!

Порыв ветра раздвигает туман — и Антоний видит двух людей, одетых в длинные белые туники.

Первый — высокого роста, с приятным лицом и величественной осанкой. Его русые волосы, разделенные пробором, как у Христа, волнами спадают на плечи. Он бросил жезл, который держал в руке, и его спутник принял его с поклоном, какие отвешивают на Востоке.

Спутник небольшого роста, толстый, курносый, плотный; у него курчавые волосы и простодушное лицо.

Оба они с непокрытыми головами, босы, запылены, как вернувшиеся из странствия путники.

(Вздрогнув.)

Что вам нужно? Говорите! Прочь отсюда!

Дамид
(тот, что мал ростом)

Ну-ну!.. Добрый отшельник! Что мне нужно?.. Не знаю! Вот учитель!

Садится; спутник его стоит. Молчание.

Антоний

Итак, вы пришли?..

Дамид

О да! Издалека!

Антоний

А идете?..

Дамид
(указывая на спутника)

Куда он прикажет!

Антоний

Но кто же он?

Дамид

Взгляни на него!

Антоний
(в сторону)

Он похож на святого! Если бы я посмел...
Дым рассеялся. Ночь очень светла. Луна сияет.

Дамид

Ты умолк? О чем ты думаешь?

Антоний

Я думаю... Так, ни о чем.

Дамид
(направляется к Аполлонию и несколько раз обходит вокруг него, согнувшись, не подымая головы)

Учитель! Вот галилейский отшельник, желающий знать начало премудрости.

Аполлоний

Пусть приблизится!
Антоний колеблется.

Дамид

Приблизься!

Аполлоний
(громовым голосом)

Приблизься! Тебе хотелось бы знать, кто я, что совершил, о чем я думаю? Не так ли, дитя?

Антоний

Да, если это может помочь моему спасению.

Аполлоний

Радуйся, я скажу тебе!

Дамид
(тихо, Антонию)

Непостижимо! Видно, он с первого взгляда усмотрел в тебе незаурядную склонность к философии! Я тоже этим воспользуюсь!

Аполлоний

Я расскажу тебе сначала про длинный путь, который я прошел в поисках истинного учения; и если ты найдешь во всей моей жизни хоть один дурной поступок, ты оста-

новишь меня, ибо тот, кто сеял зло своими делами, должен вводить в соблазн и своими словами.

Дамид
(Антонию)

Какой справедливый человек!

Антоний

Право же, мне кажется, что он искренен.

Аполлоний

В ночь, когда я родился, моей матери пригрезилось, будто она рвет цветы на берегу озера. Сверкнула молния — и она произвела меня на свет под пение лебедей, слышавшееся ей в сновидении.

До пятнадцатилетнего возраста меня трижды в день погружали в Асвадейский источник, воды которого поражают водянкой клятвопреступников, и тело мне растирали листьями книзы, дабы я оставался целомудренным.

Однажды вечером ко мне пришла пальмирская принцесса и предложила сокровища, скрытые, как ей было известно, в гробницах. Гиеродула храма Дианы зарезалась с отчаяния жертвенным ножом, а правитель Киликии после всяких посулов пригрозил моим родителям, что убьет меня, но сам скончался спустя три дня, умерщвленный римлянами.

Дамид
(Антонию, подталкивая его локтем)

Что я тебе говорил? Вот это человек!

Аполлоний

Четыре года подряд я хранил полное молчание пифагорейцев. Ни боль, ни неожиданность не могли исторгнуть у меня ни единого вздоха, и, когда я входил в театр, люди отстранялись от меня, как от призрака.

Дамид

Ну, а ты? Мог бы ты это сделать?

Аполлоний

По окончании срока моего искуса я стал наставлять жрецов, забывших предание.

Антоний

Какое предание?

Дамид

Не мешай ему говорить! Молчи!

Аполлоний

Я беседовал с саманеями Ганга, с халдейскими астрологами, с вавилонскими магами, с галльскими друидами, с жрецами негров! Я взошел на четырнадцать Олимпов, я исследовал озера Скифии, я измерил громадность пустыни!

Дамид

И все это правда, сущая правда! Я всюду был с ним!

Аполлоний

Сначала я побывал у Гирканского моря. Я обошел вокруг него и через страну бараоматов, где погребен Буцефал, спустился в Ниневию. У городских ворот ко мне приблизился человек.

Дамид

Это был я, мой добрый учитель! Я сразу же полюбил тебя! Ты был нежнее девушки и прекраснее бога!

Аполлоний
(не слушая его)

Он хотел сопровождать меня и служить мне толмачом.

Дамид

Но ты ответил, что понимаешь все языки и отгадываешь все мысли. Тогда я облобызал край твоего плаща и пошел за тобою.

Аполлоний

После Ктесифона мы вступили в земли Вавилонские.

Дамид

И сатрап испустил крик при виде столь бледного человека...

Антоний
(в сторону)

И это означает, что...

Аполлоний

Царь принял меня стоя, у серебряного трона, в круглой зале, усеянной звездами, а с купола ее свешивались на невидимых нитях четыре большие золотые птицы с распростертыми крыльями.

Антоний
(мечтательно)

Неужели есть на свете такие чудеса?

Дамид

Что за город Вавилон! Все там богаты! Дома выкрашены в синий цвет, двери бронзовые, лестницы спускаются к реке.

(Чертит по земле палкой.)

Вот так, видишь? А потом — храмы, площади, бани, акведуки! Дворцы отделаны красной медью! А внутри... если б ты только видел!

Аполлоний

На северной городской стене стоит башня, над ней — вторая, третья, четвертая, пятая и еще три других! Восьмая — святилище с ложем. Туда не входит никто, кроме женщины, избранной жрецами для бога Бела. Царь вавилонский поселил меня там.

Дамид

А меня даже не замечали! Вот я и гулял в одиночестве по улицам. Я расспрашивал про обычаи, посещал мастерские, рассматривал громадные машины, доставляющие воду в сады. Но мне было скучно без Учителя.

Аполлоний

Наконец мы покинули Вавилон и при свете луны неожиданно увидели эмпусу.

Дамид

Да, да! Она прыгала на своем железном копыте, ревела, как осел, скакала по утесам. Учитель изругал ее, и она исчезла.

Антоний
(в сторону)

К чему они клонят?

Аполлоний

В Таксиле, столице пяти тысяч крепостей, Фраорт, царь гангский, показал нам своих чернокожих гвардейцев, ростом в пять локтей, а в дворцовых садах, под навесом из зеленой парчи,— огромного слона, которого царицы натирали забавы ради благовониями. То был слон Пора, сбежавший после смерти Александра.

Дамид

И которого нашли в лесу.

Антоний

Они говорят без удержу, как пьяные.

Аполлоний

Фраорт пригласил нас к своему столу.

Дамид

Что за диковинная страна! На пирах владыки развлекаются тем, что мечут стрелы под ноги пляшущим детям. Но я не одобряю...

Аполлоний

Когда я собрался в путь, царь дал мне зонт и сказал: «У меня есть на Инде табун белых верблюдов. Когда они тебе больше не понадобятся, подуй им в уши. Они возвратятся».

Мы спустились вниз по течению реки, ехали по ночам при мерцании светляков, сиявших в бамбуковых зарослях. Раб насвистывал песню, чтобы отгонять змей, и наши верблюды пригибались, проходя под деревьями, словно это были низкие двери.

Однажды черный ребенок с золотым кадуцеем в руке привел нас в школу мудрецов. Их глава, Ярхас, поведал мне о моих предках, обо всех моих мыслях, поступках, существованиях. Он был некогда рекою Индом и напомнил мне, что я водил барки по Нилу во времена царя Сезостриса.

Дамид

А мне ничего не было сказано, и я не знаю, кем был прежде.

Антоний

Они призрачны, как тени.

Аполлоний

Мы встретили на морском берегу упившихся молоком кинокефалов, которые возвращались из похода на остров Тапробан. Теплые волны несли нам светлый жемчуг. Амбра хрустела у нас под ногами. Китовые скелеты белели в расселинах береговых скал. В конце концов полоса земли стала у́же наших сандалий, и, брызнув к солнцу водой из океана, мы свернули вправо, чтобы возвратиться назад.

На обратном пути мы пересекли область ароматов, страну гангаридов, мыс Комарийский, землю сахалитов, адрамитов и гомеритов и, миновав Кассанийские горы, Красное море и остров Топаз, проникли в Эфиопию через царство пигмеев.

Антоний
(в сторону)

Как велика земля!

Дамид

И когда мы пришли домой, все те, кого мы знали некогда, уже умерли.

Антоний опускает голову. Молчание.

Аполлоний

Тогда в народе прошел слух обо мне.

Чума опустошала Эфес; я приказал побить камнями старика нищего.

Дамид

И чума прекратилась!

Антоний

Как! Он побеждает болезни?

Аполлоний

В Книде я излечил человека, влюбленного в статую Венеры.

Дамид

Да, безумца, который даже обещал жениться на ней. Любить женщину еще туда-сюда, но изваяние — какая глупость! Учитель положил руку ему на сердце, и любовь тотчас же угасла.

Антоний

Что? Он изгоняет бесов?

Аполлоний

В Таренте несли на костер мертвую девушку.

Дамид

Учитель коснулся ее губ — и она поднялась, призывая мать.

Антоний

Как! Он воскрешает мертвых?

Аполлоний

Я предсказал власть Веспасиану.

Антоний

Неужели он отгадывает будущее?

Дамид

В Коринфе был...

Аполлоний

Возлежа за столом вместе с ним, на водах Байских...

Антоний

Простите меня, чужеземцы, уж поздно!

Дамид

Юношу звали Мениппом.

Антоний

Нет! Нет! Ступайте прочь!

Аполлоний

Вбежала собака, держа в пасти отрубленную руку.

Дамид

Как-то вечером, в предместье, он повстречал женщину.

Антоний

Уходите! Слышите?

Аполлоний

Собака кружила вокруг возлежащих.

Антоний

Довольно!

Аполлоний

Ее хотели прогнать.

Дамид

Менипп пошел к этой женщине; они предались любви.

Аполлоний

Постукивая хвостом по мозаике, собака положила руку на колени Флавия.

Дамид

Утром, на уроках в школе, Менипп был бледен.

Антоний
(вскакивая)

Опять за свое! Э, все равно, пусть продолжают...

Дамид

Учитель сказал ему: «Прекрасный юноша, ты ласкаешь змею, змея ласкает тебя! Когда же свадьба?» Мы все пошли на свадьбу.

Антоний

Глупо, право, что я слушаю все это!

Дамид

В прихожей суетились слуги, отворялись и затворялись двери; однако не было слышно ни шума шагов, ни стука дверей. Учитель поместился возле Мениппа. Тотчас же невеста рассердилась на философов. Вдруг золотая посуда, виночерпии, повара, хлебодары исчезли, крыша улетела, стены рухнули — и Аполлоний остался один; он стоял, а у его ног лежала в слезах эта женщина. То был вампир, соблазнявший красивых юношей, чтобы пожирать их плоть, ибо нет ничего сладостнее для этого рода призраков, чем кровь влюбленных.

Аполлоний

Если ты хочешь познать искусство...

Антоний

Я ничего не хочу!

Аполлоний

В тот вечер, когда мы прибыли к воротам Рима...

Антоний

Да, да, расскажи мне о папском городе!

Аполлоний

К нам подошел пьяный человек, у которого был приятный голос. Он пел эпиталаму Нерона и имел право умертвить всякого, кто слушает его невнимательно. Он носил за спиной в ящичке струну от кифары императора. Я пожал плечами. Он бросил нам в лицо грязью. Тогда я снял с себя пояс и вручил ему.

Дамид

Прости меня, но ты поступил неосмотрительно!

Аполлоний

Ночью император призвал меня во дворец. Он играл в кости со Спором, опершись левой рукой на агатовый столик. Он обернулся и, насупив светлые брови, спросил: «Почему ты не боишься меня?» «Потому что бог, который создал тебя грозным, дал мне бесстрашие»,— отвечал я.

Антоний
(в сторону)

Что-то необъяснимое наводит на меня ужас.

Молчание.

Дамид
(пронзительным голосом)

Да и вся Азия может рассказать тебе...

Антоний
(порывисто)

Я болен! Оставьте меня!

Дамид

Слушай же. Он видел из Эфеса, как убили Домициана, который находился в Риме.

Антоний
(пытаясь засмеяться)

Быть этого не может!

Дамид

Да, в театре, среди бела дня, в четырнадцатый день перед календами октября, Учитель неожиданно вскричал: «Цезаря убивают!» — и продолжал вещать время от времени: «Он падает на землю. О, как он отбивается! Он опять поднялся, пытается убежать; двери заперты; все кончено! Он мертв!» И в тот день, как тебе известно, Тит Флавий Домициан был действительно убит.

Антоний

Без помощи дьявола... разумеется...

Аполлоний

Домициан хотел умертвить меня! Дамид бежал по моему приказу, и я остался один в темнице.

Дамид

Надо признаться, это была безрассудная смелость!

Аполлоний

В пятом часу солдаты ввели меня в помещение трибунала. Речь моя была написана, и я держал ее под плащом.

Дамид

Мы же были на побережье близ Путеол! Мы думали, что ты уже мертв; мы плакали. И вот в шестом часу ты внезапно появился и сказал: «Это я!»

Антоний
(в сторону)

Как Спаситель!

Дамид
(очень громко)

Совершенно так же!

Антоний

Нет, нет! Вы, верно, лжете? Право же, вы лжете!

Аполлоний

Он сошел с Неба. Я же восхожу туда — по моей добродетели, вознесшей меня до высот Начала!

Дамид

Тиана, его родной город, воздвиг в его честь храм со жрецами!

Аполлоний
(приближается к Антонию и, наклонившись к нему, кричит)

Ибо я знаю всех богов, все обряды, все молитвы, все прорицания! Я проник в пещеру Трофиния, Аполлонова сына! Я месил для сиракузянок пироги, которые они носят в горы! Я выдержал восемьдесят испытаний Митры! Я прижимал к сердцу змею Сабазия! Я получил повязку Кабиров! Я омывал Кибелу в волнах кампанских заливов, и я провел три луны в пещерах Самофракийских!

Дамид
(с глупым смехом)

Ха, ха, ха! На таинствах Благой Богини!

Аполлоний

И ныне мы возобновляем паломничество!

Мы держим путь на север, в край лебедей и снегов. На белой равнине слепые гиппоподы топчут копытами заморские травы.

Дамид

Идем! Уже занялась заря. Петух пропел, конь проржал, парус натянут.

Антоний

Петух не пел! Я слышу кузнечика в песках и вижу луну, не двинувшуюся с места.

Аполлоний

Мы идем на юг, дальше гор и великих вод, искать в ароматах смысла любви. Ты вдохнешь запах мирродиона, от которого умирают слабые. Ты искупаешься в озере ро-

зового масла на острове Юнония. Ты увидишь спящую на примулах ящерицу, которая пробуждается каждое столетие, в пору зрелости, когда карбункул падает у нее со лба. Звезды сияют, как очи, водопады поют, как лиры, пьянящий аромат исходит от распустившихся цветов; дух твой расправит крылья на воле и озарит твое сердце и твой лик.

Дамид

Учитель! Пора! Скоро поднимется ветер, проснулись ласточки, миртовый лист улетел!

Аполлоний

Да, в путь!

Антоний

Нет, я остаюсь!

Аполлоний

Хочешь, я расскажу тебе, где растет трава Балис, которая воскрешает мертвых?

Дамид

Проси у него лучше андродамант, который притягивает серебро, железо и бронзу!

Антоний

О, как я страдаю! Как я страдаю!

Дамид

Ты научишься понимать голоса всех тварей, рычание, воркование!

Аполлоний

Ты будешь ездить верхом на единорогах, на драконах, на гиппокентаврах и дельфинах!

Антоний
(плачет)

О! о! о!

Аполлоний

Ты познаешь демонов, живущих в пещера, тех, что говорят в лесу, тех, что приводят в движение волны, тех, что толкают облака.

Дамид

Стяни свой пояс! Завяжи сандалии!

Аполлоний

Я разъясню тебе смысл изображений богов: почему Аполлон стоит, Юпитер сидит, почему Венера черна в Коринфе, четырехугольна в Афинах, конусообразна в Пафосе.

Антоний
(молитвенно складывая руки)

Пусть они уйдут! Пусть уйдут!

Аполлоний

Я сорву перед тобой доспехи с богов, мы взломаем святилище, я дам тебе изнасиловать Пифию!

Антоний

Господи, помоги мне!
(Подбегает к кресту.)

Аполлоний

Чего ты хочешь? О чем мечтаешь? Стоит тебе пожелать...

Антоний

Иисусе, Иисусе, спаси меня!

Аполлоний

Хочешь, я вызову Иисуса — и он явится?

Антоний

Что? Как?

Аполлоний

Это будет он! Никто иной! Он сбросит венец, и мы поговорим начистоту!

Дамид
(тихо)

Скажи, что очень этого хочешь! Очень хочешь!

Антоний шепчет молитвы у подножия креста.
Дамид заискивающе ходит вокруг него.

Полно, добрый отшельник, милый святой Антоний! Человек чистый, человек знаменитый! Человек достохвальный! Не пугайся: это попросту словесные гиперболы, заимствованные на Востоке. Они ничуть не мешают...

Аполлоний

Оставь его, Дамид!

Он верит, как невежда, в реальность вещей. Ужас перед богами мешает ему понять их сущность, и он снижает своего бога до уровня ревнивого царя!

Ты же, сын мой, не покидай меня!

(Пятясь, приближается к краю утеса, делает еще шаг и остается висеть в воздухе.)

Превыше всех материальных форм, далее земли, за небесами, пребывает мир Идей, преисполненный Слова! Одним прыжком мы преодолеем пространство, и ты постигнешь в их бесконечности Вечное, Абсолютное, Сущее! Идем! Дай мне руку! В путь!

Рука об руку они плавно подымаются вверх. Антоний, обхватив крест, смотрит на них. Они исчезают.

V

Антоний
(медленно прохаживаясь)

Этот человек опаснее ада!

Навуходоносор меньше поразил меня. Царица Савская не столь глубоко пленила.

Он говорит о богах так, что внушает желание узнать их.

Помню, я видел их сотнями на острове Элефантина во времена Диоклетиана. Император уступил кочевникам обширный край при условии, что они будут охранять его границы, и договор был заключен во имя «Сил незримых». Ибо боги одного народа были неведомы другим народам.

Варвары привезли своих богов. Они заняли песчаные холмы по берегу реки. Было видно, что они держат на руках своих идолов, словно больших паралитичных детей; или же, плывя среди порогов на пальмовых стволах, они показывали издали амулеты у себя на шее, татуировку на груди, что не более преступно, чем религия греков, азиатов и римлян!

Когда я жил в Гелиопольском храме, я часто рассматривал рисунки на стенах: ястребов со скипетрами, крокодилов, играющих на лире, лица мужчин с телами змей, женщин с коровьей головой, распростертых перед итифаллическими богами, и эти сверхъестественные изображения увлекали меня в иные миры. Мне хотелось знать, что видят их неподвижные глаза.

Чтобы обладать такой силой воздействия, материя должна заключать в себе дух. Душа богов связана с их образами...

Те из них, чей внешний облик красив, могут соблазнять. Но другие... мерзкие или страшные... как верить в них?..

Мимо него по земле движутся листья, камни, раковины, ветви, смутные изображения животных, затем какие-то уродцы, разбухшие от водянки; это боги. Он смеется.

Позади него тоже раздается смех, и появляется Иларион в одежде пустынника, колоссальный, гораздо выше ростом, чем раньше.

Антоний
(не удивлен, что снова видит его)

Каким глупцом нужно быть, чтобы поклоняться всему этому!

Иларион

О да! Настоящим глупцом!

Теперь перед ними проходят идолы всех народов и времен — из дерева, из металла, гранита, перьев и шкур.

Самые древние, существовавшие еще до Потопа, скрыты водорослями, свисающими, как гривы. У некоторых несоразмерно длинных идолов трещат суставы, и, ступая, они ломают себе поясницы. У других песок сыплется из дыр в животе.

Антоний и Иларион, которым они представляются уморительно смешными, от хохота хватаются за бока.

Вслед за тем проходят идолы, похожие на баранов. Они пошатываются на своих кривых ногах и, приподнимая веки, бормочут, как немые: «Бе-бе-бе!»

Чем ближе их облик к человеческому, тем сильнее они раздражают Антония. Он бьет их кулаками, ногами, в остервенении бросается на них.

Они становятся страшны — огромные перья на головах, выпученные глаза, когтистые руки, пасти, как у акул.

В угоду этим богам одних людей закалывают на каменных жертвенниках, других толкут в ступах, третьих давят колесницами или пригвождают к деревьям. Один из богов — тело у него из раскаленного докрасна железа, на голове — бычьи рога — пожирает детей.

Антоний

Как страшно!

Иларион

Но ведь боги всегда требуют жертв. Даже твой бог пожелал...

Антоний
(плача)

О, не договаривай, замолчи!

Площадка между скалами превращается в долину. Стадо быков щиплет чахлую траву.

Пастух смотрит на облако и резким голосом выкрикивает повелительные слова.

Иларион

Пастуху нужен дождь, и он поет, чтобы принудить небесного царя разверзнуть животворную тучу.

Антоний
(смеясь)

Какая дурацкая самонадеянность!

Иларион

А зачем ты произносишь заклинания?

Долина становится молочным морем, недвижным и беспредельным.

В море качается на волнах продолговатая колыбель, составленная из колец змея, все головы которого, одновременно склоняясь, затеняют бога, уснувшего на его теле.

Бог молод, безбород, прекраснее девушки и завернут в прозрачное покрывало. Жемчуга его тиары сияют нежно, как луны, четки из звезд несколькими рядами обвивают грудь; подложив одну руку под голову и вытянув другую, он покоится задумчиво и упоенно.

Женщина, присев на корточки у ног божества, ожидает его пробуждения.

Вот изначальная двойственность Браминов, ибо Абсолют нельзя облечь в форму.

Из пупка бога вырастает стебель лотоса, и в его чашечке возникает другой бог, трехликий.

Антоний

Что за диковина!

Иларион

Отец, Сын и Дух святой тоже ведь триедины.

Три главы разъединяются, и появляются три громадных бога.

Первый — розовый — кусает кончик большого пальца па своей ноге.

Второй — синий — двигает четырьмя руками.

У третьего — зеленого — ожерелье из людских черепов.

Прямо перед богами возникают три богини — одна завернута в сетку, другая предлагает чашу, третья потрясает луком.

Боги и богини удесятеряются, множатся. У них вырастают руки, держащие барабаны, знамена, топоры, щиты, мечи, зонты. Из их голов бьют фонтаны, из ноздрей свисают травы.

Верхом на птицах, лежа в паланкинах, восседая на золотых тронах, стоя в нишах, они предаются думам, путешествуют, повелевают, пьют вино, вдыхают запах цветов. Кружатся танцовщицы, гиганты преследуют чудовищ; у входов в пещеры размышляют пустынники. Нельзя отличить глаз от звезд, облаков от флагов; павлины пьют из золотоносных ручьев, вышивки на шатрах смешиваются с пятнами леопардов, цветные лучи скрещиваются в голубом воздухе с летящими стрелами и кадящими курильницами.

И все это развертывается как огромный фриз, который опирается основанием на скалы и теряется в небесах.

Антоний
(ослеплен)

Сколько их! Чего они хотят?

Иларион

Тот, что почесывает себе брюхо слоновым хоботом,— солнечный бог, вдохновитель мудрости.

А этот, о шести головах с башней на каждой из них и с дротиком в каждой из своих четырнадцати рук,— князь войск, всепожирающий Огонь.

Старик верхом на крокодиле едет, чтобы омыть на берегу души умерших. Их будет мучить эта черная женщина с гнилыми зубами, властительница преисподней.

Колесница с рыжими кобылицами, которою правит безногий возничий, везет по лазури владыку солнца. Бог луны сопровождает его в носилках, запряженных тремя газелями.

Коленопреклоненная на спине попугая богиня Красоты предлагает сыну Амуру свою круглую грудь. Вот она скачет от радости дальше, по лугам. Смотри! Смотри! В ослепительной митре богиня несется по нивам, по волнам, поднимается к небу — она везде и всюду.

Рядом с богами восседают Гении ветров, планет, месяцев, дней и тысячи всяких других! Облики их многообразны, превращения быстры. Один из рыбы становится черепахой; теперь у него голова кабанья и туловище карлика.

Антоний

Но зачем?

Иларион

Чтобы восстановить равновесие, чтобы побороть зло. Ведь жизнь иссякает, облики изнашиваются, и боги должны совершенствоваться в своих метаморфозах.

Появляется

Нагой человек,

который сидит на песке, скрестив ноги.

Широкое сияние мерцает позади него. Мелкие завитки иссиня-черных волос симметрично окружают выпуклость на темени. Очень длинные руки вытянуты вдоль тела. Кисти ладонями вверх прижаты к бедрам. На подошвах ног изображены два солнца; он пребывает в полной неподвижности перед Антонием и Иларионом, другие боги стоят за ним на скалах, как на ярусах цирка.

Его уста приоткрываются, и он изрекает низким голосом.

Я тот, кто раздает высшие милости, кто приходит на помощь всем тварям, кто наставляет в законе и верующих и непосвященных.

Дабы освободить мир, я восхотел родиться среди людей. Боги плакали, когда я покидал их.

Сначала я разыскал приличествующую мне женщину: воинского рода, супругу царя, преисполненную добродетели, красавицу с глубоким лоном и телом крепким, словно алмаз; и в пору полнолуния я проник в ее утробу без посредства самца.

Я вышел из нее через правый бок. Звезды остановились.

Иларион
(сквозь зубы)

«Увидевши же звезду, они возрадовались весьма великою радостью!»

Антоний внимательно смотрит на

Будду,

а тот продолжает.

Из глубины Гималаев столетний праведник пришел взглянуть на меня.

Иларион

«Человек, именем Симеон. Ему было предсказано Духом святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня...»

Будда

Меня приводили в школы, и я превосходил знанием учителей.

Иларион

«...сидящего посреди учителей; и все слушавшие его дивились разуму и ответам его».

Антоний знаками просит Илариона замолчать.

Будда

Я предавался размышлениям в садах. Тени деревьев перемещались; но тень того дерева, которое укрывало меня, не двигалась.

Никто не мог сравниться со мной в знании древних рукописей, в исчислении атомов, в управлении слонами, в работах из воска, в астрономии, поэзии, кулачном бою, во всех упражнениях и во всех искусствах!

Дабы не отступать от обычая, я взял себе супругу; и я проводил дни в своем царском дворце, одетый в жемчуга, среди волн ароматов, овеваемый опахалами тридцати трех тысяч женщин, взирая на мои народы с высоты террас, украшенных звенящими колокольчиками.

Но вид несчастий мира отвращал меня от наслаждений. Я бежал.

Я нищенствовал по дорогам, покрытый лохмотьями, подобранными в усыпальницах, и, встретив как-то весьма мудрого отшельника, я пожелал стать его рабом; я стерег его жилище, я омывал ему ноги.

Исчезли все ощущения, всякая радость, всякое томление.

Затем, погрузившись в более глубокое размышление, я познал сущность вещей, призрачность видимого.

Я быстро исчерпал науку Браминов. Под внешней своей суровостью они обуреваемы желаниями; они натираются нечистотами, спят на шипах, думая достигнуть блаженства путем смерти.

Иларион

«Фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, порождения ехидн!»

Будда

Я совершал также много удивительного — съедал за день одно только рисовое зерно, а рисовые зерна в то вре-

мя были не крупнее, чем ныне; мои волосы выпали, тело почернело, ушедшие в орбиты глаза казались звездами на дне колодца.

Шесть лет я пребывал в неподвижности, беззащитный перед мухами, львами и змеями; я подвергался великому зною, великим ливням, снегу, молнии, граду и буре, не прикрываясь от них даже рукой.

Путники, шедшие мимо, полагали, что я мертв, и швыряли в меня издали комьями земли.

Недоставало мне искушения Дьявола.

Я призвал его.

Пришли его сыны — мерзостные, покрытые чешуей, смердящие, как разложившиеся трупы, с ревом, свистом, мычанием, брядая доспехами и костями. Одни изрыгают пламя из ноздрей, другие создают тьму своими крыльями, третьи носят четки из отрубленных пальцев, четвертые пьют с ладони змеиный яд; головы у них свиные, носорожьи, жабьи, и все их обличия вызывают ужас и отвращение.

Антоний
(в сторону)

Я тоже это испытал!

Будда

Затем он послал ко мне своих дочерей — красивых, нарумяненных, с золотыми поясами, с зубами белыми, как жасмин, с бедрами круглыми, как хобот слона. Одни, позевывая, вытягивают руки, чтобы показать ямочки на локтях; другие подмигивают, третьи заливаются смехом, четвертые приоткрывают одежды. Есть среди них зардевшиеся от стыда девушки, горделивые матроны, царицы с длинной вереницей рабов и поклажи.

Антоний
(в сторону)

И с ним это было.

Будда

Победив демона, я провел двенадцать лет, питаясь одними благовониями; я приобрел пять добродетелей, пять дарований, десять сил, восемнадцать субстанций, проник в четыре сферы незримого мира, я овладел Разумом! Я стал Буддой!

Все боги склоняются; те, у кого несколько голов, мгновенно опускают их.

Он высоко поднимает руку и говорит.

Дабы освободить твари, я принес тысячи жертв! Я роздал бедным шелковые одежды, постели, колесницы, дома, груды золота и алмазов. Я отдал свои руки безруким, ноги хромым, глаза слепым; я отрубил свою голову для обезглавленных. В бытность мою царем я раздарил подвластные мне области; в бытность мою брамином я не презирал никого. Будучи отшельником, я говорил ласковые слова грабителю, убивавшему меня. Будучи тигром, я уморил себя голодом.

В своем последнем существовании я возвестил закон и ныне почил от дел. Великий срок завершен! Люди, животные, боги, бамбуки, океаны, горы, песчинки с берегов Ганга и мириады звезд — все умрет; и вплоть до новых рождений пламя будет плясать на развалинах погибших миров!

Безумие овладевает богами. Они шатаются, падают в судорогах и изрыгают собственную жизнь. Их венцы распадаются, их знамена улетают. Они срывают свои атрибуты, выдирают половые органы, бросают через плечо чаши, из которых вкушали бессмертие, душат себя змеями, рассеиваются, как дым. И когда все исчезло...

Иларион
(медленно произносит)

Ты только что видел верование сотен миллионов людей!

Антоний лежит на земле, закрыв лицо руками. Стоя рядом с ним, спиной к кресту, Иларион глядит на отшельника.

Проходит некоторое время.

Затем появляется странное существо с человечьей головой и рыбьим туловищем. Оно подвигается, выпрямившись, и бьет хвостом по песку; вид этого нелепого прародителя с маленькими лапками вызывает у Антония смех.

Оаннес
(жалобно)

Почитай меня! Я — современник начала вселенной.

Я жил в бесформенном мире, где под тяжестью густой атмосферы, в пучине темных волн дремали двуполые твари; в те времена пальцы, плавники и крылья не были разделены между собой, и глаза, лишенные головы, плавали, как моллюски, среди быков с человечьими лицами и змей с собачьими лапами.

Над совокупностью этих существ, изогнутая как обруч, лежала богиня Оморока. Но Бел рассек ее на две части: из одной сотворил землю, из другой — небо; и с тех пор эти два родственных мира созерцают друг друга.

Я — первый проблеск сознания в Хаосе; я восстал из бездны, чтобы уплотнить материю, чтобы установить формы; это я научил людей рыболовству, севу, письму и истории богов.

Я живу ныне в прудах, оставшихся от Потопа. Но пустыня растет вокруг, ветер засыпает их песком, а солнце пожирает, и я умираю на своем илистом ложе, глядя на звезды сквозь воду. Я возвращаюсь обратно.

(Прыгает в Нил и исчезает из глаз.)

Иларион

Это древний халдейский бог!

Антоний
(насмешливо)

Каковы же тогда вавилонские боги?

Иларион

Ты можешь их увидеть!

И вот оба они на площадке четырехугольной башни, возвышающейся над шестью другими башнями, которые, суживаясь кверху, образуют гигантскую пирамиду. Внизу виднеется большая черная масса: очевидно, город, лежащий в долине. Холодно. Небо темно-синее: мерцают мириады звезд.

Посреди площадки стоит белокаменная колонна. Жрецы в льняных одеждах ходят вокруг нее, изображая движущуюся окружность, и, подняв головы, созерцают светила.

(Показывает святому Антонию некоторые из них.)

Существует тридцать главных светил. Пятнадцать смотрят на землю сверху, пятнадцать — снизу. Через определенные промежутки времени одно из них устремляется из верхних областей в нижние, в то время как другое покидает нижние, чтобы подняться к высшим.

Из семи планет две благотворны, две враждебны, три двоякосмысленны; все в мире зависит от этих вечных огней. По их месту и движению можно предсказать будущее,— и ты попираешь место, священнейшее на земле. Пифагор и Зороастр встретились здесь. Уже двенадцать тысяч лет эти люди наблюдают небо, чтобы лучше познать богов.

Антоний

Светила — не боги.

Иларион

Боги! — говорят они. Ибо все вокруг нас прейдет — небо же, как вечность, остается недвижимым.

Антоний

И, однако, у неба есть владыка.

Иларион
(указывая на колонну)

Да, это Бел, первый луч, Солнце, Самец!
Богиня, которую он оплодотворяет,— под ним!

Антоний видит сад, освещенный светильниками. Он сам — среди толпы, в кипарисовой аллее. Справа и слева от него тропинки, которые ведут к хижинам в гранатовой роще, огороженной камышовым плетнем.

На большинстве мужчин остроконечные шапки и одежды, пестрые, как павлиньи перья. Здесь и северяне в медвежьих шкурах, и кочевники в плащах из бурой шерсти, и бледные гангариды с длинными серьгами; все сословия и народности перемешаны: матросы и каменотесы расхаживают бок о бок с князьями в рубиновых тиарах, опирающимися на высокие посохи с чеканными набалдашниками. У всех раздуваются ноздри, все объяты одним желанием.

Время от времени толпа расступается, давая дорогу длинной крытой повозке, запряженной быками, или ослу, на спине которого покачивается женщина, закутанная в покрывала; она тоже направляется к хижинам.

Антонию страшно, он хотел бы вернуться назад. Но необъяснимое любопытство влечет его дальше.

У подножия кипарисов какие-то женщины сидят на корточках в один ряд; под ними оленьи шкуры, на голове вместо диадем — веревочный жгут. Одни, великолепно одетые, громким голосом подзывают прохожих. Другие, более робкие, закрывают лицо рукой, а стоящая позади них матрона — очевидно, мать — увещевает их. Третьи, совершенно голые, с черной шалью на голове, кажутся издали живыми статуями. Когда какой-нибудь мужчина бросает им на колени монету, они встают.

И под деревьями слышатся поцелуи; иногда — громкий, пронзительный крик.

Это вавилонские девушки,— они продают свое тело в угоду богине.

Антоний

Какой богине?

Иларион

Вот она!

(Указывает ему на порог освещенного грота в глубине аллеи, где стоит каменная глыба, изображающая женский половой орган.)

Антоний

Срам! Что за мерзость приписывать пол божеству!

Иларион

Но ведь ты представляешь себе бога живым существом!

Антония вновь окутывает мрак. Он видит в воздухе светящийся круг на горизонтальных крыльях.

Это подобие кольца окружает, как слишком просторный пояс, стан маленького человека в митре, с венцом в руке; нижняя часть его тела теряется в больших перьях, образующих как бы юбку.

Это

Ормузд,

бог персов.
Он порхает крича.

Мне страшно! Я вижу его пасть.

Я победил тебя. Ариман! Но ты начинаешь сызнова!

Сначала, восстав против меня, ты погубил старшего из созданий, Каюмарса, Человека-быка. Затем ты соблазнил первую чету людей — Машья и Машьянэ; ты погрузил во мрак сердца, ты двинул на небо свои полчища.

У меня были свои войска, сонмы звезд; и я созерцал под моим престолом отряды светил.

Мой сын, Митра, жил в неприступном месте. Он принимал в свою обитель души, отпускал их и подымался каждое утро, чтобы расточать свои богатства.

Великолепие тверди небесной находило свое отражение на земле. Огонь сверкал в горах — образ другого огня, из которого я создал все существа. Дабы уберечь мертвецов от скверны, их не сжигали — птицы относили их в клювах на небо.

Я установил сроки выгона скота и пахоты, дерево для жертвоприношений, форму чаш, слова, произносимые при бессоннице, и мои жрецы пребывали в непрестанных молитвах, дабы благочестие было вечным, как бог. Люди очищались водой, возлагали хлебы на алтари, громогласно исповедовались в грехах.

Хаома отдавался в виде питья людям, чтобы сообщать им свою силу.

В то время как духи небес сражались с демонами, дети Ирана преследовали змей. Царь, которому служил на коленях многочисленный двор, олицетворял мою особу, носил мой головной убор. Его сады обладали великолепием небесной земли, а на гробнице он был изображен убивающим чудовище,— эмблема Добра, уничтожающего Зло.

Ибо в конце концов, благодаря безграничности времени, я должен был окончательно победить Аримана.

Но расстояние между нами уменьшается; ночь близка! Ко мне, Амешаспенды, Изеды, Феруеры! На помощь, Митра! Берись за меч! Каосиак, ты, который должен прийти для всеобщего освобождения, защищай меня! Как?.. Никого!

Я умираю! Ариман, ты победил!

Иларион, стоящий сзади Антония, сдерживает крик радости — и Ормузд погружается во мрак.
Тогда появляется

Великая Диана Эфесская,

черная, с эмалевыми глазами, локти ее прижаты к бокам, руки раздвинуты, ладони раскрыты.

Львы ползают по ее плечам; плоды, цветы и звезды перемешаны у нее на груди; ниже идут три ряда сосцов, и от чрева до кончиков ног она перевита пеленой, из которой высовываются быки, олени, грифы и пчелы. Богиня предстает в белом сиянии, которое исходит от круглого, как полная луна, серебряного диска позади ее головы.

Где храм мой?

Где амазонки мои?

Но что со мной?.. Меня, нетленную, вдруг охватывает слабость!

Ее цветы увядают. Перезрелые плоды падают. Львы, быки поникают головами; олени в изнеможении пускают слюну; пчелы, жужжа, мрут на земле.

Она сжимает один за другим свои сосцы. Они пусты, но от отчаянного усилия разрывается ее пелена. Она подхватывает ее, как подол платья, бросает туда животных, цветы — затем исчезает во тьме.

А вдали чьи-то голоса бормочут, ропщут, воют, ревут и мычат. Ночная мгла сгущается от дыхания множества существ. Падают капли теплого дождя.

Антоний

Как хорошо! Запах пальм, трепетание зеленой листвы, прозрачность ручьев! Как хотел бы я лечь ничком на землю, чтобы чувствовать ее у своего сердца; и тогда моя жизнь обновилась бы, погрузившись в ее вечную юность!

Слышатся звуки кастаньет и кимвалов, и среди толпы крестьян проходят мужчины в белых туниках с красной каймой; они ведут осла в богатой сбруе, с лентами на хвосте и крашеными копытами.

Ящик, покрытый желтым холщовым чехлом, покачивается у него на спине между двух корзин; одна служит для приношений; в ней яйца, виноград, груши и сыр, птица, мелкие деньги, другая полна роз, и ведущие осла обрывают их на ходу, усыпая лепестками дорогу перед собой.

У мужчин серьги в ушах, длинные плащи, волосы заплетены в косы, щеки нарумянены; венки из слив скреплены на лбу медальоном, украшенным какой-то фигуркой; кинжалы заткнуты за пояс, мужчины щелкают бичами с эбеновой рукояткой о трех ремнях, с вдавленными в них косточками.

Замыкающие процессию ставят на землю высокую, прямую, как свеча, сосну с горящей верхушкой; ее нижние ветви прикрывают барашка.

Осел останавливается. Стаскивают чехол. Под ним — вторая покрышка из черного войлока. Тогда один из мужчин в белой тунике пускается в пляс, потрясая бубном; другой, стоя на коленях перед ящиком, бьет в тамбурин, и

Старейший в процессии
(начинает)

Вот Благая Богиня, жительница горы Иды, прародительница Сирии! Приблизьтесь, добрые люди!

Она дарует радость, исцеляет больных, посылает наследства и отдается влюбленным.

Мы возим ее по горам и долам, в ясную погоду и ненастье.

Часто мы спим под открытым небом, и не каждый день у нас сытный стол. В лесах водятся разбойники. Звери выбегают из берлог. Скользкие дороги вьются по краям пропастей. Вот она! Вот она!

Они снимают покрышку, под ней виден ящик, выложенный камешками.

Выше кедров, она царит в голубом эфире. Шире ветра, она объемлет мир. Дыхание ее вырывается из ноздрей тигров; голос ее грохочет в вулканах, ее гнев — буря; бледность ее лица побелила луну. Благодаря ей зреет жатва, набухают почки, растет борода. Подайте ей что-нибудь, ибо она ненавидит скупцов!

Ящик приоткрывается — и под синим шелковым балдахином оказывается небольшое изображение Кибелы, сверкающей блестками, в венце с зубцами в виде башен; она сидит в колеснице из красного камня, везомой двумя львами с поднятыми лапами.

Люди толкаются, чтобы взглянуть на богиню.

Архигалл

Она любит звуки тимпана, топанье ног, завывание волков, гулкие горы и глубокие ущелья, цвет миндаля, гранаты и зеленые фиги, вихрь пляски, рокот флейт, сладкий сок, соленую слезу и чистую кровь! Ради тебя, ради тебя, Мать гор!

Сопровождающие бичуют себя, и плети со свистом впиваются в их тело; они берутся за ножи, кромсают себе руки; тамбурины рокочут так громко, что вот-вот лопнут.

Богиня печальна; будем и мы печальны! В угоду ей надо страдать! Так снимутся с вас грехи. Кровь омывает все; разбрасывайте ее капли, как цветы! Она требует крови, чистой крови!

(Архигалл заносит нож над ягненком.)

Антоний
(в ужасе)

Не закалывайте агнца!

Брызжет багряная струя.

Жрец кропит ею толпу, и все, включая Антония и Илариона, стоят вокруг горящего дерева и смотрят в молчании на последние судороги жертвы.

Из группы жрецов выступает Женщина — точное подобие изображения, заключенного в ящике.

Она останавливается, увидав юношу во фригийском колпаке.

На нем узкие панталоны с отверстиями в виде правильных ромбов, прикрытых цветными бантами. Держа в руке флейту, он томно облокотился на ветвь дерева.

Кибела
(обнимает его)

Чтобы вновь встретить тебя, я обошла все страны — и голод опустошал поля. Ты обманул меня! Нужды нет, я люблю тебя! Согрей меня! Соединимся!

Атис

Весна уже не вернется, о вечная Мать! При всей моей любви я не могу проникнуть в твою сущность. Я хотел бы облечься в цветные одежды, как у тебя. Я завидую твоим грудям, полным молока, длине твоих волос, твоему обширному лону, откуда исходят все твари. Отчего я — не ты? Отчего я — не женщина?.. Нет, никогда! Уходи! Мой пол ужасает меня!

Острым камнем он оскопляет себя, затем в исступлении принимается бегать, держа в вытянутой руке свой отрезанный член.

Жрецы подражают богу, верные — жрецам. Мужчины и женщины обмениваются одеждами, обнимаются; и этот вихрь окровавленных тел удаляется, а несмолкающие голоса становятся все пронзительнее, как на похоронах.

На большом катафалке, обтянутом пурпуром, стоит ложе из черного дерева, окруженное факелами и филигранными серебряными корзинами, в которых зеленеют латук, мальвы и укроп. На всех ступенях сидят женщины, одетые в черное, с развязанными поясами, босые, и с унылым видом держат в руках огромные букеты.

На земле, по углам помоста, слабо курятся алебастровые урны, наполненные миррой.

На ложе виден труп мужчины. Кровь течет из его бедра. Рука свесилась, и собака с воем лижет его пальцы.

Тесный ряд факелов мешает разглядеть лицо мертвеца; Антоний охвачен тоской: он боится узнать лежащего.

Рыдания женщин прерываются, и после недолгого молчания

Все

(сразу начинают голосить)

Прекраснейший из прекрасных! Довольно спать, подыми голову! Восстань!

Вдохни запах наших цветов! Это нарциссы и анемоны, сорванные в твоих садах в угоду тебе. Очнись, ты пугаешь нас!

Говори же! Что тебе нужно? Хочешь вина? Хочешь спать на наших ложах? Хочешь медовых пряников, похожих на маленьких птичек?

Прильнем к его бедрам, облобызаем его грудь! Вот! Вот! Чувствуешь ли ты, как наши пальцы в перстнях прикасаются к твоему телу, как наши губы ищут твоих уст, а наши волосы отирают твои ноги, бог в мертвом сне, глухой к нашим мольбам?

Они испускают крики, царапая себе лица ногтями, затем умолкают. И все время воет собака.

Увы! Увы! Черная кровь течет по его белоснежному телу! Колени его согнулись, бока ввалились. Краски сбежали с лица. Он умер! Восплачем! Возрыдаем!

Они подходят, одна за другой, и кладут между факелами свои длинные косы, похожие издали на черных или золотистых змей, и катафалк тихо опускается до уровня пещеры, темной гробницы, зияющей позади.

Тогда Женщина склоняется над трупом.

Волосы которые она одна не обрезала, окутывают ее с головы до пят. Женщина пролила столько слез, что скорбь ее не может быть такой, как у других: эта скорбь превыше всякого человеческого страдания, она беспредельна.

Антоний думает о матери Иисуса.

Женщина

Ты восходил на Востоке — и заключал меня в свои объятия, всю трепещущую от росы, о бог Солнца! Голуби порхали по лазури твоей мантии, наши поцелуи рождали ветерки в листве, и я отдавалась твоей любви, черная наслаждение в своей слабости.

Увы! Увы! Зачем пошел ты рыскать по горам? В осеннее равноденствие вепрь ранил тебя!

Ты умер — и источники плачут, деревья никнут, зимний ветер свистит в оголенных кустах.

Мои очи готовы сомкнуться, ибо мрак покрывает тебя. Ныне ты обитаешь по другую сторону света, подле моей более могущественной соперницы.

О Персефона! Все, что прекрасно, нисходит к тебе и больше не возвращается!

Пока она говорит, ее подруги поднимают мертвеца, чтобы опустить его в гробницу.

Он остается у них на руках. То был всего-навсего восковой труп.

Антоний испытывает облегчение.

Все исчезает, и вновь появляется хижина, скалы, крест.

Однако по другую сторону Нила Антоний различает женщину, стоящую в пустыне среди песков.

Она держит в руке конец длинного черного покрывала, скрывающего ее лицо; на ее левой руке покоится младенец, которого она кормит грудью. Возле нее сидит на корточках большая обезьяна.

Женщина смотрит на небо; издали доносится ее голос.

Изида

О Нейт, начало начал! Аммон, владыка вечности, Фта, демиург, Тот, его разум, боги Аменти, триады номов, ястребы в лазури, сфинксы у храмов, ибисы, стоящие между рогами быков, планеты, созвездия, морские берега, шелест ветра, отблески света! Поведайте мне, где Озирис!

Я искала его по всем рекам, по всем озерам и еще дальше, до финикийского Библоса. Прямоухий Анубис прыгал вокруг меня, тявкая, и обшаривал мордой заросли тамариндов. Благодарю тебя, милый кинокефал! Благодарю!

(Дружески похлопывает обезьяну по голове.)

Мерзкий рыжеволосый Тифон убил его, разорвал на части! Мы все их подобрали. Не хватает лишь члена, который оплодотворял меня!

(Испускает протяжные стоны.)

Антоний

(охвачен яростью. Он швыряет в нее камнями, осыпая ругательствами)

Бесстыжая! Ступай прочь! Ступай прочь!

Иларион

Уважай ее! Такова была религия твоих предков! Еще в колыбели ты носил ее амулеты.

Изида

В былые времена, когда возвращалось лето, наводнение гнало в пустыню нечистых животных. Плотины отворялись, сновали лодки, и задыхающаяся земля в упоении пила реку. А ты, бог с бычьими рогами, возлежал на моей груди— и слышалось мычание вечной коровы!

Сев, жатва, молотьба и сбор винограда чередовались, следуя смене времен года. Ночами, всегда ясными, светили крупные звезды. Дни были полны неизменного великолепия. По обе стороны небосвода видна была царственная чета: Солнце и Луна.

Мы оба царили в мире более возвышенном, монархи-близнецы, супруги от начала вечности,— он держал скипетр с головою Кокуфы, я — скипетр с цветком лотоса; мы стояли оба, соединив руки,— и крушения империй ничего не меняли для нас.

Египет расстилался под нами, величавый и строгий, длинный, как коридор храма, с обелисками направо, с пирамидами налево, с лабиринтом посредине,— и повсюду вереницы чудовищ, леса колонн, тяжелые пилоны по бокам дверей, увенчанных земным шаром с двумя крыльями.

Животные зодиака появлялись на его пастбищах и дополняли своими очертаниями и красками таинственные египетские письмена. Страна, разделенная на двенадцать областей, по примеру года, разделенного на двенадцать месяцев,— у каждого месяца, у каждого дня был свой бог,— повторяла непреложный порядок неба; человек, умирая, не терял своего облика: насыщенный благовониями, он становился нетленным и засыпал на три тысячи лет в Египте молчания.

Этот последний, более обширный, чем верхний, простирался под землей.

Лестницы вели в подземные залы, где были воспроизведены радости праведных, мучения злых — все, что име-

ет место в третьем, незримом мире. Мертвецы лежали вдоль стен в раскрашенных гробах, ожидая своей очереди, и душа, освобожденная от скитаний, продолжала дремать до пробуждения в новой жизни.

Между тем Озирис время от времени посещал меня. Его тень сделала меня матерью Гарпократа.

(Созерцает свое дитя.)

Это он! Это его глаза! Его волосы, завитые, как рога барана! Ты возобновишь его деяния. Мы снова зацветем, как лотосы. Я все та же великая Изида! Никто еще не поднял моего покрывала! Мой плод — солнце!

Солнце весны, облака затемняют твой лик! Дыхание Тифона пожирает пирамиды. Я видела, как убегал сфинкс. Он несся быстрее шакала.

Я жду моих жрецов,— жрецов в льняных мантиях, с большими арфами, несущих мистический челн с серебряным орнаментом. Нет более празднеств на озерах! Нет праздничных огней в моей дельте! Нет чаш с молоком на Филах! Апис уже давно не являлся.

Египет! Египет! У твоих великих недвижных богов плечи побелели от птичьего помета, и ветер, проносящийся по пустыне, гонит прах твоих мертвецов!.. Анубис, страж теней, не покидай меня!

Кинокефал падает замертво.

(Она трясет свое дитя.)

Но... Что с тобой?.. Твои руки холодны, голова никнет!

Гарпократ испустил дух.

Тогда она оглашает воздух таким пронзительным, скорбным, душераздирающим криком, что Антоний вторит ей и протягивает руки, чтобы поддержать ее.

Изиды уже нет. Антоний от стыда опускает голову.

Все, что он только что видел, путается у него в голове. Он словно утомлен путешествием или одурманен вином. Он готов ненавидеть, и, однако, смутная жалость смягчает его сердце. Он плачет.

Иларион

О ком ты грустишь?

Антоний

(пытаясь разобраться в своих мыслях)

Я думаю обо всех душах, загубленных этими лживыми богами!

Иларион

Не находишь ли ты, что у них... иногда... есть некое сходство с истинным богом?

Антоний

Это козни Дьявола для вящего соблазна верных. Сильных он искушает, действуя на их дух, а других — действуя на их плоть.

Иларион

Но сладострастие так же бескорыстно в своих безумствах, как и покаяние. Неистовая плотская любовь ускоряет разрушение тела, а слабость его свидетельствует о размерах невозможного.

Антоний

Что мне до этого! Сердце мое переполнено отвращением к этим скотским богам, вечно занятым убийствами и кровосмешением.

Иларион

Но ведь и в Писании тебя многое смущает, ибо ты не умеешь всего понять. То же и с этими богами: под их отталкивающим обличием, быть может, скрывается истина.

Погоди, ты не все еще видел. Отвернись!

Антоний

Нет, нет! Это погибель!

Иларион

Ты только что хотел познакомиться с ними. Разве вера твоя поколеблется от лжи? Чего ты боишься?

Скалы перед Антонием превратились в гору.

Вереница облаков перерезает ее посредине, а над ней появляется другая гора, огромная, вся зеленая, изборожденная лощинами, на вершине которой, в лавровом лесу, стоит бронзовый дворец, крытый золотой черепицей, с капителями из слоновой кости.

Посреди перистиля восседает на троне колоссальный Юпитер, торс его обнажен; в одной руке он держит победу, в другой — молнию, в ногах у него подымает голову орел.

Юнона сидит подле супруга, поводя огромными очами; из-под ее диадемы ниспадает легкое, как пар, покрывало и развевается по ветру.

Позади Матери богов стоит на пьедестале Минерва и опирается на копье. Кожа Горгоны покрывает ее грудь, льняной неплос спускается ровными складками до пальцев ног. Ясные глаза, сверкающие под забралом, внимательно смотрят вдаль.

Справа от дворца старик Нептун едет верхом на дельфине, который бьет плавниками по великой лазури не то неба, не то моря, ибо океан переходит в голубой эфир; обе стихии сливаются.

С другой стороны свирепый Плутон в мантии цвета ночи, в алмазной тиаре, с эбеновым скипетром в руке восседает на острове, окруженном излучистым Стиксом — рекой теней, которая устремляется затем во мрак, черным провалом, бесформенной бездной зияющий под утесом.

Марс, в бронзовых доспехах, яростно потрясает широким щитом и мечом.

Геракл взирает на него, опершись на палицу.

Аполлон с лучезарным лицом правит, вытянув правую руку, четверкой белых скачущих коней; Церера в повозке, запряженной быками, направляется к нему с серпом в руке.

За нею едет Вакх на низкой колеснице, которую лениво влекут рыси. Жирный, безбородый, с виноградными лозами на челе, он держит чашу, из которой льется через край вино.

Рядом с ним Силен покачивается на осле.

Пан с заостренными ушами дует в свирель. Мималлонеиды бьют в барабаны. Менады бросают цветы. Вакханки кружатся с распущенными волосами, запрокинув головы.

Диана в подобранной тунике выходит из лесу со своими нимфами.

В глубине пещеры Вулкан кует железо среди Кабиров; старые Реки, опершись на зеленые камни, льют воду из своих урн; Музы поют, стоя на лужайках.

Оры, все одинакового роста, держатся за руки, а Меркурий, с крылатым жезлом, в круглой шапке, изогнулся, лежа на радуге.

На самом верху лестницы богов, среди нежных, как пух, облаков, завитки которых, вращаясь, роняют розы, Венера-Анадиомена смотрится в зеркало; ее глаза томно глядят из-под тяжеловатых век.

У нее длинные белокурые волосы, вьющиеся по плечам, маленькие груди, тонкая талия, бедра, напоминающие изгиб лиры, круглые ляжки, ямочки у колен и изящные ступни; около ее рта порхает бабочка. Тело богини так прекрасно, что вокруг нее образовался перламутровый ореол. Олимп купается в алой заре, которая понемногу освещает весь голубой купол неба.

Антоний

Грудь моя ширится. Неведомая прежде радость нисходит в глубину души! Какая красота! Какая красота!

Иларион

Боги склонялись с высоты облаков, чтобы направлять мечи; люди встречали их у дорог, держали у себя дома, и эта близость обожествляла жизнь.

Целью жизни была свобода и красота. Просторные одежды способствовали благородству движений. Голос оратора, привыкшего покрывать шум моря, звонко оглашал мраморные портики. Эфеб, натертый маслом, боролся голый под лучами солнца. Самым священным действием было обнажение безупречных форм.

И люди эти почитали супругов, старцев, нищих. Позади храма Геракла стоял алтарь Милосердия.

Заклание жертв совершалось рукою, увитой цветами. К воспоминанию об усопших не примешивалось мысли о тлении: от мертвых оставалась лишь горсть пепла. Душа, слившись с беспредельным эфиром, восходила к богам!

(Наклоняясь к уху Антония.)

И они еще живут! Император Константин поклоняется Аполлону. Ты найдешь Троицу в Самофракийских мистериях, крещение у Изиды, искупление у Митры, мученичество бога на праздниках Вакха. Прозерпина — это пресвятая Дева!.. Аристей — Иисус.

Антоний

(не подымает глаз; потом вдруг начинает повторять иерусалимский Символ веры, как он ему припоминается, испуская при каждой фразе глубокий вздох)

Верую во единого бога отца... и во единого господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного... воплотившегося и вочеловечившегося, распятого и погребенного... и восшедшего на небеса... и грядущего во славе судить живых и мертвых... которого царству не будет конца... и в единого Духа Святого... и во едино крещение, и во едину святую вселенскую церковь... и в воскресение плоти... и в жизнь вечную!

Крест тотчас же вырастает и, пронизывая облака, бросает тень на небо богов.

Они бледнеют. Олимп зашатался.

Антоний различает у его подножия огромные, закованные в цепи тела, наполовину скрытые в пещерах или подпирающие плечами камни. То титаны, гиганты, гекатонхейры, циклопы.

Голос

(неясный и грозный, как рокот волн, как шум лесов в бурю, как рев ветра в бездне)

Мы это знали! Наступит конец богам! Урана искалечил Сатурн, Сатурна — Юпитер. И сам он также будет уничтожен. Каждому свой черед: таков рок!

И мало-помалу они скрываются в недрах горы.

Золотая кровля дворца улетает.

Юпитер

(Сходит со своего трона. Молния у его ног дымится, как тлеющая головешка, орел, вытянув шею, подбирает клювом свои падающие перья.)

Итак, я уже не владыка всего, не всеблагой, всевеликий бог греческих фратрий и племен, не прародитель всех царей, Агамемнон небес!

Орел апофеозов! Какое дуновение Эреба принесло тебя ко мне? Или, улетев с Марсова поля, ты принес мне душу последнего императора?

Души людей не нужны мне больше! Пусть хранит их Земля, пусть не возносятся больше над ее низостью. Нынче у людей сердца рабов, они забывают обиды, предков, клятву; и всюду торжествует глупость толпы, посредственность человека, уродство рас!

Грудь его вздымается от тяжких вздохов, и он сжимает кулаки. Геба в слезах подает ему чашу. Он берет ее.

Нет! Нет! Пока останется хоть один мыслящий человек, ненавидящий беспорядок и понимающий Закон, дух Юпитера будет жить!

Но чаша пуста.
Он медленно наклоняет ее над ногтем.

Ни капли! Когда амброзия иссякает, Бессмертные удаляются!

(Чаша выскальзывает у него из рук, и он прислоняется к колонне, чувствуя приближение конца.)

Юнона

Не надо было таких излишеств в любви! Орел, бык, лебедь, золотой дождь, облако и огонь — ты принимал все облики, помрачал свет своего разума во всех стихиях, терял волосы на всех ложах!

На этот раз неминуем развод — наша власть, наша жизнь рушатся! *(Исчезает в воздухе.)*

Минерва

(уже без копья; вороны, гнездившиеся в скульптурных орнаментах фриза, кружат над ней и клюют ее шлем)

Дайте взглянуть, не вернулись ли мои корабли, бороздя сверкающее море, в три мои гавани; дайте взглянуть, почему поля пустынны и что делают ныне афинские девы.

В месяце гекатомбеоне весь мой народ шел ко мне под предводительством начальников и жрецов. Девы с чашами, с корзинами и зонтами шествовали в белых одеждах и золотых хитонах; за ними следовали триста жертвенных быков, старцы, махавшие зелеными ветвями, воины, бря-

цавшие доспехами, эфебы, певшие гимны, флейтисты, лирники, рапсоды, танцовщицы; наконец, поставленная на колеса трирема везла на своей мачте мое большое покрывало, вытканное девами, которые в течение года вкушали особую пищу; и после того, как покрывало было показано на всех улицах, на всех площадях, перед всеми храмами, его медленно подымали под несмолкаемое пение процессии на Акрополь и через Пропилеи ввозили в Парфенон.

Но тревога охватывает меня, такую мудрую! Как! Ни одной мысли в голове? Я трепещу сильнее, чем слабая женщина.

(Видит позади себя развалины, испускает крик и, пораженная в лоб, падает навзничь.)

Геракл

(отбросил свою львиную шкуру и, упираясь ногами, выгнув спину, кусая губы, делает непомерные усилия, чтобы поддержать рушащийся Олимп)

Я победил кекропов, амазонок и кентавров. Я убил многих царей. Я сломал рог Ахелоя, великой реки. Я рассек горы. Я соединил океаны. Я освобождал страны рабов, я населял безлюдные земли. Я пересек Галлию. Я преодолел безводную пустыню. Я защитил богов, я избавился от Омфалы. Но Олимп слишком тяжел. Мои руки слабеют. Умираю!

(Раздавлен обломками.)

Плутон

Это твоя вина, Амфитрионид! Зачем сошел ты в мое царство?

Коршун, поедающий внутренности Тития, поднял голову, Тантал омочил губы, колесо Иксиона остановилось.

А ведь Керы выпускали когти, чтобы удержать души; фурии в отчаянии срывали змей со своих голов, и Цербер, посаженный тобою на цепь, хрипел, пуская слюну из трех своих пастей.

Ты оставил дверь приоткрытой. Другие пришли за тобой. Людской день проник в Тартар!

(Погружается во мрак.)

Нептун

Мой трезубец не подымает больше бурь. Чудища, вселявшие ужас, сгнили на дне вод.

Амфитрита, белые ноги которой скользили по пене, зеленые нереиды, видневшиеся на горизонте, чешуйчатые сирены, которые останавливали корабли, чтобы рассказывать сказки морякам, и старые Тритоны, дувшие в раковины,— все они умерли! Радость моря исчезла!

Мне не пережить этого! Широкий Океан, покрой меня!

(Сливается с лазурью вод.)

Диана

(одета в черное и окружена своими псами, превратившимися в волков)

Приволье великих лесов опьянило меня запахом красного зверя и испареньем болот. Беременные женщины, которым я покровительствовала, рождают теперь мертвых детей. Луна дрожит от ворожбы колдуний. Я жажду насилия и простора. Хочу испить яд, потонуть в туманах, в мечтах!..

Мимолетное облако уносит ее.

Марс

(с обнаженной головой, окровавленный)

Вначале я сражался один, ругательствами вызывая на бой целое войско, равнодушный к отечеству, наслаждаясь резней.

Потом у меня оказались соратники. Они шли под звуки флейт, в строю, ровным шагом, со щитами, с высокими султанами на шлемах, с копьями наперевес. В битву бросались с орлиными криками. Война веселила, как пир. Три сотни людей противостояли всей Азии.

Но варвары вновь наступают, их миллионы, мириады! Раз сила за числом, за машинами, за хитростью, лучше окончить жизнь смертью храброго!

(Убивает себя.)

Вулкан

(отирая губкой потное тело)

Мир холодеет. Нужно согреть источники, вулканы и реки, катящие металлы под землей!.. Бейте крепче! Наотмашь! Изо всех сил!

Кабиры ранят себя молотами, ослепляют искрами и, ступая ощупью, пропадают во тьме.

Церера
(стоит на колеснице, влекомой колесами с крыльями на ступицах)

Стой! Стой! Мы были правы, изгоняя чужеземцев, безбожников, эпикурейцев и христиан! Тайна корзины раскрыта, святилище осквернено, все погибло!

(В полном отчаянии спускается по крутому склону, рвет на себе волосы.)

Какой обман! Даира не возвращена мне! Медь зовет меня к мертвым. Это другой Тартар! Оттуда нет возврата. О ужас!

Бездна поглощает ее.

Вакх
(дико хохочет)

Все едино! Жена Архонта — моя супруга! Сам закон опьянел. Ко мне, новые песни, ко мне, все живое!

Огонь, поглотивший мою мать, течет в моих жилах. Пылай сильнее, пусть даже я погибну!

Самец и самка, я для всех хорош! Отдаюсь вам, вакханки, отдаюсь вам, вакханты! И лозы обовьются вокруг деревьев! Кричите, пляшите, извивайтесь. Освобождайте в себе тигра и раба! Свирепо впивайтесь зубами в тело!

Пан, Силен, сатиры, вакханки, мималлонеиды и менады со змеями, факелами, в черных масках, кидают друг в друга цветы, обнажают фаллос, целуют его, бьют в тимпаны, потрясают тирсами, перебрасываются раковинами, лакомятся виноградом, душат козла и раздирают Вакха на части.

Аполлон
(подгоняет бичом коней; его поседевшие волосы развеваются по ветру)

Я оставил позади себя каменистый Делос, столь пустынный, что все там кажется вымершим; я спешу в Дельфы, пока еще не иссякли их одуряющие пары. Мулы ощипывают в священном городе лавры. Пифия заблудилась, и ее не могут найти.

Еще немного, и я создам возвышенные поэмы, вечные памятники искусства, и все сущее будет пронизано звуками моей кифары!

(Касается струн. Они рвутся и хлещут его по лицу. Он отбрасывает кифару и в ярости стегает четверку своих коней.)

Довольно с меня грубой материи! Дальше, дальше! К самой вершине! К чистой идее!

Но кони, пятясь, встают на дыбы, разбивают колесницу, и, запутавшись в упряжи и обломках дышла, Аполлон падает в пропасть вниз головой.

Небо померкло.

Венера

(дрожит, посинев от холода)

Я с моим поясом была всем для Эллады.

Ее поля блистали розами моих ланит, ее берега были вырезаны по форме моих губ, и ее мрамор, белее моих голубиц, трепетал под рукою ваятелей. Моя душа присутствовала в распорядке праздпеств, в форме причесок, в беседе философов, в устройстве государств. Но я слишком нежно любила мужчин! И Амур обесчестил меня!

(Плача, падает навзничь.)

Ужасен мир. Мне не хватает воздуха! О Меркурий, изобретатель лиры и проводник души, возьми меня!

(Прикладывает палец к губам и, описав огромную параболу, падает в пропасть.)

Ничего больше не видно. Полная тьма.

Между тем глаза Илариона словно мечут огненные стрелы.

Антоний

(обращает наконец внимание на его высокий рост)

Пока ты говорил, мне не раз казалось, что ты растешь, и это не было обманом зрения. Почему? Объясни мне... Я тебя боюсь!

Чьи-то шаги.

Что это?

Иларион

(протягивает руку)

Смотри!

В бледном сиянии луны Антоний различает бесконечный караван, который тянется по гребню скал, и все путники, один за другим, падают с крайнего утеса в бездну.

Прежде всего видны три великих бога Самофракийских — Аксиерос, Аксиокерос, Аксиокерза, связанные вместе, наряженные в пурпур, с воздетыми руками.

С унылым видом приближается Эскулап, даже не глядя на Самоса и Телесфора, которые с тоской вопрошают его. Созипол элидский, в образе пифона, ползет, изгибаясь всеми своими кольцами,

к бездне. Дэспэнея, потеряв голову, сама бросается туда. Бритомартис, воя от страха, цепляется за петли своей сети. Кентавры мчатся вскачь и, сбивая друг друга, валятся в черную яму.

За ними бредет жалкая хромая толпа нимф. Полевые нимфы покрыты пылью; лесные стонут и истекают кровью, раненные топором дровосеков.

Геллюды, Стриги, Эмпусы, все богини ада со своими крюками, факелами, ехиднами составляют пирамиду, а на вершине ее, на перьях коршуна, стоит Эврином, синеватый, как мясные мухи, и пожирает собственные руки.

Затем одновременно исчезают в вихре: Ортия кровожадная, Гимния Орхоменская, Лафрия патрасцев, Афия Эгинская, Бендида Фракийская, Стимфалия на птичьих лапах. У Триопа вместо трех глаз осталось только три впадины. У Эрихтония ослабели ноги, и он ползет на руках, как калека.

Иларион

Какое счастье видеть их всех в унпчижении, при смерти, не правда ли? Подымись со мной на эту скалу — и ты будешь подобен Ксерксу, делающему смотр своим войскам.

Видишь ли ты там, далеко внизу, в тумане, русобородого гиганта, у которого выпал из рук окровавленный меч? Это скиф Залмоксид между двух планет: Артимпасы-Венеры и Орсилохии-Луны.

Далее возникают из бледных облаков боги, почитавшиеся у киммерийцев, даже за пределами Туле!

Их просторные залы были жарко натоплены, и при блеске обнаженных мечей, висевших на сводах, они пили мед из рогов слоновой кости. Они ели китовую печенку на медных блюдах, чеканенных демонами, или же слушали пленных колдунов, которых заставляли играть на каменных арфах.

Они устали! Им холодно! Снег тяжелит их медвежьи шкуры, и ноги их видны сквозь дыры в сандалиях.

Они оплакивают степи, где на травянистых холмах переводили дух во время битвы, большие корабли, рассекавшие носом ледяные глыбы, и коньки, на которых они скользили по полярному кругу, поддерживая руками небесную твердь, вращавшуюся вместе с ними.

Порыв метели закрывает их.

Антоний обращает взор в другую сторону.

И видит он чернеющие на красном фоне странные фигуры в подбородниках и наручнях: они перекидываются мячами, прыгают друг через друга, гримасничают, пляшут дикую пляску.

Это боги Этрурии, бесчисленные Эзары.

Вот Тагет, изобретатель гадания. Одной рукой он пытается умножить деления неба, другой — упирается в землю. Пусть вернется на нее!

Нортия рассматривает стену, куда вбивала гвозди, отмечая число прошедших годов. Вся поверхность покрыта ими, и последний круг времени завершен.

Как два путника, застигнутые грозой, Кастур и Пулутук, дрожа, прячутся под одним плащом.

Антоний
(закрывает глаза)

Довольно! Довольно!

Но тут по воздуху проносятся, громко шумя крыльями, все капитолийские Победы; они закрывают лицо руками и роняют трофеи.

Янус — владыка сумерек — спасается бегством на черном баране; один из его ликов уже истлел, другой никнет от усталости.

Суммап — бог ночного неба, у которого больше нет головы, прижимает к сердцу черствый пирог в форме колеса.

Веста под развалившимся куполом старается раздуть угасший огонь своего очага.

Беллона изрезала себе щеки, но кровь, очищавшая тех, кто поклонялся ей, уже не брызжет.

Антоний

Пощади! Они утомляют меня!

Иларион

Было время — они забавляли!

И он показывает Антонию в зарослях боярышника нагую женщину; она стоит на четвереньках, как животное, и с ней совокупляется черный человек, держащий в каждой руке по факелу.

Это богиня Ариция и демон Вирбий. Ее жрец, царь лесов, непременно должен был быть убийцей; для беглых рабов, гробокопателей, разбойников с Саларийской дороги, калек с моста Сублиция, для всякого сброда из Субурских лачуг не было милее религии!

Патрицианки времен Марка Антония предпочитали Либитину.

Иларион показывает Антонию под кипарисом и розовыми кустами другую женщину, одетую в прозрачную ткань. Она улыбается, а вокруг нее разбросаны заступы, носилки, черные покрывала — все принадлежности похорон. Ее алмазы сверкают издали под паутиной. Ларвы, как скелеты, показывают из-за ветвей свои кости, а лемуры, призраки, расправляют крылья, подобные крыльям летучей мыши.

У края поля выкопанный из земли бог Термин шатается, покрытый нечистотами.

Посреди борозды рыжие псы пожирают огромный труп Вертумна.

Плача, удаляются от него сельские боги: Сартор, Сарритор, Верважтор, Коллина, Валлона, Гостилин — все в небольших плащах с капюшонами, и каждый что-нибудь несет: мотыгу, вилы, решето, рогатину.

Эти божества приносили благоденствие поместьям, голубятням, садкам сонь и улиток, птичникам, огороженным сетками, теплым конюшням, пахнувшим кедром.

Они покровительствовали беднякам, которые влачили кандалы по камням Сабинским, сзывали рожком свиней, собирали грозди с лоз, подвязанных к вязам, погоняли ослов, возивших навоз. Пахарь, с трудом переводя дух за сохой, молил их дать силу его рукам; пастухи в тени лип, около тыкв с молоком, слагали им хвалы на флейтах из тростника.

Антоний вздыхает.

И вот посреди комнаты, на возвышении, появляется ложе из слоновой кости, окруженное людьми, которые держат в руках еловые факелы.

Это — брачные боги. Они ждут молодую супругу!

Домидука должна была ее привести, Вирго — распоясать, Субиго — уложить в постель, Прэма — раздвинуть ей руки, шепча на ухо нежные слова.

Но новобрачная не придет! И боги отпускают своих помощников: Нону и Дециму, сестер милосердия, трех Никсиев-повивальщиков, двух кормилиц — Эдуку и Потину, и Карну — няньку, чей букет из цветов боярышника отгоняет от ребенка дурные сны.

Позже Оссипаго укрепил бы ему ножки, Барбатус дал бы бороду, Стимула — первые желания, Волупия — первое наслаждение, Фабулин научил бы его говорить, Нумера — считать, Камена — петь, Конс — размышлять.

Комната опустела; у постели остается Нения — столетняя старуха, бормочущая что-то про себя: это те причитания, которые она выкрикивала когда-то над трупами стариков.

Но вскоре ее голос заглушают громкие вопли. Это

Домашние лары

(они сидят на корточках в глубине атрия, одетые в собачьи шкуры, увитые цветами, и, прижав руки к щекам, плачут навзрыд)

Где пища, что уделялась нам за каждой едой, где заботы служанки, улыбка хозяйки и веселье мальчиков,

игравших в кости на мозаиках двора? Позже, уже взрослыми, они вешали нам на грудь свои золотые или кожаные ладанки.

Что за радость была, когда в вечер победы на поле брани хозяин, возвратясь домой, обращал к нам свои влажные глаза! Он рассказывал о битвах, и тесный дом был величественнее дворца и священ, как храм.

Как уютно бывало за семейным столом, особенно на другой день после Фереалий! Любовь к умершим утишала все ссоры, и, обнимаясь, люди пили за прошлую славу и за надежды на грядущее.

Но предки из раскрашенного воска, которые хранятся позади нас, медленно покрываются плесенью. Новые поколения, вымещая на нас свои неудачи, разбили нам головы; под зубами крыс крошатся наши деревянные тела.

И тут бесчисленные боги, охранявшие двери, кухню, погреб, бани, разбегаются во все стороны, приняв обличье огромных муравьев, или улетают, как большие бабочки.

Тогда подает голос

Креппитус

Меня тоже некогда чтили. Совершали возлияния в мою честь. Я был божеством!

Афинянин приветствовал меня как предзнаменование счастья, набожный римлянин проклинал меня, подняв кулаки, а египетский жрец, не вкушавший бобов, трепетал при моем голосе и бледнел от моего запаха.

Когда походный уксус стекал по нечесаным бородам, когда угощались сырыми желудями, горохом и луком и куски козлятины жарились в прогорклом масле пастухов, никто не стеснялся, никто не обращал внимания на соседа. От грубой пищи в животах бурчало. Под деревенским солнцем люди облегчались не спеша.

Вот почему я не вызывал стыда, как и другие житейские нужды, как Мена, мучение дев, и нежная Румина, покровительница кормящих матерей с грудью, набухшей голубоватыми венами. Я был весел. Я возбуждал смех. И, млея от удовольствия, благодаря мне гость давал выход своей радости как умел.

И у меня бывали дни торжества: добряк Аристофан вывел меня на сцене, а император Клавдий Друз посадил за свой стол. Я величественно разгуливал под латиклавами патрициев. Золотые сосуды звучали подо мной, как тимпаны, и когда кишечник владыки, набитый муренами,

трюфелями и паштетами, с треском освобождался, насторожившийся мир узнавал, что Цезарь пообедал!

Но ныне я сослан в народ, и даже имя мое вызывает крик возмущения!

(И тут Крепитус со стоном удаляется.)

Удар грома.

Голос

Я был богом войск, господом, да, господом богом!

Я раскинул шатры Иакова на холмах и напитал среди песков мой бежавший народ.

Я — тот, кто спалил Содом! Я — тот, кто наслал на землю потоп! Я — тот, кто утопил фараона с отпрысками царской крови, с колесницами и возничими.

Бог ревнивый, я ненавидел других богов. Я стер нечистых, я низринул надменных, и я все опустошал, как дромадер, пущенный на маисовое поле.

Чтобы освободить Израиль, я избрал простых сердцем. Ангелы с пламенными крылами вещали им из кустарников.

Умащенные нардом, киннамоном и миррою, в прозрачных одеждах и в обуви на высоких каблуках, жены с бестрепетным сердцем шли убивать военачальников. Дуновение ветра вдохновляло пророков.

Я начертал свой закон на каменных скрижалях. Он заключил мой народ как бы в крепость. То был мой народ. Я был его бог! Земля была моя, люди мои — с их помыслами, деяниями, земледельческими орудиями и потомством.

Мой ковчег стоял в тройном святилище, за пурпурной завесой и зажженными светильниками. Служили мне целое колено, кадившее кадилами, и первосвященник в гиацинтовой мантии, с драгоценными камнями на груди, симметрично расположенными.

Горе! Горе! Святая святых отверста, завеса разодрана, ароматы заклания развеяны ветрами. Шакал воет в гробницах; храм мой разрушен, народ мой рассеян!

Священников удавили шнурами одежд их. Жены пленены, все сосуды расплавлены!

(Голос удаляется.)

Я был богом войск, господом, да, господом богом!

Наступает великое молчание, глубокая ночь.

Антоний

Все прошли. Остаюсь я!

Говорит

Некто.

Перед Антонием стоит Иларион, но преображенный, прекрасный, как архангел, сияющий, как солнце, и столь высокий, что Антоний запрокидывает голову, дабы взглянуть на него.

Кто же ты?

Иларион

Царство мое — вселенная, и у моего желания нет предела. Я иду не останавливаясь, освобождая дух и взвешивая миры, без ненависти, без страха, без жалости, без любви и без бога. Меня зовут Знание.

Антоний
(отшатывается)

Скорее всего, ты... Дьявол!

Иларион
(вперяя в него взор)

Хочешь видеть его?

Антоний
(Не может оторваться от этого взгляда: он охвачен любопытством. Его ужас возрастает, желание видеть Дьявола становится чрезмерным.)

А что, если я увижу его?.. Если действительно увижу?..
(В порыве гнева.)
Отвращение к Дьяволу навсегда избавит меня от него... Да!

Показывается раздвоенное копыто.
Антоний раскаивается.
Но Дьявол вскидывает его на рога и уносит с собой.

VI

Дьявол летит под Антонием, распластавшись, как пловец; два широко раскрытых крыла, целиком закрывая его, кажутся облаком.

Антоний

Куда я лечу?

Я только что смутно видел образ Проклятого. Нет! Это туча уносит меня. Быть может, я умер и восхожу к богу?..

Как вольно дышится! Чистый воздух полнит мне душу. Никакой тяжести! Никакого страдания!

Внизу, подо мной, разражается гроза, ширится горизонт, перекрещиваются реки. Это желтоватое пятно — пустыня, эта лужа воды — океан.

И появляются новые океаны, огромные пространства, неведомые мне. Вот страны черные, дымящиеся, как жаровни, вот пояс снегов, всегда застланный туманами. Попытаюсь отыскать горы, за которые каждый вечер заходит солнце.

Дьявол

Солнце никогда не заходит!

Антония не удивляет этот голос. Он кажется ему отзвуком собственной мысли, ответом, подсказанным памятью.

Между тем Земля принимает форму шара, и он видит, как она вращается среди лазури на своих полюсах, вращаясь в то же время вокруг Солнца.

Дьявол

Итак, Земля — не центр мира? Людская гордость, смирись!

Антоний

Теперь я едва различаю ее. Она сливается с другими огнями.

Небесная твердь — только звездная ткань.

Они всё подымаются.

Ни звука! Даже орлиного клекота не слышно! Ничего!.. Я наклоняюсь, чтобы уловить гармонию планет.

Дьявол

Ты не услышишь их! Ты не увидишь ни Платонова противоземья, ни Филолаева очага вселенной, ни сфер Аристотеля, ни семи небес иудеев с великими водами над хрустальным сводом!

Антоний

Снизу он казался плотным, как стена.

А между тем я проникаю, я погружаюсь в него!

Перед ним — луна, похожая на круглый кусок льда, застывший в неподвижном свете.

Дьявол

Она была некогда обиталищем душ. Добряк Пифагор снабдил ее даже птицами и великолепными цветами.

Антоний

Я вижу лишь пустынные равнины с потухшими кратерами под черным-черным небом.

Летим к этим светилам — их сияние мягче,— чтобы взглянуть на ангелов, которые держат их в руках, как факелы!

Дьявол
(уносит его к звездам)

Они и притягивают и отталкивают друг друга одновременно. Действие каждой звезды исходит от других и влияет на них без чужого посредства, силой закона — единственной основы порядка.

Антоний

Да... Да! Мой ум постигает это! Такая радость выше наслаждений любви! Я задыхаюсь, я ошеломлен величием бога.

Дьявол

Как небосвод, уходящий ввысь по мере твоего подъема, так и он будет расти вместе с полетом твоей мысли, и ты станешь черпать все большую радость в этом открытии мира, в этом расширении бесконечности.

Антоний

О! Выше! Выше! Еще выше!

Светила множатся, сверкают. Млечный Путь развертывается в зените, как огромный пояс с зияющими провалами; в этих разрывах его сияющей ткани видны уходящие вглубь области мрака. Падают золотые дожди и потоки золотой пыли, плавают и рассеиваются светлые туманы.

Иной раз пронесется вдруг комета, затем снова наступает покой среди бесчисленных небесных светочей.

Антоний раскинул руки и опирается на рога Дьявола, занимая всю ширину его крыл.

С презрением вспоминает он о невежестве былых дней, о мелочности своих грез. Вот они рядом с ним — те лучистые миры, которые он созерцал снизу. Он следит за скрещением их путей, за сложностью направлений. Он видит, как они несутся издалека и, словно камни пращи, описывают свои орбиты, чертят свои гиперболы.

Одним взглядом он охватывает Южный Крест и Большую Медведицу, Рысь и Кентавра, туманность Дорады, шесть солнц в созвездии Ориона, Юпитера с четырьмя его спутниками и тройное кольцо чудовищного Сатурна. Он видит те планеты, те звезды, которые люди откроют впоследствии. Его глаза наполняются их све-

том, его мысль обременена вычислением их расстояний; затем голова его снова никнет.

Какова цель всего этого?

Дьявол

Цели нет!

Разве у бога могла быть цель? Какой опыт мог научить его, какое размышление определит эту цель?

До начала она не была бы действенна, а теперь стала бесполезна.

Антоний

Однако он создал мир сразу, одним своим словом!

Дьявол

Но ведь существа, населяющие землю, появились на ней последовательно. Так и на небе возникают новые светила — различные следствия разнообразных причин.

Антоний

Разнообразие причин есть воля божия!

Дьявол

Допустить, что у бога много актов воли,— значит допустить множественность причин и разрушить его единство!

Воля бога неотделима от его сущности. Он не мог иметь другой воли, как не мог иметь и другой сущности. Пребывая вечно, он и творит вечно.

Взгляни на солнце! Из него вырываются высокие языки пламени, разбрасывая искры, которые рассеиваются, чтобы стать мирами; за теми глубинами, где ты видишь лишь ночь, вращаются новые солнца, за ними другие, и так до бесконечности...

Антоний

Довольно! Довольно! Мне страшно! Я вот-вот сорвусь в бездну.

Дьявол

(останавливается и мягко покачивает его)

Небытия нет! Пустоты нет! Повсюду тела, которые движутся на незыблемой основе Пространства. Будь Пространство ограничено, оно было бы уже не пространством, а телом,— вот почему у него нет пределов.

Антоний
(в полном недоумении)

Нет пределов!

Дьявол

Поднимайся все выше и выше в небо,— ты никогда не достигнешь вершины! Спускайся ниже земли в течение миллиардов веков,— ты никогда не дойдешь до дна, ибо нет ни дна, ни вершины, ни верха, ни низа, ни конца. Протяженность заключена в боге, а он вовсе не какая-то часть пространства, он — сама безмерность!

Антоний
(медленно)

Значит... материя... есть часть бога?

Дьявол

А что же тут удивительного? Разве ты можешь знать, где он кончается?

Антоний

Я падаю ниц, обращаюсь во прах пред его могуществом!

Дьявол

И ты мнишь умилостивить его! Ты обращаешься к нему, ты наделяешь его добродетелью, благостью, справедливостью, милосердием, вместо того чтобы признать, что он обладает всеми совершенствами!

Мыслить что-нибудь вне этого — значит мыслить бога вне бога, бытие сверх бытия. Итак, он — единственное Бытие, единственная Субстанция.

Если бы Субстанция могла делиться, она лишилась бы своей природы, не была бы больше собой, и бог перестал бы существовать. А он неделим, как бесконечность. Обладай он телом, он состоял бы из частей и уже не был бы единым, не был бы бесконечным. Итак, он не существо!

Антоний

Как? Мои молитвы, мои слезы, страдания моей плоти, мои пламенные восторги — все это было направлено ко лжи... в пространство... бесцельно,— как крик птицы, как вихрь сухих листьев!

(Плачет.)

Нет, нет! Есть надо всем кто-то, какая-то великая душа, господь, отец небесный, обожаемый моим сердцем и любящий меня!

Дьявол

Ты желаешь, чтобы бог не был богом; ведь если бы он испытывал любовь, гнев или жалость, то перешел бы от своего совершенства к совершенству большему или меньшему. Он не может снизойти до чувства, не может и вместиться в форму.

Антоний

Когда-нибудь я все же увижу его!

Дьявол

С блаженными,— не так ли? — когда конечное будет наслаждаться бесконечным, в ограниченном месте, содержащем абсолютное!

Антоний

Все равно, должен быть рай для добра и ад — для зла!

Дьявол

Разве требование твоего ума устанавливает законы мироздания? Без сомнения, зло безразлично для бога, ибо вся земля полна им!

Неужели он терпит его от бессилия или сохраняет по своему жестокосердию?

Неужели ты думаешь, что он постоянно исправляет мир как несовершенное творение и надзирает за движениями всех существ — от полета бабочки до мысли человека?

Если он сотворил вселенную, провидение его излишне. Если провидение существует, творение несовершенно.

Но зло и добро касаются только тебя,— как день и ночь, удовольствие и мука, смерть и рождение, которые имеют отношение к какой-то части пространства, к особой среде, к определенному человеку. Бесконечное существует, поскольку лишь Бесконечное вечно,— вот и все!

(Дьявол постепенно расправляет свои огромные крылья, теперь они накрывают все пространство.)

Антоний

(ничего больше не видит; силы его иссякают)

Я весь промерз. Такого мучения я еще никогда не испытывал. Это смерть, это глубже смерти. Я погружаюсь в бездонный мрак. Он входит в меня. Сознание мое гаснет среди этого небытия!

Дьявол

Но ведь мир доходит до тебя только через посредство твоего духа. Как вогнутое зеркало, дух искажает предметы, и у тебя нет мерила, чтобы проверить точность его восприятия.

Никогда не постичь тебе вселенной во всей ее необъятности; следовательно, ты не можешь составить себе представление о ее причине, возыметь правильное понятие о боге, даже сказать, что вселенная бесконечна, ибо сначала нужно познать Бесконечность!

Быть может, форма — заблуждение твоих чувств. Субстанция — мираж твоего разума.

Если только в этом мире, где все течет, видимость не есть единственная истина, а иллюзия — единственная реальность.

Но уверен ли ты, что видишь? Уверен ли ты даже в том, что живешь? Может быть, ничего нет!

Дьявол схватил Антония и, держа его перед собой, смотрит на него, разинув пасть, готовый его поглотить.

Поклонись же мне и прокляни призрак, который ты называешь богом!

Антоний в последнем порыве упования подымает глаза к небу. Дьявол покидает его.

VII

Антоний

(приходит в себя; он лежит на спине на краю утеса. Небо начинает бледнеть)

Что это — свет зари или лунный отблеск?

(Пытается встать, но снова падает; зубы у него стучат.)

Я весь разбит... точно кости у меня переломаны! Отчего это?

А, Дьявол! Припоминаю. Он повторял мне все, что я слышал от старого Дидима об учении Ксенофана, Гераклита, Мелисса, Анаксагора о бесконечности, о творении, о невозможности познать что-либо!

А я-то верил, что могу соединиться с богом!

(С горьким смехом.)

О безумие! Безумие! Разве это моя вина? Молиться я не в силах! Сердце мое затвердело, как камень! А когда-то оно было преисполнено любви!..

По утрам на горизонте песок вился, как дым кадильницы; когда солнце близилось к закату, огненные цветы распускались на кресте, и среди ночи мне часто казалось, что все существа, все предметы, объединенные общим молчанием, поклоняются вместе со мной господу. Восторг молитвы, блаженство экстаза, небесные дары! Во что превратились вы!

Припоминаю мое странствие с Аммоном в поисках уединенной местности для монастырей. Наш путь близился к концу, мы ускоряли шаг, шепча молитвы, и молча шли друг подле друга. По мере того как опускалось солнце, тени наши удлинялись, словно два растущих обелиска, которые шествовали впереди нас. Сделав кресты из наших посохов, мы втыкали их в землю, чтобы отметить место будущих келий. Ночь спускалась медленно; волны мрака расползались по земле, а небо еще сияло необозримым розовым сиянием.

Ребенком я забавлялся, возводя из камешков скиты. А мать стояла поблизости и смотрела на меня.

Она, верно, проклинала меня, когда я ее покинул, и рвала на себе седые волосы. А позже ее труп остался лежать в ветхой хижине под тростниковой крышей. Гиена, фыркая, просовывала морду в одну из дыр в стене... Какой ужас! Какой ужас!

(Рыдает.)

Нет, Аммонария не могла ее покинуть!

Где-то теперь Аммонария?

Быть может, в бане и снимает с себя одежды одну за другой — сначала плащ, затем пояс, первую тунику, вторую, более легкую, все свои ожерелья; пары́, благоухающие киннамоном, окутывают ее нагое тело. Она ложится, наконец, на теплую мозаику. Волосы обвивают ее бедра черным руном, и, слегка задыхаясь от жары, она дышит, изогнув стан, выставив вперед груди. Ну вот!.. Теперь вос-

стает моя плоть! К тоске примешивается похоть. Две муки зараз — это уж слишком! Не могу выносить самого себя! *(Наклоняется и смотрит в пропасть.)*

Упасть туда — значит разбиться насмерть. Нет ничего легче, надо сделать одно движение, только одно!

Тут появляется

Старая женщина.

Антоний в ужасе вскакивает. Ему кажется, что это его воскресшая мать.

Но эта женщина гораздо старше и необычайно худа.

Саван, завязанный вокруг головы, ниспадает вместе с длинными седыми волосами до ступней ее ног, тонких, как костыли. Блеск зубов, цвета слоновой кости, оттеняет ее землистую кожу. Орбиты полны мрака, и глаза мерцают в их глубине, как лампады в гробнице.

Подойди. Кто тебя удерживает?

Антоний
(запинаясь)

Боюсь совершить грех!

Она

Но ведь царь Саул убил себя! Разия, праведник, убил себя! Святая Пелагея Антиохийская убила себя! Доммина Алепская и две ее дочери, все три святые, убили себя; вспомни всех исповедников, которые бежали навстречу палачам в нетерпеливой жажде смерти, дабы скорее насладиться ею. Милетские девы удушили себя шнурами. Философ Гегесий в Сиракузах так красноречиво проповедовал о ней, что люди покидали лупанары и бежали в рощи, чтобы повеситься. Римские патриции погружаются в нее, как в разврат.

Антоний

Да, эта страсть сильна! Много анахоретов поддаются ей.

Старуха

Подумай только — ты сотворишь деяние, равняющее тебя с богом. Он тебя создал, а ты возьмешь и разрушишь его дело — ты сам, добровольно, благодаря своему мужеству, своей воле! Наслаждение Герострата не превышало этого наслаждения. Да и, кроме того, твое тело достаточно поиздевалось над душой, чтобы ты наконец отомстил ему! Страдать ты не будешь. Все кончится быстро. Чего ты

боишься? Большой черной дыры! Она ведь пуста, как ты полагаешь?

Антоний слушает молча. С противоположной стороны появляется

Другая женщина,

молодая и дивно прекрасная. Он принимает ее сначала за Аммонарию.

Но эта выше ростом, золотистая, точно мед, очень полная, с нарумяненными щеками и розами в волосах. Ее длинное платье, усыпанное блестками, сверкает, как металл; мясистые губы кажутся кровавыми, а тяжеловатые веки напоены такой истомой, что ее можно принять за слепую.

(Шепчет.)

Живи, наслаждайся! Соломон проповедует радость! Иди, куда влечет тебя сердце и вожделение очей!

Антоний

Могу ли я найти радость? Сердце мое устало, в глазах помутилось!

Она

Ступай в Ракотисское предместье, толкни дверь, выкрашенную в голубой цвет, и, когда ты очутишься в атрии, где журчит фонтан, тебя встретит женщина в белом шелковом пеплосе, шитом золотом, с распущенными волосами и смехом, подобным щелканью кроталов. Она искусна. В ее ласках ты вкусишь гордость посвящения и утолишь свои желания.

Тебе неведомы тревоги прелюбодеяния, тайные встречи, похищения, радость видеть обнаженной ту, кого ты уважал в одежде.

Прижимал ли ты к груди девушку, любившую тебя? Вспоминаешь ли, как пренебрегала она стыдом и как угрызения совести растворялись в потоке ее тихих слез?

Попробуй представить себе, что вы идете по лесу при свете луны! От пожатия ваших рук трепет пробегает по телу; глаза ваши разговаривают, изливают как бы духовные волны; сердца переполнены, готовы разорваться. Какой сладостный вихрь, какое безмерное опьянение!..

Старуха

Нет надобности испытывать наслаждения, чтобы почувствовать их горечь! Достаточно взглянуть на них издали — и отвращение охватит тебя. Ты, верно, устал от

однообразия все тех же действий, от течения дней, от уродства мира, от глупости солнца!

Антоний

О да! Все, что оно освещает, мне опостылело!

Молодая

Отшельник! Отшельник! Ты найдешь алмазы среди камней, источники под песком, усладу в случайностях, которые ты презираешь. И на земле есть такие прекрасные уголки, что хочется прижать их к сердцу.

Старуха

Каждый вечер, засыпая на земле, ты надеешься, что вскоре она покроет тебя!

Молодая

Однако ты веришь в воскресение плоти, то есть в перенесение жизни в вечность!

Между тем старуха еще больше высохла, и над ее облысевшим черепом описывает в воздухе круги летучая мышь.

Молодая стала еще полнее. Ее платье переливается разными цветами, ноздри дрожат, глаза полны истомы.

Первая
(раскрывая объятия)

Приди! Я — утешение, отдых, забвение, вечная ясность!

Вторая
(предлагая Антонию свои груди)

Я — усыпительница, радость, жизнь, неиссякаемое блаженство!

Антоний поворачивается, чтобы бежать. Обе кладут ему руки на плечи.

Саван распахивается и обнажает скелет Смерти.

Платье разрывается, и под ним видно нагое тело Сладострастия — тонкая талия, огромный зад; развеваются длинные волосы.

Антоний стоит неподвижно между ними и смотрит на них.

Смерть

Сейчас или позже — не все ли равно! Ты принадлежишь мне, как солнце, народы, города, цари, снег на горах, трава в поле. Я парю выше ястреба, мчусь быстрее газели, настигаю даже надежду, я победила самого Сына божия!

Сладострастие

Не противься: я всемогуща! Леса оглашаются моими вздохами, волны вздымаются, когда я прихожу в волнение, добродетель, мужество, благочестие тают в благоухании моих уст. Я сопутствую человеку во всех его поступках,— даже у порога могилы он оборачивается ко мне!

Смерть

Я открою тебе то, что ты старался уловить при свете факелов на лице мертвецов или блуждая по ту сторону Пирамид, среди великих песков, образовавшихся из человеческих останков. По временам осколок черепа выскальзывал из-под твоей сандалии. Ты брал горсть праха, пропускал его между пальцами — и твоя мысль, слившись с ним, погружалась в небытие.

Сладострастие

Моя бездна глубже! Мраморные статуи внушали грязную любовь. Люди стремятся к встречам, которые их ужасают. Куют цепи, которые они проклинают. Откуда чары блудниц, сумасбродство грез, безмерность моей печали?

Смерть

Моя ирония беспощаднее всякой другой! Похороны царей, истребление народа вызывают судороги наслаждения; войны ведутся под музыку, с султанами, со знаменами, золотыми сбруями, церемониальной пышностью, дабы лучше почтить меня.

Сладострастие

Мой гнев под стать твоему. Я вою, кусаюсь. У меня бывает предсмертный пот и вид трупа.

Смерть

Ты становишься серьезной при мысли обо мне — обнимемся!

Смерть хохочет, Сладострастие кричит. Они обнимаются и поют вместе.

— Я ускоряю разложение материи!
— Я облегчаю рассеяние зародышей!
— Ты разрушаешь, дабы я возрождала!
— Ты зачинаешь, дабы я разрушала!
— Усиль мое могущество!

— Оплодотвори мое гниение!

Раскаты их голосов оглашают окрестности, достигая такой силы, что Антоний падает навзничь.

От толчков, которые время от времени сотрясают его, Антоний приоткрывает глаза и в окружающем мраке различает какое-то чудовище.

Перед ним череп в венке из роз на женском туловище перламутровой белизны. Усеянный золотыми точками саван образует как бы хвост; все тело извивается, подобно гигантскому червю, выпрямившемуся во всю свою длину.

Видение бледнеет, улетучивается.

Антоний

(встает)

Опять Дьявол, и в своем двойственном обличье — дух блуда и дух разрушения.

Ни тот, ни другой меня не страшит. Я отвергаю счастье. Я чувствую себя вечным.

Да, смерть — только призрак, покров, местами скрывающий непрерывность жизни.

Но раз Субстанция едина, почему формы ее столь разнообразны?

Где-то должны существовать первообразы, подобиями которых являются тела. Если бы их можно было узреть, мы познали бы связь материи с мыслью, познали бы, в чем состоит Бытие!

Эти-то образы и были начертаны в Вавилоне на стене храма Бела; они же были изображены на мозаике в гавани Карфагена. Я сам иной раз замечал на небе как бы очертания духов. В пустыне можно встретить животных, не поддающихся описанию...

И вот перед ним, по другую сторону Нила, появляется Сфинкс. Он вытягивает лапы, шевелит повязками на лбу и ложится на брюхо.

Скача, взлетая, извергая пламя из ноздрей и ударяя по крыльям своим драконовым хвостом, кружится и лает зеленоглазая Химера.

Грива Химеры смешалась на одном боку с покрывающей ее шерстью, а на другом свесилась до земли и подпрыгивает при каждом движении тела.

Сфинкс

(неподвижен и глядит на Химеру)

Сюда, Химера! Остановись!

Химера

Нет, ни за что!

Сфинкс

Не бегай так быстро, не залетай так высоко, не лай так громко!

Химера

Не зови меня больше, не зови меня больше, ведь ты всегда в нем!

Сфинкс

Перестань извергать пламя мне в лицо и выть у меня над ухом: тебе не расплавить моего гранита!

Химера

Тебе не поймать меня, грозный Сфинкс!

Сфинкс

Ты слишком безумна, чтобы остаться со мной!

Химера

Ты слишком тяжел, чтобы поспеть за мною!

Сфинкс

Но куда же ты мчишься, куда спешишь?

Химера

Я скачу по переходам лабиринта, я парю над горами, скольжу по волнам, визжу в глубине пропастей, цепляюсь пастью за клочья туч; своим хвостом я черчу побережья, и холмы повторяют изгиб моих плеч. А тебя я вечно нахожу неподвижным, если только ты не пишешь когтем алфавит на песке.

Сфинкс

Да, я храню свою тайну! Я думаю, вычисляю.

Море волнуется в своем лоне, нивы колышутся под ветром, караваны проходят, пыль разлетается, города рушатся,— мой же взгляд, которого никому не отклонить, устремлен сквозь видимое на недостижимые дали.

Химера

Я легка и весела! Я открываю людям ослепительные возможности — рай в облаках и далекое блаженство. Я им подсказываю извечные безумства, мысли о счастье, надеж-

ды на будущее, мечты о славе, клятвы любви и добрые намерения.

Я побуждаю их к опасным странствиям и великим предприятиям. Это я изваяла чудеса архитектуры. Я подвесила колокольчики к гробнице Порсенны и возвела орихалковую стену вдоль набережных Атлантиды.

Я ищу новых благовоний, небывалых цветов, неиспытанных наслаждений. Если я замечаю человека, дух коего упокоился в мудрости, я кидаюсь на него и душу.

Сфинкс

Я пожрал всех, кого снедала жажда бога.

Желая добраться до моего царственного чела, сильнейшие взбираются по складкам моих повязок, как по ступеням лестницы. Усталость овладевает ими, и они, обессиленные, падают навзничь.

Антоний начинает дрожать.

Он уже не возле своей хижины, а в пустыне, и по бокам его — оба чудовищных зверя, пасти которых касаются его плеч.

О Фантазия! Унеси меня на своих крыльях, чтобы развеять мою печаль.

Химера

О Неведомый! Я влюблена в твои глаза! Как похотливая гиена, я ношусь вокруг тебя, моля об оплодотворении; желание терзает меня.

Раскрой пасть, подыми лапы, стань мне на спину!

Сфинкс

С тех пор как мои лапы вытянуты, я уже не могу поднять их. Мох, как лишай, вырос в моей пасти. Я столько размышлял, что мне нечего больше сказать.

Химера

Ты лжешь, лицемерный Сфинкс! Почему ты вечно зовешь меня и вечно отвергаешь?

Сфинкс

Это ты, неукротимая прихоть, только и знаешь, что вьешься возле меня и улетаешь.

Химера

Моя ли это вина? Что такое? Оставь меня!
(Лает.)

Сфинкс

Ты вертишься, ты ускользаешь!
(Ворчит.)

Химера

Попробуем!.. Ты раздавишь меня!

Сфинкс

Нет! Невозможно!

Постепенно погружаясь в песок, он исчезает: Химера ползает, высунув язык, и уходит, описывая круги.

От ее дыхания поднялся туман.

В его густых клубах Антонию видятся гряды облаков, какие-то смутные тени.

Наконец он различает как бы очертания человеческих тел.

И вот сначала приближается

Рой астомов
(похожих на пузырьки воздуха, пронизанные солнцем)

Не дыши слишком сильно! Капли дождя смертоносны для нас. Фальшивые звуки ранят нас, мрак ослепляет. Состоя из ветерков и благовоний, мы плывем, мы кружимся — мы больше, чем грезы, но и не настоящие существа...

Нисны
(у них по одному глазу, по одной щеке, по одной руке, по одной ноге, по половине тела, по половине сердца; они говорят очень громко)

Мы привольно живем в наших половинных домах, с половинами жен, с половинками детей.

Блеммии
(вовсе лишенные голов)

Наши плечи от этого шире, и ни бык, ни носорог, ни слон не подымут того, что подымаем мы.

Все же на груди у нас есть некое подобие лица или его смутного отпечатка, и это все. Мы поглощены пищеварением, мы вникаем во все выделения. Бог, по-нашему, тихо и мирно пребывает в желудке.

Мы идем, никуда не сворачивая, через все топи, мимо всех бездн, и мы самые трудолюбивые, самые счастливые, самые достойные люди на свете.

Пигмеи

Мы, крошечные человечки, кишим в мире, как вошки на горбу у верблюда...

Нас жгут, нас топят, нас давят, а мы возникаем вновь, еще более живучие и многочисленные, чем прежде,— в ужасающем количестве!

Скиаподы

Мы прикреплены к земле нашими волосами, длинными, как лианы, и растем под сенью наших ног, широких, как зонты; свет доходит до нас сквозь толщу наших пят. Никакого беспокойства и никакого труда! Держать голову как можно ниже — вот тайна счастья!

Их поднятые ноги, похожие на древесные стволы, размножаются.

Появляется лес. Большие обезьяны бегают по нему на четвереньках: это люди с песьими головами.

Кинокефалы

Мы прыгаем с ветки на ветку, высасываем яйца, ощипываем птичек и надеваем себе на голову их гнезда вместо колпаков.

Мы норовим вырвать коровье вымя и выцарапать глаза у рыси; мы гадим с верхушек деревьев и выставляем наш срам среди бела дня.

Уничтожая цветы, топча плоды, замутняя источники, насилуя женщин, мы господствуем надо всем, ибо руки у нас сильны и сердца свирепы.

Смелее, друзья! Громче щелкайте зубами!

Кровь и молоко стекают по их мордам. Дождь струится по мохнатым спинам.

Антоний вдыхает свежесть зеленой листвы.

Листья трепещут, сучья скрипят. И вдруг появляется большой черный олень с головою быка и лесом белых рогов на лбу.

Садхузаг

У меня семьдесят четыре рога, и все они полы, как флейты.

Когда я поворачиваюсь к южному ветру, они издают звуки, привлекающие ко мне очарованных зверей. Змеи

обвиваются вокруг моих ног, осы липнут к моим ноздрям, и попугаи, голуби, пбисы садятся на ветви моих рогов. Слушай!

Он запрокидывает голову, и слышится невыразимо нежная музыка.

Антоний прижимает руки к груди. Ему кажется, что эта мелодия вот-вот унесет его душу.

А когда я поворачиваюсь к северному ветру, мои рога, еще более густые, чем ощетинившиеся копия, издают рев; леса содрогаются, реки текут вспять, плоды лопаются, а травы становятся дыбом, как волосы труса. Слушай!

Он наклоняет голову, и из его рогов исходят бессвязные крики; Антония словно рвут на части.

И его ужас растет при виде

Мартихора
(гигантского красного льва с человечьим лицом и тремя рядами зубов)

Лоснящийся багрянец моей шкуры сливается с отблеском великих песков. Я выдыхаю ужас пустынь. Я изрыгаю чуму. Я пожираю войска, когда они забираются в глушь.

Мои когти изогнуты, как винты, мои зубы зазубрены, как пила, а мой закрученный хвост утыкан дротиками, которые я мечу направо, налево, вперед, назад. Вот! вот!

Мартихор мечет свои иглы, которые разлетаются во все стороны наподобие стрел. Капли крови падают дождем, щелкая по листве.

Катоблеп
(черный буйвол со свиной головой, которая волочится по земле, и тонкой шеей, длинной и дряблой, как пустая кишка, лежит на брюхе. Его ног не видно под длинной жесткой гривой, скрывающей также и морду)

Я жирный, скучный, дикий и не трогаюсь с места, чтобы постоянно ощущать под собой теплую грязь. Моя голова так тяжела, что я не могу ее поднять. Я лишь медленно ворочаю ею и, с трудом раздвинув челюсти, рву ядовитые травы, увлажненные моим дыханием. Случилось

как-то, что я сожрал собственные лапы и даже не заметил этого.

Никто никогда не видал моих глаз, Антоний, а те, кто видел, погибли. Стоит мне приподнять веки,— мои розовые и пухлые веки,— и ты тотчас же умрешь.

Антоний

О, этот!.. А что, если я пожелаю?.. Его глупость привлекает меня. Нет! Нет! Не хочу!

(Упорно смотрит в землю.)

Тут трава загорается, и в языках пламени подымается

Василиск

(большой фиолетовый змей с трехлопастным гребнем и двумя зубами — верхним и нижним)

Берегись, не то попадешь мне в пасть! Я пью огонь. Огонь — это я, ибо я вбираю его отовсюду: из туч, из камней, из засохших деревьев, из шерсти животных, с поверхности болот. Мой жар питает вулканы; я порождаю блеск драгоценных камней и цвета металлов.

Грифон

(лев с ястребиным клювом, с белыми крыльями, красными лапами и синей шеей)

Я — властитель волшебных глубин. Мне ведома тайна гробниц, где почивают цари древних.

Цепь, прикрепленная к стене, поддерживает их головы. Около них, в порфировых бассейнах с черными водами, лежат женщины, которых они любили. В залах размещены сокровища царей,— кучками, горками, пирамидами,— а глубоко внизу, под могилами, после долгого пути в удушливом мраке, ты увидишь золотые реки с алмазными лесами, луга карбункулов и озера ртути.

Прислонясь к дверям подземелья и вытянув когти, я высматриваю пылающим взором тех, кто дерзнул бы приблизиться.

Беспредельная голая равнина побелела от костей путников. Но перед тобой отворятся бронзовые створы, ты вдохнешь пары рудников и опустишься в пещеры... Скорей! Скорей!

(Роет лапами землю, крича петухом.)

Тысячи голосов отвечают ему. Лес дрожит.

И тут возникает множество страшных зверей. Трагелаф — полуолень-полубык; Мирмеколеон — спереди лев, сзади муравей с половыми органами навыворот; пифон Аксар длиною в шестьдесят локтей, ужаснувший Моисея; огромная ласка Пастинака, от запаха которой сохнут деревья; Престерос, своим прикосновением сводящий с ума людей; Мираг — рогатый заяц, живущий на морских островах; леопард Фальмант, который воет так громко, что у него лопается брюхо; трехголовый медведь Сенад, пожирающий своих детенышей; собака Кеп, которая разбрызгивает по скалам голубое молоко своих сосцов. Москиты принимаются жужжать, жабы — прыгать, змеи — свистеть. Сверкают молнии. Сыплется град.

Налетают шквалы и приносят всякие диковины: и головы аллигаторов на ногах косуль, и сов со змеиными хвостами, и свиней с тигриными мордами, и хамелеонов ростом с гиппопотамов, и телят о двух головах — одной плачущей, а другой мычащей, и четверней недоносков, которые связаны одной пуповиной и кружатся, как волчки, и крылатые животы, порхающие, как мошки.

Эти существа дождем падают с неба, выходят из земли, сползают со скал. Всюду горят глаза, ревут пасти, выпячиваются груди, вытягиваются когти, скрежещут зубы, вздымаются тела. Одни рожают, другие совокупляются, третьи пожирают друг друга.

Задыхаясь от тесноты, размножаясь от соприкосновений, они карабкаются друг на друга, и все это кишит, мерно колыхаясь, вокруг Антония, как будто почва стала палубой корабля. Он ощущает на своих ногах слизняков, на ладонях холод гадюк; пауки опутывают его своею паутиной.

Но вот хоровод чудовищ размыкается, небо голубеет и

Единорог
(появляется на сцене)

Вскачь! Вскачь!

У меня копыта из слоновой кости, зубы стальные, голова пурпурная, тело белоснежное, а рог на лбу отливает всеми цветами радуги.

Я перебегаю из Халдеи в татарскую пустыню, бываю на берегах Ганга и в Месопотамии. Я обгоняю страусов. Я бегу так быстро, что подымаю ветер. Я трусь спиной о пальмы. Я валяюсь в бамбуковых зарослях. Одним прыжком перескакиваю реки. Голуби летают надо мной. Только девушка может меня обуздать.

Вскачь! Вскачь!

Антоний глядит ему вслед.

И тут же видит всех птиц, кормящихся ветром. Гуифа, Агути, Альфалима, Юкнефа с Каффских гор, арабских Омаи, в которых воплощены души убитых людей. Он слышит, как попугаи говорят

по-человечьи, а морские лапчатоногие птицы рыдают, как дети, или хихикают, как старухи.

Соленый воздух ударяет ему в лицо. Теперь перед ним плоский морской берег.

Киты пускают водяные фонтаны, а издали приплывают и тащатся по песку

Морские звери

(круглые, как бурдюки, плоские, как лезвия, зазубренные, как пилы)

Ты погрузишься с нами в бездонные глубины, куда еще не сходил ни один человек!

Разные существа населяют различные области Океана. Одни пребывают в обители бурь, другие плавают среди прозрачных холодных вод, третьи пасутся, как быки, на коралловых равнинах, четвертые всасывают хоботом воду, создавая отливы, или несут на плечах груз источников, впадающих в море.

Фосфорически светятся усы тюленей, чешуя рыб. Морские ежи вертятся колесом, рога Аммона развертываются, как канаты, устрицы скрипят створками своих раковин, полипы выпускают щупальца; колыхаются медузы, похожие на хрустальные шары, плавают губки, плюются водой анемоны, вырастают мхи, водоросли.

И всевозможные растения раскидывают ветви, закручиваются винтом, удлиняются, заостряясь, закругляются веерами. Тыквы походят на груди, лианы сплетаются, как змеи.

У вавилонских дедаимов, особых деревьев, вместо плодов — человечьи головы, мандрагоры поют, корень баарас ползет по траве.

Теперь растения уже трудно отличить от животных. На ветвях полипников, напоминающих сикоморы, вырастают руки.

Антонию кажется, что он видит между двух листьев гусеницу, но это — бабочка, она улетает. Он хочет наступить на камешек — подпрыгивает серый кузнечик. Насекомые, похожие на розовые лепестки, сидят на кусте; остатки эфемерид снежным покровом усыпали землю.

Затем кусты сливаются со скалами. Камни походят на мозги, сталактиты — на сосцы, железные цветы — на узорчатые ткани.

В осколках льда он различает разводы, отпечатки растений и раковин, и непонятно: отпечатки ли это или сами предметы. Алмазы сверкают, как глаза, минералы кажутся живыми.

Ему уже не страшно!

Он ложится плашмя, подпирает голову руками и, затаив дыхание, смотрит.

Насекомые, лишенные желудков, продолжают есть; засохшие папоротники вновь зеленеют; недостающие части тела вырастают.

Наконец он видит маленькие шаровидные массы, величиной с булавочную головку, окруженные ресницами. Они в непрерывном движении.

Антоний
(в восторге)

О счастье! О счастье! Я видел зарождение жизни, я видел начало движения! Кровь в моих жилах бьется так сильно, что еще немного — и она прорвет их. Мне хочется летать, плавать, лаять, мычать, выть. Я желал бы обладать крыльями, чешуею, корой, выдыхать пар, иметь хобот, извиваться всем телом, быть повсюду, быть во всем, испаряться вместе с запахами, разрастаться вместе с растениями, течь, как вода, дрожать, как звук, сиять, как свет, укрыться во всем сущем, проникнуть в каждый атом, погрузиться до дна материи — быть самой материей!

День наконец настает; золотые облака раздвигаются, как завеси скинии, и, свиваясь широкими завитками, открывают небо. Посреди неба, в самом солнечном диске, сияет лик Иисуса Христа.

Антоний осеняет себя крестным знамением и становится на молитву.





ПРИМЕЧАНИЯ

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

Летом и ранней осенью 1862 года, разделавшись с «Саламбо», Флобер испытывает некоторую растерянность. «Не хватает воображения; малыш чувствует, что выдохся,— пишет он о себе.— А так как к бесплодному воображению добавляется еще и тревога, то я ничего не могу отыскать. Едва на горизонте замаячит сюжет и мне покажется, будто я что-то различаю, как тотчас же мне в глаза бросается столько трудностей, что я перехожу к другому сюжету, и так без конца». Писатель обращается к театру, читает «33 феерии зараз», сочиняет вместе с Буйле и Омуа феерию «Замок сердец». Одновременно у него возникают другие замыслы: драма с сюжетом из истории Германии; роман о современном востоке; история официального искусства. Все эти замыслы отлагаются короткими заметками в записной книжке 1862—1863 годов, лишь недавно (в 1950 г.) опубликованной и прокомментированной филологом и поэтессой Мари-Жанной Дюри.

Однако и экзотика и история, как видно, набили Флоберу оскомину. В 1862 году он говорил Гонкурам, что «хотел бы сочинить два-три коротких романа, совсем простых, без всяких выкрутасов: муж, жена и любовник» (запись в Дневнике от 29 марта). Заметки к подобным романам мы находим в записной книжке: на одной ее странице — наброски характеров двух супружеских пар, на другой — эскиз женского портрета (заголовок — «Г-жа Моро»), далее — запись нескольких пикантных эпизодов из неисчерпаемой сокровищницы «парижских нравов» и запись о женщине, вышедшей замуж по расчету и компенсирующей ненависть к мужу страстью к роскоши и ревностью, которую она испытывает к собственной дочери. И то и другое нашло себе место в будущем романе: один из пикантных эпизодов — в истории Розанетты, женский характер — в изображении г-жи Дамбрёз.

Но вот, наконец, под заголовком «Г-жа Моро (роман)» появляется запись, которую можно считать первым сценарием «Воспитания чувств».

В основе романа лежит автобиографический материал, а отношения Фредерика Моро и Софи Арну — это отношения самого Флобера и Элизы Шлезингер, которая и скрывается за инициалом Ш. Эта дама весьма занимала биографов Флобера. Один из них, Жерар-Гайи, даже посвятил ей книгу с интригующим названием «Единственная страсть Флобера», где впервые рассказаны многие факты ее жизни, нашедшие отражение в «Воспитании чувств». Флобер встретил г-жу Шлезингер в 1836 году (ранее датировали эту встречу годом позже) на пляже нормандского курорта Трувиль. Пятнадцатилетний романтически настроенный воспитанник коллежа влюбился в двадцатишестилетнюю мать двоих детей — влюбился на всю жизнь. Любовь эта так и не стала «романом» в обычном смысле слова. Нечастые встречи с г-жой Шлезингер и ее мужем, нотным издателем Морисом Шлезингером, симпатизировавшим Флоберу, множество искренних, всегда теплых писем Флобера, которые он писал вплоть до трагического конца Элизы (она сошла с ума), подаренные книги с посвятительными надписями (все книги Флобера, кроме «Воспитания чувств»!) — этим и исчерпывается внешняя сторона отношений. Писатель знал о разочарованиях и горе Элизы, страдавшей из-за сумасбродств мужа, из-за охлаждения к ней детей, и, как видно, всей душой сочувствовал ей. Но о том, какое внутреннее значение имела для него любовь к г-же Шлезингер, он не обмолвился ни разу. Его исповедями стали многие ранние, при жизни оставшиеся ненапечатанными сочинения (прежде всего повесть «Ноябрь») и «Воспитание чувств». Недаром знакомство Фредерика с г-жой Арну начинается со спасения готовой упасть в воду шали, как и знакомство юного Гюстава с Элизой Шлезингер; недаром их следующая встреча происходит в театре «Пале-Рояль», где Флобер спустя четыре года после Трувиля увидал г-жу Шлезингер; недаром внешний облик Софи повторяет черты Элизы (ведь даже описание Софи Арну с детьми в 1-й главе 2-й части романа воспроизводит портрет Элизы, сделанный известным гравером Девериа). По сведениям Жерара-Гайи, характер г-на Шлезингера также нашел довольно точное отражение в характере г-на Арну.

В записной книжке Флобера вслед за первым наброском идут дальнейшие уточнения и разработки сюжета, правда, пока что касающиеся только основных персонажей.

Первое произведение Флобера под названием «Воспитание чувств» было начато в феврале 1843 года и закончено 7 января

1845 года. По сюжету оно не имеет ничего общего с новым «Воспитанием». Но внутренняя преемственность между ними существует несомненно.

Как показывает записная книжка, в 1863 году Флобер не только остановился на замысле «большого парижского романа», но и тщательно разработал его психологическую сторону. Он уже твердо знает, что откажется от драматических конфликтов, от обычных в романах сплетений событий и судеб. И все же он не берет в руки пера, а погружается в чтение — чтение, достаточно для него тягостное. На его столе — Фурье, Прудон, Луи Блан и другие социалистические писатели, чьих идей он не приемлет, которых он обвиняет в том, что они враждебны индивидуальности... Наряду с этим Флобер просматривает прессу с 1835 по 1850 год. Чем же вызвана эта работа, напоминающая подготовительную работу для «Саламбо»? Дело в том, что Флобер понял: чувства его героев воспитывает не череда случайных столкновений и событий, а история.

Да к тому же создатель теории «безличного искусства» менее всего склонен писать роман-исповедь, роман-воспоминание. Его замыслы шире; он сам написал об этом в начале работы над книгой: «Я хочу написать моральную историю людей моего поколения; пожалуй, вернее, историю чувств...» (мадмуазель Леруайе де Шантпи, 6 октября 1864 г.).

Несмотря на некоторые перестановки в датах, исследователи отмечают историческую достоверность романа.

Двадцать третьего мая 1869 года Флобер сообщает племяннице Каролине, что роман окончен и осталось лишь привести в порядок рукопись. В этом же письме он рассказывает, что читал начало «Воспитания чувств» в салоне принцессы Матильды и что «невозможно описать восторг ареопага». В дальнейшем Флобер прочитал там весь роман и писал, что «на последнем чтении восторг достиг наивысшей точки».

Мопассан в 1884 году так охарактеризовал «Воспитание чувств»: «Монументальный роман... обширное полотно, скупое и совершенное... Содержание романа так схоже с самой жизнью, что читателю кажется, будто книга написана без плана и без определенного замысла. Этот роман — в совершенстве выполненная картина того, что случается каждый день, точная запись жизни... Широкие круги читателей, привыкшие к подчеркнутым эффектам, к бросающимся в глаза выводам, не поняли ценности этого несравненного романа. Лишь особо острые и наблюдательные умы схватили замысел этой единственной в своем роде книги, внешне такой простой, такой унылой, такой понятной, но, в сущности, такой глубокой, недоступной, горькой».

Стр. 15. *Дело г-жи Лафарж* — нашумевший на всю Францию уголовный процесс, состоявшийся в сентябре 1840 г. Мари Лафарж (1816—1852), молодая, романтически настроенная женщина, вышедшая замуж за вдовца-провинциала, пошлого и заурядного субъекта, была обвинена в том, что отравила мужа мышьяком, и приговорена к пожизненной каторге. Общественное мнение не признало результатов следствия убедительными. В пору работы над «Бовари» Флобер подробно знакомился с материалами дела и сочинениями самой Мари Лафарж, написанными в тюрьме.

Стр. 16. *Гизо* Франсуа-Пьер (1787—1874) — видный французский историк и реакционный политический деятель. При Луи-Филиппе занимал чрезвычайно консервативные позиции. Практически руководил всей политикой правительства. Будучи министром иностранных дел, часто шел на уступки Англии, за что оппозиционерами был прозван «лордом Гизо». Последний труд Гизо — «История цивилизации во Франции».

...об Императоре... — о Наполеоне I.

Стр. 17. *Жуффруа* Теодор (1796—1842) — французский философ; пропагандировал взгляды философов-шотландцев (Рида, Стюарта), утверждавших истинность чувственного опыта и здравого смысла.

Кузен Виктор (1792—1867) — французский философ, знакомый Флобера. Симпатизировал шотландской школе, но, будучи убежденным эклектиком, утверждал, что каждая философская система содержит элементы истины.

Ларомигьер Пьер (1756—1837) — французский философ, один из основоположников эклектизма.

Мальбранш Никола (1638—1715) — французский религиозный философ, прозванный «Христианским Платоном».

Стр. 18. *Фруасар* Жан (ок. 1337 г.— после 1400 г.) — французский хронист, повествование которого охватывает период с 1325 по 1400 г.

Комин Филипп де (1447—1511) — французский хронист, автор записок о царствовании Людовика XI и Карла VIII.

Пьер де Летуаль (1546—1611) — французский хронист, автор «Ежедневных записок», охватывающих период царствования Генриха III и Генриха IV.

Брантом Пьер де Бурдель (1540—1614) — французский мемуарист, автор «Жизнеописаний знаменитых людей и великих полководцев Франции» и «Жизнеописаний галантных дам».

Стр. 19. *Вертер* — герой романа Гете «Страдания юного Вертера». *Рене* — герой одноименной повести Шатобриана. *Лара* —

герой одноименной поэмы Байрона. *Лелия* — героиня одноименного романа Жорж Санд.

Стр. 22. *Мирабо* Габриэль (1749—1791) — один из выдающихся деятелей Французской революции. В молодости отец подверг его домашнему заточению, откуда Мирабо бежал за границу.

Стр. 23. *Левый центр* — одна из фракций оппозиции, стоявшей за ограничение власти короля парламентом. Главой левого центра был главный соперник Гизо Адольф Тьер (1797—1877), видный историк и реакционный политический деятель. Тьер выдвигал требование неучастия короля в правительстве.

Стр. 25. *Институции* — сочинения римских юристов, излагающие основные принципы частного права.

Стр. 29. *«Ревю де Дё Монд»* — французский журнал, в котором на протяжении всего XIX в. сотрудничали виднейшие писатели страны. Выходит с 1828 г. до наших дней.

Стр. 30. *Петиции о реформе.*— В конце 30-х годов основным требованием либералов была избирательная реформа, которая положила бы конец засилью государственных чиновников в Палате депутатов. 14 июля 1840 г. Национальная гвардия, проходя церемониальным маршем мимо короля, кричала: «Да здравствует реформа!»

Перепись Юмана.— В 1841 г. по инициативе министра финансов Жан-Жоржа Юмана (1780—1842) была проведена перепись, имевшая целью обложить налогами большие группы населения, до тех пор свободные от налогов. Перепись вызвала протесты муниципальных советов и вспышки народного возмущения, которые были подавлены войсками.

Стр. 31. *...как Фредерик Леметр в роли Робера Макэра.*— Великий актер Фредерик Леметр (1800—1876) прославился исполнением роли хвастливого жулика Робера Макэра в мелодраме Антье, Сент-Амана и Полианта «Адретская гостиница» (1823).

Стр. 32. *Цахарие* Генрих Альберт (1806—1875) — немецкий юрист, специалист по уголовному праву.

Рудорф Адольф Август Фридрих (1803—1873) — немецкий юрист, историк римского права.

Притчард Джордж (1796—1883) — английский миссионер на Таити, находившемся под протекторатом Франции. Подстрекаемые им туземцы дважды возмущались против французов. После первого мятежа, когда командир французской эскадры захватил остров, Гизо дезавуировал его действия, не желая конфликта с Англией. После второго мятежа Притчард был арестован фран-

цузами, но Гизо не только извинился перед правительством Англии, но и предложил «справедливое вознаграждение за убытки и страдания» Притчарда. Эти действия Гизо вызвали во Франции бурное негодование. Дело Притчарда относится к 1844 г., и упоминание о нем в этом месте романа является анахронизмом.

Лаффит Жак (1767—1844) — французский финансист и политический деятель. Активно содействовал приходу Луи-Филиппа к власти; после Июльской революции, будучи министром, провел ряд реформ; позднее находился в оппозиции.

Шатобриан Франсуа-Рене (1768—1848) — писатель-романтик и политический деятель эпохи Реставрации. Как убежденный легитимист, был настроен по отношению к Июльской монархии оппозиционно и сочувственно отзывался о демократии.

Сентябрьские волнения были связаны с переписью Юмана.

Стр. 37. *Алжирские войны.*— С 1830 г., когда был взят город Алжир, вплоть до 1847 г. Франция вела нескончаемые войны ради захвата Алжира.

Стр. 39. *Портрет Керубини.*— Портрет композитора Луиджи Керубини (1760—1842) был написан в 1842 г. крупнейшим представителем классицизма в живописи Энгром (1780—1867).

Буше Франсуа (1703—1770) — французский художник, мастер декоративных росписей, изображавших пасторальные и мифологические сцены.

Стр. 40. *Навуходоносор* (VI в. до н. э.) — вавилонский царь; по библейской легенде, сошел с ума и вообразил себя быком.

Кало Жак (1592—1635) — французский художник и гравер, автор острохарактерных офортов. Его циклы «Бедствия войны», «Каприсы» и др. повлияли на одноименные циклы Франсиско Гойи (1746—1828).

Винкельман Иоганн Иоахим (1717—1768) — немецкий археолог и историк искусства, положивший начало научному изучению греческой пластики.

Стр. 41. *«Насьональ»* — газета, основанная в 1830 г. Тьером. При Июльской монархии — орган республиканской оппозиции.

Стр. 53. *«Stabat Mater» Россини* была завершена отказавшимся от сочинения опер композитором в 1842 г.

Луи Блан (1811—1882) — французский политический деятель, писатель и историк, представитель мелкобуржуазного социализма. Играл видную роль во время Июльской революции 1830 г. и революции 1848 г. Им была выдвинута идея государственной организации труда.

Герцог Немурский Луи-Шарль-Филипп (1814—1896) — второй сын Луи-Филиппа.

Г-н де Жуанвиль (Франсуа Орлеанский; 1818—1890) — третий сын Луи-Филиппа, адмирал флота.

Стр. 56. *Альфред де Дрё* (1808—1860) — французский художник. *Прадье* Джемс (1792—1852) — французский скульптор. Оба являлись представителями салонного искусства.

Стр. 58. *...устройство укреплений вокруг Парижа...*— Проект фортификации Парижа был провален в 1833 г. Палатой депутатов, отказавшей королю в кредитах на это мероприятие под тем предлогом, что укрепления будут использованы не против внешнего врага, а против народа.

Сентябрьские законы были приняты в 1835 г., после неудавшегося покушения на Луи-Филиппа. По этим законам увеличивались полномочия уголовных судов в делах о политических преступлениях и принимались драконовские меры против свободы печати.

Стр. 59. *Регентство* — период опеки (1715—1723 гг.) герцога Орлеанского над несовершеннолетним Людовиком XV. Нравы двора в эту пору отличались крайней распущенностью.

Стр. 60. *...вопрос о рейнской границе.*— По решению Венского конгресса в 1815 г. области на левом берегу Рейна отошли к Германии. Во Франции это обстоятельство вызывало особенное возмущение у республиканцев и либералов, связывавших вопрос о рейнской границе с воспоминаниями о победах революционной армии при якобинцах.

Мараст Арман (1801—1852) — французский публицист-республиканец, сотрудник газеты «Насьональ».

Г-жа де Сталь Анна-Луиза-Жермена (1766—1817) — французская писательница и публицистка, оказавшая влияние на всю литературу романтизма в Европе. Как противница режима Наполеона, была изгнана из Франции.

Стр. 62. *Понселе* Франсуа-Фредерик (1790—1843) — французский юрист, специалист по гражданскому праву и историк римского права.

Стр. 75. *Дюмерсан* Теофиль (1780—1849) — французский драматург, автор многочисленных водевилей. Был также видным ученым-нумизматом.

Стр. 83. *Рейсдаль* — фамилия двух выдающихся голландских пейзажистов — Саломона (ок. 1600—1670 гг.) и его племянника Якоба (1629—1682).

Стр. 84. *Одри* Жак-Шарль (1781—1853) — французский комический актер, игравший в парижском театре «Варьете».

Удри Жан-Батист (1686—1755) — французский художник-анималист, автор серии «Наброски собак».

Стр. 88. *...теряет в Алжире миллионы.*— После успешной для французов кампании 1844 г. в Африке оппозиция обвинила правительство в том, что оно не взяло с противника контрибуции. На это Гизо отвечал: «Франция достаточно богата, чтобы оплатить свою славу».

Стр. 96. *«Атала»* — повесть Шатобриана (1801). *«Сен-Мар»* — роман Альфреда де Виньи (1826). *«Осенние листья»* — сборник стихов Виктора Гюго (1831).

Летурнер Пьер (1736—1788) — французский литератор, переводчик и первый пропагандист Шекспира во Франции. Его полный перевод драматических произведений Шекспира вызвал нападки современников, хранивших классицистические традиции; в частности, о Летурнере в резком тоне писал Вольтер.

Стр. 105. *«Век»* — основанная в 1836 г. газета оппозиции, вокруг которой группировались сторонники конституционной монархии.

«Шаривари» — основанный в 1832 г. сатирический журнал, резко нападавший на Луи-Филиппа. Среди сотрудников «Шаривари» наиболее известен Оноре Домье.

Стр. 109. *Франки* — германское племя; начиная с III в. многократно вторгались на территории Римской Галлии и в середине V в. окончательно покорили ее, подчинив коренное галльское население.

Стр. 110. *Дюно* (Франсуа-Иньяс Дюно де Шарнаж; 1679—1752) — французский юрист, автор «Трактата о давности». *Рогериус* (XIII в.) — итальянский юрист, автор двух трактатов-диалогов «О сроках давности». *Бальбус* Корнелий (I в. до н. з.) — римский политический деятель и юрист, друг Цицерона. *Мерлен* Филипп-Антуан (1754—1838) — французский юрист и политический деятель, якобинец, затем, при Директории,— министр юстиции, один из авторов нового закона о наследстве. *Вазейль* — французский юрист, автор двухтомного «Трактата о давности» (1832). *Савиньи* Фридрих Карл (1779—1861) — выдающийся немецкий ученый-юрист, основоположник исторического изучения римского права. Вопросы давности разработаны им в капитальном труде «Система современного римского права». *Тролон* Реймон-Теодор (1795—1869) — французский юрист, автор двадцатисемитомного

«Французского гражданского права, изложенного в соответствии со статьями гражданского кодекса».

Стр. 112. *Бартелеми* Марсель (1796—1867) — французский поэт-республиканец, при Июльской монархии издавал журнал «Немезида», где клеймил в стихах каждый шаг правительства. Одно из таких стихотворений цитирует Флобер. *...то грозное Собранье...*— Конвент.

Стр. 120. *«Гаспардо-рыбак»* — мелодрама Жозефа Бушарди (1810—1870); поставлена в 1837 г.

Стр. 123. *Селюта* — индианка, героиня повести Шатобриана «Натчезы».

Стр. 131. *Старик с Горы* — так называли главу изуверской мусульманской секты ассасинов, существовавшей в средние века. Здесь — кто-то из богатых стариков, содержавших лореток.

Стр. 133. *«Независимое обозрение»* — демократическая газета, выходившая с 1841 по 1848 г.; в ней сотрудничала Жорж Санд.

Мабли Габриэль Бонно де (1709—1785) — французский коммунист-утопист, отстаивавший идею всеобщего равенства. *Морелли* (XVIII в.) — коммунист-утопист, автор вышедшего в 1755 г. трактата «Кодекс природы», где отрицается принцип частной собственности. *Конт* Огюст (1795—1857) — философ-позитивист, близкий к сенсимонистам. *Кабье* Этьен (1788—1856) — коммунист-утопист, автор утопического романа «Путешествие в Икарию».

Стр. 134. *Лакедемон* — древняя Спарта, известная строжайшей общественной дисциплиной и подчинением всех граждан интересам государства.

Стр. 135. *...об убийствах в Бюзансе и о продовольственном кризисе.*— Зимой 1846/47 г. из-за недорода в местечке Бюзансе (департамент Эндр) голодная беднота грабила и убивала богатых землевладельцев. Правительство беспощадно расправилось с виновными: четверо из них были приговорены к пожизненной каторге и пятеро казнены.

Стр. 136. *Фаланстер* — утопическая форма организации коммуны, которую проповедовал Фурье.

Испанские браки.— В 1846 г. королева Испании Изабелла, руки которой добивался принц Леопольд Саксен-Кобургский, родственник английской королевы, вышла замуж за своего двоюродного брата Франческо Ассизского. В тот же день сестра королевы Луиза-Фердинанда вышла замуж за сына Луи-Филиппа, герцога Монпансье. Эти браки обеспечили Франции влияние на испанский двор и вызвали ноту протеста английского кабинета.

Растрата в Рошфоре, военном порту на берегу Бискайского залива, вызвала скандальный процесс; перед судом предстало 36 чиновников интендантства. Министр флота пытался спачала замять дело; этим обстоятельством воспользовалась оппозиция как поводом для критики правительства.

Сен-Дени — аббатство в 9 км. от Парижа, усыпальница французских королей. Проект реорганизации капитула аббатства был принят в начале 1847 г. Палатой пэров, но до 1848 г. так и не представлен на утверждение Палаты депутатов.

Гро Антуан-Жан (1771—1835) — французский художник-баталист, автор полотен, изображающих эпизоды наполеоновских войн, и росписей на куполе Пантеона. В одном из писем 1842 г. Флобер рассказывает об одном знакомом, стороннике Луи-Филиппа, который возмущался королем, говоря: «...в Версальском музее... эта свинья нашла, что одно полотно Гро слишком мало и не может заполнить простенок, и надумала... надставить холст на два-три фута мазней любого художника».

Стр. 137. *Барбес* Арман (1809—1870) — французский революционер-республиканец, член тайных организаций «Общество прав человека» и «Общество времен года». Многократно арестовывавшийся при Июльской монархии, он в описываемую пору находился в тюрьме, помилованный после смертного приговора.

Понятовский Юзеф (1763—1813) — наполеоновский маршал, командовал польским корпусом во время русской кампании 1812 г. После «битвы народов» под Лейпцигом прикрывал отступление французской армии и утонул в реке Эльстер.

Отмена Нантского эдикта о равенстве протестантов и католиков во Франции имела место в 1685 г.

Лига — союз французских феодалов-католиков, созданный в 1576 г. для борьбы с протестантами. Мысль о том, будто бы католицизм и революция равно «отстаивают суверенитет народа», а Лига подобна Комитету общественного спасения, Флобер заимствовал у теоретика «неокатолического социализма» Филиппа-Жозефа Бюше (1796—1865).

Стр. 138. *Лола Монтес* (1824—1861) — любовница баварского короля Людвига I; восстание в Мюнхене заставило короля удалить ее из страны.

Стр. 151. *...подражать «Тринадцати» Бальзака.*— Имеется в виду роман Бальзака «История тринадцати» (1833), состоящий из трех новелл, в которых действует таинственный преступный «союз тринадцати».

Стр. 152. *Генерал Фуа* Максимилиан-Себастьян (1775—1825) —

наполеоновский генерал, при Реставрации — член Палаты депутатов, популярный деятель оппозиции.

Стр. 155. *...де Женуд протягивает руку газете «Век»!* — Антуан де Женуд (1792—1849) возглавлял легитимистскую «Французскую газету». В своих статьях, написанных при Луи-Филиппе, резко нападал на короля и призывал к союзу республиканцев и легитимистов против Орлеанского дома.

«Королева Марго» — инсценировка знаменитого романа Александра Дюма-отца, сделанная автором совместно с Маке. Ее постановкой открылся в Париже Исторический театр (1847).

Стр. 156. *Покушение двенадцатого мая* (1839 г.) — попытка восстания, предпринятая «Обществом времен года» во главе с Барбесом и Огюстом Бланки (1805—1881), но не поддержанная парижанами. В своем манифесте восставшие призывали к свержению монархии и к социальным преобразованиям.

Стр. 157. *Французский театр* — театр Французской комедии

Стр. 162. *Лезюрк* Жозеф (1763—1796) — был ошибочно обвинен в ограблении почтовой кареты и убийстве почтальона; после казни Лезюрка выяснилась его невиновность.

Стр. 166. *Антони* — герой одноименной драмы Александра Дюма-отца (1831), тип мрачного, «рокового» молодого человека.

Стр. 170. *Венсан де Поль* (1581—1660) — французский священник, прославившийся своей благотворительной деятельностью и причисленный к лику святых.

Стр. 173. *Гражданский кодекс* — составленный особой комиссией по поручению Наполеона и принятый в 1804 г. свод Гражданского права Франции.

Вронский Юзеф (1778—1853) — польский математик и философ, живший во Франции. Исследователи доказали, что приводимые Флобером слова не точная цитата, а пародия на стиль философской публицистики Вронского.

Отец Анфантен Бартелеми-Проспер (1796—1864) — один из виднейших последователей Сен-Симона.

Пьер Леру (1797—1831) — социалист-утопист, отошедший от сенсимонизма и создавший собственную систему.

Стр. 174. *Эколь Нормаль* — высшее учебное заведение в Париже, готовящее преподавателей гуманитарных дисциплин.

Стр. 180. *Маркантонио* (Маркантонио Раймонди; ок. 1480 г.— между 1527—1534 гг.) — итальянский гравер, воспроизводивший в гравюре работы крупнейших художников Ренессанса.

Стр. 198. *Бу-Маза* (род. ок. 1820 г.) — один из вождей алжирцев, сопротивлявшихся французскому завоеванию. Взятый в плен, он был поселен в Париже, получил значительную пенсию и быстро стал модной фигурой в парижском обществе.

Стр. 200. *Брек* — четырехколесный экипаж с продольными сиденьями.

Стр. 204. *Эдгар Кине* (1803—1875) — французский политический деятель и историк. С 1842 г. занимал во Французском коллеже кафедру языков и литератур Южной Европы; опубликовал вместе с Мишле книгу «Иезуиты», содержавшую резкие нападки на католицизм, чем навлек на себя недовольство правительства, и после студенческих волнений 1846 г. был отставлен от должности. Тогда же был прекращен завоевавший чрезвычайную популярность курс лекций Адама *Мицкевича*, занимавшего во Французском коллеже кафедру славянских литератур.

Сенвиль (ок. 1801—1854 гг.) — комический вктер театра «Пале-Рояль», игравший простаков.

Стр. 205. *Боше* (1805—1873) — преподаватель верховой езды, автор нескольких трудов по ее теории.

Стр. 206. *Граф д'Ор* (ум. в 1863 г.) — кавалерист и знаток лошадей, автор «Курса верховой езды», официально принятого как руководство во французской кавалерии.

Стр. 208. *Жерико* Теодор (1791—1824) — французский художник-романтик, много писавший лошвдей.

...коней Парфенона.— На рельефах, украшавших фриз Парфенона в Афинах, есть изображение скачущих на конях юношей.

Стр. 210. *Процессы Друйара и Бенье.*— Парижский банкир Друйар в 1847 г. был обвинен в том, что истратил 150 тысяч франков на подкуп избирателей. Директор Генерального интендантства пищевых припасов Бенье был обвинен в злоупотреблениях, но правительство замяло дело. Лишь тогда, когда после смерти Бенье в 1845 г. был обнаружен дефицит в 300 тысяч франков, назначили следствие и привлекли к суду сообщников Бенье. Оба процесса были использованы оппозицией.

Годфруа Кавеньяк (1801—1845) — революционер-республиканец, один из руководителей тайного общества «Друзья народа». Брат генерала Луи-Эжена Кввеньяка (1802—1857), палача июньского восстания 1848 г.

Стр. 212. *«Отец и дворник»* — водевиль Ансело и Буржуа (1833).

Стр. 217. *Ла Фужер* — автор изданного в 1825 г. «Трактата об искусстве фехтования».

Стр. 220. *«De Profundis».*— Этот псалом входит в католическую заупокойную службу.

Стр. 225. *...давал ему книги...*— Имеются в виду книги *Тьера* «История французской революции» (1824—1827); «Исторические зарисовки основных событий французской революции» (1823—1825) бывшего члена конвента Жака-Антуана *Дюлора* (1755—1835); «История герцогов Бургундских» (1824—1826) политического деятеля и историка Гильома-Проспера *де Баранта* (1782—1866) и исторический труд *Ламартина* «История жирондистов» (1847).

Шалье Жозеф (1747—1793) — вождь лионских якобинцев, казненный восставшими в Лионе роялистами.

«Общество семейств» — тайное общество, созданное Бланки в 1835 г.

Алибо Луи (1810—1836) совершил покушение на Луи-Филиппа и был казнен.

...на улице Транснонен...— Во время подавления республиканского восстания 13 апреля 1834 г. в Париже солдаты правительства ворвались в дом № 12 по улице Транснонен, из которого в них стреляли, и уничтожили всех его обитателей, не пощадив женщин и детей.

Стр. 227. *...кого... здесь обманывают?* — Бомарше. Севильский цирюльник, д. III, явл. II.

Стр. 229. *Гранден* Виктор (1797—1849) — оппозиционный депутат. *Бенуа* (Дени Бенуа д'Ази; 1796—1880) — крупный промышленник, депутат-легитимист. Спор между ними касался вопроса об участии государства в строительстве железных дорог.

«Подражание Христу» — средневековое латинское сочинение, приписываемое жившему в XV в. Фоме Кемпийскому.

«Готский альманах» — издаваемый с 1763 г. до наших дней в немецком городе Гота справочник, содержащий генеалогические сведения обо всех царствующих домах Европы.

Граф д'Артуа (1757—1836) — брат Людовика XVI, эмигрировавший из Франции сразу после взятия Бастилии. Пытался организовать контрреволюционную коалицию монархов. После Реставрации правил под именем Карла X, был свергнут Июльской революцией и вновь бежал из Франции.

Стр. 232. *Дезольм* Лоран-Пьер-Шарль (род. в 1817 г.) — журналист-республиканец. *Блекстон* Вильям (1723—1780) — английский правовед и политический деятель.

Билль о правах — акт, принятый английским парламентом в 1689 г. и сильно ограничивший власть короля в пользу парламента.

Статья вторая конституции девяносто первого года, принятой революционным Законодательным собранием, говорит о «естественных и неотторжимых» правах человека, таких, как свобода, собственность, безопасность, сопротивление насилию.

«Хартия» — «Конституционная хартия Франции», подписанная при Реставрации Людовиком XVIII и измененная в либеральном духе после Июльской революции.

Стр. 253. *«Басни» Лашамбоди* — вышедший в 1839 г. сборник басен Пьера Лашамбоди (1806—1872), рисующих нищету и бесправие народа. Сам Лашамбоди был близок к сенсимонистам, в 1848 г. замещал Бланки на посту председателя революционного клуба. *«Наполеон» Норвена* — апологетическая «История Наполеона» (1827—1828), написанная видным чиновником наполеоновской администрации, а затем историком Жаком Марке де Норвеном (1769—1854).

Всеобщее избирательное право — требование республиканцев-радикалов, возглавляемых Александром-Огюстом *Ледрю-Ролленом* (1808—1874).

Реформистские банкеты — одна из форм пропаганды избирательной реформы. В связи с тем, что Палата депутатов отклонила предложения о снижении избирательного ценза и исключении из ее состава чиновников, по всей Франции прокатилась волна банкетов, начавшаяся банкетом 9 июля 1847 г. в Париже.

...Пьемонт, Неаполь, Тоскана... — В Пьемонте король Карл-Август провел в октябре 1847 г. ряд либеральных реформ и отстранил от власти реакционного главу правительства. В Неаполе король Фердинанд II, которого Николай II хвалил за «твердость», вынужден был дать конституцию — точную копию французской конституционной хартии в редакции 1830 г. Великий герцог тосканский Леопольд II также учредил парламент, Национальную гвардию и ввел свободу печати.

Голландию мы принесли в жертву... — На Лондонской конференции 1830 г. Франция согласилась на упразднение созданного Венским конгрессом Нидерландского королевства и на признание независимой Бельгии, которая отложилась от Голландии в результате революции 1830 г.

В Швейцарии... — В Швейцарии с 1845 г. шла борьба между протестантами и католиками, закончившаяся победой протестантов. Австрия и Франция пытались дипломатическим вмешательством поддержать католиков и тем обеспечить автономию кантонов, установленную в 1815 г. *трактатами* Венского конгресса.

Стр. 254. *Таможенный союз* германских государств (1834 г.) был первым шагом к их воссоединению под эгидой Пруссии.

Восточный вопрос был связан в описываемую эпоху с Конвенцией 1841 г. о проливах, согласно которой Турция могла задержать в Дарданеллах военные суда любой нации. Эта конвенция была выгодна Англии, так как отрезала Россию от Средиземного моря.

...ничего, ничего! — Слова, произнесенные в палате одним из депутатов, дотоле верных Гизо: «Что сделали за семь лет? Ничего, ничего и ничего!»

...случай с голосованием... — В 1844 г. правительство с трудом собрало большинство голосов при обсуждении дела Притчарда.

Маршал Сульт Никола-Жан (1769—1851) — наполеоновский маршал, при Реставрации объявивший себя роялистом, а при Июльской монархии — сторонником Луи-Филиппа; в описываемую эпоху был военным министром и главой правительства.

Стр. 255. *Процесс Теста — Кюбьера.* — Тест, председатель кассационного суда, был обвинен в том, что, будучи министром общественных работ, взял за предоставление концессии крупную взятку при посредничестве генерала Кюбьера. В 1847 г. обвиняемые были приговорены к крупным денежным штрафам и поражению в правах.

Герцогиня де Прален была найдена убитой у себя в спальне. Ее муж, обвиненный в убийстве, покончил с собой в тюрьме накануне суда. Ходили слухи, что правительство помогло ему бежать в Англию.

«Кавалер де Мезон-Руж» — инсценировка одноименного романа А. Дюма, сделанная автором и А. Маке; поставлена в 1847 г. в Историческом театре, где шли преимущественно пьесы Дюма. Благодаря тому, что в ней выведен благородный республиканец, эта пьеса на сюжет из времен Французской революции имела большой успех.

«Мирная демократия» — орган фурьеристов, выходивший с 1843 по 1851 г.; печатал много материалов по женскому вопросу.

Стр. 256. *Пий Девятый* (1792—1878) занял папский престол в 1846 г. и тотчас же провел ряд либеральных реформ, допустив светских лиц в свой кабинет министров, учредил в Риме муниципалитет; даровал амнистию политическим заключенным и изгнанникам.

...фигляра из Ратуши, друга предателя Дюмурье. — Имеется в виду Луи-Филипп, которого на популярной карикатуре изобразили в виде фокусника, жонглирующего тремя шариками с надписями: Июль, Свобода, Революция. В 1793 г. Луи-Филипп, тогда еще гер-

цог Шартрский, служил в революционной армии под командованием генерала Шарля-Франсуа Дюмурье (1739—1823). Когда этот генерал-жирондист, отставленный якобинцами от командования, перешел на сторону врага, Луи-Филипп бежал вместе с ним.

Пригласите сюда знатных дам! — Цитата из пьесы А. Дюма и Гильярде «Нельская башня» (1832).

Два белых быка... — начало песни «Быки» (1845), написанной рабочим-поэтом Пьером Дюпоном (1821—1870).

Стр. 257. *Д'Альтон-Шэ* Эдмон де Липьер (1810—1874) — депутат палаты, сначала — сторонник Гизо; в 1847 г. примкнул к оппозиции, в 1848 г. стал активным республиканцем.

Стр. 264. *Леотад* (в миру — Луи Бонафу; 1812—1850) — монах, эконом монастырского пансиона в Тулузе, приговоренный к пожизненной каторге за изнасилование и убийство несовершеннолетней служанки.

Восстание в Палермо началось 12 января 1848 г., быстро охватило Сицилию и перекинулось в Неаполь; заставило Фердинанда II дать конституцию.

Банкет 12-го округа Парижа был запрещен, что послужило поводом для дебатов в палате.

Стр. 267. *Груша* — насмешливое прозвище Луи-Филиппа, которого изображали на карикатурах с головой грушевидной формы. Перед революцией противники короля рисовали на парижских стенах грушу.

Одилон Барро (1791—1873) — один из министров Луи-Филиппа, оппозиционер, поддерживавший избирательную реформу.

Стр. 272. *«Жирондисты»* — патриотическая песня с припевом «Умереть за отчизну!» из пьесы «Кавалер де Мезон-Руж».

Стр. 273. *Смена министерства.* — Восстание, начавшееся в Париже в ночь с 22 на 23 февраля 1848 г. и отказ Национальной гвардии выступить против восставших заставили короля принять отставку Гизо и поручить формирование нового кабинета Луи-Матье Моле (1781—1855), ярому роялисту.

Стр. 274. *Пальба на бульваре Капуцинок.* — Расстрел демонстрации парижских трудящихся 23 февраля солдатами четырнадцатого линейного полка.

Стр. 275. *...Тьер пытался составить другой...* — После того как Моле не смог сформировать кабинет, король поручил сделать это Тьеру, который потребовал роспуска палаты и умеренной избирательной реформы. Король, не согласившись на это, назначил главнокомандующим армией и Национальной гвардией маршала

Тома-Робера *Бюжо* (1784—1849), который хотел одного: «перебить как можно больше этой сволочи». Тьер потребовал отставки Бюжо.

Стр. 281. *Герцогиня Орлеанская* — вдова старшего сына Луи-Филиппа, мать малолетнего графа Парижского, в пользу которого король отрекся от престола. Однако, когда отречение было подписано, восставшие уже врывались в Тюильри. Малолетний король и регентша переехали в Бурбонский дворец, оттуда — в палату, где их восторженно приветствовали. Однако вскоре восставшие ворвались в палату. Ледрю-Роллен и Ламартин выступили с требованиями создать временное правительство. Когда правые депутаты покинули палату, правительство было сформировано из депутатов-республиканцев.

Дюнуайе — капитан Национальной гвардии, первым ворвавшийся со своими людьми в Тюильри.

...в Ратушу.— В Ратуше находилось сформированное одновременно с временным правительством более радикальное правительство, куда вошли *Луи Блан*, рабочий *Альбер* (Александр Мартен; 1815—1895), участник тайного «Общества времен года»; секретарь республиканской газеты «Реформа» Фердинанд *Флокон* (1800—1860) и др. Тогда же в Ратуше была провозглашена республика.

Стр. 283. *Шангарнье* Никола-Эме (1793—1877) — генерал, роялист; 25 февраля вместе с Бюжо перешел на сторону республики. После подавления июльского восстания командовал Национальной гвардией Парижа и войсками и сыграл реакционную роль в событиях 1849 г.

Де Фаллу Альфред-Пьер-Фредерик (1811—1886) — крайний реакционер, роялист и клерикал, автор принятого в 1850 г. закона о подчинении школы контролю церкви.

...люди Коссидьера...— Коссидьер Марк (1808—1861) — революционер-социалист, участник восстания лионских рабочих 1834 г. После февральской революции возглавил корпус полиции, который был создан им заново из национальных гвардейцев, боровшихся против монархии, и членов тайных обществ. Новоиспеченные полицейские носили синие блузы, красные пояса и длинные сабли.

Стр. 284. *Дюпон де л'Эр* Жак-Шарль (1767—1855) — председатель временного правительства. Начав политическую карьеру еще во время консульства, он был бессменным депутатом с 1817 по 1848 г. При Реставрации стоял во главе либералов, при Луи-Филиппе неизменно участвовал в оппозиции.

Разгром замков Нейи и Сюрен.— Любимая резиденция Луи-Филиппа — замок Нейи — и замок банкира Ротшильда в Сюрене были разгромлены 25 февраля. *Волнения в Лионе* — разгром тек-

стильных фабрик лионскими рабочими. *Циркуляр Ледрю-Роллена* был разослан комиссарам временного правительства перед выборами в Учредительное собрание. В нем предлагалось приложить все усилия к тому, чтобы «старые республиканцы» успешно прошли на выборах. *Принудительный курс кредитных билетов* был установлен в связи с исчерпанием запасов звонкой монеты во Французском банке. *Налог в сорок пять сантимов* — увеличение каждого из четырех прямых налогов на 45%, то есть 45 сантимов на каждый франк. Проведенное 16 марта, оно оттолкнуло от республики мелкую буржуазию и крестьян.

Стр. 286. *Рим, Венеция, Берлин охвачены восстанием...* — Упоминание восстания в Риме является в этом месте анахронизмом: восстание, свергшее власть папы и окончившееся провозглашением Римской республики, произошло в ноябре 1848 — феврале 1849 г. Восстание в Венеции, начавшееся 18 марта 1848 г., привело к изгнанию австрийцев, под властью которых находилась Северная Италия, и провозглашению независимости Венецианской республики. 18—19 мая в Берлине происходили баррикадные бои, так как широкие массы были недовольны половинчатыми реформами короля Фридриха-Вильгельма IV.

Стр. 291. *...требовал права на обеспеченный труд...* — Вопрос о праве на труд был поставлен уже 25 февраля демонстрацией рабочих, требовавших организации труда, гарантированного права на труд, обеспечения на случай болезни и старости. В пользу рабочих вопреки сопротивлению Ламартина и других выступил Луи Блан. Временное правительство признало справедливость требований рабочих и выпустило декларацию, в которой обещало «гарантировать всем гражданам работу» и признавало право рабочих на собственные организации. Для выполнения обещаний была создана особая комиссия во главе с Луи Бланом, которая начала работу в Люксембургском дворце. Таким образом, временное правительство фактически устранило его от участия в своей деятельности. Между тем проекты комиссии не принимались, и для разрешения проблемы были созданы «национальные мастерские», где организованные по-военному рабочие занимались непроизводительными земляными работами на постройке парижских вокзалов. Работы не хватало, оплата труда постепенно снижалась. Эта издевательская мера буржуазии имела целью дискредитировать идею организации труда.

Стр. 292. *«Национальное собрание»* — основанная 29 февраля газета сторонников Июльской монархии, нападавшая на временное правительство.

Стр. 296. *Фукье-Тенвиль* Антуан-Кентен (1746—1795) — общественный обвинитель революционного трибунала, прославившийся своей неподкупной суровостью.

Стр. 297. *...объявлена конституция в Кадисе...* — 1 января 1820 г. Рафаэль Риэго, возглавивший мятеж стоявших близ Кадиса воинских частей, провозгласил испанскую конституцию.

Стр. 302. *«Пресса»* — либеральная газета, основанная журналистом Эмилем де Жирарденом (1806—1881). Жирарден поставил вопрос о том, что будет делать временное правительство, если Учредительное собрание не признает республики, и этим вызвал недовольство членов революционных клубов, которые напали на контору «Прессы».

Совещания в Люксембургском дворце — совещания руководимой Луи Бланом «Правительственной комиссии для рабочих», занимавшейся вопросами организации труда.

Стр. 306. *Да здравствует Наполеон!* — Луи-Наполеон, будущий император Наполеон III, прибыл из Англии в Париж и объявил себя в письме к временному правительству сторонником республики. Однако правительство приказало ему покинуть Францию. Тем не менее его сторонники продолжали агитацию в его пользу.

Мари Александр (1795—1870) — министр торговли временного правительства, инициатор создания Национальных мастерских.

Стр. 307. *Консидеран* Виктор (1808—1893) — социалист-утопист, ученик Фурье, издатель газеты «Мирная демократия» (см. примеч. к с. 255).

Ламенне Фелисите-Робер (1782—1854) — французский мыслитель, создатель «христианского социализма».

Де Фаллу (см. выше) был докладчиком по вопросу о Национальных мастерских и потребовал немедленного их роспуска.

Стр. 308. *15 мая.* — В этот день рабочие под руководством Бланки и других членов революционных клубов ворвались в Бурбонский дворец, где заседало Национальное собрание, и в Ратушу, объявили о роспуске собрания и провозгласили новое временное правительство. Однако вскоре рабочие были разогнаны, их вожди арестованы и осуждены, а Луи Блан эмигрировал. После событий 15 мая решено было распустить Национальные мастерские, что и послужило причиной июньского восстания.

...император подписал отречение... — После взятия Парижа союзниками Наполеон I, которого сенат объявил низложенным, подписал 11 апреля 1814 г. отречение в Фонтенбло.

Стр. 309. *Христина* (1626—1689) — королева Швеции; в 1654 г. отреклась от престола и покинула Швецию. В период ее пребывания во Франции в Фонтенбло был убит по ее приказу ее фаворит маркиз Мональдески. Он был в чем-то обвинен своим соперником Сентинелли, но в чем состояла его вина, остается загадкой.

Стр. 322. *Бреа, Негрие* — генералы, принимавшие участие в подавлении июньского восстания и убитые 25 июня 1848 г. *Шарбонель* также погиб в этот день на площади Бастилии. *Архиепископ Парижский* Дени-Огюст Аффр (1793—1848) был убит, когда шел увещевать восставших.

Генрих V.— Так легитимисты именовали последнего отпрыска династии Бурбонов, претендента на французский престол графа Шамборского (1820—1883).

Стр. 323. *Кавеньяк.*— Во время июньского восстания Национальное собрание передало генералу Эжену Кавеньяку всю полноту исполнительной власти, которую он использовал для жестокой расправы с рабочими. После июньских дней чрезвычайное положение и власть Кавеньяка были продлены до 29 октября.

Стр. 333. *Господин Прюдом* — тип самодовольного и тупого буржуа, с важным видом изрекающего глупые афоризмы (например, «колесница истории плавает па вулкане»). Создан писателем и карикатуристом Анри Монье (1805—1877).

Ламорисьер Кристоф-Леон-Луи (1806—1865) — генерал, помощник Кавеньяка в расправе с восставшими рабочими. Назначен по инициативе Кавеньяка военным министром 28 июня 1848 г.

Стр. 341. *Предложение Рато* — внесенное 6 января 1849 г. и принятое 29 января предложение о роспуске Учредительного собрания и избрании Законодательного собрания. Республиканское большинство в Учредительном собрании не устраивало ни монархистов, явившихся инициаторами предложения, ни избранного 10 декабря 1848 г. президентом Луи-Наполеона.

Стр. 342. *Кам* (1819—1879) — карикатурист, сотрудник «Шаривари». Назвал себя в честь библейского Хама, непочтительного сына Ноя, поскольку его настоящая фамилия — де Ное — может значить «сын Ноя».

Стр. 348. *Улица Пуатье.*— Там находился центр монархистов и клерикалов из Законодательного собрания, именовавшийся «коалицией улицы Пуатье».

«Хватит с нас лиры!» — Этим возгласом кто-то из рабочих, во-

рвавшихся 15 мая в Бурбонский дворец, прервал увещательную речь Ламартина.

Стр. 349. *События у Консерватории.*— 13 июня 1849 г. республиканское меньшинство Законодательного собрания — партия Горы — устроило демонстрацию против вмешательства Франции в римские дела в пользу папы. Демонстрация рабочих и национальных гвардейцев была разогнана войсками генерала *Шангарнье,* а ее организаторы заперты в Консерватории (музее) наук, искусств и ремесел. Солдаты собирались расстрелять их, но пришел приказ об аресте. Реакция использовала эти события для дальнейшего наступления.

...Тьера — за его книжку против социализма...— Имеется в виду книга Тьера «О собственности», о которой Флобер писал в декабре 1867 г. Жорж Санд: «Существует ли более торжествующий болван, более гнусный старый сухарь, более узколобый буржуа!.. Можно ли с более нелепой и наивной бесцеремонностью говорить о философии, религии, народах, свободе, о прошлом и будущем, истории и естествознании, обо всем этом и об остальном!»

Стр. 353. *Бель-Ильская каторга.*— На островке Бель-Иль у берегов Нормандии содержалось множество арестованных инсургентов 1848 г.

Стр. 365. *«Dies irae»* — начальные слова песнопения, составляющего основную часть католического заупокойного богослужения.

...палата отказала президенту в ассигнованиях.— Палата отказалась увеличить содержание президента Луи-Наполеона на миллион восемьсот тысяч франков (10 февраля 1851 г.).

Пискатори (1799—1870) — политический деятель и дипломат; был противником Луи-Наполеона.

Монталамбер Шарль (1810—1871) — политический деятель и публицист, глава католической партии.

Стр. 366. *Манюэль* Жак-Антуан (1775—1827) — политический деятель, сторонник оппозиции при Реставрации.

Стр. 381. *Венеция* была вновь захвачена австрийцами в августе 1849 г. Волнения в Галиции и в Померании были подавлены австрийцами и пруссаками. Венгерская революция была задушена в августе 1849 г., после вторжения войск Николая I. Далее Дюсардье говорит об *ограничении избирательного права* цензом постоянного местожительства в течение трех лет, о продлении до 1851 г. закона против клубов, принятого после событий у Консерватории, и драконовском законе о прессе от 16 июля 1850 г.

Стр. 385. *Рейнольдс* Джошуа (1723—1792) — английский портретист. *Лоуренс* Томас (1769—1830) — английский портретист.

Стр. 398. *Законодательное собрание распущено...*— Речь идет о государственном перевороте, совершенном Луи-Наполеоном 2 декабря 1851 г.

ИСКУШЕНИЕ СВЯТОГО АНТОНИЯ

«Во мне, с литературной точки зрения, два разных человека: один влюблен в горластое, в лиризм, в широкий, орлиный полет, в звучность фразы и высь идей; другой рыщет в поисках за правдивым... любит отмечать мельчайший факт... и хотел бы заставить вас почувствовать почти материально то, что он воспроизводит»,— писал о себе Флобер (Луизе Коле, 16 января 1852 г.). Именно первого Флобера мы находим в «Искушении святого Антония», которое он назвал «произведением всей моей жизни».

В апреле 1874 года «Искушение святого Антония» выходит в свет с посвящением Альфреду Ле Пуатвену, которому Флобер, по его собственным словам, всегда «мысленно посвящал эту книгу». Это была не только дань памяти человеку, чье влияние определяло мировоззрение Флобера в годы, когда создавалось первое «Искушение»; быть может, писатель хотел оказать внимание и своей приятельнице, сестре Пуатвена — Лауре, и ее сыну, ставшему вскоре его близким другом,— Ги де Мопассану.

Критика встретила новую книгу враждебно.

Правда, Франсуа Коппе прислал Флоберу письмо, где сравнивал его «гигантское и великолепное видение» с живописью Рембрандта и графикой Дюрера; 5 апреля 1874 года пришло письмо от Гюго, где старый поэт с восхищением говорил о «высокой мысли и величавой прозе» «Искушения». Тургенев немедленно по выходе книги написал пяти знакомым ему немецким и английским критикам письма с просьбой откликнуться на новое произведение Флобера и позаботился о рассылке экземпляров «Искушения». Часть его корреспондентов выполнила просьбу; Тургенев всячески старался, чтобы их отзывы стали известны Флоберу. «Добрейший Тургенев... прислал мне из Берлина благоприятный отзыв о «Святом Антонии». Не статья обрадовала меня, а он сам»,— так отозвался Флобер на заботу друга (Жорж Санд, 26 мая 1874 г.). Продуманно сдержанный отзыв дал в своем письме выдающийся эстетик и историк искусства Ипполит Тэн: отмечая, как трудно совместить «подлинную галлюцинацию, галлюцинацию аскета, жившего около 330 года», и «картину огромной метафи-

зической и мистической оргии, мешанины систем», он заявил, что «чаще всего и в основном это удалось Флоберу».

Не менее сдержанный отзыв занес в дневник Эдмон де Гонкур: «Прочел «Искушение святого Антония». Вымысел, основанный на выписках из книг. Оригинальность, неизменно напоминающая Гете».

Действительно, мысль Флобера в «Искушении» настолько заслонена эрудицией, что без дополнительных сведений нелегко вышелушить ее из археологических и мифологических «живых картин», развертывающихся перед читателями.

История Антония Фивского (251—356), заслужившего имя «отца монашества», известна прежде всего из жизнеописания святого, составленного якобы его учеником, александрийским епископом Афанасием (298—373), неоднократно упоминаемым у Флобера. В средние века жизнь святого обросла бесчисленными легендами, из которых особенно популярны были легенды об искушении Антония бесами, послужившие сюжетом бесчисленных произведений средневековой и ренессансной живописи. В первых редакциях «Искушения» Флобер часто обращался к средневековой традиции, в последней же устранил связанные с ее использованием анахронизмы и опирался прежде всего на древний источник. Согласно этому источнику, Антоний и излагает у Флобера в первом монологе историю своей жизни, протекавшей в Фиваиде — пустыне вокруг Фив, древней столицы Египта.

Отшельническая жизнь в гробнице фараона, затем в развалинах крепости, обучение у слепого наставника Дидима, более шестидесяти лет руководившего христианской школой в Александрии, основание первых монастырей в Кольциме (на месте нынешнего Сузца), возвращение из пустыни в Александрию — в пору гонения на христиан, воздвигнутого императором Максимином, и во время борьбы Афанасия с еретиками-арианами — все это взято из жизнеописания, приписываемого Афанасию. Но монолог святого у Флобера — не просто предыстория героя. В нем подчеркнуты те моменты, которые получат развитие в дальнейшем. Дело не только во введенных писателем соблазнительных воспоминаниях об Аммонарии и о бичуемой нагой женщине, похожей на нее. Антоний недаром говорит о наводнявших Александрию еретиках, последователях четырех величайших ересиархов первых веков христианства — Манеса, Валентина, Василида и Ария, о рассказах отшельника Аммона, основателя Нитрийской обители, про римских христиан, затравленных зверями на арене Колизея и погребенных в катакомбах. Все это потом найдет место в видениях Антония.

В словах Антония уже звучат первые нотки сожаления о при-

пятом на себя подвиге. Ведь он мог бы быть грамматиком (то есть попросту школьным учителем), воином, сборщиком пошлины, мог бы ездить на лодке по Канопскому рукаву Нила из Александрии в Каноп, прославленный своими увеселительными заведениями. Антоний пробует укрепить свой дух чтением Писания, но наталкивается на места, говорящие о свободном выборе пищи, об упоении кровавой местью, об уничижении власть имущего и возвышении святого, о радости быть богатым, о соблазнах, подстерегавших царя Соломона, самого Христа... Само Писание искушает его, напоминая о загнанных на самое дно души порывах и влечениях. Антоний ищет поддержки в воспоминаниях о прежних, побежденных им искушениях, о своих аскетических подвигах, в которых он сравнялся со знаменитейшими пустынножителями — Евсевием, Макарием, Пахомием, об основанных им монастырях. Гордыня все сильнее звучит в его речах. В нее вливаются нотки зависти: он вспоминает о том, какими почестями были окружены отцы христианской церкви, созванные на вселенский собор в город Никею (325 г.), дабы сокрушить ересь ариан, осмелившихся утверждать, будто бы Христос есть не ипостась триединого бога, но лишь творение бога-отца, подобно человеку. Им воздал почести сам император Константин, сделавший христианство государственной религией беспредельной Римской державы. А ведь они этого не заслуживали: ни Феофил, рожденный язычником, ни Спиридон, невежественный, как пастух, ни даже Александр, епископ Александрии, начавший спор с Арием, ни Афанасий, его преемник. И тут же Антоний проговаривается еще об одной причине своей зависти: между тем как никейские отцы победили ариан, ему самому не удалось справиться с еретиками.

Теперь уже святой не в силах противиться своим влечениям: он мечтает о мясной пище, о кровавой мести, о женщинах, приходивших к нему с покаянием. Его мечты переходят в видения.

Сначала искушению подвергается Антоний-человек. Все влечения и желания, низменные или страшные, подавленные аскезой и верой, все они, как бы случайно прорывавшиеся во вступительном монологе, теперь находят удовлетворение в галлюцинациях святого. Роскошные яства, сказочные богатства, право безнаказанно мучить и убивать — все дается ему. Он видит в унижении тех, кому завидует: никейских отцов, ставших рабами при императорском гипподроме; сам же он делается первым советником и любимцем Константина в его новой столице — Константинополе, становится пророком Даниилом, обличающим Навуходоносора, самим Навуходоносором, могущественнейшим из царей Вавилонии, становится, дабы паче унизить раболепных подданных,

быком, в которого, по библейскому сказанию, на время превратился этот царь. Наконец все эти мечты — о роскоши, богатстве, могуществе — сливаются с похотливыми грезами и порождают видение царицы Савской (Аятоний не случайно отыскивал это место в Библии). Царица легендарной Сабеи — страны благовоний, затерянной в аравийских песках,— предлагает ему богатства владык из арабских сказок, волшебяое оружие из персидских легенд, сокровища далеких стран, но прежде всего — небывалые любовные наслаждения. И неизвестяо, победу или поражение приносит Антонию крестное знамение, которым он изгоняет царицу, удаляющуюся то ли с рыданием, то ли с хохотом.

Но вот появляется Иларион. Теперь уже искушению подвергаются не плотские вожделения Антония, а сама его вера. Все обвинения, все недоуменные вопросы, какие могла предъявить религии позитивистская наука времен Флобера — прежде всего рационалистическая критика библейского текста, сравнительная история религий, этнография и мифология,— встают перед Антонием. Недаром в первых двух редакциях роль Илариона играли олицетворенные Логика и Наука. С первого мгновения Иларион старается убедить Антония в том, что аскеза и мученичество не столь угодны богу, как возвышенное стремление постигнуть бога разумом. Прежде всего следует испытать разумом Откровение: Ветхий и особенно Новый завет, который, оказывается, полон противоречий. Сначала Илариоя, в духе рационалистической критики XIX века, показывает противоречия между четырьмя Евангелиями в изображении отдельных событий жизни Христа.

Затем демонстрируются моменты, которые, казалось бы, противоречат самой догме богочеловечности Иисуса.

Но если даже в Евангелиях есть вещи, противоречащие догмату, то что же говорить о его истолкованиях людьми! И тут Иларион показывает исполненному смущения Антонию длинную вереницу ересей — многочисленных учеяий, возяикших внутри ранней христианской церкви или рядом с нею.

Первым перед Антонием появляется Манес (214—274), пророк из Персии, родоначальник манихейства, уяаследовавшего от древнеперсидской религии идею абсолютной противоположности добра и зла, света и тьмы, воплощеняых сперва в первочеловеке и в сатане, а затем, после победы сатаяы, смешавшихся, так что теперь надлежит освобождать светлое начало в человеке. За Манесом выступают Сатурнин, учивший, что абсолютное зло — это и есть материальное начало, Кердон, видевший воплощение зла в боге Ветхого завета, Маркион, сириец Бардесая, герниаяе, испанские прискиллиаяе — словом, все те, кто рассматривал дух как начало добра, а плоть — как начало зла.

Затем появляются гностики — представители одного из самых могучих религиозно-философских учений начальных веков христианства, идеи которых запечатлены даже в признанном каноническим Евангелии от Иоанна. Валентин у Флобера излагает учение гностиков об Эонах — тридцати последовательно порождавших друг друга формах бытия бога — в том виде, в каком мы знаем его по сочинению св. Иринея Лионского «Изобличение и опровержение лживого гносиса». К Валентину присоединяют свои голоса близкие к гносису Василид и не избежавший гностического влияния величайший богослов III века Ориген.

Далее проходят гностические секты, отрицающие не только догму, но и аскетическую мораль ортодоксального христианства. Палестинские элкесаиты считают, что последнее воплощение многократно воплощавшегося Христа освободило людей от греха; карпократиане учат, что нужно познать на опыте все грехи, чтобы освободиться от них, и проповедуют общность жен: николаиты добавляют к этой проповеди разрешение вкушать мясо жертв, приносимых язычниками идолам; маркосиане провозглашают возможность соединиться с духом посредством магических формул и непотребных действий; адамиты, сбросив одежды, притязают вновь обрести невинность, утраченную человеком при грехопадении; мессалиане проповедуют пассивное погружение в экстатическую молитву, веря, что всякое деяние внушено человеку духом зла, владеющим им с рождения; патерниане учат, что плоть сотворена дьяволом... Но вот появляется уроженец Карфагена Тертуллиан (ок. 160 г.— ок. 250 г.), один из самых страстных защитников христианства и обличителей язычников и еретиков; он, казалось бы, выступает союзником Антония, провозглашая бесполезность анания после Христа (в противоположность гностикам, само учение которых именуется «гносис», что значит по-гречески «знание»). Но увы! Это слишком страстное утверждение аскетизма и веры тоже оказывается еретическим: ведь Тертуллиан примкнул к монтанистам, провозглашавшим близкий конец света, пришествие царства Святого духа — Утешителя — Параклета и требовавшим от верующих особой воздержности и строгости... Появляются монтанистские пророчицы Прискилла и Максимилла, провозглашавшие своего учителя Монтана воплощением Параклета, а потом и сам Монтан — фригийский жрец, оскопивший себя в бытность язычником... Так вот чем объясняется чрезвычайная строгость монтанистов, оборачивающаяся, по Флоберу, лишь вывернутой наизнанку распущенностью иных сект!

И тут начинается парад самых фанатичных еретических сект: идут архонтики, верившие, что лишь преодоление всего плотского позволит душе подняться к богу — архонту (правителю) седьмого

неба; татианиане, считавшие брак блудом и не вкушавшие вина даже в причастии; валезиане, провозглашавшие продолжение рода грехом; канниты, почитавшие бога-отца началом зла, а величайших злодеев Ветхого и Нового завета — Каина и Иуду — величайшими святыми; циркумцеллионы, ниспровергавшие с оружием в руках рабство и искавшие мученичества; авдиане, чтившие бога в человеческом образе; коллиридиане, воздававшие богородице языческие почести; аскиты, видевшие в мехе с вином символ Нового завета; маркиониты, верившие, что Христос спас не только живых, но и мертвых.

Но не только в вопросе о том, что́ есть грех и что́ угодно богу, расходятся христиане. После слов Ария начинается ожесточенный спор о природе Иисуса, и при этом каждый из ересиархов ссылается на свое Евангелие, свое откровение (ведь именно в эпоху, когда Флобер работал над «Искушением», были открыты или вновь изучены многие апокрифические и еретические сочинения первых веков христианства). А эбиониты — христиане-приверженцы Моисеевых законов — вообще утверждают, будто воочию убедились, что Христос был человек, сын Иосифа и Марии. И, наконец, как вершину еретических нелепостей Иларион показывает Антонию таинства офитов — змеепоклонников, видевших подлинного спасителя, дарующего человеку знание истины, в змие, соблазнившем Адама и Еву и являющемся воплощением божественной мудрости — Софии.

Антоний не в силах выдержать эту разноголосицу, не в силах видеть кощунства, к которым приводит человека и дерзкое стремление постичь бога разумом, и слепота веры. Но то были еретики, отвергнутые истинной церковью. А теперь искуситель являет взору святого тех, кем гордится церковь, кто свидетельствует о славе Христовой — первых мучеников, первых христианок, в пору язычества тайно молившихся в римских катакомбах. Святой видит мучеников в римском Колизее — и убеждается, что в них не было радостной решимости принять мученический венец. И «вечери любви» первых христиан неспроста осуждались апостолом Павлом: совместное приятие пищи и причастия превращается в непристойную оргию... А тот, кто готов действительно по доброй воле пострадать за веру,— гимнософист, «нагомудрец» (как называли греки индийских брахманов),— сжигает себя вовсе не из любви к богу, а лишь движимый гордыней и пресыщением.

Искушение продолжается. Теперь Антоний видит двух человек, которые должны внушить ему сомнение в единственности Христа. Это соперники Иисуса, Симон Волхв и Аполлоний Тианский. Первый из них, полулегендарный самаритянин, пытавшийся за деньги узнать у апостолов секрет, как творить чудеса, затем

объявил себя воплощением всех трех лиц Троицы; он выкупил из публичного дома в Тире женщину, назвал ее Эннойя (Мысль) и провозгласил, что она есть творческая мысль бога, воплотившаяся сперва в Елену Спартанскую, похищенную Парисом (на этот миф намекает Эннойя у Флобера), затем — в Лукрецию, жену римского патриция Коллатина, обесчещенную царским сыном и покончившую с собой, в Далилу, возлюбленную библейского Самсона, обманом отнявшую у него силу, и, наконец,— в тирскую блудницу. По одному из источников II века, Симон творил лжечудеса, боролся с апостолами и велел заживо похоронить себя, чтобы притвориться воскресшим на третий день, но умер в гробу. Всем этим Симон похваляется перед Антонием — и тщетны попытки святого отделить лжечудеса от чудес, отмежевать лже-Христа от Христа.

Аполлоний Тианский, живший в I веке н. э., странствующий философ неопифагорейской школы, соединивший философско-мистическое учение греческого мудреца VI века до н. э. Пифагора со множеством элементов восточной мистики и магии, еще в древности противопоставлялся Христу как соперник. Очень скоро его жизнь обросла легендами; в III веке многие — вплоть до императоров — стали поклоняться ему как богу. В эту пору по заказу императрицы Юлии Домны писатель Филострат составил жизнеописание Аполлония, и в рассказах мага о себе Флобер довольно точно следует Филострату. У него же заимствован спутник Аполлония Дамид из Ниневии. Речи о его праведности, о чудесах, о предсказаниях вызывают даже у Антония возглас: «Как Спаситель!» И Аполлоний, словно этого только и добивался, зовет Антония к себе в ученики, обещая открыть ему тайны богов.

Казалось бы, Антоний поборол искушение. Но ему все же хочется познать богов — и Иларион исполняет его желание, ибо в этом познании таится новый соблазн для отшельника. Начинается нескончаемый парад богов. Иларион стремится показать Антонию то общее, что есть в самых диких верованиях и в вере святого. Проходят варварские идолы, требующие человеческих жертв, и тут Иларион хочет напомнить Антонию о жертвоприношении Авраама, но Антоний, слишком хорошо понявший его, просит его замолчать. Магические заклинания дикарей ничем не отличаются от молитв Христу. Антоний видит возникновение мира, каким оно изображено в священных книгах брахманов,— Иларион уподобляет триликого бога индийцев христианской Троице. А когда на смену древним богам является Будда, то жизнеописание его настолько сходствует с жизнью Иисуса, что Иларион получает возможность язвительно цитировать стихи Евангелий. И если Антоний мыслит себе бога живым существом, то почему бы вавилонянам не наделять бога полом и не служить непристойному идо-

лу, заставляя девушек чтить его, продаваясь первому встречному?

Вереница богов столь длинна, что в искушении появляется новый смысл. Иларион являет Антонию бесконечную смену религий, гибель богов, уступающих место новым богам, также обреченным смерти. Чахнет на дне прудов Оаннес, вавилонский бог вод, создатель цивилизации. Ормузд, персидский бог, воплощающий светлое, благое начало, терпит поражение в вечной борьбе с духом зла и тьмы Ариманом. Гибнет и Диана Эфесская, повелительница стихий, зверей, плодоносящих сил природы, еще не отождествленная с девственной охотницей Артемидой, прекрасной богиней греков.

Но вот появляются галлы — жрецы малоазиатской богини Кибелы, иначе именуемой Великой Матерью богов или Благой Богиней, обитающей на горе Иде во Фригии. Ее жрецы, именуемые галлами, оскоплены, как некогда оскопил себя возлюбленный Кибелы Атис. Вслед появляется убитый вепрем Адонис, возлюбленный Венеры. Женщины оплакивают его как Христа. Затем вновь возникает тема гибели богов. Гибнут боги Египта: Нейт, из которой возник мир, его творец Фта, Тот, изобретатель священных письмен, собакоголовый (кинокефал) Анубис, провожающий души умерших, бык Апис, бог-младенец Гарпократ. На смену им появляются, чтобы погибнуть, прекрасные боги Греции (вопреки истории представленные под более привычными для француза латинскими именами). В них Иларион также находит тождество с Троицей, Богородицей, Христом, на которого похож Вакх, отдающий себя в жертву и пожираемый своими поклонниками, подобно тому как плоть и кровь Христова поглощаются верующими в причастии. Их гибели ликуют старшие боги — Титаны, боровшиеся с олимпийцами, и их чудовищные помощники: змееногие гиганты, сторукие гекатонхейры, одноглазые циклопы. Вслед за великими богами-олимпийцами пропадают местные божества и полубоги: целитель Эскулап, Троица, чтившаяся на острове Самофракии, змееногий основатель Афин Эрихтоний и бесчисленное множество других местных богов и чудовищ загробного мира.

Появляются древние боги Этрурии и Рима: Янус, двуликий бог дверей, бог начала и конца; Сумман, покровитель воров; Веста, покровительница домашнего очага; Беллона — богиня войны. А вслед за ними те маленькие божества, которые, по верованиям римлян, опекали человека на каждом шагу, населяли каждый клочок земли: Сартор и Сарритор — боги вспашки, Вервактор — бог подъема целины, Коллина — богиня холмов, Валлона — богиня долин, Гостилин — выравнивающий колосья. За ними идут бесчисленные божества, сопутствующие браку, взращивающие младенца,

Нения — олицетворение погребального плача, лары — духи предков, охранявшие каждый римский дом, и, наконец, вершина нелепости человеческих верований — обожествленный Крепитус (по-латыни «треск»).

Дальше оплакивает свою гибель воинственный и ревнивый бог Ветхого завета, давший Моисею начертанный на каменных скрижалях закон. Его храм разрушен легионами императора Тита, его народ рассеян по всей империи. Все боги гибнут — так пребудет ли нерушимым то, во что верует Антоний?

Наконец Иларион предстает перед ним в своем подлинном обличье — в обличье Дьявола. Вознося отшельника ввысь, он показывает ему вселенную такой, какой видела ее наука во времена Флобера, и внушает, что все это и есть бог. Здесь Флобер отдает дань увлечению своей молодости — «трижды великому Спинозе», чей девиз был: «Бог или, что то же самое, Природа». В первом «Искушении» этот «курс спинозизма», по выражению одного из исследователей Флобера, был гораздо обширнее.

Искушение познанием повергло Антония в отчаяние. Где его прежняя вера? Он почти раскаивается, что покинул дом, стал пустынником. Где выход? Быть может, там, куда зовет Смерть? Ведь она дает возможность проявить высшее своеволие, уничтожить то, что дано человеку богом,— жизнь. (Здесь мысль Флобера смыкается с мыслями Достоевского, высказанными в «Бесах» устами Кириллова.) Появляется Сладострастие; оно вновь искушает Антония всеми радостями, которые соблазняли его в первых видениях. И вдруг оказывается, что избыток плотской жизни смыкается со смертью, оба выхода оборачиваются одним, отождествляются. Это снова «дьявол в своем двойственном обличье — дух блуда и дух разрушения». Обе эти плотские возможности отвергаются святым.

Но есть еще одна дилемма духовного порядка; она вставала перед Антонием, когда он созерцал ереси соперников Христа, языческих богов. Теперь она воплощается в двух символических зверях. Сфинкс знаменует косную неподвижность, верность застывшей традиции, догме. Химера — вечную жажду нового, стремление отыскать, добиться, познать. Они вечно стремятся друг к другу, но им не соединиться никогда. Никогда не обретет дух человека гармонии между созерцанием и деянием, верой и жаждой познания.

И вот начинается нисхождение отшельника по ступеням живой природы. Мир вокруг Антония наполняется чудовищами. Многих из них Флобер нашел у древних авторов: астомов (то есть «безротых»); полулюдей-полуобезьян блеммиев; карликов-пигмеев, скиаподов — «тененогих»; павианов-кинокефалов («псоглавцев»).

Все они олицетворяют жизнь низшего порядка, чуждую духовных запросов и проблем. Затем наступает очередь сказочных зверей. Один, как мартахор, олень Садхузаг, птицы Гуита и Ахути, созданы фантазией самого писателя. Других он выискал в средневековых трактатах, в Талмуде, в арабских сказках. Они ведут Антония все ниже по лестнице тварей, пока он не видит наконец зарождение самой жизни. Эта картина навеяна Флоберу книгой знаменитого естествоиспытателя-эволюциониста Эрнста Геккеля «Естественная история миротворения». И тут святой, отвергший все выходы, предложенные Сладострастием, Смертью, Сфинксом и Химерой, обретает выход: раствориться во всем сущем, слиться с материей, «быть самой материей». Таков пессимистический выход Флоберовой драмы духовных исканий.

Восходящее солнце возносит на небо лик Христа. Но это не выход, это только дань цензуре. Финал этот появился лишь в последней редакции. В предыдущих Дьявол уходил, побежденный, но с угрозой вернуться снова.

Стр. 412. *Киммерийцы* — племя, обитавшее в северном Причерноморье.

Стр. 413. *Серапис* — египетское солнечное божество, почитавшееся в первые века нашей эры во всей империи.

Стр. 414. *Писпир* — местность в Египте, где св. Антоний основал монастырь. *Табенцы* — монахи Табенского монастыря, основанного св. Пахомием, создателем общежительского монашеского устава.

Стр. 415. *«И видит отверстое небо...»* — Деяния Апостолов, 10, 11—13. *«И избивали...»* — Книга Есфирь, 9, 5.

Стр. 416. *«Тогда царь Навуходоносор...»* — Книга Пророка Даниила, 2, 46. *«Езекия, выслушав посланных...»* — Четвертая Книга Царств, 20, 13.

Мудрейший из всех... — Имеется в виду царь Соломон. *«Царица Савская...»* — Третья Книга Царств, 10, 17.

Стр. 422. *Статер* — греческая монета; *сикль* — иудейская монета; *дарик* — персидская монета с изображением царя Дария; *ариандик* — персидская монета, чеканившаяся в пору владычества персов над Египтом сатрапом Ариандом. *Александр* — Александр Македонский, основатель Александрии. *Деметрий* — один из македонских полководцев, боровшихся после смерти Александра за власть над разными частями его державы. *Птолемеи* — династия греческих царей, правивших в Египте после распадения державы Александра и до завоевания Александрии римлянами — Юлием Цезарем, Марком Антонием и Августом.

Стр. 423. *...он в Александрии...*— Флобер точно восстанавливает панораму античной Александрии — города, заключенного между морем и *Мареотидским озером.* В море против Александрии лежит *остров Фарос,* на котором находится знаменитый *Маяк,* одно из семи чудес света. Фарос соединен с сушей молом, разделяющим бухту на две гавани — *Большую гавань* и *Эвност.* Среди памятников архитектуры выделяются *Музей* — храм муз, где в эпоху Птолемеев была самая обширная в древнем мире библиотека и научный центр, *Посидион* — храм Посейдона, *Цезареум* — храм обожествленного Юлия Цезаря и римских императоров, *Сома* — надгробное сооружение, где находилось тело Александра.

Стр. 425. *Партия синих, партия зеленых.*— Во времена империи по всему Средиземноморью существовали партии «болельщиков», во время конских состязаний «болевших» за наездников, одетых в один из четырех цветов. Популярнее всего были «синие» и «зеленые» наездники.

Крисп — сын императора Константина, умерший при загадочных обстоятельствах. В его смерти обвиняли императрицу Фаусту, вскоре казненную.

Стр. 426. *Эргастул* — каторжная тюрьма для рабов.

Стр. 432. *Кабиры* — карликовые божества, культ которых существовал на острове Самофракии в Эгейском море.

Стр. 433. *Шебар* — месяц иудейского календаря, соответствующий февралю.

Стр. 435. *Слово* — один из Эонов, по учению гностиков. По подверженному гностическим влияниям Евангелию от Иоанна, воплощением Слова был Христос.

Стр. 436. *Молох* — верховное божество финикийцев, в жертву которому приносили живых младенцев.

Дионисий — епископ Александрийский, *Киприан* — епископ Карфагенский, *Григорий* — епископ Неокесарийский. Во время преследования христиан при императоре Деции (250 г.) все трое покинули свои города. *Петр Александрийский* — епископ Александрии, советовавший преследуемым христианам покупать жизнь за деньги. Принял мученичество в 312 г. *Эльвирский собор* состоялся в Испании ок. 300 г. и осудил добровольное искание мученичества.

Эсхил (V в. до н. э.) — великий греческий трагик. В первые века христианства иногда толковали древних авторов в духе новой веры. *Кумская сивилла* — пророчица, якобы жившая в Кумах,

на юге Италии. Под названием «Сивиллиных книг» в эпоху империи было распространено множество всякого рода пророчеств. *Герма* (II в.) — христианский писатель, автор апокалипсического сочинения «Пастырь».

Стр. 438. *Ориген* (185—254) — один из выдающихся христианских мыслителей; был сторонником аллегорического толкования Писания.

Стр. 440. *Далматика* — род рубахи, длиной до колен, с широкими рукавами. *Поппея, наложница Нерона.*— Неточность Флобера. Согласно недостоверному преданию, христианкой была наложница молодого Нерона Акте, а не его вторая жена Поппея.

Стр. 447. *Ктесифон* — столица Парфянского царства на реке Тигр.

Стр. 448. *Тарс* — крупный город на юге Малой Азии.

Стр. 449. *Магдалина, Иоанна, Сусанна* — женщины, которые, согласно Евангелию от Луки, последовали за Христом (8, 2—3). *Марфа* — сестра воскрешенного Лазаря, которую, как и ее сестру Марию, «любил Иисус» (От Иоанна, 115). *Сота* — епископ Фракийский, пытавшийся «изгнать беса» из Прискиллы.

Стр. 450. *Пепуса* — город в Малой Азии, где, по верованиям монтанистов, должно было произойти пришествие нового спасителя — Святого духа — Параклета. *«Я пришел...»* — В канонических Евангелиях этих слов нет.

Стр. 452. *...да минует...*— От Матфея, 26, 395; *Что ты называешь...*— От Матфея, 9, 17; *Восхожу...*— От Иоанна, 20, 17.

Стр. 453. *Исав* — сын библейского патриарха Исаака. *Беллерофонтова болезнь.*— Беллерофонт (г р е ч. м и ф.) — герой, на которого боги наслали меланхолию и помрачение ума.

Стр. 455. *Марцеллина* (II в.) — римская диаконисса, пытавшаяся ввести в христианской церкви поклонение идолам. *Кнуфис* — египетское змеевидное божество.

Стр. 456. *Кирие элейсон*! (г р е ч.) — Господи, помилуй!

Стр. 457. *Эпидавр* — греческий город, где находился храм бога-целителя Асклепия (Эскулапа), в котором поклонялись его священной змее.

...воинов Моисея...— Во время странствия евреев в пустыне бог наслал на них змей, затем, смилостивившись, повелел Моисею воздвигнуть медного змия; от взгляда на него исцелялись ужаленные. Впоследствии его низверг царь Езекия. *Главк,* малолетний

сын критского царя Миноса, утонул в бочке с медом, но был воскрешен волшебной травой, указанной змеями.

Стр. 458. *Всадники* — второе сословие в Риме; как и *сенаторы*, имели право сидеть в первых 14 рядах. *Ликторские связки* — пучки розог с вставленными в них топорами, знак достоинства римских должностных лиц, носимый перед ними телохранителями-ликторами.

Стр. 459. *Пионий* — смирнский священник, принял мученичество во время Дециева гонения. *Поликарп* — смирнский епископ, принял мученичество в 166 г.

Стр. 460. *Беллуарий* — раб-надсмотрщик за зверями в римском цирке.

Стр. 461. *...как Гектора...* — В «Илиаде» Ахилл, победив Гектора, привязал его тело к колеснице и проволок вокруг стен Трои.

Домитилла — римская патрицианка, принявшая христианство и казненная при императоре Домициане (95 г.).

Стр. 463. *Чатака,* по верованиям индийцев, пьет дождь и ест лунный свет.

Стр. 464. *Калан* — индийский брахман, рассказ о котором содержится в трактате Цицерона «О гадании». Калан добровольно сжег себя в присутствии вторгшегося в Индию Александра Македонского и предсказал ему, умирая, близкую гибель.

Стр. 466. *Систр* — род погремушки.

Стесихор (632—555 гг. до н. з.) — греческий лирический поэт. Написал стихи, хулившие Елену, за что был поражен слепотой; когда же он написал «палинодию» («обратную песнь»), зрение вернулось к нему.

Стр. 467. *Гай Цезарь Калигула* — третий римский император (37—41 гг.), прославившийся сумасбродством и жестокостью. *Папа Климент* (I в.) — первый римский епископ; ему приписываются «Клементины» — сочинение, повествующее о путешествиях апостола Петра и его спорах с Симоном Волхвом и другими лжеучителями.

Стр. 486. *...сошедшее... на апостолов...* — В Деяниях апостолов (2, 3) рассказывается о сошествии на них Святого духа в виде языков пламени.

Стр. 471. *Гиеродула* — храмовая рабыня. *Киликия* — провинция в Малой Азии.

Стр. 472. *Саманеи* — индийские отшельники. *Друиды* — жрецы галлов. *Гирканское море* — Каспийское море. *Страна бараоматов*

находилась в Индии. *Буцефал* — конь Александра Великого. *Ниневия* — столица Ассирии, в Месопотамии.

Стр. 473. *Эмпуса* — чудовище-вампир в женском обличье.

Стр. 474. *Таксила* — город в Индии.

Пор — индийский царь, побежденный Александром. *Кадуцей* — жезл, увитый змеями. *Сезострис* — египетский фараон Рамзес II (XIII в. до н. э.).

Стр. 475. *Кинокефал* — здесь: павиан; поход обезьян на Цейлон — мотив, заимствованный из индийского эпоса «Рамаяна». *Тапробан* — Цейлон. *Область ароматов* — Сомали; *страна гангаридов* — дельта Ганга; *мыс Комарийский* — на юге Индии; *сахалиты, адрамиты, гомериты* — аравийские племена. *Кассанийские горы* — в Аравии; остров *Топаз* — в Красном море; *Эфиопия* — мифическая страна в верховьях Нила. *Эфес* — крупнейший город в Малой Азии.

Книд — город в Малой Азии, где находился храм Венеры со знаменитой статуей богини, работы великого скульптора Праксителя (IV в. до н. э.).

Стр. 476. *Тарент* — греческий город на юге Италии. *Веспасиан* (I в.) — римский полководец, после победы над восставшей Иудеей захвативший императорскую власть и положивший начало династии Флавиев. Вслед за ним правили его сыновья — кроткий Тит и жестокий Домициан, убитый придворными в спальне жены, участвовавшей в заговоре.

Менипп — коринфский юноша, полюбивший принявшую облик женщины эмпусу.

Стр. 478. *Спор* — евнух, любимец императора Нерона.

Стр. 479. *Календы* — первое число каждого месяца по римскому календарю. *Путеолы* — порт близ Неаполя.

Стр. 480. *Пещера Трофиния* — одно из мест, считавшихся у греков входом в царство мертвых. *Митра* — персидское солнечное божество, культ которого распространился по всей империи и принял форму культа бога-спасителя. *Сабазий* — фракийское божество, позднее отождествленное с Вакхом-Дионисом и с иудейским Иеговой.

Гиппоподы — люди с конскими ногами, жившие в Скифии; упоминаются у римского натуралиста I в. Плиния Старшего.

Стр. 481. *Трава Балис*, камень *андродамант* — упоминаются у него же.

Стр. 483. *Элефантина* — остров на Ниле, в его верховьях.

Стр. 484. *...в Гелиопольском храме...* — Гелиополь — город в Нижнем Египте.

Стр. 487. *«Увидевши же звезду...»* — От Матфея, 2, 10. *«Человек именем Симеон...»* — От Луки, 2, 25—26.

Стр. 488. *«...сидящего посреди учителей...»* — От Луки, 2, 46—47.

Стр. 491. *Зороастр* — основатель религии древних персов.

Стр. 493. *Каюмарс* — в иранской мифологии первое живое существо, созданное Ормуздом. Ариман убил его, введя тем в мир смерть, а родившуюся из его семени (или крови) первую пару людей Машья и Машьянэ соблазнил, научив плотской любви. *Митра* — бог солнца; в первые века н. э. его культ распространился по всей Римской империи.

Хаома — древо жизни у древних персов.

Стр. 494. *Амешаспенды, Изеды, Феруеры* — духи, почитаемые древними персами; первые — помощники Ормузда, вторые — хранители людей, третьи — облегчающие муки умирающих. *Каосиак* — спаситель человеческого рода в религии персов; благодаря ему должны воскреснуть мертвые.

Стр. 498. *Триады номов.*— В Древнем Египте каждый ном (область) имел троицу богов-покровителей.

Стр. 502. *...оратора, привыкшего...*— Афинский оратор и политический деятель Демосфен (IV в. до н. э.) тренировал свой слабый от природы голос, стараясь покрыть шум волн на берегу.

Эфеб — в Афинах — юноша в возрасте старше 18 лет, проходящий службу в ополчении.

Стр. 503. *Аристей* (греч. миф.) — сын Аполлона, научивший людей пчеловодству, охоте, пастушеству, врачеванию, предсказаниям будущего.

Иерусалимский Символ веры — краткое изложение основных догматов христианства, утвержденное на Никейском соборе и получившее название «Никейского символа». Гибель античных богов и чудовищ греческой мифологии после произнесения символа Антонием знаменует победу христианства над язычеством.

Стр. 504. *Фратрии* (братства) — родовые объединения в Древней Греции. *Эреб* — царство мертвых. *Марсово поле* — площадь в Риме; на ней сооружался погребальный костер для императоров, которых после обожествления якобы возносил орел Юпитера.

Гекатомбеон — месяц греческого календаря, приходившийся на июль. Далее Флобер описывает празднество Панафинеи в Афи-

нах — шествие, несущее в Парфенон новый тканый покров для богини — покровительницы города.

Стр. 505. *Кекропы* — мифические обезьяноподобные карлики; *амазонки* — мифические женщины-воительницы. *Ахелой* — большая река в Греции; Геракл победил в единоборстве бога этой реки, которого греки, как и всех речных богов, представляли себе рогатым. *Омфала* — царица Лидии (в Азии), которой Геракл был отдан в рабство.

Амфитрионид — Геракл, названный так по имени своего земного отца Амфитриона. Плутон имеет в виду двенадцатый подвиг Геракла — спуск в царство мертвых и увод трехглавого пса *Цербера. Титий, Тантал, Иксион* — злодеи, терпящие за гробом вечные муки: Титий простерт на земле, и чрево его терзают коршуны, Тантал мучится от жажды, стоя по подбородок в воде, Иксион привязан к вечно вертящемуся колесу. *Керы* — дочери Ночи, как и *Фурии;* первые приносят смерть, вторые — мщение.

Стр. 506. *Амфитрита* — богиня моря, супруга Нептуна. *Сирены* — девы-птицы, которых Флобер представляет себе подобными русалкам. *Тритоны* — морские божества с туловищем юноши и рыбьим хвостом. *Диана* выступает в трех своих ипостасях: Луцины, богини рожениц, Луны и Гекаты — богини колдовства.

Три сотни людей противостояли всей Азии.— Имеется в виду подвиг трехсот спартанцев при Фермопилах; заняв позицию в узкой теснине, они задержали гигантское войско персов, вторгшееся в Грецию.

Стр. 507. *Огонь, поглотивший мою мать...*— Мать Вакха Семела была сожжена молнией Юпитера, по ее просьбе явившегося к ней во всем своем величии.

Делос — остров, считавшийся родиной Аполлона, один из центров его культа. *Дельфы* — главное святилище Аполлона, где жрицы-пифии, якобы надышавшись одуряющими парами, бившими из расселины в земле, предрекали людям будущее.

Стр. 508. *Пояс Венеры* обладал свойством зажигать любовь.

Стр. 509. *Ксеркс* (V в. до н. э.) — персидский царь, пришедший войной в Грецию с бессчетным войском. *Залмоксид* — мифический законодатель скифских племен. *Туле* — остров в океане, на северо-западе, считавшийся у древних последней из земель. Быть может, имелась в виду Исландия. *Эзары* — боги этрусков, первого цивилизованного народа Италии, от которого римляне заимствовали первоначально свою религию и культуру.

Стр. 510. *Тагет* — мифический герой, научивший жителей города Тарквинии искусству предсказывать будущее, которым этру-

ски славились в Италии. *Нортия* — богиня судьбы. *Кастур и Пулутук* — обожествленные герои Кастор и Поллукс, чтившиеся в Греции и в Италии.

Ариция — италийская богиня, тождественная Диане и считавшаяся покровительницей плодородия наравне с *демоном Вирбием*. Ее верховным жрецом, «царем лесов», становился беглый раб, которому удавалось убить своего предшественника веткой, сорванной в священной роще богини. *Либитина* — богиня похорон, позже отождествленная с Венерой. *Ларвы и лемуры* — духи умерших.

Стр. 511. *Термин* — бог межей. *Вертумн* — бог времен года. *Атрий* — внутренний дворик римского дома, где помещался алтарь ларов. На нем стояли и портреты предков, сделанные из раскрашенного воска.

Стр. 512. *Фереалии* — праздник в честь духов умерших. *Аристофан* (V в. до н. з.) — великий афинский драматург-комедиограф. Имеется в виду сцена из его комедии «Облака», где герой желает «приветствовать небесный гром ответным треском». *Клавдий Друз* (41—54 гг.) — четвертый римский император. Светоний пишет о нем: «Он даже собирался особым указом позволить испускать ветры на пиру, так как узнал, что кто-то занемог оттого, что стыдился и сдерживался».

Стр. 513. *Служили мне целое колено...* — По ветхозаветному закону, одно из двенадцати колен Израилевых — левиты — было приставлено к храму для богослужения.

Стр. 515. *Платонова противоземья...* — Великий греческий философ Платон (IV в. до н. з.) к концу жизни принял гелиоцентрическую гипотезу строения вселенной; он считал, что вокруг Солнца по той же орбите, что и Земля, вращается еще одна планета, расположенная по диаметру от нее и потому всегда заслоненная Солнцем. Это и есть «противоземье». Одним из первых выдвинул гелиоцентрическую гипотезу философ-пифагориец *Филолай* (V в. до н. з.), называвший центр, вокруг которого вращаются небесные тела, *«очагом вселенной»*. *Аристотель* развил учение об имеющих общий центр небесных сферах, соответствующих орбитам планет. Вообще же учение о семи планетных сферах и верхней сфере неподвижных звезд — *хрустальном своде* — берет начало в Вавилонии, откуда оно и попало в Иудею.

Стр. 521. *Ксенофан* (VI в. до н. з.), *Гераклит* (V—IV вв. до н. з.), *Мелисс, Анаксагор* (оба V в. до н. э.) — представители греческой натурфилософии.

Стр. 522. *Саул* — первый царь иудейский; по библейскому преданию, заболел в конце жизни меланхолией. *Разия* — один из героев восстания Маккавеев, освободивших Израиль от власти греко-сирийских царей. *Пелагея Антиохийская, Доммина Алепская* — христианские мученицы. Милетские девы, по преданию, пресытившись жизнью, решили покончить с собой. Им угрожали, что ту из них, кто это сделает, выставят после смерти голой на площади. Несмотря на это, все они лишили себя жизни. *Гегесий* из Кирены (IV в. до н. з.) — греческий философ, проповедовавший равнодушие к жизни. Рассказ, приводимый Флобером, заимствован из античных источников; известно также, что царь Птолемей специальным указом запретил Гегесию публичные чтения на тему о самоубийстве. *Лупанары* — публичные дома. *Герострат* — поджигатель храма Дианы Эфесской, одного из чудес света.

Стр. 523. *Ракотисское предместье* — квартал в Александрии. *Кроталы* — ударный инструмент.

Стр. 528. *Порсенна* — этрусский царь, воевавший с Римом (VI в. до н. э.). О колокольчиках на его гробнице близ Рима рассказывает Плиний Старший.

Атлантида — легендарный остров в Атлантическом океане, затопленный его водами. Сведения об Атлантиде сохранились у Платона, который рассказывает и об окружавших ее стенах из драгоценного сплава *орихалка.*





СОДЕРЖАНИЕ

Флобер Гюстав

Ф 73 Собрание сочинений: В 3-х т.— М.: Худож. лит., 1983.

Т. 2. Воспитание чувств; Искушение святого Антония. Пер. с фр. Примеч. С. Ошерова. 1983.— 575 с.

Во второй том собрания сочинений Гюстава Флобера входит роман «Воспитание чувств» (1869) и философская драма «Искушение святого Антония» (1874). В романе «Воспитание чувств» Флобер рисует жизнь своего героя на широком социальном фоне парижской жизни во время революции 1848 года и непосредственно после нее; в «Искушении святого Антония» отражены философские мысли писателя.

Ф $\frac{4703000000-218}{028 (01)-83}$ подписное И (Фр)

ФЛОБЕР ГЮСТАВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

Том 2

Редактор
Р. Родина

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Л. Вецкувене

Корректоры
Г. Киселевв, О. Наренковв

ИБ № 2938

Сдано а набор 21.09.82. Подписано в печать 15.04.83. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,24. Уч.-изд. л. 33,02. Тираж 200 000 акз. Иад. № VI-916. Заказ № 771. Цена 3 р.

Ордена Трудоаого Красного Знамени издательстао «Художестаенная литература», 107882, ГСП, Москаа, Б-78, Ноао-Бвсманная, 19

Ордена Октябрьской Реаолюции и ордена Трудоаого Красного Знамени Первая Обраацоаая типография имени А. А. Жданоаа Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валоаая, 28


ГЮСТАВ
ФЛОБЕР
2